

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

А. М. ПЕСКОВ

БОРАТЫНСКИЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»



ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

А.М. ПЕСКОВ

БОРАТЫНСКИЙ

Истинная повесть

МОСКВА «КНИГА» 1990

ББК 84Р7-4
П 28

Предисловие О.А.Проскурина

Разработка серийного оформления
Б.В.Трофимова, А.Т.Троянкера, Н.А.Ящука

Художник Ю.К.Люкшин

П $\frac{4702010201-024}{002(01)-90}$ 32-90

ISBN 5-212-00115-3

В популярном фильме 60-х годов "Доживем до понедельника" есть любопытный эпизод. Просвещенный и обаятельный преподаватель истории, пребывая в элегическом настроении (он только что музицировал на форгепиано в сумерках актового зала), задумчиво цитирует стихи:

Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

Оказавшаяся поблизости учительница литературы вопрошает: "Кто это?" – на что следует лукавое предложение: "Угадайте!" Дамочка, конечно, несет совершенный вздор ("Некрасов?..") (ох, уж эти учителя литературы!). Узнав от слегка ошарашенного собеседника, что подлинный автор – Боратынский, она обиженно парирует: "Ну, нельзя же всех второстепенных помнить..." Далее следует стремительный диалог. Историк. А его давно уже перевели... Литераторша (озадаченно). Куда? Историк (с легким сарказмом). В первостепенные...

Думается, что не только для консервативной служительницы просвещения, но и для многих это прозвучало откровением. И вот минуло более двадцати лет с того дня, когда миллионы кинозрителей узнали о существовании первостепенного поэта Боратынского. Вышли новые (научные и популярные) издания его сочинений, появились тонкие (и не очень) этюды, посвященные его творчеству. Как будто никто уже не сомневается в том, что поэту принадлежит почетное место на отечественном Парнасе... А все же и по сей день мы знаем о Боратынском до обидного мало. Парадоксально, но факт: лучшее, наиболее обстоятельное, основанное на скрупулезном изучении материала исследование о русском поэте написано норвежским ученым Гейром Хетсо и опубликовано в 1973 году в Осло! Но и после выхода книги Хетсо проблем и загадок в биографии Боратынского по-прежнему оставалось немало.

И вот перед читателем новое сочинение, автор которого расширяет область наших знаний о большом поэте. Книга охватывает первую часть жизни Боратынского; повествование доведено до февраля 1826 года – биографического и творческого рубежа. Впереди еще 18 лет – едва ли не самых главных в судьбе поэта. Будет ли продолжен рассказ? На этот вопрос ответит время. А пока заметим: и сейчас перед читателем, как выражались в старину, "нечто целое"; по законам "целого" его и следует оценивать.

Книга необычна. С одной стороны, это научное исследование. Событийная канва повествования строго документирована (в чем убедится всякий, кто возьмет на себя труд заглянуть в примечания). Заинтересованный читатель встретит здесь десятки впервые опубликованных писем и фрагментов из неизданной переписки родственников Боратынского, найдет существенные уточнения, касающиеся жизненного пути поэта (начиная с даты рождения и кончая историей передвижения его из Финляндии в Петербург и обратно в 1820-25 годах), его литературных и бытовых отношений, вех его творческой эволюции. Из плена времени

выйдут неведомые прежде знакомцы Боратынского, оставившие свой след в его судьбе... Без новых фактов, рассыпанных в книге, теперь не обойдется ни один исследователь Боратынского. Это, так сказать, бесспорные вещи. Есть в книге и гипотезы, – но и они рождены не беззаботной фантазией, а исследовательской мыслью. Эти гипотезы научны в своей основе. Такова, например, реконструкция "лирического романа", посвященного знаменитой С.Д.П. – хозяйке известного литературного салона С.Д.Пономаревой.

И в то же время книга эта – факт не только науки, но в определенной мере и литературы. И дело не в "беллетризме", столь любезном сердцу авторов многих биографических повествований. Традиционного историко-романного "беллетризма" в книге нет. Дело также не в "слоге" или "занимательности".

Дело в жанре. Книга имеет жанровое обозначение, являющееся частью заглавия: "Истинная повесть", – и сочинитель постоянно напоминает о нем читателю, дабы тот не забывал об отличии его сочинения от других, привычных жанров – научных и беллетристических. "Ах! Для чего мы пишем не роман, а истинную повесть!" – лукаво сокрушается повествователь в одном месте. "Не ведая партикулярных подробностей жизни Боратынских, мы избавлены от необходимости писать хронику, а не имея привычки к замене факта вымыслом, свободны от желания сочинить роман. На нашу долю выпала *истинная повесть*", – гордо провозглашает он в другом.

Что же это за жанр такой, о котором не прочтешь ни в одной энциклопедии? О, это жанр с глубокими и разветвленными корнями! Сам автор намеком указывает на них читателю, когда описывает свои приемы цитатой из книги В.М.Жирмунского, посвященной структуре байронической поэмы.

Но сейчас нас интересует не столько генезис жанра, сколько его возможности. Вот что об этом пишет сам автор: "Герои здесь тенью проходят сквозь сюжет, жанр позволяет утаивать, недосказывать, умалчивать". Итак, герой – тень. Что же, наверное, в повествовании о Боратынском подобный образ героя как нельзя более уместен. Плотная "бытовая" фактура вступала бы в противоречие с самим предметом изображения. Сама судьба словно позаботилась о том, чтобы сделать облик Боратынского неопределенным, даже призрачным. Его сохранившиеся портреты мало похожи друг на друга, и какой из них точнее – приходится только гадать. Столь же несхожи и портреты словесные, принадлежащие перу его современников. "Легкая черта насмешливости приятно украшала уста его" – и "черты его выражали глубокое уныние". "Высокий блондин" – и "задумчивое лицо, оттененное черными волосами".

Повествуя о судьбе Боратынского, автор пошел неожиданным путем – так сказать, боковым. Повествование сосредоточено на том, что *вокруг* героя, на том, *сквозь* что он проходит. Атмосфера вокруг Боратынского сгущается и уплотняется – и вдруг "тень" становится более четко очерченной, а затем и более рельефной; на плоскости выступают живые черты. Роль некоего конденсатора играют в книге многочисленные письма (подчас посвященные вроде бы сугубо домашним заботам и

интересам). Их композиция позволяет автору создать семейный и вместе исторический контекст, прикоснуться к той почве, из которой вырастает поэт Боратынский. И тогда делается возможным постижение (хотя бы частичное) таинственных жизненных ритмов – прослеживается отзыв отцовской или даже дедовской судьбы в судьбе сына и внука.

В текст "истинной повести" вкраплены четыре вставные новеллы, с "истиной" на первый взгляд не имеющие ничего общего. Они вымышленны (об этом автор предупреждает сразу!), насквозь условны и литературны. За каждой из них скрыт второй план – литературный источник. Иные узнаются легко и сразу ("Грушенька" – "Бедная Лиза" Карамзина), другие – с большим трудом, ибо требуют известной осведомленности в литературной продукции минувших эпох ("разбойничий" роман, фантастическая и светская повесть и т.п.). В иных случаях литературная игра достигает особой изощренности: в "Фее", например, переплетены мотивы и ситуации светской повести, романтического психологического романа, поэмы Боратынского "Эда", его же поэмы "Бал"... Но мало того! Литературные ситуации подвержены стилизаторской трансформации: то знакомые сюжеты подаются в какой-то иной тональности, то какая-нибудь прозаическая деталь дерзко выпятится в драматической или трогательной ситуации. По словам самого автора, эти вымышленные сцены нужны повествованию для замещения неведомых нам эпизодов действительной жизни героев. Выводя свои художественные реконструкции за скобки строго документированного повествования (кесарю – кесарево!), сочинитель вместе с тем дает почувствовать нам, сколь тонка грань, отделяющая заведомую литературу от жизни.

В "истинной повести" рассказ то и дело перемежается "лирическими отступлениями" – пространными медитациями о жизни и смерти, о человеческих судьбах, о взаимоотношениях между родными и близкими, о трудностях службы... Кому принадлежат эти суждения – порою выспренние, порою нарочито приземленные, порою остроумные, порою нудноватые? Неужели А.М.Пескову, филологу, историку литературы?.. Отчасти и ему. Но главным образом (и прежде всего!) – это суждения Повествователя. Повествователь – многогранная и в художественной структуре книги, пожалуй, ключевая фигура. Он одновременно и простодушно-наивен – и рафинированно-интеллектуален. Он имеет склонность к сентенциям в духе старинных моралистов – и тут же подсвечивает свои афоризмы светом иронии. Это персонаж исторический и, вместе, анахронистический: он и современник Боратынского, – и наш современник, человек второй половины XX столетия. Его суждения порою близки тем, которые можно встретить в письмах Боратынского и его корреспондентов. Однако автор явно вложил в них и свой человеческий опыт, и наш, его читателей. То, что на первый взгляд может показаться прихотливой игрой, на деле оказывается вполне серьезным: многоликий Повествователь позволяет и нам входить в мир героя, и герою входить в наш мир. Время оказывается проницаемым, а давно ушедшие люди и события – волнующими не меньше, чем злоба дня.

Олег Проскурин

En Russie le poète de la douleur individuelle exprime toujours le sort de sa race.
*Tiré d'une lettre particulière**.

1814

Тамбовской губернии Кирсановского уезда в село Вяжля.

Ее превосходительству милостивой государыне Александре Федоровне Боратынской. Из Петербурга

1.

...A présent je m'occupe dans mes moments de loisir à traduire ou à composer quelques petites historiettes, et à vous dire le vrai, il n'y a rien que j'aime tant que la poésie. Je voudrais bien être auteur. Je vous enverrai la fois prochaine une espèce de petit roman que je suis près de finir. Je voudrias bien savoir ce que vous en direz. S'il vous semble que j'ai quelque talent, alors je tâcherai de me perfectionner en apprenant les règles. Mais vraiment maman, j'ai vu plusieurs traductions russes imprimées et si mal traduites, que je ne sais pas comment l'auteur a eu l'audace de soumettre au jugement publique des sottises pareilles, et pour comble d'effronterie, il y met son nom. Je vous assure sans vanité que je pourrai beaucoup mieux traduire. Pour vous en donner l'idée, je vous dirai que pour l'expression française: Il jetait feu et flamme, il a traduit: Огнем и пламенем рыкал. Ce qui est très bien en français est très mal en russe, et celle-ci est l'expression la plus animale que j'aie jamais vue. Pardonnez si je médis de ce pauvre diable, mais je voudrais bien qu'il entendisse tout ce que l'on dit de lui, pour le dégoûter de nous déchirer l'oreille par les expressions vraiment barbares qu'il emploit. Mais voilà que je vous fais là, comme un vrai journaliste français, la satire des pauvres auteurs. Pardonnez-moi, ma chère maman, je sais bien qu'il ne m'appartient pas de m'ériger en juge dans un art où je suis si neuf, mais il me semble toujours que ce n'est pas une indiscrétion de dire à sa mère ce que l'on pense. Adieu ma chère maman...

Eugène Boratinsky**.

---

* В России певец собственного недуга не может не быть выразителем родовой судьбы. *Из частного письма. (фр.)*.

**...Нынче, в минуты отдохновения, я перевожу и сочиняю небольшие пиесы и, по правде говоря, ничто я не люблю так, как поэзию. Я очень желал бы стать автором. В следующий раз пришлю вам нечто вроде маленького романа, который я сейчас завершаю. Мне очень важно знать, что вы о нем скажете. Если вам покажется, что у меня есть хоть немного таланта, тогда я буду стремиться к совершенству, изучая правила. Истинно, маменька, но мне приходилось видеть напечатанные русские переводы, которые были выполнены столь плохо, что я не мог постичь, как автор решился вынести на суд публики такие глупости, да еще, торжествуя свое бесстыдство, выставил под ними свое имя. Без тщеславия уверяю вас, что я сумел бы перевести лучше. Чтобы дать вам о том понятие, скажу, что французское: Il jetait feu et flamme, он перевел: Огнем и пламенем рыкал. Что прекрасно по-французски, весьма дурно по-русски, а уж это выражение – самое скотское, какое я когда-либо видел. Простите мое злословие в адрес этого несчастного, но мне хотелось бы, чтобы он услышал все, что о нем говорят, и чтобы у него пропала охота мучить наш слух истинно варварскими выражениями. Впрочем, как настоящий французский журналист, я пишу вам здесь целую сатиру на дурных авторов.

2.

...Oserai-je vous répéter encore ma prière relativement à la marine. Je vous supplie, ma chère maman, de m'accorder cette grâce. Mes intérêts qui vous sont si chers, dites vous, le commandent impérativement. Je sais combien il doit coûter à votre coeur de me voir dans un service aussi périlleux. Mais dites moi, connaissez vous un endroit dans l'univers excepté le règne de l'Océan où la vie de l'homme ne soit exposée à mille dangers, où la mort n'ait ravi un fils à sa mère, un père, une soeur, partout le plus petit souffle est capable de détruire le ressort fragile que nous nommons notre existence. Quoique vous disiez, ma chère maman, il est des choses qui dépendent de nous, il y en a d'autres dont la conduite est confiée à la Providence. Nos actions, nos pensées dépendent de nous, mais je ne saurais croire que notre mort dépende du choix que nous ferons du service du terre ou de mer. Quoi! possible que la déstinée, qui m'a marqué la fin de ma carrière, remplirait son arrêt sur la mer Caspienne, ne saurait m'atteindre à Pétersbourg? Je vous supplie, ma chère maman, de ne pas contraindre mon inclination. Je ne saurais servir dans les gardes; on les menage trop. Si l'on fait la guerre, ils ne font rien et ils restent dans une honteuse oisiveté. Et vous appelez cela exister! Non, ce n'est pas une existence qu'une tranquillité sans mélange. Croyez-moi, ma chère maman, que l'on peut s'accoutumer à tout excepté à la tranquillité et à l'ennui. J'aimerais mieuz être parfaitement malheureux que parfaitement tranquille, au moins un sentiment vif et profond occuperait mon âme tout entière, au moins les sentiments de mes maux me rappeleront que j'existe. Et véritablement je sens qu'il me faut toujours quelque chose de dangereux dont je m'occupe; sans cela je m'ennue. Représentez-vous, ma chère maman, une furieuse tempête et moi debout sur le tillac qui semble commander à la mer irritée, une planche entre moi et la mort, les monstres marins qui admirent l'instrument merveilleux, enfant du génie humain qui commande aux éléments. Et puis... je vous écrirai le plus souvent possible tout ce que j'aurai; vu de beau...

Eugène Boratinsky*.

Простите, любезная маменька, я знаю, что мне еще не пристало быть судьею в искусстве, где сам я пока новичок, но мне всегда казалось, что своей матери можно высказывать все, что думаешь, не опасаясь выглядеть нескромным. Прощайте, любезная маменька...

Евгений Боратынский

*...Осмелюсь ли вновь повторить свою просьбу, до мореплавания относящуюся? Умоляю вас, любезная маменька, согласиться на эту милость. Мои блага, вам столь дорогие, как вы сами говорите, требуют этого неотменно. Я знаю, что до́лжно выдержать вашему сердцу, видя меня на службе столь опасной. Но скажите мне, знаете ли вы место во вселенной, вне царства Океана, где жизнь человека не была бы подвержена тысяче опасностей, где смерть не похищала бы сына у матери, отца, сестру? всюду ничтожное дуновение способно сломать хрупкую пружину, которую мы называем бытием. Что бы вы ни говорили, любезная маменька, есть вещи, подвластные нам, а управление другими поручено Провидению. Наши действия, наши мысли зависят от нас самих, но я не могу поверить, что наша смерть зависит от выбора службы на земле или на море. Как? возможно ли, чтобы судьба, определившая исход моему поприщу, исполнила свой приговор на Каспийском море и не сумела бы настичь меня в Петербурге? Умоляю вас, любезная маменька, не приневоливать мою страсть. Я не мог бы служить в гвардейцах: их слишком щадят. Когда бывает

РОДОСЛОВНАЯ

I. Дальный путь ведет из России – в Галицию, где, прославленный своими ратными победами, почил в 1370-м году храбрый Димитрий Божедар.

II. Димитрий, сын его, прозывавшийся по замку своему Боратыном*, жил также храбро и почил, оставив по себе многолюдное потомство, а замок его отошел к сыну Василию.

III. У Василия было горе: не рождались сыновья. Тогда брат его Иван похитил из Боратына младшую Васильеву дочь, а свою племянницу – Марию, и род Василия не угас, но вознесся двумя сынами: Стешком и Андрейком.

IV. Стешко и Андрейко, окрепнув, ушли в Польскую землю. Стешко стал называться там Яном.

V. Стешко-Ян, правитель пржемыслский, родил сына Петра. Сигизмунд-Август, король польский, приблизил Петра Боратынского. За возвышенье свое Петр был удостоен в 1558-м году погребенья в Королевском соборе в Кракове, о чем гласила в былые времена надпись на могильном камне: "Петру Боратынскому, кастелану Бельсина и капитану Самбора, отмеченному знатностью и воинской славою, происходящему из славнейшего по отцу своему рода, знаменитого мудростию, красноречием и добродетелями духа".

VI. Сын Петра Иван (по-польски – Ян), украшение двора Сигизмунда-Августа, оставил земное поприще в 1584-м году.

VII. Сын Ивана Петр скончался в 1620-м году. Некое предание гласит, что сей Петр, хотя и был того же рода, но не был сыном Ивана-Яна, который умер, не оставив потомства. Быть может, так. Но родословные суть знаки рода и достоинства, а не телесного сходства, и чьим бы сыном ни был сей Петр, он был Боратынским и ему надлежало стать отцом следующего Ивана Боратынского.

VIII. Сей Иван Боратынский, сын Петра, пришел в Россию при царе Алексее Михайловиче и принял православный закон. Он получил во владение село Голощапово – в полутораста верстах к северу от Смоленска,

---

война, они ничего не делают и пребывают в постыдной праздности. И вы называете это жизнью! Нет, ничем не смущаемый покой – это не жизнь. Поверьте, любезная маменька, можно привыкнуть ко всему, кроме покоя и скуки. Я бы избрал лучше полное несчастие, чем полный покой; по крайней мере, живое и глубокое чувство обняло бы целиком душу, по крайней мере, переживание бедствий напоминало бы о том, что я существую. И в самом деле, я чувствую, мне всегда требуется что-то опасное, всего меня захватывающее; без этого мне скучно. Вообразите, любезная маменька, неистовую бурю и меня, на верхней палубе, словно повелевающего разгневанным морем, доску между мною и смертью, чудищ морских, пораженных дивным орудием, созданием человеческого гения, властвующего над стихиями. А потом я буду писать к вам сколь возможно часто обо всем, что увижу прекрасного...

Евгений Боратынский.

*Боратын – Божья Оборона.

Здесь и далее все подстрочные примечания, за исключением особо оговоренных, сделаны сочинителем.



возле крепости Белой на речке Обше. В 1708-м году Иван Боратынский почил, оставив Голощапово сыну Павлу.

IX. Павел родил Якова и Василия и умер.

X. Пока Василий был мал, Яков забрал себе все владение родителя. Когда Василий вырос, братья заспорили о деревнях. В 1742-м году Василий через Вотчинную коллегию получил законную часть наследства. У Василия Павловича были четыре дочери: Анна, Надежда, Ефросинья и Елена – и сын: Андрей.

XI. Андрей Васильевич жил в Голощапове и имел семь детей: Аврама, Богдана, Петра, Илью, Александра, Марию, Екатерину.

XII. Аврам был старший сын и имел семь детей: Евгения, Ираклия, Льва, Сергея, Софью, Варвару, Наталью.

XIII. Евгений был старший сын.

Итак, всех родов от Димитрия до Евгения тринадцать родов.

* * *

У Евгения были свои дети. У детей Евгения – свои дети. У тех свои. Род Боратынских существует по сей день.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

От отставного поручика
Андрея Васильевича Боратынского

Объявление

...Прадед мой родной Иван Петрович Боратынский служил вечнодостойной памяти Его величеству государю царю Алексею Михайловичу, а дед мой родной Павел Иванов сын Боратынский служил блаженной и вечнодостойной памяти государю Петру Алексеевичу... Я же, именованный, начал служить Ея императорскому величеству с 1753 года в полку Смоленской шляхты рядовым...

ГОЛОЩАПОВО

В 765-м году, 27-ми лет, Андрей Васильевич вышел в отставку и стал жить в Голощапове. Тут он влюбился безоглядно в Авдотью Матвеевну Яцыну из заречного Подвойского. Но Матвей Яцын сосватал дочь за другого и в скором времени насильно вез ее венчать. Когда проезжали мимо голощаповской мельницы, Авдотье Матвеевне стало дурно; ее вынесли и положили на траву. Жених, ехавший впереди, придержал своих лошадей, но, увидав, что возле невесты отец, отправился далее. Когда экипаж его скрылся из виду, Авдотья Матвеевна спросила папеньку: – "Какой он будет мне муж, если даже не захотел остановиться, видя, что мне дурно?" – Матвей Яцын в решениях был непреклонен. Авдотью Матвеевну отнесли в отцовский берлин, лошадей поворотили и вернулись назад в Подвойское.

Нового жениха Матвей скоро не приискал, а Андрей Васильевич, видя в том обмороке знамение судьбы, не терял надежд. Он увез Авдотью Мат-

веевну тайно: переоделся конюхом и с одной лошадью прошел на яцынский двор; Авдотья Матвеевна вышла; Андрей Васильевич помог ей сесть на лошадь, вспрыгнул сам, дернул поводьями и был таков.

Прошло время. Авдотья Матвеевна принесла сына; его именовали в память Авраамия Смоленского. Вторым сыном был Петр; затем были еще три сына и две дочери.

Андрей Васильевич желал сыновьям лучшей доли и хлопотал о приеме их в лучшее место – в петербургский Сухопутный шляхетный корпус. Но туда устроили только младшего Алексашиньку в начале 790-х – и то с помощью старших детей, к той поре обретших силу. Богдан и Илья попали на остров Кронштадт – в Морской корпус: образование то место не посещало – зато было много розог. Аврам и Петр начинали жить нижними чинами в гвардии.

Матвей Яцын умер. Вдова его Варвара Львовна, матушка Авдотьи Матвеевны, вышла замуж за г-на Жегалова. Яцынские угодья стали делить. Спорное дело тянулось лет десять. В конце 80-х – начале 90-х Боратынским отошло Подвойское. К этому времени все сыновья уже были в Петербурге, старшую дочь Марию определили туда же – в Смольный на воспитание. Говорят, шум подвойской березовой рощи производил в Авдотье Матвеевне унылую печаль: осеннее очарование было ей в тягость, февральские оттепели ложились камнем на грудь. "О меланхолия!" – сказали бы в столичных журналах. Однако журналов в Голощапове не получали.

АВРАМ

...They were of fame
And had been glorious in another day.

*Byron**.

Абрам Андреев Боратынский. Из российских дворян Смоленского наместничества Бельского уезда.

В службе

капралом 785 Февр.2	Лейб гвардии в Преображенском полку
Подпрапорщиком 785 Март 1	Переведен в Семеновский полк
Каптенармусом 785 Мая 15	В том же полку
Сержантом** 785 Нояб. 21	В том же полку

Российской грамоте читать и писать умеет и математике знает.

* * *

Петербург поражал недальностью расстояний: вместо выси небесной и шири полевой взор упирался в речку Фонтанку: Семеновский полк, куда попали Аврам и Петр, имел стоянку близ ее сырых берегов. Толку

---

* Они были славны и прожили свой век окруженные почестями. *Байрон (англ.)*.

** Сержант – старший унтер-офицер.


VIVAT

от службы в гвардии не было никакого: чины выслуживались мучительно медленно, для повышения или перевода в армию* требовались деньги. Но откуда ж их взять? – и будущее не рисовалось в воображении, заслоняясь существенностью, сухой и непламенной.

* * *

22 апреля 1787 году.

Милостивые государи батюшка и матушка.

...О себе честь имеем донести, что мы, слава богу, здоровы, и время, которое мы здесь препровождаем, очень хорошо разделено от наших командиров: надобно всякой день в 3 часа встать в строй и после обеда тоже, дневать день и трое суток подряд, да еще для закуски всякой караул в сутки... Вот правило монашеское, которое мы исполняем поневоле, живучи в мире. Я думаю, вы рассуждаете, что мы обременены великою прискорбностью, и за несносность оное считаем, но вместо того сие для нас малейшее зло, мы совсем и не примечаем и так к оному привыкли, что и беспокойство об оном почитаем за излишнее. – Надобно иметь достойный человеку предмет огорчения, чтоб о чем можно было ему предаться печали, но и то умеренной, дабы не понизить своего звания. Как скоро сие воображение будет иметь человек, то будет иметь и спокойный дух, а в спокойствии нет иной дороги, как преодолением досад и огорчения... – Денег же у нас давно нет. Однако мы вас об оных и не беспокоим. Что делать? Как-нибудь покуда что будем перебиваться...

Ваши, милостивых государей всегда покорнейшие дети и покорнейшие слуги

Абрам Боратынский и Петр Боратынский.

* * *

Между тем младшие братцы Богдан и Илья вышли из Морского корпуса гардемаринами, а Аврам и Петр все мыслили выбиться из злополучной гвардии, ставшей для них родом ссылки. Война с Швецией, открывшаяся в 788-м году, много на сей счет обещала. Богдан и Илья первыми пошли в поход и летом бились с шведами под островом Гогланд на Финском заливе. А сухопутную гвардию берегли, и старшие братья удовольствовались военными рассказами младших.

Наконец весной 789-го и Семеновскому полку вышло предписание воевать. Аврам был определен фельдфебелем гренадерской роты. ("Выбрано в поход гренадер 120... Назначили владеть таким множеством, из которых десятая доля не сыщется порядочных людей, а протчие всё пьяницы, дебоширы и невежи".) Война шла неподалеку от Петербурга: в 250-ти верстах – в Финляндии. Десять дней пешего похода: Петербург – Парголово – Белый Остров – Выборг – Урпола – Пютерлакс – Фридрихсгам. Далее Фридрихсгама Семеновский полк не был и в перестрелки не попал. Жили миролюбиво в палатках и дивились стране, под боком у Петербурга пребывающей и такой другой, чем все петербургские окрестности.

---

*В армию из гвардии переводили двумя чинами выше.

Дикие и сумрачные леса обступают дороги. Валуны темны и голы. Синие озера пленяют взор. Невысокие небеса бледны, серые облака скользят по ним, как тени. Два месяца ночь здесь без мрака, свет не струится ниоткуда, а разлит мерно и без границ. Ветер утихает. Сосны и воздух замирают в недвижности. Если отойти от лагеря и не слышать храпа спящих солдат и фырканья лошадей, тишиной сдавливает голову и в ушах звенит.

Глух и дик сей край, и чудны люди, его населяющие.

А Фридрихсгам – это деревянная крепостушка в пять бастионов.

Осенью гвардию вернули в Петербург. Здесь наконец фортуна обратилась к Авраму и Петру лицом: к новому году они были переведены капитанами в армию. – Причиной повороту была Катерина Ивановна.

1790

Катерина Ивановна Нелидова была старее Аврама лет на десять и, когда тот был зачислен в полковую школу, уже вышла из Смольного, удостоившись фрейлинского звания. Она была тоже из-под Смоленска и братьям Боратынским приходилась тетушкой. В конце 780-х она стала играть ролю при дворе цесаревича – великого князя наследника Павла Петровича. Многочисленные смоленские родственники засыпали ее просьбами. Не каждый день можно было докучать великому князю напоминаниями о всех них, но в конце концов все бывали пристроены. Ныне дошла очередь до Боратынских. Поначалу Павел Петрович взял к себе Богдана и Илью – как прямых моряков, – ибо под командой наследника состоял Морской баталион. Когда же до него чрез Катерину Ивановну дошло, что и прочие два брата желают быть причислены к флоту, он немедля призвал Аврама и Петра, повелел приписать их к своему штату и обучить наукам, до мореплавания относящихся ("Он сказал, что ему давно хотелось придвинуть нас к себе поближе и теперь очень рад, что и наши желания с его согласны. Дозволил нам входить во все внутренние его покои, и какая нам нужда или какое притеснение встретится, чтоб относились прямо к нему. Приказал нам нанять учителя француза на его счет, обучаться"). Но учиться братьям не пришлось. Новооткрывшаяся кампания против шведов раскидала их по разным кораблям.

Июня 22-го наподалеку от Выборга Чичагов – морской главнокомандующий – разбил шведов в пух. Но чрез неделю, откуда ни возьмись, шведы нагрянули у финляндского берега – под Роченсальмом, и флот императорский был частию разбит, частию потоплен, частию уведен в трофеи. День сей запечатлелся в памяти Аврама скорбным клеймом.

* * *

23-го июля 1790-го года. Город Люнза.

...Уведомляю вас, что я достался в плен неприятелям прошедшего месяца 29-го числа у залива Кюмень...

Милостивые государи батюшка и матушка! Я знаю, что вас сие известие чувствительно встревожит, узнавши о моей судьбе; но сего рока уже переменить не можно: и мне так суждено провести несколько времени

вне своего отечества. Прошу вас всепокорнейше не беспокоиться обо мне, ибо и здесь с нами обходятся очень хорошо...

4 августа 1790-го года. Стокгольм.

Любезный братец и друг!

С отдаленной страны, из внутренности самой Швеции пускаю к тебе, другу, сии строки. Сколько чувствует душа моя удовольствия, когда в сем упражнении провожу я время! Только мне, несчастному, одно сие служит утешением. Воображал ли я, любезный друг, чтоб я на такую дистанцию был от тебя разлучен? Намеренно, предприятия и воображения все пресеклись. Принял совсем образ новой жизни, стал пленником, побежденным и в неволе, отлучен от всех и лишен всего... Сии все предметы, предоставляющиеся моему воображению, жестоко терзают мою душу. Где мне искать успокоения? Кто меня утешить может? У всякого свои злополучия не дают времени утешать другого. – Итак, я оставлен без всякой помощи и должен внутри сердца своего питать грусть, меня снедающую. – Тебя нет со мною, тебя, который был утешитель в моей горести. Мы были подпора друг другу: теперь отдаленность места препятствует нам слышать стон или восторги наши. Судьба определила мне сию участь; противиться сему року смертным не возможно.

Я так и начинаю на целом листе, знаю, что весь оный испишу. Не стану изображать, сколько чувствует мое сердце прискорбности, разлучась с тобою, любезным другом: ей больше вообразить, нежели изобразить возможно. А только хочу несколько анекдотов написать нашего сражения и путешествия.

Расставшись с тобою, любезный друг, в Выборге, как будто предчувствовало мое сердце, что я с тобою долго не увижусь! Я чувствовал в моем сердце жестокое волнение, кое доводило меня до отчаяния. С горестию исполненным сердцем спешил я к своей галере. Ни с кем не будучи знаком, старался, сколько возможно, чтоб меня знали с хорошей стороны, и во оном скоро успел. Простоявши на рейде у Транзунда до тех пор, когда Чичагов дал баталию неприятельскому флоту и который ретировался с превеликим своим уроном, мы снялись с якоря и пошли к острову Пуцелет, к которому поспешали с превеликою поспешностию, и день и ночь все люди были в гребле, и как скоро стали подходить к оному заливу, то услышали пальбу, которую открыли наши лодки, бывшие впереди. Тут тотчас нам дан был сигнал к сражению, и как мы были в авангарде, то мы первые и вступили в бой. Признаюсь чистосердечно, что я сначала все сие за шутку почитал и хохотал, когда ядры чрез нас летали, считая свой флот гораздо многочисленнее, и притом неприятель обескураженный не может долго нам противиться. Но совсем вышло иначе. Неприятель в порядке напал со всех сторон на наши передовые суда и такой сильный огонь произвел с своих лодок, что мы уж начали сомневаться о победе. Еще к несчастью нашему ветр гораздо сделался сильнее и мы не могли порядочной построить линии. Подлинно все стихии противу нас восстали, и мы явились с трех сторон атакованные, с носа 6 лодок, а с правой стороны щебекою и фрегатом, которые толь проворно залпами по нас стреляли, что на одной стороне галеры только 8 человек

осталось. Пушки все были подбиты, веслы изломаны, течь сделалась сильная, ветр сильный стремил нас к неприятелю. Ни бросания якоря, ничто не удержало, итак, сделавши консилиум, спустили флаг. Я не могу представить, в каком были все тогда волнении и отчаянии, когда увидели к себе приплывающие лодки шведские для забрания нас! Все были как вне себя: иной проклинал свою участь; иной рвал на себе волосы; иной плакал; и все были в такой дистракции, что сами не знали, что начать? Тогда только было у нас присутствие духа, когда сражались; но когда противиться уже невозможно было, тогда отчаяние нами овладело. Тотчас нас всех виновных забрали и повезли на неприятельскую галеру, которая еще несколько часов была в сражении. Только то у меня осталось, что я имел на себе, т. е. мундир и сертук; прочее все разграблено.

Чрез два дня представили нас королю, который принял нас очень благосклонно. Велел всем нам отдать шпаги. Однако моей ни шпаги, ни сабли не могли найти, притом и у многих пропали. Сожалел, что наш багаж разграбили, однако оному пособить было нельзя. Все мы, пленные офицеры, обедали и ужинали за королевским столом, покуда нас отправили в город Лунзу. В оном мы пробыли 6 суток, отправились в Элсинфорс*, а оттуда в Абов, из Абова пустились водою по шкерам, и здесь мы делали до Стокгольма разные путешествия и водою и сухим путем и наконец прибыли в Стокгольм 30-го числа июля, а после завтра отправимся в город Нортупель, где и будем жить до самого мира. Расстоянием оный город от Стокгольма 180 верст.

Вот, любезный друг, в какой я от тебя отдаленности. Но как отдаленность ни велика, мой дух всегда присутствует с тобою, и только лишь одна моя отрада, когда тебя я вспоминаю. Сии мечтательные соображения часто занимают мои мысли и очень много способствуют моей меланхолии.

Содержание для нас дают деньгами по 15 рейхсталеров в месяц. Только что с трудностию себя прокормить возможно в рассуждении здешней дороговизны; но у меня осталось со 100 рублей своих, которые я обменял на шведские, то надеюсь, что еще несколько времени не буду иметь недостатку. Заплатил долг брата Богдана Андреевича Ратманову и Станищеву – 50 р. Еще, братец, прошу тебя усердно, чтоб ты взял в Выборге оставшиеся мои вещи – они тебе годятся – у маиора форта Андрея Ивановича... У него осталось: мой новый мундир, плащ белый, книжка записная, пояс дорожный и еще не помню что из белья.

Еще, любезный друг, прошу тебя усердно: постарайтесь вы утешить родителей своим приездом, а то уж мы их уморим своими насчастиями. Любезным братцам Богдану и Ильюшеньке от меня свидетельствуй искреннейший мой поклон, и, увидевши их, поцелуй за меня несколько раз с тою искреннейшею дружбою, какую мы друг к другу имеем. Ах, любезный друг! Сколько несносно быть в такой отдаленной стороне и не иметь себе друга! Я желал бы, чтоб ты попался в плен, уверен будучи, что ты не сочтешь за несчастие, когда мы бы были вместе! Для меня и самый ад казался бы раем, когда бы ты был со мною. Но теперь, признаться, хоть не ад, но похоже на него.

---

* Гельзингфорс.

Милостивым государыням тетушкам от меня свидетельствуй мой всенижайший поклон и почитание и скажи, что ни отдаленность, ни время не истребят из мыслей моих и из сердца всех их ко мне милостей.

При сем посылаю два письма: одно к батюшке, другое к Катерине Ивановне; ты их запечатай сам и пошли куда следует. – Теперь не знаю, о чем бы тебя уведомить; а только скажу, что, слава богу, жив и здоров. Желаю тебе от искреннего моего сердца препроводить время в лучшем удовольствии, нежели я, и по окончании твоего похода увидеться с тем, кого сам знаешь*, т. е. в возвышенной громаде искусной архитектуры**... Итак, прощай, искреннейший мой и любезный друг, а я по век мой пребуду покорный и усердный брат

Абрам Боратынский.

* * *

Аврам не знал, сколько времени предстоит пробыть в плену. Были времена – воевали с турками по семь лет. Случались войны более протяжные – с тем же шведом, при Петре Великом, когда лет 20 не заключали мир. Аврам должен был ожидать перемены своей судьбы в бездействии, ожидать, может быть, годы.

Судьба неизъяснимо играет человеками, сама прокладывая им пути и не надеясь на их самостоянье в сем мире. Откуда было знать Авраму, что она, испытуя его, на самом деле только ставит отметку у Роченсальма и Кюмени, чтоб не забыть, куда через тридцать лет завести старшего из Аврамовых сыновей? Она вообще любит всякие отражения и повторы, и, коли кажется, что она искушает чем-то невиданным доселе, верить нельзя: все, что предлагает она, испробовано ею по меньшей мере единожды. Быть может, судьбе не ведомо, что такое время. Быть может, ей угодно только (и не более) сверить, похоже ли ведут себя родственные души в одинаких местах – в семеновских ротах, в окрестностях Фридрихсгама, в Роченсальме или где еще. Она играет в вас, не зная о быстротекущем времени, сразу, в одно мгновение, видя и вас и вашего покойного родителя в одной точке бытия, в одном пространстве, на одной и той же скале. Она как бы накладывает два изображения, одно на другое, сличая, ту же ли вы приняли позу? руки ваши скрещены подобно ли? правая ладонь лежит ли на левом предплечье? взгляд ваш в ту же ли сторону серого июльского дня уставлен? А вы стоите на этой скале, и мокрый ветер брызжет в лицо, и как тут догадаться: быть может, судьба, играя на своем холсте с вашим изображением, задумала дуть вам в лицо ветром 790-го года, а совсем не 820-го?

Как бы то ни было, ни Аврам в 790-м, ни сын его в 820-м не знали, что один и тот же роченсальмский берег стал свидетелем их несчастий. Ибо как уведомиться, что будет через десять лет после вашей смерти или что было за десять лет до вашего рожденья?

Но Аврам томился недолго. Сражение, в коем он потерпел, стало последним – скоро был объявлен мир. В конце августа начался размен

---

* Павлом Петровичем, великим князем.

** В Гатчине.

пленных. Должно быть, Аврам успел в Петербург к концу сентябрьских празднеств. Везде шли торжественные богослужения; давались балы, машкерады, обеды, ужины; танцы и смотры войскам чередовались с иллюминациями, фейерверками и парадами. Верно, братцы встретили Аврама родительской наливкой и под шум веселящегося Петербурга отпраздновали возвращение похудевшего пленника.

1791

Увы! Жизнь идет, а смерть торопит. 5-го апреля, в Лазарево воскресение, когда батюшка и матушка отправились к литургии, возле голощаповской мельницы Авдотье Матвеевне сделалось дурно. Здесь когда-то, едучи венчаться с нежеланным, она впала в обморок, решивший ее участь в пользу Андрея Васильевича. Здесь, выйдя из экипажа, она умерла.

– Итак, свершились наши предчувствования; ах, когда б они нас всегда обманывали!.. Несчастный родитель!.. Злосчастнейшие дети!.. увы... трепет объемлет чувства наши; дух, горестию томимый, едва не прервет дыхание наше. Жестокий удар! Уже ты свершился над нами. О! ты неумолимая смерть! и ты не сжалилась над сею жертвою, тобою поверженною? Ах! ты избираешь мету гораздо чувствительнейшую. Твоя жестокая коса пожинает класы самые наичувствительнейшие!.. – Так роптал Аврам.

Но на могилу в Голощапово он попадет только чрез семь лет: служба царская неотложна.

* * *

Лето братья пробыли в Кронштадте на кораблях, осенью великий князь отправил их в Гатчину.

Гатчина и Павловское были Петербургом и Москвой несуществующего государства, великий князь Павел Петрович – государем царства своей мечты. В 782-м году он назначил барона Штейнвера начальствовать тремя гатчинскими ротами: "– Этот будет у меня таков, каков был Лефорт у Петра Великого". И как от Черного моря до Белого, как от Финского залива до Рифейских гор и Сибири разметнулась великая империя, так между Белым и Черным озерами Гатчины, от крутого берега Славянки до мариенбургских болот утвердилась, окрепла и выросла империя гатчинская.

В Петербурге смотрели на умственную империю, как на балаган: "Это были люди грубые, совсем не образованные, сор нашей армии; выгнанные из полков за дурное поведение, пьянство или трусость, эти люди находили убежище в гатчинских баталионах".

Павел Петрович был прямым правнуком Петра Великого. Святой Павел стоял по правую руку от святого Петра. Они были звенья одной цепи, отрезки одного луча. Их связывали кровь и предназначение.

Он любил острое слово и презирал длинные языки. Он был богопослушен, до тонкостей знал православный обряд и не терпел разврата. В кабинете гатчинского дворца, в том углу, где он молился, паркет был протерт его коленями.

Ему близилось к сорока, а власть его была игрушечна. Его венце-

носная мать — государыня Екатерина, по чьему наущению был заколот или задушен (он не знал, как именно) Петр III, его отец, — не пускала его к управлению страной. Он боялся ее и ненавидел.

А когда-то и государыне Екатерине близилось к сорока и был в ее глазах нестарческий блеск. Она любила, чтобы ее любили. Среди прочих путей к любви она стала на шаткую дорогу рассуждений. Она не сразу поняла, что для строгого уклада подначального бытия вольтерьянство хуже хмеля. Сначала они рассуждали, потом стали поносить ее бранными словами чуть не вслух. "Знай, — сказали они, — что от всеснедающего времени ничто укрыться не может. Оно когда-нибудь пожрет и твою слабую политику. Когда твои политические белила и румяна сойдут, тогда настоящее бытие твоих мыслей всем видным сделается". — То было неожиданное оскорбление. Она сделала так, чтобы они рассуждали о других предметах — о душе, о боге, о просвещении. Она почти научилась скрывать свой гнев даже против масонов. Она верила в усмиряющую силу разумного слова. И только когда они преступали границы приличий, приходилось отправлять их в Сибирь или в Шлиссельбург. Но то были крайние меры. Она была умной женщиной.

Сын же ее, Павел — и в том она уверялась день от дня — был без ума. В нем заключалась особая, редко случающаяся, несоразмерность: в душе жила ясная сила добра и порядка, но сила сия осуществляла себя чрезъестественным образом. Добро и порядок он разумел особенно. Плохо прикрепленная сабля, неосторожно громкое сморкание или сонный взгляд казались ему признаками приуготовлений к бунту. Он не умел сам измерять ни свой гнев, ни свое веселие; ему нужно было доверенное лицо — наперсник. Павел твердо помнил, что величие государя связано с женщиной. Супруга Мария Феодоровна была ему супругой. А ему нужна была преданная и чистая душою — та единственная, которая и умирая помнила о нем, и на небесах бы вечно за него молилась. Наследник чувствовал себя Иосифом Прекрасным, брошенным и ненайденным.

Вышло само собою, что одна из фрейлин — Катерина Ивановна Нелидова — все более обращала на себя взоры великого князя и постепенно стала для него тем, о ком он мечтал. Она считала, что хранить цесаревича определил ей господь. Когда Мария Феодоровна жаловалась государыне на то, что взоры и речи Павла Петровича теперь обращены только на Нелидову и только к Нелидовой, венценосная свекровь, обняв за плечи, подвела ее к зеркалу: "— Посмотри, какая ты красавица, а соперница твоя — petit monstre*; перестань кручиниться и будь уверена в своих прелестях".

Катерина Ивановна и впрямь не была прекрасна лицом, имея картофелеподобный нос, широкие губы и привычку морщить лоб. Она искупала недостаток прелестей — грацией легких движений. Мария Феодоровна ревновала. Но Нелидова владела именно душой Павла Петровича и, кажется, сохранила до старости девический стыд ("Разве я искала в Вас для себя мужчину? Клянусь вам, с тех пор, как я к вам привязана, мне все кажется, что вы моя сестра"). И чем более становилась

---

* Маленькое чудовище *(фр.)*.

необходима Катерина Ивановна великому князю, тем выше поднимались все ее протеже. Нелидова уже не просила о своей родне – Павел Петрович сам помнил ее смоленских родственников.

30-го августа он произвел Аврама в секунд-маиоры и сделал главнокомандующим своей мечтательной империи – командиром Гатчинской, Павловской и Каменноостровской команды.

1792

В Гатчине Большой проспект упирался в коннетабль. Так называлась колонна на площади, где совершали развод караула: по-гатчински – вахт-парад. Вахт-парадом командовал Аврам. В двадцать четыре года он возвысился на немыслимую ступень жизни.

* * *

18-го марта 1792-го года. Каменной остров.

...Ах, батюшка! Не могу вам описать, сколько нас любит Его Императорское высочество! ибо когда я стану писать все подробности, то многие не поверят, только скажу: что мы во весь наш век счастливы бы были, когда оная будет такова, как теперь...

19-го апреля 1792-го года. Санкт-Петербург.

...Брат Алексашинька у меня жил всю святую неделю, и Его Императорское высочество, узнав об оном, приказал его к себе представить, и он так ему полюбился, что я его каждый день во всю неделю возил с собою к нему... и он так утешал Его высочество, что несколько раз хохотал, смотря на его проказы, и он так смел, как будто всегда был при государе.

10-го июня 1792-го года. Павловское.

...О болезни ж моей вы не сумневайтесь; она мне к здоровью послужит. Вам известна моя рана на ноге... сделали мне операцию, разрезав больное место вдоль. И теперь мне невозможно никуда выходить... Чрез шесть недель, меня уверяют, что я буду здоров... Его Императорское высочество чрез день сам меня всегда навещает, и каждый день два раза присылает справляться о моем здоровье...

Итак, свидетельствуя мое глубочайшее высокопочитание и преданность пребуду ваш, милостивый государь батюшка! Покорнейший сын

Аврам Боратынский.

1793

Когда великий князь верил кому, то бывал щедр: генваря 4-го Аврам был повышен до премьер-маиоров, июня 1-го до подполковников. В подчинении у него было без малого две тысячи человек. Само присутствие Катерины Ивановны при дворе цесаревича возвышало ее родню.

Натурально, Катерину Ивановну ненавидели все, кто не мог преступить магической черты, очерченной ею вкруг души цесаревича, и, разумеется, мечтою их было удаление Нелидовой. При дворах всегда складываются партии. Первенствуют достигшие самых уязвимых частей повелителя; вокруг них собираются люди, не имеющие прямого доступа, например, к горлу своего благодетеля, каковой возможностью пользуются

цырюльники. Цырюльники, камердинеры, наложницы — все они редко сами берут политическую ролю. Но, как суфлеры, не видные миру, они творят спектакль снизу; на них устремлены взоры трагических актеров в минуту отчаяния.

Еще после взятия Анапы ко двору привезли среди прочих диковин мальчишку-турчонка. Он не умер от страха и холодов, а был именован Иваном Кутайсовым и определен к Павлу Петровичу камердинером. Великий князь верил его усердию, однако турок — турок и есть: для забавы. Но вот люди дальновидные начали выхвалять цесаревичу его камердинера, и тот стал незаменим, сделавшись ушами и глазами Павла Петровича. — А слышать и видеть цесаревичу было что.

Время было такое. Французская зараза в любое утро готовилась объявиться в Гатчину. — "Дети мои! — говаривал великий князь сыновьям. — Вы видите, как во Франции обращаются с людьми — как с собаками!" — Во Франции лилась кровь, и придумали страшную машину гильотину для отсечения голов царствующим особам. Посему, когда цесаревич обнаружил в собственном войске четырех офицеров в мундирах короче положенного, всех их подполковнику Боратынскому велено было отправить под арест, как вольнодумцев и, может быть, якобинцев. Ибо революции начинаются с примерки незаконных мундиров.

Но французская вольность не была страшнейшее зло. Послать туда Боратынского с пехотой и Аракчеева с артиллерией — шум утишился б в два дни. Страшнее царица-мать — избавительница народов, российская Минерва. Что она хочет посадить его старшего сына и своего внука Александра вместо него на трон — это он предчувствовал. Не знал только наверное: готовое завещание о наследовании Александром престола уже лежит в ее бюро или еще в шкатулке на рабочем столике. ("Мой Александр женится, а затем будет коронован — церемониально, торжественно, празднично". — Так мечтала государыня.)

1794

Когда цесаревич волновался, он не начинал первым есть. Летом, в Павловском и Гатчине, ему дышалось легче. Зимой, когда он переезжал в столицу, он чувствовал себя перед входом в ловушку: один неосторожный шаг — скольжение — дверца захлопнулась. Преданные люди сосчитывались на пальцах. Шпионы рыскали по комнатам. Гатчину окружали гвардейцы.

* * *

Г. подполковнику Боратынскому.

Прикажите у себя поближе смотреть, нет ли или не будет ли из городу подосланных ково, как у вас, так и в Гатчине, о чем и напишите как к Штейнверу, так и Борху.

П.

1795

Великий князь терпеть не мог несообразностей. Он знал наперечет всех своих офицеров и по зимам, в Петербурге, мысленно присутствовал

на вахт-парадах у гатчинского коннетабля на баталионных учениях. Там трудился Аврам. Ежедневно от отсылал цесаревичу рапорты:

– Штаб-офицер об отпуске просит на три дни. Швед явился с аттестатами о принятии в команду наследника. Аудитора надо направить для производства следствия над конной артиллерии извозчиком. Подполковник Аракчеев увольняется по собственным нуждам на три месяца и о том просит изволения. На подполковника Пузыревского жалоба маиора Герценберга. Из Софийского полка уволенный музыкант явился с прошением о принятии в баталион его высочества. Гренадер желает жениться на крестьянской девке...

Павел Петрович вставал в пять по полуночи. При свечах читал рапорт своего главнокомандующего. Не терпел, чтоб было лишнее, но выходил из себя, когда узнавал стороной то, о чем не сообщено.

"... должен вам подтвердить, чтоб были вы осмотрительнее..."

"... вместо того, чтобы становиться вам лутче, вы оплошнее исполняете вашу должность..."

"... вы же, г.подполковник Баратынской, дадите мне ответ, почему вы в силу должности вашей о сем меня не уведомили и не разобрали оное дело..."

"... вы, г.подполковник Баратынской; сами собою без моего дозволения..."

"... но к удивлению моему, г.подполковник Баратынской, о том мне не донесено..."

Кончилось сие тем, чего следовало ожидать.

1796

Уши и глаза Павла Петровича – турок Иван Кутайсов сглазил Катерину Ивановну в феврале, и Павлу Петровичу стало ясно, что государыня расставила с ее помощью вокруг Гатчины и Павловского своих шпионов. Великий князь переходил к бешенству быстро. Он не пожелал более видеть Нелидову, а следом за нею в конце марта прогнал от себя и своего главнокомандующего. Остальных братьев опала не успела коснуться: они были далече – в плавании у аглицких берегов.

Мартовское солнце топило черный снег на дорогах. Аврам уезжал из Гатчины в Петербург. Было ему нехорошо – сие несомненно. Ему оставалось жить ровно четырнадцать лет, которые требовалось заново наполнять целью и отчетливостью. Где то и другое взять – он вряд ли знал.

А мы знаем, что пройдет семь с малым месяцев, снова все переменится; знаем даже, что именно произойдет с Аврамом чрез семь с малым месяцев. Неизвестно нам как раз то, что знал сам Аврам, – как именно ему было нехорошо, какие привычки сердца и заблуждения ума он оставлял в Гатчине! Заполнить сей пробел возможно лишь глубокомысленными предположениями (что-нибудь вроде: будучи телом, вероятно, в яцынскую породу – ширококостным, тяжелым, с виду неповоротливым, – он, от того, от чего другие люди хиреют и усыхают, должно быть, только полнел; вся энергия, вырывавшаяся из него на гатчинском плацу, теперь, оставаясь нерастраченной, видимо, пересыщала тело; быть может, рос живот; несмотря на язвительное напутствие, коим, скорее всего,

Павел Петрович сопроводил отставку Аврама, тот, верно, скучал и по великому князю, и по Гатчине; очевидно, ему вспоминалась легкая фигурка и бодрый шаг наследника, мерещилось ласковое слово рыцарственного примирения; наверное, он надеялся быть снова призванным, ибо рожден был для службы царской; но Аврам не смог бы никогда броситься на колена и, подобно Аракчееву, обнимая сапоги цесаревича, шептать в отчаянии: "У меня только и есть, что Бог да Вы!" – Аракчеев был безроден, у Аврама были отец, братья, сестры, Голощапово, Подвойское, будущая жена, будущие дети, дом, сад, поля, деревня – ему было что терять и, хотя он прослужил в гатчинском войске пять лет и по должности своей не мог не совершать зла, исполняя приказы (в том числе безумные) великого князя, он жил честным человеком и ведал, что такое достоинство).

Однако предположений будет еще предостаточно на сих страницах, и посему, любезный читатель, знакомьтесь пока с былью.

ГРУШЕНЬКА

Быль

Грушенька вдовела третий год. Муж ее геройски сражался под Очаковым, за ранами вышел из службы раньше срока и умер на ее руках. Детей Грушеньке бог не дал, и она, несмотря на свои двадцать пять лет, была стройна и прекрасна.

Однажды, незадолго до Успеньева дня, она отправилась, как и ранее, продавать цветы. Утро было прохладное, цветы облиты росою. Когда она поворотила на мост у столпа, навстречу появился молодой офицер. Глаза его, кроткие и насмешливые, смотрели на Грушеньку ласково и лукаво.

– Ты продаешь цветы? – спросил он с улыбкою.

– Продаю, – отвечала она.

– А что тебе надобно?

– Пять копеек пучок.

– Это слишком дешево. – С сими словами он взял ее руку в свою и положил в нее рубль. – Такие цветы стоят дороже, – сказал офицер, снова улыбаясь приятно. – Не сердись и не пугайся. Как тебя зовут?

– Грушенька, – отвечала Грушенька.

– А меня ***, – он сказал свое имя. – Вот видишь, мы познакомились. Но нам не дело стоять на мосту в виду всех прохожих. Нас заметят, могут подумать негожее, а потом разнесут везде. Где ты живешь?

Грушенька привыкла к *** и полюбила. Сегодня она надела его любимое вишневое платье. Колечко, им дареное. Свечи укрепила справа, как он любит. Посередине стола поставила пирог.

Звякнул колокольчик у дверей. *** взошел в горницу; но глаза его были печальны, улыбка грустна.

– Что с тобою стало? – спросила Грушенька, и голос ее задрожал.

*** погладил ее по голове и молча улыбнулся.

– Что? что с тобою стало, ангел мой? – еще более испуганно воскликнула она.

— Я принес нерадостное известие, милая Грушенька. Да. Обстоятельства принуждают меня ехать отсюда.

— Куда? Как! — Если бы Грушенька была знакома с приличиями света, то, верно, упала бы в обморок. Но она лишь села на лавку и встревоженно смотрела на ***. — Я ничего не понимаю. Я ведь пирог испекла. Сама. Ты сегодня странно шутишь.

— Я не шучу, любезная Грушенька. Я получил отставку. Мои вещи уложены, лошади запряжены. — *** подошел к ней и обнял за плечи. Она зарыдала горько. — Утешься, милая Грушенька... Ты прекраснейшая женщина в этом свете... Ты знаешь, что я стану горевать о тебе... Я не могу взять тебя с собою... Увы! Но я всегда буду хранить в душе твой милый образ... Помни и ты меня... Возьми мой портрет... Вот он... Видишь?.. Посмотри сюда, Грушенька, не плачь... — Так *** утешал Грушеньку.

В сенях загрохотало. *** вздрогнул, побледнел и снял руки с Грушенькиных плечей. Грушенька вскочила, выбежала в сени, про себя сказала сердитое слово, хлопнула входной дверью, вернулась назад. Слезы еще катились по ее лицу, когда она взглянула на ***.

— Котенок проказничает. — Она остановилась, не зная, что сказать или сделать.

— Я еду, милая Грушенька. Прощай.

Она не успела обнять его крепко, как хотела, даже в глаза не заглянула вновь: он был уже в сенях.

— Да! — вскрикнула она. — Да как же! А пирог-то?

— Потом, когда я вернусь, ты испечешь новый. Прощай, милая Грушенька! — И дверь захлопнулась. Бесшумно соскользнул он со ступеней крыльца, и когда Грушенька выбежала ему вслед, только услышала за калиткой быстрые шаги. Она вернулась в горницу, тяжело дыша. Взяла оставленный подарок: то была табакерка с портретиком *** на лицевой стороне. Грушенька вертела ее между пальцев бессмысленно.

— Боже! Как я несчастна! — сказала она со всею той силой ропота, на какую была способна ее кроткая душа. И чтобы выплеснуть сию злую силу, она с размаху бросила табакерку прочь. Табакерка попала в печь, задняя стенка ее отскочила, и по полу гулко и дробно покатились настоящие червонцы. Грушенька смотрела на них. Последний червонец, покружившись, лег возле ножки стола как бы в ожидании, что его поднимут. Грушенька медленно встала, подошла к двери, закрыла засов, вернулась, взяла подсвечник (ангелы держат по свече — тоже подарок, но еще барона), приподняла скатерть, осветила: под стол закатились пять золотых кружков. Она снова поставила подсвечник. Слезы катились по щекам. Посмотрела вокруг: пирог, табакерка, полотенце — когда упало, не заметила. Подняла полотенце, села. Облокотилась руками на стол и обняла ладошками мокрые щеки.

— Уехал, — горестно сказала Грушенька вслух. — Уехал. А меня оставил. — И зарыдала.

* * *

Милостивый государь! Андрей Васильевич! Я недавно приехал из Гатчины, в коей Абрам Андреевич оставил по себе лестный аттестат. Каждый офицер, каждый солдат, житель, от мала до велика, с восхищением произносит имя его. Я привез к нему от всех подчиненных его и неподчиненных сердечнейшие поклоны; и самые начальствующие все преисполнены к нему почтением и любовию, как то: Алексей Андреевич Аракчеев, Григорий Григорьевич Кушелев и некто управляющий Гатчинскою конторою полковник Петр Фрисанфович Обольянинов, и все прочие. Что ж касается до меня, я надеюсь, вы уверены, что я в чувствованиях моих ко всей фамилии вашей непременен и навсегда пребуду таков... ваш милостивого государя покорнейший слуга Иван Черкасов.

* * *

По сравнению с Гатчиной Адмиралтейская коллегия, куда попал Аврам, была местом обиталища блаженных душ. Все здесь двигалось с неспешностью, даже мухи летали неразворотливо и в полусне ("Я в счетной экспедиции, в месте довольно спокойном. Мундир я ношу по желанию: могу носить флотский белый или свой прежний; но я ношу прежний, а между тем, нахожусь я в списке армейском и в обеих местах мое старшинство идет, и когда вздумается, то я могу быть и в армии, что и исполню, как скоро получу мои деньги из коллегии"). Но уже лето прошло; уже Мария Феодоровна принесла Павлу Петровичу третьего сына (первые два, Александр и Константин, были к той поре отроками), а России еще одного великого князя – Николая; уже государыня Екатерина предлагала Марии Феодоровне подписать бумагу, отрешающую от будущего престола Павла Петровича в пользу старшего отрока Александра. Уже осень настала, пришел октябрь, рощи отряхали последние листы, а невидимая десница Провидения была подъята, чтоб произвесть неслыханные события.

* * *

К осени Павел Петрович соскучился и стал приглашать Нелидову снова к своему двору. Но Катерина Ивановна, помня, как ей указали на дверь и зная нрав цесаревича, новых les bassesses* не желала. В Смольном, в покоях, отведенных ей начальницей Воспитательного общества благородных девиц мадам Делафон, Нелидова ограждала себя от своего дорогого друга.

Но вдруг 6-го ноября, ввечеру, скончалась государыня Екатерина.

Говорят, как скоро Павел Петрович прискакал во дворец (это было еще днем, и еще жизнь в государыне теплилась), князь Безбородко успел удалиться с ним в отдельную комнату и показать то самое завещание, и бумага была испепелена.

Присягу провели немедля. Наутро невыспавшаяся столица наблюдала нового императора.

---

*Низостей *(фр.)*.

Все смешалось в городе Петрограде. Кто был ничем, тот стал всем. Кто был всем, тому надлежало отбыть с фельдъегерем. Немыслимое движение сделалось на российских дорогах. Из отпусков скакали в Петербург, из Петербурга скакали в пожизненный отпуск – забиться в имение, жить среди мужиков. На станциях те, кто несся в Петербург, спрашивали у тех, кои летели из Петербурга: что деется? Вести были одна каверзнее другой. Говорили, что гвардии боле нет, что гатчинцы заняли приступом дворец, что все дома и заборы велено перекрашивать под шлагбаумы; что французский язык запрещен по причине скрытой в нем якобинской заразы, а тех, кто на нем говорит, отправляют на гауптвахту; что изданы артикулы о длине фраков, панталон и жилетов, что нет, артикулов нет, просто панталоны, жилеты и фраки изустно запрещены, и, кто в них ходит, того в сутки высылают из столицы; что введены новые мундиры ниже колен и букли как при Петре Феодоровиче; что запрещены все собрания и, если кто у кого соберется больше трех, в том видят сговор; что старший Архаров теперь в большой чести – полицеймейстер, ловит заговорщиков и сам их допрашивает; что в Петербурге встают по барабану в пять по полуночи и, кто не встал, того водят по городу в чем застали (и в шлафроке водят!), что гатчинских поручиков производят в генералы, и они учат разводу прежних генералов, кои разжалованы в поручики; что княгиню Дашкову, в чем была, увез фельдъегерь, без слуг и провианта прямо под Нижний, в деревню; что один граф Безбородко не отставлен за то, что сжег все бумаги государыни и рассказал новому государю *всё*; что какой-то Акрычеев или Агарчеев, гатчинский капитан, а теперь комендант Санкт-Петербурга, командует гвардией и полковникам велит нести караульную службу в солдатской караульне; что до ветру теперь ходят строем три раза в день; и что теперь будет, одному богу ведомо. – Ждите, будет от этого царя толк!

Гатчинское войско вступило в Петербург и выстроилось на Дворцовой площади. Государь император оглядел своих любимцев и, сверкнув очами, молвил: "–Благодарю вас, мои друзья, за верную ко мне вашу службу. И в награду за оную вы поступаете все в гвардию, а господа офицеры чин в чин".

– Что за офицеры!

– Какие странные лица!

– Какие манеры!

– И как странно они говорят!

Мечта Павла Петровича совершалась въяве: воочию и вслух. Он призвал к себе Архарова. Ястребиные глаза Архарова выражали готовность напасть, смять, истребить. Павел высказал неудовольствие круглыми шляпами, отложными воротниками, сапогами с отворотами, фраками, панталонами, жилетами и еще кое-чем по мелочи. Слуга царю, петербургский генерал-губернатор не стал медлить. К полудню 8-го ноября весь Петербург переодевался, портные заламывали за спешную работу немыслимые деньги, втоптанные в ноябрьский снег шляпы и оборванные фалды стали боевыми трофеями бравых будочников. В суматохе первых дней творения Павел торопился так, как его прадед не торопился, сбривая бороды и раздирая боярские кафтаны.

Плевали все. Обесчещенная старая гвардия глухо роптала. "Образ нашей жизни офицерской совсем переменился; при императрице мы помышляли только, чтобы ездить в общества, театры, ходить во фраках, а теперь с утра до вечера на полковом дворе, и учили нас всех, как рекрут". В три дни гвардейцев переодели в гатчинские темно-зеленые мундиры, обругали ракальями и причесали по-прусски: волоса зачесаны, запомажены, запудрены до белизны, железная проволока на затылке, на проволоке коса.

Павел пил свою свободу то крупными, то мелкими глотками, и с каждым глотком менялись адреса бывших любимцев и прежних опальных. Государь продиктовал запрещенные слова и те, что предписывались взамен оных.

Не употреблять	*Писать*
Обозреть	Осмотреть
Выполнить	Исполнить
Пособие	Вспоможение
Стража	Караул
Общество	Собрание
Гражданин	Купец или мещанин
Свобода	Позволение

Вахт-парады были перенесены от гатчинского коннетабля на Дворцовую площадь. Все надо было начинать заново. Как Петр Великий начинал. Но великий прадед был варвар, пил квас и пел бранные песни. Новая Россия должна была быть изящнее и изысканнее Франции, точнее и порядочнее Пруссии.

Нелидову он не забывал и в первое же утро царствования, просматривая списки, вычеркивая одних, вписывая других, сделал Андрея Нелидова, брата Катерины Ивановны, полным маиором с назначением быть адъютантом при его величестве. Но Нелидова из Смольного не вернулась. Ноября 9-го Нелидов был повышен до подполковников.

На следующий день ко двору вызвали Аврама Боратынского.

* * *

14 ноября 1796 года. С.П.б.

Милостивый государь батюшка! Имею честь поздравить вас с нашим милостивым императором, которого вступлением первое дело было изливать неисчетные всем милости. – Я опять не забыт. Меня вспомнил государь на четвертый день вступления. Я взят к нему в адъютанты с чином полковника. Вчерашний день ввечеру я поздравлен, а севодни уже и вступил в должность. – Я ни у кого не в команде, кроме самого государя. – Брата Богдана также изволил взять к себе в адъютанты с чином подполковника*, и севодни послан курьер в Англию за ним нарочно. – Множество милостей для всех верноподданных излил преизобильно – рекруты уничтожены; хлеб отбирать не велено... и протчего много выгод для всего государства. – Теперь прошу вас, батюшка, просите бога, чтоб он укрепил меня и всех нас в подвиг, ибо Его неисповедимым промыслом

---

*По-морскому: капитан 2-го ранга.

все нам делается. — И за сим с моим к вам глубочайшим высокопочитанием и преданностию пребуду ваш, милостивый государь батюшка, покорный сын

Аврам Боратынский.

* * *

Накануне дня великомученицы Екатерины, ноября 23-го Павел послал в Смольный нарочных для вручения Нелидовой подарка. Та подарок отвергла. Через неделю государь сам посетил Смольный вместе с Марией Феодоровной и цесаревичем Александром Павловичем. Госпожа Делафон, вероятно, улыбалась, Катерина Ивановна была сдержанна.

Декабря 1-го Алексашинька Боратынский, вчерашний кадет, был взят в свиту к государю и сделан квартирмейстером. ("Чин сей поручичий; но место важнее гораздо чина".)

Декабря 5-го подполковнику Андрею Нелидову пожалована тысяча душ, и две тысячи душ в некой Вяжле — Авраму и Богдану Боратынским. ("Вяжля — село Тамбовской губернии Кирсановского уезда, в 12 верстах к югу от города Кирсанова, на правом берегу реки Вяжли, притока Вороны с левой стороны".)

Декабря 11-го две тысячи душ Павел пожаловал в Смоленской губернии матушке Катерины Ивановны. Твердость Нелидовой была поколеблена. Она благодарила почти доверительно.

Декабря 18-го Петр Боратынский был сделан маиором.

1797

В первый день нового года подполковник Андрей Нелидов был произведен в полковники, полковник Аврам Боратынский — в генерал-маиоры. В Зимнем дворце для Катерины Ивановны отвели особые покои. Вздохнув, она оставила Смольный и вернулась к Павлу.

* * *

Среди прочего по гвардии и армии ввели новый устав, составленный по прусскому образцу. Надо было учить уставу войска, разбросанные по губерниям. Учителей государь выбирал из бывших гатчинцев.

* * *

Г. генерал-маиору и генерал-адъютанту Баратынскому.

Ехать вам в Киев и Тульчин осмотреть, все ли в порядке по предписаниям моим делается и все ли исполняется, нет ли злоупотреблений, равномерно привести часть Суворова в мирной обряд и распорядок.

Павел.

* * *

Граф Рымникский, фельдмаршал Суворов, в походах спал на соломе и ел сухари. Вставал в четыре утра, обедал в восемь-девять, тоже утра. Взял Измаил и Варшаву. От государыни он получил предписание готовиться к походу на якобинцев.

– Безбожные, окаянные французишки убили своего царя, – сказал фельдмаршал войску. – Они дерутся колоннами, и нам, братцы-ребята, должно учиться драться колоннами. – И войско училось драться колоннами.

О новых гатчинских правилах в армии фельдмаршал высказывался дерзостно. Павел не верил ему и посему послал в Тульчин, где тот стоял со своей дивизией, Аврама, видимо, наказав ему обнаружить непорядки во что бы то ни стало.

Сначала петербургский генерал явился в Киев. "Все вздрогнули, все ожидали видеть людоеда; тем приятнее все были изумлены, когда узнали сего почтенного, тогда еще довольно молодого человека, благонамеренного, ласкового, с столь же приятными формами лица, как и обхождения. Казалось, он приехал не столько осматривать полки, сколько учить их новому уставу, и он делал сие с чрезвычайным усердием, с неимоверным терпением, как будто обязанный наравне с их начальниками отвечать за их исправность. Он охотно разговаривал о своем государе и благодетеле, уверяя всех в известной ему доброте его сердца, стараясь всех успокоить на счет ужасов его гнева и чуть-чуть было не заставил полюбить его".

Когда генерал-маиор явился в Тульчин, Суворова там не оказалось: он был в двенадцати верстах, в деревне.

– Прикажите поскорее лошадей, – велел Боратынский. – Я прислан государем императором. – Адъютант распорядился подать генералу дормез, а сам помчался вперед доложить Суворову.

– По приезде впустить, – приказал фельдмаршал.

Они говорили два часа. Потом петербургский генерал вышел на крыльцо. К нему подскочил адъютант.

– Ты куда? – спросил Боратынский.

– За вами, ваше превосходительство, для получения ваших приказаний.

– Сядемте вместе со мною.

– За честь себе поставлю!

– Боже мой! – сказал грозный петербургский инспектор. – Какое несчастие, что государю графа так оклеветали; я более ничего не желал, как того, чтобы государь хоть с час пробыл бы с ним в кабинете, для блага государства и отечества!..

Но что он мог сделать? – И 6-го февраля Суворов был отставлен без мундира.

А Аврам, едва вернулся из Тульчина, тотчас отправился с секретным поручением в Шлиссельбург, и 23-го февраля снова был в дороге. – Пока Аврам путешествовал, в Смольном, в торжественной обстановке и в присутствии высоких гостей из Зимнего, отпраздновали очередной выпуск благородных девиц, окончивших курс воспитания. Среди выпущенных была и Марья Андреевна Боратынская, по-домашнему Машурок, старшая из сестриц.

Аврам успел, видимо, по возвращении из Шлиссельбурга, проводить своего Машурочка – она уезжала по последнему зимнему пути к батюшке до осени. Но число Боратынских в Петербурге не уменьшилось – из

Англии прибыл сухим путем обветренный Богдан (тотчас государь сделал его полковником*, а заодно и Илью, остававшегося до времени в Англии, повысил заочно до капитан-лейтенантов).

Павел, как его великий прадед, признавал одну личную выслугу. 17-го мая он дал Авраму полк: лейб-гренадерский.

Снова судьба свела Аврама с гренадерами. Только в сравнении с двумя сотнями пьяниц, коими он командовал под Фридрихсгамом восемь лет назад, теперь под его началом было без малого четыре тысячи человек, хорошо отрепетированных маиором Эртелем (присланным государем в полк еще в ноябре).

Жил Аврам теперь в Офицерской улице, в доме хорошем и просторном. Двадцать человек одной прислуги.

Сие ль не счастье?

Но тороплива царская служба, и, едва принял полк, надо снова мчаться – теперь в Ригу, куда звал его еще майский государев приказ ("Господин генерал-маиор и генерал-адъютант Баратынской. С получением сего отправьтесь немедленно для учинения инспекторского смотру над всеми пехотными полками Лифляндской дивизии и обо всем, что вами найдено будет, доносите прямо мне. – Пребываю вам благосклонный Павел").

* * *

16-го июня Аврам летел в Ригу, как и подобает генерал-адъютанту, видимо, с лицом, выражающим высокую служебную заботу, но с сердцем смущенным, ибо он, кажется, влюбился. – Александрина Черепанова, или Черепаха, как ласкательно дразнили ее подруги, воспитывалась с Машурочком и после выпуска из Смольного в феврале была определена фрейлиной Марии Феодоровны. – Свою сердечную заботу Аврам выдал нечаянно сестре: "От Черепановой тебе, сестрица, великие пени. Я уже от нее бегаю. Сделай дружбу, пиши к ней, она тебя сердечно любит". – Кто кого здесь более любит, сами понимаете, вопрос. Ответ не замедлит явиться: Аврам едет в Лифляндию с мечтой в душе.

* * *

Августа 2-го, после обеда, государь прогуливался в Павловском. Внезапно раздались звуки барабана и конский топот. Полки строились в боевые порядки, опаздывавшие торопились, сталкивались, падали.

Однако ни бунта, ни измены не случилось. Просто в конно-гвардейских казармах заиграли для пробы в трубу. В соседних казармах трубу услышали, и кто-то, самый сметливый, крикнул: "– Тревога!" – Крик услышали. Близстоящие не поверили, но кто был далее, на ложь поддался. Через минуту все павловское военное население летело ко дворцу. Государь объявил исполнительным офицерам высочайшее удовольствие. Оное было напечатано в "Санктпетербургских ведомостях": "За вчерашнее усердие и исправность во время тревоги".

Мария Феодоровна сетовала супругу: – "Не следует приучать их

---

* Капитан 1-го ранга.

к мысли, что произошла беда во дворце". – Но августа 4-го, в то же примерно время, случилась новая тревога. Снова, во время прогулки государя, всё вокруг помчалось и поскакало. Двух офицеров ранили, потерпели и нижние чины. Выяснилось: после обеда офицеры нашли в казармах своих солдат в полном обмундировании. Кто сказал, что будет тревога, не доискались. Разуверениям командиров солдаты не поверили. Затем в самом деле затрубили в рожок, и уже переполошенные офицеры должны были удивляться прозорливости солдат и скакать за ними вслед. – Рожок был почталионский. (Павел велел накануне всем почталионам выдать немецкие рожки, чтобы те оповещали о своем прибытии; приказ до полков довести не успели, а тем временем один из почталионов экстренно прибыл в Павловское из Петербурга и стал о том трубить.) После сего государь повелел жителям Павловского: "Чтобы во время высочайшего присутствия в городе не было ни от кого произносимо: свистов, криков и не дельных разговоров".

В это самое время, вдоволь проездившись по Лифляндии, Аврам скакал в Павловское для отчета о произведенном смотре. Должно быть, прямо с дороги предстал он перед Павлом. – "Вот на ком у меня порядок в Гатчине держался", – должен был думать Павел, глядя на запыленного генерал-маиора, и пожаловал ему аннинский крест на шею, звезду на грудь и три деревни под Москвой.

* * *

Лейб-гренадеры привыкли к старому своему командиру – Берхману, и новый, молодой, Боратынский, удручил уже тем, что происходил из гатчинского войска. Новый командир не кричал громовым голосом и не ругался по-матерну, но гренадеры ворчали. Они только теперь поняли, что три зимних месяца, когда маиор Эртель гонял их по Царицыну лугу, обучая прусской выправке, дело не временное. Двенадцать офицеров подали прошения об отставке. Их уволили теми же чинами без права ношения мундира. Несмотря на острастку, еще пятеро вышли из полка. За лейб-гренадерами надлежал особливый присмотр – шефом их был сам государь.

Осенью начались первые за императорство Павла сухопутные маневры в Гатчине. Каждый день шли дожди, утром солдаты натягивали невысохшую одежду. Пудра с буклей осыпалась у офицеров, и намокшая мука комьями падала на щеки и плечи солдат.

– Шар-жируй!

– Марш!

– Р-раз! Р-раз! Р-раз, два, три! Л-левой! Л-левой!

Деньги не держали в казармах, но брали с собой: прямо с ученья могли отправить за можай. Нескольких рядовых в одночасье выслали в Томский гарнизон, о чем в семьях их узнали лишь ввечеру, когда несчастные уже были на пути в Сибирь.

С Александриной Черепановой за делами Аврам виделся, наверное, лишь мельком. Он был занят, занят, занят; он отложил мечту о счастье на окончание маневров.

За маневры Авраму был даден собственный дом в Петербурге. Разу-

мeется, места здесь хватало на всех братьев и сестер, да без них Аврам себя и не мыслил: "Теперь мы его отстраиваем, отделываем, и будет для всех нас довольно. Он стоит нам со всей поправкой тысяч до 5-ти. Но уже будет господской дом и свой собственный уголок".

* * *

Началась вторая зима нового царствования. У Марии Феодоровны приближались новые роды. Катерина Ивановна пребывала неотлучно при государе. Турок Иван все чаще слышал ласковые речи первых придворных. Отношения государя с Марией Феодоровной ухудшались.

Любовь Аврама за месяц вспылала, видимо, негасимым огнем.

* * *

11-го декабря 1797 года. С.П.б.

Милостивый государь батюшка!

Я вам сообщаю новость. – Тут любопытство: какую? – Я не хочу долго томить вас. Я, я, я женюсь; и очень скоро уж сосватал, и по рукам ударили. – Вы мне прежде, батюшка, дали свое родительское благословение; то я тут прав, что прежде вас об оном не уведомил. – Вы хотите знать, кто? – Вы ее знаете: девица добрая, любезная, и такая, которая будет с нами всеми одна душа. Однако ж, я еще не сказал, кто такова? – Вы догадываетесь... отгадали. – Черепанова. – Дело совсем сделано. – Вчера представлялись мы государю и государыне. – Приезжайте, батюшка, скорее к нам. В исходе генваря брак наш совершится. – Может быть, вы скоро получите еще письмо – а теперь почта, то больше никак не могу успеть – сам бог управляет наши судьбы; и теперь я могу назваться гражданином и вашим покорнейшим сыном

Аврам Боратынский.

* * *

Итак, судьба его совершилась. У него были отец, братья, сестры, генеральский чин, дом, деревни, поля, крестьяне. Он был тридцати лет, и ему не хватало счастия.

1798

Перед венчанием несколько дней подряд государь присутствовал на разводных учениях лейб-гренадер. Боратынский не ударил в грязь лицом, и в приказе было объявлено: "Лейб-Гренадерский полк становится час от часу лучше, что относится единственно к старанию и усердию генерал-маиора Баратынского".

28-го генваря родился порфирородный отрок – Михаил Павлович. 29-го Аврам венчался: "при дворе было две свадьбы: генерал-маиора Абрама Баратынского с фрейлиною Черепановою и графа Шоазеля с фрейлиною Потоцкою. Невестам в комнате ее величества изволили прикалывать бриллианты великие княгини и великие княжны. После венчания новобрачные были в спектакле придворного театра".

* * *

1 февраля 1798 года. С.П.б.

В 29-й день генваря свершилась судьба моя. Пред престолом самого бога я клялся вечно соблюсти мой обет — я его не нарушу. — Я нашел друга искреннего мне по сердцу моему. Я счастлив, батюшка! порадуйтесь благополучию преданного вам сына и благословите его хоть заочно. Она всем нам друг и будет вечно. — Третий день, как я вступил в сей священный союз, и вижу в себе уже великую перемену! буйность пылких страстей исчезла; еще в первый раз ощущаю тихое спокойствие в душе моей; дружество и любовь я ощущаю вместе, и каждая из них наперерыв дает мне чувствовать мое счастие. — Примите, милостивый государь батюшка, вашу третию дочь, я надеюсь, что от вас она равную горячность и благословение получит со всеми нами. — Ах, батюшка! будьте вы свидетелем нашего счастия, если можно, приезжайте к нам. Еще зима долга; вы возвратиться назад можете. Еще счастие мое несовершенно, когда дражайший родитель наш не будет оного свидетелем. — Итак, надеясь, что вы по родительской к нам любви нам доставите сие удовольствие и засим с моим к вам глубочайшим высокопочитанием и преданностию пребуду покорнейший сын

Аврам Боратынский.

При сем и я вам, милостивый государь батюшка, свидетельствую мое всенижайшее высокопочитание; рекомендую себя заочно вашей милости и остаюсь навек третья дочь ваша

Александра Боратынская.

* * *

Аврам всегда мечтал о тихой нравственной жизни, о нежной подруге, и теперь ему недоставало только гнева государя да высылки из столицы; судьба расставляла флажки на карте его бытия, чтобы через 20—30 лет не тратить времени на обдумывание маршрутов старшего из Аврамовых сыновей, а между прочими заботами определять его в те места и те положения, кои уже размечены на сей карте. Полковая служба в нижних чинах, квартира близ Фонтанки в Семеновских ротах, унылый плен в Кюменской бухте против Роченсальмского маяка, визит в дом к Суворову, сама женитьба, скорая и внезапно решенная, сама жена, подруга нежная, чей образ Аврам не будет уметь оформить в нежном и благодарном слове, но это и не его дело, потому что слова Аврама были черновиком, обработанным твердой рукою его старшего сына. Ничего удивительного: судьбе дано только намечать общие контуры похожести: она может вовсе построить жизнь одного на повторах жизни другого. Но она не всевластна над словом и душой и вынуждена итти на уступки, дав выговориться кому-то из них без всяких симметрий и отражений. Правда, и тут она всё старается о соблюдении буквальных, словесных совпадений, выплескивая из нас, по меньшей мере, одинаковые междометия в одинаковых ситуациях и порой с облегчением видя, как мы, кажется, вполне вживаемся в ее предначертания. И вот судьбе уже мнится, что Александрина Черепанова избрана Аврамом как прототип Настасьи

Энгельгардт для первого Аврамова сына — Евгения, и, едва обработав образ Александрины в душе Аврама, она откладывает свой труд до иных времен, чтобы при появлении перед лицом Евгения милой Настеньки докончить свою работу. И вот она уже знает, что и Евгений, едва женившись, тотчас чужую песню скажет и как свою ее произнесет: "Я женат и счастлив. Ты знаешь, что мое сердце всегда рвалось к тихой и нравственной жизни... и очень рад, что променял беспокойные сны страстей на тихий сон тихого счастья".

Но то будет почти через тридцать лет. Все впереди. А ныне — у Аврама еще нет того, с чего начнут его дети; степи, неба, дома, сада, неги пространств и широты земной пред взором. Сие не за горами, и он счастлив.

* * *

Семейная жизнь отвращает и достойнейших от царской службы. В феврале, потом в марте государь гневался на лейб-гренадер: *за разводы и несмотрение офицеров в опрятности*. Аврам получил несколько выговоров. Непогода сия была, впрочем, только искушение. Боратынские не теряли силу. Илья, вызванный из Англии, сделан был флигель-адъютантом; Петр получил полковничий чин (капитан 1-го ранга); Богдану обещана была под команду эскадра; младшую Катиньку устроили в петербургский пансион. Жили все вместе — в дареном и обустроенном петербургском доме ("Потому можете себе представить, сколько много весело время проводим; словом, мы счастливы... Чудом почитаем, что, будучи все разных служб, и судьба нас не разлучает!").

* * *

Императрица Мария Феодоровна после январских родов была слаба. Катерина Ивановна находилась при ней почти неотлучно. С некоторых пор они весьма сблизились, и дружба сия стала началом сокрушения Нелидовой.

В мае государь надумал проездиться по России. В Москве ему показали томную девицу Лопухину, любящую его давно и нежно. Накануне отъезда в Казань дело было слажено, и ее батюшка, Петр Васильевич, стал готовиться к переезду в северную столицу для получения важного места.

Москва Павлу понравилась: — "Как отрадно было моему сердцу! Московский народ любит меня гораздо более, чем петербургский; мне кажется, что там теперь гораздо более боятся, чем любят". — "Сие меня не удивляет", — заметил Кутайсов. — "Почему же?" — "Не смею объяснить". — "Тогда приказываю тебе объяснить". Верно, чулок в руках Ивана замер над ногой императора, и голос задрожал: "Государь, дело в том, что здесь все вас видят таким, какой вы есть действительно, — благим, великодушным, чувствительным; между тем как в Петербурге, если вы оказываете какую-либо милость, то говорят, что это или государыня, или госпожа Нелидова, или Куракины выпросили ее у вас, так что когда вы делаете добро, то это — они, ежели же когда покарают, то это вы покараете". — "Значит, говорят, что я даю управлять собою?" — пора-

зился Павел. – "Так точно, государь"; – осмелел турок Иван. – "Ну хорошо же, я покажу, как мною управляют!"

Из Казани в Павловское государь вернулся 8-го июня. В его обращении с Нелидовой появилась принужденность; при виде Марии Феодоровны закипало глухое раздражение. Он не смел еще ослушаться Катерину Ивановну, но дальновидные люди предчувствовали перемены. Страшно ему бывало: измена снова вила гнездовье рядом, верные люди оказывались предателями и требовалось срочно удвоить число караулов.

* * *

Июня 18-го Аврам был произведен в генерал-лейтенанты. Государь еще раздавал чины нелидовским любимцам, но то было одно следование привычке, а не зов сердца. В сердце зрела гроза.

Гроза разразилась утром 25-го июля. Говорили так: "Около десяти часов император послал за великим князем наследником и приказал ему отправиться к императрице и передать ей строжайший запрет когда-либо вмешиваться в дела. Великий князь сначала отклонил это поручение, старался выставить его неприличие и заступиться за свою мать, но государь, вне себя, крикнул: – "Я думал, что я потерял только жену, но теперь я вижу, что у меня также нет сына!" – Александр бросился отцу в ноги и заплакал, но и это не могло обезоружить Павла. Его Величество прошел к императрице, обошелся с ней грубо, и говорят, что если бы великий князь не подоспел и не защитил бы своим телом мать, то неизвестно, какие последствия могла иметь эта сцена. Несомненно то, что император запер жену на ключ и что она в течение трех часов не могла ни с кем сноситься. Г-жа Нелидова, которая считала себя достаточно сильной, чтобы выдержать эту грозу, и настолько влиятельной, чтобы управиться с нею, пошла к рассерженному государю, но вместо того, чтобы его успокоить, она имела неосторожность – довольно странную со стороны особы, воображавшей, что она его так хорошо изучила, – осыпать его упреками. Она указала ему на несправедливость его поведения с столь добродетельной женой и столь достойной императрицей и стала даже утверждать, что знать и народ обожают императрицу... далее она стала предостерегать государя, что на него самого смотрят как на тирана, что он становится посмешищем в глазах тех, кто не умирает от страха, и, наконец, назвала его палачом. Удивление императора, который до тех пор слушал ее хладнокровно, превратилось в гнев: – "Я знаю, что я создаю одних только наблагодарных, – воскликнул он, – но я вооружусь полезным скипетром, и вы первая будете им поражены, уходите вон!" – Не успела г-жа Нелидова выйти из кабинета, как она получила приказание оставить двор".

Турок Иван торжествовал. Нелидова отправилась в Петербург. Обгоняя ее, промчался курьер, и когда наутро она приехала к любимой подруге Наталье Александровне Буксгевден, то узнала, что супруг любимой подруги отставлен от дел петербургского генерал-губернатора.

Павел начинал царствовать сначала. Лишь явился в Петербург Лопухин с семейством, был уволен Куракин, задушевный друг Катерины Ивановны, а Лопухин назначен на его генерал-прокурорское место. Как

когда-то искоренялся дух потемкинский, так теперь уничтожались следы нелидовского торжества. Августа 24-го госпожу Буксгевден за неосторожное словцо повелено было выслать из Петербурга. Сентября 5-го Буксгевдены выезжали в Эстляндию, в замок Лоде, который когда-то государь пожаловал бывшему петербургскому генерал-губернатору. Катерина Ивановна отправлялась вместе с ними. ("Хорошо же, пускай едет, — сказал Павел. — Только она мне за это поплатится".) Сентября 29-го двор переехал в Петербург. Был дан бал при дворе, и юная дочь Лопухина, блистая взорами, явилась на первом своем придворном ужине.

Начались осенние дожди. Михайловский замок стоял еще в лесах, государь торопил строительство, желая перебраться туда по весне. Уже сделали самое главное: надпись над вратами: *Дому твоему подобаетъ Святыня Господня въ долготу дней* (и сколько здесь литер, столько лет он, государь, и прожил: сорок семь).

* * *

Аврама в ту пору уже не было в Петербурге. Он торопился выехать до распутицы.

Рассказывали: "Император Павел, будучи недоволен одним из лиц, близко стоявших ко двору, приказал генералу Боратынскому передать от его имени довольно резкую фразу. Питая особое уважение к навлекшему на себя Высочайший гнев и не желая причинить ему сильного огорчения..." — Словом, пока Аврам ехал к достопочтенной особе, в уме его слова государя переставились так, что дошли до слуха сей особы в преображенном генерал-лейтенантской вежливостью образе. Когда же почтеннейший вельможа, возвысившись душой от любезного слова, отправился к государю благодарить за ласку, Павел пришел в гнев и велел Аврама уволить. 6-го сентября был подписан указ об отставке, 25-го выписана подорожная, и в один из первых октябрьских дней обоз Боратынских, обогнув главную лужу посреди города Белого, свернул с тракта на проселок, чтобы через час въехать в Голощапово. Аврам не бывал здесь семь лет.

(Братьев Аврамовых Павел не тронул. Тому была причина: они редко показывались ко двору, пребывая на своих кораблях. Не поздоровилось только младшенькому — квартирмейстер Александр Боратынский был прогнан вскоре после Аврама.)

* * *

Леса. Холмы. Поля. Болота. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он домой: в деревню. Все та же церковь. Мельница. Крест подле нее в память Авдотьи Матвеевны. Яблоневые сады. Поля. Речка Обша. Винокуренное хозяйство Андрея Васильевича. Близкие родственники. Дальние родственники. Соседи.

Что делать русской осенью в этой глуши лучшей воспитаннице мадам Делафон и любимой фрейлине Марии Феодоровны? Если она отдала свою жизнь генералу, вылетевшему в отставку на восьмой месяц после свадьбы, — учиться терпению, не предаваться унынию, уметь входить в подробности сельского обихода и привыкать.

А что делать в деревне генералу, привыкшему смотреть за тысячами человек, вставать в четыре утра, чтобы весь день кипеть в царской службе, и в свои тридцать лет брошенного в неведомую жизнь? Одна жизнь кончена, новая не настала. "Жизнь! Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь", – должен мрачно мыслить генерал, глядя на облитые дождями поля, на уток в луже, на кучи соломы и серые неровные облака, несомые холодным ветром по холодному небу. В Голощапове он был не хозяином, а сыном хозяина, и сама атмосфера вливала, верно, какую-то отраву не только в сердце, но в кости. Быть может, мы преувеличиваем, а то и вовсе ошибаемся, однако он ничего не делал, а что может быть хуже ничегонеделания для человека, привыкшего быть занятым четырнадцать часов в сутки? Это у беспечных итальянцев ничегонеделанье названо праздничным словечком far niente. Вероятно, в их солнечном климате и можно отдаваться детски преглупому и пресчастливому рассеянью, не останавливаясь долго на одной мысли. Но не у нас, не при российских осенних непогодах перепрыгивать мыслям друг через друга. В нашем климате мысль является в одиночестве, зато, даром что она единственная, тяжка и давит своей непомерной величиной душу.

Что делать человеку, выброшенному из привычной колеи и застигнутому врасплох такой мыслию? В какой звук излить заботу ума? Какой нужен бокал, дабы утопить в нем ее? Какая чаша? – Для утопления мысли все чаши бездонны, ибо вопросы, коими давит нас она, чрезмерны, а сюжеты, ею рожденные, всеобщи: "Что такое я? Как создан свет? Где граница *здесь* и *там*? Что есть счастье?" И далеко за свои пределы упадает душа, ибо климат наш философичен, а речь наша, не обретшая светского лоска и умеющая либо выражать простейшие понятия грубого быта, либо вперяться в области горнего бытия, облегает нашу мысль плотной апокалиптической оболочкой, ведя в умо-зримые выси: воздух там разрежен, дышать трудно, итти – как по глубокому песку. Но только из сих высей виден душе страшный в своих точных границах очерк мира; полные эпохи бытия размётаны по его пространству. Что было, что есть, что будет – всё открывается умственному взору. Открывается, что было время, когда первородный грех наш не был еще свершен и не было тьмы, а был только свет. И душа человека простиралась по всему телу его, согревая его сим теплым свечением, и не надобно было одежд. Но после греха, в коем зачат был Каин-братоубийца, душа не могла более пребывать там, где творится блуд, и уединилась в голове, ибо голова удалена от прочего тела и отсечена от него шеей. И настала смена мрака и света в жизни человеческой. Господь, поселив несчастных прародителей на голой земле, умудрил их спастись от непогод и ночных холодов одеждою, а поверх поставить древесное укрытие – дом. И тело с той поры пребывает во мраке двойственных одеяний: одна голова предоставлена свету, но лишь на малое время, доколе не скроется солнце. И настало царствие мрака для человека, ибо, стремясь вырваться из своих одежд, он, обнажаясь, не может совершить ничего иного, кроме блуда; желает водою отмыть греховное тело, но тщетно, ибо душа не может вернуться из головы обратно столь же быстроходно, как вышла. Но вот открываются гря-

дущие года: когда умудрится человек настолько, что не только внутри домов будут свечи подобием солнца освещать мрак. Всю широту земную покроет свечный свет, и ночь будет ярка и тепла, как день. И во угождение свое сделает человек так, дабы все кругом совершалось само: обустроит свое бытие дивными постижениями разума, чудесными искусствами, изобретет машины, кои станут давать ему прокормление; тело, не изнуряемое вечной работою, будет в покое, а разум устремит человека к тому, чтобы на земле настало полное повторение эдемского блаженства. И, обольщенный своей мнимой силой, решит человек изменить природу вещей и, перешагнув границы мыслимого разумом, задумает, чтобы реки текли вспять, чтобы горы опустились на дно морей, чтобы не шли дожди, а светило бы только солнце, – ибо безостановочна энергия праздной фантазии. И добьется он своего: мутной пеной заволочет воды, пересохнут земли и уйдет от него душа, а останется одно тело, не источающее вожделений, ибо для них не будет нигде должной тьмы. И станет исчезать человек, не оставляя потомства. И увянут ветры в остановленном им воздухе.

И не даст бог дожить нам до сих грядущих годов и да не выпьет из нас мысль об этих годах охоту жить.

А потому – "вернемся в Голощапово", – как говаривала в своих письмах к Александре Федоровне Боратынской Lise Мордвинова, ее участливый друг еще со времен их воспитания в Смольном, – "вернемся в Голощапово, в тот уголок, где живет Александрина. Описание этого места, которое ты сделала, весьма живописно; холмы, яблоневые сады, – все это прелестнейше и в твоем вкусе". – Lise не умела молчать; ей требовалось срочно изливать свои быстрые слова тем, чья душа с детских лет была родной ее душе. Ее письма приходили в Голощапово вместе с газетой и как газета.

Из них Боратынские узнавали, что перемен в Петербурге не предвидится. ("Кажется, что Абраам Андреевич живет в царстве забвения".)

1799

Не знаем, что именно произошло. Но непоместительна стала земля для них, и, навеки рассорившись с голощаповской родней, выключая сестер, Аврам погрузил в феврале скарб на подводы, забрал жену и был таков. – Он ехал в не известную никому из просвещенных людей дикую местность Вяжлю, чтобы начать другую жизнь. ("Я не хочу еще иметь дьявольских сцен с моими, которые против меня сделались извергами человечества... Я бежал бы в другую часть света, чтоб с ними никогда не встречаться".)

* * *

9 марта. Милая Александрина... Ты пишешь мне об отъезде в Тамбов – я очень этим огорчена. Дай бог, чтобы твое путешествие прошло удачно – дороги у нас очень плохи; надобно быть весьма осторожной... Вы покидаете Голощапово – ужели без сожаления? Я так к нему привыкла, что кажется, будто сама знаю все те места, где вы побывали...

17 марта. Ну что ж, Александрина, стало быть, ты теперь в Тамбове, и еще более отдалена от своих друзей — путешествие за тысячу верст не ужаснуло тебя; я же не могу выразить той тревоги, которую испытала за тебя...

27 апреля. Ты говоришь, что расположение вашей деревни прелестно...

25 июня. И вот вы уже заложили первый камень для строительства дома в Маре...

Твоя Lise.

МАРА

Блажен, кто менее зависит от людей.

Державин.

Первое, что поразило здесь, были земля и небо. Небо оказалось невероятно широким, бездонным и прозрачным, земля — черной, как ночь, и сочной, как масло.

Из Тамбова до Кирсанова идет дорога длиною в день пути. Из Кирсанова до Вяжли тоже идет дорога. Обе становятся непроезжи после дождя. Но дождями здешние небеса не обильны, и перевозке в Вяжлю дома, купленного Аврамом в Тамбове или в Кирсанове, стихия, должно быть, не мешала.

Вяжлей здесь называлось многое. Вяжля — это речка, узкая, в десять сажен, и извилистая. Вяжля — это общее название нескольких сел, разбросанных в трех-пяти верстах одно от другого по берегу речки Вяжли. Вяжля — это самое большое из вяжлинских сел, где Покровская церковь. Вяжля — это степь, от одного взгляда на которую меркнут все виданные доселе пространства: просторно глазам и свободно душе. Вяжля — это край Тамбовской губернии; дальше начинается Саратовская.

Глушь и воля — вот что такое Вяжля.

Часть Вяжли — там, где овраг и лес, — называлась Мара. То было лучшее место, и там был положен первый камень будущего дома. Но там ли был построен дом в 799-м году?

Как бы можно было облегченно вздохнуть, сказав: в 799-м году Аврам поставил дом невдали от марского оврага, на крутом берегу речки Вяжли, чтобы свет шел из степной дали и глаз утопал весною в степном разноцветье, а зимой в бесконечных снегах; дом был одноэтажный, деревянный, с полукруглой террасой, накрытой куполообразною крышей; из окон было видно двенадцать полей, уходящих к краю земли. Внутри дом разделялся широким коридором. Центром была столовая, большая, просторная, с двумя дверьми, одна из которых вела в гостиную, другая в коридор. В столовой — широкое тройное окно. Можно было бы дальше рассказать о том, как в детской каждый год прибавлялось по кроватке, так что через несколько лет уже пришлось отводить еще одну комнату для детей. Можно было бы рассказать, как Аврам, прибывши в свое поместье, стал облагораживать марский лес. Как в саду были проложены замысловатые дорожки. Как на берегу речки Вяжли были сделаны пруды каскадом: возле верхнего пруда беседка; вокруг тех, что ниже, скамьи. Как воздвиглись мостики с ажурными перилами. Как,



наконец, недалеко от дома был поставлен таинственный грот – "каменное здание, построенное среди леса, оригинальной своей архитектурой напоминавшее старинный полуготический замок, с высокими башенками по бокам центрального фасада, с крытыми галереями и переходами из одной части в другую... Все здание было из красного кирпича, нижний этаж центрального фасада сложен из больших неотесанных серых камней. В центре располагалась большая квадратная зала; стены и потолок, соединяясь в одной точке, откуда спускалась люстра, образовывали свод". Грот и дом соединялись потаенным ходом...

Но так сказать пока нельзя, ибо, хотя камень в Маре был положен в 799-м году, скорее всего только в 804-м действительно там началось строительство дома – после того, как Аврам решил: "Я хочу, чтоб нам жить уже не в вяжлинском доме, и должен строиться от самого пола вновь. Я уже купил дом и перевожу в Мару, а в Вяжле все оставляю..."

Посему не будем пока возвращаться в Мару. Там пока только лес да овраг. Боратынские живут за пять верст оттуда – в Вяжле, там, где Покровская церковь.

1800

В начале зимы Катерина Ивановна Нелидова вернулась из Эстляндии в Петербург. Получив разрешение государя, она стала безвыездно жить в Смольном. Время от времени Боратынские получали от нее недлинные письма: Катерина Ивановна нежно любила их обоих ("Черепаха всегда будет иметь свои права в моем сердце").

В Петербург возвращались новопрощенные, из Петербурга разлетались новоопальные. Катерина Ивановна не вступала в сношения с государем, до Аврама дело не доходило, и он по-прежнему жил в царстве забвения. Все, что ни делается, – к лучшему, ибо совсем неуютно стало в Петербурге: "Вход для чиновников был уже ограничен; представление приезжих, откланивающихся и благодарящих, за исключением некоторых, было отставлено. Государь уже редко проходил в церковь чрез наружные комнаты. Строгость полиции была удвоена, и проходившие чрез площадь мимо дворца, кто бы ни были, и в дождь и в зимнюю вьюгу, должны были снимать с головы шляпы и шапки".

То ли дело в деревне!..

* * *

С июня прошлого года Александра Федоровна была брюхата сыном, и 19-го февраля он родился. Его назвали Евгением, что означает *благородный*: на благо рожденный и в благе родившийся.

* * *

8 марта 1800 года.

Вы не можете вообразить, дорогая Александрина, невыразимой радости, которую принесло прелестное письмо дорогого Абрама Андреича, благую и счастливую весть он нам сообщил. Я поздравляю от всего сердца трогательную маленькую маму с новорожденным...

Ваш друг Catiche.

* * *

Из всего того, что мы знаем о рождении первенца у Боратынских, письмо Catiche — младшей сестры Lise Мордвиновой — несомненное, современное событию подтверждение этого факта. Есть, правда, другое подтверждение, и тоже от 8-го марта, изумляющее своим противоречием первому: это — запись, которую поп Вяжлинской церкви отец Ларион сделал в метрической книге: "У князя Аврама Андреева Баратынского сын Евгений родился 7 марта, крещен 8 марта". Отец Ларион вписал в графу рожденных 7-го марта и крещенных 8-го помимо благородного Евгения и двух вяжлинских мужиков: Василия и Ефрема. Что Аврам стал у отца Лариона князем — не странно, ибо кому, как не князю, государь мог дать всю Вяжлю в услужение? Но вот то, что предыдущая пред тем запись была сделана месяц назад — 8-го февраля — и что там тоже отмечен не один младенец, а двое разом — любопытнее. Да и далее, на той же странице метрической книги, рожденных 1-го апреля и крещенных 9-го — тоже трое.

Всякое случается в жизни. Бывает так, что не рождаются — не рождаются дети во всей округе, а потом — один за другим: то по месяцу купель пылится, то несколько раз на дню воду надо греть, чтоб крестить, да всех родившихся в одночасье. Сомнительно, однако, сие. Вернее то, что крещены были младенцы Василий, Ефрем и Евгений в один день, а родились в разные. Что же касается именин последнего, так по святцам и на 19-е февраля и на 7-е марта выходит Евгений. Наш Евгений всегда праздновал именины 7-го.

Но до тех пор, пока он не вышел из пределов мирного семейного круга, Евгением его никто не называл. Дома он был — Буба, Бубуша, Бубинька. Так его именовали родители.

* * *

Аврам был счастлив.

1801

В середине марта в Вяжлю привезли весть: 11-го числа государь скончался от апоплексического удара. Аврам, наверное, велел отцу Лариону служить панихиду.

* * *

Павла задушили в ночь с 11-го на 12-е марта. Не было при нем ни Боратынского, ни Аракчеева. Последний, как и Аврам, тоже изгнанный, уже торопился на помощь, но, говорят, был задержан у заставы по приказу петербургского генерал-губернатора Палена, главного заговорщика.

Никогда еще Россия так не веселилась, как весной 801-го года, первой весной нового, девятнадцатого столетия, — даже в бодрые времена молодых начинаний Петра Великого не бывало столько веселости. Кончина Павла и восшествие его старшего сына Александра вернули дворянскому сословию цену чести и независимость языка. Кто бы мог подумать,

что люди, много лет пред тем сплетавшие только извилистую лесть, умеют говорить такие живительные речи? Свет просвещения струился по Невскому проспекту, Охотному ряду и обеим Моховым.

Оглянувшись оттуда на сто лет назад – во времена Петра, – что можно было увидеть там и какие речи, кроме варварских, услышать? Какие газеты прочитать? – Помилуйте, какие газеты?! Молва – вот единственная газета, которая была в дикие времена первых лет единодержавия Петра Великого. Молва да потом "Санктпетербургские ведомости", которых никто не читал.

Теперь не то. Теперь, кроме санктпетербургских, есть еще московские ведомости. Там вы можете прочитать приказы по гвардии и армии, списки въезжающих в столицы, кое-какие замечательные объявления. Теперь вольнее всякий дышит. Государь молод, ему нет тридцати. Он внук Екатерины Великой, он оправдает прямое свое предназначение, ничему полезному не помешает, ничего вредного не позволит. Будет, будет от этого царя толк!

Смотрите кругом себя! Как изменилася Россия! Можно запросто поехать за границу. Можно выписать французский журнал. В "Вестнике Европы" вы прочитаете о событиях, происходящих где-нибудь в Лондоне или Мадрите. Говорят, будут изданы новые законы. Нет больше ни тайной экспедиции, ни полуграмотных фаворитов. Больше не ссылают в Сибирь, не заточают в крепость, не ругают по-матерну. Говорите смело! Говорите вслух!

Раз в тридцать-сорок лет в России случается смута. Видно, самим богом так положено, чтоб каждое поколение могло испробовать прочность своих голосовых связок. Впрочем, за чрезмерную звонкость голоса иным приходится расплачиваться впоследствии – на следствии. Но это лишь тогда, когда они забывают, что всякая вольная речь должна кончаться строкой: "Мы дожили до вожделенных и долго ожиданных дней". По счастью, следствия, равно как кулачные расправы и пороховые смуты, если судить по санктпетербургским или московским ведомостям, бывают только в иных землях. Там, однако, и не то совершается. Там раскалывают королям головы, как орехи; там устраивают парламенты и пылкие ораторы велеречествуют на кафедрах. Почитайте о том в *Путешествии* г. Карамзина – слава богу, не запретный плод, который год продается.

Впрочем, Европа нам не чета. У них вообще вольница, сиречь – сумесица. Чуть что, и какой-нибудь поручик становится императором. Скажут, что случай с Бонапартом – исключительный и что подобных примеров история не знает, ибо нынче в Европе все стало с ног на голову.

Быть так. Но и у нас тоже не каждое столетие собираются издавать законы и не каждый год вчерашним семинаристам государь поручает составлять конституцию, дабы ограничить самого себя в действиях. У нас тоже не все на своих ногах нынче. Г-н Сперанский скоро будет доверенное лицо государя. Г-н Карамзин, коего иные прямо рекомендуют первым развратителем общества, будет писать государственную историю. Словом, и у нас...

Но не торопитесь с выводами, что вам и конституцию, и парламент, и законы дадут, что вы сможете жить, как пишете, и печатать, что думаете.

Сего не будет, ибо здесь – ваше отечество. А в своем отечестве, под родным кровом и в отчем доме, вы навсегда будете для своих родителей детьми. Сколько бы вы ни были взрослы и сколько бы ни было у вас самих детей, все равно, пока живы батюшка или маменька, вы все будете делать не так. Пригласите их к себе в гости, и они, проделав на долгих путь в шестьсот верст и перецеловав по приезде своих внучат, через день-два после общего веселья от встречи скажут, что стол в гостиной надобно было бы поставить сюда, а кресла туда, ибо так удобнее. Потом разбранят Михея за то, что тот чистит платье не как положено. Заметят, что гречиху нельзя сеять так рано, как вы сеете, что гувернеры держатся слишком развязно, даже нагло, что в доме не хватает зеркал... И много принесут своими наблюдениями себе и вам неудовольствия, ибо, зная, что вы их все равно не послушаетесь, живя давно по своим правилам, зная, что, не послушавшись, если и будете соглашаться с ними и оправдываться, то это будет не чистосердечно, а если будете оспоривать, это будет непочтительно, – зная все, они не умеют доверить вам вашей жизни: всё им будет казаться, что вы живете не как надо.

Как можно быть парламенту или конституции там, где выдают замуж за чины, а женят на деньгах, где сказать свободное слово возможно только по протекции и где заповедано от начала бытия, что яйца курицу не учат? Зачем уложение, когда есть один главный закон: неразумие сына погубляет пути его? Мы вручаем себя батюшке, маменьке, полковому командиру, государю и отечеству, зная их несовершенства и стараясь незаметно от них прожить ту жизнь, которую называем своей.

"Мы покорны судьям да господам; они – губернатору, губернатор – царю, так испокон веку ведется. Как некого будет слушаться, так и дело-то делать никто не станет". – Сия холопья логика имеет тот резон, что выражает не взгляд на вещи одного человека, а родовую идею. Можете отрицать (по молодости лет или по закоснелой привычке умствовать) и логику и идею, но если вы здесь родились и собираетесь здесь умереть, безрассудно сопротивляться силе вещей – назовите эту силу судьбой или законом исторической необходимости, от слов она не перестанет существовать вокруг вас, и если вы не станете сами ее частью, то всегда будете чувствовать, как она вас давит, непроизвольно намереваясь подчинить иль уничтожить.

Посему: наслаждайтесь! – все проходит. Коль ныне радостна Россия! Как торжествует весну нового столетия! Как прощается с веком минувшим! По такому случаю нельзя не послушать оду. У нас есть одна на примете, правда, сохранился лишь французский ее перевод, отчего мы вынуждены цитировать прозаический подстрочник того перевода:

Осьмое-на-десять столетие кончилось,
Дав бытие Вольтеру, Франклину
Куку, Румянцеву, Вашингтону!
Истинно поражающим ум человеческий
Было ты, осьмое-на-десять столетие!
И помрачающе разящим оный ты было,
И возносящим из персти земной превыше облак.
Ты дало бытие мудрому законоправству

И всепожирающей вольности,
Веселию и унынию, наукам и гильотине.

Где, в каких странах,
Варварством уничиженных,
Видели вы, дабы державный отец
Держал в цепях отрока-сына
И сам бы сдирал кожу
С жертв своего правосудия?
Когда сие было?
В тебе, осьмое-на-десять столетие...
При виде сего сердце замирает,
А взоры мерзятся таковым позорищем.

Но не северный ли Август,
Не Цезарь ли полночной страны,
Не Петр ли Великий сие совершал?
Не он ли, воздвигая здание разума,
Повелел сносить смердящие трупы
В подвалы оного?
Не он ли, взращивая противобожие в своей душе,
Воззвал и подвластный ему народ
На ревнование — не токмо другим народам —
Нет! Но самому Промыслу!

Что дашь ты, девятый-на-десять век?
Какую новую гильотину иссоздашь,
Дабы предварить душу блуждающего человечества
О бездне, ждущей его?
Или, быть может, ты и есть та бездна,
Из коей оно уже не восстанет к свету?..
Ты кончился, осьмой-на-десять век!
Уже строится первый из пироскафов,
Первенец убийственной мечты человека
О своей власти над бытием.

Но твои отголоски эхом будут докатываться
До нашего уха еще очень долго,
И только грохот колес пироскафа
Заставит нас забыть о них.
Ты же, пироскаф, убьешь, без сомнения,
Поэзию бесконечных пространств
И медленного времени.
Ты — симво́л недоверия человека к природе.
Па́ром своим ты затмеваешь небеса,
А шумом глушишь тишину души.

* * *

9 апреля 1801 года. Милая Александрина... Вы уже уведомлены о смерти нашего императора Павла – почему бы вам не приехать, как это делают другие? – не желаете же вы навечно оставаться в деревне. Твой муж мог бы вернуться в службу, не рискуя быть высланным в 24 часа.

Тысячу приветов Абрааму Андреевичу.

Приезжайте к нам, милостивый государь! Сколько лет, сколько зим не видались. Ныне обстоятельства совсем другие, всяк живет, как

хочет, никто не беспокоит, все радуются и себя поздравляют, всяк имеет свои причины. Обрадуйте приятельницу вашу, которая тою только надеждою питается, чтобы видеть своего друга – не лишите нас сего удовольствия, докажите нам знак вашей дружбы той, которая вам навсегда будет обязана.

Елизавета Полетика.

* * *

Это Lise звала их назад. Полетикой она стала потому, что вышла замуж. Теперь она ждала ребенка. Но и ее друг Александрина тоже была брюхата – у нее должна была родиться дочь София. Да и Аврам, кажется, не особенно стремился вернуться. Видимо, он уже вошел во вкус хозяйствования и семейной жизни. Овес, рожь, горох, гречиха, дорожки, пруды, каскады, беседки, клумбы – вот что занимало теперь его ум.

Словом, никуда они не поехали.

1802

Потеря малознакомого человека не есть великая для нас потеря, но *она живо напоминает возможность утрат важнейших*.

Смерть друга не выходит из памяти, обычно никогда. Посему судите сами, каково было Александре Федоровне узнать о том, что ее друг Lise Полетика умерла от родов...

Ничто не бессмертно, не прочно под вечно изменной луной...

Вернемся в Вяжлю...

* * *

Голощаповская ссора трехлетней давности медленно сгладилась, и Аврам звал батюшку к себе: "А надобно б когда-нибудь, батюшка, взглянуть на здешнюю сторону; но только летом, а не зимой; что наша жизнь в разноту? Тогда только и совершенное благо, когда вместе. Я вас уверяю, что вы здесь никогда не увидите таких сцен, какие вы видели, когда мы были вместе, – я сии дни исключаю из жизни моей, и дай бог, чтоб они были последние в ваш и мой век".

Батюшка, да и все голощаповские Боратынские весьма любопытствовали на счет Аврамова потомства: "Сделайте милость, поспешите нас уведомить, как вы там находитесь и как дорогой Бубинька вас там забавляет, как сия нежная веточка вашей любви оперяется в своем смысле и познании и какие уже дает надежды. Нам все это интересно будет ведать и будьте уверены, что и мы не холодное примем в том участие".

Потомство увеличивалось, и в 802-м году, кроме Бубиньки, уже жили на свете Сошичка и Ашичка: Софи и Ираклий (Sophie et Hercule).

Сам Андрей Васильевич, разумеется, не выбрался в Вяжлю, но младших детей время от времени командировал. Машурок, Катинька, Алексашинька жили у Аврама по месяцам. Морские братья были в Петербурге и не бедствовали: Петр получил чин генерал-маиора, Богдан – вице-адмирала, Илья – полковника. Из них к Авраму приехал, наконец, осенью 802-го года Богдан. Они сделали бумаги и поделили Вяжлю пополам: по 1000 с лишком душ на брата. Петру и Илье доставалось по 300 душ.

Летом в Вяжлю прибыл послом от Андрея Васильевича Александринька – младший брат, 20-летний поручик в отставке, задумчивый повеса и пылкий ипохондрик. Видимо, в это лето и случилась та история, о которой гласит только предание.

Александр был на десять лет моложе Аврама и ровесник Александрины. По преданию, в семье родной он нашел привет своим чувствованиям только в младшей сестре Катерине, хранившей его силуэт до глубокой старости. "Впрочем, – гласит далее преданье, – было еще одно существо, которое непременно должно было иметь сильное влияние на Александра Андреевича. То была жена его брата Александра Феодоровна Боратынская; ее точно можно было назвать необыкновенной женщиной; в ней благородство характера, доброта и нежность чувства соединялись с возвышенным умом и почти не женской энергией. Что ж удивительного, что она поразила Александра Андреевича и что он привязался к ней всеми силами своей пылкой души. Была ли это одна возвышенная симпатия или чувство более исключительное и страстное – трудно решить. Но дело в том, что эта пламенная привязанность навлекла на себя неодобрение всех почтенных членов семейства Боратынских, и Александра Феодоровна, слишком гордая и прямодушная, чтобы переносить даже предположения, совершенно удалилась от молодого человека. Этот эпизод его жизни сильно подействовал на него: он стал еще мрачнее, еще молчаливее и перестал поверять свои мысли даже нежной сестре... В это время у Андрея Васильевича жила молодая девушка, иностранка, в качестве компаниоки его дочерей. Александр любил разговаривать с ней, но никто не подозревал между ними особенной короткости, когда старика отца поразило нежданное известие, что они вместе бежали... Вскоре после этого началась Австрийская кампания, и Александр отправился в поход в сопровождении молодой женщины, решившейся разделить его тревожную судьбу. После Аустерлицкого сражения разнесся слух о его смерти, и родные публиковали в газетах, что если известная особа была соединена с ним законным браком, то она может востребовать седьмую часть наследства. На этот вызов ответа не было...".

* * *

Веют осенние ветры
        В мрачной дубраве;
С шумом на землю валятся
        Желтые листья...

Если и вправду несчастный Александр любил Александрину, худо ему было, когда осенью 803-го года он возвращался из Вяжли в Голощапово.

Странник печальный, утешься!
        Вянет природа
Только на малое время;
        Все оживится...

И, быть может, действительно, несчастный Александр нашел отзыв своей печали в сердце Анеты Бельг – компаньонки сестры, благородной

девицы, из Швейцарии происходящей. И когда в августе 805-го года Анета отправилась из Голощапова в Петербург для свидания с родителями, он, видимо, сопровождал ее. Около того времени след его жизни теряется. В самом ли деле Анета, презрев правила благонравия, последовала за ним на поля сражений – бог весть, но доподлинно, что его скосила французская пуля под Фридландом и в июне 807-го года он умер от раны. Только и осталось от него: "Желаю вам постоянного здоровья и счастия вместе с милыми Бубинькой, Сошичкой и Ашичкой, которых я живо содержу в моем воображении".

1804

Но, видимо, не только Александр стал причиной новых раздоров Аврама с родней. Похоже, нечто превратное проскользнуло также между ним и морскими братьями, и снова непоместительна стала для них земля, и тогда собрался Аврам оставить Вяжлю, чтобы перебраться на берег марского оврага.

* * *

17 февраля.

Мой милый Машурочик.

Дружеские твои письма мы получили и благодарим тебя от всей нашей души. В них видим мы, что тот же Машурок и какую я в душе моей представлял, словом, новое столетие тебя не переменило. Я благодарю моего бога, благодарю и тебя...

Не огорчайся, мой любезнейший друг, что я к тебе туда не буду – и зов мне был только одна проформа; но я не хочу еще иметь дьявольских сцен с моими, которые против меня сделались извергами человечества. Прискорбно тебе, душа моя, слушать от меня такие отзывы; но к несчастию моему, они истинны. – Я бежал бы в другую часть света, чтоб с ними никогда не встречаться, а особливо, со вторым. – Я желаю ему всякого благополучия, но с ним не увижусь уже во всю мою жизнь. К тому употребил все мои старания. Я хочу, чтоб нам жить уже не в вяжлинском доме, и должен строиться от самого пола вновь. Я уже купил дом и перевожу в Мару, а в Вяжле все оставлю им – и жить пусть приезжают, а все буду от них за 5 верст.

Ты удивляешься, любезная сестра, моим таким черным и злым мыслям; не думай, чтоб я переменился: ты найдешь во мне того же искреннего брата...

Ты не знаешь еще нашего *Ашичку* и *Сошу*. А про Бубу и говорить нечего. Это такой робенок, что я в жизни моей не видывал такого добронравного и хорошего дитя – он уже читает по-французски. *Ашичка* – это *Ираклий*. Мы ему дали это легчайшее имя. Мне можно тебе их всех хвалить. Этот Ашонок – такой красотка, что я редко видывал, и он у них у всех фаворит. – Соша наша все была больна, теперь поправляется, и преострая девчонка! А про нее не могу сказать, чтоб была смирна; иногда надо и розочки. А Бубинька 2 года не только розги, но ниже выговору не заслужил. Редкой робенок! Хоть я про Сошу и мало пишу, но признаюсь, я ее очень часто балую.

Итак, все искренно написал и худого и доброго.

Прощайте, мои милые сестрицы! Благодарим усердно вас обеих за дружеские письма ваши. Любите друг друга и любите так, как я вас люблю.

Искренний ваш брат до гроба Аврам Б.

Ради бога, не показывайте этого письма никому. Я не писал бы и к вам сего; но душа моя так расстроена, то надобно ж мне кому-нибудь ее поручить, а вы только у меня и есть.

* * *

Припадкам черной хандры очень потворствуют телесные недуги. Аврам нечувствительно дожил до тех лет, когда насморк не проходит за неделю, а лихорадку нет сил перенести на ногах. После тридцати все начинают недужить другим способом, нежели прежде, и Аврам теперь болел подолгу, выздоравливал медленно, унывал на длительные сроки. Кошмарами мучалась пылающая от жара голова: "Я их знаю, я видел их: они впечатлены в моих чувствах. Топкое и безобразное озеро отделяет сих извергов от человеков; страшная куща с другой стороны, где и солнце не проницает своими лучами для того, что оно отворачивается и не светит, чтобы придать сему виду более мрачности и ужаса. Ночные птицы и вороны имеют свое убежище, совы составляют свой концерт в ночи, и только их эхо слышно там унылое".

* * *

Мирили всех Машурок и Катинька:

"Ради бога, милый братец, успокойте себя, и предайте забвению то, что без сомнения, много стоило вашему сердцу... Уверьте любезную сестру Александру Федоровну о нашей непременной к ней искреннейшей привязанности и любви, которые разве что с жизнию прекратятся... – Мы хочим совершенно истребить и напоминание того письма брата Аврама Андреевича, которое он писал в самые неприятные минуты как для вас, так же равно и для нас..."

Совершенно истребили или остался след – не знаем: преданья русских семейств стыдливы в той части, где они касаются междуродственных усобиц. Как бы ни было, к лету Аврам перебрался в Мару и возобновил переписку с отцом.

* * *

9 августа 804 года.

Простите мне, дражайший батюшка, что я так долго к вам не писал. Частые мои переезды, также и болезнь моя мне в том препятствовали. – Я всегда летом отдаю дань: два раза уже была у меня лихорадка и одна горячка, от которых недавно освободился. Дай бог вам здоровья, а мы еще едва могли привыкнуть к сему климату, беспрестанная еще и до сих пор перевалка. И это происходит по большей части от необыкновенных погод и засухи. Мы два месяца не видели дождя, и хлеб у нас весь выгорел. Совершенно пропали хлебы: пшеница, просо и греча. Овес сам друг родился. Рожь изрядная, а горох сам треть пришелся. – Удивительно,

что несколько лет нет урожаю! Но ведь это не по всей губернии – а в двух только уездах: в Кирсановском и Борисоглебском, а в прочих уездах и дожди были в свое время и все хлебы хорошо родились. – Надобно терпение. Авось, когда-нибудь и будут и дождики и урожай. Того уже мы ждем 6-й год. Может быть, и дождемся... С глубочайшим нашим высокопочитанием и преданностию имеем честь быть

Аврам и Александра Боратынские.

* * *

...Меня проклятая лихорадка продержала два месяца на постели; едва теперь к почте немного начал бродить... Быв в болезни моей... навалили на меня быть губернским предводителем и иметь дело с губернатором *Кошелевым*, которого у вас и в Польше знают. Когда он был в *Гродне*, оттуда его сменили, а сюда прислали ему в наказание; но мне кажется, в наказание всех добрых людей, которые все от него терпят...

* * *

Тамбов был гиблое место для губернаторов. В других местах по многу лет кормились, а здесь больше года-двух никто усидеть не мог. – Понятно, когда честного человека отрешают от должности: Гаврила Романович Державин, некогда губернаторствовавший в Тамбове, был отдан под суд за то, что не поладил с откупщиками и благодетельствовавшими им крючкотворцами ("Я думаю, батюшка, что вы сколько-нибудь наслышаны о Державине, он первый умница и сортировать людей может"). Но ведь, чтоб удалить вора, требуется стечение случаев, каковых просвещенному уму измыслить невозможно. И объяснение тому, что за шесть лет – с 797-го по 803-й – в Тамбове сменилось семь губернаторов, можно найти в том, что либо все они были люди честные, либо были жаднее крючкотворцев и откупщиков, начиная вельможествовать с ограбления последних.

Губернатор Кошелев стал первым, кто, прибыв в Тамбов в 803-м году, почти до войны с французами оставался в должности. Связи у него, видимо, были – не там, где отдаются указы, а там, где они пишутся, где ставят на них печати, где готовят дела к докладу.

Что могло тамбовское дворянство сделать с таким человеком? – Дать губернатору губернского предводителя, который бы чином был выше и знакомствами сильнее: генерал-лейтенанта Боратынского.

БУБИНЬКА

> Qui de vous n'a pas regretté quelquefois cet âge où le rire est toujours sur les lèvres et l'âme toujours en paix?
>
> *Rousseau**

Он сидит и надевает туфлю, сосредоточенно целясь и промахиваясь каждый раз.

* Кто из вас не сожалел порой об этом возрасте, когда на устах всегда смех, а в душе всегда мир? *Руссо (фр.)*.



Он сам.

Евстафьюшка стоит рядом и смотрит за тем, чтоб дитя от неосторожного усилия не упало. Он не сердится на свою неудачу, потому что по природе своей добр, доверчив и готов любить весь мир. Скоро он утомится, и Евстафьюшка поможет ему, а когда он пойдет по дорожке мимо пруда с maman и ma tante*, он будет послушнейшим ребенком среди всех послушнейших детей, какие только рождались.

Он не знал родительской розги потому, видно, что не выталкивал кашу языком изо рта, не ловил на клумбах цветы вместо бабочек, всегда говорил merci и je vous prie**, не отнимал игрушек у Сошички и Ашички – такого добронравного ребенка нельзя было вообразить второго.

Разумеется, сердце такого дитя исполнено немой любови к бытию. Это счастье потому и невинно, что не может быть названо словом – хотя бы словом *счастье*. "Какое счастье!" – говорит взрослый, и что мы слышим в звуках его блаженства? – Шипение, переходящее то ли в стон, то ли в крик и кончающееся перестукиванием как бы падающего по лестнице саквояжа, завершающего свое низвержение иканием: *щ-щ-щ-а-а-а-ст-ст-ст-ие*. А дитя не знает искуса слова, лишающего взрослых полноты их блаженства. У него если и есть слова, то только – имена собственные, свидетельствующие единичность всего, что существует вокруг. Поля, простертые вольными далями, – это Степь, и дитя не знает, что есть еще где-то какие-то степи. Бескрайняя ширь над головой – это Небо, и нельзя вообразить, что где-то в другом месте тоже оно есть, как, впрочем, нельзя вообразить и никакого другого места и никаких других людей, кроме тех, что вокруг. Что такое монокл***, который приедет на днях? Это, наверное, кто-то как ель возле дома, тоже высокое, прямое и круглое, только без ветвей, отчасти похожее на хлеб, колосистое и желтое. А дни, на которых он приедет, напоминают лошадей, только это какие-нибудь особенные лошади, удлиненной породы, по виду как доски. С появлением монокла разрушается и его единственность, и единственность монпапа****, потому что монокл – это на самом деле монпапа, только узкий. Так совершается первое движение к опыту, принуждающему нас чем далее, тем более заменять собственные имена нарицательными и превращать жизнь в цепь повторений.

* * *

На дворе овечка спит,
Хорошохонько лежит,
Баю-баюшки-баю.
Не упрямится она.
Но послушна и смирна
Щиплет ходючи траву

---

* С маменькой и тетушкой *(фр.)*. Около 1803 года в Мару переехала из Петербурга Катерина Федоровна, сестра Александры Федоровны.

** Спасибо, пожалуйста, как вам угодно, будьте добры, как я счастлив, сколь я вам благодарен и проч. *(фр.)*.

*** Mon oncle – дядюшка *(фр.)*.

**** Mon papa – папенька *(фр.)*.

На зеленом на лугу,
Баю-баюшки-баю.
Весела почти всегда,
И не плачет никогда.

Там, в этой или другой такой же песенке, было про злого волчка, который ходит вокруг коровки и, когда она перестанет быть послушной, он ее ухватит и съест. Как бы дать волчку кусок говядины, чтобы он, сытый, убежал оттуда и коровке не надо было бы его бояться? Зачем ей бояться, если она такая послушная?

1805

Мария Андреевна Боратынская (Машурок) вышла замуж: за Ивана Давыдовича Панчулидзева — отличнейшего человека. Александра Федоровна принесла в феврале третьего сына: Льва — по-домашнему Вавычку. Аврам Андреевич ссорился с губернатором Кошелевым: то был редкий проходимец. Богдан Андреевич вышел в отставку вице-адмиралом. Дети росли. Бубинька учился читать и писать.

* * *

15 июня 1805.

Очень давно, дражайший батюшка, мы не имеем от вас никакого известия, что нас чрезмерно тревожит. Я сам виноват, что долго к вам не писал. Но я с лишком 40 дней был болен и едва после оного бродить начинаю. — Каждую весну я сию дань плачу. Лихорадки жестокие у нас не переводятся. Еще до сих пор не могу привыкнуть к сему климату; но как быть, надобно привыкать. — Забот еще новых мое предводительство, которое мне очень наскучило, а особливо служить с таким начальником губернии, который вместо ссылки сюда определен, в Тамбов. То чего доброго ожидать от такого помощника. — Но полно об оном.

Слава богу, мы все здоровы теперь, и дети наши. Бубинька уже выучился грамоте и теперь пишет. У него благодаря бога понятие очень хорошее, и мы, игравши с ним, его учим. — Мы выписали учителя, которого мы ждем из Петербурга. — Вот как скоро все растет и спеет! Давно ли ползали? Теперь ходят, бегают, учатся.

У нас весна очень поздно наступила; корму генерально у всех недостало, даже и у самих нас. От того много все пострадали, даже начался падеж на лошадей (самое важнейшее в хозяйственной части), но взятыми скорыми мерами не дали ему распространиться — теперь все прекратилось. — Хлебы нежатые хороши, но мороз в исходе мая много попортил; однако начали справляться. — Вот 7-й год засухами хлеб портит, ожидаем дождика, авось, будет. — Будем ожидать с нетерпеливостию, дражайший батюшка, известий о вашем здоровье и с глубочайшим нашим к вам высокопочитанием и преданностию пребудем покорнейшие дети

Аврам и Александра Боратынские.

* * *

Зря сетовал Аврам Андреевич на засухи. Лето выдалось неровное — с холодами и грозами. Солнце, казалось, навсегда было заслонено серой

мутной пеленой; под этой пеленой стремили свой полет рваные сизые тучи, содрогавшиеся от холодного ветра, торопящегося выстудить землю до времени. Но пелена рассеивалась, быстро теплело, через день становилось жарко, душно, и те рваные тучи, согнанные ветром с севера на юг, видимо, возвращались теперь на свое место там, на севере. Они шли медленно, и сначала молча; затем с разных сторон начинало грохать нечеловечески гулко, и потом, как будто речка Вяжля, выгнувшись где-то за степью дугой, взошла на небо и сквозь тучи выливалась обратно, возвращаясь в свое русло, — такие были редкие проливные грозы. Видимо, ветер ждал этих туч сразу за северным краем степи, потому что на следующий день они, как разбитое турецкое войско, поодиночке летели снова под холодными запеленутыми небесами туда, на юг, откуда пришли с победным грохотом день назад.

* * *

1-го сентября в Петербурге объявили манифест о войне с Бонапартом. До губернии манифест касался не прямо: не Бонапарт нас воевал, а мы Бонапарта, и ничего военного в Тамбове не предвиделось, кроме рекрутского набора. Но этим тягучим делом заниматься должно было именно губернскому предводителю. Аврам Андреевич взял с собою в Тамбов Бубиньку. Александре Федоровне он писал по приезде:

"Теперь утро, и я только осмотрелся — скажу тебе, что мы доехали очень хорошо. Мне даже жаль, что ты не могла видеть и слышать все его вопросы! Он даже до того расспрашивал, что сам останавливался отдыхать, жалуясь, что у него губы и язык болят. Он Тамбов в воображении своем и садом и зверем или какой-нибудь рекою, словом, я очень много дивился на его воображение. Он несколько раз по дороге доставал свой рубль и тут-то было у него богатое воображение. Он провожает глазами каждую телегу и бегает из окошка в окошко смотреть. — Я посылаю к вам гостинца: 10 арбузов, 16 дуль и бочонок винограду".

* * *

В Тамбове Авраму Андреевичу было не до сына. Недобор рекрутов, подлые глаза губернатора, вести одна другой беспокойнее, поступавшие из-за границы, — вот что занимало ум Аврама Андреевича (за границей наших били, и под Австерлицем было потеряно сражение). Аврам Андреевич надеялся к новому году быть назад в Вяжлю — не вышло: "Что мне сказать о себе? Досадно, скучно, вот все. — Ах, когда я доберусь до мирного своего крова! И нет надежды к тебе быть... — Бубу наш еще не скучает и очень весел, но и он часто уже начинает разговаривать о возвратном нашем вояже".

К новому году Аврам Андреевич отправил сына домой.

1806

Тамбов. 10 генваря 1806.

Имею честь поздравить вас, дражайший батюшка, с новым годом, и желаем и просим бога, чтоб вы получили новые силы и здоровье, которое для нас всего драгоценнее. — Теперь у вас почти все наши; уделите,

дражайший батюшка, и нам сие удовольствие отпуском сестры. Мы не смеем думать так для нас благоприятно, чтобы вы к нам приехали; но кажется мне, сама натура и самое время благоприятствуют, дав нам необыкновенно теплую и смирную зиму, которой еще никогда такой не бывало. – Ах, если бы и то исполнилось, то это было бы верх нашего благополучия.

Я все живу в Тамбове; по-прежнему с губернатором мы так ладны, как кошка с собакой. Грыземся беспрестанно. Я положил по крайней мере от него не отставать; а кто кого возьмет, мы после увидим, – при всем том очень скучно и неприятно так жить, но что делать, как лучше нельзя.

Мы все, слава богу, здоровы, но только должность моя меня разлучает и с женою и с детьми; однако и они меня иногда посещают. Вот все, дражайший батюшка, что здесь хорошего, но у нас в Вяжле лучше гораздо здешнего. Я за то порукою. – С глубочайшим высокопочитанием к вам и преданностию пребуду навсегда ваш, милостивый государь батюшка, покорнейший сын

Аврам Боратынский.

* * *

Губернатор Кошелев сочинил на губернского предводителя Боратынского рапорт, и скоро ябеда дошла до цели. Но в Петербурге Аврама Андреевича знали. Знала не только вечная Катерина Ивановна, знали не только прежние гатчинские сослуживцы, не только Мария Феодоровна, – знал государь, некогда, будучи только наследником, имевший частое сношение с командиром Гатчинской команды. Разумеется, на добрую память государя невозможно надеяться, ибо тут все дело в том, как дело представить. На крайний случай в Петербурге были два важных лица – невысоко стоявших, но много разумевших в тонкостях ведения спорных дел: Михайло Иванович Полетика, муж покойной Lise, и Григорий Иванович Вилламов, брат второй близкой подруги Александры Федоровны – Lise Ланской, жившей ныне по замужестве в Тамбовской же губернии, в Талинке (сын Ланской Paul был, кажется, одногодок Бубиньки, и, верно, они вместе играли, когда Боратынские гостили в Талинке, а Ланские в Вяжле).

И ябеды Кошелева натолкнулись в Петербурге на жалобы Аврама Андреевича. Разумеется, доносы губернатора благодаря некоторой ловкости, с коей оные пускаются в ход, оказались правдивее, и Авраму Андреевичу срочно пришлось ехать в октябре в Петербург – спасать свою честь. С ним вместе отправилась Александра Федоровна, а с нею, видимо, и Катерина Федоровна. На их место прибыл Богдан Андреевич, впервые приняв ролю степного помещика и попечителя невинных ребенков (их было уже пятеро – с весны жил младенец Федор). Конечно, при детях оставался и кто-то из женщин – вероятно, Катерина Андреевна – Катинька, младшая сестра Боратынских.

Богдан Андреевич начал хозяйствовать в Вяжле с того, что усмотрев великий обман, происшедший от немца управляющего, посадил того под караул и, если не прибил, то уж обругал немцем и канальей, по меньшей

мере. Богдан Андреевич, как все Боратынские, бывал вспыльчив и бешен, но, как все братья, был сущим bon vivant*: он любил, когда все весело и хорошо, и не любил, когда плохо и печально.

Каждую неделю он писал брату в Петербург отчеты о здравии порученного ему семейства.

* * *

5 ноября 1806 года. Вяжля.

Любезнейшие братец и милая сестрица. По отъезде вашем и до сих пор милые и любезнейшие малюточки ваши, а теперь и наши, слава богу здоровы, веселы и покойны, чему мы все более всего рады. – Милый Вавычка час от часу становится любезнее, забавнее и живее – он как скоро приходит с верху, то тотчас и кричит: "Дядя Таляк, дядя Таляк, дай табачку". Таляк значит толстяк, и он его так живо и свободно произносит, что я никак ему ни в чем не могу отказать, а при том и несколько раз поцеловать. – Бубинька ведет себя очень хорошо и учится весьма успешно, за что отнесите вы свою признательность г.Боргезу, который поистине того достоин. – Любезная сестрица, я уверен, что вы точно то найдете по приезде своем, как я вам написал. Словом, я разговариваю с г.Боргезом посредством милого Бубиньки, которому всегда приказываю мой разговор перевести. И так он старается исполнять мою просьбу и вместе приказание, так порядочно и с такой охотой ему переводит по-французски, а мне по-русски, чего я никак в такое короткое время ожидать не мог. – Прощайте и верьте, что я ваш преданный брат и друг

Богдан Боратынский.

Милая мая маминька и папанка. желаю вам всякаго здаровья и благополучия навсегда мы очен бы желали вас скарее видить. а без вас нам скушна; паприказанию вашему уведомляю вас мы точно так, же играим как привас играли. Сошичка, Ашичка, Вавычка и Федичка мы все здаровы изаочно цалуем вас нашы милой: впрочем навсегда пребудем послушными: остаюсь покорный и послушным ваш сын

Евгении Боратынскай.

Собственное его письмо: а Соша крайне стыдится, что не может сама писать**.

* * *

С некоторых пор Бубинька стал неразлучен со своим наставником, которого язык не поворачивается называть гувернером. Господин Боргез, или monsieur Boriès***, или, полностью, – Жьячинто Боргезе, – был итальянец. Он прибыл в Россию около того времени, когда Аврам Андреевич уже жил в Вяжле, и когда, понятно, ни тот, ни другой не знали еще друг о друге. Жьячинто успел победствовать в Петербурге, в Москве и, кажется, в кое-каких из губернских городов. Когда же случай привел его к одному из морских братьев в Петербурге (может быть, Жьячинто желал

---

* Добрый малый *(фр.)*.

** Приписка Богдана Андреевича на полях Бубинькиного письма.

*** Господин Борье или Бориес *(фр.)*.

с отчаяния вступить в морскую службу), и привел именно в ту минуту, когда братья уже прочитали письмо Аврама Андреевича из Вяжли с напоминанием подыскать порядочного француза для детей, вот тогда и совершилась его судьба, определив учителем в русскую степь.

Жьячинто покинул родной предел году в 801-м. Когда французы пришли в Неаполь, Жьячинто возненавидел Бонапарта за приказ сдавать серебро. Человек, основывающий могущество своей империи на конфискации ложек и вилок, варвар – так бесповоротно решил будущий Бубинькин наставник. Он бежал из Италии с грузом свернутых холстов. Портреты черноглазых обитателей полуденной земли и пейзажи полуденных просторов были вставлены в рамы потом, когда Жьячинто достиг берегов серой Невы. Здесь он мыслил разбогатеть, ибо знал, по рассказам просвещенных людей, что в России ценят искусства. Он знал русских не понаслышке. Он видел русских, когда русская армия входила в Неаполь. Он видел их Суворова.

На картинах Жьячинто прогорел, никто не хотел их покупать, даже вставленные в рамы. – В Маре он обрел кров, семью, детей. Все это было не родным, однако и чужое, случается, дает нам неожиданное счастье.

Но что! радушному пределу благодарный,
Нет! ты не забывал отчизны лучезарной!
Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра
Имел ты на устах от утра до утра...

Даже будучи в самых южных из наших северных земель, нельзя вообразить, какова есть Италия. Но если вы неразлучно проводите дни с тем, кто не просто умом, но всей жизнью своей знает, что такое небо Данта, Петрарки и Тасса, вы, без сомнения, не только будете точно представлять в душе Помпею и Геркуланум, у вас будет захватывать дух от самих звуков, в которые облечены эти слова, и под марским небом вы насладитесь солнцем Неаполя.

1807

В феврале Аврам Андреевич и Александра Федоровна вернулись в Мару с победой.

* * *

24 февраля 1807 года.

Наконец мы приехали, дражайший батюшка, из Петербурга. Сколько нам прискорбно, что мы не могли быть у вас. Эта несносная дорога и состояние моей Александры в рассуждении ее беременности к тому нас не допустили. Карету свою бросили, повозки несколько раз рассыпались вдребезги, и один бог нас спасал от беды. Это такая была дорога, которой никто не запомнит, и эта несносная дорога нас лишила счастия видеть вас, дражайший батюшка. Авось, даст бог, как я теперь кончил свою несноснейшую должность, будет нам свободное время. – Доложу вам о своих делах. Я их кончил благополучно и сбыл с рук свою должность. Теперь я развязан и спокоен. Всех своих нашел здоровыми. И затем, пожелав вам, дражайший батюшка, сей наступающий пост провести бла-

гополучно и прося бога о здоровье вашем, с нашим глубочайшим высокопочитанием и преданностию пребудем покорнейшие дети

Аврам и Александра Боратынские.

* * *

19 мая 1807 года. Мара.

Ах, как бы мы все полетели к вам, если бы была возможность! Мы завидуем брату и сестре, которые хотят к вам ехать и увидят почтеннейшего своего старичка, а мы только будем воссылать усерднейшие наши молитвы к богу, чтоб он умилосердился над нами.

* * *

Кажется, Андрей Васильевич верил ему. Впрочем, была действительная и серьезная причина длить разлуку: 12-го мая Александра Федоровна принесла сына Сергея.

1808

Из южных стран, от Каспийского моря восходя против течения Волги, на Россию наползала чума. К январю зараза вплотную подошла к Кирсановскому уезду.

* * *

6 марта.

...Мы не писали к вам 3 только почты, но скажу вам истину, что это время я желал бы навсегда истребить из памяти моей. Моя Александра Федоровна безвременно родила трехмесячного дитя... и только теперь, слава богу, немного пришла в себя...

В соседстве у нас чума. Саратовская губерния вся заперта, и кордон многочисленный поставлен по всей границе. Мы только дожидаемся весны и хотим ехать к батюшке, но не чума нас гонит; а хочется ему показать более сынов его. – И, может быть, ему и не удастся их еще видеть по его слабости...

Аврам Боратынский.

* * *

Кроме сыновнего долга, над Аврамом Андреевичем тяготел долг родительский: сыновья росли, подходила пора определять их к месту.

Лицей в ту пору образован еще не был, и лучше Пажеского корпуса Аврам Андреевич и Александра Федоровна ничего вымыслить не могли. Лучше – не в смысле образования: как учат в корпусах – известно; лучше – для будущего движения по службе. Кроме того, Аврам Андреевич уже подумывал о своем возвращении в Петербург. Словом, многие причины складывались одна к другой, чтоб выбираться из Мары надолго. Ну, и чума, конечно, как ни храбрись, подгоняла.

* * *

Ах! Для чего мы пишем не роман, а истинную повесть! Зачем не славные герои, пронзенные пулями под Прейсиш-Эйлау и Фридландом,

не великие миротворцы Европы, улыбающиеся друг другу в Тильзите и Эрфурте, не флибустьеры и не фавориты — наши герои? Подвиги храбрых, козни врагов, подмога друзей, сабли наголо, ура! мы ломим! излечиваясь от раны, мы помещены по квартирам селения Р***, здесь русская княгиня, супруга старого австрийского генерала, взгляды, признание, несколько альковных сцен, желательно с участием исторических лиц, — и роман готов.

Но что делать роману в деревне, в тамбовской глуши? Жизнь степных помещиков покрыта большею частью мраком неизвестности, они редко заботятся передать потомству историю своего бытия. Память времен обычно не сохраняет их образов даже в сердцах их собственных внуков. Спросите у них, в каком году они переехали из деревни в Москву, или отправились всей семьей гостить к престарелому батюшке за семьсот верст: отсчет будет от побитого июльским градом гороха или от четырехмесячной лихорадки. Коли они сами не помнят — что говорить о нас?

А посему — о девяти годах степной жизни Аврама Андреевича и его семейства, в сущности, мы не знаем ничего определенного. Да и о нем самом что в итоге можно сказать? "Кротость есть основание характера Боратынского, нужно как-то особенно раздражить его, дабы вынудить переступить границы его миролюбивого нрава. И еще следует добавить о его здоровье: с виду он очень крепкого телосложения, но здоровье никуда не годится — он все время болеет".

Он не был мыслию, он не был сердцем хладен. Сочувственная миру и не высказанная словом дума жила в его душе, и свой привет бытию он немо передал своенравными изгибами тропинок в марском парке, каскадами прудов, гротом. Но образования Аврам Андреевич, в сущности, не имел никакого; языков ничьих, кроме русского, не знал; изящной словесностью, кажется, ум его не был занят, и, читал ли он Руссо и Ричардсона (в переводах, разумеется), — сомнительно. Источником образования детей была Александра Федоровна. Книг в Маре по сравнению с другими кирсановскими имениями было неисчислимое множество, Руссо и Ричардсона Александра Федоровна не то что прочла, но почти выучила, еще когда была в Смольном. Теперь она была образованной тридцатилетней петербургской дамой, живущей в своей усадьбе. Она читала все, что читали тогда в столицах. И "Удольфские таинства", и "Матильду" она узнала в то же время, когда эти сочинения поражали женские сердца в Петербурге и в Москве. Ничего удивительного, что дети ее выросли прилежащими ко чтению книг. Она и по-русски читала, притом, видимо, не только Карамзина или Жуковского, но, кажется, даже — вот парадоксы образованных женщин — Шишкова! Не ведаем, правда, было ли то "Рассуждение о старом и новом слоге" или что иное и сколь тщательно вникала Александра Федоровна в тонкости размашистого негодования Шишкова против галлицизмов.

Ну, и, конечно, как не знать словесность, правительством замаскированную. Посему в одном из книжных шкафов, вероятно, неподалеку от карамзинского *Путешествия* из Петербурга в Лондон — хранилось *Путешествие* страдальца Радищева, из Петербурга в Москву ("Славное

сочинение, — как писала Елизавета Ивановна Ланская Александре Федоровне, возвращая сию рукопись, — славное, но смертоносное, ибо если ему следовать, надо разломать основание общества").

Не знаем, музицировали ли в Маре. Если пели — то что: "Видел славный я дворец", "Ombra adorata"?* Танцевать любили. Кажется, сочиняли стихи. ("Мне некто сказывал, что вы отлично любите танцевать и что иногда между вами двумя бывают славные балеты. Какие успехи — музыка, стихотворство!")

Вообще в Маре все было не совсем так, как у обычных тамбовских помещиков. Легче, однако, пояснить эту мысль не описанием того, как было у них в доме, а чужим, вполне достоверным рассказом о том, чего в Маре не бывало:

"Весьма немногие из помещиков занимались тогда сельским хозяйством, хлебопашеством; осеннее время для них было лучшее в году; они могли гоняться за зайцами, карты не были еще в таком всеобщем употреблении, как ныне. Их жизнь была совершенно праздная, однако же они не скучали, беспрестанно посещали друг друга, пируя вместе. За обедом и по вечерам шли у них растобары о всякой всячине, они шутили не весьма приличным образом, подтрунивали друг над другом в глаза и весело выслушивали насмешки, в отсутствие вступаясь за каждого, одним словом, в образе жизни приближались к низшему сословию. Барыни и барышни занимались нарядами, а когда съезжались вместе, то маленькими злословиями и сплетнями, точно так же, как в небольших городах.

Оржевка, будучи ни город, ни деревня, имела приятности и неудобства обоих. Не сказываться дома не было возможности, и ежедневным посетителям конца не было. Девицы позволяли себе не только привозить с собою рукоделье, но даже заниматься им в присутствии гостей. Шутихи, дураки, которые были принадлежностью каждого богатого дворянина, также много способствовали к увеселению особ обоего пола всех возрастов.

Беззаботность, веселое простодушие этих владельцев, бестрепетность их слуг, которые смело разговаривали с ними, даже во время обеда, стоя за их стулом, — вся эта патриархальность нравов действительно имела в себе что-то привлекательное".

Так рассказывали о соседях Боратынских — Мартыновых. Мартыновы жили в Оржевке, в тридцати верстах от Вяжли.

"Об Оржевке ходили бесчисленные анекдоты. Помню, между прочим, рассказ о разговоре между двумя братьями Мартыновыми. После долгого раздумья Сергей Дмитриевич обратился к старшему брату с вопросом: "Не правда ли, братец, как это странно, что все реки впадают в Волгу? Например, Цна впадает в Оку, Ока в Волгу; Ворона впадает в Хопер, Хопер в Волгу". Иван Дмитриевич был совершенно озадачен этим неожиданным открытием. Поразмыслив хорошенько, он отвечал: "Да, в самом деле, это очень странно".

О Маре таких анекдотов не бывало.

Прочее — неведомо.

---

*Возлюбленная тень *(ит.)*.

ПРЕДИСЛОВИЕ
к Части второй

Ταράδδει τοὺς 'ανθρώπους ὀυ τὰ πρἄγματα,
*'αλλὰ τά περὶ τῶν πραγμάτων δόγματα**

Не ведомо – хорошее слово: оно есть не подвластное ничьей личной воле ручательство в том, что наша жизнь, несмотря ни на чье любопытство, может быть убережена от газетных дискуссий, от исследовательского ока биографов, вообще от постороннего взгляда. Как хорошо, что теряются дневники и письма, прекращая навсегда семейные разлады и любовные распри! Как грустно, когда старческая память не скупится на подробности многодавних сердечных побед и домашних неурядиц или когда осьмидесятилетние старушки публично комментируют детали любовных посвящений, адресованных им 60 лет назад знаменитыми и уже оставившими мир поэтами, а правдолюбивые журналисты беззастенчиво разъясняют жадной до интимных обстоятельств публике смысл намеков!

Словом, какое счастье, что мы знаем о Боратынских столь мало! Ибо есть события жизни, которые не к чему знать никому, кроме тех, кто в них посвящен самим исполнителем событий. Речь не о заведомо дурных делах, совершитель коих либо сам казнил их добронравием последующего своего бытия, либо, напротив, отнюдь не раскаиваясь, сознательно желал их сокрыть. Искупление подлого поступка или, наоборот, упорствование в делании подлостей – суть подробности совсем не частной жизни, ибо низость действий, как бы ничтожна ни была, адресована общему бытию. Речь – о том, что называется la vie privée**, о том, что имеет смысл только для одного, для двоих, для немногих.

Не ведая партикулярных подробностей жизни Боратынских, мы избавлены от необходимости писать хронику, а не имея привычки к замене факта вымыслом, свободны от желания сочинить роман. На нашу долю выпала *истинная повесть*.

Конечно, спору нет, как во всяком жанре, обращенном к жизни отдельных частных лиц, и в истинной повести главный предмет – тайны частной жизни: безумная любовь, безмерное страданье, пламенная младость, преждевременная опытность сердца, кипение свободы, уныние изгнанника, преступления и роковые их следствия, моря шум и груды скал... Но герои здесь тенью проходят сквозь сюжет, жанр позволяет утаивать, недосказывать, умалчивать. Приемы таких повестей не нами выдуманы: "Поэт выделяет... вершины действия, которые могут быть замкнуты в картине или сцене, моменты наивысшего драматического напряжения, оставляя недосказанным промежуточное течение событий... Отрывки эти объединяются общей эмоциональной окраской, одинаковым лирическим тоном". – Подобно тому, как мы не должны, живя в свете,

---

*Смущают не дела, а мнения о них *(греч.)*.

** Жизнь, сокрытая от посторонних глаз; частная жизнь *(фр.)*.

нарушать условий света, нельзя пренебрегать вековыми привычками не нами изобретенного жанра, ибо все-таки сочинитель есть следствие существующей словесности, а не наоборот, и степень его оригинальности в том, насколько он может стать самим собой в рамках предназначенной ему жанровой роли.

У каждого времени – свои названия, свои жанры. "Войнаровский", "Борский", "Лонской", "Кавказский пленник, *повесть*", "Корсар, *повесть*", "Чернец, *киевская повесть*", "Эда, *финляндская повесть*" – без этих повестей немыслимо время происшествий нашей истинной повести. И, одушевленные соревновательным пылом, мы с легким сердцем говорим: *не ведомо*, как в случаях вполне житейских – коли речь заходит о переездах с места на место, о датах отправки и получения писем, о времени сочинения стихов, так и когда должны обращаться к главному своему предмету – de la vie privée. Отсутствие документальных подробностей счастливо сопрягается с благопристойными правилами жанра и позволяет отсылать читателя к сюжетам, никогда не происходившим с нашими героями, но зато многократно повторенным изящной словесностью, благодаря чему эти сюжеты служат вымышленными аналогиями тех действительных событий их частной жизни, которые мы желали бы утаить, даже если бы они были известны.

Конечно, оправдывая свое поведение доставшимся нам жанром, мы рискуем услышать упреки в самообмане, в самонадеянности или в легкомыслии...

Конечно, если не ведать о частной жизни любезных нам лиц, можно скоро выпестовать ложные о них умозаключения, и в итоге привязанность к ним, в сущности, будет родом любви к самим себе – любви не к ним, а к чувствам, ими в нас вызванным...

Конечно, нельзя сравнивать преданья старины глубокой и преданья старины недавней, ибо первые занимают ум скорее тем, какую они связь имеют с общим порядком бытия, нежели тем, какие предупреждения несут ближайшему младшему поколению...

Конечно, не будь писем, дневников, мемуаров, что стало бы с нашей памятью?.. Чьи образы она сохранила бы?..

Конечно, даже иные свойства тела – скажем, рюматизмы в ноге или склонность к головным болям – необходимо должны быть упомянуты, коли они были присущи человеку, не просто оставившему мир, но оставившему в сем мире отзвук своей душевной жизни...

Словом, противоречий очень много. Мы с любопытством рассматриваем автографы. Воображение, оживленное поэзией формулярных списков, прошений и ходатайств, навязывает истинной повести чужие жанровые привычки, склоняя ее то в область исторических реконструкций, то в область логических домыслов на счет мотивов поведения и причин желаний. Страницы, испещренные год от года портившимся почерком Аврама Андреевича и уже с юношеских лет отвратительным почерком его старшего сына, бумага, одушевленная тенями людей, выводивших теперь уже выцветшие строки, превращают сочинителя из свободного поэта в педанта, разгадывающего тайны чужой скорописи и переводящего ее в типографски набранный текст.

Но мы уповаем на память нашего жанра, теснящего все педантические выходки за пределы своих владений – в примечания – и решительно противоборствующего логическим умствованиям.

Тень есть тень: она не может нам возразить, но и не нам ее догнать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Будем считать, что весною 808-го года Боратынские выехали из Мары в Голощапово. После этого след всего семейства потерялся, и, что с ними происходило в течение следующих полутора лет, – темно представляется.

Лишь к концу ноября 809-го года, как раз в ту пору, когда император Александр ехал через Тверь в Москву, след отыскался: в Москве, в Клённиках. Когда они туда приехали – неведомо. Известно лишь то, что в том году Александра Федоровна принесла дочь Наталью, а в ноябре Аврам Андреевич снова разболелся: "Я так было сделался болен, что еще и до сих пор с постели не схожу. Жестокая простуда сделала внутренний ревматизм".

1810

В какое-то мгновение бытия – в яркий день, среди счастливой природы, вдруг, по непостижимому сцеплению внутренних образов, именно тогда, когда душа менее всего склонна к меланхолии, – дитя, забавляясь какой-нибудь своей невинной ребяческой игрой, бывает поражено мыслью, что и оно когда-нибудь умрет. И хотя тысячу раз оно слышало или читало о смертях, хотя отлично знает, что блаженные души обитают в горних селениях, – мгновение это ужасно, потому что одно дело – знать, что где-то там есть смерть, и совсем другое – представить смерть собственную. Это то самое мгновение, когда становится непонятно, что такое *я* и почему я – это *я*. Зато становится ясно, что *я*, только что сидевший на скамейке у пруда, потом игравший в горелки с младшими братьями и затем выучивший для завтрашних классов французский сонет, – этот *я* существует отдельно от пруда, от младших братьев, от сонета; пруд и сонет останутся, а *я* – исчезнет. Более того, если сейчас, сию секунду, встать к обрыву и броситься вниз, этот *я* сейчас и умрет. Понятно, когда тело видит всё вокруг глазами, а как увидит душа, оставшаяся без умершего тела, это *всё* вокруг? Ведь у нее нет глаз. Как же она станет присутствовать *здесь?* Как и чем видеть, чувствовать, внимать? А если ее не будет здесь, то как выглядит *там*, куда она перенесется?

Этот жуткий миг познания контуров бытия, конечно, целебен – но увы! – лишь тем, что отныне мы смотрим на жизнь раскрытыми веждами. Он ужасен, этот миг, ибо отныне жизнь отравлена привкусом смерти, и чем далее, тем более наша просвещенность все основательнее будет разрушать маменькино утешение: "Есть бытие и за могилой!" Кто его видел и где оно, это бытие? Почему душу не видно так же, как тело? Каким телом она обрастет там, за могилой? Чем глубже вдумываться

в эти вопросы, тем меньше шансов получить ответ, и тягостное недоумение не даст поверить в смысл собственного бытия.

И чем дальше мы живем, тем настойчивее жизнь окружает нас ужасными подтверждениями своей скоротечности. Люди, чье бытие имело для нас значенье некоей гарантии прочности мира и к чьему существованию рядом мы привыкли настолько, что оно стало несомненной частью нашего, вдруг лежат холодны и неподвижны, а мы ничего не можем сделать для того, чтобы они жили еще. Мы смотрим на их детей и можем утешиться только тем, что они либо не пережили еще мысли о смерти, либо эта мысль пока, за малостью их лет, способна укротиться наивной силой растущих мышц, не дозволяющих им выплакать своими слезами собственную жизнь, — последнее право может разрешить себе только тот, для кого следующим подтверждением бессмысленности мира станет своя смерть.

Александра Федоровна не имела такого права: на руках ее оставались дети, и она была тогда уже шесть месяцев, как снова брюхата. 21-го марта ей исполнилось 33 года.

* * *

"Александра Федоровна Боротынская с душевным прискорбием объявляет о кончине супруга своего, Абрама Андреевича, последовавшей сего марта 24 числа, в 8 часов пополуночи. Вынос тела и отпевание будет в приходской церкви Николая Чудотворца, что в Клинниках, марта 26 числа, в 9-м часу".

Похоронен он был на кладбище Спасо-Андроньева монастыря.

* * *

12-го июля Александра Федоровна родила дочь Вариньку. Оставшуюся часть 810-го года до апреля – мая 811-го Александра Федоровна прожила с детьми в Москве.

1811

Кажется, Бубинька находился при ней неотлучно все время. Впрочем, он уже перестал быть Бубинькой. Ему шел 12-й год, и он был пажом его величества в Пажеском корпусе, куда высочайшим повелением его определили вместе с Ашичкой 7-го сентября 810-го года. Разумеется, в корпус они не являлись, и Петербург видели пока только на гравюрах.

Итак, Бубинькой он быть перестал. Маменька звала его отныне Евгением. Он изучал для корпусного экзамена серьезные науки, он читал "Илиаду" и зарифмовать по-французски 20–30 строк, соединяя, скажем, être и peut-être, défendre и tendre, bonté и beauté, Flore и Aurore*, было для него занятием, не требовавшим многих усилий. Фантазия его бодрствовала, но французская речь не умела выбиться из оборотов, проторенных несколькими грамотными поколениями, а русская была неразвита, ибо и с маменькой и с monsieur Boriès — самыми частыми своими собеседниками — он беседовал по-французски.

---

* Быть и может быть, защищать и воздевать, доброта и красота, Флора и Аврора *(фр.)*.

Хотел бы он, к примеру, живописать их майское путешествие из Москвы в Мару гармонично и изящно. Как-нибудь так: "Выехав из Москвы, увидел приятнейшие места... От Коломны до Рязани я ехал садом, и прекраснейшим садом! День был воскресный, и нарядные поселяне веселились и пили пенистое вино... Вечер был самый теплый и приятный. Прямо передо мною простиралась большая равнина, усеянная рощицами, деревеньками и уединенными домиками..."

Но уже в этом возрасте он не умел длинно изъясняться русской прозой. Да и само искусство с его возвышенным обманом не давалось на русском языке: не было слов. И вместо: "Сидя под тению дубов, слушая пение лесных птичек, шум реки и ветвей, провел я несколько часов в каком-то сладостном забвении" – получалось: "Разкажу вам... как великий путишественник. Мы выехали из Москвы в 6 часов по полудни и разположились: маминька и тетинька* в карете, я и monsieur Boriès в колязке, а маленькие дети в другой карете в брычке и двух повозках ехали постели и говядина и так мы выехали из Москвы. В сей день с нами ничего важного не случилось что от пыли только мы все чихали, но как приехали на станцию то от хорошего куска курицы все позабывали и так мы дотащились щастливо до Коломны. Когда мы выехали из Коломны то колесо у колязки начало танцавать. так что на всяком шагу боялись упасть, впротчем дорога была щастлива. так мы приехали".

Ни Flore, ни Aurore. Зато, оказывается, он уже умел увидеть себя – отчасти, конечно, – сторонним взглядом насмешливого наблюдателя. Посмотрим, что из этого выйдет.

* * *

В Мару они вернулись, вероятно, к лету 811-го года, осенью или зимой к ним в соседство – в Вяжлю – перебрался Богдан Андреевич и тогда же, видимо, Катерина Андреевна.

1812

А весной Катерина Федоровна повезла Евгения в Петербург, чтобы отдать его в пансион для приуготовления к экзамену в Пажеском корпусе.

ПЕТЕРБУРГ

О! не знай сих страшных снов...
Жуковский

Петербург поражал недальностью расстояний, суетливыми людьми, быстро идущими по набережной, и тяжелыми серыми колоннами, частью высящимися, частью лежащими на земле.

Стоял апрель, и теперь было ясно, куда стремились тучи, проходившие над Марой, и почему они летели с севера так быстро и неровно:

---

* Катерина Федоровна Черепанова.



здесь, на севере, все тучи летят неровно, ибо ветер дует недружески.

Вы вышли на прогулку, и с вас сорвало шляпу, обдало пронизывающей кости сырой волной, потом спряталось за углом, чтобы, выскользнув сбоку, снова напасть на вас.

Ветер налетает, поднимает, несет куда-то в угол небесного потолка и затем с размаху швыряет обратно на землю. Очнувшись, вы оглядываетесь вокруг: берег – плоский и болотистый; река; впереди за рекой – город. Сияет шпиль. На берегу – перевозчик. – "Что это за город?" – спрашиваете вы, не вполне доверяя своим глазам. – "Это город Петербург", – говорит перевозчик в домотканой рубахе с засученными по локоть рукавами. – "Перевези меня туда", – велите вы и даете гривенник. Три взмаха весел, и Петербург уперся берегом в нос лодки. – "Пожалте, барин". – В Петербурге все не так, а наоборот. И дома иные, и люди ходят наоборот. На вас они смотрят странно, их дети показывают своими пальцами в вашу сторону. В двери кондитерской невозможно войти – они открываются и закрываются постоянно, люди входят и выходят, но и двери сделаны наоборот, и люди идут наоборот. Тяжелая тоска погружается в вашу душу. – "Барин фокусник?" – спрашивает будочник наоборот, поправляя ус и удивляясь. – "Нет, нет". – Надо успеть к звонку колокольчика, которым извещают начало классов. Уже два часа, как вы в Петербурге, а звонка все нет. Наверное, наводнение. Да, та лужа, на самом деле не лужа, а разливающаяся Нева. Вот она ползет, как туча, по улице. – "Извозчик, извозчик! Мне на Садовую!" – "Je ne vous comprends pas"*, – отвечает извозчик на ходу, и лошадь его убыстряет бег. Вы стараетесь убежать от наводнения, и хорошо, что Петербург такой маленький, и вот снова то место, где по-прежнему сидит перевозчик. – "Скорее! Скорее на тот берег! Наводнение!" – "Тот берег, батюшка барин, был да весь вышел. Вона!" – И впрямь, нет другого берега – море, сизое, сплюснутое сплошной тучей, катит тяжелосвинцовые волны. – "Едем! Будь что суждено!"

...Не успел он проплыть несколько миль, как поднялась ужасная буря. Море ревело, волны воздвигались до самых облаков, и сильным порывом ветра опрокинуло корабль, который со всем грузом и людьми...

* * *

Любезная маменька. Я получил ваше письмо и благодарен вам за него, я благодаря бога здоров. Ах, маменька, – что за прелесть – Нева уже очистилась ото льда, сколько лодок и парусов, сколько кораблей, но между тем, маменька, без вас все кажется мне бесцветным; ибо когда я уезжал, я еще не чувствовал всей печали, которую принесет наша разлука, я не познавал ее, но теперь, маменька, каково же различие. Петербург поразил меня красотой, все вокруг кажется мне блаженствующим, но у всех здесь свои матери; я надеялся, что смогу радоваться с товарищами, но нет, каждый играет с другим как с игрушкою, без дружбы, без привязанности! Какое различие с тем, когда мы были вместе с вами! В последние дни, пред отъездом, несмотря на печаль и чувствуя еще

---

* Не понимаю *(фр.)*.

наслаждение быть с вами вместе, я, откровенно говоря, думал, что мне будет много веселее со своими сверстниками, чем с маменькой, ибо она взрослая, но увы, маменька, как я ошибался; я надеялся обрести дружбу, но не обрел ничего, кроме равнодушной и неискренней учтивости, кроме дружбы корыстной: когда у меня было яблоко или что другое, моими друзьями были все, но потом, потом все как пропадало, но, маменька, у меня более нет времени писать к вам; прощайте, будьте здоровы. Обнимаю всех.

Евгений.

* * *

Здесь, в Петербурге, жили дядюшка Петр Андреевич и дядюшка Илья Андреевич с женой Софьей Ивановной. Здесь были даже ровесники — кузины и кузены из-под Белого — Кучины, Алексашинька и Варинька (Вашичка) и, может быть, Алексашинька Рачинский. В домашнем быту он не страдал. Но ему необходим был друг по сердцу, по мечтам.

* * *

CAHIER FRANÇOIS
appartenant à Eugène Boratinsky
1812 22 Mars*

Je reçois souvent des nouvelles de mon ami et toutes les fois il me parle de vos frères qu'il voit journellement à ce qu'il me dit.

Я часто получаю известия от моего друга, и он всякой раз говорит о ваших братьях, которых, по его словам, ежедневно видит.

Ты думал, что сей человек тебя любил, потому что он тебя ласкал беспрестанно. А я говорил всегда, что он искал только тебя обмануть, и ты видишь теперь, что я был прав. — Мы обыкновенно знали хорошо наши уроки, когда мы были в пансионе, а вы почти никогда не знали ваших, отчего учителя нас любили, а вас нет. — Вы хочете, чтоб с вами поступали ласково, и не поступаете соответственно так. Вы сами виноваты, ежели с вами поступают строго. — Не успел он проплыть несколько миль, как поднялась ужасная буря. Море ревело...

* * *

Маменька писала в Петербург, вероятно, с каждой почтой, требуя от него отчета о жизни, от Петра Андреевича рассказа о сыне.

Что Петр Андреевич мог рассказать? — Жив и здоров. Не болен. Весел. — От пансиона не в великом восхищении, но кому ученье нравится? По воскресеньям, когда приходит из пансиона, видится с Алексашинькой и Вашинькой Кучиными. Что еще? — Сердце сорокалетнего холостяка нечувствительно к таким мелочам, как желтый цвет глазных белков или лихорадка на губе.

Вероятно, Александра Федоровна сердилась на сына, не получая

---

* Тетрадь французская. Принадлежит Евгению Боратынскому. 1812. 22 марта *(фр.)*.

от него успокоительных известий. Ей хотелось быть уверенной в том, что ему хорошо.

* * *

Любезная маминька. Вы мне говорите, чтоб я вам писал обо всем, что я учусь. Хорошо, я вам обо всем этом напишу. В географии теперь я скоро Европу кончу, а после каникулов начну Азию. Я все хорошо отвечал на те земли, которые я учил, и начал продолжение того, что я учил у вас, но как у нас очень сокращенно, то в 3 месяца я ее успел окончить. Мы синтаксис учим наизусть, а что касается до подробностей, то мы их читаем. В истории я начал с пунических войн, а по-немецки я могу кое-что переводить и начинаю говорить немного. По-французски я делаю переводы и сочинения на какой-либо предмет так же как по-русски, рисую же я головки и я стану рисовать в каникулы что-нибудь и вам пошлю, а в каникулы стану я учить геометрию и на скрыпке. С Вашинькой и Алексашей я вижусь всякое воскресенье, а в каникулы станем вместе гулять. Прощайте, любезная маминька, будьте здоровы. Целую Ашичку, Вавычку, Сошичку, Сашиньку, Наташу и Вариньку. Дядиньке Богдану Андреевичу и тетиньке Катерине Федоровне и Катерине Андреевне целую ручки, также и Варваре Николаевне, Александре Николаевне, Авдотье Николаевне свидетельствую мое почтение и благодарю усердно за письмо. Кланяюсь M.Boriès.

Евгений

* * *

Где-то далеко, неожиданно и вдруг, началась война. Скоро в Петербурге никто уже не говорил по-французски. Ополченье под командованием графа Витгенштейна выступило из столицы навстречу неприятелю. Дороги стали небезопасны. Почта сделалась неисправна.

Дядюшка Петр Андреевич должен был сказать племяннику, что далее Витебска и Полоцка француз не пройдет. Дядюшка Илья Андреевич должен был сказать, что ему, наверное, дадут эскадру, и, когда сухопутные армии будут теснить француза к Ла-Маншу, наши морские силы, соединясь с английскими, высадят десант в Бордо. Маменька в письмах, вероятно, просила привезти сына домой.

И уже западные губернии разорялись полчищами нового Атиллы. Текли стада волков России грудь терзать. Сердца замирали в тревоге, сердца рвались в бой. Из Петербурга в Олонецкую губернию начали потихоньку вывозить важные бумаги. В пансионе наступили каникулы. Вести из армии доходили нестройные. Французы между тем заняли Смоленск и подступили к Москве.

В Пажеском корпусе приготовили досрочный выпуск в армию. Чуть ли не в тот день, когда случилось Бородинское сражение, в корпусе состоялся выпускной экзамен, и 38 бывших пажей, теперь прапорщиков, устремились навстречу смерти, а на их место в корпус были определены новые.

* * *

В Пажеский Его Императорского Величества корпус
От генерал-майора Боратынского

ПРОШЕНИЕ

Желая доставить благородному юношеству воспитание и обучение сыну покойного брата моего генерал-лейтенанта Абрам Андреевича Боратынского Евгению, определенному по высочайшему повелению в оный корпус в пажи, коему ныне от роду тринадцать лет*, прошу оный корпус о принятии упомянутого сына покойного брата моего в число пансионеров на собственное содержание, с получением от меня следующего числа денег по пяти сот рублей в год, которые по назначению корпуса имею всегда взносить сполна в течение генваря месяца каждого наступающего года из имеющегося собственного моего капитала.
Августа 31-го дня 1812 года

Генерал-майор Петр Боратынский.

* * *

Его превосходительству Ф.И.Клингеру

Милостивый государь мой Федор Иванович!

По числу открывшихся в Пажеском корпусе ваканций Государь Император Высочайше повелеть изволил поместить ныне в сей корпус пансионерами на собственное содержание пажей: Николая Тухачевского, Николая Киреевского, Дмитрия Ханыкова, Александра и Иосифа Миклашевских, Петра Резанова, Петра Вульфа, Павла Смирнова, Александра и Михайла Козловских, Бориса Фока (сына генерал-лейтенанта), Николая Воейкова, Дмитрия Балашова, Александра Звегинцова, Павла и Александра Креницыных, Михайла Милорадовича, Платона Голубцова, Петра Беклешова, Алексея Мельгунова, Петра и Илью Львовых, Евгения Баратынского.

Сообщая о сем Вашему превосходительству к надлежащему исполнению, имею честь быть с совершенным почтением

Вашего превосходительства
покорнейший слуга
9 октября 1812 года князь Александр Голицын**.

* * *

Когда разнеслось известие о том, что Наполеон оставил Москву и французы вышли опять на Смоленскую дорогу, начались разговоры об эвакуации Пажеского корпуса. Говорили: – "Наполеон ведет обратно армию свою в зимние квартиры в Смоленской губернии". – "Погода удивительно благоприятствует". – "Император их столь счастливо и искусно сообразил сей марш в зимние квартиры, что он может почесться

---

* Зачем Петр Андреевич прибавил племяннику лишний год – неясно.

** Клингер главноначальствовал над петербургскими военно-учебными заведениями. Голицын отвечал за Пажеский корпус перед императором.

наступательным действием против Петербурга, ибо Смоленск к Петербургу ближе Москвы". – В том что это все ложь, самим Наполеоном пущенная, убедились только когда, миновав Смоленск, французы устремились к Днепру и побежали обратно, обратно – по тем же дорогам, по которым пришли. Петербург стал оживать и скоро снова заговорил по-французски.

Настали ранние холода; в середине ноября на Неве стал лед; тревожная радость по поводу бегства французов сменялась крепнущим восторгом.

Вместе с прочими двадцатью двумя своекоштными пажами Боратынский был экзаменован в науках и помещен в четвертый класс*, в отделение капитана Кристафовича.

* * *

"Право быть определенным пажем к высочайшему двору считалось особенной милостью и предоставлялось только детям высших дворянских фамилий. Кроме того, пажеский корпус в то время был единственное заведение, из которого камер-пажи, по своему выбору, выходили прямо офицерами в полки старой гвардии, куда стремилось все высшее и почтеннейшее дворянство. При таких условиях поступление в пажеский корпус представляло значительные затруднения.

Пажеский корпус находился и в то время в числе военно-учебных заведений, причем состоял под начальством главного начальника этих заведений, но во многом резко отличался от них. Это был скорее аристократический придворный пансион. Пажи отличались от кадетов своим обмундированием: мундирное сукно было тонкое, вместо кивера они имели трехугольную офицерскую шляпу и не носили при себе никакого оружия. Одни камер-пажи имели шпаги. Пажи не делились, как кадеты, на роты, – но на отделения. Вместо ротных командиров у них были гувернеры; вместо батальонного командира – гофмейстер пажей. Пажи часто требовались во дворец к высочайшим выходам. Их расставляли по обеим сторонам дверей комнат, чрез которые должна была проходить императорская фамилия. В этом случае особенно забавны были маленькие пажи. С завитою, напудренною головой, с большой трехугольной шляпой в руке, они гордо стояли, с важной миной сознания своего достоинства".

1813

Жизнь, как известно, состоит из неосуществленных мечтаний и несбывшихся надежд. То, что свершается, есть ничтожная часть того, что должно было свершиться. То, что дарует нам судьба, – совершенно не похоже на облик будущего из нашей мечты. Многие пути открыты взору, устремленному в то будущее время, где нас нет, но судьба уже определила, где положено нам быть или не быть.

Исход первый

Преуспев в науках, в Пажеском корпусе изучаемых, паж Боратынский был выпущен прапорщиком в Конно-егерский его величества

*Всего классов было 7: седьмой – младший, первый – выпускной.

короля Виртембергского полк и затем переведен в один из уланских полков. Когда в 826-м году началась война с персами, он получил назначение в адъютанты к графу Витгенштейну, главнокомандующему 2-й армией. Когда после персидской началась турецкая кампания, он поступил адъютантом к главнокомандующему русской армией Дибичу. ("Он, Будберг и князь Голицын – мои главные, лучшие адъютанты", – говаривал Дибич.) Наконец, Боратынский был произведен во флигель-адъютанты к государю Николаю Павловичу. Имея ум природно-беспокойный и предприимчивый, он был трудолюбив и прилежен, за что в 834-м году получил бриллиантовый перстень с вензелевым изображением его величества, а также знак отличия в честь пятнадцатилетней беспорочной службы и переведен лейб-гвардии в Гусарский полк. Скоро он женился на красивейшей из невест – восточной черноокой красавице, 18-летней княжне (брак их был, к несчастью, бесплоден). Ему приходилось догонять собственного отца, чьи черты к тому времени окончательно изгладились из его памяти. Братья были неудачники, и все трое, бросив службу на полдороге, разъехались по деревням; ему одному до́лжно было поддерживать семейную репутацию за четверых. Но отца он долго не мог догнать: тот получил генеральский чин в двадцать восемь, а он – полковника – только в тридцать четыре года. Лишь незадолго до своего 40-летия Боратынский был произведен в генерал-маиоры и в 846-м году отправился губернаторствовать в Казань. Здесь, в почете и деятельности, он прожил до декабря 857-го года, пока не был поднят всемогущей рукою нового государя, Александра II, на ступень сенатора.

Такова доля бывшего пажа Боратынского. Ничего об этой доле он не знал в памятном для всех русских 812-м году. Да и не его это судьба, а брата Ашички – Ираклия, который тогда оставался еще на маменькиных руках в Маре. У него был другой путь.

Исход второй

Итак, минуя тот же Конно-егерский полк, он попал в 828-м году в чине поручика в Малороссию – адъютантом к здешнему губернатору князю Репнину. В доме князя его и настигла роковая страсть: он влюбился, взаимно, в дочь своего командира; кажется, князь даже давал согласие на брак, но его супруга, урожденная Разумовская (ее отец был Алексей Кириллович), решительно воспротивилась, и Боратынскому пришлось выйти в отставку. Сердечные невзгоды не сделали его мизантропом, ибо ипохондрия находила на него, как на всех Боратынских, порывами. Зато склонность к острословию пересилила все другие способности. "У него был неистощимый запас анекдотов, которые он рассказывал отлично. Его называли царем смеха, le roi du rire". Соболевский, бывший в дружбе со всеми братьями Боратынскими, ставил его выше их всех. Впрочем, переселившись в Вяжлю, он жил на самой окраине этого боратынского государства – в Осиновке, в шести верстах от Мары. Про его домашнюю жизнь мало что известно. Один заезжий путешественник вспоминал впоследствии о нем: "...был женат на своей крепостной, не показывавшейся в семействе Боратынских. Он был большой пьяница". Но, сами знаете, как верить заезжим путешественникам.

Но le roi du rire – это, конечно, бывший Вавычка, – Лев, и мы занеслись в те времена, до которых наша повесть не доходит.

Исход третий

Боратынский не пожелал итти в военную службу – карьера его не манила. Он поступил в Московскую медико-хирургическую академию. Он женился на вдове одного известного русского поэта и увез ее в Мару. Она принесла ему сына и трех дочерей. Дочь поэта воспитывалась вместе с ними. Он привел в порядок угасающее хозяйство: отреставрировал комнаты в марском доме; приделал к нему двухэтажные пристройки; возвел летний флигель и оранжерею; расчистил и выровнял дорожки в парке; починил грот; на противоположном берегу речки Вяжли соорудил причудливую башню, куда семейство переселялось летом; он очень любил всякую рукотворную работу – был механик, ювелир, гравер, музыкант (скрипку сделал сам); он возобновил винокуренный завод – словом, все, что после кончины Аврама Андреевича пришло в упадок, он оживил. Наверное, точно, он был талантливее всех Боратынских, как говорили. Но чтобы насладиться его талантливостью, требовалось ехать к нему за тридевять земель в Мару, где можно было и впрямь подивиться, какие на Руси рождаются редкие люди. Он лечил чуть не весь уезд, обычно бесплатно; бывало, за ним приезжали из соседних Пензенской и Саратовской губерний за врачебной помощью – и слава его распростерлась далеко. – Таков был Сергей, четвертый сын Аврама Андреевича. Родившись между двух поколений, он тяготел по складу ума к старшим. Такие, как он, говаривают еще в 19 лет, поправляя очки, когда им прочат великое будущее: "L'essentiel c'est prendre ses quilles à temps"*.

* * *

"Бывший Мальтийский дворец, дом бывшего государственным канцлером при императрице Елисавете Петровне графа Воронцова, занимаемый пажеским корпусом, не был еще приспособлен к помещению учебного заведения и носил все признаки роскоши жилища богатого вельможи XVIII столетия. Великолепная двойная лестница, украшенная зеркалами и статуями, вела во второй этаж, где помещались дортуары и классы. В огромной зале, в два света, был дортуар 2-го и половины 3-го отделений; в других больших трех комнатах помещались другая половина 3-го и 4-е отделение... Все дортуары и классы имели великолепные плафоны. Картины этих плафонов изображали сцены из Овидиевых превращений, с обнаженными богинями и полубогинями. В комнате 4-го отделения... на плафоне было изображение освобождения Персеем Андромеды. Без всяких покровов прелестная Андромеда стояла прикованная к скале, а перед нею Персей, поражающий дракона". – "Директором корпуса был тогда генерал Клингер, глубокомысленный ученый писатель, скептик, знаменитый классический писатель Германии". – "Это был человек желчный, сухой, угрюмый". – Про него был слух, что он "порицатель правительства и заклятый якобинец".

---

* Главное – вовремя дать тягу *(фр.)*.

Клингер не любил пажей, пажи не любили Клингера. За походку они прозвали его белым медведем. При наказаниях он присутствовал непременно. Должно быть, он полностью расходовал свою небольшую душу на кончике пера, с вождения которым по бумаге начинал свои утра: белый халат, колпак на голове, трубка с длинным чубуком, чашка кофия, перо, чернильница, умные немецкие мысли – ради этих утренних часов он жил, бумага впитывала из него все немногое живое, и из кабинета он выходил опустошенный, равнодушный и бессловесный.

В свое время, принимая корпус, он вынужден был, наверное, месяц с лишним тратить свою утреннюю свободу на составление записки об устройстве внутренней жизни пажей, – записки, в которой отразилось все его негодование на потерянное для творческого труда время. Он писал, чтобы после пробития зори пажи, немедленно встав, направлялись умываться под смотрением своих гувернеров и чтобы после умывания были порядочно одеты: "Когда таким образом будут готовы, тогда отделение становится во фронт, и офицер оное осматривает. Потом один из воспитанников читает молитву; после раздается им завтрак. Коль скоро пробьют повестку в классы, то каждый берет с собою потребные ему книги, и офицер отделения, проведши воспитанников в классы, отдает их в смотрение дежурному офицеру, который перекликает их поименно во всех 4-х классах. В 9 часов бьют повестку из классов, а спустя 10 минут опять в класс. В 11 часов бывает развод. Для верховой езды, танцевания и фехтования назначаются особые дни. В 12 часов бьют повестку к столу. Все пажи собираются в одной зале и в порядке идут попарно к столу. Офицеры все должны находиться при столе и обедать вместе с пажами... Пополудни от 2 до 4 часов распределены классы тем же порядком. От 4-х до восьми вечера позволяется пажам заниматься про себя в классах или в зале чем бы то ни было полезным. Во время же сих упражнений дежурный офицер должен быть там, где находится большее число воспитанников; часто, однако же, посещать обязан тех, которые занимаются в классах... В 9 часов вечера во весь год бьют зорю... В воскресные и праздничные дни собирать их, хотя единожды, после обеда на перекличку". – И еще многие пункты выстраивались в голове Клингера рядами и колоннами: по воскресным и праздничным дням чтоб читать в послеобеденные часы устав, чтоб на каждом повороте коридора стоял часовой, чтоб наказания определять соразмерно преступлению и в зависимости от оного...

Но недаром Клингера подозревали в тайном недоброжелательстве правительству – он забыл в своем регламенте о фрунтовой службе: "Не было ни одиночной выправки, ни ружейных приемов, ни маршировки, кроме маршировки в столовую, причем пажи немилосердно топали ногами".

Клингер не проверял того, как осуществляется созданная им система. Он редко являлся в корпусе, передоверив пажей директору Гогелю и инспектору классов Оде-де-Сиону.

Карл Осипович Оде-де-Сион был добрейший и потому безразличный ко всему, что касалось не его самого, француз, попавший в Россию из прусской службы: "...любил более хорошее вино, хороший обед и свою

масонскую ложу, в которой он занимал место великого мастера. Иногда, в послеобеденные часы, пред тем, чтобы отправиться в ложу, приходил он в классы и там, где не было учителя, садился подремать на кафедре". – Ему было так скучно, что он этого и не скрывал, передоверив управление пажами учителям.

Продумав до пуговиц содержание пажеского быта и до минут – распорядок дня, Клингер за недосугом не успел ничего разумного предпринять относительно преподаваемых наук: "Из класса в класс пажи переводились по общему итогу всех баллов, включая и баллы за поведение, и потому нередко случалось, что ученик, не кончивший арифметики, попадал в класс прямо на геометрию и алгебру. В классе истории рассказывалось про Олегова коня и про то, как Святослав ел кобылятину".

Учителей пажи презирали. То были обремененные скучной жизнью люди с красными носами, землистыми щеками и тоскливыми голосами. Они рассаживали пажей по старшинству баллов, скучно осматривали их коварные лица и старались не обращать внимания на шум в последних рядах: там сидели ленивцы и переростки. Впрочем, они не в шутку сердились, если их шляпы гвоздями прибивали к стульям или в табакерки насыпали толченых мух. Они были люди безденежные, малочиновные и без родственников. У иных из пажей годовые доходы родителей превышали жалованье всех их вместе взятых.

В основном учительствовали титулярные советники из духовного звания или забытые своим богом немцы и французы. Долговременное упражнение в косноязычии, беспрекословие перед начальством и цепкость, с какою они держались за свои места, бывали вознаграждаемы: временами, ко дням очередных торжеств, их заносили в списки и одаривали; учителю политических наук итальянцу Триполли дали Владимира на грудь и бриллиантовый перстень, немец Вольгсмут, как бы преподававший физику, получил бриллиантовый перстень, а потом был призван читать физику великим князьям Павловичам.

Потешнее прочих был француз, учивший французскому языку, – старик Леллью, поступивший в корпус еще при государыне Екатерине. Поскольку все пажи и так, сами по себе, знали французский, он не обременял их и себя экзерсисами, а объявил, что два утренних класса в неделю пажи учатся, а один – послеобеденный – веселятся (всего полагалось на французский шесть часов в неделю). Послеобеденный урок они называли вечеринами.

"Что только не вытворяли на этих вечеринах! Произносились похвальные в честь старика речи, пелись гимны, раздавались залпы от разом опущенных крышек пюпитров; то и дело с разными кривляньями и прибаутками попарно подносились ему открытые табакерки, из которых он брал щепотку. И на все это старик преважно раскланивался. Под конец ему представляли табакерку едва ли не с тарелку величиною, с портретом Рюрика, на которую указывали ему как на редкий антик, ссылаясь, что когда эту табакерку показали учителю истории Струковскому и спросили: "Василий Федорович, похож Рюрик?" – тот будто бы вскричал: "Как теперь вижу!" Эти вечерины обыкновенно заключались

обрядом пополнения из этого Рюрика трех табакерок Леллью, которые, надо думать, он нарочно для этого приносил..."

В воспитание пажей учителя не вникали: сидят, пишут, последние ряды играют во что-то, книжки читают — бог с ними, никому за них отчета не давать, провалятся на экзамене — их дело.

Воспитание пажей было передоверено гувернерам — то были отставные штабс- и обер-офицеры.

Боратынский Жуковскому в декабре 1823-го года

Вы налагаете на меня странную обязанность, почтенный Василий Андреевич; сказал бы трудную, ежели бы знал вас менее. Требуя от меня повести беспутной моей жизни, я уверен, что вы приготовились слушать ее с тем снисхождением, на которое, может быть, дает мне право самая готовность моя к исповеди, довольно для меня невыгодной.

В судьбе моей всегда было что-то особенно несчастное, и это служит главным и общим моим оправданием: все содействовало к уничтожению хороших моих свойств и к развитию злоупотребительных. Любопытно сцепление происшествий и впечатлений, сделавших меня, право, из очень доброго мальчика почти совершенным негодяем.

12 лет вступил я в Пажеский корпус, живо помня последние слезы моей матери и последние ее наставления, твердо намеренный свято исполнять их и, как говорится в детском училище, слу́жить примером прилежания и доброго поведения.

Начальником моего отделения был тогда некто Кристафович (он теперь уже покойник, чем на беду мою еще не был в то время), человек во всем ограниченный, кроме страсти своей к вину. Он не полюбил меня с первого взгляда и с первого дня вступления моего в корпус уже обращался со мною как с записным шалуном. Ласковый с другими детьми, он был особенно груб со мною. Несправедливость его меня ожесточила: дети самолюбивы не менее взрослых, обиженное самолюбие требует мщения, и я решился отмстить ему. Большими каллиграфическими буквами (у нас был порядочный учитель каллиграфии) написал я на лоскутке бумаги слово *пьяница* и прилепил его к широкой спине моего неприятеля. К несчастию, некоторые из моих товарищей видели мою шалость и, как по-нашему говорится, на меня доказали. Я просидел три дня под арестом, сердясь на самого себя и проклиная Кристафовича.

Первая моя шалость не сделала меня шалуном в самом деле, но я был уже негодяем в мнении моих начальников. Я получал от них беспрестанные и часто несправедливые оскорбления; вместо того, чтобы дать мне все способы снова приобрести их доброе расположение, они непреклонною своею суровостию отняли у меня надежду и желание когда-нибудь их умилостивить...

Боратынский маменьке в декабре 1812-го года

Любезная маминька.

Мне очень прискорбно слышать, что я имел несчастье вас огорчить, но впредь я буду исправнее. Я теперь уже два месяца в пажеском корпусе. Меня экзаменовали и поместили в 4-й класс, в отделение же г-на Василия

Осиповича Кристафовича. Ах, маминька, какой это добрый офицер, притом же он знаком дядиньке. Лишь только я определился, позвал он меня к себе, рассказал все, что касается до корпуса, даже и с какими из пажей могу я быть другом. Я к нему хожу всякий вечер с другими пажами, которые к нему ходят. Он только зовет к себе тех, которые хорошо себя ведут. Я очень удивлен тем, что вы не получили от меня известие об отъезде дядиньки Петра Андреевича в Свеабург, ибо я вам писал о том два раза. Географию я начал сызнова, перевожу с французского на русский и с русского на французский и с немецкого на русский. Российскую историю также теперь учу и прошел три периода, а учу 4-ое царствование великого князя Юрия 2-го Всеволодовича, также начал я геометрию. Встаем мы в 5 часов, в 1/2 6-го на молитву до 6-ти, потом к чаю до 1/2 7-го, в классы в 7 до одиннадцати, в 12 обедать, а потом в классы от 2-х до 4-х, в 7 часов и в 8 часов ложимся спать. Посылаю к вам реестр издержек при вступлении моем в корпус. Прощайте, любезная маминька, будьте здоровы. Целую братцев и сестриц. Остаюсь вас многолюбящий сын

Евгений Боратынский.

* * *

Какой человек был Кристафович – теперь не понять. К осени 813-го года он уволился из гувернеров корпуса. А пока, зимой 812–813-го, он еще блюл пажеское добронравие и, наряду с исполнением прочих обязанностей, видимо, прочитывал письма своих воспитанников, отсылаемые теми домой.

Заполняя в конце каждого месяца кондуитные списки пажей, Кристафович аттестовывал Боратынского одинаково: "поведения хорошего, нрава хорошего, опрятен, штрафован не был".

* * *

Боратынского перевели после экзаменов в третий класс и за успехи в науках удостоили награждения.

В начале весны умер Андрей Васильевич.

Богдан Андреевич перебрался, вероятно, после этого из Вяжли в Голощапово.

Илья Андреевич собрался выйти в отставку.

Маменька обещала летом приехать в Петербург.

Наша армия медленно и неуклонно приближалась к Парижу.

Время шло.

1814

В тот год сила вещей оказалась против Наполеона: великий император был повержен, а наши офицеры гуляли по парижским улицам, как по Фурштадтской или по Невскому бульвару. В апреле пришло сообщение об окончательной победе. Может быть, пажей выстроили попарно и повели в Казанский собор. После литургии, перед отправлением благодарственного молебна, какой-то министр в парике прочитал манифест о вступлении государя с победоносной армией в Париж и об отречении Наполеона от

престола. Едва тот замолк, начался молебен, заключенный мощным хором. "Тебе бога хвалим" на последнем звуке было подхвачено грохотом пушек и тысячеголосым "ура". Вечером иллюминации горели на всех важнейших зданиях столицы. В одной модной лавке был выставлен гипсовый бюст государя в гирляндах из цветов, а на дощечке подле бюста сияла золоченая надпись: Au plus juste des rois et au meilleur des hommes*.

* * *

Капитан Мацнев, сменивший Кристафовича, страдал то ли чахоткой, то ли запоями, отчего пребывал в частых болезнях, а подполковник де Симон, заменявший его, был, вероятно, просто добрый малый, о котором ничего определенного сказать нельзя. Оба наставника, хранившие юность пажей, уложив их спать, шли в свои квартиры, передоверив воспитанников инвалидному солдату, сторожившему у дверей. После ухода гувернеров начиналась настоящая жизнь: "То являлись привидения (половая щетка с маскою наверху и накинутою простынею), то затевались похороны: тут и поп в ризе из одеяла с крестом из картона, с бумажным кадилом, тут и дьячок и певчие: они подкрадываются к кому-нибудь из своих souffre-douleurs**, берутся молча за ножки его кровати, подымают как можно выше и тогда разом раздается похоронная песня, и процессия отправляется в обход дортуаром. Чаще всего после рунда подымалась война подушками. Дежурный инвалидный солдат боялся: пожалуй, еще побьют".

Боратынский Жуковскому в декабре 1823-го года

...отняли у меня надежду и желание когда-нибудь их умилостивить.

Между тем сердце мое влекло к некоторым из моих товарищей, бывших не на лучшем счету у начальства; но оно влекло меня к ним не потому, что они были шалунами, но потому, что я в них чувствовал (здесь нельзя сказать замечал) лучшие душевные качества, нежели в других. Вы знаете, что резвые мальчики не потому дерутся между собою, не потому дразнят своих учителей и гувернеров, что им хочется быть без обеда, но потому, что обладают большею живостию нрава, большим беспокойством воображения, вообще большею пылкостию чувств, нежели другие дети. Следовательно, я не был еще извергом, когда подружился с теми из моих сверстников, которые сходны были со мною свойствами; но начальники мои глядели на это иначе. Я не сделал еще ни одной особенной шалости, а через год по вступлении моем в корпус они почитали меня почти чудовищем.

Что скажу вам? Я теперь еще живо помню ту минуту, когда, расхаживая взад и вперед по нашей рекреационной зале, я сказал сам себе: буду же я шалуном в самом деле! Мысль не смотреть ни на что, свергнуть с себя всякое принуждение меня восхитила; радостное чувство свободы волновало мою душу, мне казалось, что я приобрел новое существование...

---

*Справедливейшему из государей и добрейшему из людей *(фр.)*.
** Жертв *(фр.)*.

* * *

Новое существование началось с того, что он провалился на экзаменах. В прошлом году все задачки были на арифметические действия; с 3-го класса начались геометрические чертежи и алгебраические формулы, что должно было стать выше его ума. Ну и, вероятно, вечный, не обходимый ни с какой стороны камень преткновения – немецкий язык – свою роковую ролю сыграл. Словом, он остался на второй год.

Петр Андреевич нанял ему учителя математики, и в воскресные дни, когда его выпускали из корпуса к дядюшке, туда, вероятно, являлся и учитель с ворохом ребусов из чисел, отрезков и лучей. Какой вышел толк из их занятий – судить не беремся, но твердо знаем, какой страх можно испытать, услышав приказание начертать прямую с отложенными на ней точками Аз и Буки, меж коими надобно расположить равномерные отрезки так, дабы длина отрезка Аз – Глаголь равнялась длине отрезка Веди – Добро, и проч. и проч. Хоть разбейте себе лоб пюпитром – умом такое не понять, тут потребны большие способности к этой науке. Самое же неприятное, что большими способностями обладают почти все вокруг вас. Вы оглядываетесь через плечо и видите, что даже сидящий за последним столом Х*** вычертил нечто именно то, где достигнута главная цель этой науки – разрушение алфавита:

А В Г Д Б

Самое же непостижимое: хотя каждая задача как-то по-своему разрушает алфавит, тем не менее Аз и Буки, как рождение и смерть, всегда стоят по концам.

После таких упражнений весь мир рассекается в наших глазах. Ворона села на вершину ели: получился отрезок. А пока мы обедали, ворона улетела, и снова вершина ели лучом устремлена ввысь. Мы-то знаем, что она, эта ель, – отрезок; как она ни будет тянуться, чтобы взрасти до небес, как она ни станет качаться под ветром, желая сойти с места у дороги, – ей не взрасти и не сойти. Ибо она есть отрезок. А она знать этого не знает и счастлива. Она живет и не знает о себе ничего. Да и мы не знаем про нее ничего – даже того, когда она перестанет расти или когда ее повалит буря. Впрочем, не нам вести с ней тяжбу о том, кто стойче, ибо мы сами входим в условие задачи, и меряет нас судьба общим аршином, как меряют длины отрезков, а мы всё желаем жить по законам луча и ищем смысл там, где его не бывало. – Почитайте "Курс математики": там купцы покупают товар для того, чтобы извлечь квадратный корень из количества своих денег; там писцы тратят чернила, косцы пьют воду, а из Москвы в Петербург и из Петербурга в Москву едут две повозки затем лишь, чтобы перья, затупленные писцами, отправить на долгих в Петербург со скоростью, равной числу выпитых косцами жбанов, везомых в Москву.

Бог с ними, пусть покупают, пьют и едут. Иные дали открывались перед пажом Боратынским:

"... Нынче, в минуты отдохновения, я перевожу и сочиняю небольшие пиесы, и, по правде говоря, ничто я так не люблю, как поэзию.

Я очень желал бы стать автором. В следующий раз пришлю вам нечто вроде маленького романа, который я сейчас завершаю..."

Что ж, не напрасно, значит, рифмовались некогда être и peut-être?

* * *

В сентябре население Боратынских в Петербурге пополнилось: Александра Федоровна прислала сюда Ашичку и Вавычку, ставших отныне Ираклием (Hercule) и Львом (Léon) Боратынскими – учениками пансиона.

"Каждую субботу мы проводим вместе с Евгением", – написал красавец Ираклий маменьке.

"Я имела удовольствие получить письмо от братца Петра Андреевича, в котором он пишет, что он доволен моими детьми", – написала Александра Федоровна Богдану Андреевичу.

"Поведения и нрава дурного", – написал подполковник Де Симон о паже Боратынском в кондуитный список 1-го октября.

"Поведения и нрава дурного, был штрафован", – написал капитан Мацнев о паже Боратынском 1-го ноября.

1815

Любезная маменька. Я прошу у вас тысячу и тысячу раз прощения за то, что столь долго не писал к вам. Я постараюсь поправить свой проступок теперь и верю, что наша переписка никогда не прервется. Вот весна идет, уже все улицы в Петербурге сухи, и можно гулять сколько угодно. Право, великая радость – наблюдать, как весна неспешно украшает природу. Наслаждаешься с великой радостию, когда замечаешь несколько пробившихся травинок. Как бы мне хотелось сейчас быть с вами в деревне! О! как ваше присутствие приумножило бы мое счастье! Природа показалась бы мне милее, день – ярче. Ах! когда же настанет это благословенное мгновение? Неужели тщетно я ускориваю его своими желаниями? Зачем, любезная маменька, люди вымыслили законы приличия, нас разлучающие. Не лучше ли быть счастливым невеждою, чем ученым несчастливцем? Не ведая того благого, что есть в науках, я ведь не ведал бы и утонченностей порока? Я ничего бы не знал, любезная маменька, но зато до какой высокой степени я дошел бы в науке любви к вам? И не прекраснее ли эта наука всех прочих? Ах, мое сердце твердит мне: да, ибо это наука счастья; конечно, любезная маменька, вы скажете, что чувства обманчивы, что невозможно быть счастливыми, глядя только друг на друга, что скоро соскучишься. Я верю этому и повторяю это себе, но во мне говорит сердце – а оно безрассудно, все это правда, но язык его так сладок... Это песнь Сирены. Прощайте, любезная маменька, будьте здоровы. Будьте так добры – позвольте купить мне лексиконы. Целую моих маленьких сестриц и братца.

Евгений Боратынский.

Прошу вас, любезная маменька, пришлите мне полотенец и передайте мои поклоны monsieur Boriès.

* * *

В марте с острова Эльбы бежал Наполеон и, высадившись с немногочисленным войском на южном берегу своей милой родины, направился походом к Парижу. Европейские государи жили в ту пору в Вене, где распределяли между собой Европу. Узнав о разбойничестве кровавого корсиканца, они объявили ему новую брань. Наш государь 6-го июня направил в Петербург депешу: "Возобновить моления к Подателю всех благ с коленопреклонением ради испровержения коварных замыслов Наполеона Бонапарта".

Благодаря сему с Наполеоном было кончено: сначала он был разбит при Ватерлоо, потом, по рассуждении государей, отослан в Африку, на скалу Св. Елены, под присмотр стражи.

К Наполеону все три брата Боратынские питали с детства негодование, внушенное monsieur Boriès, свидетелем конфискации серебряных ложек в Неаполе. Посему, когда до Петербурга дошло известие о Ватерлоо, братья, должно быть, каждый в своем очередном письме к маменьке прибавили приветствия своему рачительному наставнику:

"Поздравьте monsieur Boriès с пленением Наполеона".

* * *

Тем временем паж Боратынский сдал годовой экзамен и был наконец переведен во второй класс. Кажется, он даже преуспел в математике.

1-го августа подполковник Де Симон записал в кондуит: "нрава скрытного, был штрафован".

Прежде чем взять в свои руки, судьба раскачивала его на своих весах, играя:

1-го сентября – *штрафован не был.*

1-го октября – *был штрафован.*

1-го ноября – *не был штрафован.*

1-го декабря – *был штрафован.*

* * *

Отныне он перестал веровать в свое авторское назначение. Иные дали открывались ему: "Я слишком много люблю свист разъяренных ветров, дующих со всех сторон – около нас, близ нас, скажу даже в глубине моего сердца... Нет, ничем не смущаемый покой – это не жизнь. Поверьте, любезная маменька, можно привыкнуть ко всему, кроме покоя и скуки. Я бы избрал лучше полное несчастие, чем полный покой; по крайней мере, живое и глубокое чувство обняло бы целиком душу, по крайней мере, переживание бедствий напоминало бы мне о том, что я существую. И в самом деле, я чувствую, мне всегда требуется что-то опасное, всего меня захватывающее; без этого мне скучно. Вообразите, любезная маменька, неистовую бурю и меня, на верхней палубе, словно повелевающего разгневанным морем, доску между мною и смертью, чудищ морских, пораженных дивным орудием, созданием человеческого гения, властвующего над стихиями... Вы говорите, что вас радует моя тяга к плодам ума человеческого, но признайтесь, что нет ничего смешнее, чем юноша, изображающий собою педанта, возомнивший себя авто-

ром оттого, что перевел две-три страницы из "Эстеллы" Флориана, сделав тридцать орфографических ошибок, – перевел надутым слогом, который ему самому кажется живописным, – юноша, считающий себя вправе все бранить и не способный ни оценить, ни почувствовать красоты, которыми восхищается, да и восхищается он потому только, что другие считают их превосходными. Он восторженно хвалит то, что сам никогда не читал. Истинно так, любезная маменька, у меня именно этот порок, и я стараюсь избавляться от него. Часто я хвалил "Илиаду", хотя читал ее еще в Москве, и в столь нежном возрасте, что не умел не только почувствовать ее красоты, но даже понять содержание. Я слышу, что все хвалят ее, и вторю, как обезьяна. Я заметил, что многие люди, не обременяющие себя мыслями и имеющие обо всем лишь мнения, принятые в обществе, не выключая и мою персону, весьма похожи на болванчиков, приводимых в движение пружинами, скрытыми внутри их тел. Впрочем, письмо мое слишком длинно, боюсь наскучить вам.

Прощайте, любезная маменька, да подарит нам Господь скорую встречу. Остаюсь вашим смиреннейшим и покорнейшим слугой по обычаю и вашим покорным, вашим нежным, признательным сыном по сердцу

Евгений Боратынский".

Боратынский – Жуковэкому в декабре 1823-го года

...мне казалось, что я приобрел новое существование.

...Мы имели обыкновение после каждого годового экзамена несколько недель ничего не делать – право, которое мы приобрели не знаю, каким образом. В это время те из нас, которые имели у себя деньги, брали из грязной лавки Ступина, находящейся подле самого корпуса, книги для чтения, и какие книги! Глориозо, Ринальдо Ринальдини, разбойники во всех возможных лесах и подземельях! И я, по несчастию, был из усерднейших читателей! О, если б покойная нянька Дон-Кишота была моею нянькою! С какою бы решительностью она бросила в печь весь этот разбойничий вздор, стоющий рыцарского вздора, от которого охладел несчастный ее хозяин! Книги, про которые я говорил, и в особенности Шиллеров Карл Моор, разгорячили мое воображение; разбойничья жизнь казалась для меня завиднейшею в свете, и, природно-беспокойный и предприимчивый, я задумал составить общество мстителей, имеющее целию сколько возможно мучить наших начальников.

Описание нашего общества может быть забавно и занимательно после главной мысли, взятой из Шиллера, и остальным, совершенно детским его подробностям. Нас было пятеро. Мы сбирались каждый вечер на чердак после ужина. По общему условию, ничего не ели за общим столом, а уносили оттуда все съестные припасы, которые можно было унести в карманах, и потом свободно пировали в нашем убежище. Тут-то оплакивали мы вместе судьбу свою, тут выдумывали разного рода проказы, которые после решительно приводили в действие. Иногда наши учители находили свои шляпы прибитыми к окнам, на которые их клали, иногда офицеры наши приходили домой с обрезанными шарфами. Нашему инспектору мы однажды всыпали толченых шпанских мух в табакерку, отчего у него раздулся нос; всего пересказать невозможно. Выдумав шалость, мы по

жеребью выбирали исполнителя, он должен был отвечать один, ежели попадется; но самые смелые я обыкновенно брал на себя, как начальник.

Спустя несколько времени, мы (на беду мою) приняли в наше общество еще одного товарища, а именно сына того камергера, который, я думаю, вам известен как по моему, так и по своему несчастию. Мы давно замечали, что у него водится что-то слишком много денег; нам казалось невероятным, чтоб родители его давали 14-летнему мальчику по 100 и по 200 р. каждую неделю. Мы вошли к нему в доверенность и узнали, что он подобрал ключ к бюро своего отца, где большими кучами лежат казенные ассигнации, и что он всякую неделю берет оттуда по нескольку бумажек.

Овладев его тайною, разумеется, мы стали пользоваться и его деньгами. Чердашные наши ужины стали гораздо повкуснее прежних: мы ели конфекты фунтами...

* * *

Откуда-то взялось слово *квилки:* то ли от quellen – quilt*, то ли от prendre ses quilles**. Может быть, ни от того, ни от другого, да и называли ли их так, когда Боратынский был в корпусе, – неизвестно. Квилки показали себя впоследствии – когда случился арсеньевский бунт.

Бунт был такой. – Паж Павел Арсеньев, сидя на уроке, читал постороннюю книгу. Учитель заметил ему это, но Арсеньев продолжал читать. Учитель хотел забрать книгу, но Арсеньев книгу спрятал, а на слова учителя отвечал дерзко. Тут в класс заглянул Оде-де-Сион. Узнав, о чем спор, он велел Арсеньеву встать в угол. Арсеньев ослушался. Оде-де-Сион закричал, чтобы тот немедленно отправлялся в угол и стал на колени. Арсеньев продолжал упрямиться. Тогда инспектор сказал, что отдаст Арсеньева под арест и велит высечь. – "Мы увидим", – отвечал тот. Арсеньева арестовали и решено было при собрании всех офицеров и пажей наказать его розгами. В день наказания пажей выстроили в рекреационной зале, но, когда инвалидные солдаты хотели уложить Арсеньева на скамью, из пажеской шеренги выскочили квилки и отняли Арсеньева у солдат. Поднялся шум, пажи смешались, приводить наказание в исполнение не оказалось возможным.

История эта, как и семеновская, наделала немало шуму. Но произошла она в 820-м году, когда Боратынский был уже далеко от Петербурга.

А в 815-м на Неве появилась невиданная машина – пироскаф.

Машина стояла в обычной галере, над ней высилась труба, прикрепленная канатами, чтоб не упала.

Охотников переплыть на пироскафе на тот берег и обратно отобрали заранее, и они уже важно прохаживались, ожидая команды садиться на скамейки по бортам галеры. На корме развевался огромный флаг.

В машине, стоящей на пироскафе, что-то негромко заклокотало,

---

*Бить ключом *(нем.)*.
** Дать тягу *(фр.)*.

запыхтело и зафыркало. Народ, столпившийся на набережной, заволновался и зашевелился.

– Он что же, из этой трубы стрелять будет, как картечью?

– Все немцы. Без немцев у нас ничего делать не умеют.

– Вот увидишь, сейчас взорвется.

– Там внутри порох, наверное.

– Пойдем, Машенька, отсюда.

– До чего дожили! Лодку дымом хотят двигать!

– Нет, это не немцы, это англичане выдумали. Они главные моряки.

– Да оно не поплывет! Отчего же это оно должно поплыть?

– Там, внутри, верно, матросы, они вертят колеса.

– Как ты думаешь, Двинский, в следующую войну мы будем сражаться на таких посудинах или нет?

Охотники между тем заняли свои места. Из трубы повалил сизый пар.

– Пожар!

Нет, не пожар, это пироскаф отчаливает от берега. Колеса бьют по воде, разгоняя волны. Рулевой крепко держится за штурвал. Плывет! Пар валит, как из печной трубы дым, простираясь по набережной. Кричат *ура!*

РАЗБОЙНИК

Mein Geist dürstet nach Taten! mein Atem nach Freiheit!

*Schiller**.

Атаман проснулся ранее всех и вышел из пещеры. Солнце едва взошло, синее небо было безоблачно. Прохладный пар подымался от травы. "Как прекрасно!" – думал атаман, наслаждаясь пробуждающейся природой. – Сколь много бы я дал, чтобы вернуться в отчий дом, снова увидеть бескрайние дали моей милой родины, снова услышать кроткий голос моей милой матушки... Где ты, страна моей юности?! Там, там я снова обрел бы мою Амалию... Боже! Как прекрасна она была в те дни, когда мы оба, расцветая под полуденным небом, искали отрады в невинных ухищрениях ребяческих мечтаний! Где она нынче? Ночью на потаенной звезде наши взоры встречаются ли? Или бесплодно смотрю я в безответное небо?..

У входа в пещеру зашелестела трава.

– Это ты, Паоло, мой верный помощник и друг? – спросил атаман. Не слыша ответа, он поворотил голову: – Что ж ты молчишь?

– Прости, атаман. Я залюбовался. Смотри, какое славное утро!

– С каких пор ты сделался столь чувствителен, мой друг? Не после того ли, как третьего дни прострелил шляпу губернатора де Ноиса, а сам он, жив и здоров, ускакал, позабыв по рассеянности на дороге пятьсот талеров?

– Да, атаман, ты прав в укоризнах. Еще немного, и я догнал бы его!

---

*Дух мой жаждет действий! дыханье – свободы! *Шиллер (нем.)*.



Но, удирая, он поднял такую пыль, что я закашлял, зачихал, глаза мои были забиты песком, и мне пришлось остановиться. Проклятый де Ноис! Сколько времени мы потратили на то, чтобы подстеречь его, а он улизнул, даже не поговорив с нами!

– Не горюй, Паоло! Скоро он поедет встречать наместника. Я это знаю наверное. И тогда, думаю, он не уйдет из наших рук... Но вот, кажется, условный знак подают с восточного склона. – Они подошли к обрыву. На поляну перед скалой вышло двенадцать разбойников. У нескольких за плечами висели набитые доверху мешки. То были разбойники, посланные накануне атаманом на добычу провианта.

– Как дела, ребята? – крикнул атаман. – Но кого вы привели?

Между разбойников шла женщина.

– Это что такое? С каких пор вы стали собирать по деревням вместо хлеба наложниц? Эй вы! Что молчите?

– Эта женщина хочет видеть тебя, атаман, – отвечал один из разбойников.

– Хорошо. Спусти лестницу, Паоло.

Паоло бросил вниз веревочную лестницу.

– С каких пор, атаман, дамы берут приступом замки, в которых живут рыцари? – спросила незнакомка, подняв голову.

– С тех пор, сударыня, – отвечал атаман, – как рыцари стали судьями и адвокатами. Впрочем, вы ошибаетесь, если думаете, что я предлагаю вам подниматься сюда. – С этими словами он быстро спустился на поляну.

Паоло последовал за ним. Взглянув на атамана, он поразился происшедшей в нем перемене: тот был бледен, как мел.

– Честь имею, сударыня, представить своего верного друга Паоло, – сказал атаман незнакомке. – А вы, ребята, несите провизию на место. – Разбойники, один за другим, полезли по веревочной лестнице на скалу. – Что вам угодно, сударыня?

– Это в самом деле вы атаман той шайки, которая ограбила три дня назад губернатора, которая разрушила замок судьи Регнилка, которая не дает спокойно жить ни путешественникам, ни паломникам?

– Да, сударыня, я атаман, хотя паломников мы не трогаем. Но к чему столько вопросов? Вас обидели мои молодцы? Вы нуждаетесь в защите от притеснителей?

– Я не могу говорить при свидетелях, атаман.

– Что ж!.. Не сердись, мой друг Паоло! Видимо, дело достаточно важное...

– Я вдова графа Кристафоса, – сказала незнакомка, когда Паоло отошел в сторону. – Я прошу вас рассказать мне, при каких обстоятельствах он пал от рук ваших подчиненных.

Атаман побледнел еще более и нахмурился.

– Зачем вам знать? Это может лишь усугубить ваши страдания.

– Нет, я должна знать правду и прошу от вас рассказа.

Минуту атаман молчал. Незнакомка стала выказывать знаки нетерпения.

– Почему вы молчите? – спросила она наконец.

– Что ж! Пожалуй, я расскажу вам все. Однако придется начать

с событий, случившихся задолго до этого печального происшествия. Слушайте!

Много лет назад, еще до моего рождения, Кристафос был обласкан моим отцом. Он вступил в службу в чрезвычайно бедственном положении. Отец дал ему средства для начального пути и рекомендовал князю П. Князь любил моего отца, доверял ему и всегда, вольно или невольно, выделял его из прочих. Видимо, это пришлось не по вкусу Кристафосу, честолюбивому, но малоспособному от природы. Он стал завидовать и однажды обманными речами возбудил неудовольствие князя, выразившееся в грубости по отношению к отцу.

Отец мой был горд душой и не мог простить несправедливости. Он не имел права вызвать князя на поединок. Он сел на коня и уехал в свой замок, навсегда оставя княжескую службу.

Он умер, когда я был еще ребенком. Все мы, моя мать, мои братья и сестры, горько оплакивали его кончину. Но в детские годы душевные раны быстро заживают, и постепенно его образ погасал в моей душе.

Настала юность, вместе с ней время моего вступления в службу. Я направился к княжескому двору, ни о чем не подозревая. Меня печалила лишь разлука с домом, с матушкой, с братьями, с сестрами... и еще с одною... О! ее образ живо напечатлен в сердце моем и поныне!..

Судьба была неблагосклонна ко мне. Приехав к княжескому двору, я попал под начало – кого бы вы думали? – Да, да! Кристафоса! Он не был еще графом, но был так же завистлив и честолюбив. Узнав, чей я сын, он стал тиранить меня: назначал вне очереди в караулы, придирался к каждому пустяку. Плохо пришитая пуговица делала в его глазах из человека преступника. Я же был своенравен, горд и взбешен такими притеснениями.

Будучи сущим мальчишкой в своей мечтательности, однажды я, подкупив его денщика, велел тому подсыпать в бургундское, какое предпочитал Кристафос всем прочим напиткам, снотворное. Затем, отослав денщика из дома под благовидным предлогом, проник в комнату спящего Кристафоса и прибил его парадные ботфорты гвоздями к полу.

Наутро я, в качестве вестового, пришел разбудить его ложным сообщением о том, что его требует к себе немедленно князь. Вскочив с постели, Кристафос принялся спешно одеваться, но, как дело дошло до ботфортов, оказалось, что денщик не может оторвать их от пола. После безуспешных попыток денщика Кристафос сам побежал в одних чулках к ботфортам и, схватив один из них, так дернул, что подошва осталась на полу, прижатая шляпкой гвоздя, а Кристафос вместе с голенищем в руках упал от собственного резкого движения.

Разумеется, денщик сознался в том, чья это была проказа, и в тот же день семеро дюжих слуг Кристафоса, накинувшись неожиданно на меня, оттащили в подвал для арестантов. Здесь я провел несколько дней на сухарях и воде. Кристафос тем временем оклеветал меня перед князем, сказав, что я украл у него пятьсот талеров. Он нашел такого же, как сам, негодяя, который под присягой свидетельствовал о том. Князь повелел наказать меня прутьями, выжечь на лбу позорное клеймо

и отправить в каторжные работы. В одно мгновение я лишался всего: будущего, чести, имени.

Когда меня вели на эшафот, где должна была кончиться моя честная жизнь, множество народа толпилось на улицах, прилегающих к главной площади. Десять солдат вели меня. Щеки мои горели, и я решился, дойдя до площади, вырвать у одного из моих сторожей алебарду и вонзить ее себе в грудь.

Вдруг, на балконе одного из домов, я заметил давнего своего знакомца, который, казалось, как и все, с любопытством наблюдал за идущей процессией. Некогда он служил вместе со мною, но был удален от княжеского двора по несправедливости. Наряду с другими своими сослуживцами, я пытался заступаться за него, однако безуспешно.

Когда процессия поравнялась с балконом, мой знакомец решительным движением сбросил вниз веревку: один конец ее был привязан к балконным перилам, другой змеею лег на землю. Боже! Что я почувствовал в ту минуту! Не знаю, откуда у меня взялись силы, но я сильно толкнул одного из солдат, шедших справа от меня, ударил другого и через мгновение взлетел по веревке на балкон. Мой спаситель протянул руку, я схватился за нее и перепрыгнул перила. "Сюда!" – крикнул он, устремившись в комнату. Я бросился за ним. В два прыжка мы очутились у двери, выбежали в коридор, влетели в комнату, находившуюся на противоположной стороне коридора, выскочили на балкон, выходивший на другую улицу, шедшую позади дома. С этого балкона уже свисала веревка. Мы стремглав спустились по ней. Возле стены дома стоял человек, державший под уздцы двух коней. "Пожалуйте, – сказал он. – Только торопитесь". Мы взлетели в седла, и только пыль за нами могла бы рассказать, как быстро мчались кони.

К счастью, наши преследователи замешкались, не ожидая такой дерзости, и городские ворота не были еще заперты. Через полчаса, доскакав до леса и не видя за собой погони, мы поехали шагом. Затем, свернув с дороги, по лесным тропинкам, частью на своих конях, частью спешившись, достигли вот этой скалы. Паоло, так звали моего спасителя, свистнул, и нам сбросили лестницу.

Я попал к разбойникам. Первое время я находился в чрезвычайно тяжелом положении. Душа моя была раздавлена обрушившимся на нее несчастием. Но обратная дорога была отрезана, и судьба моя решена. Вскоре после бегства за мою голову назначили сто талеров. Ныне цена ее возросла в пятьсот раз. Я стал одним из самых отчаянных разбойников. Однажды, после жаркого дела, в котором мы потеряли до десяти человек, и среди них своего вожака, зашел общий разговор о надобности избрать нового атамана. Взоры всех остановились нечаянно на мне. Паоло сказал:

– Все смотрят на тебя. Ты самый отчаянный среди нас, притом никогда не теряешь голову в опасную минуту и по праву можешь назваться нашим полководцем.

Меня не надо было долго упрашивать.

– Решено, – отвечал я, – я ваш атаман! И благо тому из вас, кто будет всех неукротимее жечь, всех ужаснее убивать! Ибо, истинно говорю вам,

он будет вознагражден по-царски! Становитесь же вокруг меня и каждый да поклянется в верности и послушании до гроба! Пожмем друг другу руки! – Я был в каком-то диком воодушевлении. Сгрудившись вокруг меня, разбойники протянули мне свои руки. Я положил на их тяжелые ладони свою и сказал: – Моя десница будет порукою, что я преданно и неизменно, до самой смерти, останусь вашим атаманом! – Пламя костра освещало их смуглые лица, и они казались совершенно бронзовыми в свете костра. До сих пор живо помню эту торжественную минуту...

Став атаманом, я приказал всю награбленную добычу делить поровну; мы завели здесь нечто вроде отдельного государства. Но у нас нет законов; мы – свободны. Чувствуете, как пахнут эти листья? А эта трава? А эти цветы? Да, здесь другая жизнь, потому что здесь – свобода, а у вас, у вас там – ее нет...

Но возвращаюсь к своему рассказу. Я должен был отмстить главному своему врагу – Кристафосу. Я опасался, что он умрет своей смертью. За время, проведенное мною в лесу, он уже успел купить себе графское достоинство и женился на юной и прекрасной, как сказывали, особе. Я поклялся не допустить его благополучия. И вот с тремя молодцами мы подстерегли его, схватили и доставили сюда, на скалу.

Когда он узнал меня, то, завизжав от страха, кинулся целовать мои башмаки, прося о помиловании. Он клялся собственной жизнью и жизнью своей жены, он обещал прислать ее сюда к нам в наложницы, он катался по земле, обещал объявить во всеуслышание при княжеском дворе о совершенных им злодействах. При мне он написал длинное прошение к князю, в котором рассказывал о совершенных им гнусностях. Такого признания достаточно было для удовлетворения моей мстительности. Я отпустил Кристафоса, но, не доверяя ему, направился сам, с своими молодцами, в засаду на большую лесную дорогу. Мои сомнения подтвердились на глазах. На опушке леса граф повстречал отряд из тридцати всадников, направлявшихся на его поиски. Он вскричал от радости и первое, что сделал, рассказал им, брызгая слюной и беспрерывно оглядываясь, о том, что был в руках у разбойников, которые мучали его, подвешивая пятками над костром, а теперь отпустили только с тем, чтобы он прислал за себя выкуп в сто тысяч талеров. Он вызвался сам проводить княжеских стрелков в разбойничье логово, но не сейчас, а как только восстановится его память, ибо от нанесенных ему ударов по голове (а стоит заметить, мы его пальцем не тронули: головой он сам бился о землю перед моими ногами) он не может вспомнить, в каком месте надо сворачивать на лесную тропу. В заключение Кристафос просил всадников проводить его до дома. Сидя за густым кустом орешника, слыша эти слова и видя лживость раскаяния графа, я возмутился душой и, прицелившись, прострелил ему голову. Тотчас из леса выскочили мои молодцы, и через пять минут от княжеского отряда осталось только тридцать коней да тридцать сабель, которые мы забрали как законные трофеи.

Так погиб доблестный рыцарь граф Кристафос. Что вы скажете на это, сударыня?

– Боже мой! Я узнала тебя, Ринальдо, – воскликнула незнакомка,

смертельно побледнев, и, если бы атаман не поддержал ее, она навзничь упала бы на землю.

– Ты узнала меня, моя Амалия?

Она была без чувств.

Атаман положил ее на траву, и вдруг из рукава ее платья выскользнул узкий клинок.

– Однако! – воскликнул подбежавший Паоло.

1816

Евгений Боратынский, 16-ти лет – *поведением поправляется, нрава скрытного.*

Дмитрий Ханыков, 15-ти лет – *поведения изрядного, нрава веселого.*

Лев Приклонский, 13-ти лет – *поведения шаловливого, нрава веселого и упрямого, не всегда опрятен.*

Павел Креницын, 16-ти лет, и Александр Креницын, 15-ти лет – *поведения посредственного, нрава вспыльчивого.*

На деле Боратынскому не было полных 16-ти: до рокового 16-тилетия оставались считанные дни. И уже заболела маменька Приклонского в Москве; уже партия той муки, из которой испекут пирожные, которые они запьют ликером в кондитерской, в которую они зайдут перед самой развязкой, – была закуплена; "император Александр Павлович уже два месяца оживлял столицу своим присутствием. Он ежедневно прогуливался пешком по Невской набережной и по Фонтанке; сани его, с брошенною на них шинелью, тихо ехали позади".

Боратынский Жуковскому в декабре 1823-го года

...Спустя несколько времени, мы (на беду мою) приняли в наше общество еще одного товарища*, а именно сына того камергера, который, я думаю, вам известен как по моему, так и по своему несчастию...

Мать нашего товарища, жившая тогда в Москве, сделалась опасно больна и желала видеть своего сына. Он получил отпуск и в знак своего усердия оставил несчастный ключ мне и родственнику своему Ханыкову. "Возьмите его, он вам пригодится", – сказал он нам с самым трогательным чувством, и в самом деле он нам слишком пригодился!

Отъезд нашего товарища привел нас в большое уныние. Прощайте, пироги и пирожные, должно от всего отказаться. Но это было для нас слишком трудно: мы уже приучили себя к роскоши, надобно было приняться за выдумки; думали и выдумали!

Должно вам сказать, что за год перед тем я нечаянно познакомился с известным камергером, и этот случай принадлежит к тем случаям моей жизни, на которых я мог бы основать систему предопределения. Я был в больнице вместе с его сыном и, в скуке долгого выздоровления, устроил маленький кукольный театр. Навестив однажды моего товарища, он очень любовался моею игрушкою и прибавил, что давно обещал такую

---

*Приклонского.

же маленькой своей дочери, но не мог еще найти хорошо сделанной. Я предложил ему свою от доброго сердца; он принял подарок, очень обласкал меня и просил когда-нибудь приехать к нему с его сыном; но я не воспользовался его приглашением.

Между тем Ханыков, как родственник, часто бывал в его доме. Нам пришло на ум: что возможно одному негодяю, возможно и другому. Но Ханыков объявил нам, что за разные прежние проказы его уже подозревают в доме и будут за ним присматривать, что ему непременно нужен товарищ, который по крайней мере занимал бы собою домашних и отвлекал от него внимание. Я не был, но имел право быть в несчастном доме. Я решился помогать Ханыкову. Подошли святки, нас распускали к родным. Обманув, каждый по-своему, дежурных офицеров, все пятеро вышли из корпуса и собрались у Молинари. Мне и Ханыкову положено было идти в гости к известной особе, исполнить, если можно, наше намерение и прийти с ответом к нашим товарищам, обязанным нас дожидаться в лавке.

Мы выпили по рюмке ликеру для смелости и пошли очень весело негоднейшею в свете дорогою.

* * *

(В 823-м году он уже не помнил, по какому случаю им удалось уйти из корпуса. Лежал снег. Но не святки приближались – шли последние дни масленицы, послезавтра наступал великий пост, а сегодня – в субботу, 19-го февраля – они должны были праздновать шестнадцатилетие Боратынского.)

* * *

Нужно ли рассказывать остальное?..

Боратынский – Жуковскому в декабре 1823-го года

...Не смею себя оправдывать; но человек добродушный и, конечно, слишком снисходительный, желая уменьшить мой проступок в ваших глазах, сказал бы: вспомните, что в то время не было ему 15 лет; вспомните, что в корпусах то только называют кражею, что похищается у своих, а остальное почитают законным приобретением (des bonnes prises) и что между всеми своими товарищами едва ли нашел бы он двух или трех порицателей, ежели бы счастливо исполнил свою шалость...

* * *

"Пока шло официальное разбирательство этого дела, окончившееся для них солдатскою шинелью, они оставались в Пажеском корпусе, но все пажи отшатнулись от них как преданных остракизму нравственным судом товарищей. К Баратынскому приставали мало, от того ли, что считали его менее виновным, или от того, что мало его знали, так как он был малосообщителен, скромен и тихого нрава. Но много досталось от пажей Ханыкову, которого прежде любили за его веселые шутки, и Приклонскому, который был известен шалостями и приставанием к другим".

* * *

Его Императорскому Величеству
генерал-лейтенанта Клингера
всеподданнейший рапорт

Пажеского Вашего Императорского Величества Корпуса пажи Ханыков и Баратынский, по прежнему дурному поведению, из Корпуса к родственникам их не отпускались. По замеченному же в них раскаянию и исправлению в поведении, начальство Корпуса к поощрению их к дальнейшему исправлению, желая изъявить им, что прошедшие их проступки предает забвению, решилось отпустить их к родственникам на масляницу; но они, вместо того, чтобы итти к родственникам с присланными за ними людьми, с коими из Корпуса отпущены были, пошли к камергеру Приклонскому, по знакомству их с сыном его пажем Приклонским, и вынули у него из бюро черепаховую в золотой оправе табакерку и 500 рублей ассигнациями. Директор Корпуса, коль скоро о сем узнал, послал гофмейстера на придворный прачечный двор к кастелянше Фрейганг, у которой по порученности от матери находились, по случаю масляницы, два пажа Креницыны, у коих, по известной по Корпусу между ними связи, предполагали найти и упомянутых пажей Ханыкова и Баратынского, как действительно и оказалось.

Гофмейстер объяснил г-же Фрейганг, что не следовало ей оставлять у себя на ночь пажей, коих, как ей по Креницыным известно, отпускают только для свидания с родственниками, от коих за ними присылаются экипажи или люди их и притом с таковым приказанием, чтобы и от родственников они никуда одни не отлучались и во всем себя вели точно по правилам Корпуса.

Пажи сии по приводе их в Корпус, посажены будучи под арест в две особые комнаты, признались, что взяли упомянутые деньги и табакерку, которую изломав, оставили себе только золотую оправу, а на деньги накупили разных вещей на 270, прокатали и пролакомили 180, да найдено у них 50 рублей, кои вместе с отобранными у них купленными вещами возвращены г. камергеру Приклонскому. По важности такового проступка пажей Ханыкова и Баратынского, из коих первому 15 лет, а другому 16 лет отроду, я, не приступая к наказанию их, обязанностию себе поставляю Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше о сем донести.

Подлинное подписал: генерал-лейтенант Клингер.

Февраля 22 дня 1816 года.

* * *

Голицын доложил о проступке государю.

Но еще до того, как дело было представлено императору, тетушка Ханыкова, по праву родственницы, бросилась в ноги камергеру Приклонскому, обливая их слезами. Да и сам Приклонский-отец стал рвать на себе волосы (видимо, именно он сгоряча известил корпусное начальство о краже и только потом узнал, что Приклонский-сын – одно из главных действующих лиц сей истории).

Приклонский-отец молил Голицына заступиться: "Зная совершенно

христианские правила Вашего Сиятельства, осмеливаюсь прибегнуть к Вам с сею покорнейшею просьбою – пощадить несчастных пажей, сделавших непростительную поистине шалость у меня в доме, но у них родственница и их лета за них ходатайствуют – ради Господа умоляю Вас, чтобы их несчастию не был я причиною, смягчите жребий их. Вездесущий воздаст Сам за них – я сам отец и чувствую всю тяжесть такого случая. Благодарность моя будет беспредельна"*.

Но было уж поздно.

Может быть, Голицын и пытался смягчить государя, и потому окончательное решение вышло не столь жестокосердым, как можно было ожидать.

Их не высекли розгами, не отправили в полк в глухую губернию, не посадили в крепость, над их головами не ломали шпаг, и мундиры их не предавали огню.

Февраля 25-го вышло высочайшее повеление только об исключении их из корпуса – с одной, правда, оговоркой: не принимать ни в какую службу, кроме солдатской. Февраля 29-го на сей счет был сенатский указ. 1-го марта Боратынского уже не было в корпусе. Вероятно, он был сдан на руки дядюшке Петру Андреевичу.

* * *

Управление Главного Штаба
Его Императорского Величества
по части дежурного генерала
№ 14
13 марта 1816
С.-Петербург

ИНСПЕКТОРСКОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ

Статс-секретарь господин тайный советник князь Голицын сообщает, что Государь Император высочайше соизволил: пажей Дмитрия Ханыкова и Евгения Баратынского, за негодные их поступки, исключив из Пажеского Корпуса, отдать их родственникам с тем, чтоб они не были принимаемы ни в военную, ни в гражданскую службу, разве захотят заслужить свои проступки и попросятся в солдаты, в таком случае дозволяется принять их в военную службу.

О таковой Высочайшей воле я рекомендую Инспекторскому Департаменту объявить циркуляр по армии.

Дежурный генерал Закревский

* * *

Из Инспекторского департамента отнесли сей листок в типографию, отпечатали тем безмерным тиражом, каким публикуют одни правительственные бумаги – 2400 экземпляров, – и разослали по канцеляриям всех полков.

---

* NB. через год Приклонский-отец сам попадет под суд за растрату казенных денег.

Неделей прежде то же было сделано касательно всех гражданских департаментов.

Для их собственной воли была оставлена узкая щель: они сами могли выбрать себе полк.

* * *

Они не были выключены из дворянского сословия, но, в сущности, были лишены его прав, потому что их дворянские свидетельства остались в Пажеском корпусе, и отныне, в какой бы канцелярии ни просили они выдать новые свидетельства, им отвечали бы, памятуя о проклятых циркулярах: – *Нового уже выдать не можно!* Честь дворянская, разумеется, есть честь дворянская, но, безусловно, по прошествии времени они своим добронравием сделали бы так, чтобы история с табакеркой забылась и их приняли бы в обществе как равных по образованию и воспитанию. Хуже другое: у них отсутствовали бы собственные средства к жизни, которыми они могли бы располагать по собственному усмотрению. Ни в какую службу, кроме солдатской, им итти было нельзя. Значит, рассчитывать на жалованье они не могли. Не могли они рассчитывать и на свою долю при будущем разделе имений между братьями и сестрами, ибо в любой бумаге, где требуются печати и подписи, кем они могли значиться? – Недорослями, выключенными из службы за проступки, не могущими предъявить документы о своем дворянском достоинстве? Следовательно, их удел был бы жить на содержании родственников. Кто отдал бы свою дочь за такого человека? Конечно, нет безвыходных положений, и есть многие способы к жизни. Скажем, домашний учитель, или управляющий в чьем-нибудь имении. Но, знаете ли, лучше итти солдатом в ближайший пехотный полк: по крайней мере, через год-полтора вы будете представлены к офицерскому чину, и вам вернут и свидетельство, и честь.

Подходящий полк стоял в тот год в окрестностях города Белого, и, разумеется, если бы Боратынский был в него записан, эти год-полтора он жил бы в Подвойском, где для его полковых начальников всегда был бы накрыт стол.

Но, кажется, дядюшки Боратынского, сильно потрясенные случившимся, полагали, что можно будет уже в ближайшее время выхлопотать высочайшее прощение, миновав отдание в солдаты и тем самым охранив племянника от позорных сведений в его будущих формулярных списках ("в службу вступил из пажей за проступки рядовым").

Поэтому, видимо, Петр Андреевич усиленно хлопотал с марта месяца, кажется, сдав между тем племянника в какой-то пансион. Но, очевидно, до содержателя пансиона дошла история с табакеркой, и он возвратил Петру Андреевичу деньги, уплаченные за учение. Может быть, Петр Андреевич устроил племянника в другой пансион, и, вероятно, там произошло то же самое, что в первом.

Весна в том году выдалась необыкновенно холодной. Только в конце апреля по Неве пошел лед. С залива дул ветер. У Петра Андреевича ничего не получалось.

* * *

У Боратынского оставался еще один выход. Вряд ли он воспользовался бы им, потому что слишком много людей его любили, чтобы он был волен распоряжаться их любовью, – маменька, три брата, три сестры, три дядюшки, три тетушки, старый Жьячинто. Но выход был: застрелиться.

По счастью, дальше мечты о том – не пошло, а в июне в Петербург за ним приехал из Подвойского Богдан Андреевич.

* * *

29 июня.

Любезнейший братец Богдан Андреевич!

На прошлой почте писали ко мне сестрицы о выезде вашем в Петербург. Я не знаю, как благодарить вас за родственную и беспримерную вашу попечительность о Евгении, одно только меня беспокоит, что приемля столько на себя трудов, я уже не могу надеяться, чтоб они были увенчаны желаемым успехом – все мои друзья и знакомые и сам братец Петр Андреевич опасаются безвременным напоминовением о сем деле испортить его совсем. Каменские* ко мне писали и от имени Катерины И.** советовали взять его к себе в деревню на год, обещая, что по истечении года он будет прощен – но до тех пор как мне предохранить его от многих вещей, которые по летам его неизбежны! Впрочем, я все еще надеюсь на милость божию, что он благословит великодушные ваши старания, и я ничего не могу лучше желать, чтоб он был записан в полк пехотный, стоящий около вашей деревни. Если не можно ему будет приехать ко мне в отпуск, то я сама приеду к нему, ибо многое, что имею ему сказать. А если по вашему обоих моих благодетелей*** рассмотрению не найдете выгодным записать его в полк, то надеюсь, что вы сами с ним приедете в Вяжлю, куда не только мое усердное желание с вами видеться, но и дела вас призывают. Я только что повторяю вам теперь те мои мысли, которые вам представляла в разных к вам письмах, писанных мною и адресованных к Петру Андреевичу, ибо я боялась писать в Белую, чтоб не разъехались они с вами. Может быть, они и не окажутся в Петербурге, и для того я пишу к вам опять с тем же самым предметом, который не выходит у меня из головы и, можете себе представить, какую во мне производит тоску. Впрочем, я не знаю точно, имеет ли право Евгений вступить в службу хотя бы самым нижним чином. – Василий Александрович Недоброво был у меня на днях со всем семейством, он показал мне такое участие, что я не могла удержаться, чтоб не поговорить с ним о том, что меня так занимает. Он также не умел мне сказать, в каком чине Евгений может вступить в службу, а советовал мне писать и просить графа Аракчеева, но я не решаюсь сделать сие без общего совета, да и если это нужно, то я могу писать, когда вы сюда приедете. Я дождусь завтрешнего дня в

---

* Бантыш-Каменские, должно быть, Анна Николаевна и Екатерина Николаевна.

** Нелидова.

*** Богдана Андреевича и Петра Андреевича.

надежде, что получу от вас письмо из Петербурга с некоторыми уведомлениями, которые для меня очень интересны. Прощайте, любезнейший братец, душевно преданная сестра ваша

Александра Боратынская.

ДЕРЕВНЯ

Si pour être heureux il fallait devenir sot, je renonçerais à ce bonheur-la.

*Voltaire**.

Любезная маменька.

Мы проводим здесь время очень приятно, здесь танцуют, здесь смеются, все так и дышит счастием и радостию. Единственная мысль омрачает в моих глазах все великолепие удовольствий, — та, что они кратковременны и что мне придется скоро отторгнуть все эти наслаждения. Я чувствую, у меня совершенно невыносимый нрав, он и приносит мне особого рода несчастие, я слишком издалека предвижу все неприятное, что может со мною приключиться. Было время, когда я так не думал! Но время это, оно пролетело, как сон, или по крайней мере было так коротко, как мгновения счастия, дарованные человеку в жизни. Любезная маменька, люди много спорили о счастье, не нищие ли это, умничающие на счет философского камня?

Иной человек посреди всего, что, казалось бы, делает его счастливым, носит в себе утаенный яд, который его снедает и делает неспособным к какому бы то ни было наслаждению. Болящий дух, полный тоски и печали — вот что он носит среди шумного веселья, и я слишком знаю этого человека.

Счастие — случайно не есть ли это только сопряжение мыслей, которые не позволяют нам думать ни о чем другом, кроме того, чем так переполнено наше сердце, что невозможно размышлять о том, что чувствуешь?

Беззаботность — не есть ли еще и великое счастье?

Не существу ли существ, всемогущему Творцу принадлежит право делать душу способной к этому чувству тогда, когда Он желает воздать кому-то из этих маленьких атомов, которые и выдергивают несколько травинок из персти земной, нашей общей матери?

О атомы на один день! О мои спутники в бесконечной малости! Замечали вы когда-нибудь эту незримую руку, направляющую нас в муравейнике рода человеческого? Кто из нас мог анатомировать эти мгновения, столь краткие в жизни человеческой? Что до меня, то я об этом никогда не мечтал...

Е.Боратынский.

* * *

По смерти Андрея Васильевича его сынам осталось: Петру Андреевичу — Подвойское, Богдану Андреевичу — Голощапово, Илье Андреевичу —

---

* Если для того, чтобы быть счастливым, надо сделаться дураком, я не пожелал бы такого счастья. *Вольтер (фр.)*.



Шавырдино (по сту с небольшим душ в каждой деревне – мужеска и женска пола).

В Петербурге к тому времени, когда случилось несчастье, был один Петр Андреевич. Илья Андреевич, выйдя в отставку, видимо, еще в конце 1813 года уехал на Обшу, Богдан Андреевич перебрался сюда из Вяжли в ту же пору.

В точности не знаем, но, кажется, Богдан Андреевич принял на себя присмотр за Подвойским и жил там.

Сюда, в Подвойское, в июле или в августе он привез своего племянника. Тот выказывал твердость под бременем невзгоды, но внутри себя, видимо, почти умирал. Дорога в Подвойское и новый образ жизни среди бельских родственников и бельских пажитей отдалили опасность. Он мыслил и чувствовал – жизнь оставалась в нем:

* * *

Любезнейший дядюшка, Петр Андреевич... Нет истинного счастья без добродетели, и если кто в сем не признается, то дух гордости ослепляет его, и я это хорошо знаю! Когда пылкие страсти молодости перестанут ослеплять опытную старость, каким ужасным сном кажутся протекшие дни нашей жизни, как смешны кажутся все предприятия радости и печали! Горе тому, кто может вспоминать одни заблуждения! Извините меня, любезный дядюшка, что я пишу вам это, что, может быть, несвойственно ни моей неопытности, ни летам, но я это живо чувствую, а чувством своим повелевать не можно. Прощайте, любезный дядюшка, будьте уверены, что я никогда не позабуду, что вы столько времени были мне отцом, наставником и учителем, и если когда-нибудь изменю чувствам моим, то пусть Тот, Который все знает, Который наказывает злых и неблагодарных – накажет и меня вместе с ними.

* * *

Любезная маменька.

Ужели это правда? Итак, я увижу вас, обниму, буду говорить с вами, дышать тем же воздухом, что и вы! Добрая маменька, я не смею надеяться на такое счастье. Но ведь это не сон, я вас увижу, да, сердце мне говорит о том. Мне кажется, что я уже вижу коляску, запряженную четырьмя лошадьми и галопом въезжающую во двор. Пади, пади! Коляска останавливается, из нее выходит очень добрая дама, которая очень любит меня, – это маменька. А что это за прелестная барышня, выходящая следом из коляски? Боже мой, как нежно она смотрит на меня, несколько слезинок катится из ее прекрасных голубых глаз; смотрите, она бежит обнять меня! Ах, как ее не узнать? Это моя Софи, моя милая Софи! А этот маленький философ, который задумчиво смотрит на меня и боится подойти, не мой ли это маленький Серж? Он меня не знает. Подойди же ко мне, мой маленький братец, познакомимся. Я тебя очень люблю. А ты, ты ведь тоже будешь любить своего брата? Ведь брат, говорил Плутарх, это друг, которого дает нам природа. Разве не был он прав, добродетельный Плутарх? Я советую тебе прочесть его, мой милый братец, думаю, он есть в маменькиной библиотеке, а книга его создана для всех воз-

растов. Но вот еще две барышни с большими черными глазами. Как они хороши! "Конфетку! Конфетку!" – говорят они мне. Я обнимаю их, я ласкаю их. Они слегка краснеют, ибо не знают меня. Как нравится мне этот румянец! Это цвет невинности. Но вот все мы садимся, я целую руки моей доброй матери, я смотрю на нее, и мы с нею плачем, это слезы радости. Боже мой! миг счастия заставляет забыть столько невзгод! Так путешественник, пересекший океан и сражавшийся с ветрами и бурями, возвращается в свою хижину, устраивается возле очага и с удовольствием рассказывает о пережитых кораблекрушениях, и улыбается, слыша вой вероломной стихии, несшей его по волнам. Смелее, г-н Евгений, все хорошо! Оставляю риторику, чтобы сказать вам, что все ждут вас с нетерпением. Все наши родственники будут здесь осенью. И дядюшка Петр Андреевич обещал к нам приехать. Боже мой, сколько счастия сразу! Я боюсь чрезмерно радоваться и, подобно римскому полководцу, просившему Юпитера послать ему какое-нибудь маленькое несчастие, дабы усмирить восторги своим триумфом, я хотел бы слегка заболеть, тогда мне было бы много покойнее. Впрочем, надеяться – всегда прекрасно, и, как говорит Вольтер, надежда,

Обманывая нас, дарует наслажденья, –

надо использовать даже то, что кажется неправильным в человеческой природе. Как много вещей, цель коих от нас сокрыта Провидением, а мы осмеливаемся за это роптать на Творца! Прощайте, маменька! Как я желал бы, чтобы это письмо стало последним, какое мне надо писать к вам.

Е. Боратынский

* * *

Видимо, так и случилось, как он сказал: письмо оказалось последним перед встречей. Только не потому, что маменька на зиму выбралась в Подвойское, а потому, что он заболел, но не слегка, а нервной горячкой и едва не умер в ноябре.

* * *

Может быть, он уже умер.

Жизнь проносилась пред мысленным взором, тая́. Он не бился под Кульмом, не над ним пролетали ядра, не под ним убили коня, не он, покрытый ранами, лежал в полевом лазарете в год, когда двунадесять языков посетили эти края, не его обжигал ветер, когда наша эскадра, разрезая волны, шла по дальним морям, не он на рассвете с петухами вставал... Он умер вчера, не у позорного столпа, не на колесе, а дома, окруженный теми, кто его любил. И вот поют ангелы, и летят ангелы, и крылья их звенят, не задевая лба, и они проносятся рядом, а в двери входит перевозчик. "Ваше благородие! Ладья подана! Велено доставить вас в невредимости". – Боже! Куда? – "На тот берег, барин. Речка ныне мертва, плыть сподручно. Идемте". Кажется, есть такое сочинение – "Видение на берегах Леты": там тоже перевозят кого-то, обещая тот берег, а посреди реки топят. Нет, не там. Там как-то по-другому. Жаль, невозможно вспомнить, а завтра его зароют, сегодня день промежутка;

он еще лежит здесь, на столе, и так неудобно, как будто тело покрыто льдом; К*** входит тихо, бесшумно, молча, словно боится разбудить, она, наверное, хочет закрыть ему глаза, когда отпевали бабушку, глаза у нее были закрыты, или его уже опускают? Как будто он падает, и вот кто-то еще падает, как высоко! Вот развалины какого-то города, и как сильно воет что-то, вот идет стадо, это Мара, но как кружится голова и надо бы пить, пить, пить, воды очень хочется, целая река течет между пальцами, прямо на пальцы внутри грота, нет, не грота, а гроба, но разве в гробу бывает такой сильный туман, по нему как бы плывешь, а не летишь, и откуда доносится этот немолчный вой? тень! зачем ты сопровождаешь меня неужели ты хочешь быть зарытой вместе со мной останься уйди от меня завтра сядь на скамью и ты будешь вечно страдать.

* * *

Но он не умер. Жизнь в нем осталась. Чистый снег блестел на солнце. Лед скрывал речку Обшу. Стоял декабрь.

* * *

Маменька не могла приехать. Решено было отправить его самого в Мару.

* * *

28 декабря.

Любезнейший братец Богдан Андреевич.

Поздравляю вас с новым годом и желаю вам совершенного здоровья и всех благ, каких можно только желать в сем мире. – Сие письмо, по отдаленности, дойдет до вас в самый день рождения вашего, и я не хочу отстать от присутствующих родственников и друзей ваших, я и то завидую им, что они лично могут принесть вам поздравления свои, а мне суждено изъясняться письменно.

... Я не могу изъяснить вам сердечной моей признательности за все ваши милости и попечения об Евгении и обязана вам и исправлением его и самою его жизнию. Опасность, в которой он был, так стесняет мое сердце, что я забываю, что она прошла благодаря Бога и вас, и я не могу удержаться от живейшей скорби и страха всякой раз, как она приходит ко мне на мысль. – Вот уж Рожество прошло, а он не приехал. Зная ваше родительское о нем попечение, я стараюсь ободриться и думать, что вы его не пускаете по слабости его, да и лучше в сем случае переждать, нежели торопиться. – Я во всем полагаюсь на ваше благоразумие. У нас все, слава богу, здоровы, но только грустим во ожидании Евгения. – Я не могу отойти от окошка, ни за что не принимаюсь, ожидание очень мучительно.

Цены на хлеб так низки, что я опасаюсь, что все мои сердечные предположения не исполнятся; без денег далеко не уедешь. – Но я слишком заговорилась...

Прощайте, любезнейший братец.

Усерднейшая сестра А.Боратынская.

Богдан Андреевич праздновать начинал еще в старом году – с рождества, и весь январь в Подвойском длился под его адмиральским знаком – 16-го был его день рождения, 23-го именины. Богдан Андреевич любил пиры, и уныние не было главным свойством его нрава. ("Веселье всегда за вами следует"; "Мы все о вас скучаем и горюем, и во всех наших веселостях нам вас очень не достает".)

Если почитать письма его племянника, жизнь в Подвойском услышится в постоянном шуме праздников. Праздновали годовые праздники, праздновали именины Марии Андреевны, Катерины Андреевны, Варвары и Николая, Ильи и Петра, праздновали, когда приезжали гости и когда возвращался из поездок кто-нибудь из своих:

"Праздник был отмечен роскошнейше, дети исполнили небольшой балет, а на следующий день играли комедию г-жи Гросфельд... Все было очень весело, и у меня до сих пор болят ноги от танцев". – "Сегодня в честь приезда дяди мы будем представлять комедию. Мне поручено управлять детьми – по той причине, что пьеса полностью написана моей рукой и, кроме меня, никто не может суфлировать". – "Провели ли вы этот день так же весело, как мы? Я надеюсь на это... Мы обедали у кузины Вареньки, и хотя ничего забавного не было, все, неизвестно почему, были очень довольны."

(Кстати, о кузине Вареньке. Может быть, уже в эту зиму она занимала воображение Боратынского. Вероятно, она производила впечатление на людей разных возрастов, ибо, когда в сентябре 816-го года дежурный генерал Главного штаба Закревский, проезжая по тем местам, однажды увидел Вареньку, он подарил ей целую строку в своих дорожных записях: "9-го приехал к Лутковскому обедать, где познакомился с премиленькой Варварой Николаевной Кучиной, живущей подле города Белого". А надо знать Закревского. Если уж он оставил в холодном своем дневнике запись о предмете, постороннем лаконическому распорядку его дня*, предмет того стоил, и ясно, что в глазах Боратынского, часто видевшего Вареньку во время жизни в Подвойском, она стала совсем не минутно премиленькой. "Во всем, что я в тебе встречаю, непостоянство примечаю, но постоянно ты мила", – хоть и неуклюже, а он сказал ей это.)

Так вот, праздники были под городом Белым у Боратынских шумные и многолюдные до того, что уставал даже Богдан Андреевич ("адмирала очень беспокоят гости, он этого не говорит вслух, но я заметил").

Разумеется, сельские досуги не обходятся без детей. В Подвойском их было три девицы – Catiche, старшая, 11-ти лет, Annete, средняя, 10-ти лет и Lise, младшая, 9-ти лет, – попросту все их звали, видимо, Катинька, Аннинька и Лизанька, и они были дочерьми генерала Панчулидзева и Марии Андреевны (бывшего Машурочка). Сам генерал Панчулидзев в 816-м году в Подвойское, кажется, не приезжал, а появился здесь в

* Обычно Закревский писал о своей жизни так: "3-го выехал из Москвы в Зубцов. 4-го приехал в Зубцов. 7-го приехал в Ржев".

817-м и вскоре скоропостижно скончался. Дочери же его и жена жили здесь, и именно они стали добрыми его товарищами, именно о них лились восторженные речи Боратынского в первых письмах маменьке после приезда в Подвойское ("Евгений восхищен ими").

* * *

– Евгений всегдашний наш товарищ. Милый и чувствительный Евгений. Я его до смерти люблю. Совершенно уверена, что он вас, милая сестрица, успокоит и утешит. Он никогда не бывает праздным, детей моих очень полюбил, ими всякой день занимается и учит, – так утешала Александру Федоровну Мария Андреевна Панчулидзева. Она была крестная мать Боратынского, все еще прекрасная и чувствительная, как в юности. Ей было около тридцати пяти, и она любила племянника до слез и трепета ("Милого Бубиньку, Бубушу, милочку, я и сама не знаю, как бы мне его лучше назвать, я его так много, так много люблю, что меры не знаю, поцелуйте его от меня... И буду ль иметь столько духу, чтоб описать вам все то, что в глубине сердца моего напечатленно. А я бы хотела разверстое вам оное представить, дабы вы могли в оном ясно видеть те чувствованьи, кои вы в нем произвели. Милый Бубинка, как вы от нас удалены. Но поверьте, сколько напротив вы близки к сердцу нашему. А воспоминание об вас есть первейшим моим удовольствием... Милый и несравненный Бубинка... Без счету раз целую...").

Она и Катерина Андреевна (la tête pensante de la maison* в Подвойском) окружили его заботой и миром. Не в пример братьям чувствительнейшие и образованные по правилам своего века, обе, может быть, видели в племяннике некое повторение своего младшего несчастного братца Александра.

Они доверили отроковиц Панчулидзевых его попечению. Братское обхождение с маленькими детьми ему было привито, видимо, еще в детстве. Кроме того, он вообще любил детей и, быть может, не случись с ним катастрофы, женился бы в 19 лет, как князь Вяземский, тотчас продолжившись в многочисленном потомстве. Дети – своим полным непониманием взрослых условностей – вынуждают всякого переходить в их мир воображения. Уча их взрослым вещам, мы делаем взрослые вещи понятными для них, только когда окажемся внутри их фантастического представления о мироздании. Оказаться там легко тем, кто сам еще не потерял изначальной одушевленности. Но, помимо этого, потребны некоторые лицедейские таланты, ибо, если вы хотите, чтобы дети любили вас, жить с ними надо как бы разыгрывая беспрерывный спектакль, где вы и режиссер, и главное действующее лицо, и зритель – то взыскательный, то восхищенный.

Какими спектаклями жил Боратынский со своими кузинами, разумеется, неизвестно. Может быть, он беседовал с ними по-французски во время прогулок над Обшей, когда они собирали цветы, а он объяснял им красоты речных пейзажей, видимых глазу? Вряд ли так. В 10-летнем

---

*Оракул дома; главное мыслящее существо в доме *(фр.)*.

возрасте людям не до созерцания красот. Он для них рисовал, а они для него, и они рисовали, высунув кончики языков, все вместе? Рисовали руины, морские и степные пейзажи, деревья, кавалерийских офицеров и цветы? Был, вероятно, альбом? Играли в cache-cache*, горелки, жмурки, фанты? – вероятно. Но точно, что внутри этого спектакля они сочиняли стихи и прозу и разыгрывали пьесы на домашнем театре. Может быть, он повторил свой петербургский опыт и сделал для кузин, как два года назад для дочери Приклонского-камергера, кукольный театр. Читая столько, сколько он не читал прежде никогда, он, по природной своей переимчивости, быстро постигал искусство самостоятельного сочинения (а "переимчивость... не есть ли признак превосходного образования души?" – так говорит достойнейший человек эпохи, и вслушаемся в его слова).

Первые его сочинительские опыты были, верно, на французском языке. Но подвойская публика, не сведущая, за исключением тетушек Марьи Андреевны и Катерины Андреевны, в языках, диктовала ему свои требования, а поэт только в зрелые лета может творить хоть на необитаемом острове. Для первоначальных опытов поэт ищет слушателей.

И он сочинял по-русски. А кузины пели:

Родству приязни нежной
Мы глас приносим сей,
В ней к счастью путь надежной,
Вся жизнь и сладость в ней.

. . . .

И в вёдро и в ненастье
Гнетут печали злых, —
Но истинное счастье
Нигде, как в нас самих.

. . . .

Хоть время невозвратно
Всех благ лишает нас.
Увы! хоть слишком внятно
Судеб сей слышен глас...

И проч. и проч. Во всяком случае, не хуже, чем у Сумарокова или Ржевского.

Были, верно, и другие стихи, быть может, хуже этих. Была комедия, которую кузины разыгрывали как-то в день приезда Ильи Андреевича из Москвы: "Мне поручено управлять детьми – по той причине, что пьеса полностью написана моей рукой и, кроме меня, никто не может суфлировать" (правда, *моей рукой*, конечно, совсем не то же самое, что *мной написано*...).

Но все, кроме "Родству приязни нежной...", так и осталось в том времени пишущимся и произносящимся, а бумага, на которой все было записано, давно сгорела.

---

*Прятки *(фр.)*.

* * *

Александра Федоровна между тем ждала сына к себе. Богдан Андреевич отправил его, отпраздновав свои именины, вскоре после того, как маленькие Панчулидзевы пропели в честь именинника "Родству приязни нежной..."

Зиму Александра Федоровна с сестрой Катериной Федоровной и детьми проводила обыкновенно в Кирсанове. Сюда в феврале и приехал Боратынский.

* * *

1 марта.

Любезнейший братец, я получила обязательное письмо ваше с подводами и тем более вам благодарна, что вы в шуме и суете ваших праздников уделили мне несколько времени, чтоб уведомить меня о себе. Вы можете себе представить, как мы расспрашивали вашего человека о вашем житье, и я вижу с удовольствием, что вы наслаждаетесь жизнию и что великолепию вашему нет конца. А я не скоро собралась вам отвечать от разных хлопот домашних, и подлинно моя жизнь совершенный контраст с вашею. Не знаю, велит ли Бог весною выдраться отсюда, но я сего очень, очень желаю, ибо оно весьма нужно детям моим, да и, может быть, узнаю что-нибудь верного о судьбе моего Евгения, которого печальное положение тем более тяготит мою душу, что отменным своим поведением заставляет, если можно, еще более желать, чтоб он был порядочно пристроен в службе. Скажу вам, любезнейший братец, что я им чрезвычайно довольна во всех отношениях и что с трудом понимаю, как мог он себя так потерять в Петербурге, мне это кажется ужасным сном. Я уверена, любезнейший братец, что по беспримерному вашему сердцу к родным вы с удовольствием услышите сие свидетельство в пользу племянника, для которого вы столько много сделали и судя по вашему сердцу увидите, что мое должно чувствовать! Я ничего не напишу вам о здешних хозяйственных обстоятельствах, ибо уверена, что Алексей ваш о всем вас подробно уведомляет. К нам придет егерский конный полк в Кирсанов в апреле месяце, многие сему радуются, а я боюсь и постараюсь скорее уехать. Прощайте, любезнейший братец, будьте здоровы. Прошу вас сказать мое усерднейшее почтение всем любезным родным нашим и быть уверену в совершенной преданности и дружбе

усерднейшей сестры А.Боратынской.

* * *

В Кирсанове Боратынский встретил первую годовщину катастрофы; в Маре – свою семнадцатую весну. Он увидел братца Сержа – близорукого и доброго одиннадцатилетнего мальчика, маленьких сестриц – Натали и Вареньку, подругу детских игр – сестру Софи, добрую даму, по имени *любезная маменька*, ставшую за время его отсутствия ниже ростом. Вероятно, она старалась, чтобы он был подле нее как можно чаще. А он, видимо, показывал свою готовность быть как можно долее подле нее. Их отношения не были просто отношениями матери семерых

детей к старшему из них и старшего сына к матери. Он был первым ее ребенком, на него она возлагала самые обширные надежды, она не сомневалась в его дарованиях, уме и благонравности до тех пор, пока не получила известия об оставлении его в третьем классе. Ее письма к нему, увы, не сохранились – ни за это время, ни вообще. Поэтому: что она к нему писала, какие наставления давала, и в целом – каков был тон ее обращения с ним – можно только представить в уме, но нельзя восстановить. Характер у нее был твердый, и она была от природы решительна – тому есть примеры. Но какое можно дать твердое наставление ребенку, находящемуся за тысячу верст, – в чье повесничество не можно поверить и вероятнее всего оскорбленному невеждами-учителями? К унынию разлуки уже не с одним, а после осени 814-го года с тремя сыновьями у Александры Федоровны должно было прибавиться нечто подобное сознанию своей вины перед старшим ребенком, которого она не могла уберечь от позора, некое чувство беспомощности перед невидимой и потому неясно как преодолимой враждебной силой, должен был появиться страх предчувствия худшего, ибо Петр Андреевич не всегда скрывал в своих письмах к ней, что поведение сына не вовсе поправляется, а, напротив, временами становится из рук вон. Она, вероятно, сетовала и писала ему и о своих слезах, и о том, что он наполняет жизнь ее горестями и что она об одном бога просит, чтобы даровал ему благоразумие и терпение.

Увы, на расстоянии тревога притупляется. Заботы о бесконечно болеющих младших детях, затеянное строительство церкви в Маре, до смешного низкие цены на хлеб – все это рассеивало сосредоточенность Александры Федоровны на ее петербургских сыновьях. Тем более Евгений в следующем после провала году благополучно перешел во второй класс, и уже оставалось немного до получения аттестата, чина и назначения в гвардию, как разразилась катастрофа с табакеркой. После смерти Аврама Андреевича это было, без сомнений, самое ужасное событие в ее жизни.

Теперь сын был с ней, она смотрела на него. Должно быть, он был похудевшим после ноябрьской горячки, кротким и с новым, уже взрослым голосом. А он, вероятно, старался вести себя так, как задано было его ролью прощенного, любимого, облагоразумленного тяжким опытом и несчастного сына. Видимо, в это время он познал впервые, как тягостна эта роль.

Из его жизни в Кирсанове и в Маре известны только ничтожные эпизоды. В марте снова заболел ("Евгений сделался болен и теперь, слава богу, поправляется. Петр Кондратьевич хотя и не мог по своей болезни приехать, но за глаза по описанию болезни удачно ему помог. До сих пор я довольна Евгением, он помнит ваши наставления и знает всю их цену. Дай бог, чтоб это всегда так было").

Вероятно, как и собиралась Александра Федоровна, в апреле или мае перебрались из кирсановского дома в Мару. Чем он занимался – о том можно бы придумать небольшую идиллию: игры с младшими детьми; прогулки; музицирование и чтение вслух с Софи; умные подсказки маменьке по хозяйственной части; добродушные беседы

с постаревшим monsieur Boriès; упоение степным солнцем, небом; нега, тишина... Но идиллии хорошо писать в стихах — гекзаметрами, а не повествовательной прозой. Идиллия не знает времени: в идиллии вечное забвенье мысли, вечная ласка, вечное лето...

А у нас — лето 817-го года, со своими негромкими радостями и гнетом невыправляемого несчастья.

Петербург, видимо, напоминал о себе нечастыми письмами — писал Петр Андреевич, писали братцы Лев и Ираклий. Последние — собственно не ему, а маменьке или в расчете на маменькину цензуру ("Любезнейший братец. Я достоин ваших упреков, ибо не ответил на ваше письмо. Я весьма встревожен вашей болезнью, берегите свое здоровье!" — etc., etc.). Писали, очевидно, прежние друзья по корпусу ("Вы знаете, что у меня большая переписка. Мелкие глупости, которые мы пишем друг другу в детстве, дают нам весомые основания надеяться на дружбу в будущем: какое огромное удовольствие вспоминать, что все были одинаково глупы!").

Там, в Петербурге, начали делать вдоль улиц тротуары. Там пироскаф бороздил воды залива от невской набережной до Кронштадта. Там гвардия готовилась к походу в Москву, куда в сентябре отправлялся сам государь. На его-то кроткий взор и ласковое слово, должно быть, сильно надеялись все Боратынские. Возможно, именно по этой причине Богдан Андреевич, в июле приехавший обозреть свою часть вяжлинского хозяйства, забрал племянника от маменьки в конце августа.

Александра Федоровна вымолила для прощания с сыном только дня два ("Любезнейший братец... Я понадеялась на прежнее ваше намерение остаться здесь до 31-го числа, и так расположилась. — Теперь же, как вы располагаете пробыть два или три дня в Тамбове, то, сделайте милость, позвольте Евгению еще два дни со мною провести, а я его доставлю непременно к тому сроку, какой вы назначите. — Преданная сестра А.Боратынская").

* * *

Но если Богдан Андреевич и впрямь надеялся на благие перемены в судьбе племянника вследствие явления нашего милостивого государя в первопрестольную столицу, он ошибался: государь сюда еще не являлся.

Они приехали в Москву на самое рождество Богородицы. Лавки были по случаю праздника закрыты, и Боратынский не мог выполнить всех маменькиных комиссий. Старый Бува, единственный из книгопродавцев, кого он отыскал, мало чем помог. Лагарпова "Лицея", о котором просила маменька, у него не было; а про "Клариссу" хитроумный Бува сказал, что это последний экземпляр во всей Москве, и Боратынский отдал 25 рублей. Ноты для Софи тоже обошлись недешево — 20 рублей. Себе он купил сукно — по совету Богдана Андреевича ("он говорит, что я могу проходить год и более во фраке, пока не получу офицерский чин"). Ждать государя они не стали и на следующий день, 9-го сентября, отправились в Подвойское.

* * *

С чего начать, любезная маменька, с приезда или с отъезда? Последнее весьма печально, и я скажу лишь о первом, ибо всегда лучше избирать предметы более приятные. Так вот, после недели безмятежнейшего пути добрались мы до Подвойского; замечательнее всего то, что давно ожидаемый генерал Панчулидзев приехал часом раньше. Представьте столь радостную встречу. Вечер прошел в беззаботном веселье. Генерал – любезнейший человек, каких я только видел; в нем есть некая прямота, некая чистота помыслов, нечто от древнего рыцарства. Говорит он чрезвычайно громко, как будто желает, чтобы каждый мог знать, что у него на сердце.

Как мало людей, имеющих такое желание! – Я назвал его рыцарем без страха и упрека, и что-то говорит мне, что он достоин этого имени. Не буду рассказывать, как я был принят здесь. Вы знаете эту несравненную дружбу и этих несравненных людей. Все, что они делают для меня, все, что я чувствую к ним, превосходит любое изъяснение. Полагаю, что подробно изъяснять столь сильные чувства – значит рассеивать их. Кузина Машенька и кузен Аполлон обнимают меня, плача. О, любезная маменька, наслаждение такой любовью – стоит всех наслаждений на свете.

Меня не ждали в этих краях так рано, и мое появление произвело всеобщее удивление. Меня беспрестанно расспрашивали о вас и о вашей поездке в Москву, – поездке, совершенно невыполнимой. Мы заезжали к Костылевым, сами они были в деревне, но я справился у купцов. Все, от булавок до самых изысканных предметов, ужасно дорого. Дрова в пол-аршина стоят 20 рублей сажень. За квартиры требуют еще более непомерные деньги, за 8 скверных комнат платят до трех тысяч рублей. Правительство очень строго следит за чистотой улиц. Ежели вы предоставляете обеспечивать чистоту хозяевам дома, приходится платить вдвое дороже. Все вместе эти неудобства весьма затрудняют пребывание в Москве. Вы сами можете судить о том по картине, которую я старался нарисовать столь верно, сколь умел. Надобно сделать еще небольшое отступление, чтобы поведать вам об истинном диве. В июле этого года начали строить здание* 80 сажен длиной и 45 – шириной, для того, чтобы проводить учения зимой; ныне оно закончено, и закончено не в шутку! Представьте еще и то, что высотой оно с четырехэтажный дом. Невозможно поверить в то, как сорят деньгами, не иначе их много...

Евгений

1818

23 генваря.

... Прошу Вас, любезнейший братец, не оставить Евгения и уведомить меня о ваших намерениях в рассуждении его. Я признаюсь вам, что я чрезвычайно беспокоюсь, тем более, что ни от вас, ни от него ничего не получаю, что бы могло подать мне какую-нибудь надежду. Видя

---

*Экзерцир-гауз (манеж).

неудачу всех ваших родственных попечений, я опасаюсь, что его без формального повеления никуда не примут. В таком случае не сделаете ли вы милость отнестись к нашей благодетельнице* и даже самому Евг. описать горестное состояние свое и просить непосредственной ее помощи. Впрочем, я так далеко от вас, что не знаю, что и придумать в этом случае. Я всю мою надежду в вас полагаю и уверена, что вы мне простите, что вас так часто беспокою одною и тою же просьбою, но посудите, каково и мое состояние; с самого отъезда Евгения я не имела почти ни одной отрадной минуты.

Прощайте, любезнейший братец, будьте здоровы и не оставляйте преданнейшую сестру вашу А.Б.

* * *

Но пред ними высилась незримая стена.

Может быть, были опыты ходатайств через Аракчеева. Аракчеев тогда мог всё. Но, может быть, кто-то из старших Боратынских не угодил Аракчееву в гатчинские времена? Впрочем, бог с ним, с Аракчеевым, про него же сказано: "скрываясь от очей, злодействует впотьмах, чтобы злодействовать свободней". Аракчеев до кончиков ушей обожал нынешнего императора, вполне простив ему смерть Павла, ибо от прежнего благодетеля после почестей он получал всегда такие шлепки, что только его твердая оболочка их переносила. Новый благодетель поставил его на высшую ступень навсегда. После 12-го года государю некогда было управляться с внутренними делами, и в Петербурге последнее время он бывал редко: то поход до Парижа; то Венский конгресс, то потом – в Москву надо, то новый конгресс в Аахене. Государь был освободителем Европы и поддержателем ее мира и покоя; он взял Париж; он учредил в Москве комиссию по оказанию помощи пострадавшим от пожара; он основал военные поселения. Он полагал, что коли мы не можем полностью быть немцами, то пусть добрый русский наш народ хотя несколько научится у немцев точности и регламенту: сама мысль о том, что топить печи и обряжать скот можно не как попало, а по сигналу и что наши славные, всегда слегка пьяные мужички не проводят время в праздности, а учатся – и учатся на деле – искусству порядка в ружейных экзерсисах, – сама эта мысль была рождена всем его организмом – голштинская кровь его текла равномернее при виде воинского порядка, как у вас от красивой тихой музыки. Аракчеев для наведения порядка был незаменим, единствен и первостепенен. Доклады теперь шли только через Аракчеева, обойти его можно было лишь с другой стороны – со стороны царицы-матери Марии Феодоровны, некогда облагодетельствовавшей Александру Феодоровну шифром.

Если Боратынские пошли, для большего вероятия, по обоим путям (разом или поочередно – не имеет значения), то вообще-то, недостаточное влияние Марии Феодоровны на своего сына могло натолкнуться на заочное противоречие Аракчеева. Во внутренних делах у государя была прочная надежда только на последнего.

---

*К Нелидовой.

* * *

А тяжко, наверное, быть на троне человеком: чем больше милостей, чем больше у них у всех свободы – тем больше неблагодарных. Сегодня у придворных кабинеты взламывают, завтра к казне подбираются: куда потом направят они стопы?.. В сенат? Во дворец? В Москве роздано погорельцам почти полтора миллиона серебром... И что же? – "Дошло до сведения государя императора, что 17-го числа прошедшего июня, вечером, во время прогулки в Москве по Тверскому бульвару графини Марьи Александровны Дмитриевой-Мамоновой, дворовый человек г. Казначеева, Тимофей Кирилов, подошел к шедшему за нею крепостному человеку, произносил на счет помещиков и самой графини вслух довольно громко неприличные и даже бранные слова, проповедуя ему о вольности и независимости крепостных людей от помещиков, а за то наказан келейно розгами, почему его императорское величество высочайше повелеть соизволил... оного Кирилова за столь буйственный и дерзновенный поступок следовало наказать наистрожайшим образом и публично".

Иначе – нельзя. Иначе – будет то же, что с Борисом Годуновым. От одного самозванца ныне бог избавил; но Бонапарт – чужой самозванец; тут же своих хватает – сегодня он Тимофей Кирилов, а завтра – Павел Петрович.

Или вот – масоны. В середине лета умер под Москвой мартинист старого закала – Новико́в. Но корни свои глубоко пустили они; г. Карамзин следующим своим сочинением после "Истории" недаром поднес записочку о Новикове, где тот превознесен: "полезный своей деятельностию", "заслуживал общественную признательность", "был жертвою подозрения извинительного, но несправедливого". Извинительного! Ну, если государственный историограф изволит таким образом извинять государей, что спрашивать с Кирила Тимохина, или как его там?

Поразительно! Стремление ко благу не может не встречать препон и не распложать неблагодарных! Ведь если бы они только пили лафит да клико и мудрствовали на счет самосовершения – это ли беда, ибо что за клико без мудрствований! Но ведь они пагубно действуют на низшее сословие. Может быть, здесь не обходится без влияния инородцев... Еще когда откупщик Абрам Перец клеветал на Гурьева, министра финансов, говорили, что Перец – шпион и мартинист, что через Переца решено погубить Россию и споить всех мужичков, чтобы насадить республику... Кстати, о республике: не был ли тот Абрам Боратынский, отец этого, за которого теперь просят, тоже откупщиком? Лет пятнадцать назад подавались какие-то жалобы на того Абрама по тамбовским делам. Надо, конечно, поднять родословную и послужные списки... Надо... Все-то у нас, на Руси, теряется, выбрасывается, покупается... Как будто вредители кругом. Невидимые, сетью тайной, опутывают страну...

И всё, всё отражается, как в зеркале, на низших сословиях. А там – то, что здесь только говорят, там – делают. Вот – пожары. И снова – о Тамбове, из которого три года скачи – ни до какой границы не доскачешь:

"Несколько пожаров, в течение десяти дней, истребили большую часть города Тамбова. Наконец поджигатели схвачены. Следствие потянулось, и, как обыкновенно бывает в России, за одним ложным или справедливым показанием, пущены в ход новые, чтобы запутать и проволочить дело, так что наконец никто, ни сами судьи, ничего не могут разобрать...

Дело было важное тем более, что подозревали о целом обществе зажигателей, рассеянном по разным местностям государства, что и подтвердилось до некоторой степени, хотя руководители сами оставались в стороне. Найдены бумаги, перечневые списки с именами, под мистическими обозначениями... Большая часть поджигателей действовали под влиянием других, некоторые были жестоко наказаны, но пожары не прекращались, и настоящего дознания не сделано. Очевидно, что зажигатели действуют во всех концах государства. Киев, Рязань, Казань, Бердичев, Балта и многие другие города в короткое время обращены в пепел. Уверяют, будто общество это идет от Наполеона... По мнению других, тут замешаны мартинисты или иллюминаты".

Вздор, должно быть, и про Балту и про Киев, но нет дыма без огня...

А вы говорите, военные поселения не надобны. Может быть, вы сами мартинисты?

* * *

Прежнее, от февраля 816-го года формальное повеление государя о непринятии в службу иным чином, кроме солдатского, оставалось в силе и в феврале 818-го, и в июне 818-го, и в августе. Государь уехал из Москвы, за ним – двор и гвардия.

Между тем дядюшка Илья Андреевич купил в Москве дом: "...в сентябре мы все отправляемся в путь. А вы, любезная маменька, не собираетесь ли также в дорогу?"

* * *

Кажется, наконец Александра Федоровна выбралась в Москву и, может быть, осенью снова встретилась здесь со старшим сыном.

Как бы ни было, на новых семейных советах и ввиду прежних безутешительных сведений решено было везти Боратынского к Петру Андреевичу в Петербург и отдавать в полк. Был ли уже выбран именно гвардии Егерский полк и имелась ли договоренность с генералом Бистромом, полковым командиром егерей, – не знаем.

В октябре или ноябре Боратынский снова отправился в Петербург. Он был подавлен, но у него была цель – возвратить себе свободу и найти форму жизни.



ПОЭТ

> Русскими стихами не может изъясняться свободно ни ум, ни душа... Неужели Дмитриев не во сто раз умнее своих стихов? Пушкин, Жуковский, Батюшков в тайнике души не гораздо сочнее, плодовитее, чем в произрастаниях своих?
>
> *Кн. Вяземский*

Миновали *Завидово*. В *Твери* заночевали. Дождь. Небо без просветов. Размокшие поля. Туман. Сырость. Птица грач ходит по пашне. Укачивает... Осенняя дорога уныла. Туман цепкой прохладой оседает на фартук коляски, на лицо, на душу.

Вот проехали и *Валдай*, тоже серый, туманный. – Но все равно, и сквозь этот туман душа не готова к равнодушию. Жизнь таит в этом дожде, в этой сырости, там, в конце дороги, неизвестные ощущения сердцу. Ибо бьется же оно сильнее и слабее! А ум то сонный, то тревожный – то безостановочно бредит, то ясен, как в лучах, и тверд. И широта земная предстоит в своей бескрайности, горизонт развертывает свои края, мир предстает как бы чашей – прозрачной, стройно-выпуклой. Края ее строго очерчены бездонным небом с разбросанными по нему летучими облаками. Ум не может взлететь превыше облак: в таком взлетании нечто нечеловеческое, некое отделение души от тела. – Так мог только Ломоносов; у него всё всегда столь умозримо (умом зримо), как будто ум его только что, пред тем как творить оду, сам побывал где-то там, превыше облак – откуда видна вся широта земная, и изливает на язык все, что узрел: – Там *Лена, Обь* и *Енисей*... *Днепр* хранит мои границы... Полна веселья там *Нева*... Се знойные *Каспийски бреги*...

А здесь – *Чудово*. (Дождь, как и прежде, туман, но воздух иной, ибо веет мглистыми болотами.)

Кому после Ломоносова дано вмещать в свою мысль всю красоту вселенной? Кто вознесется превыше облак? Глубже погружаться на дно чаши, ища узреть полноту бытия не из верховных оконечностей мира, а изнутри его, – вот удел современного человека. Навсегда останется в нем тоска: что *там* – за летучими облаками? за краями чаши?..

Тосно (Какое странное лицо у этой женщины, севшей в карету; какие глаза! Этот генерал, что был рядом с ней, с обветренным лицом, совсем ей не пара.)

...Но ведь чтобы спрашивать: что *там*? – надо прежде найти точку, из которой видна вся чаша бытия, нужно угадать это волшебное место. Где оно? Оно не зависит от климата, от местоположения тела, от времени года. Только что был уныл и зол, душа в томлении ныла, ныла – вдруг – словно отдернута занавесь, снята пелена тумана, и видно *всё*. Подвластно ли это выраженью? Есть слова, но чем точнее они, тем менее определенно выражают то, что зыблется пред душевными очами, пред внутренним взором, пред умозрением...

София (снова дождь, однако усилился ветер; наводнения этой осенью еще не было?).

...Слова, даже самые точные, суть только намеки. Вот они: написаны на бумаге, и каждое – одна форма, и только за пределом видимого (в душе?) нагнетается их смысл.

Бытие. Жизнь. Смерть. Гроб.
Вечность. Скоротечность.
Мир. Покой. Тишина. Буря. Непогода.
Родина. Дом. Кров. Чужбина. Странствия.
Младость. Радость. Мечты. Одиночество. Безвеселье.
Юность. Неопытность. Сны. Опыт. Печаль. Старость.
Желанья. Надежды. Любовь. Обман. Безнадежность. Тоска.
Жар. Сладострастье. Страсть. Разочарование. Холод.
Друзья. Шалости. Проказы. Пиры. Одиночество. Уныние.
Зов. Клик. Отзыв. Безмолвие. Безответность.
Нежная. Милая. Своенравная. Коварная.
Сердце. Чувство. Мысль. Дума.
Счастье. Блаженство. Страдание. Скорбь.
Свобода. Судьба. Рок. Жребий. Удел. Доля. Закон. Цепи.
Гармония.
Поэзия.

Для удобства глаза и чтобы понять, что здесь добро, а что зло, что искомое, а что предлагаемое жизнью, можно бы, припомнив наши математические навыки, поставить каждое из слов под подобающим ему плюсом или минусом. Скажем, *радость* – это хорошо, значит, плюс, *младость* – тоже хорошо, значит, тоже плюс, а *старость* – плохо, значит, минус:

+	–
Младость. Радость	Старость
Вечность	Скоротечность
Жизнь	Смерть
Жар	Холод

И дальше, дальше, дальше.

Но мы бы ошиблись при таком распределении, ибо жизнь и поэзия – не одно и то же, и никогда неизвестно заранее, с каким смыслом перекочует слово оттуда – туда. Тем более нельзя угадать сейчас, осенью 818-го года, когда Боратынский все эти слова, прочитанные им порознь, но еще не ожившие вполне, а теснимые друг другом в умственных глубинах, везет по осенней слякоти из Москвы в –

Петербург.

Наконец, выехали на Невский. Смерклось. Дул ветер. Сырые стены домов уже освещены были огнями в окнах.

* * *

Он обнял в Петербурге братьев – бывших Вавычку и Ашичку: Льва и Ираклия. Красавец Ираклий – гордость семейства, будущий губернатор Казанский, сенатор и генерал, и красавец Лев – будущий помещик села Осиновка и le roi du rire – оба пока хрупкие темноволосые юноши, наверное, не вполне уразумевшие сначала, как им должно обращаться с братом,

старшим их не просто на несколько лет, а на двухлетний опыт изгнаннической жизни.

* * *

В Петербурге он обнял своего друга — Креницына-младшего*, поэта и квилка. Старшего Креницына** по окончании корпуса, еще в марте 818-го года, определили в службу в Глуховский кирасирский полк. Креницын-поэт все еще одолевал курс наук в Пажеском корпусе, и конца этому одолению не предвиделось; шел шестой год его там заключения, и ему скоро исполнялось 18 лет. Учителей и гувернеров он презирал, а верным товарищем его был лейб-драгунский прапорщик Александр Бестужев, будущий знаменитый критик 819-го года, разбивший тогда в пух Катенина и Шаховского, а потом издатель "Полярной звезды" и блестящий Марлинский, сосланный за 14-е декабря и сраженный чеченской пулей. (О квилках он впоследствии скажет: "Если же в Пажеском корпусе существовало означенное общество, то, верно, цель его не стремилась далее стен корпуса, ибо голова Креницына была слишком слаба, чтобы замышлять что-либо важнее". Не ведаем насчет головы Креницына-квилка, но знаем, что язык Бестужева ядовит был всегда.)

"При виде подлеца не сохраню молчанье, лесть — в краску приведу, распутство — в содроганье!" — восклицал вослед Ювеналу Креницын-поэт, еще не переживший выключки из корпуса и отдания в солдаты. Скоро, скоро и он пойдет по пути, проторенному Боратынским, и они сравняются опытом. Сейчас — нет. Сейчас друг Креницына, хотя старше его всего на год, на полжизни опытнее:

О милый! я с тобой когда-то счастлив был!
Где время прежнее, где прежние мечтанья?
И живость детских чувств, и сладость упованья! —
  Все хладный опыт истребил.
Узнал ли друга ты? — Болезни и печали
Его состарили во цвете юных лет;
Уж много слабостей тебе знакомых нет,
Уж многие мечты ему чужими стали!
  Рассудок тверже и верней,
  Поступки, разговор скромнее;
Он осторожней стал, быть может стал умнее,
Но верно счастием теперь стократ бедней.
Не подражай ему! Иди своей тропою!
Живи для радости, для дружбы, для любви!
  Цветок нашел — скорей сорви!
  Цветы прелестны лишь весною!

. . . .

Я легковерен был: надежда, наслажденье
Меня с улыбкою манили в темну даль,
Я встретить радость мнил — нашел одну печаль,
И сердцу милое исчезло заблужденье.

. . . .

---

* Александра.

** Павла.

Что ж! друг Креницына еще не дошел до середины своей жизни, но уже жизнь его разделилась на две неровные части, делая его в собственных глазах элегическим героем... Лет через десять, когда элегии выйдут из моды и появится словечко *романтизм*, таких героев станут называть романтическими:

Следы мучительных страстей,
Следы печальных размышлений
Носил он на челе; в очах
Беспечность мрачная дышала,
И не улыбка на устах,
Усмешка праздная блуждала.

* * *

Мы не сами изобретаем себе роли, — получая назначенные нам судьбой, однако сами оформляем их, исходя из того, кто наш зритель — друг, возлюбленная, маменька, баталионный командир или кто еще. Конечно, во всякой роли мы играем самих себя, облекая склонности своего внутреннего бытия в заданные жизненным спектаклем способы поведения. Всегда существует опасность слиться с ролью — не себя в ней выразить, а сделать свою жизнь воплощением какой-нибудь роли, ибо каждая из них имеет неизъяснимую способность подчинять нас себе, поглощая нашу единственность. Этому немало помогают и наши зрители, желающие придать нашему образу в своих глазах четкие контуры законченного портрета. Быть всепокорнейшим сыном, нежно любящим братом, мстителем-разбойником, элегическим стихотворцем, романтическим героем, повесничающим проказником, Чайльд Гарольдом или Гамлетом — нетрудно. Трудно стать после всего этого самим собой, и только немногим удается неповторимо выразиться в уже готовых жизненных амплуа. Еще более немногим дано из разных своих ролей выстроить некую одну, похожую, конечно, на многие, но даже при беглом взгляде — единственную. Такое бывает не часто, и тогда из нескольких нарицательных ролей складывается одна, собственная, имеющая единственное название; Наполеон, Суворов, Байрон или Вольтер — недаром образцы для подражания, они оформили свои жизни в роли, не общие для рода; не они повторили — за ними станут повторять. Не тщеславие их делает такими, а чувство собственного достоинства. Оно дает им силы в борьбе с судьбой за свое имя и за свободу выбора своего отдельного пути.

Однако риторическими рассуждениями нельзя помочь другому в его тяжбе с судьбой за его имя и за его свободу. Поэтому оставим риторику. Боратынский в Петербурге. Он только что вернулся сюда и, кажется, нашел для первых шагов в своем новом бытии ту форму, которая более других соответствует ныне его внутреннему состоянию, — преждевременную старость души, элегическое уныние и горькую усмешку над жизнью. Он уже пишет элегические стихи и готовыми жанровыми формулами осмысляет свою судьбу.

Но не забудем, с кем имеем дело. Даже если он никогда не прицеплял на спину Кристафовичу записку с бранным словом, были в его жизни и чердашные ужины, и разбойнические проказы. Только долговременные

упражнения в унынии способны умертвить природную живость натуры. И вот уже горькая усмешка кажется скорее насмешливой улыбкой, взор не обжигает тоской, а горит, и на губах смех:

Мы будем пить вино по гроб
И верно попадем в святые:
Нам явно показал потоп,
Что воду пьют одни лишь злые.

Плохая эпиграмма. – Не по мысли, по исполнению. Дайте время – будут и хорошие. Он еще только начинает и не вполне уверен, что станет поэтом, а лучше даже сказать: совсем не уверен.

Он выбирает. Выбирает роль. Выбирает путь. Выбирает слова, беспорядочно теснящиеся в уме и не обретшие еще его собственного, боратынского смысла: *Душа. Гармония. Поэзия. Идеал. Гений. – Бытие. Жизнь. Смерть. Гроб. – Юность. Неопытность. Сны. Опыт. Печаль. Старость. – Свобода. Судьба. Рок. Жребий. Удел. Доля. Закон. Цепи.* – И проч. и проч.

Всем, с кем он видится, и всем, с кем он знакомится, бросается в глаза его *бледное лицо, оттененное темными волосами,* его мечтательная *задумчивость*, его *горящий пламенем взор*. Он еще не дошел до середины своей жизни и, как все в таком возрасте (Дельвиг – исключение), строен. Можно даже сказать, что он красив, ибо разве бывает некрасив влюбленный юноша? А он влюблен, и, кажется, беспрерывно. Счастлива ли его любовь? Кто его избранница? Не забывайте только, что любовь и обладание – не одно и то же, а всегда нечто исключительно редкое. И то и другое дает опыт, но такой разный, что блажен, кто сумел их соединить в одной женщине. В этом смысле Пушкину жить, видимо, легче, ибо его жизнь неделима: "прыгает по бульвару и по ...... по утрам рассказывает Жуковскому, где всю ночь не спал... Но при всем беспутном образе жизни его, он кончает четвертую песнь поэмы". Пушкин весь – *жадно, бешено, опрометью, мелькнул, сверкнул*: никто о нем не скажет иного (Пушкин тоже исключение).

Боратынский – не Пушкин, не Дельвиг. Они поэты, в их сравнении и Креницын и он сам – не более чем стихотворцы. Впрочем, ни Дельвига, ни Пушкина Боратынский еще не видел.

Сейчас он обнимает Креницына.

* * *

Должен был он обнять и Александра Рачинского, ныне подпрапорщика Семеновского полка, знакомца Дельвига, Кюхельбекера и других лицейских. Александр – кузен Боратынского, то есть сын его двоюродного дядюшки, отставного генерал-майора Антона Михайловича Рачинского, живущего сейчас на покое в своем смоленском поместье, а некогда, при императоре Павле, первого полкового командира лейб-егерей (кстати, Павел и крестил его первенца Александра). Впоследствии, в 830-м году, за Рачинского выйдет Варинька Боратынская, младшая сестра, а сам Боратынский будет на их свадьбе шафером. К той поре Рачинский выйдет в отставку и с него будет уже, кажется, снят секретный

надзор, учрежденный после известных событий 825-го года за то, что знал о существовании тайных обществ и не донес. Сейчас, за время отсутствия Боратынского из Петербурга, Рачинский успел, между караулами, маневрами, лафитом и клико, оказаться в одном приятельском кружке, от которого, конечно, далеко до цареубийств, но уже рукой подать до тайных обществ.

Конечно, в 814-м или 815-м году "беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими в тайне" были еще несколько в новость. В 818-м же и 819-м, когда "везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть "Деревня", "Ода на свободу", "Ура! В Россию скачет..." и другие мелочи в том же духе" и когда не было живого человека, который не знал бы этих стихов, когда разговоры об упомянутых предметах занимали умы, когда печатались – не в Лондоне и не в Париже! в Петербурге – такие сочинения, как "Опыт теории налогов" и "Естественное право", – тогда зло существующего у нас порядка видимо обнажилось и все большее число людей переставало его, зло сие, не замечать.

Словом, "где то время, когда у Бурцова собирался кружок молодых людей, из которых каждый подавал самые лестные надежды? Сам Бурцов, братья Колошины, Вальховский... Семенов, молодой Пущин (конноартиллерийский), Жанно Пущин... Александр Рачинский, Дельвиг, Кюхельбекер. – Многие ли из них уцелели?"

Что горевать?

* * *

Еще кого Боратынский обнял в Петербурге? – Андрея Шляхтинского, юношу, старее его четырьмя годами. Шляхтинский, тоже родом из-под Смоленска, ныне прапорщик лейб-Егерского полка, еще пятнадцатилетним мальчишкой успел повоевать с французами, вместе с ополчением пройдя ретирадой от Смоленска до Москвы, а потом наступлением от Тарутина до Вильны; он дрался с неприятелем при Бородине и Малоярославце. В лейб-егеря Шляхтинский поступил в 814-м году. Наверное, в 816-м или 818-м он ездил из Петербурга на родину под Смоленск, где и сошелся с Боратынским. Правда, совсем непонятно, как именно это могло произойти, ибо Боратынский жил в Подвойском – в ста с лишком верстах к северу от Смоленска, а имение Шляхтинских находилось в ста с лишком верстах к югу от губернской столицы – под Рославлем. Но чего не бывает на свете? Ведь вписал же Боратынский ему в альбом при прощании в августе 819-го года, когда тот, переведенный из гвардии в один из пехотных полков, стоявших в провинции, уезжал из Петербурга:

Ты помнишь милую страну,
Где жизнь и радость мы узнали.
Где зрели первую весну,
Где первой страстию пылали.

Как многие из его поколения, Шляхтинский успел вовремя уйти, и история, делающая своими героями страдальцев либо злодеев, только пригрозила ему сомнительной славой мученика, ибо, забегая вперед,

добавим также, что в 826-м году, на следствии, на него указали как на члена Союза благоденствия. Но в 826-м, на его счастье, властители и судии мало вспоминали о том, что было в 818-м.

А в 818-м – осенью или в начале зимы – Боратынский и Шляхтинский поселились вместе: в домике г-на Ежевского в Семеновских ротах.

Боратынский маменьке из Петербурга

Я не сообщал вам своего адреса, ибо сам еще не знал, где поселюсь. – Мы сняли квартиру вместе с г-ном Шляхтинским – у нас три прелестные комнаты, которые только предстоит обставить, впрочем, мебель здесь дешева. – Письма адресуйте так: в Семеновском полку в доме кофишенка Ежевского. Это славный старик, знававший в Гатчине батюшку. Он рассказывает мне всяческие подробности и анекдоты, которые я слушаю с немалым удовольствием. У него есть жена и дочь – воспитанная весьма неплохо, изъясняющаяся по-французски скверно, по-русски провинциально, играющая на рояле подобно нашим богиням из Оржевки*, читавшая несколько романов мадам Радклиф и жалующаяся, что ничто в природе не отвечает возвышенным движениям ее сердца. Весь этот мирок довольно забавен. В последнем письме я говорил вам о некоей мадам Эйн-гросс, с которой я познакомился, так вот, это превосходная женщина. Она весьма образованна, иначе говоря, образованна лучше меня, как все считают. Она божественно играет на арфе, много читает, любит живопись, поэзию, словесность и даже способна иметь собственное суждение о каждом из искусств. Мы размышляем с нею о дружбе, о любви, о любовных увлечениях, об эпикурействе, о стоицизме – словом, обо всем. Я посещаю ее каждый день после полудня, и пока мне это не наскучило; следует, однако, признать, что в ожидании лучшего я был бы даже склонен влюбиться в эту божественную женщину, но не тревожьтесь, я слишком безрассуден, чтобы решиться на серьезное безрассудство.

Прощайте, милая маменька. Быть может, вы считаете все это несколько вольным. Думайте, что пожелаете, но помните, что только вас я люблю всем сердцем. Вчера вечером мадам Э.Г. живо напомнила мне Софи, она играла на арфе тирольскую мелодию. Знаете, пожалуй, она немного напоминает ее и своей внешностью. . . . .
. . . .

* * *

Итак, мы говорили о прапорщике Шляхтинском, служащем в ту пору в лейб-Егерском полку. Этим полком при Павле командовал Антон Михайлович Рачинский, после него – Багратион, убитый при Бородине, а ныне – добрейший Карл Иванович Бистром.

Получилось так, что после полного провала хлопот и вследствие невидимого ныне стечения событий и людей Боратынский был определен именно в этот полк рядовым с дозволением жить на частной квартире. На квартирах жили многие: и офицеры, и солдаты – в том числе в Семеновских ротах, благо своих казарм не хватало, а Семеновские роты

---

* Боратынский имел в виду барышень Мартыновых.

находились тут же, возле Обводного канала, где предписано было стоять егерям.

Еще до определения в полк, в ноябре или декабре, у него появились новые знакомцы: Дельвиг и Кюхельбекер.

Кюхельбекер жил недалеко от Семеновских рот, в десяти, не более, минутах ходьбы вдоль левого берега Фонтанки-реки, возле Калинкина моста. Перейдя через мост, можно было еще через минуты две-три быть у Пушкина. Но Пушкин не очень любил, когда к нему приходили малознакомые люди, ибо жил не один, а, в отличие от большинства из них, с родителями. Кроме того, Пушкин не сидел дома. Да и не с Пушкиным Боратынский сошелся коротко, а с Дельвигом, хотя тот в это время жил далеко от Семеновских рот – почти на Невском вместе с Яковлевым-старшим (Павлом; Павлом Лукьяновичем; Пашей) – братом лицейского Яковлева. (Через полгода, видимо, осенью 819-го, Дельвиг тоже переберется в Семеновские роты и поселится с Боратынским на одной квартире – это случится, должно быть, когда Шляхтинский уедет из Петербурга).

В конце 818-го года – начале 819-го Петербург одаривал Боратынского новыми знакомцами в обилии, несравненно бо́льшем, нежели в годы пажеской жизни. У Кюхельбекера в мезонине бывали отроки – Лёвушка Пушкин, Соболевский из благородного пансиона при Главном Педагогическом институте, заходил лицейский Пущин (Жанно), пил чай Плетнев, которому тогда хотя и было уже к тридцати, но который еще ничего не сделал, чтобы его имя было знакомо с доброй стороны и читательской публике, и вообще добрым людям. Мог оказаться Боратынский в одну из суббот у Жуковского (по мосту через Фонтанку и влево по Екатерингофскому проспекту – 10 минут ходьбы от Семеновских рот; впрочем, даже если и мог оказаться – Жуковский не обратил в ту пору на скромного приятеля лицейских поэтов особенного внимания; это впоследствии он будет занят судьбой Боратынского всерьез, и именно ему первому Боратынский решится изложить в подробностях историю пажеской катастрофы). Мог познакомиться с Глинкой (Федором Николаевичем – сочинителем "Писем русского офицера", ближайшим человеком у петербургского генерал-губернатора Милорадовича, поэтом и членом всех видимых и невидимых обществ). Наверное, тогда же Боратынский узнал и Николая Ивановича Гнедича – учителя трагических актеров и первого нашего настоящего переводчика Гомера. Видимо, еще до того, как Измайлов в "Благонамеренном" напечатал отданные ему Дельвигом стихи Боратынского, Боратынский увидел и благонамеренных членов *михайловского* общества любителей словесности, наук и художеств. Видел он и солидного господина Николая Ивановича Греча, в очках – издателя "Сына отечества".

* * *

Тогда же – через Рачинского ли, через Шляхтинского ли – он должен был сойтись с некоторыми из повес, чья слава нынче, увы, померкла и до наших дней дошли только ее глухие отголоски:

И Чернышев, приятель, хват,
Поклонник Эпикуру,
Ты наш единоверный брат
По Вакху и Амуру,
И нашим музам не чужой —
Ты любишь песнопенья...
Болтин-улан, тебе челом,
Мудрец златого века!
Ты наслаждаешься житьем
Как правом человека...
Ты пьешь с друзьями в добрый час.
Без бабьего жеманства, —
Святая трезвость во сто раз
Безумнее и пьянства!

Это написал не Боратынский, а Коншин (о нем речь впереди). А *Чернышев* — это Павел Николаевич; Паша; Пашка Чернышев: "при первых приготовлениях к войне с французами, в 1812 году вступил в один полк юнкером" (вместе с братом Дмитрием) — а именно в лейб-Егерский полк, — дошел до Лейпцига, а может быть, и до Парижа, был ранен, победно вернулся еще бо́льшим хватом в Петербург. Брат его Дмитрий около 816-го года отправился жить в деревню и вряд ли был коротко знаком Боратынскому. А Павел — был. (О том нечаянно поведало перо "некогда известного не в одном Петербурге Эртеля бывшего друга Дельвига и Глебова"*. Он писал Боратынскому в 1836-м году из Петербурга в Москву: "К нам приехал Пашка Чернышев, и мы с ним почти неразлучны. Тогда исчезает для нас настоящее, и мы живем в прошедшем; а что тогда и частенько поминаем о тебе, это ты можешь вообразить себе. Он обнимает и целует тебя от всей души". — Так что Чернышев был не просто старшим сослуживцем Боратынского по Егерскому полку). И Болти́н** — был: в 819-м году он перевелся из Изюмского гусарского полка в лейб-уланы штабс-ротмистром и служил здесь до 824-го года. — Кто еще в их круг входил? Некто А.Д.Ч., родственник Чернышева: "Рост его и вообще телосложение были исполинские; обращение его явно показывало неограниченное презрение ко всем принятым в свете обычаям... Шалости почти были его страстию". Должно быть, это Александр Дмитриевич Черевин, корнет лейб-уланского полка. — Вот некоторые из тех, с кем пировал Боратынский в конце 818-го и 819-м году.

Пировал, конечно, не совсем то слово, ибо немудрены пирушки наши, и денег у нас всегда либо в обрез, либо нет. Но есть бессмертное изобре-

---

* Василий Андреевич Эртель был родом из Пруссии и выученик Лейпцигского университета; в 817-м году явился в Петербург и к августу определился учителем немецкого языка в пансион при Царскосельском лицее, где служил — полтора года, с января 819-го вышел в отставку и занимался еще полтора года партикулярным учительством в благородных семействах. Возвысился он впоследствии: учил своему природному языку и родной словесности наследника — будущего Александра II, перевел на этот язык 7-й и 8-й тома карамзинской "Истории", сочинил французско-русский и немецко-русский лексиконы, председательствовал в комиссии по переводу на немецкий язык российского свода законов и проч. и проч.

**Илья Александрович.

тение голодного желудка – долг. "Что ни говори, как строго ни суди молодежь, а должно сознаться, что нехорошо молодому человеку, брошенному в водоворот света, не иметь, по крайней мере, несколько тысяч рублей ежегодного и верного дохода, хотя бы на ассигнации" – так судит поэт мысли, и он прав. – Словом, в этот раз Петербург несколько закружил Боратынского новыми лицами и обстоятельствами. (Да и нас тоже, вослед ему, закружил несколько).

От его жизни в домике низком в Семеновских ротах осталось прочное у всех воспоминание: Боратынский жил здесь с Дельвигом, оба в лавочку были должны и перчаток не имели (Шляхтинского мало кто вспоминал, ибо он быстро уехал тогда). Для тех, кто находился в ту пору далеко от Петербурга, а Боратынского и Дельвига узнал позже, – на место Дельвига мог подставляться, например, Левушка Пушкин (он, правда, тоже бывал в домике низком, но постоянным жителем не был). Тогда получалось, что "Баратынский и Лев Пушкин жили в Петербурге на одной квартире... Они везде задолжали, в гостиницах, лавочках, в булочной; нигде ничего в долг им больше не отпускали. Один только лавочник, торговавший вареньями, доверчиво отпускал им свой товар; да где-то промыслили они три-четыре бутылки малаги. На этом сладком пропитании продовольствовали они себя несколько дней".

Но смешно думать важно о безденежье, когда речь идет о повесах, шалунах, поэтах, когда брызжет радостная пена, подобье жизни молодой:

Мы в ней заботы потопляли
И средь восторженных затей
"Певцы пируют! – восклицали, –
Слепая чернь, благоговей!"
. . . .
И где ж вы, резвые друзья,
Вы, кем жила душа моя!
. . . .
Ты, верный мне, ты, Дельвиг мой,
Мой брат по музам и по лени,
Ты, Пушкин наш, кому дано
Петь и героев и вино,
И страсти молодости пылкой,
Дано с проказливым умом
Быть сердца верным знатоком
И лучшим гостем за бутылкой, –

это уже не Коншин, а Боратынский сзывает друзей.

Вы все, делившие со мной
И наслажденья и мечтанья,
О, поспешите в домик мой
На сладкий пир, на пир свиданья!

Но то будет через два года, уже после их разлуки, и не все они снова свидятся тогда, да и вообще в том же кругу, какой собирался в домике низком, они уже никогда не смогут встретиться все вместе. А те немногие, кто соберется после разлуки, что придет им на память?

Что ни ласкало в старину,
Что прежде сердцем ни владело –

Подобно утреннему сну,
Все изменило, улетело!
Увы! на память нам придут
Те песни за веселой чашей,
Что на Парнасе берегут
Преданья молодости нашей.

Или, изъясняясь языком прозаистов, – ”тогда исчезает для нас настоящее, и мы живем в прошедшем”, – как говорил Эртель. Кстати, благодаря Эртелю мы знаем некоторые подробности жизни Боратынского, Дельвига и Пушкина в конце 818-го – начале 819-го года. В 832-м году Эртель вместе со своим знакомцем Александром Глебовым издал ”Русский альманах на 1832 и 1833 годы”, где была напечатана обширная ”Выписка из бумаг моего дяди Александра” – сочинение более беллетристическое, нежели мемуарное, но тем не менее замечательное по отдельным приведенным здесь фактам. Выписка предварена кратким предуведомлением некоего Федора Михайлова Т... о том, что его дядя, некий Александр Борисович М., отъезжая из России в чужие края, оставил на его попечение свое домашнее имущество, книги и бумаги; среди последних нашлись воспоминания, выписку из коих племянник отдал по желанию одного из издателей ”Русского альманаха” для печатания.

Доверяться этим воспоминаниям, конечно, надо с оглядкой, ибо, кажется, и сам *дядя Александр* и его племянник – лица вымышленные, а всю выписку сочинил, может быть, лукавый Эртель. В сей выписке много путаного: Боратынский назван двоюродным братом *дяди Александра**, события разных лет перемешаны**, а устная речь действительных людей переведена на письменный язык довольно чопорно и чинно. Словом, у ”Выписки” много недостатков. Тем не менее люди, с которых сообщается здесь, люди действительные: они, правда, не названы своими полными именами, но ясно, что *б.Д.* или *б.А.А.Д.* – это барон Дельвиг, *Е.Б.* и *Евгений* – Боратынский, *полковник Л.* – Лутковский, *А........ С........ П.....* – Пушкин, *П.Н.Ч.* или *Павел Николаевич* – Чернышев, *И.А.Б.* – Болтин, *Д.Е.* – Еристов. А некоторые факты, сообщаемые об этих действительных лицах, уж слишком точны, чтобы заподозрить сочинителя выписки в абсолютном вымысле. Вымышлена здесь, видимо, частная жизнь *дяди Александра*: его роковая любовь, его служба в лейб-уланах, вероятно, подробности его участия в Лейпцигской битве

---

* Неизъяснимым образом в глазах потомков Боратынский стал и двоюродным братом Эртеля, чего, натурально, не бывало.

** Так, здесь указано, что Боратынский приезжает уже известным поэтом в Петербург из Финляндии в то время, когда Пушкин пишет ”Руслана и Людмилу”. Тут что-нибудь одно: или Боратынский приезжает из Финляндии, а Пушкина уже нет в Петербурге, значит, дело происходит году в 821-м – 822-м; или Боратынский приезжает не из Финляндии, а из Подвойского, стихов еще не печатает, Пушкин сочиняет поэму, и, значит, события происходят в конце 818-го – начале 819-го года. Если избрать второе, то *дяде Александру* можно отчасти верить: все-таки из Подвойского Боратынский приехал лишь однажды, а из Финляндии впоследствии приезжал по меньшей мере семь раз – к 832-му году, когда напечатана ”Выписка”, конечно, Финляндия заслонила собой Подвойское для всех, кто знал Боратынского.

(хотя последнее, верно, не совсем выдумка, а, быть может, пересказ чьих-то военных рассказов — хотя бы Чернышева). Но сейчас не эти подробности у нас в предмете. Речь шла о Боратынском и его новых друзьях.

ВЫПИСКА ИЗ "ВЫПИСКИ ИЗ БУМАГ ДЯДИ АЛЕКСАНДРА"

Тогда между молодыми людьми господствовал весьма приятный, непринужденный тон и истинное товарищество, которое ныне едва знают и по названию. В наших почти ежедневных сборищах много шутили и смеялись. Мы рассказывали свои похождения, причем немало прилыгали, а поимка во лжи подавала повод к новому смеху. Иногда мы даже играли на дворе в бабки. Бутылки шампанского с золотистою смолою, как почетные члены, принимали участие в наших собраниях и немало способствовали к оживлению нашей беседы. Они имели еще особенное свойство развивать музыкальные таланты наши, так что у нас весьма часто раздавались веселые хоровые песни, которые, хотя не отличались гармониею, но увеличивали нашу веселость. В это время сборища наши получили новую прелесть от принятого в них участия милым двоюродным братом моим Е.Б., приехавшим из Финляндии посетить нас. Как ближайший родственник покойной моей матери, он еще ребенком бывал почти ежедневно в нашем доме, почему весьма естественно, что его приняли с живейшею радостию, и он без околичностей остановился у меня. Воспитанный в пажеском корпусе, он впоследствии попал в армейский полк, расположенный в Финляндии*. Достойный полковник Л. старался усладить его разлуку с родными, взял его к себе в дом и служил ему вторым отцом. Я не видал Евгения с нашего детства, и признаюсь, что его наружность чрезвычайно меня удивила. Его бледное, задумчивое лицо, оттененное черными волосами, как бы сквозь туман горящий пламенем взор придавали ему нечто привлекательное и мечтательное; но легкая черта насмешливости приятно украшала уста его. Он имел отличный дар к поэзии, но, несмотря на наружность, муза его была вечно-игривое дитя, которое, убравшись розами и лилеями, шутя связывало друзей цветочными цепями и резвилось в кругу радостей. Неизъяснимая прелесть, которою проникнуто было все существо его, отражалась и в его произведениях. Наша детская дружба возобновилась и стала крепче, чем когда-либо. Я ввел его в круг моих приятелей, в котором он был принят с общею любовью.

В одно воскресенье Евгений рано утром вышел из дома. Я уже намерен был один пойти на гулянье, как вошел с другим молодым человеком, по-видимому, одинаковых с ним лет, довольно плотным, в коричневом сюртуке. Большие, густыми темными бровями осененные глаза блистали из-за черепаховых очков; на полном, но бледном лице его была написана мрачная важность и необыкновенное в его летах равнодушие. Как удивился я, когда Евгений назвал пришедшего б.А.А.Д. Имя его было мне известно и драгоценно по его стихотворениям. Зная также, что он был

---

* О хронологической путанице в памяти *дяди Александра* см. предыдущую сноску.

задушевным приятелем двоюродного брата моего, я с ним никогда до тех пор не встречался. Я не знал, как согласить глубокое чувство, игривый характер и истинно-русскую оригинальность, которые отражаются в его стихотворениях, с этою холодною наружностию и немецким именем. Ах! когда я короче познакомился с ним, какое неистощимое сокровище благородных чувствований, добродушия, чистой любви к людям и неизменной веселости открыл я в сем превосходном человеке.

Едва мы пробыли вместе с четверть часа, как всякая принужденность исчезла из нашей беседы, и мне казалось, что мы уже давным-давно знакомы. Разговор обратился к новейшим произведениям русской литературы и, наконец, коснулся театра.

– Непонятно, – сказал Д., – что мы до сего времени почти ничего не имеем собственного в драматической поэзии, хотя русская история так богата происшествиями, которые можно было бы обработать для трагедии, и притом вокруг нас столько предметов для комедии.

– Вы забываете Озерова, – сказал я.

– Правда, что Озеров имеет большое достоинство, – отвечал Д., – но хотя он обработал отечественное происшествие, однако ж в поэзии его нет народности. Трагедия его принадлежит к французской школе, и тяжелые александрийские стихи ее вовсе не свойственны языку нашему.

Евгений назвал "Недоросля" Фон-Визина, и мы рассыпались в похвалах сей истинно-русской комедии. Когда я спросил барона, почему он сам не займется этим родом, он откровенно признался, что непреодолимая лень не позволяет ему ни рыться в исторических материалах для избрания предмета, ни принудить себя старательно обдумать план. Он прибавил, что уже несколько раз говорил о том с приятелем своим А. . . . . С. . . . .П . . . . ., но что сей последний занят сочинением эпической поэмы* и вообще слишком еще принадлежит свету.

– Поверьте мне, – продолжал Д., – настанет время, когда он освободится от сих суетных уз, когда обратит обширный дар свой к высшей поэзии, и тогда создаст новую эпоху, а русский театр получит совершенно новую форму.

Я уже давно желал узнать сего молодого человека, который так много заставлял говорить о себе. Д. обещал на днях зайти за мною и отвести к П . . . . ., который в это время по болезни не мог выходить из комнаты.

Мы провели вместе целый день. – Между тем пришел и Павел Николаевич, которому знакомство с любезным Д. также чрезвычайно было приятно. Мы обедали у Фёльета, веселость и шутливое остроумие приправляли обед наш. Потом отправились мы на Крестовский остров, а вечер провели в обыкновенном приятельском кругу своем, в котором Д. был принят с всеобщею радостию и отличием. С сего времени мы почти ежедневно виделись и сделались короткими друзьями. С восхищением вспоминаю я теперь о сих прекрасных днях. Ах, с того времени многое, многое переменилось!..

---

* Так *дядя Александр* называет "Руслана и Людмилу".

* * *

Однако, пока мы выписывали свою выписку, наступил 819-й год.

1819

ВЫПИСКА ИЗ "ВЫПИСКИ ИЗ БУМАГ ДЯДИ АЛЕКСАНДРА"

(продолжение)

...При моей короткой связи с бароном Д. я весьма естественно должен был познакомиться с прежними его товарищами по учению, воспитанниками Царскосельского лицея. Между ними были отличные молодые люди, коих способности при благотворном влиянии сего заведения развились в высокой степени. Особенно полюбил я одного из них, который по живости, остроумию, всегдашней веселости и вообще по всем качествам, требуемым в обществе, соединял в себе все хорошие свойства отлично образованного француза. Это был князь Д.Е. Не знаю, где он теперь. Но если он еще жив и если время несколько охладило горячий темперамент его, то наверное он заслужит почетное место в отечественной литературе.

А. . . . .С. . . . . также был товарищем по учению и другом барона. В одно утро сей последний зашел ко мне, чтобы по условию итти вместе к П. Евгений, который еще прежде был знаком с П., пошел с нами... Было довольно далеко до квартиры П., ибо он жил тогда на Фонтанке, близ Калинкина моста... Мы взошли на лестницу, слуга отворил двери, и мы вступили в комнату П.

У дверей стояла кровать, на которой лежал молодой человек в полосатом бархатном халате, с ермолкою на голове. Возле постели на столе лежали бумаги и книги. В комнате соединялись признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого. При входе нашем П. продолжал писать несколько минут, потом, обратясь к нам, как будто уже знал, кто пришел, подал обе руки моим товарищам со словами: "Здравствуйте, братцы!" Вслед за сим он сказал мне с ласковою улыбкою: "Я давно желал знакомства с вами: ибо мне сказывали, что вы большой знаток в вине и всегда знаете, где достать лучшие устрицы". Я не знал, радоваться ли мне этому приветствию или сердиться на него, однако ж отвечал с усмешкою: "Разве вы думаете, что способность ощущать физические наслаждения, определять истинное их достоинство и гармонически соединять их проистекает из того же источника, как и нравственное чувство изящного, которое вероятно по сей причине на всех языках означается одним и тем же словом: вкус? По крайней мере, в отношении к себе я нахожу такое мнение совершенно правильным; ибо иначе не мог бы с таким удовольствием читать ваши прелестные произведения". Так как П. увидел, что я могу судить не об одних вине и устрицах, то разговор обратился скоро к другим предметам. Мы говорили о древней и новой литературе и остановились на новейших произведениях. Суждения П. были вообще кратки, но метки; и даже когда они казались несправедливыми, способ изложения их был так остроумен и блистателен, что трудно было доказать их неправильность. В разговоре его заметна была большая наклонность к насмешке, которая часто ста-

новилась язвительною. Она отражалась во всех чертах лица его, и думаю, что он способен возвыситься до той истинно поэтической иронии, которая подъемлется над ограниченной жизнью смертных и которой мы столько удивляемся в Шекспире.

Хозяин наш оканчивал тогда романтическую свою поэму. Я знал уже из нее некоторые отрывки, которые совершенно пленили меня и исполнили нетерпением узнать целое. Я высказал желание; товарищи мои присоединились ко мне, и П. принужден был уступить нашим усильным просьбам и прочесть свое сочинение. Оно были истинно превосходно. И теперь еще с восхищением вспоминаю я о высоком наслаждении, которое оно мне доставило. Какая оригинальность в изобретении! Какое поэтическое богатство! Какие блистательные картины! Какая гибкость и сладкозвучие в языке! Откровенно признаюсь, что из позднейших произведений сего поэта ни одно не удовлетворило меня в такой степени, как сие прелестное создание юношеской его фантазии. Хотя в них нельзя не признать силы гения, хотя в них красота и блеск языка доведены, может быть, до высшего совершенства, но в них также заметно подражание иностранным образцам, недостойное их автора. П. кажется мне человеком, более назначенным к тому, чтобы самому проложить новый путь и служить образцом, нежели чтобы подражать образцам чужим, коих слава часто основывается на временно господствующем вкусе. Но довольно. Я не поэт и не должен судить о произведениях искусства. Мое дело владеть шпагой, а не пером.

* * *

Пером владел Кюхельбекер: "...он человек занимательный по многим отношениям и рано или поздно в роде Руссо очень будет заметен между нашими писателями. Он с большими дарованиями, и характер его очень сходен с характером женевского чудака: та же чувствительность и недоверчивость, то же беспокойное самолюбие, влекущее к неумеренным мнениям, дабы отличиться особенным образом мыслей; и порою та же восторженная любовь к правде, к добру, к прекрасному, которой он все готов принести на жертву. Человек вместе достойный уважения и сожаления, рожденный для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастия".

Кюхельбекер погружался в бездну дел. Он хотел успеть везде, везде. Чуть не каждую неделю он производжал на свет новые ямбы или гексаметры, читал лекции в Благородном пансионе при Главном Педагогическом институте, числился в архиве Министерства иностранных дел, желал поступить библиотекарем в Публичную библиотеку; он имел восторженную речь, но из-за слабой груди вечно задыхался, отчего голос становился прерывистым. Не любить Кюхельбекера было нельзя. Сам он любил тогда поэзию да своих приятелей: лицейских и поэтов.

"Кюхельбекер много печатал с 1817 по 1820 год. Он читал свои стихи очень дурно, хуже, нежели Пушкин, этот выл и обозначал голосом ударения и цезуру. Тот визжал и задыхался... Кюхельбекер был превосходный ценитель литературных произведений. Это была школа очищенного

вкуса. Сам писал очень посредственно; Пушкин любил его, был дружен с ним, но не любил его стихов". Он писал ему:

Арист, поверь ты мне, оставь перо, чернилы,
Забудь ручьи, леса, унылые могилы,
В холодных песенках любовью не пылай;
Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай!
Довольно без тебя поэтов есть и будет;
Их напечатают — и целый свет забудет.
Но что? ты хмуришься и отвечать готов;
"Пожалуй, — скажешь мне, — не трать излишних слов;
Когда на что решусь, уж я не отступаю,
И знай, мой жребий пал, я лиру избираю,
Пусть судит обо мне как хочет целый свет,
Сердись, кричи, бранись, — а я таки поэт".

Кюхельбекер писал стихи всегда. Это была его страсть, мука, отрада. Увы, поэзия более жила в его душе, нежели в его словах... Однако не будь Кюхельбекера – был ли бы *союз поэтов*?

* * *

Как бы это изъяснить, не повторяя, что у поэта свободный ум и что музы существуют на самом деле, а не в воображении? – Слова наши так не приспособлены для выражения того, что в нас есть, что служат не прямой передаче души – душе, а только намеками и знаками души, по которым лишь немногие смутно угадают родство своего чувства с вашим, соседство своей мысли с той, что у нас.

Согласитесь, главные стихи у каждого поэта – о себе: о чем бы он ни писал, он все равно напишет то, чем исполнена его душа. А душа его исполнена поэзией. Как рассказать, что значит: *в самом себе блажен поэт*? Поэзия начинается с полной и невыразимой немоты чувства и мысли. Голос они обретают после, проясненные искусством. Чем хладнокровнее сказано о горячке сердца, чем менее поэт – частный человек со своей отдельной, среди пространства мира, маленькой скорбью и чем более он этот мир вобрал в себя, – тем более блажен. Это блаженство немногих. И немногие чувствуют тайну поэзии, сокрытую в вашей душе.

Жизнь поэтов – обыденна, как жизнь частных людей. И они, как все, пьют, едят, алчут, жаждут, тоскуют. Участь их – хуже многих не только потому, что их считают за бездельников или расселяют подалее друг от друга, а потому, что они знают, что они немногие.

ПИСЬМО К МОЛОДОМУ ПОЭТУ

– Так, любезный друг: никому не избежать своего жребия! Ежели лавровый венок и темная келия Тасса, ежели нищенский конец и слава Камоэнса должны быть и вашим уделом: я ли, слабый смертный, переменю устав Провидения?

– Не могу вспомнить, – говорите вы, – не могу вспомнить времени, в которое бы не был Поэтом. Хотя я ... с самого младенчества находил в своих воспитателях сильное сопротивление моим склонностям, однако же Природа одолела все их усилия; ничем, ни кроткими, ни строгими средствами, не могли изгнать гения или (если хотите) демона, обладавшего мною...

– Что скажу вам на столь сильные доказательства? ... Вы будете всегда и везде Поэтом, во всех возможных обстоятельствах и случаях... всегда будете мыслить, чувствовать, говорить и поступать, как мыслит, чувствует, говорит и поступает только Поэт: даже если в течение десяти лет не напишете вы ни одного стиха, все, что бы вы в сие время ни видели и ни слышали, все, на что бы ни покушались и чего бы ни испытали, все для вас Поэзия или впоследствии будет Поэзиею... Но не забудьте принять в рассуждение также и всю раздражительность, всю болезненную чувствительность, которые неразлучны с природою истинного Поэта. Тысячи вещей, тысячи случаев сами по себе ничтожны и ничего не значущи, но исполнят горестию *вашу* жизнь: для нервной системы, для воображения, для сердца *Поэта* они будут тяжкими страданиями...

* * *

(Это письмо сочинил некогда славный Виланд, а Кюхельбекер в 819-м году перевел. Мы имели случай сличить с оригиналом: смеем заметить – отличный перевод.)

* * *

Поэтом от пелен, от рождения, от зачатия, если хотите, был Дельвиг:

"На сходках наших он мало вмешивался в разговор, мало даже вмешивался в нашу веселость... всегда казалось, что между нами, живыми, небрежными, веселыми, четверостопными ямбами, он всегда смотрел важным гекзаметром". – "Быв двадцатилетним юношей, Дельвиг обладал постоянною степенностию нрава, что подало однажды повод Пушкину сказать, что он родился женатым". – "Во всяком случае был он мало разговорчив: речь его никогда не пенилась и не искрилась вместе с шампанским вином, которое у всех нас развязывало язык". – "Спрашивали одного англичанина: любит ли он танцевать? "Очень люблю, – отвечал он, – но не в обществе и не на бале, а дома один или с сестрою". Дельвиг походил на этого англичанина". – "Дельвиг вообще любил казаться стариком, перечувствовавшим, пережившим, но мрачности не было в его характере". – "Благодаря своему истинно британскому юмору он шутил всегда остроумно, не оскорбляя никого. В этом отношении Пушкин резко от него отличался: у Пушкина часто проглядывало беспокойное расположение духа... и его шутка часто превращалась в сарказм". – "Дельвиг почти не умел смеяться, но милая, добрая улыбка его никогда не забудется". – "Он всегда шутил очень серьезно, а когда повторял любимое свое слово "забавно", это значило, что речь идет о чем-нибудь совсем не забавном, а или грустном или же досадном для него!.." – "Он так мило, так оригинально произносил это "забавно!", что весело вспомнить". – "Болезненная полнота его казалась дородством: он был росту выше чем среднего; лицо имел открытое, лоб высокий, прекрасный, всегда спокойный; голубые глаза его, вечно вооруженные очками, выказывали невыразимую доброту, ум и мысль. – В лицее мне запрещали носить очки, – сказал он мне однажды, – зато все женщины казались мне прекрасны; как я разочаровался в них после выпуска". – "Дельвиг был постоянно суеверен. Не говоря о 13-ти персонах

за столом, о подаче соли... у него было множество своих примет. При встречах с священниками он не пропускал случая, чтобы не плюнуть им вслед". – «Дельвиг не любил поэзии мистической. Он говорил: "Чем ближе к небу, тем холоднее"».

* * *

Дельвиг был антонимом и антиподом Кюхельбекеру и Пушкину. Пушкин – летал, Дельвиг – шел; Кюхельбекер – восторгался, Дельвиг – иронизировал; Пушкин – хохотал, Дельвиг – едва улыбался; Кюхельбекер читал и писал по-немецки, ибо по рождению своему был германцем и вообще прилежал к языкам, Пушкин говорил на французском лучше, чем Карамзин и Дмитриев по-русски, а Дельвиг, хотя тоже был из немцев, не только природным языком не владел, но, говорят, до 14-ти лет вовсе не знал никаких языков, кроме русского. Кюхельбекер был вспыльчив и обидчив, Дельвиг – никогда не сумасбродствовал въяве, и никому не удавалось с ним рассориться.

Впрочем, на дуэль Булгарина вызывал он. Да и его самого вызывал к себе Бенкендорф (правда, много позже). Да и не забудьте, какое тогда было время: «мысль о свободе и конституции была в разгаре. Кюхельбекер был вспыльчив и обидчив, Дельвиг – никогда не сумасбродствовал свою "Вольность"...» "Во время пребывания императора в Москве были слухи, что он хочет освободить крестьян... В то же время беспрестанно доходили слухи об экзекуциях в разных губерниях... Во всех полках было много молодежи, принадлежавшей к Тайному обществу".

– Je veux étendre les bienfaits du mode Constitutionnel sur tous les peuples que la Providence a confié à mes soins*, – сказал тогда государь. Еще в 815-м году была напечатана конституция Польши. "Польша получила конституцию, а Россия – военные поселения!" В Петербурге ходили слухи: *царь влюблен в Польшу и ненавидит Россию.* "Разводы, парады и военные смотры... почти его единственные занятия".

– Je n'ai pas pu donner encore la Constitution à la Russie**, – говорят, сказал Александр, обращаясь к мадам де Сталь, когда в 812-м году она была у нас в Петербурге.

"Je n'aurai pu donner jamais..."***, – говорят, думал он в 818-м году.

Некто пустил шутку под именем мадам де Сталь, что у нас le gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation****. Словом, тебя! твой трон я ненавижу!.. Кочующий деспот... Бич народов – самовластье... Ах, лучше смерть, чем жить рабами... – И все это было еще до Занда, до Чугуева, до Шварца, до Ипсиланти.

До цареубийства не доходило, но еще неизвестно, что более чревато потрясением основ – ежели один пылкий юноша из благородной фамилии

---

*Я намерен даровать благотворное конституционное правление всем народам, Провидением мне вверенным *(фр.)*.

** Я не мог еще дать конституцию России *(фр.)*.

*** Я не смогу никогда дать... *(фр.)*.

**** Правление есть самовластие, ограниченное удавкою *(фр.)*.

по своей вольнодумной легкомысленности вонзит в бок тирана (или пособника тирана) – кинжал, или когда о такой возможности говорят, хотя и за бутылками V.C.P., хотя и не на улицах, хотя и дома, но зато все юноши из благородных фамилий. Вот они – сидят и поют в голос:

Не плачь дитя, не плачь, сударь;
Вот бука, бука — русский царь!

Потом они опять пьют и читают друг другу стихи: о любви, о дружбе, о лени, о праздности, о пирах, о проказах, о прелестницах, о друзьях, о неге, об унынии, о рабстве, о свободе.

Люблю с красоткой записной
На ложе неги и забвенья
По воле шалости младой
Разнообразить наслажденья.

Ум их не утоплен в вине, и они трезвы.

Я люблю вечерний пир,
Где Веселье — председатель,
А Свобода, мой кумир,
За столом законодатель.

Или – не так! Ум утоплен, ибо ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом.

В углу безвестном Петрограда,
В тени древес, во мраке сада,
Тот домик, помните ль, друзья,
Где наша верная семья,
Оставя скуку за порогом,
Соединялась в шумный круг
И без чинов с румяным богом
Делила радостный досуг?
. . . .

И до утра слово *"пей!"* заглушает крики песен.

Они пьют. Гордый ум не терпит плена, и слова любви перемешиваются с историями о том, как в недалекие времена батюшке нынешнего милостивого монарха попался навстречу один из них, а он не снял с головы картуз. Император Павел (а это ему попался на дороге один из них) мог бы упечь его в Соловки, но по рыцарству своему только пожурил его няньку, которая лишь тем оправдалась, что дитя еще неразумное и говорить не умеет (ибо одному из них в ту пору, когда это случилось, едва исполнился год).

Другой рассказывает, как в ночь смерти Павла его батюшка оказался арестован в Михайловском замке: выпросив у Палена дозволение проститься с телом покойного, он прошел мимо первых двух часовых у внешних дверей, но двое других часовых по другую сторону дверей скрестили свои ружья, ибо не слышали разрешения Палена. Батюшка бросился назад, но первые часовые тоже не пропустили его (а Пален ушел). Часа только через два его освободил кто-то из проходивших заговорщиков.

Они пьют. Ум трезвеет, мысли становятся логичными, надежды злыми. Может ли Нерон, спрашивают они, родить Тита или тирану самой

природой не дано порождать ничего, кроме рабства и цепей? – Тиран отмечен печатью проклятия, и, как стыд природы, обречен на бесплодие? – Увы! насильники истории плодят, и плодят с наслаждением, рабство, называемое ими преданностью, и подлодушие, называемое ими усердием. – Но Тит? Милосердый Тит, с которым так любят сравнивать нашего милостивого монарха, – он-то что может плодить? – Обман надежд на грядущее просвещение? – Нового Нерона? – История необратима! Новый Нерон не будет! Во всяком случае, у нас. Довольно было кратковременного Павла! – Следует ждать у нас своего Бонапарта! – Но наш-то Тит основал лицей! Он взял Париж! – Париж взяли казаки! – В Париже, между прочим, особенный воздух. В Париже вольнодумцы растут на открытом воздухе, а в Петербурге в теплицах. – Не помню, по какому поводу Карамзин сказал: "Ибо и власть самодержцев имеет свои пределы", или что-то подобное. В Европе это почли бы un lieu commun*, пошлою истиною, у нас – верно, дерзостию, которую вслух говорить опасно. – Так как все же быть с Титом? – У каждого Тита должно быть по Бруту! – За Брута!

Они пьют.

Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил,
Что, коль судьбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил –
Нерон же без него правдиву смерть узрит.

Дельвига нельзя, однако, представить с мечом.

* * *

Отчасти они и вправду жили, как писали, и писали, как жили.

Лет через десять, когда всё кругом остепенилось, когда годы их переменили, когда они уже носили перчатки, чтобы не прятать руки в карманы от холода, имели квартиры не в Семеновских ротах, а ближе к Невскому, и обедали большей частью дома, – в них всё по-прежнему сохранялось подобье жизни молодой.

Случай, который вспоминается, состоялся в 830-м году. Времени жить тогда у них оставалось уже в обрез, хотя со стороны можно было думать, что они только начинают. И вот в их кругу оказалось два юноши из нового поколения – которым было столько, сколько им в 818-м году. Один из этих юношей впоследствии записал свое воспоминание:

– "Дельвиги жили на берегу Невы, у самого Крестовского перевоза... Пушкин был в это время уже женихом. Общество Дельвига было оживлено в это лето приездом Льва Пушкина... Слушали великолепную роговую музыку Дмитрия Львовича Нарышкина, игравшую на реке... Вечером на заре закидывали невод, а позже ходили гулять по Крестовскому острову. Прогулки эти были тихие и покойные... Раз только вздумалось Пушкину, Дельвигу, Яковлеву и нескольким другим их сверстникам по летам показать младшему поколению, т. е. мне 17-летнему и брату моему Александру 20-летнему, как они вели себя в наши годы и до какой степени молодежь сделалась вялою сравнительно с прежней.

---

* Общим местом *(фр.)*.

Была темная августовская ночь. Мы все зашли в трактир на Крестовском острове; с нами была и жена Дельвига. На террасе трактира сидел какой-то господин совершенно одиноким. Вдруг Дельвигу вздумалось, что это сидит шпион и что его надо прогнать. Когда на это требование не поддались ни брат, ни я, Дельвиг сам пошел заглядывать на тихо сидевшего господина то с правой, то с левой стороны, возвращался к нам с остротами на счет того же господина и снова отправлялся к нему. Брат и я всячески упрашивали Дельвига перестать этот маневр. Что ежели этот господин даст пощечину? Но наши благоразумные разговоры ни к чему не привели. Дельвиг довел сидевшего на террасе господина своим приставаньем до того, что последний ушел. Если бы Дельвиг послушался нас, то, конечно, Пушкин или кто-либо другой из бывших с нами их сверстников по возрасту заменил бы его. Тем страннее покажется эта сцена, что она происходила в присутствии жены Дельвига, которую надо было беречь, тем более, что она кормила своею грудью трехмесячную дочь. Прогнав неизвестного господина с террасы трактира, мы пошли гурьбою, а с нами и жена Дельвига, по дорожкам Крестовского острова, и некоторые из гурьбы приставали разными способами к проходящим мужчинам, а когда брат Александр или я старались их остановить, Пушкин и Дельвиг нам рассказывали о прогулках, которые они по выпуске из Лицея совершали по петербургским улицам, и об их разных при этом проказах, и глумились над нами, не только ни к кому не придирающимися, но даже останавливающими других, которые 10-ю и более годами нас старее...

Прочитав описание этой прогулки, можно подумать, что Пушкин, Дельвиг и все другие с ними гулявшие мужчины, за исключением брата Александра и меня, были пьяны, но я решительно удостоверяю, что этого не было, а просто захотелось им встряхнуть старинкою и показать ее нам, молодому поколению, как бы в укор нашему более серьезному и обдуманному поведению".

ПРЕДИСЛОВИЕ
к Части третьей

Взгляни на лик холодный сей...

— Между тем, как мы воображали, что язык чувств уже не может у нас сделать новых опытов в своем искусстве, явился такой поэт, который разрушил нашу уверенность. Я говорю о Баратынском. В элегическом роде он идет новою, своею дорогою. Соединяя в стихах своих истину чувств с удивительною точностью мыслей, он показал опыты прямо классической поэзии.

— Первые произведения Баратынского обратили на него внимание. Знатоки с удивлением увидели в первых опытах стройность и зрелость необыкновенную.

— От природы получил он необыкновенные способности: сердце глубоко чувствительное, душу, исполненную незасыпающей любви к

прекрасному, ум светлый, обширный и вместе тонкий, так сказать, до микроскопической проницательности и особенно внимательный к предметам возвышенным и поэтическим, к вопросам глубокомысленным, к движениям внутренней жизни, к тем мыслям, которые согревают сердце, проясняя разум, к тем музыкальным мыслям, в которых голос сердца и голос разума сливаются созвучно в одно задумчивое размышление.

– Воспитание его, как видно, было больше блестящее, нежели основательное.

– В первом детстве получил он самое тщательное воспитание; оно много помогло впоследствии развитию необыкновенно утонченного вкуса.

– Страсть и способности к Поэзии обнаружились в нем с ранних лет, но необыкновенное, можно сказать, болезненное чувство скромности, сохранившееся во всю жизнь, долго не позволяло ему явиться на суд публики, испытать ее приговора. Вероятно, он навсегда бы укрылся от ее внимания, если б один из друзей его, барон Дельвиг, не напечатал без его ведома одну из его первых пиес. Баратынской часто вспоминал о том тягостном впечатлении, которое произвело в нем это неожиданное появление его стихов, и говорил, что никакой впоследствии успех не мог выкупить этой мучительной минуты.

– Однажды спрашивали у Баратынского: что есть Поэзия? – он отвечал: "Поэзия есть полное ощущение известной минуты".

– Любовь к Поэзии владела им вполне, без всякой мысли об известности. Она служила ему заменою всех благ земных. Он жил ею в уединении, куда забросила его судьба в молодости, и остался ей верен в счастливые эпохи своего бытия. Никогда не допускал он ее как средство... и находил, что стихотворение, совершенное в полноте значения, может быть холодно по одной цели, его внушившей. Он не переставал повторять, что сама Поэзия есть цель для Поэзии. Прозою он писал мало. Признавался, что не находил в этом большой привлекательности и что даже с большею легкостию мог выражать свои мысли стихами.

– Я уверен, что если бы он не почитал себя поэтом и занялся теорией и критикой литературы, он написал бы в этом роде много умного, прекрасного, пояснил бы много идей для своих современников. Его ясный ум, строгий вкус, сильная и глубокая душа давали ему все средства быть отличным критиком.

– Баратынский никогда не бывал пропагандистом слова. Он, может быть, был слишком ленив для подобной деятельности, а во всяком случае слишком скромен и сосредоточен в себе. Едва ли можно было встретить человека умнее его, но ум его не выбивался наружу с шумом и обилием. Нужно было допрашивать, так сказать, буровить этот подспудный родник, чтобы добыть из него чистую и светлую струю.

– Он не был фанатиком ничьим, ни даже самого Пушкина, несмотря на дружбу свою с ним и на похвалы, какими тот всегда осыпал его.

– Я еще вспомнила несколько литературных суждений, которые мне удалось слышать от Александра Сергеевича... после Дельвига он, кажется, больше всех любил Евгения Баратынского как человека и как поэта!

– Отчасти он обязан поэтическою славою своею Пушкину, который всегда и постоянно говорил и писал, что Баратынский чудесный поэт, которого не умеют ценить. Почти то же говорил он о Дельвиге и готов был иногда поставить их обоих выше себя. Трудно понять, что заставляло Пушкина доходить до таких преувеличений. Правда, что он называл Баратынского одним из лучших своих друзей; но дружба не могла ослепить необыкновенной его проницательности. Говорили, что он превозносил Дельвига и Баратынского, чтобы тем больше возвысить свой гений, потому что если они были необыкновенные поэты, то что же сказать о Пушкине? Может ли быть какое-нибудь сравнение между ними и им? Но я не предполагаю такой мелкой хитрости в нашем великом поэте.

– Баратынский не был с ним искренен, завидовал ему, радовался клевете на него, думал ставить себя выше его глубокомыслием, чего Пушкин в простоте и высоте своей не замечал.

– Это сущая клевета.

– Я помню, когда приводили имена лучших литераторов того времени, ...стали говорить: Жуковской, Батюшков и Пушкин; ...позже: Пушкин, Баратынской, Дельвиг.

– Доволен я собой, и по сердцу мне труд,
Когда сдается мне, что выдержал бы суд
Жуковского; когда надеяться мне можно,
Что Батюшков, его проверив осторожно,
Ему б на выпуск дал свой цензорский билет;
Что сам бы на него не положил запрет
Счастливый образец изящности афинской,
Мой зорко-сметливый и строгий Баратынской;
Что Пушкин, наконец, гроза плохих писак,
Пожав бы руку мне, сказал: "Вот это так!"

– Они были... по большей части люди с дарованиями, но и с непомерным самолюбием... Дельвиг, Кюхельбекер, Баратынский старались войти со мною в короткие отношения: моя разборчивость не допускала сближения с такими молодыми людьми; я старался уклониться от их короткости, даже не заплатил им визитов.

– Пушкин с Баратынским были не совсем еще обелены. Я, в качестве редактора журнала, боялся слишком часто показываться в обществе людей, подозрительных для правительства.

– Чем более вижусь с Баратынским, тем более люблю его за чувства, за ум, удивительно тонкий и глубокий, раздробительный. Возьми его врасплох, как хочешь: везде и всегда найдешь его с новою своею мыслью, с собственным воззрением на предмет.

– Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах.

– *О гений на все роды!.. О баловень природы!..* Остер, как унтерский тесак...

– Он щедро награжден судьбой, рифмач безграмотный, но Дельвигом прославлен!

– Баратынский не ставил никаких знаков препинания, кроме запятых, в своих произведениях, и до того был недалек в грамматике, что однажды спросил у Дельвига: "Что называешь ты родительным падежом?"

– Что это за человек, мой друг! Это поистине поэтическая душа!

Какой возвышенный ум, какая нравственная чистота, какая высота чувств.

— Неизъяснимая прелесть, которою проникнуто было все существо его, отражалась и в его произведениях.

— Однажды пришед к полковнику, нахожу у него за обедом новое лицо, брюнета, в черном фраке, бледного, почти бронзового, молчаливого и очень серьезного... Это был Баратынский.

— В залу вошли два молодые человека, один — высокий блондин, другой — среднего роста брюнет, с черными курчавыми волосами и резко выразительным лицом. Смотрите, сказали нам, блондин — Баратынский, брюнет — Пушкин.

— Его бледное, задумчивое лицо, оттененное черными волосами, как бы сквозь туман горящий пламенем взор придавали ему нечто привлекательное и мечтательное, но легкая черта насмешливости приятно украшала уста его.

— Он был худощав, бледен, и черты его выражали глубокое уныние.

— Но, несмотря на наружность, муза его была вечно игривое дитя, которое, убравшись розами и лилеями, шутя связывало друзей цветочными цепями и резвилось в кругу радостей.

— Прошел веселый жизни праздник.
Как мой задумчивый проказник,
Как Баратынский, я твержу:
"Нельзя ль найти подруги нежной,
Нельзя ль найти любви надежной?"
И ничего не нахожу.

— Баратынского вечно преследовала мысль, что жениться ему необходимо; но кто же из порядочных верил ему?

— Какой несчастный плод преждевременной опытности сердце, жадное счастия, но уже не способное предаться одной постоянной страсти и теряющееся в толпе беспредельных желаний! Таково положение... большей части молодых людей нашего времени.

— Он ни минуты, никогда не жил без любви и, отлюбивши женщину, она ему становилась противна. Я все это говорю в доказательство непостоянного характера Баратынского.

— В 1826 году Баратынский уведомил меня о своей женитьбе, вот несколько слов из его письма — оно лежит передо мной: *...Ты знаешь, что сердце мое всегда рвалось к тихой и нравственной жизни. Прежнее мое существование, беспорядочное и своенравное, всегда противоречило и свойствам моим и мнениям. Наконец я дышу воздухом, мне потребным!..*

— Баратынский — прелесть и чудо, "Признание" — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий.

— Не можем не изъявить усердного желания, чтобы Баратынский избирал для своих произведений предметы более изящные, более возвышенные и, следственно, более соответственные с его блестящим дарованием.

— Стихотворения Баратынского удовлетворяют всем требованиям самых разборчивых любителей и судей Поэзии; в них найдешь все совершенства, достающиеся в удел немногим, истинным Поэтам: и пла-

менное воображение, и отчетливость в создании, и чистоту языка, и прелестную гармонию стихов.

– Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хотя несколько одаренного вкусом и чувством.

– Несколько раз перечитал я стихотворения г. Баратынского и вполне убедился, что поэзия только изредка и слабыми искорками блестит в них. Основной и главный элемент их составляет ум, изредка задумчиво рассуждающий о высоких человеческих предметах, почти всегда слегка скользящий по ним, но всего чаще рассыпающийся каламбурами и блещущий остротами. Следующее стихотворение, взятое на выдержку, всего лучше характеризует светскую, паркетную музу г. Баратынского:

Нет, обманула вас молва,
По-прежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца,
Молился новым образам,
Но с беспокойством староверца.

Скажите, бога ради, неужели это чувство, фантазия, а не игра ума? И перечтите все стихотворения г. Баратынского: что вы увидите в каждом из лучших? Два-три поэтические стиха, вылившиеся из сердца; потом риторику, потом несколько прозаических стихов; но везде ум, везде литературную ловкость, уменье, навык, щегольскую отделку и больше ничего.

– Г. Баратынский – поэт элегический по преимуществу.

– Поэзия г-на Баратынского всегда отличалась эпиграмматическим направлением.

– Если Поэт удовлетворяет Истину и Религию верным и полным изображением порока и наказанием оного, то он обязан, в угождение Поэзии, чем-то возвышенным и прекрасным окружать плачевную смерть грешника и этим обращать нашу душу к идеальному миру, дабы мы отказались от порока – не столько со страха заслуженной и неминуемой казни, сколько из любви к добродетели!.. Вот чего недостает "Эде", "Балу", "Наложнице"!

– Новое сочинение Баратынского... объявляем... если не положительно *нравственным*, то совершенно *невинным*. Разврат представлен в нем так, что на него можно только зазеваться: и не живо, и не ярко, и не полно!

– Баратынский поэт, иногда очень приятный, везде показывающий верный вкус, но писавший не по вдохновению, а вследствие выводов ума. Он *трудился* над своими сочинениями, отделывая их изящно, находил иногда верные картины и живые чувствования; бывал остроумен, игрив, но все это, как умный человек, а не как поэт. В нем не было ни поэтического огня, ни оригинальности, ни национальности.

— Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды... никогда не пренебрегал трудом неблагодарным, редко замеченным, трудом отделки и отчетливости, никогда не тащился по пятам свой век увлекающего гения, подбирая им оброненные колосья; он шел своею дорогой один и независим.

— Некоторые упрекали его в частой переделке стихов, уже напечатанных и имевших успех; замечено, однако, что многие стихотворения, им переделанные, являлись в печати с новым оттенком мысли и получали чрез это характер совершенно свежих произведений. Поэт был чрезвычайно строг к самому себе: успех не удовлетворял его, ежели он чувствовал возможность чего-либо усовершенствованного.

— Во всяком случае, как был он сочувственный, мыслящий поэт, так равно был он мыслящий и приятный собеседник. Аттическая вежливость с некоторыми приемами французской остроты и любезности, отличавших прежнее французское общество, пленительная мягкость в обращении и в сношениях, некоторая застенчивость при уме самобытном, твердо и резко определенном, все эти качества, все эти прелести придавали его личности особенную физиономию и утверждали за ним особенное место среди блестящих современников и совместников его.

— В дружеской беседе, особенно за бокалом вина, он любил изливать всю свою душу.

— Все четверо братьев Баратынских любили выпить более должного.

— С.А.Соболевский, который на своем веку видел образованнейшее общество России и Европы, говорил мне, что он не встречал более милых, приятных и симпатичных людей, как семья Баратынских. Это суждение могли подтвердить все те, кто их знал.

— Баратынский часто довольствовался живым сочувствием своего близкого круга, менее заботясь о возможных далеких читателях. Оттого для тех, кто имел счастие его знать, прекрасные звуки его стихов являются еще многозначительнее, как отголоски его внутренней жизни.

— У него были и поэтические ощущения, и необыкновенное искусство в выражении. Но, знавши его очень хорошо, могу сказать, что он еще больше был умный человек, чем поэт.

— Именно в такое время, когда он был угнетаем и тягостною участию, и еще более тягостным чувством, что заслужил ее, в нем пробудилось дарование поэзии. Он — поэт!

— Он унтер-офицер, но от побой дворянской грамотой избавлен.

— Государь в судьбе Баратынского был явным орудием Промысла: своею спасительною строгостию он пробудил чувство добра в душе, созданной для добра!

— Я не хочу говорить много о его несчастии — потомство рассудило Овидия и Августа, но не римляне; скажу только, что я не видал человека, менее убитого своим положением.

— Мы помним Баратынского с 1821 г., когда изредка являлся он среди дружеского круга, гнетомый своим несчастием, мрачный и грустный, с бледным лицом, где ранняя скорбь провела уже глубокие следы испытанного им. Казалось, среди самой веселой дружеской беседы, увлекаемый примером других, Баратынский говорил сам себе, как говорил

в стихах своих: *Мне мнится, счастлив я ошибкой, и не к лицу веселье мне.*

– Этому разочарованию остался он верен по смерть.

– Нисколько не казался он разочарованным и не показывал себя страдальцем. С любезностью самого светского человека соединял он живость ощущений, и все достойное внимания мыслящего человека возбуждало его внимание.

– Но молодость его была несчастлива... печально и одиноко провел он лучшие годы своей юности. Это обстоятельство, вероятно, содействовало к тому, что его самые светлые мысли и даже в самое счастливое время его жизни остались навсегда проникнуты тихою, но неотразимою грустию. Впрочем, может быть, он и от природы уже был склонен к этому направлению мысли, которое очень часто замечается в людях, соединяющих глубокий ум с глубокою чувствительностию. Оно происходит, вероятно, оттого, что такие люди смотрят на жизнь не шутя, разумеют ее высокую тайну, понимают важность своего назначения и вместе неотступно чувствуют бедность земного бытия.

– Баратынский, говоря о своей Музе, охарактеризовал ее как обладающую "лица необщим выраженьем". В приобретении этого необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования... Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит прежде всего в том, чтоб прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь. Ибо она у каждого из нас только одна, и мы хорошо знаем, чем все это кончается.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

У-у-у-у-у...

Холодно. Мчась из-за низких казарм, молча налетает ветер с залива.

– Слу-шай! – кричит офицер.

Флигельман вышагивает перед фрунтом, становясь так, чтоб все три шеренги видели, как он показывает темпы заряжения и пальбы.

Ветер дует. Снег скрыпит. Серенькие тучи.

– Ди-визио-о-он! за-ряжай ружье!

– Слу-шай!

– К за-ряду!

– Заря-жай!

– О-бороти ружье!

– Шомпол!

– Бей!

– Вложь!

– На пле-чо!

– К пальбе дивизио-ном!

– Товьсь!

– Пли!!!

Клацают затворы, щелкают курки. Пули не вылетают из дул, пороху на полках не положено.

Снег, дождь, ветер с залива.

Р-раз, р-раз, р-раз, два, три! Левой! Левой! Выше носок, р-ракалья! Тяни ногу! Р-раз, р-раз...

– А-а-атставить!

* * *

Только напрасно чувствительное воображение выводит на плац, где идет ротное учение лейб-гвардии Егерского полка, вместе с прочими солдатами гвардии рядового Боратынского и заставляет его выслушивать весь этот внушающий знакомый трепет окрик. Не для того Боратынского устроили под команду Бистрома, чтобы он упражнялся во фрунтовой службе и ружейных темпах. Да, казенные белые панталоны, темно-зеленый мундир, с черными лощеными ремнями, серую шинель, фуражку, – все это он надевал. Но чтобы вот так, каждый день, под ветром, под снегом, со всеми в шеренге?..

Другое дело – караулы и разводы*. "Самым сложным по своим обязанностям был караул в Зимнем дворце. Здесь во внутреннем дворе была расположена главная гауптвахта, куда вступала ежедневно целая рота с ее капитаном и двумя младшими офицерами. Днем охрана дворца не отличалась никакими особенностями; ночью же число часовых увеличивалось двумя... Первого из них ставил сам капитан в сопровождении старшего унтер-офицера и ефрейтора. Впереди шел один из придворных низшего ранга и указывал дорогу, которая проходила через целый лабиринт комнат, лестниц и закоулков. Вторая смена в час ночи отводилась таким же порядком поручиком, а третья смена в три часа отводилась другим младшим офицером караула". – В этом карауле был разработан особенный шомпольный телеграф, связующий второй этаж дворца с караульней гауптвахты. Часовой, слышавший во втором этаже шум, должен был немедля бросить через окно во внутренний двор шомпол, а часовой, стоявший в карауле внизу, с этим шомполом, как с эстафетой, обязан был мчаться в караульню сообщать о чрезвычайном происшествии. Капитан с полуротой взлетает по черной лестнице во второй этаж, полурота оцепляет место, источавшее подозрительность. Товсь!

До *пли!* дело не доходило, конечно.

В дворцовом карауле Боратынскому пришлось, кажется, побывать. Впоследствии он рассказывал: "...один раз меня поставили на часы во дворце, во время пребывания в нем покойного государя императора Александра Павловича. Видно, ему доложили, кто стоит на часах, он подошел ко мне, спросил фамилию, потрепал по плечу и изволил ласково сказать: *послужи!*"

Он и служил.

А время шло.

Уже Дельвиг отдал Измайлову (в конце января – начале февраля) напечатать мадригал Боратынского в "Благонамеренном", и Боратынский

---

*Развод – построение солдат перед отправлением в караул.

был изумлен (сам он говорил, что изумлен неприятно), увидев свою фамилию в журнале. Уже Педагогический институт был торжественно переименован в университет, и Кюхельбекер стал теперь именоваться служащим в университетском благородном пансионе, а Левушка Пушкин – учащимся в университетском благородном пансионе. Уже настал слякотный март, и старший Левушкин брат, кажется, на деле собрался вступать в военную службу ("Он не на шутку сбирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уж войною").

В начале апреля пришли первые достоверные известия из Мангейма, что там некто Занд зарезал сочинителя знаменитых комедий Коцебу. Коцебу, конечно, не был ни Цезарем, ни Нероном, ни даже Титом. Слух был, что Коцебу – русский шпион. Бесславить о шпионов благородное оружие, может быть, и не лучший способ его использования для доказательства подлецам их низости; тем не менее кинжал Занда стал для юношей соблазном, имя Занда – символом.

Летом пошли слухи о бунте на юге – в Чугуеве, в Уланском военно-поселенческом полку. Аракчеев сам отправился срочно усмирять. От прогнания сквозь строй двадцать пять мятежников померли.

Пушкин приехал из своей деревни, куда ездил в июле, остриженным не просто по последней моде, а почти обритым. Между прочим привез из деревни – "Деревню": про барство дикое и прекрасную зарю...

Понятно, что о Коцебу мы узнали из "Северной почты" и "Сына отечества", про то, как Аракчеев порол солдат, из рассказов неочевидцев, а вторую часть "Деревни" читали только в таких стенах, которые точно не имеют ушей.

Случай в Чугуеве в общем-то был заурядным и в другое время не остался бы надолго в памяти: бунты у нас, как пожары – кто их считает, сколько в году и где? Но тут как-то сходилось все к одному: и Занд, и сантиментальный баламут с конституцией, и позорище в Чугуеве, и общий ропот, и тайное общество, о котором, кажется, знали все, и наконец – Аракчеев – бич народов, отчизны враг, надменный временщик, змей.

Имя Аракчеева тоже стало символом. Змеиная его натура упреждала желания его благодетелей – сначала Павла, теперь Александра, – он стлался перед ними и достлался до высот не мечтавшихся: для него государь придумал отдельную должность докладчика по всем внутренним делам, и внутренние дела доходили до государя, по преимуществу отцензурованные Аракчеевым. Свято чтя главный закон подначальной жизни: лучше перекланяться, чем недокланяться, – он давал образцовый пример для подражания нижним чинам. Если повелено было делать то-то и то-то в течение двух лет, Аракчеев мог сделать и то и это в две недели. А исполнителями земля наша не оскудевает. И сносились к проезду государя заборы, воздвигались штакетники, утрамбовывались дороги, вдоль дорог цвели сады, обритые поселяне строем кланялись в пояс, и в ногу выносили хлеб-соль. Разумеется, сады вяли к вечеру следующего дня, потому что то были не сады, а вырубленные под корень в день проезда государя яблони и груши, воткнутые в придорожный грунт. Поселянам разрешалось использовать их на дрова.

Может быть, случись государю сойти с ума (а этого бы в первое время никто, предположим, не заметил) и приди ему в голову, скажем, отменить цензуру или освободить землепашцев с землей, – Аракчеев был бы первым, кто стал ссылать цензоров и усмирять помещичьи бунты против зажиревших от вольности мужиков. И даже в этих фантастических условиях он, думаем, сумел бы организовать жизнь так, чтобы свобода, например, землепользования или книгопечатания была бы горше лютого рабства.

А вот найдется ли Занд для Аракчеева? Эпиграмму на тот счет, что жизнь его стоит кинжала Зандова, – все знают, но слово и дело – у нас слишком разные вещи.

Послушаем, что говорят умные люди:

"L'esclavage se refléchit dans nos moeurs, nos usages et nos institutions. Influencés dès le berceau par l'exemple de l'obéissance passive, nous perdons cette énergie morale qui distingue l'homme et constitue le citoyen"*.

У нас есть, конечно, некоторые законы. Будете в Москве – спросите у Ивана Ивановича Дмитриева: кому как не бывшему министру юстиции знать? Только Иван Иванович расскажет в который раз о том, как в сентябре 812-го года "Шишков читал в Комитете министров статью свою, предназначенную для обнародования известия о взятии Москвы. Дмитриев с авторским своим тактом не мог сочувствовать порядку мыслей и вообще изложению этой неловкой статьи, в конце которой кто-то падает на колени и молится богу. Не желая, однако же, прямо выразить свое мнение, спросил он, в каком виде будет напечатано это сочинение: в виде ли журнальной статьи, или официальным объявлением от правительства. "У нас нет правительства", – с запальчивостию возразил ему простодушный государственный секретарь".

Справедливо, конечно. Нет правительства, есть государь, нет законов, есть исполнители. Исполнители доводят распоряжения государя до дела. Воля государя, сообразованная со здравым смыслом исполнителей, – главный указ.

Глубокое заблуждение, будто вы сами себе принадлежите! Прошение о принятии в службу вы пишете на имя государя. Чин вам дают по указу государя. Отставку – по указу государя. У кого в семье не хранятся эти указы? Дойдут ваши отроческие стихотворные шутки насчет верности и веры до добрых людей, поднесут добрые люди государю эти шутки как оды на революцию или гимны вольности, – ведите с ними тяжбы!

Вот истинный анекдот: Греча вызвал к себе Аракчеев – "по поводу статьи, помещенной некогда в издаваемом им "Сыне отечества" о конституции, хотя он не преминул в этой статье упомянуть, насколько всякая конституция была бы вредна для такого государства, как Россия. Аракчеев позвал к себе Греча, пригласил его сесть, и когда он не садился, то

---

* Рабство выражается в наших нравах, обычаях и учреждениях. Впечатленные от колыбели примером безусловного повинования, мы утратили нравственную силу, отличающую человека и составляющую гражданина *(фр.)*.

схватил его за оба плеча и, насильно посадив, спросил его: что такое он напечатал о конституции, и, не выслушав ответа Греча, сказал ему: "Ведь ты, Николай Иванович, учился у ученых немцев, а я у пономаря" и, ударив Греча по носу книжкою, в которой была помещена статья о конституции, прибавил: "А он учил меня, что конституция – кнут; так, по-нашему конституция – кнут, ученый Николай Иванович".

"У нас не только нет рабства на самом деле, но даже и слова сего" – так пишут в журналах, и так скажете вы, когда (упаси вас бог, конечно) вас вызовет в себе граф Милорадович и спросит: "Что это ты тут, братец, изобразил? Это как понимать – *с неба чистая, золотистая к нам слетела ты?* Или вот еще: *все прекрасное, все опасное нам пропела ты!* Как, я спрашиваю, это понимать?" Конечно, конечно, вы можете сказать: *чистая* – это свобода, и *золотистая* – это свобода, и вообще, я считаю, что самовластие, опирающееся на бессмысленную исполнительность... "Э-э! – прервет граф Милорадович. – Мне-то тебя выставили как первого афея в столице, а ты, оказывается, вон еще что? Ну, ужо! Завтра утром получишь билет на выезд из Петербурга и чтобы к обеду тебя ближе Красного кабачка* не было!" Ну, а когда графу доложат, что вы как бы, так сказать, не то чтобы разжалованы, но, в сущности, еще лишь рядовой гвардии, – что будет? И все – из-за вашей пылкости и благородного желания не унизить язык лганьем. (Впрочем, графу доложат подробности прежде, и не о Красном кабачке пойдет речь.)

* * *

Такое было время.

Настал декабрь.

Ираклий Боратынский выходил из Пажеского корпуса в Конноегерский полк прапорщиком, Лев Боратынский – юнкером. Да и старшему брату наставала пора получать повышение в чине – в феврале следующего года исполнялся год его солдатской службы. И, должно быть, Бистром уже подал представление о производстве рядового Евгения Боратынского (сказано было как-нибудь так: "...с поступлением в полк, будучи употребляем во все обязанности рядового солдата, ведет себя хорошо и по раскаянию о проступке своем заслуживает внимания начальства"). Быть может, когда до государя дошло представление, *было высочайше повелено удостоверить* – "точно ли раскаивается в своем проступке... и исправляется в нравственности, ибо имел наклонность весьма к вольнодумству и злое сердце?" – и только после удостоверения было отдано формальное повеление. Может быть, представлению Бистрома предшествовало или сопутствовало прошение Александры Федоровны или Петра Андреевича.

Словом, Боратынский ждал.

Теперь он твердо знал про себя, что он поэт. За этот петербургский год он стал писать такие стихи, что, скажи ему кто-нибудь в декабре 818-го, что он будет так писать, он бы тогда только уныло усмехнулся.

---

*Красный кабачок – трактир на Петергофской дороге.

Что было тому причиною? Постоянное присутствие Дельвига? Природная переимчивость? Жизнь среди поэтов? Петербургский климат? Неопределенность будущего, заставлявшая искать опоры и блаженства в самом себе? – Мы склонны думать, что главные причины – переимчивость и Дельвиг. Благодаря первой, душе настало пробужденье от немоты и невысказанности. Благодаря Дельвигу, он поверил в то, что слова, победившие немоту, способны быть выстроены им в таком ритмическом порядке, который называется: *поэзия*. Судите сами:

Тебя я некогда любил,
И ты любить не запрещала;
Но я дитя в то время был —
Ты в утро дней едва вступала.
Тогда любим я был тобой,
И в дни невинности беспечной
Алине с детской простотой
Я клятву дал уж в страсти вечной
. . . . .
Алина! чрез двенадцать лет
Все тот же сердцем, ныне снова
Я повторяю свой обет.
Ужель не скажешь ты полслова?
Прелестный друг! чему ни быть,
Обет сей будет свято чтимым.
Ах! я могу еще любить,
Хотя не льщусь уж быть любимым.

Ужели близок час свиданья!
Тебя ль, мой друг, увижу я!
Как грудь волнуется моя
Тоскою смутной ожиданья!
. . . . .
Что ж сердце вещее грустит?
Что ж ясный день не веселит
Души для счастья пробужденной!
С тоской на радость я гляжу:
Не для меня ее сиянье!
И я напрасно упованье
В душе измученной бужу.
. . . . .
Я наслаждаюсь не вполне
Ее пленительной улыбкой;
Все мнится, счастлив я ошибкой,
И не к лицу веселье мне!

Полагаем, что не составит труда отличить напечатанное в начале года и в конце, а посему разборов и размышлений на сей счет не производим.

Итак, в декабре он уже твердо знал о себе: он поэт.

И год кончался надеждами, пирами, любовью, дружеством, стихами.

Но он был несвободен в себе. Свободу давал чин прапорщика – младший офицерский чин.



И едва наступил новый год, как чин ему вышел.

ФИНЛЯНДИЯ

Les marais finois ont des miasmes qui analysés chimiquement ont donné des résultats en azot et hydrogène bien ressemblantes à ceux du Lethé, et dès lors, l'oubli s'explique tout naturellement.

*D'une lettre particulière**.

О память сердца!

Батюшков

Наблюдения погоды. Генварь 1820

		Термометр Реомюра*	Ветер	Состояние атмосферы
4 Воскр.	утро	— 12°		пасмурно и
	полдень	— 9,1°	Ю.В.	слабый снег
	вечер	— 10,6°		
5 Пон.	утро	— 17,1°		местные облака
	полдень	— 16,5°	В. слабый	"—"
	вечер	— 18°		пасмурно и тонкий туман
6 Вт.	утро	— 22°	С.З. слабый	пасмурно, потом ясно
	полдень	— 21,8°	В. очень слабый	тонкие местные облака
	вечер	— 25,4°	С.В. умеренный	ясно
7 Середа	утро	— 18,8°	В.умеренный	местные облака
	полдень	— 13,3°	Ю.В. умеренный	пасмурно
	вечер	— 12,1°	Ю.В. умеренный	пасмурно
8 Четверг	утро	— 7,8°	Ю.В. сильный	пасмурно и мелкий снег
	полдень	+ 0,5°	Ю. сильный	пасмурно
	вечер	+ 0,8°	Ю. умеренный	пасмурно и дождь
9 Пятн.	утро	— 11,5°	Ю.З. сильный	местные облака
	полдень	— 5,8°	З. сильный	местные облака
	вечер	— 6,1°	Ю.З. сильный	ясно

Такой погодой провожал Боратынского Петербург. Он был произведен в унтер-офицеры (по-старому: в сержанты) и переведен из гвардии в армию. Словом, чин ему вышел, но не офицерский.

---

* Финские болота содержат миазмы, которые в результате химического разложения дают азот и водород, что весьма подобно совершающемуся в Лете, и посему беспамятство объясняется весьма натурально. *Из частного письма. (фр.)*.

** 1° по шкале Реомюра равен 1,25° по шкале Цельсия.

4-го генваря его выключили из списков лейб-егерей, следующую неделю составляли формулярный список, аттестаты о жалованье и месячном провианте, а 11-го генерал Бистром рапортовал по начальству: "По предписанию бригадного командира Его Императорского Высочества и великого князя Николая Павловича от 3-го числа сего генваря за № 15 во исполнение Высочайшей воли Его Императорского Величества переведенный из командуемого мною л-гв. Егерского полка рядовой Евгений Баратынской в Нейшлотский пехотный полк унтер-офицером с следующими об нем бумагами отправлен в оный полк".

Нейшлотский полк квартировал в двухстах сорока верстах от Петербурга – в Финляндии, в городе Фридрихсгаме и окрестных селениях – там, где работники купца Суханова выламывали для Исаакиевского собора колонны из цельного гранитного камня.

Почему именно Нейшлотский полк стал местом ссылки Боратынского – понятно: командиром нейшлотцев был подполковник Егор Лутковский, не просто хороший человек, а, что самое главное, – добрый родственник Боратынских. Ясно, что не император Александр и не бригадный командир великий князь Николай Павлович указали Боратынскому место в Фридрихсгаме. Это нижестоящее начальство, вследствие неких неизвестных нам ходатайств, представило Николаю Павловичу Нейшлотский полк как место высылки Боратынского, а тот удовлетворенно подписал приказ. А вероятнее всего, сам Боратынский подавал прошение о переводе туда лишь стало известно, что о скорейшем производстве его в прапорщики говорить рано. Император Александр вообще не имел обыкновения жаловать сразу офицерским чином тех, кто угодил по его повелению в солдаты (быв отдан или поступил сам – неважно) – для начала их делали унтерами, и уже по вторичному (через год-другой) представлению они получали прапорщицкие погоны. Другое дело – все Боратынские могли надеяться на то, что удастся миновать унтерство. Но тщетны были надежды – у нашего милостивого монарха насчет всех разжалованных была особенная злопамятность.

Не вполне понятно другое: зачем вообще понадобилось переходить из гвардии в армию? – Вряд ли из-за какой-нибудь новой истории. Может быть, наш милостивый монарх выразил сомнение, приличествует ли разжалованным в солдаты жить в столице, служить в гвардии, да еще нести караулы во дворце? А уж в какой именно провинции и кого отныне будет караулить новоиспеченный унтер-офицер, императору было все равно. Вряд ли он знал о родстве командира нейшлотцев и рядового лейб-егеря и уж, конечно, не мог вообразить, что Боратынский во Фридрихсгаме окажется вовсе свободен от службы, ибо от строев и караулов его вполне убережет Лутковский.

* * *

Итак, три дня пути – и вы в царстве Одена, среди утесов, камней, озер, болот, мхов, суровых лесов и низких небес. Дик сей край. Леса стоят черные среди белизны: небеса завьюжены снежной пеленой, утесы, камни и прочая Финляндия – всё под снегом; сомкнутые льдом воды не отражают небес, и бор не смотрится в их зерцало.

Петербург – Парголово – Белый Остров – Выборг – Урпола – Пютерлакс – Фридрихсгам – вот ваш путь.

Некогда Аврам Андреевич посетил эти края. Было это тридцать лет назад, во время войны со шведами. Но Боратынский не знал, что места эти могут быть освящены для него кровью сердца и памятью семьи, и эти места освящены были для него только тенью Оссиана.

Здесь в думу важную невольно погруженный,
Люблю воспоминать о сильных прежних дней,
О бурной жизни их средь копий, средь мечей

. . . .

Не здесь ли некогда с победой протекли
Сыны Оденовы, любимцы бранной славы?

. . . .

Развеял бурный ветр торжественные клики

. . . .

И все вокруг меня в глубокой тишине:
Не слышен стук мечей, давно умолкли бои.

. . . .

И ваши имена не пощадило время!

. . . .

Для всех один закон — закон уничтоженья.

Комната натоплена, в окно бьет ветер, как будто гость. Но гость нейдет, ибо неоткуда взяться в такую погоду гостю. День начинается за окном тем же, чем кончался вчерашний вечер, – белесым и быстрым снегом, снегом, снегом.

Природа везде одинакова: в Маре, в Подвойском, в Петербурге, и, где бы ни жил, снег всегда тот же. И тысячелетия пройдут, и исчезнут люди, и будет ложиться чистый снег на такой же чистый снег, и, наблюдая за ним сейчас, мы наблюдаем за тем, как бытие соединяется с небытием, земля с небесами, время с вечностью. Оттуда, из низкого квадратного окна, в упор глядит на нас ледяной взгляд белесых небес. Он пуст и всезнающ. В пространстве между этим взглядом и нашей душой нет иных преград, кроме нашей мечты. Не согреваемое мечтой, это пространство хладеет более и более с каждым порывом ветра и, забирая наше тепло, уносит его в ту вечность, которую мы видим ясно, но где нас не было и не будет. *Между* – должно что-то быть. Лучше если мечта, облеченная в гармонический звук, ибо любой другой звук хотя и способен остановить для души охлаждение этого пространства *между*, но... но ведь и вой – тоже способ спасения себя от леденящих небес.

Он не любил зимы. Зима сдвигала землю и небо в единую долину; тени, несущиеся меж облак, плыли туманною толпой за окнами, вдоль улицы. Он не видал никогда прежде ни одного финляндского озера, и сейчас они были скрыты льдом и снегом, но он бежал от зимы, и в феврале 820-го года "о каменистый брег дробящиеся воды" заглушали всплески вьюги, а в марте – "благоуханный май воскреснул на лугах". – В самом себе блажен поэт. Парят Поэты над землею и сыплют на нее цветы.

* * *

Боратынский стал первым из них, кто оставил Петербург не по своей воле. В мае вылетел из Петербурга Пушкин, в августе Кюхельбекер. Один Дельвиг был неизменен; он один и остался, проводив поочередно трех певцов.

События шли таким чередом.

В январе отправили Боратынского. "Горевали, пили, смеялись, спорили, горячились, готовы были плакать и опять пили... с чувством долгой разлуки обняли его и надолго простились".

Затем, в марте и апреле, в Петербурге вышел короткий скандал, имевший следствием высылку Пушкина и суливший неприятности им всем.

Герой скандала – Каразин Василий Назарьевич, харьковский дворянин, жительствующий в Петербурге. Некогда, во времена своей юности, при императоре Павле, Каразин собрался бежать за границу; был задержан; в Сибирь, однако, не попал. Едва Павла убили, Каразин представил молодому государю проект изменения всего вообще. Александр его приблизил, но ненадолго. Тогда он уехал в свою харьковскую деревню, однако после гибельного Аустерлица подал государю проект "О невмешательстве в дела Европы", за что попал на время под караул. Это была голова, созданная для учреждения благих начинаний. Формой его мышления был проект: проект оборонительной войны против Европы, проект реорганизации министерств, проект нового землепользования, проект изготовления съедобной пищи для армии, проект нового способа посадки картофеля, проект печения из дубовых желудей вкусного и здорового хлеба. В конце 819-го года Василий Назарьевич стал писать проекты по части изящной словесности. Для начала он решил соединить в одно два петербургских вольных общества – *Вольное общество любителей словесности, наук и художеств и Вольное общество любителей российской словесности*, полагая, что у людей, равно пишущих прозой и стихами, не может не быть единой высшей цели.

В обществах сих занимались, в сущности, одинаковым делом – читали друг другу стихи и прозу, а потом печатали то и другое. В том и в другом Обществах собирались тогда по большей части одни и те же сочинители, но все же Общества были разные – с разной судьбой и подоплекой.

В.О. любителей словесности, наук и художеств образовалось в незапамятные времена – еще в начале столетия, после восшествия императора Александра. К 818-му году из первобытных членов самым действенным, не считая многоученого Востокова, остался Александр Ефимович Измайлов – автор многих сочинений в прозе и стихах, за некоторые из коих злоумный Воейков ославил его *писателем не для дам* (что, разумеется, почти сущая ложь). Александр Ефимович издавал с 818-го года журнал "Благонамеренный", где печатал сочинения сотрудников своего Общества, в коем он и был теперь председатель. Дельвиг, Кюхельбекер и Боратынский, пока были вместе, часто-таки бывали на Песках, в квартире Александра Ефимовича, или в Михайловском замке, где собирались друзья словесности, наук и художеств. Тень Павла не возвращалась в за-

мок с той поры, как здесь был удушен ее обладатель, и Общество благонамеренных чувствовало себя спокойно. Благодаря месту заседаний, Общество знали все под простым именованием – как *михайловское*.

В отличие от *михайловского*, В.О. любителей российской словесности бытие свое исчерпывало к 820-му году неполными четыремя летами. Общество издавало журнал "Соревнователь просвещения и благотворения", отчего сочинителей, соединявших здесь свои умы, называли просто *соревнователями*.

Впрочем, оба Общества были взаимоперетекающими.

Многие из нынешних *соревнователей* (Дельвиг и Кюхельбекер в их числе) были прежде приняты Александром Ефимовичем в *михайловское* общество и только впоследствии все чаще приходили по понедельникам к *соревнователям*, и все реже по четвергам в Михайловский дворец.

Боратынский был принят в число соревнователей заочно: через полмесяца после отъезда из Петербурга – 26-го генваря.

* * *

Президентом республики любителей российской словесности был Глинка – Федор Николаевич. Как и некоторые прочие соревнователи, он состоял в Союзе благоденствия, и, благодаря такому обстоятельству, у нас с той поры всякое явное общество считается лишь видимым миру обликом общества тайного. Как ни судить, а любопытство к политике и несколько двусмысленная свобода вдохновения по понедельникам парили в умах соревнователей.

Впрочем...

Скажите нам, кто это говорит: "Весьма дурная политика та, которая исправляет законами то, что должно исправить нравами"?

А это: "Просвещая всех насчет их обязанностей... примирить и согласить все сословия, чины и племена в государстве и... стремиться единодушно к цели правительства: *благу общему*...; споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия, к коей она самим Творцом предназначена..."?

В том и дело – кто и когда говорит, ибо всякому слову свое место: первое речет в 767-м году государыня Екатерина, второе – в 818-м – молодые и не очень молодые люди в одной рукописной и тайной книге.

Вопрос в том – как нравы править и что есть благо общее? Предположим, вы совпадете в мнении с правительством относительно блага общего. Но, во-первых, как сказал некогда адмирал Шишков, у нас нет правительства. Во-вторых, если вы станете блага добиваться, не будучи уполномочены государем, он немедленно (и тут уже неважно, кто именно он) поймет это как неразумие сына и определит, что неразумие погубляет пути ко благу общему. И упаси бог увидеть ему в вашей этой запальчивой мечте фронду или браваду. А коль фронда или бравада были на самом деле – у милосердого родителя народов припасена розга (в нравственном смысле, по преимуществу). Или даже так: вы можете не быть ни либералистом, ни фрондером, ни членом никаких союзов, ни мастером никакой из лож. Пишите только элегии и послания к друзьям:

Ты помнишь ли те дни, когда рука с рукой,
Пылая жаждой сладострастья,
Мы жизни вверились и общею тропой
Помчались за мечтою счастья?

Или:

Помнишь, Евгений, ту шумную ночь (и она улетела),
Когда мы с Амуром и Вакхом
Тихо, но смело прокралися в терем Лилеты?

И что же! – Вам немедленно припишут разврат, а следственно, вольнодумство. Помните, как во время оно писали об иных строках Карамзина? – "Не в языке, а в самых чувствованиях заблуждение. Я вижу в сих стихах чрезмерного поблажателя чувственности и непозволенной слабости... сладострастие оправдывать законами природы, как будто в первые годы золотого века! Для меня сноснее бы было видеть ошибки в слоге, нежели в красоте оного кроющиеся ложные правила и опасные умствования"*.

Все дело, видимо, в том, что как сам же Карамзин прозорливо написал: "Законы осуждают предмет моей любви". Законы – приличий большого света или книгопечатания – не все ли равно? – а предмет любви – уже не в том смысле, как изначально у Карамзина, а вообще предмет любви – Лилета ли, Оленька ли с Крюкова канала, Муза ли, Вольность ли святая. Неважно, каков предмет и какой именно закон его осуждает: важно, что осуждает. И Лилета – предосудительная вольность, и *слепая чернь, благоговей!* – разврат, и вообще, раз – сладострастье, значит, уже – *на опасном распутии* и *повреждение в умах*, ибо слово за слово, и уже: *власть тиранов задрожала* и *кинжала Зандова везде достоин он*. Бунт, словом,

Такая логика.

Довести эту логику до ума правительства (государя) есть тьма охотников. Одни из них составляют свои секретные записки по плану, заранее утвержденному в департаменте Кочубея, другие – подвигнутые исключительно силой собственного одушевления.

В числе последних был Василий Назарьевич Каразин, не растративший в своих харьковских владениях энергию прожектерства. Мудрый Глинка, на протяжении многих лет искусно управлявший Милорадовичем, проглядел Каразина, и в конце 819-го года тот стал вице-президентом соревнователей. Ненадолго, правда, но скорость в своей деятельности Каразин развивал такую, что, как и прежде бывало, остановила его только крепость.

Мы не будем пересказывать то, что и без нас известно о происходившем в заседаниях соревнователей из-за Каразина, – то, какую речь он прочитал 1 марта, как разделились мнения по поводу этой речи, как Михайло Загоскин настаивал, вослед Каразину, что нельзя терпеть, чтобы в журнале, издаваемом не частным человеком, но целым обществом, раз-

---

* А ныне и сам Карамзин недоволен *поэмкой* (так он говорит) молодого Пушкина ("Руслан и Людмила"), а Иван Иванович Дмитриев в московском английском клубе язвительствует, что мать дочери велит на сказку эту плюнуть.

давалась хвала *пьянству, неге и сладострастию*, как 15 марта Глинка, Дельвиг, Кюхельбекер, Греч, Плетнев и прочие, узнавшие, что Каразин препроводил копию своей речи министру внутренних дел, высказались в том смысле, что Обществу нанесено оскорбление, а Каразин, и вместе с ним Цертелев, Федоров, Анастасевич и еще некоторые с ними оставили заседание, как вместо Каразина вице-президентом был избран добрейший Александр Ефимович Измайлов, как затем бурлило Общество соревнователей... Пересказ не передаст того кипения страстей, какое бывает от споров о целях изящной словесности, особенно когда охотники замечают в ней вред общему благу государства.

Впрочем, Каразина остановить было уже невозможно:

"Не удивляюсь, что своевольные и развращенные правительства, признавая так называемые либеральные начала за *истину*, ищут скрывать их от народа, дабы продолжать господствовать. Но христианская монархическая система не только не должна быть тайною для кого бы то ни было (не исключая последней черни), но она должна быть велегласно проповедуема на улицах, на площадях, в церквах, на всех народных сборищах. Должно вразумлять народ, должно показывать ему очевидно, ощутительно сходство сей *истины* с природою, с необходимым положением вещей в мире и обстоятельств общества, наконец с религиею. Делается ли у нас это?.. К сожалению, совсем нет; а делается противное. Боятся дать повод рассуждать о *взаимных отношениях правительства и народа*. Полиция с жезлом в руках, цензуры, духовная и гражданская, с затворами для слов и мыслей, поставлены на страже, чтоб не прокралась в народ какая-либо черта сей благодетельной системы, успокоивающей все возможные волнения умов...

На свете невозможно быть всем равным. И Бог нас таковыми не производит. Одним дает он больше силы, другим больше здоровья или ума... Звезда звезды, лист листа больше или меньше... Следовательно, между человеками на земле непременно надобно, чтоб были старшие и младшие, богатые и бедные, начальники и подчиненные... Начальники бывают природные, определяемые высшею властью и выбранные самими подчиненными. Бог учредил так, что первые из них, то есть *природные*, по наследству суть лучшие из всех... Гордости и жадности бывает меньше в родимых начальниках... Благородное наше юношество и народ, который (сказав в переносном смысле) также *выходит уже из детского возраста*, стоят в настоящее время на самом опасном распутии...

Дух развратной вольности более и более заражает все состояния. Прошедшим летом на дороге из Украины и здесь в Петербурге я слышал от самых простых рабочих людей такие разговоры о природном равенстве и прочее, что я изумился: "Полно-де уже терпеть, пора бы с господами и конец сделать". Самые дворяне, возвратившиеся из чужих краев с войском, привезли начала, противные собственным их пользам и спокойствию государства. Молодые люди первых фамилий восхищаются французскою вольностию и не скрывают своего желания ввести ее в своем отечестве... В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей... Говорят, что один из них, Пушкин, по высочайшему повелению секретно наказан. Но из воспитанников более или

менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство, некоторые же и в действительные ложи поступили. Пажеский корпус едва ли с сей стороны не походит на лицей". (Определенно Василий Назарьевич имел дар провидения, ибо не прошло и полутора месяцев, как в Пажеском корпусе случился бунт квилков.)

Василий Назарьевич тянул правую руку с пером к чернильнице, глазами щурясь на нагорающие свечи, а мысленным взором проницая истинные источники подозрительного союза:

"Все это взятое вместе неоднократно рождало во мне мысль, что какая-нибудь невидимая рука движет внутри отечества нашего погибельнейшими для него пружинами, что они в самой тесной связи с нынешними заграничными делами и что, может быть, два или три лица, имеющие решительный доступ к государю и могущие сами быть действующими, не что иное, как жалкие только орудия... Стоит только вспомнить Францию и ужасное влияние, которое имели на нее тайные общества".

А дальше – дальше Василий Назарьевич уже не мог остановиться и, забывая о всяких там point d'honneur*, вопрошал: "Кто сочинители карикатур или эпиграмм, каковые, например, на *двуглавого орла*, на *Стурдзу*, в которой высочайшее лицо названо весьма непристойно и пр. Это лицейские питомцы!..

Какой-то мальчишка Пушкин, питомец лицейский, *в благодарность* написал презельную оду, где досталось фамилии Романовых вообще, а государь Александр назван кочующим деспотом...

Вот, между прочим, эпиграмма Пушкина, которую, восхищаясь, Греч, и пересказывая свой у него пир с другими подобными, мне пересказал. Она сочинена на известного кн. Стурдзу.

Холоп венчанного солдата,
Достойный славы Герострата
Иль смерти шмерца Коцебу,
А впрочем, мать твою...
(в рифму).

К чему мы идем?.."

* * *

Василий Назарович запечатал свои размышления и разборы в пакет, дождался, пока кончится Пасха и возобновятся присутственные дни в министерствах, и в последний день марта отправил свои труды к министру внутренних дел – графу Кочубею: для ознакомления с ними государя.

А незадолго пред тем, как Василий Назарьевич прозревал сквозь свечное пламя истину о тайных и явных союзах, в одной из комнат мезонина Благородного пансиона, Кюхельбекер сочинял своих "Поэтов". Кюхельбекер не знал, не ведал, что именно напишет Каразин Кочубею. Но недаром же словечко *союз* было в те годы так же на языке, как – *конституция* и *общество*, причем на языке у всех: священный союз, союз

* Принцип чести *(фр.)*.

благоденствия, союз истинных и верных сынов отечества, союз — свободный, радостный и гордый, союз — вольнодумный и развратный, союз — подозрительный и опасный.

Словом, не Кюхельбекер придумал, как назвать их всех, — кому судьба уготовила долгую, а для иных и вечную разлуку. Собственно, сам *союз поэтов* к этой поре уже был разъединен: Боратынский уже унывал в Финляндии. Но есть в бытии нечто невидимое — что связует поэтов независимо от того, сколь далеко они друг от друга, — во Фридрихсгаме, в Кишиневе, в Динабурге, в крепости, в деревне, — и, разбросанные по миру, они все равно будут знать, что там — в Москве, в Михайловском, в Варшаве, в Одессе есть те, с кем единый пламень их волнует.

В марте 820-го года, когда во Фридрихсгаме мели последние зимние метели, а в Петербурге пошел лед, все они незримо перешли ту границу жизни, когда становится ясно, что, хотя жить — еще долго, но и — многое *было*, став преданием и историей. *Помнишь, Евгений?.. — Ты помнишь ли те дни?.. — Ты помнишь ли, в какой печальный срок?.. — Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой боролся я?..*

* * *

22-го марта соревнователи, собравшиеся уже без оскорбленного ими Каразина, слушали и одобрили Кюхелевых "Поэтов", постановив печатать их в ближайшем, 4-м нумере "Соревнователя". Пока набирали, пока печатали, и Пушкина уже не было в Петербурге — благодаря размышлениям Василия Назарьевича Каразина. Сначала государь посомневался, не сам ли Каразин сочинил те эпиграммы, затем велел ему достать копии (с рифмами), затем Милорадович вызвал к себе Пушкина, а к Пушкину в его отсутствие подослали шпиона. За Пушкина просил Глинка, заступался Карамзин, хлопотал Тургенев (Александр Иванович), — слава богу, кончилось не Соловками, и не ссылкой даже, а, как и в истории с Боратынским, — переводом по службе (ибо Пушкин как бы служил): в Бессарабию. 6-го мая Дельвиг и Павел Яковлев проводили его коляску до Царского Села, где и расстались на годы.

А Василий Назарьевич, пораженный тем, что его ода осознанному подначалию вызвала только интерес к эпиграммам Пушкина, хотел было сгоряча навеки забыть о проектах государственного переустройства ("Боже мой!.. Как! Почти невероятно! Печальная и праведная картина о положении государства только и произвела!.. Лучше их совсем оставить: да идут во страшение судьбе их ожидающей; и думать только о спасении своего семейства во время грозно"). Но тут настал май, случился страшный пожар в Царском Селе (горели Екатерининский Дворец и лицей); в Пажеском корпусе начался бунт квилков, и в довершение вышли из печати новые номера "Соревнователя" и "Невского зрителя", где, несмотря ни на что, снова в полном союзе были вместе те же памятные Каразину лица.

Пожары и бунты и так-то, в любое время, будоражат предчувствия, а когда они следуют — одно за другим, сквозь дым и топот настороженному воображению видится распад. Василий Назарьевич, нарушив слово, данное себе, собрал опасные журналы и, положив их в пакет, отправил Кочубею:

4-го июня.

Сиятельнейший Граф,
Милостивый Государь!

Я очень сожалел, что не мог иметь лестной для меня чести видеть Ваше сиятельство в последний раз: я хотел было показать места в нескольких нумерах наших журналов, имеющие отношение к высылке Пушкина: дабы более уверить Вас, сиятельнейший граф, что я не сказал ничего лишнего в бумаге моей 31-го марта. Безумная эта молодежь хочет б л е с н у т ь своим неуважением правительства.

В IV № "Соревнователя" на стр. 70-й Кюхельбекер, взяв эпиграфом из Жуковского:

И им* не разорвать венка,
Который взяло дарованье!..

— восклицает к своему лицейскому сверстнику:

О Дельвиг, Дельвиг! что награда
И дел высоких и стихов?
Таланту что и где отрада
Среди злодеев и глупцов?

Хотя надпись сей пиесы просто: "П о э т ы", но цель ее очень видна из многих мест, например:

В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит,
И власть тиранов задрожала! (стр. 76)
О Дельвиг, Дельвиг! что гоненья?
Бессмертие равно удел
И смелых, вдохновенных дел
И сладостного песнопенья! —
Так! не умрет и наш союз,
Свободный, радостный и гордый
И в счастьи и в несчастьи твердый,
Союз любимцев вечных муз!
О вы, мой Дельвиг, мой Евгений! (Баратынский)
С рассвета ваших тихих дней
Вас полюбил небесный Гений!
И ты, наш юный Корифей,
Певец любви, певец Руслана! (Пушкин)
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и филина и врана? (В конце 77-й и на 78-й стр.)

Поелику эта пьеса была читана в Обществе непосредственно после того, как высылка Пушкина сделалась гласною, то и очевидно, что она п о с е м у случаю написана**

В № IV "Н е в с к о г о з р и т е л я" Пушкин прощается с Кюхельбекером. Между прочим...

---

*Т. е. государю, министру и так далее! *(Примечание Каразина.)*

** Кюхельбекер, изливая приватно свое неудовольствие, называл государя Т и б е р и е м... В чете наимилосерднейшей нашел Тиберия – безумец! *(Примечание Каразина.)*

Прости... где б ни был я: в огне ли смертной битвы
При мирных ли брегах родимого ручья
Святому братству верен я!

Сия пьеса, которую Ваше сиятельство найдете на стр. 66-й упомянутого журнала, чтобы отвратить внимание цензуры, подписана якобы 9-м июня 1817-го года.

Нравственность этого святого братства и союза (о котором я предварял) Вы изволите увидеть из других №№, при сем приложенных: как то из "Благонамеренного", страницы 142-й, в пьесе Баратынского "Прощанье", из "Невского зрителя", книжки III, стр. 56-й, "Послание"*, —„— —„— —„— —„— IV, стр. 63-й, "К Прелестнице"**.

Чтобы не утомлять Ваше сиятельство более сими вздорами, вообразите, что все это пишут и печатают бесстыдно не развратники, запечатленные уже общим мнением, но молодые люди, едва вышедшие из царских училищ, и подумайте о следствиях такого воспитания! Я на это, на это только ищу обратить внимание Ваше.

При сем же письме, сиятельнейший граф, прилагаю четвертую тетрадь мою. Сделайте милость, поднесите ее также, как и первые (в ожидании разрешения по сему предмету). Осмеливаюсь повторить, что сверх исполнения долга сына отечества, каковым я хочу жить и умереть вопреки общей трусости и разврата, единственная цель моя быть употребленным по департаменту, который я предполагаю необходимым и который поручениями Лавровым, Фон-Фокам и Германам никоим образом заменен быть не может!

Простите, Ваше сиятельство, преданнейшего Вам вечно Василия Каразина.

P. S. Книжки не мои: я их взял на время. Почему не забудьте, сиятельнейший граф, мне их приказать доставить обратно за печатью.

* * *

Приложение к записке г-на Каразина.

ПРОЩАНИЕ

(Из "Благонамеренного", книжка VII, за 1819-й год)

Простите, милые досуги
Разгульной юности моей,
Любви и радости подруги,
Простите! вяну в утро дней!
Не мне стезею потаенной,
В ночь молчаливую, тишком,
Младую деву под плащом
Вести в альков уединенный —
Бежит изменница любовь!
Светильник дней моих бледнеет,
Ее дыханье не согреет
Мою хладеющую кровь.
Следы печалей, изнуренья
Приметит в страждущем она.

---

*"Послание к барону Дельвигу" Боратынского.
**Соч. А.С.Пушкина.

Не смейтесь, девы наслажденья:
И ваша скроется весна,
И вам пленять не долго взоры
Младою пышной красотой;
За что ж в болезни роковой
Я слышу горькие укоры?
Я прежде бодр и весел был, —
Зачем печального бежите?
Подруги милые! вздохните:
Он сколько мог любви служил.

ПОСЛАНИЕ К БАРОНУ ДЕЛЬВИГУ

(Из "Невского зрителя", книжка III, за 1820-й год, стр. 56)

Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой,
Товарищ радостей минувших,
Товарищ ясных дней, недавно надо мной
Мечтой веселою мелькнувших?

Ужель душе твоей так скоро чуждым стал
Друг отлученный, друг далекой,
На финских берегах, между пустынных скал,
Бродящий с грустью одинокой?

Где ты, о Дельвиг мой! ужель минувших дней
Лишь мне чувствительна утрата,
Ужель не ищешь ты в кругу своих друзей
Судьбой отторженного брата?

Ты помнишь ли те дни, когда рука с рукой,
Пылая жаждой сладострастья,
Мы жизни вверились и общею тропой
Помчались за мечтою счастья?

"Что в славе? что в молве? на время жизнь дана!"
За полной чашей мы твердили,
И весело в струях блестящего вина
Забвенье сладостное пили.

И вот сгустилась ночь, и все в глубоком сне!
Лишь дышит влажная прохлада,
Лишь слабо теплится в туманной вышине
Дианы бледная лампада.

С улыбкой будит нас малютка Купидон. —
Пусть дремлет труженик усталый!
"Проснитесь, юноши! Для вас ли, — шепчет он, —
Покой бесчувственный и вялый?

Смотрите: видите ль, покинув ложе сна,
Перед окном, полуодета,
С тоскою страстною не вас ли ждет она,
Не вас ли ждет моя Лилета?"

Она! — о нега чувств! о сладкие мечты!
Счастлив, кто легкою рукою
Весной умел срывать весенние цветы
И в мире жил с самим собою;

Кто пренебрег судом завистливых и злых
И, равнодушием богатый,
За царства не отдаст покоя сладкий миг
Иль наслажденья миг крилатый!

Давно румяный Феб прогнал ночную тень,
Давно проснулися заботы, —
А баловней Харит еще покоит лень
На ложе неги и дремоты.

И Лила спит еще; любовию горят
Младые, свежие ланиты,
И, мнится, поцелуй сквозь тонкий сон манят
Ее уста полуоткрыты.

И где же дом утех? где чаш веселый стук?
Забыт друзьями друг заочный,
Исчезли радости, как в вихре слабый звук,
Как блеск зарницы полуночной!

И я, певец утех, теперь утрату их
Пою в тоске уединенной,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И брег не видим отдаленный.

(Впрочем, июньская депеша Каразина Кочубею не имела последствий, да и Василию Назарьевичу уже была уготована участь изгнанника: после новых розысканий о тайных союзах он был оклеветан, посажен в крепость и затем выслан из Петербурга.)

* * *

А Боратынский сошелся во Фридрихсгаме с Коншиным.

Он стал для Коншина тем, кем для него самого стал год назад Дельвиг, и получилось так, что, как бы благодаря Боратынскому, Коншин сам начал сочинять, одно время сделавшись почти его поэтической тенью. Между тем Коншин был на семь лет старше Боратынского. Зимой 820-го года он был штабс-капитаном Нейшлотского полка, под его началом находилась рота, и он уже мыслил о выгодной отставке.

Писем Боратынского и писем к Боратынскому за 820-й год не сохранилось ни одного, и мы должны быть премного признательны Коншину за то, что двадцать пять лет спустя, уже в бытность директором тверских училищ, он сел за стол и набросал в общих чертах то, что помнил о временах своей службы в Финляндии и о Боратынском, в частности. Вспомнившегося оказалось немного. Но спасибо и за то.

Вот собственные слова доброго штабс-капитана:

"...Я пишу просто запросто мои воспоминания об нем, как о друге и сослуживце.

Хочу начать с того, что объясню, какой судьбой мы столкнулись с Боратынским в Финляндии.

Начну с собственного моего формуляра.

В 1811 году я служил прапорщиком в конной артиллерии. Пока продолжалась последняя великая лихорадка Европы с XII до XV года включительно, естественно, продолжались и блистательные надежды всех прапорщиков. Однако же мир Европы застал меня в этом же чине, но уже больным и сердитым. В 1818 году я вышел в отставку поручиком и целый год придумывал, что делать с своей персоной. Жар головы простыл, я решился вступить в гражданскую службу; но как неучам чин коллеж-

ского асессора не давался, то предварительно решился, поправ всякую гордыню, идти в армейскую пехоту, стоящую в Финляндии (где от скуки множество шло в отставку и потому производство было скорое) и дослужиться во фронте до этого заповедного чина. По этому-то плану, сделав в 1819 году первый шаг, я сошелся с Боратынским в *Нейшлотском пехотинском полку*, куда он поступил унтер-офицером из гвардии, вслед за мной.

Скучный формуляр мой больше не потревожит читателя. Осенью* командир нашего полка, полковник *Лутковский***, получил извещение от родных об определении к нам Боратынского.

Я узнал, что он сын известного благородной добросовестностью генерала Абрама Андреевича Боратынского, человека взысканного особенною милостию императора Павла***, что он был сначала в Пажеском корпусе, но отсюда, в числе других напроказивших детей, исключен; кончил образование дома, и принят был рядовым в лейб-егерьский полк.

Я услышал, что в Петербурге первыми литературными трудами он обратил на себя внимание просвещенного круга; что он интересный юноша; имеет воспитание, называемое в свете блестящим, милую наружность и доброе сердце.

Я с нетерпением ждал его.

Мы стояли в *Фридрихсгаме*.

Однажды, пришед к полковнику, нахожу у него за обедом новое лицо, брюнета, в черном фраке, бледного, почти бронзового, молчаливого и очень серьезного.

В Финляндии, краю военных, странно встретить русского во фраке, и поэтому я при первой возможности спросил: *что это за чиновник?* Это был Боратынский****.

Легко представить себе положение молодого человека, принадлежащего по рождению и связям к так называемой везде высшей аристократии, человека, получившего личную известность, и вдруг из круга блестящей столичной молодежи брошенного в пехотный армейский полк, как на дикий остров. В первом столкновении с отысканными на этом острове людьми едва ли не был бы кто столь же молчалив и серьезен, как Боратынский.

Лутковский нас свел; мы разговорились сначала про Петербург, про театр, про лицей и Пушкина, и наконец про литературу. Лицо Боратынского оживлялось поминутно, он обрадовался, что и здесь можно разделить себя, помечтать и поболтать. Часа через два, переговоря и то и другое, мы

---

* Если память не изменила Коншину, то, значит, действительно, определение Боратынского в Нейшлотский полк было подготовлено задолго до нового, 1820-го года.

** Лутковский в ту пору был еще подполковником. В полковники он произведен осенью 1821-го.

*** На днях меня посетил один старичок полковник из так называемых Гатчинских, к слову о генерале Боратынском. – "Говорят, что у него сердце было доброе", – сказал я. – "Не доброе, сударь, – отвечал мне браво ветеран, – а ангельское!" *(примечание Коншина)*.

**** Я пишу Боратынский, а не Баратынский; поэт всегда употреблял *о* и горячо всегда отстаивал честь этого *о (примечание Коншина)*.

дружно обнялись. Боратынский преобразился: он сделался мил, блестящ, прекрасен, а я из армейского франтика стал, по словам его, кладом, который для себя нашел.

Верстах в 15 от Фридрихсгама в пустынной каменистой дичи раскинуты казармы Ликоловские, где стояла рота, мне данная. Боратынский стал часто навещать меня и наконец разделял часто пополам свое время между трудами литературными и поездками сюда. Скоро образовалась между нами литературная дружба; его муза говорила со мной; он привез мне свой *Добрый совет*, эпикурейскую шутку, оконченную так:

Будь дружен с Музою моею,
Оставим мудрость мудрецам;
На что чиниться с жизнью нам,
Когда шутить мы можем с нею.

Связь наша скреплялась с каждым новым свиданием. Скоро Фридрихсгам ему наскучил; я выпросил его к себе в роту, мы поселились вместе и с этих пор в продолжение четырех лет, то есть всей нашей финляндской службы, почти не расставались. Время текло. Милого поэта скоро все узнали и оценили. Вне родины, в безлюдной стороне, общество полков сплочено теснее. Мы имели множество прекрасных товарищей, детей финляндского дворянства, жили дружно, скучали дружно, а по зимам танцевали и играли в бостон: и вдруг в этом кругу явился Боратынский, предшествоваемый прекрасною молвою, сопровождаемый гармоническою Музою, юноша с обольстительной грациозностью, которой не изменял никогда, с незлобием ребенка, с душой благовоспитанной, девственной, и, по положению своему, с правом на участие и покровительство. Наши старшины полюбили его как сына, круг просвещенный, и потому господствовавший, назвал его братом, а толпа, в должном расстоянии, окружила его уважением. Чувство к нему походило на любовь, со всей ее заботливостью, приязнь к поэту перешла даже в ряды полка: усатые служивые с почтительным радушием ему кланялись, не зная ни рода его, ни чина, зная лишь одно, что он нечто, принадлежащее к полковому штабу, и что он *Евгений Абрамович*.

Не умолчу и о себе; мне было в это время лет 25, Боратынскому, как думаю, 21 год*. С его приездом в нашу пустыню мне показалось, что ангел слетел с неба, усладить для меня скуку и освежить меня. Сближение с поэтом и его ко мне привязанность украсили для меня Финляндию чем-то поэтическим, казалось, что мертвое это тело получило душу. К счастью, служба от этого пострадать не могла: есть теперь один благородный финляндец, генерал, командующий которой-то из гвардейских бригад, он был это время моим поручиком, и потому рота наша была одна из первых, несмотря на то, что я глядел на нее сквозь какую-то волшебную призму. Как свежо в сердечной памяти это время. В Финляндии, в этой пустыне, где есть небо, но нет земли, а вместо ее какие-то развалины, утесы и водопады, был уголок, блиставший раем, уголок Европейской образованности и поэзии!

---

* NB : Коншину было в 820-м году 27 лет, Боратынскому – 20.

Представьте себе зимнюю ночь 1819 года*, вы едете из Фридрихсгама в глубь Финляндии, на дороге горы, пропасть и какие-то странные каменные громады, мимо которых ночью проезжаешь как через деревни, когда-то оставленные и окаменелые. Дорога пустая, ни встречи, ни жизни по сторонам, и вдруг вы усматриваете направо и налево одноэтажные длинные, длинные постройки: это *Ликоловские казармы*.

Одна из них ярко освещена: милости просим остановиться, войти и полюбоваться тому, как у нас весело... Вот командир нашего полка *Лутковский*, впоследствии один из храбрых генералов, отличившихся на штурме Варшавы, в ней и умерший: тип великана, богатыря, готового на приступ как на бал; беззаботного ребенка душой. Между тысячами странностей, он бреет густоволосую голову, и носит турецкую феску, послушайте похождения его молодецкой жизни, романтических рассказов о Молдавии, о Польше, о немцах... Вот полковник *Хлуденев*, бывший позднее командиром Белозерского полка, взлетевший на воздух с одного из редутов Варшавских. Это отпечаток старого русского характера: барин, хлебосол, правдолюб и товарищ; обстрелянный в битвах, строгий по службе, но привлекательный в обращении с молодежью...

Вот блестящий, остроумный *Комнено*, русский потомок греческих императоров, умерший лейб-гренадерским капитаном, моривший со смеху даже нашего ветерана графа Штейнгейля, начальника Финляндии... Вот барон *Клеркер*, аристократ края, в то время благовоспитанное дитя, внук шведского генерала-аншефа, отстаивавшего от русских Финляндию...

Здесь огненный швед *Эссен*, служивший потом в л. г. Финляндском полку, постоянно рассеянный и углубленный в науку военного искусства, – это три пажа, старые товарищи Боратынского. К этому кругу с гордостью принадлежали все финляндцы, носившие нейшлотские мундиры, *Аммонт*, теперь бригадный генерал, *Рамсай*, нынешний губернатор в Финляндии, *Левстрем*, потом полковник, подле которого убит Хлуденев, *Брун* и многие другие. Кроме их, вы иногда могли встретить здесь и нашего храброго бригадного начальника генерала *Ридингера*, старинного гвардейца, память которого будет нам до смерти любезною. Среди всего этого видите ли юношу, грациозного, как камергер, высокого, стройного, с открытым большим лбом, через который небрежно перекинуты длинные черные волосы; он один только во фраке посреди мундиров, право на этот запрещенный фрак дало ему несчастье: это Боратынский. Заезжий путешественник удивился бы разнообразию и жизни этого круга друзей в далекой на севере деревянной казарме, полузанесенной снегами финскими. В этом-то кругу Боратынский читал свою первую финляндскую поэзию.

Я помню один зимний вечер, на дворе была буря; внимающее молчание окружало нашего Скальда, когда он, восторженный, читал нам на торжественный распев, по манере, изученной у Гнедича, взятой от греков, принятой и Пушкиным и всеми знаменитостями того времени, – когда он пропел нам свой *гимн к Финляндии*:

---

*Описка Коншина: 1820-го года.

В свои расселины вы приняли певца,
Граниты финские, граниты вековые,
Земли ледяного венца
Богатыри сторожевые.
Он с лирой между вас. Поклон его! Поклон
Громадам миру современным!
Подобно им да будет он
Во все годины неизменным и пр.

Этот час памятен. Один из нас тогда заметил, что тени Одена и богатырей его слетели слушать эту песнь и стучали к нам в окна метелью, приветствуя поэта. Скоро за этим мы услышали здесь же послание к Дельвигу, любимцу души его, привязанность к которому питал, как страсть. Прочитанные в уголку снежной Финляндии, громко отразились эхом в П.Бурге четыре последние стиха этого послания и нашли сочувствие к милому юноше во всем, что чувствовало:

И я, певец утех, пою утрату их,
И вкруг меня скалы суровы,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах моих оковы!

Петербург ему откликнулся и участием и уважением: в ответ на эти первые произведения *С.-П.Бургское Вольное Общество Любителей Российской Словесности* прислало поэту диплом на звание *члена* своего.

Настала весна..."

* * *

(И в апреле Боратынский, кажется, успел слетать ненадолго в Петербург. Осталась даже запись в журнале соревнователей за 820-й год о том, что 19-го апреля он был в собрании общества и что в тот день была читана "Финляндия". Но никаких иных следов его тогдашнего пребывания в Петербурге – нет. Быть может, он оказался здесь проездом, предузнав кончину Богдана Андреевича? – тот умер 23-го апреля в Москве.)

* * *

"...Настала весна. Засыпанный снегами скелет Финляндии встал в каменной торжественности и поразил поэта своим диким великолепием. Снега, обратясь в воду, сбежали быстро в трещины скал; в месяц все было уже сухо, и смолистый лес благоухал на ярком солнце. Мы выступили в лагерь, в Вильманстранд, город, полный воспоминаний: тут дрались русские при Петре; недалеко от гласиса стоит верста, исстрелянная пулями старого времени, и как драгоценность охраняемая; самое имя города звучит от какой-то давней были: Will-man Strand значит дикого человека берег. Боратынскому понравились и оставленные валы крепости, и ее воспоминания, и новизна походной жизни, и картина лагеря – *полотняного города*, выросшего на пустынных берегах Сайма. Он сознавался, что в жизни еще не имел такого поэтического лета, что чувствует себя как бы перенесенным в мир баснословной старины с его колоссальными размерами и силы и страсти.

В Финляндии есть чудо: это водопад *Иматра*, река Вокса, суженная гранитными берегами, с оторванным дном, летит в бездну. После лагеря мы поехали посмотреть этого водопада. Долго стоял поэт над оглушающей пропастью, скрестя руки на груди. Кто не прочитал с наслаждением стихов, выразивших чувство, владевшее им на скалах Иматры:

...Зачем с безумным ожиданьем,
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем?..
Как — скованный стою
Над дымной бездною твоею
И мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою!.."

* * *

Здесь снова придется прервать славного штабс-капитана, чтобы напомнить читателю, как выглядит водопад, — с помощью другого очевидца: "Тропинка, ведущая к водопаду, извивается по густому дикому лесу... По мере приближения нашего к водопаду, его шум и гул все усиливались и наконец дошли до того, что мы не могли расслышать друг друга; несколько минут мы продолжали продвигаться вперед молча, среди оглушительного и вместе упоительного шума... и вдруг очутились на краю острых скал, окаймляющих Иматру!.. Представьте себе широкую, очень широкую реку, то быстро, то тихо текущую, и вдруг эта река суживается на третью часть своей ширины серыми, седыми утесами, торчащими с боков ее, и, стесненная ими, низвергается по скалистому крутому скату на пространстве 70 сажен в длину. Тут, встречая препятствия от различной формы камней, она бьется о них, бешено клубится, кидается в стороны и, пенясь и дробясь о боковые утесы, обдает их брызгами мельчайшей водяной пыли, которыми покрывает, как легчайшим туманом, ее берега. Но, с окончанием склона, оканчиваются ее неистовства: она опять разливается в огромное круглое озеро, окаймленное живописным лесом, течет тихо, лениво, как бы усталая; на ней не видно ни волнения, ни малейшей зыби. — При своем грандиозном падении она обтачивает мелкие камешки в разные фантастические фигуры, похожие на зверей, птиц, часы, табакерки и проч. ... На некоторых береговых камнях написаны были разные имена, и одно из них было милое и нам всем знакомое Евгения Абрамовича Баратынского".

* * *

"...И мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою!

Боратынскому оставалось увидеть открытое море, и потому осенью поехали мы в *Роченсальм*. Погода была ветреная, и когда мы взобрались на прибрежные скалы, море играло во всей красоте своей. *Прекрасно*, — воскликнул поэт и умолк. Я оставил его, удалясь в сторону. Он сел при подошве огромной башни маяка и долго любовался на торжественное явление.

Если вы будете в пустынном Роченсальме, подойдите к маяку, поклонитесь месту, где творческая природа, играя необъятной бездной, создавала бурю в груди поэта, стихотворение, полное думы и чувства:

... Кто, возмутив природы чин,
Горами влажными на землю гонит море?
Не тот ли злобный дух, геены властелин,
Что по вселенной розлил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
И на творенье ополчил
Все силы, данные творенью!
... Когда придет желанное мгновенье,
Когда волнам твоим я вверюсь, океан?
Но знай, красой далеких стран
Не очаровано мое воображенье;
Под небом лучшим обрести
Я лучшей доли не сумею;
Вновь не смогу душой моею
В краю цветущем расцвести!

Так прошел год со времени приезда к нам поэта*.

Осеннее ненастье опять усадило нас к домашнему камельку в казармах. Боратынский с нетерпением ожидал зимы и по первому снегу поехал в отпуск. Я не знавал человека более привязанного к месту своего рождения; он, как швейцарец, просто одержим был этой, почти неизвестной у нас болезнью, которую французы называют mal du pays**. Питая надежду на скорое производство в офицеры, он обнаруживал смело перед нами желание тотчас же оставить службу и поселиться дома.

Стихотворение, написанное им во время осенних дождей и дорожных сборов, посвящено Родине, оно дышит стремлением к жизни уединенной, дельной, человеческой.

– *В кругу семьи своей*, – говорит он, – *я буду издали глядеть на бури света*.

Там дружба некогда сокроет пепел мой
И вместо мрамора положит на гробницу
И мирный заступ мой, и мирную цевницу.

Надобно сказать, что и Боратынский и все мы надеялись, что он не прослужит до офицерства долее года. Участие, какое в нем приняли все власти, с нижних до высших, его благородная чистая жизнь и высокое личное достоинство поддерживали нас в этой вере. Почти убежденный в том, что не воротится в Финляндию, он обратил к ней прощальную песнь свою, грустную, как осеннее небо, над ним тяготевшее:

Прощай, отчизна непогоды,
Печальная страна,
Где мрачен вид нагой природы,
Безжизненна весна...
... Где, отлученный от отчизны

---

*Меньше, чем год, – месяцев восемь.
** Тоска по родине *(фр.)*.

Враждебною судьбой,
Изнемогал без укоризны
Изгнанник молодой... и пр.

Простясь с Финляндией, окончив песнь к Родине, поэт дождался снега и помчался к своим *домашним иконам*, с тем, чтобы не воротиться...'

* * *

Мы еще вернемся к мемориям Коншина, а здесь заметим только: добрый штабс-капитан не лгал, когда писал свои воспоминания, но запомнившийся ему Боратынский – конечно, Боратынский элегий Боратынского. Что этот Боратынский – лишь отблеск того Боратынского, который некогда жил в Финляндии, – легко догадаться, а в подтверждение нашей догадки прочитаем отрывок из воспоминаний второго финляндского друга Боратынского – второго не по существу, а по времени: с ним – Николаем Васильевичем Путятой – Боратынский познакомится в 824-м году, через несколько месяцев после окончательного отъезда из Финляндии Коншина. Путята был на год моложе Боратынского; впоследствии оба долго были влюблены в одну женщину; их жены были родными сестрами; они имели общие хозяйственные заботы по Муранову, оставшемуся им после их тестя – Льва Николаевича Энгельгардта; на время дальних отъездов они оставляли своих младших детей друг у друга, – словом, Путята знал Боратынского не то чтобы лучше Коншина, но дольше и, главное, хорошо знал уже в зрелом возрасте, когда душа очерчена контурами несравненно более четкими, чем в юности. Конечно, и Путята искал подтверждение своим воспоминаниям в стихах Боратынского. Но под пером Путяты вырисовывалась тень не гонимого страдальца, а твердого духом подвижника:

"Неблагоприятные обстоятельства забросили Баратынского на службу, в Финляндию. Разлука с родиною и близкими сердцу, уединенная жизнь в стране, чуждой по языку и обычаю, имевшей в то время, лет около 25 тому назад, мало сношений с столицею, сама природа, его окружавшая, величественная и оригинальная, но угрюмая и дикая, все это усилило меланхолическое расположение души Баратынского. Это расположение сильно отозвалось в его произведениях, но элегический тон его был верен и самобытен. Баратынский не увлекался в этом модою, требованиями тогдашней публики и современной направленности. В элегиях его ничего нет неопределенного, туманного и безотчетного. Грусть выражалась в его поэзии потому, что он глубоко чувствовал и подвергал чувства анализу ума, так сказать, анатомировал его, а сердце человеческое, обнаженное таким образом, не могло не представлять ему печальных истин. Он не предавался отчаянию и не унывал духом. Его подкрепляла живая вера, вера в искусство, в Поэзию, которую он любил для нее самой без всякой примеси тщеславных помыслов и которая служила ему заменою всех благ земных.

Я, не внимаемый, довольно награжден
За звуки звуками, а за мечты мечтами.

Угнетаемый судьбою, он не ропщет на нее, напротив. Посмотрите, как в пиесе "Отъезд" он прощается с страной, где провел, можно сказать, в изгнании большую часть своей молодости.

Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел свою весну,
Но где порою житель неба,
Наперекор судьбе,
Не изменил питомец Феба
Ни Музам, ни себе.

Прочтите еще в подтверждение этого стихи в послании Гнедичу.

Судьбу младенчески за строгость не виню.
И взяв с тебя пример, поэзию, ученье
Призвал я украшать свое уединенье.
Леса угрюмые, громады мшистых гор,
Пришельца нового пугающие взор,
Чужих безбрежных вод свинцовая равнина,
Напевы грустные протяжных песен финна,
Не долго, помню я, в печальной стороне
Печаль холодную вливали в душу мне.
Я победил ее и не убит неволей.
Еще я бытия владею лучшей долей.
Я мыслю, чувствую; для духа нет оков..."

* * *

Числа 12-го декабря возок подполковника Лутковского, едущего по делам службы, скрипя полозьями, влетел в завьюженный Петербург. Кроме командира Нейшлотского полка, возвращался из Финляндии (полагая, что навсегда) 20-летний унтер-офицер, поэт и повеса. Унтер-офицер считался в трехмесячном отпуску.

Полагаем, что у полковника и унтер-офицера имелся некоторый план дальнейших действий:

1. По приезде Лутковский подает начальству рапорт о производстве унтер-офицера в прапорщики (конечно, сердце сжимается в предчувствии худшего, но воображение уже рисует жизнь свободную и немятежную:

Укрывшись от толпы взыскательных судей,
В кругу друзей своих, в кругу семьи своей
Я буду издали глядеть на бури света).

2. Тем временем унтер-офицер едет на родину — в Мару:

Не призрак счастия, но счастье нужно мне.
Усталый труженик, спешу к родной стране
Заснуть желанным сном под кровлею родимой.
О дом отеческий! о край, всегда любимый!

3. Император Александр отдает повеление о производстве в прапорщики.

4. Новоиспеченный прапорщик высылает во Фридрихсгам свидетельства тамбовских докторов о своей болезни.

5. Лутковский докладывает по начальству о болезни прапорщика Боратынского.

6. Время идет. Весна. Лето. Боратынский живет в Маре. И вот — сентябрь.

7. После 1-го сентября Лутковский пересылает в Петербург прошение прапорщика Боратынского об отставке.

8. К новому, 822-му году прапорщик Боратынский уволен в отставку по прошению.

Касательно последних пяти пунктов мы весьма сомневаемся, — так ли было; но первые три истинно соответствуют мечтам Боратынского.

Однако до 822-го года далеко. Идет декабрь 820-го.

* * *

В Петербурге уже нет многих, с кем он прощался, уезжая в Финляндию: Пушкин надолго в Кишиневе, Кюхельбекер — при Нарышкине во Франции, Жуковский при великой княгине — в Берлине, Яковлев — при миссии в Бухаре, Креницын — в солдатах в 18-м егерском, Рачинский — капитаном в Муромском пехотном. Рачинский из гвардии попал в армию, как и прочие семеновцы, после октябрьского возмущения, подробности которого Боратынский узнал, конечно, еще в Финляндии. Дельвиг уточнил, наверное, детали. В Семеновском полку вышло неповиновение из-за полкового командира Шварца. Этот злодей стал главной причиной беспорядка. На плацу он выдернул из строя одного солдата первой роты и, плюнув ему в лицо, велел каждому повторить то же наказание. Вечером первая рота решилась жаловаться на Шварца и отказалась идти в караул. На следующий день роту строем отвели в крепость. Шварц скрылся. Другие роты сказали, что они без первой в караулы не выйдут. Семеновские роты были оцеплены конногвардейцами и лейб-егерями. Бистром уговаривал, а семеновские солдаты просили его быть их командиром и хотели видеть Шварца. Того, однако, не нашли. Начальство решило ждать письменного решения государя из Троппау, а пока отправить весь полк в крепость. Через две недели, 2-го ноября, пришел высочайший указ: полк раскассировать, солдат выпороть, офицеров разослать по разным пехотным полкам, соблюдая, впрочем, производство в чины обычным порядком.

С Дельвигом он виделся мало.

Был вместе с ним 13-го декабря у соревнователей и, видимо, сам читал "Пиры".

И должно быть, на той же неделе, а может быть, на следующий день после того, как он поразил соревнователей "Пирами", выехал из Петербурга в Мару — чтобы успеть туда к Рождеству. Кончался пятый год его скитаний...

Кончался пятый год его скитаний, и вот наконец впервые он мог дышать полной грудью. Он приехал к маменьке уже почти прапорщиком. Теперь надо было решать, как жить дальше. Но сердце его не могло не предчувствовать худшего: "Иной человек посреди всего, что, казалось бы, делает его счастливым, носит в себе утаенный яд, который его снедает и делает неспособным к какому бы то ни были наслаждению. Болящий

дух, полный тоски и печали — вот что он носит среди шумного веселья..." — На эти слова юноши можно возразить только его же словами, сказанными через 15 лет:

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.

* * *

Полагая, что все уже привыкли к провалам в наших знаниях о домашней жизни Боратынских, мы сошлемся на единственное известие из той зимы, благодаря которому знаем, куда отправился Боратынский на время своего отпуска. Как раз в то время из Петербурга домой, тоже в краткий отпуск, прискакал 17-летний мичман Беляев. Он не был в дружбе с Боратынскими, да и потом не поддержал состоявшееся знакомство — не успев, будучи отправлен в каторгу за 14-е декабря. Но благодаря бога он остался цел и в Сибири и на Кавказе, куда перевелся солдатом, а на склоне лет (он жил очень долго) вспоминал свою голубоглазую юность и, в частности, тот приезд домой. Имение его родителей находилось в соседнем, Чембарском уезде, и он часто бывал недалеко от Кирсанова и Мары — в Васильевке, у Недобровых. Глава семейства, Варвара Александровна, была матерью доброго приятеля Беляева — Павла (впоследствии тот женится, правда, очень неудачно, на младшей из любимых племянниц Боратынского — Lise Панчулидзевой): "Она была черкесского княжеского рода, привезена с Кавказа и принята императрицею Марией Феодоровною в Смольный монастырь и потом выдана ею за командира Семеновского полка, любимца императора Павла*, которому он остался верен до конца и за каковую верность император Александр Павлович очень уважал его. Император Павел при отставке подарил ему 1000 душ в Тамбовской губернии Кирсановского уезда...

В Васильевке, при своей хорошей музыке, очень часто танцевали... Тогдашние танцы 1820 года состояли из экосеза, попурри, котильона — он же был самый продолжительный, очаровательный для влюбленного, как и мазурка... Зимою, после обеда, ездили кататься. Для этого подавалось много троечных саней; все рассаживались как хотели, кавалеры размещались или в санях, или на запятках... По вечерам иногда устраивались различные игры, тоже живые и веселые; игрывали в жмурки, в колечко, в рекрутский набор, в туалет, в почту, в цветы и множество других игр, в которых, конечно, как и в танцах, выражалась все та же любовь, ясно понимаемая тем, к кому относились ее робкие проявления. В играх эта истина хорошо знакома всем, кто был молод и влюблен.

Иногда все езжали к соседям, дружески знакомым, между которыми были *Хвощинские, Баратынские*, жившие недалеко от Васильевки. Поэт Евгений Абрамович *Баратынский* в этот год тоже приезжал из Петербурга. Другие его братья служили в каком-то кавалерийском полку юнкерами,

---

* Василий Александрович Недоброво.

вместе с младшими Недоброво. Все они в этом году бывали в Васильевке и участвовали во всех танцах, играх и общем веселом настроении. Василий Александрович очень любил, когда вторая дочь Надежда Васильевна плясала русскую. Для этого она надевала богатый сарафан, повойник и восхищала всех гостей своей чудной грацией..."

1821

Вернулся Боратынский в Петербург, кажется, в феврале. Видимо, он уже знал: в производстве ему отказано. Что происходило тогда в государственной голове милостивого Александра – сейчас не совсем ясно. Но точно, что новые впечатления по возвращении из Троппау смущали императора. В Университетском благородном пансионе ученики потребовали изгнания части учителей, и один из главных возмутителей, как доложили, – Лев Пушкин, брат того самого; говорят, поколотили учителя географии. Тут же вышла история с лицейским и университетским профессором Куницыным. Его уволили от всех должностей, и книгу его признали "противоречащей явно истинам христианства и клонящеюся к ниспровержению всех связей семейственных и государственных". В Италии шумела революция без шуток, и в Неаполе карбонарии шалили так, что уже предполагалось двигать нашу армию к югу (готовился особый приказ). Наконец, Александр Ипсиланти обнародовал возмущение и перешел Прут с своими отрядами.

К тому же журналы наши смелели тогда от месяца к месяцу и час от часу. Казалось, скоро им самого государя безопасно будет выставить в смешном и неподобающем виде. Аракчеева уже выставили в "Невском зрителе" ("Надменный временщик, и подлый, и коварный..." и подобное сему в рифму – некоего Рылеева сочинение). Ну, и не забудьте про семеновскую историю.

Словом, увы! Только потомство рассудит Овидия и Августа. А ныне – страдай, мой скорбный дух, терзайся, грудь моя! – как стенал некогда Александр Петрович Сумароков. Несчастливцы разных времен ропщут от разных причин, но формы, в которые облечены их страдания, уныло однообразны.

* * *

Ждать неведомо сколько – невыносимо. Снова были пущены в ход все связи. Заручившись уверениями Анны Николаевны Бантыш-Каменской (еще смольнинской подруги Александры Федоровны), Боратынский написал к тогдашнему президенту Академии наук Уварову, в чью силу хотелось бы верить:

Ваше превосходительство
милостивый государь
Сергей Семенович.

Вы приказали доставить Вам записку об унтер-офицере Боратынском – с благодарностью исполняю Ваше приказание.

Боратынский по выключении своем из пажеского корпуса вступил солдатом в гвардейский полк; через год произведен в унтер-офицеры и переведен в Нейшлотский пехотный. Теперь представлен своим началь-

ством в прапорщики, но производство его зависит от высшего начальства.

Вот все что до него касается – следует то, что касается и Вашего превосходительства: возвратить человеку имя и свободу; возвратить его обществу и семейству; отдать ему самобытность, без которой гибнет душевная деятельность; одним словом: воскресить мертвого. – Все это Вы сделаете и все это Вам возможно сделать. Я бы не осмелился говорить таким образом, ежели б Анна Николаевна не заставила меня почти веровать в Ваше превосходительство.

Приобщите к числу тех, которые Вам обязаны, еще одного благодарного.

С глубочайшим почтением
честь имею быть Вашего превосходительства
милостивый государь покорнейшим слугою
Евгений Боратынский.

1821-го года марта 12 дня.

* * *

Но Уваров был то ли не в большой силе по таким делам, то ли, согласившись для вида, от действительного ходатайства отклонился. А вероятнее, император Уварову отказал.

Боратынский был подавлен, и руки опускались. Любой, кто увидел бы его наедине с самим собой, мог воскликнуть: "Я не видал человека, менее убитого своим положением; оно сделало его опытным, много выше его лет, а благородная свобода, примета души возвышенной и гения, – сама собою поставила его далеко выше толпы, его окружающей. Он был всеми любим, но казалось, и не замечал этого; равно как и своего несчастия. – Глаза его, кажется, говорили судьбе слова бессмертного безумца – Gettate mi ove volete voi... che m'importa*".

* * *

В один из тех зимних унылых вечеров Боратынский и оказался вместе с кем-то из знакомых в доме на Фурштадтской – у *С.Д.П.*

"Она была дочь Дмитрия Прокофьевича Позняка, умного, хитрого сенатского обер-секретаря одного из перебургских департаментов, слывшего в свое время великим и даже просвещенным дельцом по судебной части. Эта молоденькая, плотненькая дама небольшого роста обладала необыкновенным искусством нравиться и не отличалась скромностью. Где получила она образование – не знаю, но воспитание ее было самое блистательное: бойко говорила она на четырех европейских языках и владела превосходно русским, что тогда было редкостью; легкая иностранная литература и наша домашняя были ей вполне знакомы. Она умела завлечь в свою гостиную всех тогдашних литераторов, декламировала перед ними их стихотворения и восхищала своей игрой на фортепьяно и приятным пением. Замужем она была за сыном богатого откупщика Пономарева, который его отделил и дал ему средства к широкой петербургской жизни... Обычными посетителями были люди известные

---

*Бросьте меня куда угодно... мне все равно! *(ит.)*.

по литературе и по искусству, даровитые и любезные в откровенной, ничем не сдержанной беседе. Такими собеседниками бывали зрелых лет люди, как то: изредка баснописец Крылов, переводчик Гомера Гнедич, неразборчивый в своей литературной деятельности журналист Греч, издатель журнала "Благонамеренный" циник Измайлов, трагики: Катенин и Жандр, закадычный друг Пушкина Дельвиг, Лобанов и Баратынский и другие; женщин не бывало ни одной... Порхала бабочкой между нами Софья Дмитриевна... Пожилые из собеседников, упитанные холодным ужином и нагруженные вином, в полусонье отправлялись по домам; кто помоложе оставались гораздо за полночь, а самые избранные – до позднего утра... Изредка читал там Крылов новые свои басни еще до печати; Гнедич, один из искуснейших чтецов того времени, хотя и чересчур напыщенный, как и вся его фигура, прочел однажды в собрании всего кружка свою классическую идиллию "Рыбаки", превосходное подражание Феокриту, в которой он с неподражаемым поэтическим талантом в этом роде описал светлую, как день, петербургскую ночь и плоские берега величественной Невы, окаймленные великолепными зданиями. В другой раз по просьбе всех прочел он нам остроумную комедию Крылова, которая тогда только что появилась в рукописи и, как переполненная злой иронией над правительством и высшим обществом, никогда не могла быть напечатана. Им же читались иногда отрывки из его "Илиады"... Кроме Гнедича читывал бывало благонамеренный Измайлов свои простонародные цинические басни, отличавшиеся русским юмором. Дельвиг приносил свои песни, которые тут же распевала хозяйка... Баратынский же был и тогда уже истинным поэтом, увлекательно говорил и отличался благородным тоном и изящными манерами... В этой гостиной была только одна женщина, ее подставка, итальянка Тереза, участница во всех проделках, и чего-чего обе тут не делали!

В конце зимы... гуляя по набережной Фонтанки, встретил я двух, что-то уж чересчур щеголевато одетых охтенок; одна из них несла на плече ведро с молоком, их обыкновенным предметом ежедневной торговли. Я на них с любопытством взглянул, они захохотали и долго шли за мною, преследуя меня своим смехом. Оказалось, что это была С.Д. с своей итальянкой. Куда и зачем они ходили, я от них не мог добиться...

... И как же она меня два раза напугала... Подходит ко мне, на одной из станций между Москвою и Петербургом, прехорошенькая крестьянка и предлагает яблоки: "Купите, барин, дешево продам," – да как бросится мне на шею!.. Смотрю, глазам не верю!.. Софья Дмитриевна! – Другой раз, что же вы думаете? Присылают за мною: "Софья Дмитриевна скончалась"; очень я ее любил – не помню, как и доехал до ее дома. Лежит в гробу; люди плачут. Я только бы подойти, а она как рассмеется!... "Это я, – говорит, – друзей испытываю; искренно ли они обо мне плачут!.."

Никто, ни один из перечисленных, в отличие от рассказавшего эти случаи московского старожила Дмитрия Николаевича Свербеева, не записал впоследствии то, что помнил о С.Д.П. Самохвалебные воспоминания Панаева – единственное вспоможение двум свербеевским страницам, но занимать ли этим кичливым дополнением место в нашей

повести или, в отместку за нескромное хвастовство, оставить Панаева в забвении – стоит размыслить.

Правда, и то сказать, что хотя все, кого назвал Свербеев среди гостей С.Д.П. (а к ним еще можно добавить братьев Княжевичей, Остолопова, Сомова, Яковлева (Павла), Рылеева, Кюхельбекера), – все они, и прежде всего те, кто более других любил милую хозяйку квартиры на Фурштадтской, хотя и пережили ее, но мало кто – надолго: Дельвиг и Измайлов на семь лет, Гнедич и Сомов – на девять, Яковлев – на одиннадцать.

Да и как можно было записать это создание?

> Опасного ее бегите взгляда,
> Иль бойтесь к ней любовь несчастную познать! –
> Как можно столько чувств глазами выражать?
> И столько сохранять в душе жестокой хлада!

Может быть, удачнее – не хлада, а яда... Гроза ревнивых жен, умевшая в обществе из десяти повес и пяти солидных мужей каждого из них одновременно обольстить несбыточной надеждой и легким, незаметным для остальных движением влить каждому в грудь неутолимый пламень, едва ли она оставалась сама невредимой от такого количества стрел ответной любви.

Панаев через много лет компрометировал ее память рассказом о своей решительной победе над ее сердцем, не опасаясь быть оспоренным, ибо пережил всех своих соперников. Впрочем, как оспоривать таких людей? Давать им посмертные пощечины и вызывать их тени на поединок? – Мы не верим Панаеву. Он никогда никого, кроме самого себя, не видел в этом мире, и немудрено, что в глазах С.Д.П. прочитал призыв, обращенный только к себе, а поцелуи ее счел за естественное, с его точки зрения, исключение из общего правила, сделанное, разумеется, только для него. Звездный час его был скоротечен – пусть не будет иначе. И пусть в другом мире она не встретит его. Ни-ко-гда...

Не пораженных взорами ее узких глаз вокруг нее не случалось, а сопротивление было невероятно. Боратынский, кажется, еще в феврале, в один из первых визитов, как-то сказал, что начнет ухаживать за ней не ранее, чем когда поседеет ("lorsqu'il aurai des cheveux blancs"*).

– Monsieur! – отвечала она, – Vous serez plutôt gris que blanc**.

Нет! Положительно нельзя записать ее в воспоминания, чтоб она предстала такой, какая – была! При записи вышло бы то, что зовется vulgar***, как вышло у Свербеева, когда, желая (уже в преклонном возрасте) передать обаянье ласковой шалуньи, он выразил лишь грубую суть завистливого стариковского взгляда на женщин: "Дикой козочкой прыгала... возбуждая своим утонченным участием и нескромными телодвижениями чувственность каждого". – Так нельзя говорить о ней.

Она осталась не в мемуарах, а в сердце и стихах.

---

* Когда волосы его побелеют *(фр.)*.

** Вы прежде опьянеете, чем поседеете *(фр.)*; игра слов: *gris* – 1) серый; 2) пьяный.

*** Пошлый *(англ.)*.

* * *

В феврале 821-го года Боратынскому еще только предстояло испытать каверзы ее игры, и он был пока трезв сердцем и тверд умом. Откладывая надежду на производство в офицеры по крайней мере до будущей зимы, он не пустил в душу надежду на сердечную привязанность и, уезжая в Финляндию, оставил своенравной Софии на память два или три прощальных непризнания в любви. Поскольку стихам этим была уготована судьба не мимолетных паркетных вольностей, а место первых глав долгого, по нашим понятиям, романа, то мы приведем их впоследствии*.

* * *

Во Фридрихсгаме его приветствовал Коншин:

"Мы не столько любили один другого, сколько были нужны друг для друга. Мы проводили вместе дни, недели, месяцы...

Отказ о производстве ожесточил его, сколько добрая, младенческая душа его умела роптать, он роптал и досадовал; в стихотворениях того времени отразилось это чувство...

> ... Вино и Вакха мы хвалили;
> Но я безрадостно с друзьями радость пил;
> Восторги их мне чужды были!
> Того не приобресть, что сердцем не дано,
> Всесильным собственною силой;
> Одну печаль свою, уныние одно,
> Способен чувствовать унылой!

...Уединенье, столь глубокое, как в Финляндии, испытывали мы, отчужденные и по языку и по характеру от жителей страны, оно поучительно; жизнь в самом себе есть жизнь умная.

Между тем и не мечтали, что судьба готовила нам праздник. С одной почтой, ничего не обещавшей, неожиданно получает наша бригада повеленье: выступить в С.П.Бург для занятия караулов**. Боратынский обрадовался этой новости, как дитя, обнимал всех нас с восторгом: нельзя 16-летней провинциалке живей обрадоваться неожиданному приглашению на бал. Память петербургской жизни не переставала волновать его огненную голову: он там оставил первую поэзию своей души, первых друзей, первую литературную известность, общество, кипящее деятельностью на стези ученого труда, все, что греет и движет.

Действительно, годы, мной описываемые, были, можно сказать, первыми годами порыва общего к поэзии. Петербург кипел. Это был прекрасный период умственного пробуждения, предшествованный великими драмами 1812–1814 годов...

Перемена обстановки, расширенный круг действия, внимание просвещенного класса столицы, заинтересованного судьбой финляндского изгнанника, наконец, юность, легко заносящая, легко обольщаемая, –

---

*См. стр. 192–193.

** Ибо гвардии повелено было в апреле выступить в наши западные губернии на место войск, двинутых за границу.

все это смягчило болезнь душевных ран поэта: ропот его умолк, он предался увлечению, и его П.-бургские Элегии и Антологические стихотворения суть цветы, которые, кружась по паркету, сеял он по следам своим. Это повесть сердечных похождений юноши, размолвок и любезностей, выходки, мщения, шалости, шутки и пр. – Тон этих пьес Боратынского был благородный, легкий, доступный к сердцу: этим направлением особенно отличаются все стихотворения П.-бургского периода. Боратынский первый у нас, и именно первый, заговорил по-русски с каждой благовоспитанной дамой и обо всякой любезной мелочи паркетного круга. Небрежно, как бы резвясь, он вязал свои букеты, но эта небрежность была дитя художества, *обдуманная необдуманность* кокетки, всегда торжествующая. Под строгим к себе и отчетливым пером его улегались мягко, блистали и нежили слух русские звуки, и аристократически завладели первенством в гостиных и будуарах: бледная французская поэзия скромно пряталась в этих *альбомах* in quarto *наших блистательных дам*, про которые восклицал Пушкин:

... Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной.
Иль Боратынского пером!..” –

так говорит финляндский друг Боратынского, добрый Коншин. Кое в чем он, конечно, не точен, ученая важность его, с какою он рассуждает о *стихотворениях П.-бургского периода*, самобытна лишь в той мере, в какой могут быть оригинальны пересказы журнальных статей 20–30-летней давности, а слова о том, что Боратынский первый заговорил в стихах светским языком, весьма напоминают все, что было некогда говорено об Иване Ивановиче Дмитриеве, в чьих стихах, как повторяли, ”поэзия в первый раз украсила разговор лучшего общества”. – Но Коншин прав, когда говорит о ропоте и досаде Боратынского, прав, вспоминая ликование нейшлотцев при известии о выступлении в Петербург, прав безусловно насчет щедрого любования Боратынским Пушкина. Пушкин оставался тогда по-прежнему в Кишиневе и перекликался с Боратынским, кажется, только через Дельвига да через брата Левушку, а сам вряд ли писал (как и Боратынский ему). Но чем дальше, тем больше Пушкин хотел видеть в нем не просто *нашего* по духу, разуму и вкусу, а равного по стихам. Так и было, в общем-то, при том, однако ж, что душой своей Боратынский был ему чужд, и Пушкину ни сейчас, ни потом не удалось найти в нем действительно брата.

Впрочем, все это впереди, а пока Пушкин пишет из Кишинева скептическому Вяземскому в Москву: ”Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова – если впредь зашагает, как шагал до сих пор, – ведь 23 года счастливцу!* Оставим все ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет”.

* * *

Понятно, что они не кинулись по сторонам и продолжали каждый свои элегические выходки, ибо были молоды и непрерывно влюблены.

---

*NB: счастливцу тогда не исполнилось и 22-х.

Но уже только самые соперники Боратынского в любви да еще некоторые обиженные его превосходством элегические соревнователи отказывались признавать, что элегии Боратынского, в коих "истинное чувство облекается стихом гармоническим, необыкновенно метким и выразительным, поставили его у нас первым элегическим поэтом".

Но всего замечательнее, что славу эту Боратынскому доставили не строки о безответной страсти, не упоение разделенным счастьем, не жалобы на неверность, а – признания в не-любви:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь,
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

Притворной нежности не требуй от меня:
Я сердца моего не скрою хлад печальный.
Ты права, в нем уж нет прекрасного огня
　　Моей любви первоначальной.
Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой и прежние мечтанья:
　　Безжизненны мои воспоминанья,
　　Я клятвы дал, но дал их выше сил.

　　Я не пленен красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных развлекся я душою.
　　Уж ты жила неверной тенью в ней;
Уже к тебе взывал я редко, принужденно.
　　И пламень мой, слабея постепенно,
　　Собою сам погас в душе моей.

Верь, жалок я один. Душа любви желает,
　　Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполне упоевает
　　Нас только первая любовь.

Грущу я; но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо мной:
Кто знает? мнением сольюся я с толпой;
Подругу без любви, кто знает? изберу я.
На брак обдуманный я руку ей подам
　　И в храме стану рядом с нею,
Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,
　　И назову ее моею;

И весть к тебе придет, но не завидуй нам:
Обмена тайных дум не будет между нами,
Душевным прихотям мы воли не дадим:
Мы не сердца под брачными венцами,
Мы жребии свои соединим.

Прощай! Мы долго шли дорогою одною:
Путь новый я избрал, путь новый избери;
Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

Конечно, кто говорит, строки о любви надежной, о подруге нежной, "Поцелуй" и "Леду" знали не хуже, чем те, что вспомнились. Но зато и всякий, знавший в себе эту пустоту, это недоверие к себе, это знание бессмысленной скоротечности любого порыва, это твердое убеждение совершенного своего душевного равнодушия при могущественнейших увлечениях, — всякий, на мгновенье очарованный (читая "Леду") своими воспоминаниями и мечтами, согласится, что душе его ближе "в молодые наши леты даем поспешные обеты" или "слепой тоски моей не множь!"

В сущности, вовсе не важно, чей именно любовный бред охладила усмешка этой философической хандры. Семейное сказанье гласит, что новые встречи с полузабытой им милой Варенькой побудили записать первое непризнание. Кому адресовано другое? Кому из тех, чьи имена навсегда утрачены любовными преданьями, — нет нужды знать, ибо Боратынский писал не *о ней* и не *для нее*, а о себе и — себе. Поэтому мы не желаем бросать тень на память милой Вареньки, а скажем только, что любовный отказ — штука тонкая, и только в поэмах и романах *он*, встретив *ее*, так прямо и говорит:

— Забудь меня; твоей любви, твоих восторгов я не стою. Бесценных дней не трать со мною; другого юношу зови. Его любовь тебе заменит моей души печальный хлад; сменит не раз младая дева мечтами легкие мечты...

В жизни более объясняют не слова, а выражения глаз, изгиб рта, движения рук... Как рождение ребенка совершается бессловесно, и лишь затем в метрическую книгу заносятся слова, необходимые этой церемонией жизни, так и рождение чувства не вдруг оформляется очередной записью в элегической книге любовных преданий. Но вписывать сюда любовные отказы — все равно что вносить в метрики мертворожденных недоносков, уравнивая бытие и небытие.

Боратынский их уравнял. Равенство жизни и смерти, уничтожительное недоверие к этому и к тому миру, к себе и ко всем, к буре и к гармонии — вот что было в нем всегда и, как в волшебном фонаре, постепенно все более и более освещаемом неторопливою невидимою рукой, все более и более проступало с возрастом, вырисовывая въяве новые подробности недоверчивой его подозрительности ко всему вообще.

Дало две доли Провидение:

Надежда и волнение...	Безнадежность и покой...
Любить и лелеять недуг бытия...	Томимся мы жаждою счастья...
Не верь прелестнице лукавой...	Я сам обманываться рад...
Твой мир – увы! могилы мир печальный...	О счастии с младенчества тоскуя...
И нас за могильной доскою, За миром явлений не ждет ничего...	И если загробная жизнь нам дана...
Есть бытие и за могилой. Нам обещал его творец...	Но все ж умрем мы наконец, Все ляжем в землю...

Словом,
И веселью, и печали
На изменчивой земле
Боги праведные дали
Одинакие криле.

* * *

Ободренные таким утешением, вернемся в Петербург, куда по апрельской распутице идет Нейшлотский полк. Боратынский, конечно, едет – с Лутковским или Коншиным: бричку трясет, фартук ее забрызган – весна! Апрельское солнце вырывается из-за туч и греет сквозь балтийский ветер, слепя глаза. Воздух чист, блестят ручьи. Весна!

В парголовский трактир уже приехали из Петербурга Дельвиг и Эртель. Они ждут из Финляндии друга. Бричка подскакивает на последнем ухабе, лошади фыркают; Боратынский выпрыгивает на землю; Дельвиг щурится на крыльце...

Пируйте, други: стуком чаш
Авось приманенная радость
Еще заглянет в угол наш...

* * *

Самое время вспомнить незатейливую повесть *дяди Александра* и привести давно обещанную вторую выписку.

ВЫПИСКА
ИЗ "ВЫПИСКИ ИЗ БУМАГ ДЯДИ АЛЕКСАНДРА"
(окончание)

С восхищением вспоминаю я теперь о сих прекрасных днях. Ах, с того времени многое, многое переменилось! – Когда Д. приходил к нам вечером, то обыкновенно оставался ночевать; ибо род физической лени и истинно поэтическая беспечность были главными чертами его характера. В те дни, когда он должен был в очередь дежурить в Императорской библиотеке, мы обыкновенно приходили после обеда к нему и пили с ним чай в дежурной комнате. Это напоминает мне один из самых странных обедов в моей жизни. Однажды мы получили две красивые визитные карточки с именем: Барон А.А.Д.; на обороте были написаны имена, на одной Евгения, на другой мое; к ним была приложена тща-

тельно сложенная записка, в которой самым важным тоном, в отборных выражениях торжественно приглашали нас к обеду, поручая нам вызвать барона в 3 часа из библиотеки.

Как тон записки, так и присылка визитных карточек были для нас загадкою; ибо это вовсе не соответствовало обыкновенному обращению Д.; да и приглашение к обеду показалось нам не менее странным, потому что, расставаясь с нами накануне, он ни слова не упоминал об этом. – С возбужденным любопытством, пришли мы в назначенное время в библиотеку, где Д. встретил нас с особенным, ему одному свойственным, чудным смехом. Мы приступили к нему с вопросами: как ему пришло в голову прислать к нам визитные карточки и написать такую странную записку?

– Это весьма просто, – отвечал он. – Сегодни между бумагами нашел я эти старые карточки и, не зная, что делать с ними, послал их к вам, а при случае вздумал пригласить вас к обеду.

– Но записка, записка! К чему же такая странная записка?

– Ах, и этого вы не понимаете? Слог ее должен был соответствовать торжественной присылке карт. Пойдемте же.

– Мы идем к тебе?

– Вовсе нет. Никита (слугу его звали так же, как и моего) уже три дня пьян: так я не смею его беспокоить.

– Так не ведешь ли ты нас к Талону или к Фёльету?

– Нет, братцы! В этих гостиницах видишь только так называемое хорошее общество; а оно везде одинаково и, между нами сказать, довольно скучно. Я поведу вас сегодни в другое общество, которое хотя в строгом смысле и не может быть названо хорошим, но тем занимательнее.

С любопытством следовали мы за проводником нашим; он пошел по Садовой и поворотил налево в переулок, выходивший позади бывшего малого театра.

– По обычаю предков наших, перед обедом должно выпить рюмку водки, – сказал он, остановясь пред питейным домом.

Я с ужасом отступил назад, да и Б., казалось, не имел охоты войти туда; но Д. весьма важно продолжал:

– Не дураки ли вы? Разве не видите двуглавого императорского орла над дверьми, и можно ли считать непристойным войти в казенный дом? Впрочем, можете быть покойны: вас никто не увидит; во всем переулке нет ни души.

Наконец, хотя и с сопротивлением, мы последовали странному приглашению. День был праздничный, и потому собрание было довольно многочисленное; но прибытие новых почетных гостей никого не обеспокоило. Большая часть посетителей стояли, потому что стульев не было. С левой стороны занимал всю длину комнаты широкий стол, за которым стояли целовальники и в оловянных кружках, различной величины, подавали желающим любимый напиток, но не иначе, как получив наперед деньги; одни старые знакомцы могли льститься надеждою, что для них сделано будет исключение из общего правила. Кроме стола, вся утварь комнаты состояла из другого, ветхого, стоявшего в правом углу под закопченным

образом, и двух лавок, прислоненных к стенам. Все убранство заключалось в картине, приклеенной на стенке с правой стороны и представлявшей генерала, украшенного множеством лент и орденов, на коне, который, казалось, хотел перескочить через всю французскую армию, с подписью: *Храбрый Генерал Кульнев*. По бокам висели изодранные изображения Кутузова и Барклая. Посреди комнаты два здоровых мужика, один молодой, другой, судя по бороде с проседью, довольно пожилой, сбросив кафтаны, плясали вприсядку. Близ них молодой парень, в коротком кафтане, с кудрявою бородою и пеньковою ермолкою на голове, играл на балалайке, подпевая и отбивая такт ногою. Иногда он вскрикивал приседая или, приплясывая, обходил вкруг комнаты. – Прочие зрители толпились около них, удивлялись и делали свои замечания. "Вишь, – говорил дюжий мужик, смеясь во все горло, – как старик-то наш выплясывает. Седина в бороду, а бес в ребро". – "Нет, смотри-ка на Гришку, – говорил другой, – как он ногами выкидывает да прискакивает. Дай и я подтяну ему!" – и, приложив руку к уху, затянул песню. На лавке, с правой стороны, два мужика, подперши голову одною рукою и обняв своего соседа другою, с полузакрытыми глазами, во все горло орали протяжную песню; а возле них ободранный мужичишка, приехавший в город с возом сена, угощал свою дражайшую половину штофом браги. На противуположной лавке занимал место господский кучер, в зеленом кафтане, с желтым персидским кушаком, с гладко причесанною черной бородою, пил за здоровье приехавшего из деревни кума, который, разиня рот, слушал речи своего барского знакомца. Посреди шума раздавался смелый голос маленького человека в изодранном сертуке; он смелым голосом кричал: "Эй, Тимошка! поднеси-ка еще на 20 копеек". – "Нет, брат, – отвечал целовальник, – ты уж и так забрал две мерки". – "Экой жид! – говорил первый, – ведь я каждый день захожу к тебе". – "Оно так. Бог с тобою; да заплати прежде, а потом и выпьешь". – "На, ешь, жид! – вскричал с гневом посетитель, бросив на стол требуемое число грошей. – Теперь подавай!" Целовальник преспокойно собрал деньги, налил крикуну мерку и пошел услуживать другим гостям. Тогда наш приятель подошел к столу и потребовал настойки. – "Тотчас", – отвечал целовальник и, окинув нас испытующим взглядом, достал из-под стола грязную рюмку, чисто вытер ее внутри пальцем и наполнил темно-коричневою жидкостию. Но как мы не могли решиться прикоснуться губами к этой *вычищенной* рюмке, то Д. отдал ее собрату по Аполлону, веселому балалаешнику, который тотчас опорожнил ее, приговаривая: «*Во здравие ваших благородий!*»

Тогда мы оставили веселый дом сей, и во мне возникли различные опасения на счет обеда, к которому вели столь странные приготовления. Но предшествовавшие сцены расположили нас к веселости и послужили обильным источником к смеху и разговорам. В том же переулке Д. привел нас к старому, почти развалившемуся домишку. По лестнице в пять ступеней, из коих недоставало только трех, мы спустились в подземелье, которое, несмотря на дневной свет, надобно было осветить лампою. Висевшая над дверьми доска с превосходно намалеванною ветчиною, жареными цыплятами и паштетами заставила нас догадаться, что здесь,

вероятно, место нашего пиршества; иначе мы бы этого не узнали, не видя в комнате никаких к тому принадлежностей. Только посредине стоял большой стол, а вокруг оного полуразрушенные или близкие к разрушению стулья. Рассмотрев поближе, заметили мы ножи и жестяные ложки, прикрепленные к столу, в известном расстоянии между собою, железными цепями; впрочем, мы не видели ни вилок, ни скатерти, ни салфеток. В комнате никого не было; ибо для сословия, вероятно, посещавшего сей дом, время обеда давно уже прошло. В ожидании, что будет дальше, мы сели. Наш барон крикнул хозяина, долгого мужика, который, нимало не заботясь о нашем приходе, лежал, растянувшись на лавке, в красной рубашке и в переднике, некогда белом.

— Дай нам пообедать, — сказал Д.

— Какой теперь обед! — отвечал он сурово. — Добрые люди давно уж отобедали.

— Неужели у тебя ничего нет? Мы непременно хотим здесь обедать.

— Сказано вам, что обеда взять негде. Разве не дать ли вам поужинать?

— Ну, что же у тебя есть к ужину?

— Что? Да то же самое, что было в обеде.

— Какая же разница между обедом и ужином?

— Как не разница! Когда народ поест, там мы подливаем воду в щи да привариваем; вот и ужин.

— Так он, вероятно, и дешевле?

— Вестимо, дешевле! За обедом порция щей стоит 15 копеек, а с мясом 25 копеек, за ужином только 8 копеек, а с мясом 16.

— Ну, так дай нам поужинать!

— С мясом или без мяса?

— Разумеется, с мясом.

— Пожалуйте деньги!

Тут мы все трое покатились со смеху. Хозяин сначала, казалось, несколько смешался, но взял брошенную на стол монету и, повернув ее раза два, положил на стол сдачи медными деньгами. После этого он, достав довольно большую деревянную миску с длинным половником, подошел к огромному железному котлу, стоявшему на огне, и наполнил миску до края. Поставив ее посреди стола, он принес каждому из нас деревянный кружок с куском мяса и щепоткою соли.

— Не нужно ли и хлеба? — спросил хозяин.

— Кажется, что так.

— Сколько прикажете?

— Давай сколько хочешь.

— Фунтов с десяток?

— Пожалуй, хоть двадцать, — отвечал я, смеясь.

Он взял безмен, отвесил полпуда и выложил его на стол.

— Скажи, пожалуй, — спросили мы, — зачем у тебя ложки и ножи, как собаки, на цепях привязаны?

— Да, — отвечал он, — здесь ведь всякого народу бывает. Глазом везде не усмотришь, так, пожалуй, иной и стянет.

— Почему же нет вилок?

— Да черный народ не умеет есть с вилками.

— Как же они едят?

— Ну, как? держат мясо пальцами, да и отрежут ножом кусок.

— Однако ж пора обедать, — сказал барон, опустив в миску гремящую на цепи ложку.

Смеясь, последовали мы его примеру, и так как мы нисколько не завтракали, боясь испортить званый обед, а молодому желудку недолго проголодаться, то ели с большим аппетитом. Сначала шло довольно нескоро, потому что каждая ложка сопровождалась смехом. В этот день, верно, во всем Петербурге никто так весело не обедал. После щей хозяин наш поставил такую же миску каши, которую мы также опорожнили. Уходя, мы сунули хозяину в руку полтинник, и эта щедрость показалась ему столь необычайною, что он сначала не верил глазам своим и вовсе не знал, что сказать. Мы вышли, а он, с низкими поклонами, кричал нам вслед: "Милости просим и вперед жаловать!"

Тогда проводник наш объявил, что обед еще не кончен и что нас ожидают новые лакомства. Он повел нас в Гостиный двор, где мы взошли наверх и остановились у больших ворот, против Невского проспекта, подле мальчика, кричавшего громким голосом: *Пироги горячие!* — Пироги были с мясною начинкою и весьма жирны. Мы взяли по одному и съели, прогуливаясь вдоль по галерее; бутылка кислых щей, также взятая у носящего, заключила обед.

Но пиршество тем не кончилось; ибо барон повел нас еще на Щукин двор, где накормил нас виноградом, персиками и разного рода плодами. Весьма довольные нашим днем, мы в самом веселом расположении духа отправились к Павлу, где нашли пирующее общество и увенчали общую веселость рассказом о наших похождениях. Тогда пенящееся шампанское заменило кислые щи.

* * *

Отчасти они так и жили — как писали, хотя ясно, что хожение Дельвига, Боратынского и *дяди Александра* по петербургским распивочным было отдельным случаем. Да и события, о коих ведет речь *дядя Александр*, видимо, собраны из разных лет.

Словом, появление в нашей повести новой части "Выписки из бумаг дяди Александра" сразу после парголовского свидания Дельвига и Эртеля с Боратынским продиктовано не хронологической, а композиционной потребностью. Кроме того — не забудьте, что мы вообще скользим по верхам, оставляя за пределами внимания огромное число лиц, с кем Боратынский был знаком, и великое количество случаев из его жизни, которые следовало бы реконструировать. Увы, бытовая обстановка и бытовое окружение — не предмет для повести о жизни молодого проказника, изгнанника и поэта. Вот если бы мы имели целью составить его жизнеописание (скажем: "Годы жизни и странствий Евгения Боратынского"), о! тогда неминуемо должно было бы упомянуть многих и многих из тех, кто здесь, в истинной повести, предстает только именами — и, прежде всего, тех, о ком история не богата рассказами или же вовсе не сохранила ни звука и кто памятен нам лишь своим знакомством с Бора-

тынским. Mesdames Бантыш-Каменские и mademoiselles Воиновы, г-жа Гросфельд и г-н Гроссхаузен, Бестужев-Рюмин и Аммонт, поваренок Федот и дядька Михей – каждому следовало бы посвятить не одну строчку, ибо все они жили в быту Боратынского. Но, во-первых, истинная повесть, как и всякое романтическое, а не классическое сочинение, имеет целью не объемное воссоздание бытовой жизни своего героя, а фиксацию движения его тени; во-вторых, что говорить о г-не Гроссхаузене или о поваренке Федоте, если даже о жизни ближайших родственников Боратынского в начале 20-х годов – о жизни, скажем, братьев Ираклия, Льва и Сергея – невозможно рассказать сколь-либо подробно за отсутствием сведений. А ведь они где-то рядом, в кругу Дельвига–Боратынского–Эртеля–Левушки Пушкина. Ираклий и Лев служат в Конно-егерском полку, Ираклию посвящает Дельвиг свою превосходную идиллию "Цефиз"; Левушка Боратынский, хотя ему и восемнадцать, уже завоевывает общее признание неподражательным остроумием; где-то рядом и младший – пятнадцатилетний Серж: он учится в Петербурге, наверное, в каком-либо пансионе и прилежно изучает латынь, портя и без того плохое зрение. Все трое, как и старший брат, – пылкие душой, легкие, мгновенно загорающиеся и медленно остывающие, подверженные приступам почти горячечной хандры, болезненно ироничные, но готовые временами заразить всех кругом безудержными веселостями и перепить самых отчаянных гусар...

* * *

Прошел июль. Из Финляндии пришло известие: Фридрихсгам выгорел дотла (затем пришла подробность: единственным уцелевшим домом оказался тот, где квартировал Боратынский). Гвардии пора было возвращаться в Петербург, Нейшлотскому полку – то ли на Фридрихсгамское пепелище, то ли на новые квартиры в другое финляндское селение. Пора было прощаться с Петербургом...

Но, хотя мы и убеждены в суровости судьбы, она иногда дразнит нас оживляющими душу дарами.

В начале августа, ввиду высших политических соображений, во имя мира в Европе и недопущения кровопролития от итальянских карбонариев, нашу гвардию оставили в западных губерниях на зимних квартирах 1-й армии. В столице для несения караулов и поддержания спокойствия повелено было задержать бригады, вызванные туда весной. Нейшлотский полк оставался в Петербурге!

* * *

Еще весной в Петербург вернулся из Бухары Павел Яковлев. В августе явился из Парижа Кюхельбекер. И того и другого Боратынский не видел полтора года.

Кюхельбекер вернулся не по своей воле, а потому что наговорил, как всегда, лишнего, в том числе в публичной лекции рассуждал о свободе, крепостных мужиках и свете просвещения. Но петербуржцу вольно рассуждать в Париже о любых предметах до той поры, пока среди его слушателей не отыщется любезный соотечественник, который перетолкует его речи

петербургскому начальству с добавлением своих наблюдений насчет его частной жизни... Словом, дохнул Борей, случился короткий скандал, и Кюхельбекер снова оказался в Петербурге с тем, чтобы через месяц снова с ним расстаться, отправиться на Кавказ, дать пощечину племяннику Ермолова, рассориться с Ермоловым и уехать в Москву издавать "Мнемозину". Впрочем, "Мнемозине" быть еще через три года, а сейчас Дельвиг и Боратынский пируют встречу друзей, Кюхельбекер рассказывает о столице Европы, а Яковлев – о столице Азии.

Что такое Париж – знает всякий: театры; бульвары; философы процветают на открытом воздухе. Один такой философ рассуждает в парижских гостиных насчет нынешней политики великих и малых государств, другой – насчет итальянских революций, третий – о Греции, четвертый – о Польше и конституции. – Чьих ушей им опасаться? – Не в Петербурге ведь. – Что они говорят про нас? – Да боятся казаков отчасти. Что еще? Говорят, что не может расцветать держава через бесконечное насильственное присоединение новых земель и народов. Орда, говорят, в конце концов распалась. Рассыпались Византия и Рим. Конечно, скорость захвата имеет значение. Чем в более краткий срок и чем большая территория завоевана, тем короче бытие захватчика на этой земле. Держава Александра Македонского или всеевропейская империя нашего Наполеона распадается, ибо ничто, кроме враждебной силы, не соединяет бывшие самостоятельные земли в одну единую. Неторопливое расширение владений, за счет сопредельных государств и областей, обрекает обширные державы на более долгий срок существования. Но разрастание не вечно. Сегодня ваш государь займет Хиву, завтра объявит себя императором Аляски. История показывает, что наиболее обширнейшие державы подвержены неизбежному распаду. Как ни соблюдать меру в присоединении других племен – здесь есть свой предел, ибо существуют только два приличных предлога для такого присоединения: возвращение исконных земель и воспитание нецивилизованных народов. Когда-нибудь даже все спорные земли будут вами отвоеваны. Когда-нибудь всех соседних варваров вы просветите. Но какие бы благие желания у вашего императора ни были, он не сможет остановить этого, ставшего уже родовым, импульса его империи к саморазрастанию. Именно на этом пути вам уготована гибель. Сколь бы хорошо мы ни относились к вашему императору и вашим казакам, нельзя не сожалеть, что все вы: и те, кто говорит о грядущем величии вашей страны, и те, кто считает ее отставшей от семьи европейских народов, – все вы заблуждаетесь: трагедия распада – вот что ждет вас неизбежно. Может быть, эта трагедия коснется и нас, – так сказать, отраженным шумом, и осколками своими изранит милую Францию...

Словом, что такое Париж, знает всякий, поэтому легко представить, что такое Бухара, ибо Бухара – это Париж наоборот: "Домов нет: но по обеим сторонам улиц стены с маленькими дверцами, и за этими стенами живут правоверные в комнатах без окон и печей... Женщин не видать; а называются женщинами какие-то движущиеся фигуры, с головы до ног закутанные в халаты... Дворец Его Высочества очень красив, потому что похож на старинную голландскую печь... Театров,

гуляньев не бывает; зато против дворца каждый день вешают по нескольку человек. Тут все придумано, чтоб доставить приятную прогулку для бухарской публики, потому что кругом висельницы продают все, что можно пожелать в столичном городе: дыни, виноград, фисташки, кишмиш, говядину, баранину, палав, арбузы..." — так рассказывал Яковлев друзьям; так рассказывал он и на даче у Пономаревых, куда явился летом 821-го года.

"Яковлев, — сказала София Дмитриевна, — расположился жить в свете, как будто у себя дома, и позабыл, что жизнь есть одно мечтание пустое". — По этой причине, а также благодаря только ему присущему обхождению он поселился у Пономаревых на даче — на островах, скоро и Боратынский с Дельвигом чаще и чаще стали пропадать там...

...Ах, где те острова?!

— ... а с наступлением сентябрьских холодов и переездом Пономаревых в Петербург — на Фурштадтской...

Дельвиг был пока еще, кажется, спокоен; что же касается Боратынского — то, видимо, уже осенью и ему и Дельвигу было ясно, на чем (на ком) он основал счастье будущей зимы.

* * *

Через много лет, весной 858-го года, в имение гг. Тевкелевых (в 80-ти верстах от Уфы) Килимово, славное приготовлением кумыса, приедет лечиться от затяжной и последней болезни молодящийся 65-летний старец, освободившийся на несколько месяцев от хлопот службы. Здесь, вдали от сует, он начнет свои мемории, — от родителей и первых детских впечатлений доведя их до перечня своих чинов и наград (последний займет четырнадцать листов писчей бумаги).

Некогда старец сей был молодым красавцем, женщины замечали его, и он замечал женщин, а еще, выпустя небольшой томик своих идиллий, он был отличен Александром Семеновичем Шишковым, тогдашним президентом Российской Академии, и награжден от Академии золотою медалью. Императрица Елизавета Алексеевна ободрила его золотыми часами.

Он и тогда был бессердечен, как финский гранит, а души в нем никогда не бывало. Кстати, такие люди всегда завистливы к чужой славе и чужой удаче. Посему опустим имя старца, засевшего в Килимове за воспоминания, — нам оно неприятно не менее, чем вам неприятны имена, к примеру, Булгарина или Воейкова. Достаточно краткой выписки из его бумаг:

"Иван Иванович Ястребцов был человек замечательного ума и способностей... Состоял сначала при князе Александре Николаевиче Голицыне, потом был правителем дел Комиссии духовных училищ... Я познакомился с ним в доме той любезной женщины, с которой сблизился вскоре по прибытии моем в Петербург. Он полюбил меня, сделался моим другом, несмотря на значительную разницу в летах, и вследствие этих-то отношений уговорил меня перейти в Комиссию, в которой составлял

тогда новый штат, включив в него, для меня именно, особую должность — начальника исполнительного стола, в которой, правду сказать, не было надобности. Вместе с тем дана мне и казенная квартира — чистенькая, просторная. Здесь служба моя и жизнь пошли приятнее. Дела по столу моему было не много. Я имел более свободного времени заниматься литературою, печатать стихи мои и прозу в "Сыне отечества", в "Вестнике Европы", а чаще в "Благонамеренном", по дружбе с издателем Александром Ефимовичем Измайловым; был приглашен и поступил в члены двух петербургских литературных обществ: Любителей словесности, наук и художеств и — Соревнователей просвещения и благотворения. Кроме Карамзина (принявшего меня благосклонно и выразившего между прочим благодарность свою покойному отцу моему*), Измайлова, Греча, Остолопова, Востокова, Хмельницкого, с которыми был уже знаком прежде, я познакомился со всеми тогдашними писателями: с Жуковским, Батюшковым, Милоновым, Крыловым, Гнедичем, Лобановым, Буниной, Глинкою, Плетневым, Воейковым, Булгариным; с некоторыми, в которых находил более простоты и менее самолюбия, — довольно коротко, с другими — только слегка. Литература и тогда делилась на несколько партий или приходов. Не любя этого, я не принадлежал ни к одному; если ж более помещал сочинений моих в журнале Измайлова и чаще с ним виделся, то это по личной моей к нему привязанности как человеку благородному, доброму, столько ж умному, как и простодушному, совершенному Лафонтену. Под его суровою наружностью билось прекрасное мягкое сердце. С своей стороны, он любил меня, кажется, еще более, чем я его; даже называл меня братом. Литературное партизанство еще усилилось с появлением лицеистов, к которым примкнули другие молодые люди, сверстники их по летам. Они были (оставляя в стороне гениального Пушкина) по большей части люди с дарованиями, но и с непомерным самолюбием. Им хотелось поскорее войти в круг писателей, поравняться с ними. Поэтому, ухватясь за Пушкина, который тотчас стал наряду с своими предшественниками, окружили они некоторых литературных корифеев, льстили им, а те, с своей стороны, за это ласкали их, баловали. Напрасно некоторые из них: Дельвиг, Кюхельбекер, Баратынский старались войти со мною в короткие отношения: мне не нравилась их самонадеянность, решительный тон в суждениях, пристрастия и не очень похвальное поведение; моя разборчивость не допускала сближения с такими молодыми людьми; я старался уклониться от их короткости, даже не заплатил им визитов. Они на меня прогневались и очень ко мне не благоволили. Впоследствии они прогневались на меня еще более, вместе с Пушкиным, за то, что я не советовал одной молодой опрометчивой женщине — с ними знакомиться..."

* * *

Обида обманутого любовника и с годами не утратила своих прав над сочинителем меморий: понятно, молодая опрометчивая женщина к эпи-

* В отправлении Карамзина для путешествия по Германии, Франции и Англии <в 1789 г.> Иван Иванович <отец автора меморий> вместе с московскими друзьями своими принимал деятельное участие. *(Примечание сочинителя воспоминаний.)*

граммам Пушкина и Боратынского отношения не имеет, ибо ко времени сочинения эпиграмм ее, увы, уже не было на свете. Для любителей российской словесности напоминаем эти эпиграммы:

Идиллик новый на искус
Представлен был пред Аполлона.
"Как пишет он? — спросил у муз
Бог беспристрастный Геликона, —
Никак негодный он поэт?"
— Нельзя сказать. — "С талантом?" — Нет;
Ошибок важных, правда, мало,
Да пишет он довольно вяло. —
"Я понял вас: в суде моем
Не озабочусь я нисколько:
Вперед ни слова мне о нем,
Из списков выключить — и только".

Куда ты холоден и сух!
Как слог твой чопорен и бледен!
Как в изобретеньях ты беден!
Как утомляешь ты мой слух!
Твоя пастушка, твой пастух
Должны ходить в овчинной шубе:
Ты их морозишь налегке!
Где ты нашел их: в Шустер-клубе
Или на Красном кабачке?

* * *

"...одной молодой опрометчивой женщине с ними знакомиться. Это была та самая, со множеством странностей и проказ, но очаровательная Софья Дмитриевна Пономарева, которую воспевал Александр Ефимович Измайлов, влюбленный в нее по уши. Да и не мудрено: всякий, кто только знал ее, был к ней неравнодушен более или менее. В ней, с добротою сердца и веселым характером, соединялась бездна самого милого, природного кокетства, перемешанного с каким-то ей только свойственным детским проказничеством. Она не любила женского общества, даже не умела в нем держать себя, и предпочитала мужское, особенно общество молодых блестящих людей и литераторов; последних более из тщеславия. Меня ввел к ней, по ее настоянию, Измайлов – на свою беду. Она тотчас обратила на меня победоносное свое внимание, но вскоре и сама опустила флаг; предпочла меня всем, даже трем окружавшим ее известным тогдашним красавцам: флигель-адъютанту Анрепу, преображенскому капитану Поджио и сыну португальского генерального консула Лопецу. Они должны были удалиться. Я остался ближайшим к ней из прежних ее обожателей и вполне дорожил счастливым своим положением. Я очень любил ее, любил нежно с заботливостью мужа или отца (ей было 22 года, а мне уже 29 лет)*, остерегал, удерживал ее от излишних шалостей, советовал, как и с кем должна она держать себя, потому что не всякий мог оценить

---

* Самолюбивый сочинитель, однако, заблуждался: ей было в пору их знакомства около 27-ми (этого, впрочем, никто, видимо, кроме мужа да Александра Ефимовича, не знал).

ее милые детские дурачества; надеялся во многом ее исправить, требовал, чтобы она была внимательнее к мужу, почтительнее к отцу своему, человеку достойному и умному. Дело шло недурно: она во многом слушалась меня, в ином нет; нередко прерывала наставления и выговоры мои то выражением ребяческой досады, впрочем, мимолетной, то смехом, прыжками вокруг меня, или поцелуем, зажмурив, однако, узенькие свои глазки. Но вдруг втерся в дом их, чрез Александра же Ефимовича, тоже литератор, Яковлев, очень удачно писавший в "Благонамеренном" сатирические статьи. Говорю: втерся, потому что приглашенный однажды за темнотою ночи остаться ночевать на даче, что бывало со мною и с другими, остался совсем жить у радушных хозяев. При всем своем безобразии, бросавшемся в глаза, он был очень занимателен: играл на фортепьяно, пел, хорошо рисовал карикатуры. Тем и другим забавлял он ребенка-хозяйку, а с хозяином пил на сон грядущий мадеру. Конечно, приехавши в Петербург, за несколько пред тем месяцев, он не имел собственной квартиры и жил у какого-то знакомого, но все-таки такая назойливость была наглою. Этого мало. Подружившись с Дельвигом, Кюхельбекером, Баратынским (тогда еще унтер-офицером...)"

* * *

(Здесь сказывается то, что мемуарист не заплатил визитов упомянутым сочинителям, ибо тогда, быть может, он знал, что все они шумно жили еще в 819-м году, что брат С.Д.П. учился в Лицее на следующем после Дельвиго-Кюхелева курсе, что С.Д.П. приезжала в Лицей, что Боратынский еще в феврале 821-го года посвятил ей два или три стихотворения.)

* * *

"... Баратынским (тогда еще унтер-офицером, после разжалования из пажей в солдаты за воровство), он вздумал ввести их в гостеприимный дом Пономаревых, где могли бы они, хоть каждый день, хорошо с ним пообедать, выпить лишнюю рюмку хорошего вина, и стал просить о том Софью Дмитриевну. Она потребовала моего мнения. Я отвечал, что не советую, что эти господа не поймут ее, не оценят; что они могут употребить во зло, не без вреда для ее имени, ее излишнюю откровенность, ее неудержимую шаловливость..."

* * *

("... Этот отзыв понятен. В нем высказывается надменность и завистливое самолюбие писателя в соединении... с соперничеством в волокитстве... Грубое и жестокое о нем* выражение... отзывается злобою и местью раздраженного любовника и чванного стихотворца. Нескромное же хвастовство, с которым автор воспоминаний излагает отношения свои к С.Д.Пономаревой, конечно, более вредят ее доброму имени, нежели знакомство ее с молодыми литераторами, от которых он старался ее удалить" – так возмущался Николай Васильевич Путята, прочитав напе-

---

*О Боратынском.

чатанными сии мемории. Но это было позднее, в 867-м году. Да и о Путяте речь впереди, а пока, в 821-м году, Путята еще лишь читал некоторые пиесы Боратынского, но самого Боратынского не знает.)

* * *

"... ее неудержимую шаловливость. Пока дружеский этот совет, которого она, по-видимому, послушалась, оставался между нами, он ни для кого не был оскорбителен, но коль скоро, по легкомыслию своему, она не могла скрыть того от Яковлева – естественно, что приятели его сильно на меня вознегодовали. Случилось, что в это самое время, пользуясь летнею порою, отлучился я на месяц в одно из загородных дворцовых мест. Приезжаю назад – и что ж узнаю? Приятели Яковлева введены им в дом; на счет водворения его пошли невыгодные для бедной Софьи Дмитриевны толки, отец, сестра перестали к ней ездить. Глубоко всем этим огорченный, я выразил ей мое негодование, указал на справедливость моих предсказаний и прекратил мои посещения. Чего не употребляла она, чтобы возвратить меня? и ее увлекательные записки, и убеждения Измайлова – все было напрасно – я был непоколебим. Но чего мне стоило оторваться от этой милой женщины? На другой же день я насчитал у себя несколько первых седых волос. Спустя год, встретившись со мною на улице, она со слезами просила у меня прощения, умоляла возобновить знакомство. Я оставался тверд в моей решимости; наконец, уступил желанию ее видаться со мною, в Летнем саду, в пять часов, когда почти никого там не бывало. Она приезжала туда четыре раза. Мы ходили, говорили о прежнем времени нашего знакомства – и я постепенно смягчался, даже – это было пред отъездом моим в Казань – согласился заехать к ней проститься, но только в одиннадцать часов утра, когда она могла быть одна. Прощание это было трогательно: она горько плакала, целовала мои руки, вышла провожать меня в переднюю, на двор, на улицу. (Они жили близ Таврического сада, в Фурштадтской улице, тогда мало проезжей, особливо в такое раннее время.) Я уехал, совершенно с нею примиренным, но уже с погасшим чувством прежней любви..."

Довольно. Дальше он снова толкует о своих добродетелях и о безнравственности молодежи.

* * *

А Боратынский?

Судьба людей повсюду та же: надежда и вера – пиры и проказы – сладострастие и упоение – любовь и дружба – обман и измены – разочарование и уныние – клевета и коварство – бегство и изгнание – и тоска, тоска! Таков набор элегических услуг, предлагаемых судьбой. Жизнь не кончена в двадцать один год, а судьба, кроме новой слепой надежды, ничего не предлагает. Но ведь не может же быть, что и во второй раз, и в третий, и в четвертый она предложит разыграть тот же спектакль с участием и измены, и разочарования – вплоть до изгнания – по тому же сюжету? Должно же быть у нее припасено что-то иное, какой-нибудь сюрприз, который не предугадать сейчас?

Впрочем, даже если у судьбы есть иные сюжеты, финальные сцены все равно не разнообразны: тоска!

Не то чтобы эта тоска изнуряла душу ровной и постоянной тяжестью. Нет. У нее свои приливы, свои отливы, совсем неупорядоченные, происходящие даже не всегда от впечатления, а идущие изнутри души. Как бы это объяснить?..

Вот дождь начинается: мелкий, не грозовой, петербургский. Сумерки. Вы переходите через мостки над канавой, и ладонь нечаянно ложится на перила; "дождь начинается", – думается про себя, когда ладонь ощущает влагу, и вдруг эти перила, дождь, сумерки извлекают из памяти то, что, казалось, прочно забыто, ибо, не случись дождя, перил, сумерек, никогда не вспомнилось бы, что слова, только что пришедшие на ум, эти самые "дождь начинается", были не вашими словами и не с вашими интонациями сказаны, а сказала их та, воспоминание о ком разум уже изгнал, и сердце пусто от былой привязанности, и не алчете вы ее уже нисколько, а вот охватывающая грудь тоска говорит, однако, что нет! не забыть вам, потому что "дождь начинается" сказала она, когда после часа ожидания на условленной скамье вы прикоснулись губами к ее узкому запястью и она проговорила с той самой немыслимой, захватывающей дух интонацией: "дождь начинается", а дождь начался только что, внезапно, мгновением прежде, когда вы еще только взяли ее ладонь в свою и наклонились для поцелуя, а она тотчас со своей невероятной улыбкой добавила: "Увы! Прогулка не состоится. Видно, не судьба!" – и вы, еще осязая на губах дразняще упоительное ощущение, смотрите в ее глубокие, страстные глаза и как бы растворяетесь в них, язык деревенеет, выражение лица, должно быть, ужасно глупое, а потухший взгляд ваш не гармонирует вынужденной улыбке на устах, ибо, ожидая в продолжении часа на скамье, вы успели побороть дрожь первых минут перед встречей, к вам успело вернуться успокоительное равнодушие, вы вполне уверились, что обмануты в который раз, но помня, что ваша незабвенная способна совершенно искренне (чему вы сами свидетель) не заметить течения времени или перепутать по легкомыслию час свидания, придя не в четыре, а в пять, вы уже почти хладнокровно ожидали пяти часов, чтобы с пустой душою итти домой, как вдруг ее внезапное явление всего вас переворачивает, вы вскакиваете со скамьи с опрокинутым лицом, сердечная лихорадка разливает трепетание по каждому нерву, по каждому суставу, и вот вы стоите перед нею, еще держа ее легкую ладонь в своей, но как бы уже снова теряя ее, не замечая, как мелкие дождевые капли быстро осыпают ваш лоб и слыша повторенные слова: "дождь начинается" – теперь уже более с отчуждением, а затем с тою же улыбкой и с тем же тайным, неизъяснимым смыслом, каким наполнены бывали самые незначущие ее фразы: "Ведь вы придете сегодня вечером? Нет, нет! Не вздумайте прекословить. Умоляю вас. Я этого хочу. Я вас жду" – и, запретив вам провожать себя, она исчезает за поворотом дорожки, и вы идете с закружившейся головой в другую сторону, а, явившись к ней вечером, застаете у нее А***, В***, С***, Т***, Д***, позже вас приходят еще несколько человек, и вам не удается сказать ей двух слов, ибо она перепархивает от гостя к гостю, затевает игру, смеется, вам улыбается особенно –

и только, и вы уходите с немыслимой досадой и тоской, клянясь не видеть ее более, но все равно приходите и завтрашним вечером, и потом почти каждый вечер, и в конце концов однажды поцелуй бесповоротно решает вашу судьбу, но оказывается, что он-то, поцелуй, и станет последней наградой вашей любви, и долго еще суждено вам страдать, молить, искать встреч, тосковать, пока наконец ум ваш не осветлит холодом рассуждения ноющее сердце, пока не вселится отталкивающая мысль о том, что сердце заблуждалось насчет любви вашей незабвенной к вам, ибо ее взоры, улыбки, слова – лишь следствие непомерного кокетства и какого-то вывернутого наизнанку честолюбия – честолюбия чисто женского, – пока сам ход времени и перемена обстоятельств не отлучат вас от ее гостеприимного дома, – вам суждена тоска, средоточием которой будет ваше безответное чувство, и, даже когда вы уже вытесните бесповоротно свое чувство, оно нет-нет, а будет вспыхивать резко и непредвиденно от каких-нибудь ничтожнейших причин, так же пронзающе, как когда вы, минуя мостки, задели ладонью перила и подумали про себя: "дождь начинается".

Может быть, объяснение не вполне ясное. Что ж делать? Коснеющий язык прозы мертвит любые чувства. Приправленная любовным унынием, наша и так-то безвеселая жизнь наполняет душу однообразным немым воем. Если нет в уме необходимой в таких случаях музыки слов, дающих этому немому унынию форму, – раны сердечные могут оказаться смертельны.

Если ж вам дано заключить этот вой в гармонические звуки, можете считать себя до некоторой степени счастливцем, ибо окружающие смогут без ущерба для вашего самолюбия сострадать вам эстетически: уныние, оформленное поэтическими звуками, уже как бы отделено от вашего тела и, не переставая оставаться подробностью вашей любви, превращается одновременно в факт жизни всякого, кто любил (а кто из нас не любил?), делает всякого, кто прочтет вашу зарифмованную скорбь, как бы совыразителем этой скорби, ибо если он прочитал ее, понимая вас, то уже сам себе признался в таком же чувстве. Наконец, магия гармонических звуков и стихотворных строк такова, что в них как бы уходит часть нашего недуга, оберегая душу от распада и предоставляя кипению сердца выход.

Где ж обреченная судьбою?
На чьей груди я успокою
Свою усталую главу?
Или с волненьем и тоскою
Ее напрасно я зову?

В конечном счете есть славное, придуманное древними мудрецами лекарство – равно пригодное для всех недугов бытия – ирония, спасающая нашу репутацию от унижающего сострадания:

Подобно мне любил ли кто?
И что ж я вспомню не тоскуя?
Два, три, четыре поцелуя!..
Быть так; спасибо и за то.

Нет сомнений, можно описать все горести несчастливой любви. Новая любовь — повторение старой схемы общей жизни: встреча — игра воображения (тоска об отклике и отзыве) — желание нравиться *ей* и мечта быть *ею* понятым — объяснение — взаимность — восторги — охлаждение (ее или ваше — все равно). Эта элегия жизни должна быть пережита. Поздно, если вы спохватываетесь в сорок лет о том, что выбились из общего распорядка. Сомнительна длительность упоения, если первая же ваша любовь счастлива. Не имея опыта разочарований, как оценить счастье? — Пусть лучше судьба помучит в молодости...

* * *

Итак, *П.-бургский период* Боратынского оказался в распоряжении узкоглазой красавицы, на чьих вечерах бывал, считайте, весь пишущий Петербург, кроме, разумеется, Пушкина, который жил тогда в Кишиневе, и людей солидных, вроде Карамзина или Шишкова.

Рассказывать подробности любви — не наше дело. Любовные предания стыдливо обобщают частные подробности, наполняющие своими изгибами общую схему всякого увлечения. Не всегда понятно, говорит ли влюбленный о своей мечте, или слова его лепечут о действительном факте. Для нас это не имеет ровно никакого значения, ибо поэтически высказанная мечта иногда бывает реальнее любого факта, а в стихах они слиты до полного неразличения.

И потому — как ни отнекиваться от романа — без романа нам не обойтись. Но пусть автором романа будет сам герой истинной повести — юноша с усмешкой, всегда готовой заскользить на губах, ироническим взглядом на вещи и унылой думой на сердце.

С.Д.П.

*ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАН**

Глава I

Когда б вы менее прекрасной
Случайно слыли у молвы;
Когда бы прелестью опасной
Не столь опасны были вы...
Когда б еще сей голос нежный
И томный пламень сих очей
Любовью менее мятежной
Могли грозить душе моей;
Когда бы больше мне на долю
Даров послал цитерский бог, —
Тогда я дал бы сердцу волю,
Тогда любить я вас бы мог.
Предаться нежному участью
Мне тайный голос не велит...
И удивление, по счастью,
От стрел любви меня хранит.

---

* Роман был написан в 1821–24-м годах; впоследствии автор неоднократно исправлял слог отдельных глав, эти главы вошли в книги его стихотворений, но вразбивку, а не подряд и доселе не были собраны вместе. Помещаем их здесь в той последовательности, в какой они, по нашему разумению, сочинялись, но в том окончательном виде, какой придала им в продолжении времени рука автора.

Глава II

Приманкой ласковых речей
Вам не лишить меня рассудка!
Конечно, многих вы милей,
Но вас любить плохая шутка!

Вам не нужна любовь моя,
Не слишком заняты вы мною,
Не нежность, прихоть вашу я
Признаньем страстным успокою.

Вам дорог я, твердите вы,
Но лишний пленник вам дороже,
Вам очень мил я, но увы!
Вам и другие милы тоже.

С толпой соперников моих
Я состязаться не дерзаю
И превосходной силе их
Без битвы поле уступаю.

Глава III. В альбом

Вы слишком многими любимы;
Чтобы возможно было вам
Знать, помнить всех по именам,
Сии листки необходимы;
Они не нужны были встарь:
Тогда не знали дружбы модной,
Тогда, бог весть! иной дикарь
Сердечный адрес-календарь
Почел бы выдумкой негодной.
Что толковать о старине!
Стихи готовы. Может статься,
Они для справки обо мне
Вам очень скоро пригодятся.

Глава IV

Когда неопытен я был,
У красоты самолюбивой,
Мечтатель слишком прихотливый,
Я за любовь любви молил;
Я трепетал в тоске желанья
У ног волшебниц молодых;
Но тщетно взор во взорах их
Искал ответа и узнанья!
Огонь утих в моей крови;
Покинув службу Купидона,
Я променял сады любви
На верх бесплодный Геликона.
Но светлый мир уныл и пуст,
Когда душе ничто не мило:
Руки пожатье заменило
Мне поцелуй прекрасных уст.

Глава V

О своенравная София!
От всей души я вас люблю,
Хотя и реже, чем другие,
И неискусней вас хвалю.

На ваших ужинах веселых,
Где любят смех, и даже шум,
Где не кладут оков тяжелых
Ни на уменье, ни на ум,
Где, для холопа иль невежды,
Не притворяясь, часто мы
Браним указы и псалмы,
Я основал свои надежды
И счастье нынешней зимы.
Ни в чем не следуя пристрастью,
Даете цену вы всему:
Рассудку, шалости, уму,
И удовольствию, и счастью.
Свет пренебрегши в добрый час,
И утеснительную моду,
Всему и всем забавить вас
Вы дали полную свободу;
И потому далеко прочь
От вас бежит причудниц мука,
Жеманства пасмурная дочь,
Всегда зевающая скука.
Иной порою, знаю сам,
Я вас браню по пустякам.
Простите мне мои укоры;
Не ум один дивится вам,
Опасны сердцу ваши взоры;
Они лукавы, я слыхал,
И, все предвидя осторожно,
От власти их, когда возможно,
Спасти рассудок я желал.
Я в нем теперь едва ли волен
И часто, пасмурный душой,
За то я вами не доволен,
Что не доволен сам собой.

Глава VI

Мне с упоением заметным
Глаза поднять на вас беда:
Вы их встречаете всегда
С лицом сердитым, неприветным.
Я полон страстною тоской,
Но нет! рассудка не забуду
И на нескромный пламень мой
Ответа требовать не буду.
Не терпит бог младых проказ
Ланит увядших, впалых глаз.
Надежды были бы напрасны,
И к вам не ими я влеком.
Любуюсь вами, как цветком,
И счастлив тем, что вы прекрасны.
Когда я в очи вам гляжу,
Предавшись нежному томленью,
Слегка о прошлом я тужу,
Но рад, что сердце нахожу
Еще способным к упоенью.
Меж мудрецами был чудак:
"Я мыслю, — пишет он, — итак,
Я несомненно существую".

Нет! любишь ты, и потому
Ты существуешь: я пойму
Скорее истину такую.
Огнем, похищенным с небес,
Япетов сын (гласит преданье)
Одушевил свое созданье,
И наказал его Зевес
Неумолимый, Прометея
К скалам Кавказа приковал,
И сердце вран ему клевал;
Но дерзость жертвы разумея,
Кто приговор не осуждал?
В огне волшебных ваших взоров
Я занял сердца бытие:
Ваш гнев достойнее укоров,
Чем преступление мое;
Но не сержусь я, шутка водит
Моим догадливым пером.
Я захожу в ваш милый дом,
Как вольнодумец в храм заходит.
Душою праздный с давних пор,
Еще твержу любовный вздор,
Еще беру прельщенья меры,
Как по привычке прежних дней
Он ароматы жжет без веры
Богам, чужим душе своей.

Глава VII

Неизвинительной ошибкой,
Скажите, долго ль будет вам
Внимать с холодною улыбкой
Любви укорам и мольбам?
Одни победы вам известны;
Любовь нечаянно узнав,
Каких лишитеся вы прав
И меньше ль будете прелестны?
Ко мне примерно нежной став,
Вы наслажденья лишены ли
Дурачить пленников других
И строгой быть, как прежде были,
К толпе соперников моих?
Еще ли нужно размышленье!
Любви простое упоенье
Вас не довольствует вполне;
Но с упоеньем поклоненье
Соединить не трудно мне;
И, ваш угодник постоянный,
Попеременно я бы мог —
Быть с вами запросто в диванной,
В гостиной быть у ваших ног.

Глава VIII

Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!
В ней говорит
И жар ланит

И вздох случайный...
О! Я знаком
С сим языком
Любови тайной!
В душе твоей
Уж нет покоя;
Давным-давно я
Читаю в ней:
Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!

Глава IX

На кровы ближнего селенья
Нисходит вечер, день погас.
Покинем рощу, где для нас
Часы летели как мгновенья!
Лель, улыбнись, когда из ней
Случится девице моей
Унесть во взорах пламень томный,
Мечту любви в душе своей
И в волосах листок нескромный.

Глава X

Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье.
И в шуме дня и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье!
Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой,
Мне снишься ты, мне снится наслажденье;
Обман исчез, нет счастья! и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.

Глава XI (Д-гу)

Я безрассуден — и не диво!
Но рассудителен ли ты,
Всегда преследуя ревниво
Мои любимые мечты?
"Не для нее прямое чувство:
Одно коварное искусство
Я вижу в Делии твоей;
Не верь прелестнице лукавой!
Самолюбивою забавой
Твои восторги служат ей".
Не обнаружу я досады,
И проницательность твоя
Хвалы достойна, верю я;
Но не находит в ней отрады
Душа смятенная моя.

Я вспоминаю голос нежный
Шалуньи ласковой моей,
Речей открытых склад небрежный,
Огонь ланит, огонь очей;
Я вспоминаю день разлуки,
Последний, долгий разговор,
И полный неги, полный муки
На мне покоившийся взор;

Я перечитываю строки,
Где, увлечения полна,
В любви счастливые уроки
Мне самому дает она,
И говорю в тоске глубокой:
"Ужель обманут я жестокой?
Или все, все в безумном сне
Безумно чудилося мне?
О, страшно мне разуверенье,
И об одном мольба моя:
Да вечным будет заблужденье,
Да век безумцем буду я..."

Когда же с верою напрасной
Взываю я к судьбе глухой,
И вскоре опыт роковой
Очам доставит свет ужасный,
Пойду я странником тогда
На край земли, туда, туда,
Где вечный холод обитает,
Где поневоле стынет кровь,
Где, может быть, сама любовь
В озяблом сердце потухает...
Иль нет: подумавши путем,
Останусь я в углу своем,
Скажу, вздохнув: "Горюн неловкой!
Грусть простодушная смешна;
Не лучше ль плутом быть с плутовкой,
Шутить любовью, как она?
Я об обманщице тоскую.
Как здравым смыслом я убог!
Ужель обманщицу другую
Мне не пошлет в отраду бог?"

Глава XII

Зачем, о Делия, сердца младые ты
Игрой любви и сладострастья
Исполнить силишься мучительной мечты
Недосягаемого счастья?
Я видел вкруг тебя поклонников твоих,
Полуиссохших в страсти жадной:
Достигнув их любви, любовным клятвам их
Внимаешь ты с улыбкой хладной.
Обманывай слепцов и смейся их судьбе:
Теперь душа твоя в покое;
Придется некогда изведать и тебе
Очарованье роковое!
Не опасаяся насмешливых сетей,
Быть может, избранный тобою
Уже не вверится огню любви твоей,
Не тронется ее тоскою.
Когда ж пора придет, и розы красоты,
Вседневно свежестью беднея,
Погибнут, отвечай: к чему прибегнешь ты,
К чему, бесчарная Цирцея?
Искусством округлишь ты высохшую грудь,
Худые щеки нарумянишь,
Дитя крылатое захочешь, как-нибудь,
Вновь приманить... но не приманишь!

В замену снов младых тебе не обрести
Покоя, поздних лет отрады;
Куда бы ни пошла, взроятся на пути
Самолюбивые досады!
Немирного душой на мирном ложе сна
Так убегает усыпленье,
И где для каждого доступна тишина,
Страдальца ждет одно волненье.

Глава XIII

Мне о любви твердила ты шутя,
И холодно сознаться можешь в этом.
Я исцелен; нет, нет, я не дитя!
Прости, я сам теперь знаком со светом.
Кого жалеть? печальней доля чья?
Кто отягчен утратою прямою?
Легко решить: любимым не был я;
Ты, может быть, была любима мною.

Глава XIV

Чувствительны мне дружеские пени,
Но искренно забыл я Геликон
И признаюсь: неприхотливой лени
Мне нравится приманчивый закон;
Охота петь уж не владеет мною:
Она прошла, погасла, как любовь.
Опять любить, играть струнами вновь
Желал бы я, но утомлен душою.
Иль жить нельзя отрадою иною?
С бездействием любезен мне союз;
Лелеемый счастливым усыпленьем,
Я не хочу притворным исступленьем
Обманывать ни юных дев, ни муз.

Эпилог

Взгляни на звезды: много звезд
В безмолвии ночном
Горит, блестит кругом луны
На небе голубом.

Взгляни на звезды: между них
Милее всех одна!
За что же? ранее встает,
Ярчей горит она?

Нет! утешает свет ее
Расставшихся друзей:
Их взоры, в синей вышине,
Встречаются на ней.

Она на небе чуть видна;
Но с думою глядит,
Но взору шлет ответный взор
И нежностью горит.

С нее в лазоревую ночь
Не сводим мы очес,
И провожаем мы ее
На небо и с небес.

Себе звезду избрал ли ты?
В безмолвии ночном
Их много блещет и горит
На небе голубом.

Не первой вставшей сердце вверь
И, суетный в любви,
Не лучезарнейшую всех
Своею назови.

Ту назови своей звездой,
Что с думою глядит
И взору шлет ответный взор
И нежностью горит.

24 сентября 1824*

Послесловие

Она умерла 4-го мая 824-го года. Боратынский был тогда в Финляндии. Другой эпилог написал Дельвиг:

Жизнью земною играла она, как младенец игрушкой.
Скоро разбила ее: верно, утешилась там.

* * *

Однако романный сюжет опередил события повести.
Вернемся.

УНТЕР

O! Rendez-moi mes steppes!
*Delille***

Осенью 821-го года или в начале зимы Лутковский, видимо, подал по начальству новое представление унтер-офицера Боратынского в прапорщики. Видимо, были и прошения от родственников, наверное, и устно пытались замолвить словечко. Но наш милостивый монарх твердо следовал своим правилам: Боратынский остался унтер-офицером.

В феврале 822-го исполнялось три года, как он вступил в службу и шесть лет со дня катастрофы. Быть может, государь выказывал своей твердостью, что он помнит, как Боратынский после повеления о выключке из корпуса три года никуда не вступал? быть может, он полагал, что за попытки избежать службы в солдатах теперь надо отслуживать вдвойне те три года? Но как узнать, что на уме у нашего милостивого государя? Какими сроками мерять финляндское изгнание? Ведь не вечно Нейшлотскому полку оставаться в Петербурге. Вернется гвардия, и — my native land, adieu!***

---

*25 сентября был день рождения С.Д.П.
** О! Верните мне мои степи! *Делиль (фр.)*.
*** Прощай, моя земля! *(англ.)*.



К 24-му апреля Боратынский прожил ровно половину своей жизни. На оставшиеся полдороги ему отводилось столько же, сколько было истрачено: 22 года 2 месяца и 2 дня. Что он мог сказать?

Желанье счастия в меня вдохнули боги.
Я требовал его от неба и земли,
И вслед за призраком, манящим издали,
Не ведая куда, прошел я полдороги.
Довольно! Я устал, и путь окончен мой.
Счастливый отдыхом, на счастие похожим,
Стою, задумчивый, над жизненной стезей, —
И скромно кланяюсь прохожим.

Через пять лет, готовя издание своих стихотворений, он переправил две строки в этой полудорожной исповеди, решительно изменив ее первоначальный смысл:

Но прихотям судьбы я боле не служу:
Счастливый отдыхом, на счастие похожим,
Отныне с рубежа* на поприще гляжу
И скромно кланяюсь прохожим.

Что ж? Через пять лет он знал и путь и поприще? А ныне, в двадцать два года, и *путь окончен* и *довольно*? – Быть так. Ныне, в двадцать два года, он твердо знал, что он поэт, но знал ли, что поэзия и есть его поприще? Если знал – то призрачными были контуры этого поприща, ибо какое же поприще, когда нет своего пути? – А пути не было. Не было будущего. Не было свободы. – Он был свободен только внутри себя.

Но это ведь только на высоте всех опытов и дум – когда волосы побелеют и пройдет опьянение жизнью – можно понять, что свобода в себе, свобода души, свобода самосознания и есть единственно вероятная свобода. А в двадцать два манят призраки: свобода положения, свобода передвижения, свобода выбора действий и удовлетворения желаний. В двадцать два потребно немедленное счастье. – А счастья нет. И снедает нашу младость – недуг бытия: одиночество, тоска, жажда несбыточного, – недуг, которому причину отыскать можно, только удалившись от зримой существенности в область романтических вымыслов или медицинских исследований. Последние нам недоступны, а первыми всегда рады поделиться с просвещенным читателем:

---

* Не ведаем, по недосмотру или намеренно он допустил до слуха нежных читательниц эту школьную двусмыслицу. Если намеренно – то зачем? Но мы и сами вправе спросить любезного читателя: а зачем в заключении повести "Бал" потребовалась эпиграмма на "Дамский журнал" Шаликова? зачем другое свое создание Боратынский назвал так, что тот же Шаликов, закрасневшись, не мог произнести его заглавия вслух? зачем на страницах помянутого "Бала" избранника героини зовут Арсением, хотя всем известно, что это имя принадлежит ее супругу, герцогу всея Финляндии генерал-адъютанту Закревскому? – Все сие из числа вопросов, на которые невозможно получить более внятный ответ, кроме одного: нет явления без творческой причины.

История эта произошла задолго до описываемых событий. Он сидел под арестом в холодной. Вечером дурак гувернер Д.*** пришел проверять, как он приготовился ко сну. Он встал под образа и в промежутке между "прегрешения наши, вольная и невольная" и "яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении" скорчил рожу и показал язык. Д.*** стоял, зевая, позади и, разумеется, не видел этого. Дождавшись, когда он разденется и ляжет под одеяло, Д.*** ушел.

Он тотчас вскочил на ноги. Выглянул в окно. Окно выходило во двор. Двор был безлюден и тих. Стояла белая ночь. Мрак не опускался на город.

Он присел на кровать и прицелился плюнуть в квадрат оконной решетки, помеченный клочком бумаги, еще днем приклеенным на хлебе. Цель была: не вставая с кровати, попасть в квадрат. Но в двери зашевелился ключ. Инвалид, подобострастно пришепетывая, впустил в комнату какого-то другого начальника – этого он еще ни разу здесь не видел.

– Bonsoir, monsieur,* – сказал незнакомец. – Вы удивлены позднему визиту? Я врач. Призван по долгу службы освидетельствовать ваше здоровье.

– Я здоров и не нуждаюсь в медицинской заботе, – отвечал он довольно сухо. – Я бы желал спать, monsieur.

Незнакомый начальник усмехнулся:

– Вы ошибаетесь. От недугов души исцеляют лишь врачи душевные. Здесь сия должность введена давно, но доселе не могли приискать на это место достойнейшего.

– Не с достойнейшим ли имею честь говорить?

– Вам угодно вольничать языком, сударь, но и по летам и по положению я старее вас, о чем просил бы не забывать. – Начальник назидательно помолчал, ожидая, вероятно, что он изъявит вежливость, но он только глубже сел на кровати, прислонился спиной к стене и, скрестив руки на груди, стал смотреть исподлобья. Начальник молчал недолгое время, затем окинул беглым взглядом холодную, сел на стул и тоже скрестил руки на груди. – Вам угодно шалить. Между тем веселость не к лицу вам. Вы серьезно больны.

– Я здоров, – быстро отвечал он.

– Разумеется, вы здоровы телом. Но я имею в виду не физические недомогания, – повторяю, – а душевные... Странно, – незнакомец еще раз огляделся по сторонам, – что у вас нет иной мебели, кроме кровати, стула и этого, не знаю уж как назвать его, – стола, вероятно. Надо будет доложить о том по начальству. – Он помолчал, как бы предлагая своему слушателю оценить свою заботливость. – Так вот. Я не стану вас осматривать, вы можете быть покойны на сей счет и снять приуготовления к обороне. Я желаю вам блага и именно потому пришел. Не беспокойтесь, сударь, я помню, что вам наутро рано подниматься, и не отягощу долгим своим присутствием. Я вижу на вашем лице некоторое недоумение. Разумеется, мне до́лжно было представиться более полно. Ваш покорный слуга состоит по медицинскому ведомству, с тою оговоркой, которую

*Добрый вечер, сударь *(фр.)*.

он имел честь выше представить. Специалист по душевным недугам Жиль Дестинье. В Петербурге я с давних пор. Родители выехали из Парижа в девяносто втором году, и, в сущности, здесь моя вторая родина. Надеюсь теперь, когда вы знаете отчасти, с кем беседуете, наш разговор примет более мирное направление, и вы не будете так нервически смотреть на меня. Право, забудьте, что я пришел по казенной должности. Кстати, вы никогда не задумывались над тем, что есть должность? О! Должность — это выражение некоей высшей нашей предназначенности. Свою предназначенность я определил в юношеские годы — примерно в вашем возрасте — и никогда не пожалел о том, ибо душа человека есть тайна, и, сколько бы времени ни тратить на ее познание, нельзя говорить, будто потерял лишь только время и труды. — Тон г-на Дестинье стал мягким и участливым, а выражение лица задумчивым; он смотрел на своего слушателя ласково, глаза его блестели. — Но понять и выбрать свой путь так, чтобы впоследствии не сомневаться, способен далеко не каждый. В сущности, самостоятельно свой путь невозможно выбрать. Всегда нужен некто более опытный, некто, кто подтолкнул бы вас в должном направлении, куда вы еще не решаетесь итти, опасаясь препятствий. Робость ваша понятна, ибо вы не можете предвидеть последствий своего движения. А вдруг там пропасть? бездна? Впрочем... — Г-н Дестинье улыбнулся еще мечтательнее. — Я не вас имею в виду, а вообще людей. Бог с ними. Люди как люди. Все хотят есть, пить, мечтают о счастии. Вы не исключение. Но вы решительно отличны от них всех тем, что имеете совершенно особенную душевную наклонность, которую, однако, сами готовы называть пренесносной. Сия наклонность есть главное ваше достояние, главный вам дар. Не улыбайтесь, не улыбайтесь иронически: истинно говорю — вы склонны к предчувствованию событий. Если усовершенствовать искусно это свойство, можно получить нечто особенное, доступное только немногим. Было бы неправильно называть сей дар провидческим, ибо полное провидение, провидение, так сказать, поверх времен и пространств, к несчастию, только там. — Г-н Дестинье поднял указательный палец в направлении потолка. — Но нечто в этом роде имеют и избранные на земле. То есть вы сможете для себя, по меньшей мере, знать — и знать с достаточной степенью точности — как будут развиваться события, если вы предпримете то или иное решение. Я не могу дать гаранта, что вы сумеете назвать всех участников и все декорации спектакля, который будет вами затеян, но поведение основных действующих лиц предузнать будет нетрудно. Не смотрите иронически, не смотрите. Здесь нет никакой мистики. Речь идет о совершенствовании того, что уже есть, не более. Вы в таком возрасте, когда откладывать выбор пути просто преступно, и, как врач, я обязан вам помочь. Ведь не собираетесь же вы потратить жизнь на то, чтобы дразнить своим неповиновением начальников или, напротив, прожить так, как живут все: выйти в отставку поручиком, взять себе подругу по любви или без любви и уехать в родовое болото строить дом и садить капусту? Смешно! Смешно! — при ваших-то способностях! Раздвиньте стены, приподымите крыши, смотрите сквозь! Видите? — Сюда, сюда глядите, сквозь эту стену: вот ваш часовой — инвалид Евстафий Евстафьев. Он научился спать сидя,

стоя и лежа. И сейчас тоже спит. Но не проскользнет мимо его всеслышащего уха ни муха, ни мышь! Он тотчас проснется. Посмотрите. Вот сейчас я встану и пойду на цыпочках к двери. Видите? видите? Он уже услышал и приготовился вскочить, а лишь только я отворю дверь, он будет стоять с ружьем на изготовку. Бог с ним. Пусть спит. Но, согласитесь, разглядывать сквозь стену, как спит ваш Евстафий Евстафьев, – занятие исключительно праздное. Я привел сей пример лишь для того, чтобы продемонстрировать на простейшем образце, что вас ждет, если вы станете самосовершенствоваться. Но поверьте: вас ждет еще большее, когда вы не только внешние картины станете созерцать, но и слегка углубитесь внутрь человеческой природы. Обратимся вновь к избранному нами экземпляру, опять же лишь, так сказать, для учебной наглядности, – как к простейшему предмету, на коем легко показать преимущества проницания и предзнания. Итак, читайте на его спящем лице историю его прошлой и будущей жизни! Итак, Евстафий Евстафьев. Ну, читайте же! Что вы молчите? Хорошо, я помогу. Да, ему около сорока, из них семнадцать он под ружьем. До восемьсот седьмого года ни разу не был оцарапан, а в восемьсот седьмом, в июне, сразу едва не убит. Однако, как видите, убит не был, а остался жив, благодаря крепкому организму. Пуля попала в мякоть, но крепко засела там, неудачная операция способствовала загноению раны. Сюда его перевели после излечения, и жизнь его монотонна и однообразна. Мысли его тоже одинаковы, но образ жизни он ведет трезвый. В его деревне про него давно забыли. Сам он тверской, из селения Липцы. Легко сказать и то, что с ним будет: он умрет здесь, в Петербурге, но не скоро, а лет через пятнадцать – от холеры. Что такое холера? Cholera morbus есть поветрие, подобно чуме, в Индии она поразила не только людей, но и животных. Вам лично она не грозит, хотя вы и доживете до тех времен, когда она явится в Петербург. Вернемся к нашему образцу. Мысли и душа его прозрачны и чисты. Сны его обыкновенные, петербургские, и сейчас во сне он покупает табак. Но ваш инвалид – простейший, повторяю, экземпляр, и прочитать в нем легко. Я его для примера представил... Вы смотрите весьма недоверчиво. Жаль, ибо практическая польза от предзнания велика. Поглядите теперь сквозь двор на противоположное крыло здания. Второй этаж. Девятое окно слева. Это ваш гонитель К***. Согласитесь, что вообще-то он добрый человек, только излишне самолюбивый и, как следствие, – обидчивый. У него не очень много ума, он не очень сладострастен, не очень красноречив. Имя таким, как он, – легион. Не обращайте на него внимания: он слишком жалок. Видите, с какой бережливостью он сцепляет с своих колен чертиков? Чему сие свидетельство? Тому, что завтра утром у него будет болеть голова, и когда он найдет прицепленную к своей спине бранную записку, кого станет винить? И хотя не вы напишете на лоскуте бумаги бранное слово, а С-в, не вы, а С-в будет пришпиливать этот лоскут к его мундиру, он обвинит именно вас, только что вернувшегося из-под ареста, потому что на вас покажет ему С-в. Упредите их обоих! Сами покажите К*** на С-ва. Это будет лишь справедливо, чувство чести вашей не должно пострадать, ибо вы будете делать поступок, исправляющий нрав С-ва. Его приведут сюда, в эту комнату, и он впервые в жизни задумается над

тем, сколь много зла на земле, и впервые догадается, что источником одного из зол был сам. А великая вещь – обвинить себя самого! Это первый шаг к избавлению от порока! Таким образом, одним разом вы совершите два добрых дела: во-первых, не допустите К*** до неправедного гнева, во-вторых, послужите началу исправления С-ва. А вы еще сомневаетесь в практической пользе предзнания! Но это все частные случаи ежедневного нашего существования, в них ваша редкая способность будет оказывать лишь мелкие услуги. Есть дела важнее. Возьмем, к примеру, свежий исторический случай: Наполеон после Бородинского сражения. Разве можно было оставаться в Москве? Надо было догнать армию Кутузова, надо было захватить самого Кутузова в плен! Это очень просто! Вот посмотрите, отсюда как раз весьма хорошо видно... Но, кажется, я принуждаю вас излишне волноваться. Не смотрите так опасливо. Я говорю все в пределах здравого смысла. – Г-н Дестинье замолчал, как бы потеряв нить своих рассуждений. – Впрочем, что толковать! – сказал он, слегка потерев лоб. Очевидно, он устал от долгой речи. – Все знать, все чувствовать, все видеть, и видеть издалека – это ли не блаженство? Иметь ум обширнее государственного и проницать скрытое за миром явлений – не о том ли хлопочет человек? Вы здесь, среди них всех, – г-н Дестинье сделал рукой полукруг, заключив в него всех спящих воспитанников, – вы выше всех душой, я давно наблюдал за вами. Поприще вам открыто великое, от вас зависит сделать выбор. Я полагаю, что если бы вы избрали карьеру, подобную той, какова была у вашего папеньки, то, разумеется, превзошли бы его не только чином, но и заслугами пред отечеством. Скажем, стали бы нашим российским Бонапартом – без святой Елены, разумеется. Суворовым бы новым стали! Румянцевым!..

– Вы, monsieur, изумляете меня. Вы говорите обо всем так, будто мир пребывает под вашим управлением, а вы распределяете каждому по способностям. Я всегда предпочитал здравый смысл и потому не могу понять ваших намеков. Что вы всем этим хотели сказать?

– То, что сказал, сударь, – как бы огорчившись, отвечал г-н Дестинье. – Я раскрыл пред вашим мысленным взором пространства, показав, что не существует невидимых вещей, что нет такой шкатулки, куда можно спрятать тайну. Я предложил вам усовершенствовать ваш дар и выбрать поприще. Вот все, что я хотел сказать. В мои задачи воспитателя юношества входит изъяснить каждому его истинное предназначение. У многих выбор ограничен; им я не могу предложить ничего, кроме генеральских эполет или какой-нибудь премиленькой и долго не стареющей дочки московского бригадира в спутницы жизни. Вам от природы даровано более, чем вы явили доселе. Важно выбрать, не ошибившись. Ибо если вы поставите пред собою цель быть просто добрым семьянином и поселиться в домике низком где-нибудь на болоте, чтобы с верной подругой, которая принесет вам детей мал мала меньше, коротать свои дни, – в таком случае я скажу: то будет роковая ошибка. Вы не для того созданы, и посему станете до смерти роптать. Но будет уж поздно. Жена – не рукавица, дети – не перчатки. Так и потонете в своем болоте, как кулик. Простите, что несколько возвысил голос, но, право, досадно

видеть блестящие дарования в столь тесной оболочке. Расскажите мне, что у вас на душе, и выберите, выберите, пока не поздно!

Оба помолчали немного времени.

– Хорошо! Предположим, хотя это, разумеется, не более чем предположение и близко к ночному бреду – ибо время уже позднее, глаза мои слипаются (он лгал: сердце его колотилось, а глаза видели, как днем) и я хочу спать. Предположим, я соглашусь с одним из ваших советов и выберу для себя нечто. Разве от этого что-то изменится? Приблизится срок выхода из корпуса? Меня перестанут штрафовать? И кто мне обещает, что вы не во зло используете мою исповедь, если я скажу вам о своих мечтах?

– Разумеется, внешне ничего не изменится, и смешно было бы думать, что в мгновение ока вы завоюете Грузию или воссоедините с нашей империей три-четыре сопредельных государства. Но вы избегнете душевных страданий, вы будете счастливы, сохраня ум и волю. Вы сможете предвидеть то, что, избери вы ложную дорогу, никогда бы не сумели предугадать.

– Хорошо! Хотя это и напоминает игру в загаданное желание... Я выбрал. Прямо сейчас, сию секунду. Что дальше?

– Как что? Скажите мне, и я укажу вам кратчайший путь к цели.

– Хорошо! Я хочу быть... ну, к примеру, сочинителем, стихотворцем... И что же?..

– Гм!.. Это не лучший ваш выбор. Я полагаю, что поэтический ваш талант весьма умеренный. Но если вы всерьез выбираете именно этот путь, я искренне рад – это значительно прекраснее жизни болотного помещика. Что ж, в ближайшие дни я продумаю систему упражнений, чтобы к концу месяца вы могли сочинять не хуже, скажем, Жуковского, а к лету, я полагаю, ваши стихи будут опубликованы в двух-трех журналах и замечены критиками. Через год у вас будет всероссийская слава. Хорошо! – Г-н Дестинье достал из кармана небольшую тетрадь и, поймав настороженный взгляд, несколько смущенно добавил: – Это мой кондуит. Не гневайтесь, обязанности воспитателя всегда связаны с бумажными делами. Ах! если б вы знали, сколько рапортов приходится писать!.. Будьте столь любезны, вот здесь, напротив своей фамилии укажите своим почерком свой выбор и сделайте роспись. – Г-н Дестинье протянул карандаш. – Зачем вы отодвигаетесь, будто я вам предложил составить математическую формулу? Вы не уверены в моей искренности? Прочь сомнения! Клятвенно обещаю, что как только вас снова посадят в холодную, я принесу полную систему упражнений. Итак, смелее, г-н сочинитель! Но я думаю, не надо ограничивать себя одной областью поэзии? Не пишите: *стихотворец*, а то вдруг вы не сумеете из-за этого хорошо сочинять в прозе? Напишите менее определенно, так сказать, в общем и целом, чтобы, – г-н Дестинье улыбнулся, – как говорит адмирал Шишков, всем и каждому было понятно. Напишите просто: *автор*. Ну, что ж вы медлите? – Г-н Дестинье еще раз протянул карандаш и подал кондуит.

Он взял то и другое, подумал мгновение и крупными печатными буквами написал на пустом листе свою фамилию и имя.

– Вот, – возвратил он кондуит.

Г-н Дестинье прочитал и нахмурился.

— Зачем вы написали это, вместо того, что собирались?

— Я сделал свой выбор. Я буду тем, что написал.

Г-н Дестинье хотел, видимо, сказать что-то еще, но остановил себя, затем покачал кондуит в ладонях, как бы размышляя, как ему поступить, затем закрыл его, усмехнулся, уложил медленно в карман и встал со стула.

— Что ж! Хорошо, что вы не написали: болотный помещик. Истинно, здравый смысл — это единственное, чего у вас, юноша, нет. Вы не желаете ценить заботу, которую проявляет о вас высшее начальство. Когда-нибудь вы раскаетесь. Карандашик, кстати, будьте любезны вернуть. Если вы принимаете мои услуги только наполовину и желаете пребывать в некоей оригинальной неопределенности, мое прямое участие вам не нужно. Оставайтесь в той же неопределенности. Прощайте.

И он ушел, окончив свою смутную речь. А Евстафий Евстафьев, едва г-н Дестинье вышел, вскочил и, заперев дверь, отправился, прихрамывая, провожать того по коридору.

* * *

Куда как чуден создан свет! Кто не встречался в своей жизни с призраками, привидениями, духами? Появления их хотя и похожи, ибо все эти существа одноприродны в своей иноматериальности, но всегда неожиданны, сколь бы вы ни вожделели встретиться с призраком. Обличия ж их... Но об их обличиях существует обширная литература:

1

"Две белоснежные, мягкие, неописуемо прекрасные руки обвились вокруг моей шеи...

— Любимый мой, хочешь ли ты быть превыше всех созданий, подчинить себе, вместе со мной, людей, стихии, всю природу?.. О, ты будешь безмерно счастлив, стоит только пожелать... Скажи мне, наконец, если можешь, но с той же нежностью, какую я испытываю к тебе: Мой дорогой Вельзевул, я боготворю тебя...

Не успел я опомниться от этой странной речи, как рядом со мной раздался резкий свист... Я бросил взгляд на постель рядом с собой. Но что я увидел вместо прелестного личика? О, небо! отвратительную голову верблюда... Безобразный призрак разинул пасть и голосом, столь же отвратительным, как и его внешность, произнес: Che vuoi ?"*

2

"Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза... Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи.

— Чего ты хочешь? — сказал он ему голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы стали у него дыбом..."

---

*Что тебе надобно? Чего ты хочешь? *(ит.)*.

* * *

Довольно и этих двух выписок из жизни двух совсем незнакомых друг с другом благородных испанцев, чтобы вспомнить, с каким вечным притязанием на нашу душу является та сила, что вечно алчет зла, но, по ее словам, всегда свершает благо. Конечно, в наших северных краях сила эта предстает пред нами куда более прозаическим способом, чем под небом Испании. Такова природа. Климат накладывает свой отпечаток не только на внешность людей.

Конечно, не всякому сила эта себя предложит, а только тому, на ком от рождения в закоцитных ведомостях уже проставлена печать годности для эксперимента. Одному Богу ведомо, кто истинно счастлив – тот, кто родился без этого тавра отторженности от рода и может жить, как все, или тот, кто клеймен своим избранничеством от зачатия. Чувствовать счастье и свободу Бог позволяет всякому, но понимать свободу и счастье – только отверженному от рода. И вообще, Творец допускает много такого, чему мог бы не попустительствовать. Самое же страшное, что Он допускает, – творчество человека, ибо человек, пораженный творческим недугом, но не обладающий полномочиями Бога, неизбежно станет на путь скорейшего самоуничтожения, предстающего перед ним всегда в виде некоего самостоятельного свершения. Тут-то и вторгается в него часть той силы, благодаря которой разум его проясняется холодным, ярче дневного, светом творчества, а из рук его исходят творения, сияющие мерной красотой.

За такую красоту платят без торга, и жизнь земного творца, которому служит эта пришедшая в него сила, жизнь его и есть единственная плата. Верховный Творец потому, наверное, и допускает существование творцов из людского стада, что не их Он ждет к себе, что не Ему их лицезреть у Себя и что души их, отданные по договору в залог мирового равновесия, оказываются, в конце концов, в том небытии *за миром явлений*, где их *НЕ ЖДЕТ НИЧЕГО* и где им уготована самая дикая для них мука – отсутствие материала для творчества.

Им, этим отверженным, натурально, мечтается удрать от жребия, выпавшего на них; они, может быть, даже готовы отказаться от своего особого пути; они даже могут считать себя такими же, как все, да и сама их судьба может складываться, как у всех. И все же, даже дав тягу куда-нибудь вбок, вглубь, вдаль, спрятавшись под кров отчего дома, в круг семьи, в родовое болото, они не могут ощутить себя до конца в безопасности, ибо, как ни отказывайся они от лишнего знания, от собственной мысли, от самих себя, в конечном счете сила, некогда влитая в них, не даст им ни покоя, ни забвения. Их идиллия все равно будет источена мыслью, от которой не спрятать юношеского договора, пусть в насмешку сделанного, но сделанного.

А о том, сколько им жить, они и так, без нас с вами, знают.

* * *

Но не в конце апреля развлекать себя предчувствиями.

Весна! весна! как высоко
На крыльях ветерка,

Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака.
Шумят ручьи! блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед.

Нева очистилась от льда еще во второй половине марта. На Пасху весь Петербург гулял в сертуках, фраках и легких платьях. И хотя еще предстоял холодный июнь, что в сравнении с ним один час жаркого весеннего заката?

Давно освободились от снега и тамбовские поля; зеленеющая степь блещет под полуденным солнцем; оратай, склонившись над сохой, возделывает поле. Небо... Нега... Тепло...

Александра Федоровна Боратынская в хлопотах – она отправляет старшую дочь, двадцатилетнюю Софи, в дальний путь: через Москву в Петербург. Все приготовлено к отъезду; день отправления назначен. Софи, забыв болезни, радуется как ребенок, и сердце ее трепещет: далее Москвы она не бывала нигде никогда.

В конце апреля или начале мая Софи вместе с тетушкой усаживаются, наверное, в тот берлин, в каком еще Александра Федоровна с Аврамом Андреевичем ездили в Петербург. Младшие сестры, старый Жьячинто и остающаяся в Маре другая тетушка машут платками. Дворня высыпала за ворота. Александра Федоровна, может быть, провожает их до Тамбова.

В Петербурге их ждет Евгений, а Петр Андреевич хлопочет о том, чтобы комнаты в его доме были отделаны к их приезду.

Журнал Софи
Письма русской путешественницы

Мая 30.

Вот уже три дня мы в Петербурге, любезная маменька. Брата я застала здоровым. Вы не можете вообразить нашей радости, давно я не чувствовала ничего подобного. Если бы вы видели его восторги и удивление; он просто не верил своим глазам. Он совершенно здоров и телом, и душою; очень похорошел, прекрасно выглядит, и то же, все то же сердце, которое живет только надеждой видеть вас; его любовь к вам неизъяснима: ему мнится видеть во мне часть вас самой. – Он в самом деле поменял квартиру; когда мы наконец ее нашли, то застали там порядок и чистоту, меня изумившие; он живет вместе с бароном Дельвигом; нам пришлось ночевать у них, ибо было очень поздно, а его друг уехал в гости на всю ночь. – Утром мы послали сказать дядюшке* о нашем приезде, и он вскоре появился; он принял нас совсем как отец, как нежнейший отец; если бы вы знали, как он любит брата, как он любит нас всех; я открыла в нем глубокую чувствительность; за всю жизнь я не видела такой радости. Он не пожелал и слышать о том, чтобы мы искали квартиру, и почти похитил нас, чтобы устроить на своей даче – в местечке истинно очаровательном. Для нас он готовит свой городской дом. Он доволен бог знает как. Вчера

* Дядюшка – здесь и далее: Петр Андреевич.

он принудил нас отобедать с ним; после обеда не мог заснуть более чем на несколько минут, сказав, что ему мешает радость; меня же не отпускал от себя. Мы пили чай в его саду; потом он показывал мне примечательные места Петербурга; это красиво, очень красиво, но мы с братом не уставали повторять, что нет ничего лучше нашей деревушки! – Здесь кругом вода. Нельзя вам не признаться, что здешний воздух пронизывает насквозь, и моим легким стало немного хуже; но сегодня очень тепло, и я чувствую себя лучше. – Еще я могу вам сказать, что брат в любом случае приедет со мной; ему дадут отпуск, когда он захочет; но надеюсь, очень надеюсь, что Бог наконец внемлет моим бесконечным молитвам, и брат вернется навсегда; дядюшка так добр, что делает даже невозможное для его избавления; я передала ему вашу благодарность за доброту, с коей он относится к брату; сама благодарила его и ёще просила за брата, что его очень растрогало, он даже прослезился; я же сказала ему, что он принимает слишком близко к сердцу все, что волнует нас. – Поваренок Федот – славный мальчик; он ведет себя очень хорошо и готовит всё сам; сейчас, когда брат живет с нами, он очень нам полезен. – Сегодняшний день дядюшка провел с нами; он хочет сводить нас в Эрмитаж. – Должна вам сказать, здесь носят такие короткие платья, что просто страшно, а прически – как у меня; мне кажется, Петербург – это модная лавка. – Есть много новых сочинений брата, из которых ни одно не напечатано, ибо все они написаны только для себя; среди них весьма милые вещицы, мы привезем их вам. Сегодня обедал с нами Дельвиг; у него такое ужасное зрение, что он почти ничего не видит и только в очках кое-что разбирает. – Брат вам пишет. Пишите, любезная маменька, как вы себя чувствуете? Дай вам Бог здоровья. Как жаль, что мне нечего более писать, я написала уже почти обо всех новостях. Сообщите мне, получили ли вы какие-либо из моих писем? Из Москвы я много писала к вам. – Обнимаем вас, а также любезных тетушек. Обнимаю сестриц и кузин; напишите мне, что делает мадам Декслер; мне бы очень хотелось знать, как она взялась за дело. От всего сердца обнимаю милую Авдотью Николаевну. – Брат говорит, что я пишу письма к вам неоригинально.

Июня... 8 часов вечера.

Дядюшка хотел вчера вечером навестить нас, но не пришел; он все еще жалуется на свою ногу. Скажу вам, я нашла его весьма постаревшим и обремененным заботами. Он сильно обеспокоен своими долгами, о чем как-то сказал тетушке. Посудите: они до сих пор не могут обставить ни одной комнаты в занимаемом ими доме. Весною обнаружилось, что под полом течет ручей, и тетушка получила лихорадку из-за сырости... – В продолжении того времени, как мы с вами разлучены, любезная маменька, я открыла новое утешение – писать к вам. Лишь мне становится хотя бы немного скучно, я беру перо и забываю все, что окружает меня, и успокаиваюсь.

4 часа утра.

Я наслаждаюсь тишиной, царящей всюду после вчерашнего невыносимого шума; я встала сегодня раньше, чем обычно; во сне видела Евгения, он читал мне стихи; значит, в самом деле я скоро услышу его; во сне

я видела и вас, будто у вас много народу, и будто мадам Декслер утонула, а месье Борье рассказывает об этом в вашем кабинете. – Чем более я наблюдаю брата, тем более обнаруживаю в нем достоинств; более же всего меня трогает то, что он говорит о вас и о том, что вы для нас делаете, с нежностью и признательностью неизъяснимой, это доказывает, как он понимает вашу нежность; такое открытие тронуло меня до глубины души. Да сохранит Господь в нем это расположение духа, которое начинает в нем развиваться! – Г-н Гроссхаузен, насколько я вижу, весьма старается внушать ему нравственные чувствования; даже в минуту между своими классами он занимает его беседами, и я заметила, что брат слушал его с большим почтением; даже во время отдыха тихо, они и тогда не теряют мгновений... – Скажу вам еще, что Серж говорит, пишет и переводит с латинского, он просто пленен этим языком...

Расскажите кузинам, что у Машеньки есть маленький белый щенок по имени Белла; он просто прелесть; когда г. Гроссхаузен говорит ему что-нибудь, он отвечает почти по-человечески; он грациозно подает свои маленькие белые лапки, приносит хозяину потерянное, встает на задние лапы; вчера он похитил мой шейный платок (розовый) и бегал с ним по всем комнатам, но стоило приказать вернуть мне его, как он положил платок под мою кровать.

6 часов утра.

Все спит кругом. Еще шесть часов. Заря прекрасна... – Как прекрасен Петербург в сравнении с Москвою; Москва против него – сущая темница. В Петербурге невозможно грустить; все кругом источает веселье; часто мы смеемся даже когда нет желания смеяться...

Июня 15.

...Вчера мы были с визитом у Лутковского; его жена очень любезна. – Мы купили для вас иглы, ножницы, ножик – у Дикинсона... – Были мы в Казанском соборе. Какие великолепные полотна! Особенно Благовещение: кажется, Богородица дышит; а Христос – просто шедевр. Лица и Матери и ребенка необыкновенно меня поразили. Очень эффектна мраморная колоннада. Внутри собора развешаны знамена, взятые у французов; они облиты кровью и разорваны бомбами; здесь собраны и ключи от всех взятых городов. Памятник Кутузову около собора выполнен в совершенно новом роде и производит неизъяснимое впечатление. – Я еще не беру уроки музыки, любезная маменька, ибо в Петербурге нет никого, кроме Стейльбета. Я хотела бы выбрать себе несколько пьес, однако надобно прослушать, как их играют настоящие музыканты; но концертов сейчас не дают, ибо летом весь свет живет на дачах. – Вчера Семенова играла в трагедии; мне кажется, у нас достаточно действительных событий, несравненно более интересных. Что до меня, то я не поеду больше никуда, кроме оперы. Лучше я буду смотреть лубочную комедию, чем трагедии. – Я пишу много вздора, милая маменька. – Обнимаю от всего сердца вас, любезных тетушек, сестриц и кузин. Натали пишет мне, что вишни уже стали краснеть; передайте же ей, что здесь розы едва распустились, а клубника только цветет. Здесь все позднее; здесь совершенно другой климат, он совсем мне не по душе. – Сохраните для нас, милая маменька, одно или два вишневых деревца с ягодами, быть

может, мы приедем вместе с братом и поедим вишен с вами. Ах! Даст Бог! – Мы с братом читаем сейчас сочинения лорда Байрона; его оды в прозе восхитительны...

Июня 22. Утро.

...Мы с братом строим воздушные замки и мечтаем, как вместе поедем есть вишни; а вдруг так и будет, кто знает? оставьте нам на всякий случай одно-два деревца. Флигель дядюшки занят французской семьей, и трое малышей бегают по нашему саду; мы с Евгением забавляемся тем, что говорим с ними; они разговаривают по-французски, по-немецки и по-русски... – Вы довольны тем, что я слежу за своим здоровьем; и в самом деле, я смотрю за собой; я еще люблю эту жизнь, ибо она принадлежит вам. Без вас, сознаюсь, она была бы для меня непосильным бременем. Ваша доброта и снисходительность придают мне силы. У меня одно желание – быть достойной вашей заботы. Бог, который все видит, видит и тайники моей души, а там – мечта об одном: о вашем покое. Я живу только вами и для вас, и сохранение моей жизни – ваша заслуга. Сколько раз ваша материнская нежность неустанными заботами оживляла почти угаснувшее дыхание моей жизни! Могу ли я теперь пренебречь жизнью, которая не мне принадлежит? Могу ли располагать ею? – Пишите ко мне, милая маменька! Что до меня, то я никогда не могу отважиться закончить свои письма и пишу до тех пор, пока хватает бумаги, но письма мои вряд ли интересны. Я никогда не умею выразить то, что чувствую. – Вы должны теперь получить уже два мои письма из Петербурга, ибо это четвертое, которое я пишу к вам... – Но мне пора заканчивать, я должна выпить стакан теплого молока. Пью за ваше здоровье.

Июня 22. Вечер. – Июня 23. Утро.

Сегодня мы были в Смольном монастыре, милая маменька. Мадам Рошток не было. Жаль, ибо монастырь довольно далеко. Завтра поедем туда еще раз, быть может, найдем ее там. – Когда я просматриваю свои каракули, то замечаю, что пишу об одних и тех же глупостях, однако не могу найти ничего более любопытного; жизнь наша довольно однообразна. Дядюшка обыкновенно ходит на прогулки в свой сад в полночь; он много занимается нами; позавчера мы ходили к нему пешком. – А теперь расскажу вам небольшую историю, которую можно помещать в назидательные книги для детей. По пути к дядюшке мы купили клубники, и нам пришло в голову преподнести ее дядюшке, а самим между тем ужасно как хотелось ее отведать. Я еще сказала брату, уверявшему меня, будто дядюшка не любит фрукты, что, верно, он поблагодарит нас и останется доволен нашим вниманием. Каково же было огорчение, когда дядюшка, довольный нашим вниманием, спрятал клубнику в свой шкаф! Я едва удержалась от слез, но вспомнила, что мне двадцать лет. Я бросила взгляд на брата, он догадался о моих чувствах, когда же дядюшка неожиданно прибавил, что клубника весьма вредна для здоровья и мне, и брату, мы покатились со смеху. Я не осмелилась более смотреть на Евгения, а он на меня; хорошо, что дядюшка ничего не понял. – Я надеюсь получить завтра новости от вас, это будет праздничный день для меня. Я стала очень суеверной, милая маменька. Известите

меня, здоров ли наш управляющий Петр, я видела его во сне. – Обнимаю вас от всего сердца, а также Авдотью Николаевну, благодарю ее за заботы о моих голубях, в Петербурге же их совсем нет; здесь вообще ничего нет, кроме камней. – То, что вы рассказали мне о мадам Декслер, доставило мне много удовольствия. Благодарю Бога за этот хороший выбор. Обнимаю моих сестер, тетушек, кузин, а также моих голубей. Мои поклоны мадам Декслер и месье Борье.

Июня...

Несколько дней назад мы познакомились с нашими родственницами, живущими недалеко от дядюшки; это барышни Воиновы; они считают нас за своих кузину и кузена; брат давно с ними знаком; они уже немолоды; это особы из большого света, обладающие заразительной веселостью, они прекрасно одеты, знают все последние новости; кстати, они помогли тетушке выбрать для меня шляпку и заказать капот. Они восхитились моими платьями, сшитыми в деревне, ибо такой их фасон здесь относят к самой последней моде; особенно изящным признали платье, вами вышитое. Я надену его, когда отправлюсь к г-же Нелидовой. У меня сделано все необходимое для города, платье из черного бархата перешито по последней моде, правда, оно несколько коротковато, но эта мода мне идет... Скажу теперь, что в Петербурге более всего мне нравится конная статуя Петра Великого, монумент Румянцеву и Казанский собор; но что мне вовсе не нравится – это модные лавки; они еще хуже, чем в Москве; а модистки крайне беззастенчивы; они перепугали меня, когда в первый раз мы зашли туда: тотчас стали меня вертеть во все стороны, как настоящие черти, примерили мне пятнадцать шляпок одну за другой и заставили против желания смотреться в зеркало; наконец меня освободили барышни Воиновы, они и выбрали мне шляпку; я же была бесконечно рада выйти из лавки с тем, чтобы больше туда не заходить. – Какое различие климата я вижу в Петербурге! Мы еще топим печи, и у нас еще двойные рамы; я очень плохо привыкаю к петербургскому воздуху, а здешние жители-амфибии уверяют меня, что тут бывают жаркие дни. Я жду этих дней с нетерпением, ибо воздух здесь ужасно сырой; я едва говорю, когда бываю на улице, между тем как в комнатах чувствую себя прекрасно... – Брат мой в очень хорошем расположении духа, очень весел. Ах! да поддержит Господь его мужество! Сейчас его у него достаточно. – Скажу вам, маменька, ныне я на опыте убедилась: то, что кажется нам издалека непомерным и ввергает нас в горесть, при ближайшем рассмотрении выглядит во сто крат менее печальным. Воображение часто рисует нам в черном цвете то, что на самом деле ослепительной белизны. Я думала, к примеру, найти брата больным, унылым; напротив, увидела в добром здравии и полным надежд. Итак, все мои фантазии оказались неосновательными. – Вчера мы были в театре: давали оперу. Музыка восхитительная. Еще играли диалогический роман "Селина и Альфонс". Мне не очень понравилось; там были две дуэли на пистолетах, напугавшие меня очень; впрочем, декорации и музыка были превосходны... – Посылаю вам стихи, сочиненные братом за несколько дней до нашего приезда. – Доктор насоветовал дядюшке пока жить у нас. – Как и обычно, я принимаю лекарства. – Брата сегодня нет дома,

и мне скучно. – Но вот только что он вернулся. – Дядюшкина дача продается, покупатели ходят по всем комнатам, что несколько раздражает.

Июля 3.

Сегодня очень скверная погода, любезная маменька. Выйти никуда, далее сада, невозможно. – Мы живем в полном уединении, разве брат время от времени уходит к друзьям. Его дружба меня утешает и часто заставляет забывать о том, что я вдали от вас. Но когда его нет, я не знаю, зачем оказалась здесь. – Дядюшка день ото дня становится все веселее и все нежнее к нам; он думает только о том, чем развлечь и ободрить нас...

Июля 13.

Мы только что получили ваши письма, любезная маменька, могу ли я отблагодарить вас в достаточной мере за ту доброту, с коей вы пишете нам каждую почту. Как хорошо вы умеете меня успокоить и поддержать. Время кажется мне бесконечно долгим, и у меня такое чувство, будто я уже несколько лет вдали от вас. – У меня нет никаких новостей рассказать вам. Благодаря Бога, мы здоровы. Я молю Господа, чтобы Он воодушевил тех, кто может действовать; будьте уверены, дядюшка и тетушка не упускают ни одного случая и используют все способы для освобождения брата. Да услышит Господь наши мольбы и избавит его. Мне кажется, время дорого. Сердце разрывается, когда я слышу, как говорят о чем-то другом, о каких-нибудь пустяках, а не о деле, те, кто знает положение брата и кто может помочь всем нам; счастье брата могло бы меня вполне утешить. Дядюшка делает все возможное, уверяю вас. Я же не вижу никого и ничего, кроме вас, брата и его неволи; ваша материнская нежность может представить себе мои чувства; они – эхо ваших; вы одна можете простить мое нетерпение, ведь речь идет о тех, кого любишь. Точно известно лишь одно: брат приедет из Финляндии нынешней осенью в отпуск – вот все, что я могла пока выяснить. – Не волнуйтесь, милая маменька, из-за нашей квартиры и сырости. Настала очень теплая погода, и я чувствую себя хорошо... – Сейчас я разучиваю "Брильянт" Гюммеля; он необыкновенно труден, но очень красив; постараюсь услышать его в исполнении достойного мастера. – Меня водили смотреть клавесины; они не вполне хороши; нам бы следовало поехать к Феверье выбрать рояль, как вы мне советуете в письме. – Мы часто видим мадам Гросфельд, она навещает нас, она передает свои поклоны вам, равно как и тетушкам, и обнимает кузин и сестер. – В воскресенье дядюшка водил нас слушать обедню в церковь при Дворе, оттуда в Эрмитаж. Какие восхитительные полотна, милая маменька! Жаль, что мы видели все мельком; некогда было остановить глаза на чем-то одном. Но мы как-нибудь туда вернемся. Там есть зала, заполненная новыми картинами, привезенными из Франции после 1812 года; говорят, что эта галерея стоила миллионы; между картинами есть одна, на которой изображено стадо коров и овец; стоит она двести тысяч, но не производит никакого впечатления. Не знаю, что особенного в ней находят, там есть много других восхитительных полотен. Портрет государя в полный рост, выполненный в Париже, – просто шедевр; войдя в залу, мне казалось, что он вот-вот заго-

ворит. — Несколько дней назад мы были на прогулке в Летнем Саду. Больше я не удивляюсь тому, будто некий англичанин приехал сюда лишь затем, чтобы посмотреть на бронзовую ограду; она в самом деле превосходна. Мы хотели посетить и маленький дворец Петра Великого, расположенный в саду, но представьте, он занят Милорадовичем; мне кажется, грех отдавать кому бы то ни было дворец, где жил Великий Петр; говорят, что даже обстановка комнат изменена, обновлена и переделана. Жаль! — Брат показал мне Крылова; тот часто прогуливается в Летнем Саду. Несколько раз его окружали дети и следовали за ним, а он читал им басни. — Вы предлагаете нам, любезная маменька, остаться здесь до сентября, и говорите, что пребывание может оказаться полезно для нас. Откровенно говоря, не знаю; я убеждена, что оставаться без брата — выше моих сил; только ради него я здесь, только его я желала бы здесь видеть, он единственный, кого я вижу. Сомневаюсь, что наше пребывание могло бы принести какую-либо пользу в будущем; одно знаю: сейчас мы наслаждаемся нашей встречею, нашей дружбою и, благословляя вашу заботу, воздаем хвалы Господу! Если бы мы могли вернуться вместе! — Государь отправился на несколько дней в Финляндию, но скоро вернется. Мы еще не видели императорское семейство. — Нам с братом предлагают заказать наш портрет. — Посылаю вам поэму Жуковского *Шильонский пленник*. Сочинения в этом роде мне не нравятся; прекрасно, спору нет, но я не могу дослушать до конца; гравюра выполнена Жуковским; когда он путешествовал, то видел темницу, о которой пишет. Еще я прочитала поэму Байрона в прозе, вещь более, чем трагическую. — Мне кажется, милая маменька, наш сад должен быть очень красив в этом году; много ли там было клубники? Мне чудится, я вижу, как вы прогуливаетесь там среди роз и вырываете время от времени сорняки. Почему я не могу перенестись к вам — помочь вам и обнять вас?.. Когда же я наконец увижу вас, милая маменька? — Я забыла вам сказать, что каждую неделю моды здесь меняются; когда мы приехали, все носили очень короткие платья, теперь их шьют длинными; в модной лавке мне сказали, что это последний фасон. — Брата не было дома сегодня весь день; только что он вернулся и рассказал много забавных случаев. К примеру, Крылов недавно написал трагедию, которую прочел и которой восхитились все поэты; теперь его снова просили прочитать ее; а он настолько рассеян, что уже забыл о написанном, ищет ее дома и обнаруживает истоптанную ногами на полу. Брат рассказал еще множество анекдотов о Хвостове... — Вместе с книгой, что я посылаю вам, вы найдете номер газеты, где говорится о лотерее, голубой цветок и небольшую гравюру, выполненную Евгением. Вы должны получить "Инвалид", потому что брат может брать несколько газет и журналов даром, он не берет их; но "Инвалид" адресован вам, и вы его скоро получите. Там будут стихи.

Июля 15.

...Позавчера мы были в Смольном у инспектрисы, где я познакомилась с племянницей г-жи Нелидовой... — Мы увиделись и с самой г-жей Нелидовой... Она наговорила мне комплиментов; я отвечала, что счастлива ее видеть и, взяв под руку, прошла с нею по всем коридорам, откры-

вая перед нею каждую дверь... — Я беру теперь уроки музыки; их дает мне Терлицкий, первый мэтр в Петербурге; он играет божественно...

Июля 20.

Скоро полки уходят; он сможет приехать в отпуск из Финляндии осенью, и, вероятно, к тому времени в его судьбе произойдут какие-то изменения. — Г-н Лутковский был у нас позавчера; это очень славный человек и к брату относится как отец; пока он будет его полковником, можно быть в любом случае спокойным на счет Евгения; он не перестает усерднейше рекомендовать брата перед теми, от кого зависит его судьба. Жена полковника очень любезна; они часто бывают у нас. — Ходят слухи, что половину армии собираются отправить в отпуск на восемь месяцев, ибо в сентябре государь хочет совершить путешествие, а чтобы путешествовать, требуются деньги. — Вчера все императорское семейство прибыло на освящение церкви Елагинского дворца, нынче там большой праздник. — Сегодня мы обедаем у дядюшки, ибо сегодня праздник Ильи Андреевича*. Дядюшка** по-прежнему занят отделкой своего дома и по-прежнему нанимает маляров, которые разбегаются на следующий день; эта история не имеет конца. Забавно. Брат вчера был у него и рассказал нам превеселые случаи. — Вот один из них. Надо знать, что все комнаты уже готовы, кроме одной; дядюшка в ней и сидит; здесь еще красят стены и настилают полы, а он занимает маленький стол, за которым трудится над сенатскими делами. Его музыкант наигрывает на гуслях и прерывается время от времени, чтобы помочь укладывать пол, а затем выпачканными известкой и раствором руками снова принимается играть. Двое слуг стоят наготове и следят за тем, как другие работают; в общем, он любит беспорядок. — Между тем, несмотря на все свои причуды, он необыкновенно добр, и невозможно передать ту нежность, с какою он относится к нам. Недавно он сказал с чувством неизъяснимым, что, пока дело Евгения не повершено, он не в состоянии заниматься чем-либо другим для кого бы то ни было. Он делает все возможное; остальное нужно вверить Провидению; Бог лучше нас знает, что нам необходимо; я всегда повторяю: часто то, что мы называем несчастьем, на деле ведет ко благу — ко благу, которое Провидение, быть может, явит нам, и тогда мы узрим это благо во всем его блеске. Кто проливает слезы, часто пожинает радость. — Позавчера мы были в театре; давали "Школу злословия", переведенную на французский под названием "Le Tartuf des Moeurs"***, и небольшую оперу "Полчаса Ришелье". Музыка и декорации были превосходны. С нами были барышни Воиновы; это очень веселые особы, но в то же время они приятны только в обществе, в прочих случаях — нет.

Июля 21.

Вот еще одна забава дядюшки: стоило мне одеть новое платье, он решительно пожелал, чтобы брат нарисовал на меня карикатуру. Евгений сделал несколько — в разных костюмах. Посылаю их вам. Вы видите меня

---

* Ильин день. Самого Ильи Андреевича в ту пору, кажется, не было в Петербурге.

** Петр Андреевич.

*** "Тартюф нравов" *(фр.)*.

в платье с длинным шлейфом, ростом в пол-аршина, в шляпе размером больше меня самой и с зонтиком от солнца в руке. Другая карикатура представляет меня в платье длиною всего до колена и с украшениями, которых никакой моде не выдумать. – Дядюшка с большими странностями; каждый день он по нескольку часов плохо себя чувствует; он боится грозы, лошадей, мостов, смертей. И при этом ходит через петербургские мосты пешком. – В вашем последнем письме, любезная маменька, вы говорите мне об английском рояле. Я спросила у месье Терлицкого, можно ли их найти? Он отвечал, что в Петербурге они бывают только случайно, когда кто-то продает рояль, привезенный из-за границы. Я хотела бы купить обычное фортепьяно в шесть октав, и даже видела одно подходящего тона, но не знаю, сколь оно тяжело. У всех клавесинов есть педаль, которую нужно нажимать коленом, что ужасно неудобно, особенно детям. Но у этого фортепьяно педали расположены, как у рояля; за него просят шестьсот рублей с перевозкой. Что же касается до роялей, то я не видела ни одного, который бы походил на наш, все они крайне неуклюжи. – Завтра в Петергофе большой праздник; весь Петербург отправится туда; будут толпы народа, ибо этот праздник бывает только раз в три года. – Гвардия уже пришла; и сказано, что все молодые люди будут участвовать в празднике; туда поехали даже купцы; судите сами: за комнату в Петергофе многие заплатили по нескольку тысяч; что же до экипажей, то они безумно до́роги. На праздник истрачено несколько миллионов. Фейерверк, думаю, будет хорош, ибо дождь льет как из ведра; многие гуляют только в своем саду. – Я хочу упросить дядюшку отвезти меня к г-же Нелидовой еще раз, как только представится случай. Я бы желала видеть ее как можно чаще. – Мы здоровы, благодаря Бога, я пью лекарства все время, и чувствую себя прекрасно. – Что еще вам сказать? Я даю уроки музыки Евгению, он очень прилежный ученик, и уже начинает играть гаммы; я объяснила ему ноты; он очень любит музыку и готов целыми днями наигрывать гаммы и песенки, какие знает, я хочу, чтобы он научился себе аккомпанировать, благо у него всегда имеется возможность играть, ибо у жены полковника есть клавесин. – Обнимаю вас от всего сердца, моя любезная, моя милая маменька; мне кажется, когда я пишу к вам письма, я нахожусь к вам ближе. Как жаль, что нужно заканчивать письмо... – Скажите сестрицам, что у меня есть два маленьких цыпленка, которых я прячу от Федота, не то он сделает из них жаркое. А за печкой в кухне у меня живут четыре котенка.

Июля 27.

Только что получила ваши письма, любезная маменька. Мне кажется, вы немного печальны, не унывайте, ради Бога! Положимся на Него. Нельзя же всегда быть веселой, что делать! Надежда скорой встречи с вами оживляет меня. – Петербург сейчас в великих переездах: гвардия пришла, а те полки, что были на ее месте, уходят. Быть может, суматоха и поход полка, в котором состоит брат, будут ему полезны? Им очень интересуются, дают обещанья, но я уж не верю обещаньям; они столько раз не исполнялись, что нельзя верить никому. Я не осмеливаюсь подавать вам уже ни малейших надежд. – Но все-таки есть еще некоторые способы,

и у нас хватит решительности, чтобы использовать их, хотя бы для очищения совести. Я же не уеду отсюда, не испытав все средства, не сделав все, что зависит от меня. Успокоимся на счет брата, прошу вас. Вы просто не знаете, что за человек полковник Лутковский! Брату так же хорошо у него, как в кругу нашей семьи. – И в конце концов, у нас есть надежда увидеть его в отпуске. – Как-то раз, болтая с Евгением, я сказала, что начинаю думать, будто он очень важная персона в Финляндии и без его там присутствия Петербург окажется в большой опасности; он ответил мне тем же тоном, что и Юг не может быть спокоен без него и что вообще он единственный, кто защищает границы, особенно, когда спит, облачившись в ночной колпак. – Дядюшка был в Петергофе и рассказывает, что в продолжении всего праздника лил дождь. Он очень похвалил нас за то, что мы не поехали туда, ибо вся публика, разнаряженная с головы до ног, дамы в светлых шляпках и лентах, как куклы, в несколько минут превратились в груду мокрых тряпок. Нескольких покалечили, а одного ребенка до смерти; не знаю, какова должна быть мать, взявшая туда с собой ребенка. – Сейчас у врачей много практики, ибо пол-Петербурга больны. – Но сегодня у нас прекрасная погода, и, зная, что никого из императорского семейства нет в Елагино, мы отправились туда в лодке. Нам разрешили осмотреть весь дворец. Войдя в дворцовую церковь, чтобы только взглянуть на нее, мы остались послушать службу. Как прекрасна эта церковь, сколько вкуса! Там мы видели лик Богородицы, выполненный русским крестьянином. Это истинный шедевр, маменька. Иконостас совсем маленький, всего четыре иконы, все остальное место занимает позолота. Пели очень хорошо. – Я понемногу начинаю привыкать к передвижению по воде. Это меня более не страшит. – Императорское семейство собирается скоро провести некоторое время на Елагином острове; это в двух шагах от нас, быть может, мы увидим их. – Я спросила у дядюшки, не встречал ли он кого-нибудь из тех, с кем свел знакомство на празднике в Петергофе; он отвечал, что сейчас трудно кого-либо узнать, ибо обычно все как лакированные, а после дождя стали напоминать людей. Дядюшка ужасно язвителен. Кажется, он поехал на праздник только чтобы потом над всеми посмеяться.

Августа 11.

...У нас прекрасная погода, август гораздо теплее, чем был июль, я надеюсь, нам не будет холодно дорогой в сентябре. – Вы говорите, что в этом году и озимые и яровые хороши. Слава Богу! наши крестьяне будут очень рады, если урожай окажется богатым. Вы говорите, что в этом году у нас много вишен; у меня текут слюнки, когда я думаю об этом. – Вы все занимаетесь постройками, любезная маменька, мне думается, вы сделали уже много с тех пор, как нас нет. – У нас нет времени, чтобы купить табаку братьям и послать его с подводами, но мы его привезем. – Брат хотел мне написать; все же вот его адрес; думаю, он вам его еще не сообщил:

Его благородию милостивому государю
Евгению Аврамовичу Боратынскому
В Роченсальм.
В канцелярию Нейшлотского пехотного полка.

Он рассказал мне странную вещь: Фридрихсгам сгорел дотла; квартира, где он жил, находилась в центре города и единственная уцелела...

Приложение к Журналу Софи.

Июля 20–21.

Я именовал Софи ангелом не потому, что такова моя прихоть, но потому, что она того заслуживает. Если она будет и впредь вести себя столь же прекрасно, как ныне, я не премину возвести ее в серафимы. Она взяла учителя музыки, она носит новые наряды, которые велела себе пошить, она с удовольствием сопровождает нас в театр и не знает ничего лучшего, чем летать по городу, – это ли не бытие сущего ангела? Мы только что отпраздновали именины Ильи Андреевича у здешнего дядюшки – обед был очень весел, а мой ангел – очень любезен. Мой ангел обретает в Петербурге самобытность, и это доставляет мне истинное удовольствие. Что до меня, то, беззаботный и равнодушный, как обычно, во всем, что касается себя самого, я всецело предаюсь счастью располагать моей Софи, я люблю чувствовать ее рядом, я смотрю на то, как она *существует*, и с меня довольно. Тем не менее, мне хотелось бы – у кого нет желаний? – мне хотелось бы никогда не расставаться с нею, следовать за нею повсюду, – и, коли она мой ангел, я желал бы надеяться, что однажды она возвратит меня к вам. Дела мои все в прежнем положении. Обещают замолвить за меня словечко перед императором, когда будут выходить наши полки, иначе говоря, в конце августа; видимо, император, следуя своим правилам, откажет. В последнем случае я решился просить отставки, если вы не будете тому противиться. Я не охотник до званий и как ни блистателен чин прапорщика, он мало соблазняет мою пресыщенную душу. Но надобно вам знать, что для осуществления моего намерения одной моей философии недостаточно. Нужно, чтобы за дело взялся дядюшка, если вы напишете ему несколько слов, любезная маменька, только для того, чтобы он знал, что мое намерение вас не устрашает и что ваш сын, отказавшись от чинов в свете, может, мечтая быть любезным для вас, получить высокий чин при вашей особе. Простите мне краткость моих писем, я никоим образом не могу состязаться с Софи. Она ангел, поэтому я от всего сердца соглашаюсь, чтобы вы любили ее больше, чем меня. Прощайте, любезная маменька, тысячу поклонов любезным тетушкам.

Е.Б.

* * *

И вот сентябрь! И вот Роченсальм. И вот место, где много лет назад увидел себя унылым пленником Аврам Боратынский. Те же свинцовые волны плещут у ног.

Фридрихсгам еще не отстроен заново, и Нейшлотский полк квартирует нынешнюю зиму на берегу залива: "... крепость *Роченсальм*, – по-фински *Котка* называемая; город сей лежит на острове, покрытом лесом, и строения по оному разбросаны. Он построен русскими и до присоединения новой Финляндии был главным портом и находился в цветущем положении, теперь приходит в упадок; остров со всех сторон

укреплен отдельными батареями...; также вход в гавань защищен отдельными укреплениями, расположенными на островах, вдающихся в море..."

* * *

Не долго, впрочем, в этот раз пробыл Боратынский в Финляндии. Наверное, Софи не успела еще доехать до Мары, как он снова вернулся в Петербург – в четырехмесячный отпуск. Куда он направился из Петербурга и скоро ли – бог весть. Октябрь, ноябрь, декабрь 822-го и январь 823-го он провел в неизвестной нам стороне. Может быть, в Москве? Ибо где, как не в Москве, может пропасть человек до такой степени бесследно, чтобы не осталось от его бытия ни клочка бумаги? Довольно, однако, гонений на Москву. Вероятнее, в Москве Боратынский был, но, как и в Петербурге, проездом – по пути в Мару, где и жил все время отпуска. Может быть, он снова был представлен Лутковским к производству в офицерский чин. – Все сие нам не ведомо. Зато мы в точности знаем, что прапорщиком его опять не сделали и что Александра Федоровна категорически воспротивилась идее отставки.

Итак, пусть он пока живет в Маре и помогает Александре Федоровне в хозяйственных хлопотах; пусть ангел Софи продолжает с ним фортепьянные уроки; пусть старый Жьячинто рассказывает ему в последний раз о Неаполе (и больше они не увидятся, ибо Жьячинто скоро станет первым из их семейства, кто ляжет в землю внутри церковной ограды возле новенькой, третий год действующей марской церкви). Пусть идиллия темных ноябрьских вечеров и первых декабрьских снегов убаюкивает недужные страсти.

Перелетим-ка на это время к подножию петербургского Парнаса, где, в отличие от степных раздолий, страсти клокочут. Натурально, страсти особенного рода.

* * *

Как ни забавно, одним из очагов, где разжегся огнь подлепарнасских битв, стал все тот же гостеприимный дом на Фурштадтской, куда вместе с Александром Ефимовичем Измайловым чаще и чаще приходили Остолопов, братья Княжевичи, Панаев, Сомов – то были небольшие певцы, но верные сотрудники Александра Ефимовича в "Благонамеренном" и в Михайловском обществе. Поддерживаемые веселостью С.Д.П., в июне 821-го года они составили домашние заседания в словесных упражнениях, назвав свой сочинительский круг в честь его основательницы: С.Д.П. – *Сословие Друзей Просвещения* и получив иные, чем в миру, именования, под коими в продолжение полугодичных упражнений своих записывались в рукописных протоколах, а затем печатались в "Благонамеренном". Сам Александр Ефимович стал называться Баснин (ибо писал басни), Панаев стал Аркадиным (за аркадские картины в его идиллиях), Остолопов – Словаревым (за "Словарь древней и новой поэзии в 3-х частях" – СПБ., 1821, в типографии имп. Российской Академии), Дмитрий Княжевич – Сословиным (за то, что имел склонность к состав-

лению словаря сословов*), два брата его Княжевичи – Софииным и Юлииным, Сомов – Арфиным, Аким Иванович, супруг С.Д.П., – Бесединым, Яковлев – Узбеком (ибо прибыл из Бухары). Сама С.Д.П. стала попечителем Мотыльковым. – Павел Яковлев сочинил церемониал принятия новых членов:

Все члены сидят, и к ним вводят слепотствующего искателя Софии-мудрости, мыслящего стать содругом просвещения. Его спрашивают: "Любишь ли ты мудрость?" – Он ответствует: "Люблю ее, ищу ее, поклоняюсь ей". – "Любишь ли ты дружбу?" – "Ей посвящаю дни мои". – "Отрицаешься ли славенизма?" – "Отрицаюсь". – "Отрицаешься ли Шишкова и братии его?" – "Отрицаюсь". – "Отрицаешься ли бисерных, кристальных, жемчужных слез?" – "Отрицаюсь". – "Отрицаешься ли злоязычия Воейкова?" – "Отрицаюсь". – "Отрицаешься ли графа Хвостова, подражателей и почитателей его?" – "Отрицаюсь". – Тогда искателя мудрости должны возвести на кафедру, составленную из "Тилемахиды" Тредиаковского, "Рассуждения" Шишкова, Делилевых "Садов", переведенных Воейковым, и еще какой-то тяжести, и предложить ему произнести торжественный обет: "Клянусь любить С.Д.П. – словесность, деятельность и премудрость". После сего попечитель Мотыльков, прикасаяся своими перстами до очей, ушей и уст искателя, очищает оные от скверны и отверзает их, дабы тот мог отныне внимать и неба содроганью, и гад морских подводному ходу, и главное, – мудрости: *Софии! Софии! Софии!* Так обязан возгласить нововступивший член в начале своей благодарственной речи.

Церемониал сей остался не осуществлен, ибо такие прожекты и хороши тогда, когда они прожекты. Коли их выполнять, будет скука, а скуки не терпел попечитель Мотыльков. Кроме того, не было новых членов, да и самые заседания, несмотря на усилия попечителя, уже осенью 821-го года происходили редко, и в недолгое время общество (как *общество*) скончалось.

Поводы к его кончине выказались, наверное, в сентябре, когда Панаев, после месячного отсутствия, обнаружил на Фурштадтской Кюхельбекера, Дельвига и Боратынского, а те не обнаружили к нему почтительной приязни. Панаев, помнится, стал пенять Александру Ефимовичу на нежданных гостей и выговаривать Софье Дмитриевне за ее неразборчивость в знакомствах. Вряд ли и прочие члены *Сословия друзей просвещения* были так же, как хозяйка, расположены к новым лицам: все-таки Гнедич и Крылов – это одно, а баловни-поэты – совсем иное. Тут было, конечно, ревнование не только сочинительское. Особенно у Панаева. Добрейший Александр Ефимович и желал бы их примирить, ибо был только на словах злым гонителем, а так – милее души не видал никто... Но гранитный в своем самолюбии Панаев, не выдержав унизительного равноправия с нежданными гостями, твердой стопою вышел из дома на Фурштадтской, не взирая на мольбы. Это было осенью – в начале зимы 821-го года. И скоро кончилось незабвенное общество, но не прекратились переходящие в утра вечера на Фурштадтской, и не перестала

---

*Синонимов.

хозяйка вечеров умножать число своих подданных, а один из баловней-поэтов прямо высказал ей тогда свои упования: "На ваших ужинах веселых я основал свои надежды и счастье нынешней зимы" — так он выразился.

Чем увенчались надежды и как рассеялось счастье, мы уже, увы, знаем, и не о том речь сейчас (пока Боратынский проводит осенью 822-го года мирные дни в Маре). Речь о том, что "Благонамеренный", издававшийся Александром Ефимовичем, был журнал, отличный от домашних альбомов по преимуществу одним типографическим оформлением. А так — особенно в те три с лишним года, пока наиболее ярко пылали страсти на Фурштадтской, — "Благонамеренный" печатал почти исключительно гостей Софии Дмитриевны.

Александр Ефимович был, повторяем, добрейшим человеком, но, не обидев и мухи в своей ежедневной жизни, он не мог не язвить в стихах. Высокого росту, широкий телом и с тяжелыми очками на толстом носу, он был душою мелкосуетен и с равным удовольствием смеялся вместе с Дельвигом над Федоровым, потом вместе с Федоровым над Дельвигом, и наконец вместе с Яковлевым — и над Федоровым и над Дельвигом обоими.

Его любовь к Софии Дмитриевне можно бы сравнить с чувствами Александра Ивановича Тургенева к *Светлане* — Воейковой: то была такая же ровно горевшая и постоянная страсть, разве более словоохотливая. Но кто ж сравнивает страсти? Ей, своей незабвенной, он мог прощать любые extremités*.

В стихах же он не жаловал крайностей, особенно романтических, и многие сочинения Бор... Дель... и Виль... Кю...** (так он шутил) не одобрял. — Но все же на страницах "Благонамеренного" даже злобные намеки могли уязвить только неискушенных. И когда Александр Ефимович помещал такие, например, суровые объявления: "Строжайше запрещено пропускать сочинения, не имеющие нравственной и полезной цели; особенно содержащие в себе сладострастные картины или так называемые либеральные, т.е. возмутительные мысли", — то это можно было принять скорее за тыканье пальцем в Бирукова***, чем за идею издателя.

Впрочем, не будем оберегать Александра Ефимовича от стрел критики. Разумеется, он не стал бы доносить на своих младших отчасти приятелей — баловней-поэтов, — но и удерживать себя и своих действительных друзей (особенно *друзей просвещения*) от того, чтобы посмеяться над ними, — было не в его правилах.

Еще в 820-м году он уже кое-что помещал в "Благонамеренном" на тот счет, что ныне есть такие сочинители, которые кроме самих себя лучше никого не видят и друг друга *в таланты жалуют, бессмертие дают.*

Потом, весной 821-го года, выбрав в посредники Измайлова, на

---

*Крайности *(фр.)*.

**Vile queue — мерзкий хвост *(фр.)*; vile cul — мерзкий зад *(фр.)*.

*** Известный цензор, хороший знакомец Александра Ефимовича.

Дельвига и Боратынского решил напасть их бывший приятель – Крылов (не Иван Андреевич, разумеется, а младой его однофамилец – Александр). В марте 820-го года Крылов весьма поддерживал Кюхельбекера и сильно негодовал на Каразина ("Пусть зависти змия шипит у ног Певца – Он звуком струн шипенье заглушает!"). Полтора года назад, перед отбытием в Финляндию, и Боратынский посвятил ему одно откровенное послание. Не знаем, правда, явилось ли оно отголоском действительных общих застолий или было только отзвуком чисто поэтического ревнования покойному Державину, любившему некогда размышлять о скоротечности всего вообще:

Летящий миг лови украдкой, —
Игея, Вакх еще с тобой!
Еще полна, друг милый мой,
Пред нами чаша жизни сладкой;
Но смерть, быть может, сей же час
Ее с насмешкой опрокинет, —
И мигом в сердце кровь остынет,
И дом подземный скроет нас!

Было время – и Дельвиг писал Крылову о *чаше жизни* и о *чаше круговой...*

А в мае 821-го года, пока Боратынский пировал с Дельвигом новое возвращение из Финляндии, Крылов принес Александру Ефимовичу для "Благонамеренного" четырехстопное отречение от былых знакомцев, прочитанное тотчас (а именно: 26 мая) в Михайловском обществе, в тот же день внесенное в домашний альбом Александра Ефимовича и полетевшее истинным картелем к прежним друзьям.

. . . .
Я никогда не буду с ними
Среди мечтательных пиров
Стучать бокалами пустыми!
Но что ж!.. к чему напрасный вздох?
Уже Парнаса грозный бог,
Исполненный негодованья
На дерзостных жрецов своих,
Сказал: "Да будут их посланья
Так сухи, как бокалы их!"
И страшный приговор свершился!
Не внемлют музы их мольбам;
Пред ними с шумом затворился
Бессмертия высокий храм!
Пускай трудятся: их творенья
Читателей обнимут сном,
И поглотит река забвенья
Венец, обрызганный вином!

Причины крыловского гнева нам не ведомы.

Когда Дельвиг ознакомился с содержанием этого картеля, он, видимо, должен был молвить: "Забавно"! – и посмотреть вопросительно поверх очков на своего друга. Дельвиг плохо умел отвечать на грубости: язвительность между ними была привилегией Боратынского.

Недаром он, едва начав сочинять стихи, сразу испробовал остроту своего языка на невинном в ту пору перед ним Шаликове. Тут же был случай иного свойства – тем более вызов был принят.

Кто жаждет славы, милый мой!
Тот не всегда себя прославит;
Терзает Комик нас порой,
Порою Трагик нас забавит.
Путей к Парнасу много есть:
Зевоту можно произвесть
Равно и Притчею и Одой,
И ввек того не приобресть,
Что не даровано природой.
. . . .
Неисповедим Фебов суд.
К чертогу Муз, к чертогу славы
Одних ведет упорный труд,
Других ведут одни забавы!
. . . .
Равны все Музы красотой,
Несходство их в одной одежде.
Старайся нравиться любой,
Но помолися Фебу прежде.

Сей миролюбивый ответ они отдали в "Русский инвалид". Крылов не отвечал публично, то ли получив полное удовлетворение, то ли быв занят чем-то более достойным.

* * *

Прошел год.

Догорала страсть Боратынского к С.Д.П.; начались ее свидания с Панаевым в Летнем Саду; Дельвиг все более доверялся своим чувствам к ней; Воейков затеял собственный журнал, пока в виде приложений к газете "Русский инвалид" – "Новости литературы", – куда заманивал всех лучших сочинителей (благо все они были в большей или меньшей степени влюблены в его жену); Батюшков со всей очевидностью сошел с ума (но еще теплилась надежда на выздоровление); между Петербургом и Москвой начались регулярные рейсы дилижансов; отдельным указом запретили всяческие тайные общества; в типографии Греча печаталось полным ходом, вдогонку "Шильонскому узнику" Жуковского, – новое, *романтическое* сочинение Пушкина: "Кавказский пленник"; в Петербург приехала спасать брата Софи Боратынская; возвращались гвардейские полки; князь Шаховской поставил на театре очередное создание своего быстротворящего разума – "Новости на Парнасе, или Торжество Муз"... Последнее событие имеет точную дату – 10 июля 822-го года – и одно, ныне неопределимое с точностью во времени стихотворное следствие в 11-ти куплетах, – какое, сейчас скажем.

* * *

Подлепарнасские страсти потому и подлепарнасские, что питаемы не только пермесским жаром. На самом Парнасе не бывает страстей, воздух

там столь прогрет и разрежен, что одной душе возможно не задохнуться на его горной вышине. Мягкому телу не выдержать давления небес и искуса кручи. И потому на самом Парнасе не бывает ссор, обид и ревнований: Гесиод и Омир, Анакреон и Тасс, Катулл и Парни равно приемлют здесь и высокие песнопения эпических певцов и дружеские безделки баловней Харит. Одного они не терпят – дурных творений и их творцов. Впрочем, холодные стихотворцы и не доползают до тех мест, а дурные стихи не долетают до бессмертных ушей, ибо слишком тяжелы достигать такой высоты. Конечно, и на Парнасе известно об этих стихах и стихотворцах, но лишь косвенно – чрез стихи истинных певцов и любимцев муз, – стихи, бывшие некогда отзвуком посредственных и бездарных.

Помните, какой скандал вышел два года назад, в марте 820-го года, когда Василий Назарьевич Каразин оставил соревнователей без своего просвещенного покровительства? А ведь тогда следом за ним из собрания соревнователей вышли еще несколько сочинителей, и в их числе князь Цертелев и Борька Федоров. Потом, помните? были "Поэты" Кюхельбекера, были послания Каразина Кочубею, высылка Пушкина, отставка Кюхельбекера. Ни Федоров, ни Цертелев не жаловались на баловней ни министру, ни государю, ибо не алкали, как Василий Назарьевич, власти в департаменте призрения общественных нравов. Но, как и Каразин, они негодовали против этих les chevaliers des extremités*, пролезающих в журналы со своими *чашами, сладострастиями, вольностями и тоскованиями*, и готовы были вослед Василию Назаровичу возвестить нечто весомо нравоучительное на счет разврата духа. Что-нибудь вроде: "Безнравственность печати не может учить нравственности". Или как-нибудь так: "Цепь приправленных отравой цинизма разочарований гасит здоровую радость молодости". – Подобные заклинания живут на устах самолюбивых посредственностей во все времена, то переходя в шепот доноса, то публично грозя расправой. По счастью, Федоров и Цертелев в ту пору не принадлежали к числу ни секретных осведомителей, ни клеймящих трибунов. – Впрочем, Федоров еще дойдет до степеней доносительских – через двадцать лет; но такое уж тогда настанет время.

А сейчас, летом 822-го года петербургским любителям словесности Федоров готовит подарок – две эпиграммы на Дельвига – те самые, что осенью Александр Ефимович поместит в "Благонамеренном" за подписью *Д.* и *Б.Д.* (то есть за подписью самого Дельвига). Кроме приближенных к Измайлову, никто, разумеется, не знает истинного сочинителя, и сам Дельвиг, видимо, подозревает в равной степени и Александра Ефимовича, и Остолопова, но, кажется, он считает, что это проделки Сомова, а на Федорова не думает. Не знаем, стал ли Федоров Борькой благодаря Дельвигу или уже назывался Борькой, когда его так назвал Дельвиг, только известно, что самое площадное свое сочинение Дельвиг написал именно про него:

Федорова Борьки
Мадригалы горьки,

---

*Рыцарей крайностей *(фр.)*.

**Комедии тупы,
Трагедии глупы,
Эпиграммы сладки.
И, как он, всем гадки.**

Федоров был в 822-м году по возрасту молодым человеком 24-х лет, по службе – секретарем Александра Ивановича Тургенева в департаменте духовных дел, по дружбе – сочувственником Александра Ефимовича Измайлова и душевным приятелем Панаева. Он сочинял столько, сколько не писывали за год Хвостов и Шаховской, обоюдно взятые. Зато он был не только застрельщиком подлепарнасских сшибок, но и сражался после начала битвы до последней капли. Эпиграммы же его на Дельвига не были ни сладки, ни горьки и имели целью изобличить великую сонливость барона, воспетую самим Дельвигом и всеми его друзьями. Первая эпиграмма называлась "Эпитафия баловню-поэту"; вторая – "К портрету NN". "Его будили – нынче нет, – писал Борька про Дельвига. – Теперь-то счастлив наш Поэт!" Вторая эпиграмма имела ту же дозу веселости.

Но кажется нам, не Федоров тогда первым начал и его эпиграммы явились уже после помянутых 11-ти куплетов...

Июль был жаркий и многолюдный; вместе с гвардией вернулись Болтин и Чернышев. Боратынский и Коншин еще оставались в Петербурге.

– Друзья! – восклицал, веселея, Коншин, – сегодня невзначай пришла мне мысль благая вас звать в *Семеновский*, на чай. – В Семеновских ротах квартировали до августовского выхода в Финляндию многие нейшлотцы. – Иди, семья лихая!.. Приди, *Евгений*, мой поэт, как брат, любимый нами, ты опорожнил *чашу бед*, поссорясь с небесами... И *Дельвиг*, председатель муз, *и вождь, и муж совета*, покинь всегдашней лени груз, бреди на зов поэта... И *Чернышев*, приятель, хват... *Болтин*-улан, тебе челом, мудрец златого века!.. Дай руку, брат, иди ко мне, затянем круговою! Прямые радости одне за чашей пуншевою... – Клич Коншина назывался: *К нашим* ("Не ваш, простите, господа; не шумными иду путями", – отвечал потом всем *нашим* Борька).

Жар встреч, пыл разговоров и пламенная младость, верно, завели их на премьеру выше помянутых "Новостей на Парнасе". – Суть новостей Шаховского была в том, что Водевиль, Журнал и Мелодрама отважились соревновать Музам, но, понятно, успеха не имели и были торжественно изгнаны со сцены, декорированной Парнасскими пейзажами. Должно быть, тогда-то – в промежутке между музицированиями под нежный голос ангела Софи, раздумьями об отставке и застольями в честь Ильи Андреевича – *унтер-офицер Боратынский с артелью* и сочинил "Певцов 15-го класса". Может быть, в артели, кроме Дельвига, был еще кто-то из наших, но анналы пиров расплывчаты так же, как любовные предания, и на имена и даты скупы.

Стихи были, натурально, для себя и в печать могли попасть только, если бы не Батюшков, а Бируков сошел с ума. Но Бирукову сходить было не с чего, да и стихи были хороши, если честно признаться, лишь тем, что в них *наши* откатали *не наших*.

Завязкой сих водевильных куплетов стали "Новости на Парнасе".

Князь Шаховской согнал с Парнаса
И мелодораму и журнал,
Но жаль, что только не согнал
Певца 15 класса.

(15-го класса не предусматривала Табель о рангах – наименьшим был чин 14-го класса – тот самый, о котором хлопотал сам Боратынский.)

Но я бы не согнал с Парнаса
Ни мелодраму, ни журнал,
А хорошенько б откатал
Певца 15 класса.

Дальше шли куплеты от лица Александра Ефимовича ("Я председатель и отец певцов 15-го класса"), Остолопова ("Я перевел по-русски Тасса, хотя его не понимал"), Панаева ("Во сне я не видал Парнаса"), Сомова, одного из братьев Княжевичей, Чеславского ("Я конюхом был у Пегаса") и Хвостова. Последний куплет был про Бирукова ("Я не 15 класса, я цензор – сиречь – я подлец"). Словом, тут были собраны главные действующие лица Михайловского общества и "Благонамеренного". – Такие сочинения пишутся в полчаса (по неписаным законам пиров – между шестой и девятой); переписываются они и разлетаются по Петербургу в полтора дня. Но, помноженные семикратно (Бируков не в счет) на самолюбия задетых сочинителей, они имеют долголетнее бытие и иногда служат завязкой пожизненных ссор.

Однако на этот шомпол не был нанизан Федоров. Артель удовольствовалась на его счет прежними (еще в "Ответе Крылову") стрелами, от которых Федоров не мог бы отвести лба, даже если те стрелы не в него летели:

Напрасно до поту лица
О славе Фофанов хлопочет:
Ему отказан дар певца,
Трудится он, а Феб хохочет.

– Не ваш, простите, господа, – прямо, как воин, отвечал Борька. – Я не имею дарованья: вас не хвалил и виноват! Не стою вашего посланья, и мне стишков не посвятят. – Сам он, однако, посвятил им немало стишков. Чтобы любезный читатель убедился воочию на счет Борькиной бездарности, помещаем здесь четыре куплета Федорова о Боратынском:

В элегии, посланье и романсе
На пир и к чашам он зовет.
Honny soit qui mal y pense* –
И чашки даже в доме нет!

В элегии, посланье и романсе
Увял для жизненных утех!
Honny soit qui mal y pense –
Он в людях ест и пьет за трех.

В элегии, посланье и романсе
Желаний негой он томим.

*Стыдно тому, кто дурно об этом подумает *(фр.)*.

Honny soit qui mal y pense –
Он дремлет, и читатель с ним.

В элегии, посланье и романсе
Себя поэтом он зовет!
Honny soit qui mal y pense –
И в этом также правды нет.

Федоров стал вторым после Кюхельбекера летописцем союза поэтов. Через два года после Кюхелевых "Поэтов" он нашел достойный способ излить всю желчь и всю досаду на выходки баловней:

Сурков Тевтонова возносит;
Тевтонов для него венцов бессмертья просит;
Барабинский, прославленный от них,
Их прославляет обоих.

(Логика обидных кличек всегда имеет свое затаенное коварство. Пересмеять Дельвига Федоров не умел (его "Дельвига баронки пакостны стишонки" не установили за Дельвигом сего прозвища так, как "мадригалы горьки" утвердили Борьку – Борькой.) Более чем новым указанием на сонливость в имени *Суркова* Федоров Дельвига не уязвлял. – Кюхельбекер стал *Тевтоновым*, ибо был немец. – Не вполне ясно, почему Боратынский стал *Барабинским*: то ли Борька хотел сказать, что он родом из Барабинских степей, то ли имел в виду, что ему место в тех степях. – Нет нужды знать.)

Дальше Борька мстил и за *Фофанова*, и за *Борьку*, и за *трудится он, а Феб хохочет*, и за *ввек того не приобресть, что не даровано природой*, и вообще за всех певцов 15-го класса.

Тевтонова Сурков в посланьях восхвалял:
О Гений на все роды!
Тевтонов же к нему взывал:
О баловень природы!
А третий друг,
Возвысив дух,
Кричит: вы *баловни природы!*
А те ему: *о Гений на все роды!*
. . . .
Слепую нас *толпу*, счастливцы, забавляйте —
И свой отборный слог любя,
Хвалите вы — самих себя!

Впрочем, за всю *слепую нас толпу* Борька зря обижался. Певцы 15-го класса себя в обиду не дают, и первый из них – давний наш знакомец Александр Ефимович Измайлов, чья рука, лишь только в нее попал список "Певцов 15-го класса", уже выводила быстроумное продолжение:

Барон я! баловень Парнасса.
В Лицее не учился, спал
И с Кюхельбекером попал
В певцы 15-го класса.

Я унтер — но я сын Пегаса.
В стихах моих: *былое, даль,*
Вино, иконы, б...ди, жаль,
Что я 15 класса.

Не только муз, но и Пегаса
Своею харей испугал
И, совесть потеряв, попал
В писцы 15 класса.

Тою же рукой Александр Ефимович переписал "Певцов" в новом составе (для себя) и велел, видимо, снять копии (для добрых людей). Такими штуками он не мог оскорбиться, ибо сам столько раз затевал подобные рукопашные бои, что видел в них только практику для обтачивания быстро тупевшего от бездействия языка. Он любил подлепарнасский шум, ибо не считал себя, как Панаев, первым поэтом эпохи.

И волны площадных острот стали заливать петербургские стогны.

Остер, как унтерский тесак,
Хоть мыслями и не обилен,
Но в эпитетах звучен, силен —
И Дельвиг сам не пишет так!

Он щедро награжден судьбой,
Рифмач безграмотный, но Дельвигом прославлен!
Он унтер-офицер, но от побой
Дворянской грамотой избавлен.

Долги — на память о поэте —
Заимодавцам я дарю...
Стихотворенья — доброй Лете,
Мундир мой унтерский — царю.

Хвала вам, тройственный союз!
Душите нас стихами!
Вильгельм и *Дельвиг*, чада муз,
Бард *Баратынский* с вами!
Собрат ваш каждый — Зевса сын
И баловень природы,
И Пинда ранний гражданин,
И гений на все роды!

Боратынский отвечал походя тоже площадным четверостишием. Оно дошло до нас в пересказанном виде:

Я унтер, други! — Точно так,
Но не люблю я бить баклуши,
Всегда исправен мой тесак,
Так берегите — уши!

Но все же не в его натуре было прощать глупости глупцам, да и шуточки благонамеренных про унтерский мундир стоили ответа не менее оскорбительного, но более искусного, чем четырехстрочная отмашка тесаком. И вот, видимо, осенью 822-го года, озирая из Мары все дальное пространство подлепарнасского поля битвы, Боратынский стал готовить шестистопный залп по певцам 15-го класса – послание "Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры".

Между тем, среди прочих событий, настал 823-й год; благонамеренным друзьям просвещения пришел на подмогу блаженный князь Цертелев; "Благонамеренный" запестрел уже не одними эпиграммами да куплетами Федорова, но и глубокомысленными разборами Цертелева,

и вообще не было ни одного его номера, где бы Александр Ефимович не публиковал хоть небольшой сентенции против *баловней, союза поэтов и новой школы словесности.* – 823-й год отсчитывал месяц за месяцем. Боратынский снова оставил родные пенаты и вернулся в Финляндию; там, наверное, и довершил сатиру к Гнедичу. В продолжение времени он это послание многажды переделывал; Бируков не допустил его к печати, и, разошедшись в списках, оно породило массу разночтений.

Конечно, обилие личностей, тут содержавшихся, вряд ли возвышало певца пиров, да и некоторые остроты уже не были и остротами, а срывались в неблагопристойность (одна из них вызвала благородное негодование всех без исключения, независимо от класса в парнасской табели о рангах – "*Сомов безмундирный* непростительно. Просвещенному ли человеку, русскому ли сатирику пристало смеяться над независимостью писателя? Это шутка, достойная коллежского советника Измайлова"*. Что ж! Сатира – не эпиграмма. Это эпиграмма бьет тесаком наотмашь, вылетает стрелой из засады, жужжит неотвязной мухой. Сатира – род более тяжелый: в нем потребно не мгновенное остроумие, а некоторое постоянство язвительного расположения мыслей. Да и легкость, сама собой движущая четырехстопную эпиграмму, не к лицу сатирическим шестистопникам, чьи остроты более напоминают афоризмы лукавого философа, сторонне наблюдающего жизнь, чем задиристые кличи эпиграмматиста.

Лукавство сатиры к Гнедичу было в том, что, во-первых, Боратынский беседовал в ней с поэтом, не сочинявшим эпиграмм, старшим его на пятнадцать с лишком лет и стоявшим как бы вне и над литературными сшибками. Гнедич переводил "Илиаду". Этот смысл его жизни определял его особенное положение, ибо переводить Гомера русскими гекзаметрами и переводить, судя по читанным вслух отрывкам, хорошо – это совсем не то, что переделать две-три элегии Парни или приноровить какую-нибудь сатиру Буало к нашим нравам. Кто, спрашивается, не переводил Парни, не приноровливал Буало или не переделывал какой-нибудь Лебреневой эпиграммы? – Сколько времени это у вас занимало? – Вспомните!

А Гнедич – трудился; он в прямом смысле *служил Музам*; каждый день, строка за строкой, он двигался к одолению всех 24-х Омировых песен. Разумеется, у Гнедича было еще множество дел в текущей жизни: и в обществе соревнователей он действовал, и декламационному трагическому искусству актеров учил, и в императорской библиотеке упорядочением книг занимался. Но главным оставался Гомер, и Гнедич был убежден, что истинных поэтов влечет высокая цель. А посему, видя в стихах и Пушкина, и Дельвига, и Боратынского действительно поэзию, не мог не сетовать на то, что нет у них главной, значительной, высшей цели, которая соединяла бы в одно великое разные песнопения.

У Боратынского с ним никогда не было коротких отношений: он помнил, что он и младше, и занят, по сравнению с "Илиадой", в сущности, безделками. (Вот образчик их дружбы: "Почтеннейший Николай Ивано-

---

* Смысл шутки был в том, что Сомов не служил нигде и, не имея чина, не имел никакого служебного мундира.

вич, больной Боратынский довольно еще здоров душою, чтоб ему глубоко быть тронутым вашей дружбою. Он благодарит вас за одну из приятнейших минут его жизни, за одну из тех минут, которые действуют на сердце, как кометы на землю, каким-то електрическим воскресением, обновляя его от времени до времени. – Благодарю за рыбаков, благодарю за прокаженного*. Вы сделали, что все письмо состоит из однех благодарностей. – Еще более буду вам благодарным, ежели сдержите слово и навестите преданного Вам Боратынского. – Назначьте день, а мы во всякое время будем рады и готовы". – Письмо это было писано в конце февраля – начале марта 822-го года. За полгода в его отношениях с Гнедичем не многое изменилось. Тот по-прежнему писал "Илиаду"; он – элегии, и вот теперь еще "Певцов 15-го класса".)

Не знаем, был ли отдельный разговор между Боратынским и Гнедичем о полезном и приятном в поэзии; доказывал ли Гнедич Боратынскому, что его дар достоин лучшего применения; указывал ли ему Гнедич на то, что в куплетах о певцах 15-го класса смысла не более, чем в ребяческих дразнилках; советовал ли он ему и впрямь, *едкой желчию напитывая строки, сатирою восстать на глупость и порок* – иначе говоря, не бросать отдельные камни в отдельных певцов, того не стоящих, а сойти с ними в арену и разделаться однажды разом со всеми и навсегда. – Это нам неизвестно. Известен результат – сатира получилась, несмотря на *безмундирного*, хотя Пушкин говорил, что в ней мало перца. Быть может, он прав, но мы все же поместим – в оправдание своего мнения – некоторые наиболее примечательные, как говорят нынешние критики, места.

. . . .
Признаться, в день сто раз бываю я готов
Немного постращать Парнасских чудаков,
Сказать хоть на ухо фанатикам журнальным:
Срамите вы себя ругательством нахальным.
. . . .
Сказать Панаеву: не музами тебе
Позволено свирель напачкать на гербе;
Сказать Измайлову: болтун еженедельной,
Ты сделал свой журнал Парнасской богадельной,
И в нем ты каждого убогого умом
С любовью жалуешь услужливым листком.
И Цертелев блажной, и Яковлев трактирный,
И пошлый Федоров, и Сомов безмундирный,
С тобою заключив торжественный союз,
Несут к тебе плоды своих лакейских муз.
. . . .
Меж тем иной из них, хотя прозаик вялый,
Хоть плоский рифмоплет — душой предобрый малый!

---

* Рыбаки – это "Рыбаки", отменная по вкусу и исполнению идиллия Гнедича; в 822-м году она была по произведенному эффекту то же, что, скажем, через три года первая глава "Онегина". А прокаженный – это "Прокаженный из города Аосты", французская повесть Ксавье де Местра; Боратынский перевел "Прокаженного" на русский и, если не считать повести "Перстень", ничего более длинного в прозе он никогда не писал. Гнедич, видимо, споспешествовал тому, чтобы "Прокаженный" был напечатан.

Измайлов, например, знакомец давний мой,
В журнале плоский враль, ругатель площадной,
Совсем печатному домашний не подобен,
Он милый хлебосол, он к дружеству способен:
В день Пасхи, Рождества, вином разгорячен,
Целует с нежностью глупца другого он;
Панаев в обществе любезен без усилий,
И, верно, во сто раз милей своих идиллий.
Их много таковых — за что же голос мой
Нарушит их сердец веселье и покой?
Зачем я сделаю нескромными стихами
Их из простых глупцов сердитыми глупцами?
Нет, нет! мудрец прямой идет путем иным.
И, сострадательный ко слабостям людским,
На них указывать не станет он лукаво!
. . . . .

* * *

Различие между разумением поэзии у людей со вкусом и у людей без вкуса в том, что первые знают, что есть хорошие стихи и дурные; вторые же убеждены, что хорошие стихи — это стихи правильные, а плохие — неправильные, и для них всякое новое словосовмещение или неожиданное выражение плохо только потому, что непривычно или не освящено перечнем наставлений Горация и Боало.

"Шиллер, Бейрон, Мур, Жуковский и Пушкин, почитаемые образцовыми писателями в романтическом роде, скорее отказались бы от славы своей, чем согласились считаться *однородными* певцам *любви кипящей Гетер* и проч., окружающим свои *он, она, ее* сплетением бессмысленных и противоречивых понятий: *беспокойством тихих дум, говорящим молчанием, веющим сном...*" — так писывал Федоров, который, помимо сих выражений, не мог постичь также, "как можно, дав уму свободу, *пить слезы в чаше бытия!* Очей, *увлажненных желаньем, уста, кипящие лобзаньем,* — я — как шарад — понять не мог", — восклицал Борька. Напрасно, конечно, он привлекал под свои знамена Жуковского и Пушкина, именно благодаря которым наша словесность обогатилась подобными метафорами. "*И лишь молчание понятно говорит*", — Жуковский сказал у нас первый. Тут бы можно было продолжить, да не спорить же, в самом деле, с Федоровым о свободе поэтического словоупотребления!

Его сочувственник, *Житель Васильевского Острова* (как он часто подписывал свои критические мнения) князь Цертелев, по крайней мере, не ссылался на романтические авторитеты Жуковского и Пушкина, ибо в поэзии вообще не смыслил; он попросту делил все вообще в поэзии на старую и новую школы: "*пиитическая нагота* (по старой школе *неблагопристойное*), *дивное* (по старой школе *вздорное*) и *таинственное* (по старой школе *бестолковое*) составляют главнейшие красоты поэтов новой школы". Доказательством Цертелев брал стихи Пушкина, Жуковского, Батюшкова, Боратынского, Дельвига, Вяземского. Даже Федоров мог по праву считаться мыслителем по сравнению с Жителем Васильевского Острова, нанесшим своим псевдонимом нестерпимое оскорбление этому благословенному уголку Северной Пальмиры.

Ни в чьих силах — изменить людское естество; не скажет ни единый

осине: *дубом будь;* не докажете вы глупцу, что он глуп, а сочинителю, не имеющему вкуса, что он не имеет вкуса, – он всё будет делить словесность на школы и направления, во всем будет ему мниться *должное* (хорошее, в его понятиях) и *сущее* (дурное, по его правилам). И потому, если кто собирается оспоривать Федорова или Цертелева, рекомендуем отослать его к "Вестнику Европы" за 819-й год, где напечатана статья одного виленского профессора, сумевшего своим ученым чистосердечием еще за пять лет до споров о преимуществах поэзии классической и романтической предугадать суть того, как будут понимать все грядущие невежды разницу между классиками и романтиками: "В моем понятии все то называется *классическим*, что сходно с правилами Поэзии, предписанными для французов стихотворцем *Боало*; ... для всех образованных народов *Горацием; романтическим* же называется все то, что несообразно с оными правилами, что грешит против них, что им не повинуется".

Федоров, Цертелев и их однодумцы в Вильно, в "Благонамеренном", в "Вестнике Европы" и прочих диких местах необъятных окраин нашей империи, чувствуя посягновение и видя новизны, не умели найти им иного противодействия, кроме публичных сомнений в целомудрии и благонамеренности *новой школы*. Эти сомнения, при нашей тогдашней журнальной публичности, не имели еще прямых политических следствий, но все же, не забудьте: многие из тех, на чей счет сыпались двусмысленные намеки, и без напоминаний общественности находились на особом счету у правительства. Пушкин был в Кишиневе без права возвращения в Петербург, Боратынский – как бы в солдатах, Вяземский – в отставке, в Москве, под тайным надзором. – Словом, на всех сих невинных упражнениях в злословии был свой, особый отпечаток.

* * *

Однако если бы о *классическом* и *романтическом* говорил только Цертелев, а против *чаш бытия* восставали только в "Вестнике Европы" и "Благонамеренном", не стоило о том вспоминать. Но дело приняло иной оборот. Мало, что сами слова *классическое* и *романтическое* вошли в обиход, но и люди мыслящие ввергли свои умы в раздумья о разных школах в словесности и о направлении нашей литературы в последнее десятилетие. Особенно Вяземский, Бестужев и Кюхельбекер потрудились в арене критических ристалищ.

Как всегда бывает во всяких спорах, то, что одним кажется истинно прекрасным, другим видится прямо в ином свете. Для доказательства сей истины довольно двух рассуждений. Вот они:

– Поэт некоторым образом перестает быть человеком, для него уже нет земного счастия. Он постигнул высшее сладострастие... Вернейший признак души поэтической – страсть к высокому и прекрасному: для холодного, для вялого, для сердца испорченного необходимы правила, как цепь для злой собаки, а хлыст для ленивой лошади; но поэт действует по вдохновению...

– Поэт не знает пределов, пламенное воображение его объемлет всю вселенную, ...вкус его отличен от других; образ выражения особенный, если хотите, странный и даже иногда неудобопонятный, ибо самая темнота

имеет свою прелесть; в творении его видна *гениальная* небрежность, и от сего-то оно не имеет определенного цвета, но сливает в себе, так сказать, все цветы.

Если вы не угадали, кто именно что говорит, загляните в примечания, но уверяем вас, что первый говорит действительно любимую мысль, а второй – дразнится.

Вообще же разделение поэзии на классическую и романтическую – занятие неблагодарное в той же мере, в какой было некогда разделение писателей на древних и новых и в какой стало впоследствии распределение словесности по направлениям. Любые классификации хороши на большом расстоянии и подобны делению, например всех женщин на пылких и страстных. А стоит приблизиться к предмету нашего любопытства, окажется, что общая судьба воплотилась в нем совершенно особенным образом, разрушающим все дальнозоркие схемы. – Однако устройство нашего разума таково, что он по самой природе своей обязан постоянно все видимое, слышимое и осязаемое делить: на левое – правое, на сырое – вареное, на горячее – холодное, на высокое – низкое... Протестовать против этой привычки разума – значит противиться природе. – Что ж! *Будь каждый при своем* – мы покорны сей истине и, не желая ни ссорить вновь, ни мирить *классическое* с *романтическим* или *древнее* с *новым*, вернемся в Мару – в тот уголок земли, где небесная ширь сливается у горизонта с полевым простором.

Итак, зима. Снег. Мороз. Шорох ударов вьюги в ставни. Комнаты натоплены. Из гостиной доносятся звуки рояля. Горят свечи. – Вечер.

Но Боратынского здесь уже нет. Пока длились наши рефлексии о классиках и романтиках, он снова покинул родной предел, проскакал и Москву и Петербург, сделал последнюю смену лошадей в Фридрихсгаме и миновал Кюмень-город. И вот уже леденящий ветер с залива бьет шуршащими порывами в кожух его возка, въезжающего в главную улицу крепости Роченсальм.

1823

И вот февраль.

Прóклятый месяц. В Тамбове уже солнце бьет прямыми лучами по последнему, с черными разводами, снегу. Уже к концу месяца побегут ручьи, и зашумит оголодавшее воробьиное племя. А здесь – раз в две недели сквозь мутную пелену просветит желто-серый круг, обозначающий в северных краях небесное светило, – вяло просветит, и снова сырая мгла оденет свинцовой тяготой все вокруг.

Холодно жить в здешней земле.

Медленно идет время.

Побережье застлано снегом, лед сковывает воду залива. Дует сильный и томительно однообразный ветер. Роченсальмский маяк угрюмо и одиноко стоит без действия: "Да, жизнь кончена!" – говорит он всякому проходящему по неровным роченсальмским улочкам.

Что горевать, коли не на что надеяться!

Впрочем, так не бывает, чтобы не нашлось предлога для надежды. – "Надежда имеет почти то же могущество, какое имеет и Вера. Доброе

желание рождает силу; а кто желает сильно, приобретает. – ...Сие-то усердное желание, порождающее силу духа, есть истинный Гений человека. Оное имеет творческий дар и производит жажду, ничем не утолимую..."

Врагиня всякого живого движения сердца, всегда ждущая мгновения, чтобы из засады поразить какой-нибудь новой истиной доверчивую душу, мысль! Не ты ли одна и врачуешь душу, когда она, изнемогая в вынужденном бездействии, уже готова верить тому, что жизнь кончена? – Нет! жизнь не кончена в 23 года. Для духа нет оков.

Учусь покорствовать судьбине я моей;
То занят свойствами и нравами людей,
В их своевольные вникаю побужденья,
Слежу я сердца их сокрытые движенья
И разуму отчет стараюсь в сердце дать!

Бесконечная роченсальмская зима медленно начинает отсчитывать мартовские дни.

То вдохновение, Парнаса благодать,
Мне душу радует восторгами своими;
На миг обворожен, на миг обманут ими,
Дышу свободно я...

И только в апреле сходит снег.

* * *

Любезная маменька!

Вы, конечно, были удивлены, получив чепец-невидимку, запечатанный под видом письма. – Я приготовил для него лучшую обертку, но тяжелых пакетов на здешней почте не принимают. – Почта здесь только для писем, и талисман сестры приняли у меня на правах письма. Едва я исполнил, сколь мог благочестиво, долг благочестия, уже близится Пасха. – Поздравляю вас от всего сердца. – У вас праздники будут великолепны, весна в разгаре, воображаю как прекрасны небеса и солнце. Наш удел не так счастлив: хорошая погода еще не наступала, а ветры приносят с моря холод и влагу. Это томит меня, ибо я люблю весну и жду ее прихода. Время я провожу весьма однообразно, впрочем, совсем не скучаю. Следую вашим наставлениям: много хожу. Рассеиваюсь тем, что взбираюсь на наши скалы, обретающие понемногу свою особенную красоту. Зеленый мох, покрывающий их, выглядит в лучах солнца дивно прекрасным. – Простите, что говорю лишь о погоде, но уверяю вас, здесь она занимает меня более прочего. Пребывая почти наедине с природой, я вижу в ней истинного друга и говорю с вами о ней... как говорил бы о Дельвиге, будь я в Петербурге. Я продолжаю читать по-немецки, Бог знает, есть ли успехи, по крайней мере, я докучаю всем офицерам, знающим этот язык, своими вопросами и желанием говорить на нем. Эти господа весьма забавны и, даром что немцы, на своем языке умеют только разговаривать, а читать не способны, и очень редко могут мне помочь; я вынужден оставлять места, которые не могу перевести со словарем. Так проходят дни, и я рад тому, что чем больше их уходит, тем ближе моя цель – день, когда к удовольствию узнать Финляндию я смогу прибавить удовольствие

покинуть ее надолго. – Прощайте, любезная маменька, представляю, как вы сейчас заняты деревьями и огородом, и представляю с удовольствием – ибо для вас это наслаждение. Передайте мои уверения в дружбе сестрам. – Поклоны и поздравления любезной тетушке.

* * *

Немецкого языка он так и не выучил – зато начал *финляндскую повесть*. План ее прост и ясен: финляндка Эда полюбила русского гусара; тот, добившись победы, охладел к ней и покинул ее; она умерла. Однако кто ж рассуждает о плане, когда речь идет о стихах? В стихах главное стихи, в поэзии цель – поэзия. Правда, сам певец финляндки, по склонности своей к самоумалению в публичных суждениях, говорил впоследствии, что "ему казалося, что в поэзии две противуположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и занимая воображение". –"Эда" была сознательным противуположением первым и лучшим русским повестям этого рода – "Кавказскому пленнику" и "Бахчисарайскому фонтану". Чтобы в том не было сомнений, сочинитель финляндской повести, издавая ее в 826-м году, сам сказал, что "следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели идти новою собственною дорогою". – Пушкин оценит внутреннее достоинство этих слов и повторит их впоследствии, думая о Боратынском: "Он шел своею дорогой один и независим".

Шел.

Но мало идти – мыслящий человек волнуем будущим, и ему потребно видеть свою дорогу открытыми веждами. Мало предчувствовать в себе сокрытое – надо сознать эту свою тайну: свою свободу, свое достоинство, свое поприще. Судьба, жизнь, люди последовательно доказывают нам нашу подражательность и принуждают стать во фрунт, в ряд, в род. Как, при такой зависимости, сделать себя самим собой? – Натурально, не одной "Эдой" разрешима эта загадка, но и "Эдой" в немалой степени – самим стихо-творением ее простого и ясного плана. А одиночество и нерассеянная жизнь среди неродной природы и посторонних, хотя и добрых людей весьма способствуют сосредоточенности души на самосознании.

Конечно, одиночество Боратынского было особого рода, а рассеяний для такого глухого угла, каков Роченсальм, вдоволь. Тут были свои балы, свои пиры, была Анета Лутковская – прехорошенькая, вероятно, и препрелестнейшая кузина. Ей в альбом он переписал почти половину своих прежних любовных признаний.

Наконец, рядом был верный друг Коншин, вечно влюбленный, вечно восторженный, уже встретивший в Петербурге весной 822-го года свою избранницу и убежденный, что именно она являлась ему в сновидениях (в конце концов на ней он и женился).

* * *

Кстати, Коншин вспомнился очень вовремя. Давно мы собирались вернуться к его воспоминаниям. Но то, что он говорит о 15-тимесячной стоянке нейшлотцев в Петербурге, увы, не сообщает нам ни одного нового достоверного факта. Думаем, в Петербурге Коншин виделся с Боратынским куда реже, чем в Фридрихсгаме или Роченсальме; да и своих сердечных забот ему хватало, ибо, кроме встречи со своей избранницею, он влюбился также в некую Марию Т., ради которой уже осенью 822-го года вернулся в Петербург. В Роченсальм он воротился только в феврале 823-го (быть может, вместе с Боратынским, ехавшим из Мары, а быть может, они разминулись в нескольких днях). Здесь они поселились, как и прежде, вместе — в небольшом домике, выходившем окнами не на ширь морскую, а на склон горы. И, только сойдя с крыльца и кверху голову задрав, можно было увидеть, что гора наконец обрывается пологим уступом и там, в высоте, стелются мутные роченсальмские небеса.

* * *

Итак, память сохранила Коншину следующие подробности, касающиеся Боратынского в Роченсальме:

"Сначала скука его была нестерпима; за ней последовало усилие рассеять себя чем бы то ни было, то есть посещением того и другого, и друга и недруга, пока неотвязная спутница наконец отстанет, после всего уже этого настала жизнь дельная.

Из круга литераторов, из области науки Боратынский вынес мысль, что надобно посвятить себя *труду художественному*. Доселе мелкие стихотворения были не что другое, как вздохи сердца, вспышки ума или мысли, словом – излиянием внутренней жизни поэта: даже поэма *Пиры* была слепком с виденного; отныне он предпринял быть художником, и наступившую зиму посвятил *Эде*.

Он не искал предмета для своей поэмы в гостиных большого света или под пышным небом Востока, где всё поэзия, всё любовь; он сказал пословицу: on broutte là où l'on est attaché* – и списал с натуры то, что под рукой, что не к чести наших нравов существует все чаще, исчезает всего незамеченнее и что никем не было представлено до него в таком ужасающем свете. Кого не тронула эта *Эда*,

Отца простого дочь простая,

когда она говорит постояльцу Гусару, избравшему ее в жертвы:

Всей душой тоскуя.
Какое слово дать могу я?
...Сжалься надо мной!
Владею ль я сама собой?
И что я знаю?..

Краски этой поэмы: природа Финляндии, евангелически развиваемый характер ее простых дев, доверчивых, как невинность, и тип Гусара. Прежде чем приступить к созданию *Эды*, Боратынский, по убеждению

* Где привязан, там и пасется *(фр.)*. Эта пословица послужила эпиграфом к "Эде".

Гнедича, решился, напитав перо желчью, писать *сатиры* и написал несколько, наполняя их мелкими литературными личностями того времени. За это он и сам на себя негодовал после. Любящая Муза его не создана была для ссор и укоров и скорее хотела бы обнять каждого, как брата, нежели свистать, по желчному совету Гнедича.

Между тем со времени возвращения из П.Бурга Боратынский сделался более нетерпеливым и, наконец, снова начал невыносимо скучать своим положением. Ни участие властей, начиная от Главнокомандовавшего краем до последнего прапорщика в полку, ни литературная известность, дотоле ласкавшая его сердцу, ни дружество всего, имеющего душу, ни даже уважение всех просвещенных финляндцев – ничто не могло возвратить его к прежней беспечности и веселью. Однако же не столько желание свободы, как стремление к жизни тихой, семейной отражается в последних финляндских его произведениях. Кто не знает этих стихов Пушкина:

... Как мой задумчивый проказник,
Как Боратынский я твержу:
Нельзя ль найти любви надежной,
Нельзя ль найти подруги нежной?
И ничего не нахожу!

Эти два стиха, шутя приведенные Пушкиным, выдернуты им из послания Боратынского ко мне, которое выпишу далее:

...Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души;
В чье неизменное участье
Беспечно веровал бы я,
Случится ль вёдро иль ненастье
На перепутьи бытия!
Где ж обреченная судьбою?.. и пр.

Как это стихотворение, так равно и другие того времени, обличают разочарование в суете, глубоко проникнувшее в душу поэта. Этому разочарованию остался он верен по смерть.

Однообразная жизнь финляндская не представляет богатства картин к описанию. Роченсальмскую зиму провели мы в особом домике, упертом окнами в каменную гору, но все же имели несколько домов, где не скучали.

Летом вовсе неожиданно Боратынский обрадован был приездом сюда доброго Дельвига с Павлищевым и ученым Эртелем; несколько дней прожито было поэтически в кругу полкового общества, постоянно неравнодушного к удовольствию своего поэта".

* * *

("Дельвиг поехал зачем-то в Финляндию", – мелькнуло по Петербургу. Это было, конечно, не летом, а в начале–середине сентября.

Здесь, в Роченсальме, во время их приезда и сложилась та самая знаменитая застольная песня, без которой ныне пиры не пиры:

Ничто не бессмертно, не прочно
Под вечно изменной луной,
И все расцветает и вянет,
Рожденное бедной землей.

И прежде нас много веселых
Любило и пить и любить:
Нехудо гулякам усопшим
Веселья бокал посвятить.

И после нас много веселых
Полюбят любовь и вино,
И в честь нам напенят бокалы,
Любившим и пившим давно.

Теперь мы доверчиво, дружно
И тесно за чашей сидим.
О дружба, да вечно пылаем
Огнем мы бессмертным твоим!

Дельвиг, Эртель и Павлищев привезли, видимо, письмо от Рылеева, недавно обогатившего Боратынского тысячей рублей. – Но о том после.)

* * *

"... неравнодушного к удовольствию своего поэта.

Старые моряки, доживавшие в Роченсальме земной срок, разнообразили также много скучную стоянку в этой крепости; их живые рассказы о морских событиях чрезвычайно были занимательны. Кроме этого, флотская молодежь, случайно посещавшая здешние воды, возила нас по кораблям и давала в честь поэта пиры, и на якоре и под парусами. Двойное поклонение воздавалось Боратынскому на флоте: старики адмиралы ласкали его, как сына, быв или друзьями или сослуживцами его отцу и дядям; те же из офицеров, кои принадлежали более по образу мыслей и по просвещению к поколению новому, чтили в нем отечественного поэта, имя которого было уже одной из знаменитостей того времени. Воспоминание об этих братских пирушках навело мне на память следующую быль. Однажды Боратынский, быв в гостях, подошел к игорному столу и соблазнился от скуки поставить карту, увлекшись неудачей, ставил он карту за картой и наконец проиграл сот восемь рублей. Когда об этом дошло до сведения полковых его товарищей, то это их так взволновало, что едва не побранились на другой день с хозяевами этого вечера.

– *Как можно играть с нашим Евгением в серьезную игру*, – говорили добродушные нейшлотцы, – *когда он прост в жизни своей, как младенец!* – Боратынского очень тронуло это участие, он от души смеялся, объяснял, что тут не было никакого обмана, что играл по собственной воле, но, при всем этом, не иначе, однако же, успокоил своих ратных друзей, как дав им слово не браться вперед за карты. Я не умолчал об этом потому, что здесь ярко просвечивает и благородство полкового общества, и характер того чувства, которое питали к Боратынскому его сослуживцы.

Вот еще картинка из того времени.

Раз на утреннем ученье, один из молодых капитанов*, соперник Боратынского в паркетных финляндских победах, в слепом порыве ревности, принес мне на него жалобу за *бальную* перед собой неучтивость. Как я ни удивился этой новизне, но не возразил ни слова и обещал дать удовлетворение. Дитя моего сердца не думал, не гадал услышать подобную странность. Он весело встретил меня с чаем и начал было рассказывать свои любезности на вчерашнем бале. – Как громом пораженный остановился он от моих слов! – *Вот ты говоришь не роптать!.. Вот мое положение!.. Что я ему сделал!* – говорил он с жаром. Успокоив его, показав вещь просто и прямо, я сказал: если он поступил с тобой как капитан с унтер-офицером, то и ты поступи с ним как унтер-офицер с капитаном: надень солдатскую шинель и поди просить прощения. Он одобрил мой план и развеселился. Ангелом кротости, покорным к своему положению, он, наш любимец, окруженный и славой, и любовью, и дружеством, окруженный участием целого края, побрел в солдатской шинели к Нейшлотскому г. капитану просить прощения. Долго я смотрел на него из окон нашей хижины и помирал со смеху, как неуклюже перебирался он через каменья в своем странном наряде, которым взбудоражил целую казарму! Я предвидел сцену, какая произойдет из этого: обиженный так растерялся, что не находил долго слов, он сам стал просить прощения у Евгения Абрамовича со слезами на глазах; но за всем этим, будучи благородным в душе человеком, долго совестился своей выходки и бегал от нас".

* * *

На этом кончается финляндская часть воспоминаний Коншина: осенью 823-го года ему пришлось выйти в отставку – после некоторого неудовольствия начальства; в январе 824-го он уехал навсегда в Россию, и новую весну Боратынский провел в Роченсальме уже без него.

До новой весны, при нашем-то лете, конечно, рукой подать, но не будем торопить события, тем более, что летом 823-го года, может быть, во время майско-июньского лагеря нейшлотцев в Вильманстранде, а вероятнее, после лагерной стоянки, в августе, Боратынский оказался в Петербурге.

Долго ли, коротко ли он там был и под каким предлогом отлучился из Финляндии – не знаем. Но сохранилось правдивое известие о той поездке: "Здесь был Баратынский, у которого мы купили его сочинения за 1000 рублей".

Мы – это Александр Бестужев и Рылеев, а *1000 рублей* – потому что наш век-торгаш шествует путем своим железным, и общая мечта час от часу насущным и полезным отчетливей, бесстыдней занята.

---

* То был русский швед Аммонт: Отто Вильгельм, а по-нашему просто Василий Васильевич – человек не злой, а благородный, что будет очевидно из дальнейшего рассказа Коншина.

* * *

Было время, когда писатель писал бесплатно. Ах, какое это было время! Тогда сочинительство почиталось достоянием нашего досуга, и деятельная душа исполняла наш досуг вдохновением. Деньги мы получали с имений и от службы. Не Европе чета, мы читали только друг другу свои стихи, и наши журналы были альбомами нашего семейного быта, а наши альбомы являлись журналами нашей светской жизни.

Время идет. Еще Новиков начал взращивать армию поденщиков — переводчиков и сочинителей, которым стал платить. Еще Карамзин хотел стать в одиночку писателем, издающим самого себя, чтобы жить на литературные труды. Но быть сразу и писателем и издателем тяжко. Сила вещей была против, и писатель писал, а издатель, по-прежнему беря на себя все расходы по печатанию книги, затем собирал и все доходы от ее издания. Публика, постепенно все более просвещенная, приохочивалась ко чтению русских книг; книги стали раскупаться, русских писателей становилось все больше, а число издателей хотя росло, но совсем не в таких пропорциях, как количество сочинителей. Им, издателям, такое положение вещей было, натурально, на руку, ибо от увеличения раскупаемых книг доходы их росли, а наши, понятно, не росли, хотя прямого денежного убытка тут не было, да и совестно как-то продавать... поэзию.

Но ничто не бессмертно, не прочно, и пришла пора, когда честь и выгода перестали друг друга бесславить, а сошлись рука в руку. Тогда-то два небесталанных сочинителя, Воейков и Булгарин, честно и беспощадно ненавидя друг друга, стали изыскивать способы добыть из словесности коммерческий смысл. И было это в начале 820-х годов. "С приезда Воейкова из Дерпта и с появления Булгарина литература наша совсем погибла. Подлец на подлеце подлеца погоняет" (так говорил Дельвиг Пушкину).

Одно время Воейков хотел, видимо, перебить у Греча "Сын отечества", для чего сблизился с ним коротко и вступил в управление журналом. Но с Гречем он рассорился. Тогда он купил право на издание "Русского инвалида" — единственной, кроме "Санктпетербургских ведомостей", столичной газеты и стал печатать приложением к ней журналец "Новости литературы". Булгарин тем временем начал выпускать "Северный архив" и "Литературные листки". Когда "Литературные листки" опали, Булгарин добыл право открыть третью петербургскую газету — "Северную пчелу". Это было позже, в 825-м году, и издавал он "Пчелу" вместе с Гречем. А еще через несколько лет Булгарин доказал Гречу, что им друг без друга не жить, и Греч слил "Сын отечества" с "Северным архивом". Греч любил рассказывать анекдоты про пакостность своего компаньона, прибавляя от себя, чтоб не подумали, что и он, Греч, таков же: "Да вы не подумайте, что он подлец, совсем нет, а урод, сумасброд — да не подумайте, что он злой человек, напротив, предобрая душа, а урод". Оба они выказали себя со всей очевидностью после 825-го года: тогда пошли в ход уже не одни коммерческие интриги, а и доносы, и простая клевета. Конечно, конкурентов к тому времени прибавилось, и, чтобы свалить их, одного промышленного расчета уже недоставало. Вот тогда Булгарин

станет писать в секретной записке о развратном лицейском духе, тогда он будет искать тайные способы закрыть "Литературную газету" Дельвига, а Воейков пошлет донос на Булгарина от имени Полевого. Ходил такой анекдот о Воейкове: "У него хранилась на всякий случай записка, полученная им в 1820 году от Булгарина, проигравшего свое дело в сенате: "Все пропало. Я погиб. Злодеи меня сгубили. Проклинаю день и час, когда я приехал в Россию. Не знаю, что делать и на что решиться, чтобы выпутаться из ужасного моего положения. Ф.Булгарин". Воейков прибавил к этому только число: 15-го декабря 1825 г. – и представил в полицию".

Мерзости эти еще впереди, и, хотя все видят печать подлости на их лицах, сколь много нужно доказательств человеку, чтобы убедить его, что подлец не может не быть подлецом ни при каких благополучных обстоятельствах! А эти сейчас, если подличают, то так... в общем-то, мелко, да и просить прощенья готовы. Греч, тот и вовсе не подличает явно, хотя кое-кто считает его шпионом. Воейков живет бок о бок с Жуковским, потому что он его превратный гений: он ловко женился с помощью Жуковского же на Сашеньке Протасовой; ей написал Жуковский давно "Светлану", и за глаза ее все, кто к Воейковым приходил, более называли *Светланой*, а не Александрой Андреевной. *Светлану* не может покинуть Жуковский – она выросла на его глазах, она сестра единственной и вечной любови Жуковского – умершей Маши Протасовой. Наконец, если б не Жуковский, Воейков свел бы жену в могилу раньше Маши. Благодаря Жуковскому, благодаря самой Светлане, у Воейковых каждый вечер людно. Нет человека, который в нее не влюблен, и каждый второй из них – поэт; значит, Воейков не будет в убытках: пошлина за любовь – стихи, и "Новости литературы" не скудеют.

Да и кому нести стихи? Журналы наши наперечет. В Петербурге – что выбирать? "Сын отечества"? Чахнущий "Соревнователь"? "Северный архив" и "Литературные листки"? "Отечественные записки" Свиньина-лгуна? "Благонамеренный" Измайлова? В Москве – того хуже: "Дамский журнал" Шаликова да "Вестник Европы" Каченовского. – Каков для чтения запас? И эти еженедельные и ежемесячные листки и есть наша словесность?

"Наши мастера по стряпанью листков и впрямь единовластно купечествуют в литературе; они правят мнениями; они, через свои ростовщические способы, определяют себя нашими судьями, и ничего не поделаешь! Они все одной партии и ставят препоны всему прекрасному и честному. Гречи, Булгарины, Каченовские образуют триумвират, который и правит Парнасом! Согласитесь, это весьма печально..." (Так говорил Боратынский Козлову.) – Поневоле выберешь Воейкова – хотя бы из-за *Светланы*...

Словом, необходимо нужен был союз за все прекрасное и честное. Союз поэтов, разумеется, – о них речь. Союз поэтов-издателей, чей журнал или хотя бы альманах мог заиграть сверкающую роль на сцене российской словесности.

И вот засияла "Полярная звезда" Бестужева и Рылеева. И вот вы-

росли и в нашем саду "Северные цветы" Дельвига. Но век железный есть век железный: издатели "Полярной звезды" подозревали за спиною Дельвига тень Воейкова, а Дельвиг – в размашке, с какой собрались действовать Рылеев с Бестужевым, мог провидеть промышленные расчеты Булгарина, поелику тот был как бы их приятелем. Словом, союз поэтов – это союз поэтов, а изданье журнала или альманаха – нечто более осязаемое, вещественное...

Неведомо, что вышло бы из Рылеева и Бестужева, не случись с ними катастрофы. Полагаем, они проиграли бы коммерческую битву. Однако именно Рылееву и Бестужеву мы обязаны первой у нас договорной ценой за стихи. Издав в 822-м году "Полярную звезду" через Слёнина*, в 823-м они решили выдать свой альманах на собственные средства: распрощались со Слёниным, объявили, что отныне не просто берут, но покупают рукописи, и – как выяснилось через год – остались с барышом.

Озадаченный Слёнин, уже, верно, рассчитавший будущие доходы от новой "Полярной звезды", предложил Дельвигу издавать другой альманах. Дельвиг подумал и согласился. Однако и Дельвиг через три года почувствует коммерческий вкус и тоже покинет Слёнина, чтобы самому продолжать издание "Северных цветов". Увы, к той поре закатится "Полярная звезда": Рылеев будет стыть в мерзлой земле Голодая, а Бестужев будет в том краю, откуда нет возврата.

Но ныне жизнь в них крепка, они молоды и сильно рассчитывают на Боратынского, чьи стихи собрались издать в ближайший год отдельной книгой. Тысяча отдана ему, он снова уехал в Финляндию и обещал прислать тетрадь стихов из Роченсальма, а пока в руках Бестужева и Рылеева несколько его стихотворений для "Полярной звезды на 1824 год". Одно из них – сатиру к Гнедичу с *безмундирным Сомовым* и *сердитыми глупцами* – изрисовывает красными чернилами честная цензура, о чем пишет Рылеев 6-го сентября, передав свое письмо, наверное, с Дельвигом, Эртелем и Павлищевым:

"Милый Парни! Сатиры твоей не пропускает Бируков. На днях я пришлю ее к тебе с замечаниями, которые, впрочем, легко выправить. Жаль только, что мы не успеем ее поместить в "Звезде", в которую взяли мы "Рим", "К Хлое", и "Признание"; в сей последней не пропущено слово *небесного огня*. Дельвиг поставил *прекрасного*. Нет ли чего новенького? Ради бога присылай. Трех новых пьес Пушкина не пропустили. В следующем письме пришлю к тебе списки с них. В одном послании он говорит:

Прошел веселый жизни праздник!
Как мой задумчивый проказник,
Как Баратынский, я твержу:
Нельзя ль найти подруги нежной,
Нельзя ль найти любви надежной, –
И ничего не нахожу.

Усердный твой читатель и почитатель К.Рылеев".

---

*Известный петербургский книгопродавец.

* * *

Видимо, в сентябре–октябре Боратынский, переписав свои стихи, отправил их к собратьям-издателям. Мы полагаем, что в ноябре–декабре тетради Боратынского были уже у Рылеева и Бестужева. И, верно, в то же время он писал им:

"Милые собратья Бестужев и Рылеев! Извините, что не писал к вам вместе с присылкою остальной моей дряни, как бы следовало честному человеку. Я уверен, что у вас столько же добродушия, сколько во мне лени и бестолочи. Позвольте приступить к делу. Возьмите на себя, любезные братья, классифицировать мои пьесы. В первой тетради они у меня переписаны без всякого порядка, особенно вторая книга элегий имеет нужду в пересмотре; я желал бы, чтобы мои пьесы по своему расположению представляли некоторую связь между собою, к чему они до известной степени способны. Второе: уведомьте, какие именно стихи не будет пропускать честная цензура: я, может быть, успею их переделать. Третье: Дельвиг мне пишет, что "Маккавеи"* мне будут доставлены через тебя, любезный Рылеев, пришли их поскорее: переводить так переводить. Впрочем, я душевно буду рад, ежели без меня обойдутся. Четвертое: о други и братья! постарайтесь в чистеньком наряде представить деток моих свету, – книги, как и людей, часто принимают по платью.

Прощайте, мои милые, желаю всего того, чем сам не пользуюсь: наслаждений, отдохновений, счастия, – жирных обедов, доброго вина, ласковых любовниц. Остаюсь со всею скукою финляндского житья душевно вам преданный

Боратынский".

* * *

Почему тетради будущих "Стихотворений Евгения Баратынского" пропылились у Рылеева и Бестужева до лета следующего года и что тому виной – вопрос будущего. В будущем, 824-м, году и получится на него ответ.

А ныне на дворе ноябрь 823-го года, и не так давно в Роченсальме случился незначительный уездный скандал...

"... забавное было приключение в Роченсальме. Куплеты, однажды за чаем составленные нами, были сообщены публике здешней, с колкими на счет ее прибавлениями, и нас с Боратынским убегали все. Это я узнал, желая обнаружить, узнать, что такое за стихи, но никаких не мог найти, и не мог разуверить, однако же, в своей невинности". – Между прочим, для самого Коншина, вспомнившего только что эту историю, ничего забавного в ней не было: 23-го ноября вышел приказ о его отставке, и куплеты явились тому, кажется, одной из причин.

---

* Видимо, еще летом Гнедич задумал перевести чужими усилиями одну решительную французскую трагедию – "Маккавеи" Гиро – для постановки с Семеновой в главной роли; усилия свои согласились приложить Дельвиг, Плетнев, Лобанов, Рылеев и Боратынский. К 28-му ноября Плетнев перевел свой 2-й акт; остальным было не до того (Дельвиг вообще одолел только 25 строк вместе с заглавием), и полный перевод в итоге не состоялся.

Куплеты дальше Финляндии не пошли гулять – иначе мы имели бы ныне хоть один список. А так как списка ни одного не сохранилось, неизвестно и о чем были стихи. Но ясно, что они содержали явные личности. Быть может, даже что-нибудь вроде "князь Волконский-баба начальником штаба, а другая баба – губернатор в Або". Быть может, в них имелось нечто похуже. Во всяком случае, они не могли улучшить репутацию ни Коншина, ни Боратынского.

* * *

В Або тем временем был назначен новый губернатор. Впрочем, *в Або* – это, конечно, поэтическая вольность, ибо Гельзингфорс стал основным местом пребывания нового генерал-губернатора Финляндии и командира Отдельного Финляндского корпуса – генерал-адъютанта и генерал-лейтенанта Арсения Андреевича Закревского. – Прежде он был дежурным генералом Главного штаба, и, коли помните, его подпись стояла под приказом 816-го года Инспекторскому департаменту о непринятии бывшего пажа Боратынского ни в какую службу, кроме солдатской. Судьба любит всяческие повторения и отражения. Поэтому никто иной, как генерал Закревский, в будущем явится последним ходатаем за Боратынского, которому император не откажет.

Преданность генерала ценили оба государя, которым он служил. Оба знали и о его "привычке кричать против всего", как сказал однажды Бенкендорф. Император Николай возвел его в графское достоинство. Но в начале 830-х годов с Николаем у него выйдет долгая, на 16 лет, размолвка. Только в опасном 848-м году, когда Николаю потребуются проверенные люди, он назначит графа Закревского московским губернатором и *в доказательство возвращения неограниченного доверия* вручит ему чистые бланки с собственноручною подписью. В пример своего благородства граф Закревский скажет впоследствии: "Я знаю... меня обвиняют в суровости и несправедливости по управлению Москвою; но никто не знает инструкции, которую мне дал император Николай, видевший во всем признаки революции. Он снабдил меня бланками, которые я возвратил в целости. Такое было тогда время".

А в 823-м генерал Закревский еще не граф и ему 37 лет. Правда, все привычки и формы вылеплены в молодости: "Наружное спокойствие всегда сохранялось на бесстрастном его лице... Он разговаривал только отрывистыми фразами и более делал вопросы, нежели ответы, избегая длинных рассуждений; но все, что высказывал, было обдуманно и имело тон решающий. – Его постоянная поза – с подпертою рукою, прижатою к левому бедру: два средних пальца этой руки были засунуты в прорез для шпаги мундирного сюртука, в котором он обыкновенно был одет. Лицо... было гладко выбрито, и нижняя губа – особенно выдвигалась вперед... вставал обыкновенно в 5 часов утра... камердинер его... ожидал уже с нагретыми щипцами, чтобы завить ему единственную, остающуюся у него прядь собственных волос. Эта прядь, начинаясь от самого подзатыльника, загибалась вверх, на маковку головы, где, завитая кольцом, должна была держаться на совершенно обнаженном черепе".

Генерал Закревский был человек простой. Иностранных языков

не знал. К тонкостям политеса относился хладнокровно. В стихах вряд ли видел толк, но один из лучших его приятелей был поэт – генерал-майор Денис Давыдов.

В 818-м году генерал Закревский женился на девятнадцатилетней дочери отставного московского бригадира – Федора Андреевича Толстого – Аграфене. Генерал звал ее просто *Грушенька*. А самого его адъютанты прозвали за глаза – *Герцогом*.

* * *

Судьба любит повторения и отражения. Сегодня она сравнивала вас с вашим родителем, унылым пленником роченсальмского маяка тридцать три года назад и, сличая ваши позы и взоры, наслаждалась удачным воспроизведением действительности. Завтра – хотя это будет не завтра, разумеется, а через год – она будет доказывать вам неединственность Софи Пономаревой, предлагая сличить ее мучительность с новым любовным кошмаром в лице кометоподобной молодой генеральши. Какую штуку выкинет судьба послезавтра? Не поусердствует ли она насчет разжалованья обратно в солдаты, чтобы сличить рядового лейб-егеря с рядовым нейшлотцем? Причина всегда найдется: будет ли это эпиграмма на Аракчеева ("Отчизны враг, слуга царя, к бичу народов – самовластью – какой-то адскою любовию горя, он незнаком с другою страстью..." и далее в том же роде)? или словечко за ужином ("Quelqu'un parlait du despotisme du gouvernement Russe. Monsieur dit qu'il planait au-dessus de toutes les lois"*)? или перехваченная ирония из письма ("обо мне рукою милостивого монарха было отмечено так: *не представлять впредь до повеления*", "обещали замолвить за меня словечко, видимо, император, следуя своим правилам, откажет"**)? или *С неба чистая, золотистая, к нам слетела ты*, с вариациями вроде: *Я свободы дочь, со престолов прочь императоров*? или роченсальмские куплеты? Конечно, за чтение радищевского "Путешествия", после 9-го тома Карамзина, не разжалуют. Но почему бы не объявить вас масоном или вольнодумцем? В конце концов, принцип всех лично оскорбленных деспотов (а самолюбия их очень чувствительны) – один, некогда красноречиво высказанный еще государыней Екатериной: "Найдется ли у него таковая книга, либо другие, ей подобные... и то и другое будет служить достаточным обличением".

Какие плоды зреют для нас и какие чаши предстоит осушить – как предузнать? Лучше – ждать худшего: *всех благ возможных тот достиг, кто дух судьбы своей постиг*.

* * *

Но вот вчера приходит письмо от Василия Андреевича Жуковского. Жуковский пишет, что берется ходатайствовать перед государем, и просит

---

* Кто-то заговорил о деспотизме русского правительства. Г-н <Боратынский> сказал, что оно парит выше любых законов *(фр.)*.

** Всей Финляндии известно, что Ден, *роченсальмский* почтовый экспедитор, – "большой плут, известен... мастерством распечатывать письма" (как говаривал про него Закревский).

в двух словах изложить суть и причины катастрофы, потому что никто толком не может объяснить, за что и как он разжалован. Видимо, одни рассказывают – что за бунт квилков, другие – что за ночное освещение католической церкви, третьи – что за разбой.

Посул Жуковского – серьезен. Кроме того, в деле будет участвовать Александр Иванович Тургенев, одно из первых лиц в министерстве Голицына, всеобщий ходатай и заступник.

И Жуковский и Тургенев видели Боратынского, верно, еще в 819-м году, но тогда, разумеется, лишь платонически скорбели о его судьбе. В 822-м они должны были сойтись у Воейковых, куда приходил Александр Иванович, влюбленный в *Светлану*. *Светлана* никогда никому не подавала поводов для двусмысленных речей и взглядов. Она любила в них и в ней любили все – душу. А красота... Что делать! Красота пленяет нас в первую очередь, хотя на редкой красоте лежит отпечаток души...

И Боратынский был влюблен в нее – однако совсем не так, как сгоравший в пламени страсти Языков, не так, как ловко-любезный Левушка Пушкин, не так, как добрый Александр Иванович. Он любил в ней прототип своей будущей подруги, той подруги нежной, любви надежной, чей полный образ будет творить впоследствии, когда судьба предложит ему Настасью Энгельгардт – для того, чтобы он, воссоздав в ней облик красоты и добра, некогда обретенный в *Светлане*, сделал свой окончательный нравственный выбор, отрекшись, по крайней мере, вслух от красы двусмысленной, лукавой и черноокой (С.Д.П. и Магдалина*) для того, чтобы отдаться вылепленному по подобию образа *Светланы* идеалу, в котором есть то, *что красоты прекрасней, что говорит не с чувствами – с душой* и что *над сердцем самовластней земной любви и прелести земной*. Все, что потом Боратынский писал для своей подруги нежной, – это распространение конспекта из восьми строк, некогда адресованных *Светлане*:

Очарованье красоты
  В тебе не страшно нам:
Не будишь нас, как солнце, ты
  К мятежным суетам;
От дольней жизни, как луна,
  Манишь за край земной,
И при тебе душа полна
  Священной тишиной.

Любит судьба отражения и повторы...

И был на хлопотах Жуковского и Тургенева отпечатлен лунный свет *Светланиной* души. Был.

* * *

Боратынский собрался с духом и, видимо, несколько дней писал и обрабатывал для отсылки свой ответ Жуковскому. То была полная исповедь его пажеской жизни. Конечно, как всякая исповедь, она уси-

---

*О ней отдельная повесть.

ливала одни детали, ослабляла другие, переставляла имена и факты, путала даты. Но искренность показаний внутреннего бытия искупала фактическую неполноту и хронологические перестановки. Вы читали эту исповедь. Думаем, вся эта болезненная история достаточно памятна и незачем ее снова припоминать в подробностях, тем более, что скоро минет 8 лет со дня ее происшествия.

Исповедь его, конечно, похожа отчасти на план нравоописательного романа и вполне могла бы быть представлена под каким-нибудь поучительным заглавием, допустим: "Евгений, или Пагубные следствия юношеских заблуждений". Не исключаем, что нечто подобное ее автор думал про себя, когда сочинял. Но вместе с тем было ему и не до шуток.

Приведем лишь назидательное окончание исповеди. Читатель легко найдет совпадения и разночтения с тем, что было на самом деле:

"По выключке из корпуса я около года мотался по разным петербургским пансионам. Содержатели их, узнавая, что я тот самый, о котором тогда все говорили, не соглашались держать меня. Я сто раз готов был лишить себя жизни. Наконец поехал в деревню к моей матери. Никогда не забуду первого с нею свидания! Она отпустила меня свежего и румяного; я возвращаюсь сухой, бледный, с впалыми глазами, как сын Евангелия к отцу своему. *Но еще же ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть и тек нападе на выю его и облобыза его**. Я ожидал укоров, но нашел одни слезы, бездну нежности, которая меня тем более трогала, чем я менее был ее достоин. В продолжении четырех лет никто не говорил с моим сердцем: оно сильно встрепетало при живом к нему воззвании: свет его разогнал призраки, омрачившие мое воображение; посреди подробностей существенной гражданской жизни я короче узнал ее условия и ужаснулся как моего поступка, так и его последствий. Здоровье мое не выдержало сих душевных движений: я впал в жестокую нервическую горячку, и едва успели призвать меня к жизни.

18 лет вступил я рядовым в гвардейский Егерский полк, по собственному желанию; случайно познакомился с некоторыми из наших молодых стихотворцев, и они сообщили мне любовь свою к поэзии. Не знаю, удачны ли были опыты мои для света; но знаю наверно, что для души моей они были спасительны. Через год, по представлению великого князя Николая Павловича, был я произведен в унтер-офицеры и переведен в Нейшлотский полк, где нахожусь уже четыре года.

Вы знаете, как неуспешны были все представления, делаемые обо мне моим начальством. Из году в год меня представляли, из году в год напрасная надежда на скорое прощение меня поддерживала; но теперь, признаюсь вам, я начинаю приходить в отчаяние. Не служба моя, к которой я привык, меня обременяет; меня тяготит противоречие моего положения. Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание. Ничьи надежды, ничьи наслаждения мне не приличны. Я должен ожидать в бездействии, по крайней мере душевном, перемены судьбы моей, ожидать, может быть, еще новые годы! Не смею подать в отставку,

---

* И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и побежав, пал ему на шею и целовал его (Евангелие от Луки, 15,20).

хотя, вступив в службу по собственной воле, должен бы иметь право оставить ее, когда мне заблагорассудится; но такую решимость могут принять за своевольство. Мне остается одно раскаяние, что добровольно наложил на себя слишком тяжелые цепи. Должно сносить терпеливо заслуженное несчастие – не спорю; но оно превосходит мои силы, и я начинаю чувствовать, что продолжительность его не только убила мою душу, но даже ослабила разум.

Вот, почтенный Василий Андреевич, моя повесть. Благодарю вас за участие, которое вы во мне принимаете, оно для меня более нежели драгоценно. Ваше доброе сердце мне порукою, что мои признания не ослабят вашего расположения к тому, который много сделал негодного по случаю, но всегда любил хорошее по склонности.

Всей душой вам преданный

Боратынский".

* * *

Жуковский был поражен доверенностью откровения, явленной его протеже. Сердце его истинно страдало: он бросился на помощь.

1824

* * *

Милостивый государь князь Александр Николаевич!

Я недавно получил письмо, тронувшее меня до глубины сердца: молодой человек, с пылким и благородным сердцем, одаренный талантами, но готовый, при начале деятельной жизни, погибнуть нравственно от следствий проступка первой молодости, изъясняет в этом письме, просто и искренно, те обстоятельства, которые довели его до этого проступка. Несчастие его не унизило и еще не убило, но это последнее неминуемо, если вовремя спасительная помощь к нему не подоспеет.

Получив его письмо, написанное им по моему требованию (ибо мне были неизвестны подробности случившегося с ним несчастия), я долго был в нерешимости, что делать и где искать этой спасительной помощи. Наконец естественная мысль моя остановилась на вас. Препровождаю письмо его в оригинале к вашему сиятельству. Не оправдываю свободного моего поступка: он есть не иное как выражение доверенности моей к вашему сердцу, всегда готовому на добро; не иное что, как выражение моей личной, душевной к вам благодарности за то добро, которое вы мне самому сделали.

Письмо Баратынского есть только история его проступка; но он не говорит в нем ни о том, что он *есть теперь*, ни о том, чем бы *мог быть после*. Это моя обязанность. Я знаю его лично и свидетельствуюсь всеми, которые его вместе со мною знают, что он имеет полное право на уважение, как по своему благородству, так и по скромному поведению. Если *заслуженное* несчастие не унизило его души, то это неоспоримо доказывает, что душа его не рождена быть низкою, что ее заблуждение проистекло *не из нее самой*, а произведено силою обстоятельств и есть нечто ей совершенно чуждое. Кто в летах неопытности, оставленный на произвол

собственной пылкости и обольщений внешних, знает, куда они влекут его, и способен угадать последствия, часто решительные на всю жизнь! И чем более живости в душе, то есть именно, чем более в ней такого, что могло бы при обстоятельствах благоприятных способствовать к ее усовершенствованию, тем более для нее опасности, когда нападут на нее обольщения, и никакая чужая, хранительная опытность ее не поддержит. Таково мне кажется *прошедшее* Баратынского: он *споткнулся* на той неровной дороге, на которую забежал потому, что не было хранителя, который бы с любовию остановил его и указал ему другую; но он *не упал!* Убедительным тому доказательством служит еще и то, что именно в такое время, когда он был угнетаем и тягостною участию, и еще более тягостным чувством, что заслужил ее, в нем пробудилось дарование поэзии. Он – поэт! И его талант не есть одно богатство беспокойного воображения, но вместе и чистый огонь души благородной: прекрасными, гармоническими стихами выражает он чувства прекрасные, и простота его слога доказывает, что чувства сии *не поддельные*, а искренно выходящие из сердца. Одним словом, я смело думаю, что в этом несчастном, страдающем от вины, в которую впал он тогда, когда еще не был знаком ни с собою, ни с достоинством жизни, ни с условиями света, скрывается человек, уже совершенно понимающий достоинство жизни и способный занять не последнее место в свете. Но он исключен из этого света. Испытав горесть вины, охраняемый высокостию поэзии, он никогда уже не будет *порочным и низким* (к тому не готовила его и природа); но что защитит его от *безнадежности*, расслабляющей и мертвящей душу? Возвратись он в свет, он возвратится в него *очищенный*; можно даже подумать, что он будет *надежнее* многих чистых: временная, насильственная разлука с добродетелью, в продолжение которой он мог узнать и всю ее прелесть, и всю горечь ее утраты, привяжет его к ней, может быть, сильнее самых тех, кои никогда не испытали, что значит потерять ее.

Я смею думать, что письмо мое не покажется вашему сиятельству слишком длинным: я говорил с вами тем языком, который вы лучше других понимать умеете; и мне было легко с вами говорить им, ибо душевно вас уважаю и твердо надеюсь на ваше сердце. Оно научит вас, как поступить в настоящем случае. Представьте Государю Императору письмо Баратынского; прочитав его, вы убедитесь, что оно писано не с тем, чтобы быть показанным. Но тем лучше! Государь узнает истину без украшения. Государь в судьбе Баратынского был явным орудием Промысла: своею спасительною строгостию он пробудил чувство добра в душе, созданной для добра! Теперь настала минута примирения – и Государь же будет этим животворящим примирителем: он довершит начатое, и наказание *исправляющее* не будет наказанием *губящим*. Заключу, повторив здесь те святые слова, которые приводит в письме своем Баратынский: "Еще ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть, и тек нападе на выю его, и облобыза его!" Сей отец есть Государь: последствия найдете в Святом Писании.

С истинным почтением и сердечною привязанностию честь имею

быть, милостивый государь, вашего сиятельства покорнейшим слугою
В.Жуковский.
2 генваря 1824.

* * *

Все-таки хорошие люди — т.е. честные, добрые, умные, с нежной душою — никогда не помогут в том деле, где участия души не требуется. Надо бы просто, по-капральски, как солдат — солдату: "Унтер-офицер Баратынский сам вступил по высочайшей воле в рядовые пять лет назад, ныне служит в Нейшлотском полку в Роченсальме. К службе прилежен. В караулах исправен. Не штрафован. Посты блюдет. Нрава тихого. Стихов не пишет". — Кто устоит против подобной аттестации? И без всяких *облобыза его!*

Быть может, Голицын прочитал оба письма — и Василия Андреевича и Боратынского, а вероятнее, ограничился первым, а начав читать второе, соскучился быстро и передал Жуковскому, что сие не надобно, а надобны точные даты. Дат в своей исповеди Боратынский не назвал ни одной. Жуковский кинулся к Гнедичу, служившему вместе с Дельвигом в императорской библиотеке: "Милый, прошу тебя непременно, нынче же узнать, где хочешь и как хочешь, у Дельвига ли, у Вельзевула: когда именно вступил Баратынский в службу, и отошли это к Тургеневу с надписью *нужное*. Нельзя ли нынче же?"

Дельвиг никогда не был тверд в хронологии, Вельзевул в тот вечер был неблагосклонен к смертным, и они отправили Голицыну записку, где не было ни одной правильной даты: "Баратынский выписан из Пажеского корпуса в 1815 году с тем, чтобы его никуда иначе не определять, как в солдаты. Он вступил солдатом в лейб-егерский полк в марте 1818 года. Через восемь месяцев произведен в унтер-офицеры и с того времени служит в Нейшлотском полку. Начальство неоднократно представляло его к чину". — Последние слова были — из рук вон, потому что раз начальство представляло, а до сих пор не произведен, — значит, тут что-то не так.

От себя Жуковский сетовал Голицыну, что до государя так и не дойдет исповедь Боратынского, и выражал истинную надежду на то, что "Государь, знающий человеческое сердце, легко распознает язык истины, если удостоит своего милостивого внимания строки Баратынского, которого вся будущая жизнь, можно сказать, зависит теперь от тех немногих минут, которые Его Величество употребит на прочтение прилагаемого здесь письма его".

— Нет, нет, — должен был сказать Голицын на счет передачи исповеди Его Величеству, но обещал доложить. Видимо, он с удивлением узнал, что Боратынский сам вступил в службу, а не отдан (*сам* — многое меняет!).

Около 20-х чисел февраля Голицын доложил государю и, кажется, был выслушан благосклонно ("доклад князя Голицына был счастлив и для... Баратынского; но еще дело не кончено").

Дело двигалось общими усилиями.

Дядюшка Петр Андреевич тоже не немотствовал. Он велел племяннику писать к Елене Павловне — будущей, с февраля, великой княгине, супруге Михаила Павловича. Боратынский написал.

Петр Андреевич передал его письмо, видимо, через Жуковского и рассказал, что его любезнейшая сестра (т.е. вдова покойного брата и мать Боратынского) "от горести, произведенной в ней судьбою ее сына, лежит на одре болезни; а она имеет еще шестерых детей, из которых наш несчастный старший".

Тургенев тем временем медленно нажимал на Голицына и, видимо, он же написал в Москву к Вяземскому, чтобы тот поговорил с Денисом Давыдовым, а тот бы написал о Боратынском своему душевному приятелю Закревскому (Закревский до начала марта оставался в Петербурге и только 9-го числа уехал очно губернаторствовать в Гельзингфорс). Денис взялся за дело горячо:

– Любезнейший друг Арсений Андреевич!.. Сделай милость, постарайся за Баратынского, разжалованного в солдаты, он у тебя в корпусе. Гнет этот он несет около 8-ми лет или более, неужели не умилосердятся? – Сделай милость, друг любезный, этот молодой человек с большим дарованием и верно будет полезен. Я приму старание твое, а еще более успех в сем деле за собственное мне благодеяние... Твой верный друг Денис.

– Получил письмо твое вчера, любезный друг Арсений Андреевич... Ты пишешь о Боратынском – пожалоста постарайся за него, он человек необыкновенного дарования и если проступился в молодости, то весьма продолжительно и горько платит за свой проступок. Право, старание твое приму как собственное себе благодеяние... Итак, прости, друг любезнейший, верь непоколебимой дружбе и преданности твоего верного друга Дениса Давыдова.

– Любезнейший друг Арсений Андреевич... Пожалоста, брат, постарайся о Боратынском. Ты мне обещаешь, но приведи обещание свое в действие, ты меня сим крайне обяжешь. Грустно видеть молодого человека, исполненного дарованиями, истлевающим без дела и закупоренным в ничтожестве. Пожалоста, постарайся, а пока нельзя ли ему дать пристанище, при тебе ему, конечно, лучше будет, нежели в полку, и он тебе будет полезен. – Итак, прости, друг любезнейший и почтеннейший. Поцелуй от меня ручки у Аграфены Федоровны... Верный друг твой Денис.

* * *

Видимо, к делу подключили и двух адъютантов Закревского – Муханова и Путяту: чтоб напоминали.

– Закревский говорил и просил: обещано или почти обещано, но еще ничего не сделано, а велено доложить чрез Дибича. – Это уже Александр Иванович Тургенев посылает 24-го марта с Дашковым, едущим через Москву, письмо к Вяземскому (Дибич, генерал-адъютант, готовится вступить через десять дней в должность начальника Главного штаба), – ...велено доложить чрез Дибича. На этого третьего дня напустил я князя Голицына; потом принялся сам объяснять ему дело и человека. Большой надежды он мне не подал, но обещал доложить в течение дней всеобщего искупления. – То есть в Пасху, когда Дибич должен был принять свое назначение. Дибич тоже полагал, что Боратынский отдан, а не сам вступил нижним чином. Любопытно знать, что полагал по этому поводу государь?

Александр Иванович настрого упредил на счет Боратынского весь пишущий Петербург и всю пишущую Москву: не объявлять нигде его имени под стихами. – Все-таки Александр Иванович, наделенный опытом многолетней службы бок о бок с идиотами, понимал толк в таких делах больше Жуковского. По этой причине в 824-м году Боратынский не напечатал ни одного нового стихотворения, а зимой–весной его имя вообще исчезло со страниц журналов. Рылеев с Бестужевым должны были отложить тетради с его стихами на неопределенное время.

* * *

Боратынский ждал решения в Роченсальме. Ждал с надеждой: "До меня дошли такие хорошие вести о моем деле, что, право, я боюсь им верить". – Но он верил, и веселость его, верно, ширилась час от часу, день от дня. Он проводил в конце января Коншина – с грустью, но веселость должна была остаться. Оставалась в Роченсальме и Анета.

Чудная, любезная, прелестная Анета Лутковская! *Умом, любезностью своей ты всех обворожать родилась; Анета! где б ты ни явилась, всегда приобретешь друзей!* Верный друг Анеты – разумеется, кузен, исписавший ее альбом старыми своими стихами, из тех, что некогда он посвящал Вариньке Кучиной (знал ли он, что они, вероятно, знакомы?) и С.Д.П.

О Анета! В обществе вечных сестер Аргуновых, в шелку и бархате, в улыбке и томной грусти, о Сандрильона Роченсальма! Что писать вам? Когда ты вспомнишь обо мне, в краю ином – потом, когда-то, когда ты вспомнишь, друг мой, не смотря на время между датой сегодняшней и той, когда ты воспомянешь, и когда ты вспомянешь как-то обо мне в краю ином, потом, когда-то, когда ты вспомнишь, друг мой, не...

– Нет, нет, нет! Я хочу что-нибудь более любезного.

Ах, Анета!

Когда придется как-нибудь
В досужный час воспомянуть
Вам о Финляндии суровой,
О финских чудных щеголях,
О их безужинных балах
И о Варваре Аргуновой;
Не позабудьте обо мне,
Поэте сиром и безродном,
В чужой далекой стороне,
Сердитом, грустном и голодном.
А вам, Анеточка моя,
Что пожелать осмелюсь я?
О! наилучшего, конечно:
Такой пребыть, какою вас
Сегодня вижу я на час,
Какою помнить буду вечно.
Е. Боратынский.

Роченсальм.
Февраля 15-го 1824-го года.

Ах, Анета! Вы все еще верите в родство душ?..

Коншин уехал, и Боратынский квартировал в доме у подножия горы,

видимо, один. Он стихотворил "Эду". Вышла бы Эда такой, какая она у него, без прелестной Сандрильоны Роченсальма – не знаем. Впрочем, Эда – почти карамзинская Лиза по своему положению, а ее Гусар – почти Эраст, и отношения их, ясно, совсем не те, что у Боратынского с Анетой Лутковской. Не о прототипах речь: об ощущении образа чужой души.

Впрочем, бог их знает. Эда умерла, Гусар ускакал воевать со шведом, дело прошлое. А Анета выйдет замуж и родит семь детей (или девять, а, может быть, одиннадцать). А Боратынский по докладу Дибича будет произведен прапорщиком, выйдет в отставку и покинет Финляндию навсегда. Он торопит в своей душе эти будущие дни. Он ждет решения своей участи.

И вот уже Дибич положил в папку для доклада государю бумаги о нем.

Он ждет.

* * *

Тем временем Фаддей Булгарин решил угодить Рылееву с Бестужевым и общему приятелю Боратынскому для вящего удовольствия читающей публики. Чуть не в тот день, когда Тургенев просил Вяземского не упоминать имени Баратынского в печати, 24 марта, вышел нумер "Литературных листков" с объявлением Булгарина:

МНОГИЕ ЛЮБИТЕЛИ ПОЭЗИИ ДАВНО УЖЕ ЖЕЛАЮТ ИМЕТЬ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ Е.А.БАРАТЫНСКОГО, КОТОРОГО ПРЕКРАСНЫЕ ЭЛЕГИИ, ПОСЛАНИЯ, ВОСПОМИНАНИЯ О ФИНЛЯНДИИ И ПИРЫ, СНИСКАЛИ ВСЕОБЩЕЕ ОДОБРЕНИЕ. К.Ф.РЫЛЕЕВ С ПОЗВОЛЕНИЯ АВТОРА ВОЗНАМЕРИЛСЯ ИЗДАТЬ ЕГО СОЧИНЕНИЯ...

Особенно должны были впечатлять публику *ВОСПОМИНАНИЯ О ФИНЛЯНДИИ*. Такие люди... Такое время...

Разумеется, ничего чрезвычайно ужасного в этом объявлении не было – кроме его несвоевременности и дурацкого намека на хлопоты об освобождении из Финляндии. Но бывает и так, что ничтожные объявления способны разрушить самые блистательные прожекты. Конечно, сомнительно, чтобы к Пасхе – к 6-му апреля (около того времени Дибич готовился докладывать о Боратынском императору) – это мелкое объявление уже было доложено его величеству. Еще более сомнительно, что именно оно повлияло на решение государя. Но что мы знаем?

Так или иначе наш милостивый монарх написал на докладе Дибича: *не представлять впредь до повеления*.

Подобные формулы – неплохие доказательства жизненного тупика. Хорошо, что не написал: *поселить навечно в Финляндию*, или, как Мещевскому: *разжалован навсегда*.

Ах, Анета! Всё вечно и всё неизменно под этой изменной луной! Через два месяца, через два месяца Нейшлотский полк снова вернется в Роченсальм, а потом, любезная Анета, вы уедете из Роченсальма, а Роченсальм все так же будет сбегать своими улочками к морю, а роченсальмский маяк будет так же выситься на скале, а луна будет гнать

приливы и отливы с тем же немолчным ропотом, а ветер будет выть, выть, выть.

Ныне, 7-го мая, Нейшлотский полк переходит на свое обычное лагерное место под Вильманстрандом – на Лебединое поле, и к 15-му два баталиона расставят там палатки. Там, среди голубых холодных озер, генерал Закревский проведет полку инспекторский смотр, и нейшлотцы отправятся в Петербург заменять гвардию в караулах.

О Петербург!

* * *

Генерал Закревский устраивал инспекторский смотр всему Отдельному Финляндскому корпусу, проводил баталионные учения, проверял ружейные навыки, оглядывал казенные строения и делал наставленья. Он ездил по Финляндии все лето, начав в мае с осмотра полков, идущих в Петербург.

* * *

Из журнала генерала Закревского.

10-го майя. Суббота. – В 10-ть часов поутру выехали из Гельзингфорса. До первой станции Гинриксдаль, где мы завтракали, провожали нас Аграфена Федоровна, также Кронштед, и Дюклу, и Котов...

14 майя. Среда. – Поутру в 6-ть часов выехал из города Ловизы... В 10-ть час. приехали в креп. Кюмень-город... В Роченсальм прибыл в 1-м часу... осматривал: 1) провиантский магазейн...; 2) главную гаубтвахту и денежную казну – хороши; 3) казармы...

15-го майя. Четверг. (Вознесение Господне)... – Обедали у полковника Лутковского. После обеда дождь и дурная погода... Несколько простудился, и начало болеть у меня горло.

* * *

День погас. Но за окном светло: наступали почти без мрака. Генерал Закревский, должно быть, медленно ходил по кабинету, вспоминая протекший день. Унтер-офицер Боратынский вместе с своим 1-м баталионом к 15-му мая, может быть, был уже в Вильманстранде, на Лебедином поле, и в эти часы спал, в одной из палаток, разбитых на Лебедином поле. Но вряд ли даже в эти дни Боратынский готовился вместе со всеми нейшлотцами к смотру. Скорее всего, 15-го, когда Закревский обедал у Лутковского, он тоже сидел за столом, а мундир свой унтерский надел лишь 24-го утром, перед самым смотром.

* * *

16 майя. Пятница... В 7 1/2 час. выехал из Роченсальма... в 11-м часу приехали в Фридрихсгам.

19 майя...

20 майя...

23 майя. Пятница... В 12-м часу приехал в Вильманстранд...

24-го майя. В Вильманстранде. Инспекторский смотр 1-му баталиону Нейшлотского полка. Люди вообще отозвались довольными своими

начальниками. При осмотре ружей 1-й гренадерской роты нашел два неисправных, одно у унтер-офицера Бондаренки, которого и велел разжаловать в рядовые...

25-го майя. Баталион учился изрядно, но маршировал на заднюю шеренгу худо, а на переднюю посредственно... Сбивались с ноги...

– Я шел вдоль строя за генералом Закревским (у коего был адъютантом), когда мне указали Баратынского. Он стоял в знаменных рядах. Баратынский родился с веком, следовательно, ему было тогда 24 года. Он был худощав, бледен, и черты его выражали глубокое уныние. В продолжении смотра я с ним познакомился и разговаривал о его петербургских приятелях. После он заходил ко мне, но не застал меня дома и оставил прилагаемую записку: "Баратынский был у вас, желая засвидетельствовать вам свое почтение и благодарить за участие, которое вы так благородно принимаете в нем и в судьбе его. Когда лучшая участь даст ему право на более короткое знакомство с вами, чувство признательности послужит ему предлогом решительно напрашиваться на ваше доброе расположение, а покуда он остается вашим покорнейшим слугою. – Так вспоминал адъютант поручик Путята, друг всей остальной жизни Боратынского.

До осени они уже не увидятся: Путята при Закревском все лето пропутешествует по Финляндии. Боратынский, при своем полку, отправится в Петербург.

10-го июня он был уже там.

* * *

Может быть, еще в Вильманстранде он получил глупую шутку: что умерла С.Д.П. Он не любил ее больше, но все равно шутка была глупая. Впрочем, она, бывало, сама так шутила. В Петербурге он узнал, что это правда. Наверное, он был у ней на Волковом кладбище. Памятник еще не сделали. Стоял крест с именем и датами:

1792 – 1824

25 сентября – 4 мая

"Бог добр, – говаривала она, – накажет да и помилует".

* * *

Лето прошло как сон. С Дельвигом, Лёвушкой Пушкиным, Рылеевым, Жуковским, Тургеневым. – Говорили. – О Байроне, о славе, о деспотизме, о любви, о будущем, о "Северных цветах", о том, что Пушкина, год назад переведенного из Кишинева в Одессу, теперь собираются выслать и из Одессы, о том, что нужен свой журнал, о том, что чем дальше, тем хуже и темнее...

Байрон умер в апреле в Греции: не от пули – от горячки. "После смерти Наполеона никакая смерть так глубоко в душу... не врезывалась, как его. Наш век есть точно век мирмидонов*; кто только немножко перерастет казенную меру посредственности, тот сейчас людьми или

---

* Myrmidon – пигмей *(фр.)*.

Судьбою выключается из списков...” — Рылеев написал на его смерть:

Друзья свободы и Эллады
Везде в слезах в укор судьбы;
Одни тираны и рабы
Его внезапной смерти рады.

Рылеев кипел. Чем хуже, чем темнее было, тем ярче сверкали его глаза. Жизнь Рылеева давно шла в двух мерах: явной и тайной. Бестужев тоже был принят в тайный союз, и они выбирали теперь — достойнейших. Тайна есть тайна, никто, кроме них, не знает, говорили они только между собою насчет участия Боратынского в замыслах распространения общей свободы, или намекали самому ему — как особенно укоренному судьбой и тираном на такие замыслы, или, уже летом 824-го года разочаровавшись в нем, не принимали его в расчет своей тайной жизни. Расстались они, во всяком случае, холоднее, чем встретились, и Бестужев скоро скажет Пушкину: ”Что же касается до Баратынского — я перестал веровать в его талант. Он исфранцузился вовсе. Его ”Эдда” есть отпечаток ничтожности, и по предмету и по исполнению”.

На даче у Александра Ивановича Тургенева 15-го июня он читал законченное послание ”Богдановичу”:

. . . .
Жуковский виноват: он первый между нами
Вошел в содружество с германскими певцами
И стал передавать, забывши божий страх,
Жизнехуленья их в пленительных стихах.
Прости ему господь! — Но что же! все мараки
Ударились потом в задумчивые враки...

Жуковский хохотал первым. Но печатать нельзя — не поймут, скажут: «Что за идея пришла Баратынскому писать столь негодными стихами... *Мараки, задумчивые враки* и пр. похоже на лай собаки, а не на напев его сладкогласной лиры. Да и что за водевильные мысли во всей пьесе! Словно шуточки ”Благонамеренного”!» — Если напечатать, чему обрадуется толпа? — Только строчкам о Жуковском, потому что они напомнят ей пассажи Цертелева и Федорова. Такова наша публика, она не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения, не угадывает шутки, не чувствует иронии...

Было новое лицо —Языков. С ним он прежде встречался заочно — на журнальных страницах (однажды они оказались совсем на соседних страницах — в воейковских ”Новостях литературы”: он — с ”Падением листьев”, Языков — с ”Чужбиной”). Языков был — как и полагается 20-летнему юноше — жадно влюблен в *Светлану* и ревновал, как ревнуют в 20 лет (”Она чрезвычайно любит Баратынского и Льва Пушкина; это мне непонятно и не нравится: я их обоих знаю лично”. В продолжение времени это, конечно, пройдет).

Может быть, новое лицо и сочинитель лучшей русской комедии всех времен (после Фонвизина), в то короткое лето тоже житель Петербурга — Грибоедов. Разумеется, почем нам знать, видели они друг друга

или нет, но уж слишком много у них было общих знакомых, где могли бы и увидеться – скажем, у Тургенева на Черной речке или у Мухановых; в конце концов, в театре, им могли друг друга показать. За глаза Грибоедова с Боратынским, верно, знакомил Кюхельбекер, весьма сошедшийся с ним в Тифлисе в 822-м году.

Около 19-го июня у Дельвига с Булгариным вышла ссора. В чем именно было дело – не знаем, но Дельвиг вызвал Булгарина. Булгарин отказался: "Скажите барону Дельвигу, что я на своем веку видел более крови, нежели он чернил". Дело уладил Рылеев: "Любезный Фаддей Венедиктович! Дельвиг соглашается все забыть с условием, чтобы ты забыл его имя, а то это дело не кончено. Всякое твое громкое воспоминание о нем произведет или дуэль или убийство. Dixi".

Числа 15-го июля по Петербургу пронесся слух: Пушкин в Одессе застрелился.

– Но из Одессы этого с вчерашней почтой не пишут.

– Сказавший слышал, от кого, не знаю.

– О Пушкине, верно, вздор, то есть, что застрелился?

– Вернее то, что он отставлен.

– Не ужился с Воронцовым, этого я понять не могу.

– Пушкин отставлен; ему велено жить в псковской деревне отца его под надзором.

Причины? Назовите две любых: та и другая будет служить достаточным обличением.

В начале августа был смотр дивизиям в Красном Селе, и после сего Нейшлотский полк отправился на зимние квартиры. Тетради свои, лежавшие у Рылеева и Бестужева, Боратынский взял, видимо, лишь под предлогом кое-что пересмотреть, но увез их с собой в Роченсальм насовсем: коли сказано – *не объявлять нигде имени под стихами*, о каких "Стихотворениях Евгения Баратынского" речь? (Впрочем, быть может, истинная причина похищения тетрадей была иной.) Бестужев очень обиделся. Он думал, что это козни Воейкова для уничтожения "Полярной звезды". Впрочем, Бестужев думал, что и "Северные цветы" – затея Воейкова с целью перетянуть к себе всех лучших сочинителей и оставить "Полярную звезду" без Жуковского, Пушкина, Боратынского, Дельвига, Вяземского, Козлова. Бестужев жаловался Вяземскому: "чтобы подорвать нас, употребляет он все средства. Мутят нас через Льва с Пушкиным; перепечатывают стихи, назначенные в Звезду им и Козловым; научили Баратынского увезти тетрадь, проданную давно нам, будто нечаянно... О князь, Ваше бы сердце разорвалось на части, если б узнали Вы дела и мысли тех, кого считаете лучшими своими друзьями". – Разумеется, Бестужев подозревал в злоумышлениях против "Полярной звезды" и Дельвига. Но то, что он выплескивал в близком разговоре, совсем не предполагало, чтобы он мог подобное выплеснуть где-нибудь в печати или вслух. Ни Дельвига, ни Боратынского нельзя никогда было ставить на одну доску ни с верным и явным врагом – Воейковым, ни с вечным приятелем – Булгариным, который по жизненной сути своей не мог не подгадить (Рылеев обещал ему – шутя, разумеется, – отрубить голову на "Северной пчеле", когда у нас начнется революция).

А Булгарин, прознав, очевидно, что между его приятелями Рылеевым и Бестужевым и его неприятелем Дельвигом (а следовательно, неприятелем был теперь и Боратынский) имеются некие неудовольствия, решил наконец дать Дельвигу удовлетворение на тот июньский вызов. Удовлетворение было, разумеется, чернильным. В сентябре он его напечатал под заголовком "Литературные призраки". Два почтенных литератора – *Архип Фаддеич* (читай: Фаддей Венедиктович) и высокоученый *г. Талантин* (читай: Грибоедов) сошлись с двумя литературными недорослями – *Лентяевым* и *Неучинским*. Кого надо видеть в этих лицах – сомневаться не приходилось*. Понятно, даже не читая, кто что будет говорить. Скучно переписывать, потому что два года назад нечто подобное мы уже слышали от Федорова. Но и нельзя утаить, чтобы более насчет покаяний Булгарина, на кои он легок, не обольщаться:

"*Лентяев.* Разве надобно учиться, чтоб быть Поэтом?

Талантин. Точно так, как надобно учиться, чтобы быть музыкантом, скульптором, живописцем. Талант есть способность души принимать впечатления и живо изображать оные: предмет – Природа, а посредник между талантом и предметом – Наука...

Неучинский. На что Науки? Я в четырнадцать лет бросил ученье, ничего не читал, ничего не знаю – но славен и велик! – Я поэт природы, вдохновения! В моих гремучих стихах отдаются, как в колокольчике, любовные стоны, сердечная тоска смертельной скуки, уныние (когда нет денег) и радость (когда есть деньги) в пирах с друзьями. Я Русский Парни, Ламартин; если не верите, спросите у моего друга Лентяева.

Лентяев. Клянусь Вакхом – правда! Стихи друга моего образцовые..."

Прочитав сие, Грибоедов отказался от предложенной ему миссии – быть литературным секундантом Булгарина: "Милостивый государь, Фаддей Венедиктович... Не могу долее продолжать нашего знакомства. Лично не имею против вас ничего; знаю, что намерение ваше было чисто, когда вы меня, под именем Талантина, хвалили печатно и, конечно, не думали тем оскорбить. Но мои правила, правила благопристойности и собственно к себе уважение не дозволяют мне быть предметом похвалы незаслуженной... Расстанемтесь... Мы друг друга более не знаем". (Скоро Булгарин покаялся, и они помирились; и с Дельвигом Булгарин к новому году помирился, а вот с Боратынским они, кажется, именно с той поры разошлись навсегда.)

* * *

О булгаринской выходке, о том, что Воейков украл у Рылеева с Бестужевым (буквально украл, не метафорически) и напечатал огромный отрывок из "Братьев разбойников" Пушкина, предназначенных для "Полярной звезды", о том, что Пушкину не вполне нравится послание "Богдановичу", – Боратынский узнал уже в Роченсальме.

Было грустно. И не до парнасских войн. Шел восьмой послепажеский сентябрь. Александр Павлович, милостивый наш монарх, был бодр и свеж, правил своих держался строго, жить собирался долго. – Еще в мае

---

*Разумеется, Дельвига и Боратынского!

свалили с министерства Голицына. Вослед Голицыну потерял свои должности Александр Иванович Тургенев. – Затеплилась было новая надежда: помощь Закревского. Но вот уже заговорили и об его отставке. Кого назначат в Финляндию? – Грустно. – ”Я в себе не свободен, и бог весть буду ль свободным заживо”. – Даже любить некого, кроме Анеты...

Подобно мне любил ли кто?
И что ж я вспомню, не тоскуя?
Два, три, четыре поцелуя!..
Быть так; спасибо и за то.

Но светлый мир уныл и пуст
Когда душе ничто не мило, —
Руки пожатье заменило
Мне поцелуй прекрасных уст.

25-го сентября был день рождения С.Д.П. ...

В таких положениях можно утешаться одним: есть люди в таком же или, быть может, худшем положении. Вот Абаза. Переведен в Нейшлотский полк в прошлом году. Его разжаловали из юнкеров тоже в 816-м, он сразу был отдан и действительно служил, не имея дядюшки – полкового командира; восемь лет служил, и только в прошедшем августе стал унтером. Сколько ему теперь ждать офицерского чина? Правда, Абаза разжалован за кулачную расправу и дерзостный язык... Однако и Креницын был отдан за буйство и бунт. Но Креницын уже прощен и прапорщик... А Пушкин не прощен, и за четыре года его высылки ему не было ни отпусков, ни маршей в Петербург, ныне же он поселен вовсе на безвыездное житье в свою псковскую деревню. Пушкину, конечно, проще – он не в степях рожден, он, и утопая по горло в болоте, будет свободен, потому что свободе его не нужно подтверждение далью земного простора. *Он же гений...* А когда гений вселен в человека – что ему зависимость, несчастия, судьба? – *Все это служит пищею гению.*

”...но вот беда: – я не гений... В молодости судьба взяла меня в свои руки... Для чего ж все было так, а не иначе? На этот вопрос захохотали бы все черти. – И этот смех служил бы ответом вольнодумцу; но... мы верим чему-то. Мы верим в прекрасное и добродетель. Что-то развитое в моем понятии для лучшей оценки хорошего, что-то улучшенное во мне самом – такие сокровища, которые не купят ни богач за деньги, ни счастливец счастием, ни самый гений, худо направленный”.

* * *

Впрочем, о том, что гений Пушкина – ”худо направленный”, он если и мог думать – только однажды: когда все, кто Пушкина знал хорошо, думали о нем плохо – весной 825-го года, – тогда вдруг выскользнула давняя, еще 817-го или 818-го года, эпиграмма против Карамзина (”В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастья необходимость самовластья и прелести кнута”). Конечно, в 825-м году после всего, что Карамзин для Пушкина сделал, такая эпиграмма была подлостию. – На Пушкина как-то особенно правдоподобно

умели клепать, как ни на одного человека. Вероятно, видя, что даже глухая деревня и полная неопределенность будущего не пронимают его, судьба избрала для его преследования злые языки. Не умея никак взять его в свои руки, долго, очень долго (при ее-то могуществе) она не могла его прикончить слухами и клеветой. Так и весной 825-го года слух о свежести мальчишеской эпиграммы рассеялся как дым.

(На посмертных мнениях о приятельстве Пушкина с Боратынским она тоже поставила свою печать. Около 860-х годов выполз новый слух, и по роковому закону отражения и повторения Пушкину, о котором теперь все вспоминали только добродетельное и прекрасное, Боратынский в этом слухе тайно завидовал и чуть ли не говорил: "А ныне – сам скажу – я ныне завистник. Я завидую; глубоко, мучительно завидую". – Конечно, нельзя не удивиться в очередной раз изощренной, почти математической продуманности мелких деталей, которыми изобличает нас клеветник. Сальери у Пушкина говорит: *Я не гений*, и Боратынский в письме к Путяте, отрывок из коего мы привели на предыдущей странице, говорит: *Я не гений*. Чего ж вам боле? – По счастью, против математических истин клеветы есть язык старой дружбы, чья сила в нелогичном знании того, как было на самом деле. В конце концов, даже если мы сами уже вкушаем небытие средь элизийских пиров, друзья, оставшиеся без нас там, на земле, придут на подмогу. Боратынскому с Пушкиным успел помочь тогда, около 860-х годов, Соболевский, сухо и лаконически сказав: "Это сущая клевета", – и тем решил задачу.)

* * *

Как бы ни хохотали черти, он имел право сказать себе: *я не гений*. Есть такие истины – как полезные советы Вовенарга или Ларошфуко – оформишь их в слова, и кажется: вот всех загадок разрешенье! Но боже! Какое гнетущее разрешенье!

Что такое гений – ясно, но кто такой *не гений*? Гений наоборот? Так сказать, превратный гений? – Человек, каких много, *которых мы тысячи встречаем наяву*, особенно среди тех, в ком резко видна и *холодность, и мизантропия, и странность?* Человек, чье сердце, *жадное счастия, но уже неспособное предаться одной постоянной страсти и теряющееся в толпе беспредельных желаний*, ставит его в положение *большей части молодых людей нашего времени? Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра – ударился в мысли... Он имеет некоторые таланты и не имеет никакого. Ни в чем не успел, а пишет очень часто...*

Не гений – это портрет целого поколения (Пушкин не в счет). И что ему ответить на это *для чего же все было так, а не иначе?* Какое утешение прибавить?

Такое: что, хотя и мизантропия, и сердце, неспособное предаться, и толпа беспредельных желаний, – мы верим чему-то. Пусть это будет добро и красота, ибо если нет добродетельного и прекрасного, не из чего родиться тихой и нравственной жизни – тому оплоту, тому пустынному углу, той обители дальной, где смертный, давший тягу от своего века и своих современников, сохраняет для своей пустыннической жизни

нежную подругу, надежно сторожащую его любовь, и двух, трех, четырех друзей, в переписке с которыми оживает душа новыми мыслями и согревается сердце.

Итак, пусть пищею не гения будет жизнь внутренняя: прекрасное и добродетель, совершенствующие вкус и самосознание – *лучшую оценку хорошего* и *что-то улучшенное во мне самом*. А хранящим его талисманом – поэзия, ибо внутренняя жизнь, не имеющая выхода, своим следствием имеет всегда одно: распад, неважно чем выраженный, – немым воем безумца или бессловесным выкликом пропойцы.

* * *

"Дела мои все хуже... Это более, чем всегда, уводит меня к плетению рифм, доказывая, что истинное мое место – в мире поэтическом, ибо в мире существенности мне места нет..."

"Стихи все мое добро..."

* * *

В начале октября штаб Нейшлотского полка переезжал из Роченсальма в Кюмень-город; там полковник Лутковский выбрал для жительства дом, где обитал некогда Суворов.

* * *

Мы покидаем Роченсальм, любезная маменька. Закревский, исполняя просьбу полковника, позволил ему занять просторный и прекрасный дом в Кюмени, дом принадлежит казне. Это всего в семи верстах от прежних наших квартир. Полковник берет меня с собою в помощь жизни. Достойно примечания, что я займу в этом доме именно те две комнатки, которые занимал когда-то Суворов – когда строил Кюменскую крепость. Но раньше начала октября мы туда не попадем. Письма же можно адресовать в Роченсальм, как и прежде.

Я веду жизнь вполне тихую, вполне покойную и вполне упорядоченную. Утром занят немногими трудами своими у себя, обедаю у полковника, у него провожу обыкновенно и вечер, коротая его за игрой с дамами в бостон по копейке за марку: правда, я всегда в проигрыше от рассеянности, зато, благодаря этому, меня видят, по меньшей мере, учтивым.

У нас прекрасная осень. Кажется, она вознаграждает нас за нынешнее плохое лето. Я люблю осень. Природа трогательна в своей прощальной красоте. Это друг, покидающий нас, и радуешься его присутствию с меланхолическим чувством, переполняющим душу.

Полковник получил письмо из Ржева, принесшее крайне неожиданные новости. Неурожай привел там к настоящему бунту. Крестьяне уходят из своих домов. Более трех тысяч человек оставили уезд. Все крепостные. Перемена мест не обходится без буйства: они начинают с того, что захватывают все, что могут, в домах своих владельцев, собираются толпами и клянутся друг другу, одни против господ, другие против правительства, третьи против Ар.* Невеселая забава. Вы уже получили эти новости?

---

*Против Аракчеева.

* * *

Но в кюменский дом Суворова он попал только в феврале следующего года.

* * *

Любезный друг Арсений Андреевич... Благодарю тебя, что сердце твое не застывает ко мне и под созвездием медведицы... Повторяю о Боратынском, повторяю опять просьбу взять его к себе. Если он на замечании, то верно по какой-нибудь клевете; впрочем, молодой человек с пылкостию может врать — это и я делал, но ручаюсь, что нет в России приверженнее меня к царю и отечеству; если бы я этого и не доказал, то поручатся за меня в том те, кои меня знают; таков и Боратынский. Пожалоста, прими его к себе... Верь совершенной преданности верного твоего друга Дениса.

* * *

И в начале октября, еще не переехал штаб нейшлотцев в Кюмень, Закревский велел Путяте написать к Лутковскому, чтобы тот командировал Боратынского в Гельзингфорс. Не без сожаления, должно быть, но с желаньем удачи проводил его Лутковский.

Около середины октября Боратынский выехал в Гельзингфорс. Сердце его должно было томиться предчувствиями. Обстоятельства его менялись. Не знаем, в каком качестве Закревский определил его к штабу Финляндского корпуса, но полагаем, что свой унтер-офицерский мундир он, как и прежде, не распаковывал.

Узнав о перемене места, все в Петербурге, хлопотавшие о нем, с облегчением вздохнули, ибо, как ни был солдатоват Закревский, он был un brave homme* и на свой лад честный человек. И теперь, когда Закревский убедится воочию в том, что такое Боратынский, он, и без напоминаний Дениса, сам возьмется за дело.

Но, видимо, первое, что сказал Закревский Боратынскому в Гельзингфорсе, — надо подождать до нового года: в январе он будет в Петербурге и на словах скажет государю о деле — иначе ничего не выйдет. Ему государь верит.

"Арсений Андреевич прав, желая повременить представлением; настоящая тому причина решительна. На последней докладной записке обо мне рукою милостивого монарха было отмечено так: *не представлять впредь до повеления*. Вот почему я и не был представлен в Петербурге. Вы видите, что после такого решения Арсений Андреевич иначе как на словах не может обо мне ходатайствовать и что он подвергается почти верному отказу, если войдет с письменным представлением. Едва ли не лучше подождать, два месяца пройдут неприметно, а я привык уже к терпению".

* * *

Он поселился, должно быть, вместе с Путятой. Собственно, тут они

*Славный малый *(фр.)*.

только и познакомились, а прежде Боратынский даже не знал, как Путяту зовут.

Они познакомились и сошлись навсегда. ("...Помнишь ли, любезный друг, те суровые, вековые граниты, омываемые свинцовыми валами... где провел ты многие годы молодости, где в первый раз мы встретились с тобою? – И как тебе забыть их! Впечатления, произведенные ими, мысли и чувства, волновавшие твою душу, сохранились в твоих звучных песнях и для тебя и для других; с ними сроднились и мои бесплодные воспоминания. Помнишь ли, как часто, среди сих мрачных картин угрюмой природы, пламенное воображение твое увлекалось в страны благословенного, роскошного Юга? Подобно первобытным сынам сих грозных скал, вслед за их могучими тенями, наши помыслы и желания стремились к той же цели, к тем же местам. Берега Дуная, Царьград, Греция, возрождавшаяся из пепла, были беспрестанными предметами наших разговоров..." – так вспоминал Путята через пять лет.)

Те два месяца, которые Петербург приходил в себя после гибельного ноябрьского наводнения, в Гельзингфорсе пронеслись незаметно. Тихая поначалу и отчасти, видимо, уединенная жизнь Боратынского в обществе Путяты и другого адъютанта – Муханова чем далее, тем более наполнялась новыми звуками и новыми лицами, а после Рождества, когда Гельзингфорс закружился в балах, и голова его тоже закружилась.

Отчасти, разумеется, закружилась. Ибо он обычно помнил, что сердечные порывы должно поверять сначала разуму и потом только допускать в остальную душу.

Она придет! к ее устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам
Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.

О мечты! Где вечная к вам рифма *ТЫ*?

...Потому что когда он сравнивал *ту* и *эту*, ясно было, что между *той* и между *этой* стоят в ближайшем ряду оба его гельзингфорских друга, а там – далее, сколько их? Мефистофелес, этот смазливый барончик, тот шведский граф...

Дело не в ревности – смешно было бы о том говорить! Дело в любви. Потому, что, когда из двухсот претендентов – сто влюблены в *ту*, а сто в *эту*, и из каждой сотни лучшая половина влюблена не на сегодняшний только бал, а навсегда, говорить ли о соперничестве?

Приятели его принадлежали к лучшим половинам и были влюблены смертельно: Муханов – в Аврору, Путята – в Магдалину.

1825

Сегодня бал, а завтра будет два – этим Гельзингфорс генваря

825-го года почти не отличался от Москвы и Петербурга; хотя, конечно, *завтра будет два* — это гипербола.

"Вечером был у нас званый бал; ... всех было до 150... Разъехались в 5-ом часу пополуночи". — "Вечером был у нас бал, на коем было до 200 человек гостей и продолжался оный до 4 часов пополуночи". — "200 человек пляшут у Генерала..." — "И даже сидя за письменным столом я все еще слышу звуки инструментов... На днях был танцевальный вечер у Генерала, потом, на следующий день, в пятницу, вечер у мадам Рихтер, сегодня, как я уже говорил, у мадам Валлен, а в этот вторник мадам Закревская обещала, что генерал-губернатор проведет вечер у нас". — "Хочу только, чтоб здоровья хватило".

Общество здесь иное, чем у нас где-нибудь в провинции, ибо Финляндия — не губерния, а хотя почти российская, но страна, и Гельзингфорс хотя недавняя, но столица этой страны. Время здесь идет по-иному, ибо отсчет по двум календарям: нашему и европейскому, обгоняющему наш на 12 дней. Здесь штаб Финляндского Отдельного корпуса, состоящий наполовину из шведов. Здесь двор командира корпуса — финляндского генерал-губернатора. Здесь, наконец, Финляндский сенат, состоящий из шведов. Штаб корпуса и двор Закревского переполнен молодыми офицерами из лучших русских и шведских фамилий. У сенаторов и сенатских служащих, разумеется, прелестнейшие дочери.

Словом, хватило б здоровья и денег. — Деньги были. Хуже другое — генварские балы в Гельзингфорсе были последними: генерал Закревский выходил в отставку.

* * *

Вот и новый год, любезный Козлов; желаю, чтобы он был счастлив для вас и исполнен прекрасными вдохновениями. Я получил вашего "Чернеца", прочитал его с невыразимым чувством, многие места глубоко тронули меня...

Мне совестно говорить после "Чернеца" об "Эде", но, хорошо или плохо, а я довершил свое маранье. Кажется, меня ввело в заблуждение собственное тщеславие: я не пожелал итти проторенным путем, не пожелал подражать ни Байрону, ни Пушкину, увлекся прозаическими подробностями, стараясь перелагать их стихами, и в итоге получилась только рифмованная проза. Словом, желая — стать самобытным, я оказался лишь странным...

Дела мои идут все хуже. Будучи в Петербурге, вы знаете, что мой нынешний покровитель выходит в отставку. Итак, мое производство откладывается не менее, чем на год...

Прощайте, любезнейший друг...

Ваш Е.Боратынский.

* * *

В таком состоянии духа от невзгод жизни спасти может только безответная любовь, а лучше — жгучая, болезненная и мучительная страсть, чтоб нашелся заряд для стихов.

Выбор был.

* * *

Шернваль — по-шведски звезда. *Аврора* на всех языках — заря. 16-летняя Аврора Шернваль была дочерью покойного выборгского губернатора Шернваля и падчерицей г-на Валлена, главного прокурора Финляндии. В ту зиму ее впервые вывезли в свет, и она была прекрасна. Поэтому увидеть ее можно только влюбленными глазами.

Из журнала Александра Муханова.

9(21) Окт. Четверг. 1824. Гельзингфорс. — Вечер провел наедине с генералом; в других комнатах Мессалина угощала гостей своих les Vallens, les Lévanders и жену Армфельда. Изредка выходил я посмотреть на игры. Аврора нынче была бесподобна; смотря на ее снежные грудь и шею, думая о простоте ее нрава и воспитания, я подумал также и о призраках счастия, за которыми, неутомимо бегая, мы не видим существующих наслаждений настоящего под носом... Все уехали; комнаты были освещены — двери настежь отворены, все ушли к генералу, и я сидел один, протекая мыслию прошедшее; воспоминания прошедших радостей и пламенных восторгов проходили мимо меня толпами. Сердце ныне уже не так сильно бьется, череп не раскаливается и не дымится, и хладная существенность налагает на них кандалы ступеней опытности... Долго не мог заснуть я...

1825-й год. Гельзингфорс. 1(13) Генваря. — ...Во время ужина не отхожу ни минуты прочь от Авроры; она хороша, как бог; дышу ей одною и радостно встречаю новый год. Мефистофелес в ссоре с Мессалиной. Я счастлив Авророю до бесконечности; провожаю ее до кареты; сладко прощаемся...

3-е (15-е). — Утро проходит в хлопотах... Зан... сказывает мне, что едет за Авророю кататься с ней в санях. Иду на угол Ма... дома, хожу там взад и вперед, рвусь от нетерпения. Едут!.. становлюсь за сани, за коими уже стоит брат. Едем в Свеаборг; счастье мое продолжается; я от него задыхаюсь!!... Объезжаем крепость, возвращаемся в город, который тоже мигом облетаем. Дорогой, еще по заливу, кучер останавливается, оправляет что-то у лошади; я пользуюсь этим временем и умоляю Аврору не позабыть меня и в доказательство чувств своих пожертвовать мне смазливым барончиком. Страстные взгляды с несколькью нежных упреков заверяют мне счастье на вечер... Вечером барон уничтожен; а я счастлив как нельзя более. Я не танцую с нею, по обыкновению, попури; во время оного она выбирает барона; ревность меня поджигает — я раскаливаюсь. В шведской кадрили примиряемся... меня терзает не горе, а избыток счастья, которым не с кем поделиться. Провожаю брата до дома. Полупьяный брожу я по улицам; вода по колено. Возвращаюсь домой, иду снова с Путятой и с Баратынским.

* * *

Боратынский отчасти дразнил его впоследствии:

Что скажет другу своему
Любовник пламенной Авроры?
Сияли ль счастием ему

Ее застенчивые взоры?
Любви заботою полна,
Огнем очей, ланит пыланьем
И персей томных волнованьем
Была ль прямой зарей она,
Иль только северным сияньем?

Она в самом деле стала его зарей, увы, вечернею. — Муханов долго ее любил. В сущности, с этой зимы — до гроба. Потому что, когда десять лет спустя г-н Валлен и его супруга решились наконец отдать Аврору Муханову, душа его не выдержала счастья, и он умер. Что сталось с Авророй? По-прежнему ль

Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоскою:
— Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?

Загляните в примечания, коли вы любопытствуете о ее дальнейшей судьбе, а нам грустно видеть гельзингфорское счастье Муханова и ответные взгляды Авроры. Пусть лучше Муханов прочтет ей на непонятном для нее языке "Звездочку" Боратынского, и они будут ликовать от своей любви, минуя слова.

Не Аврора закружила ум Боратынского, а та, чье имя уже упоминалось мимоходом — в последний раз в мухановских записях, вызвав, надеемся, некоторое предчувствие: "... Мессалина угощала гостей своих... Мефистофелес в ссоре с Мессалиной... Сцена на верху... La Moglia пытается знать, что говорит Мессалина в беспамятстве; она упрашивает меня рассказать ему ее измену, не находя довольно силы душевной на сознанье... Утром 1-го генваря... Взбегаю на верх; сцена примирения. Мефистофелес на коленях и пр." — Не вполне ясно, правда, кому же она изменила в этот раз: La Moglia с Мефистофелесом, или Мефистофелесу с La Moglia? или им обоим с кем-то еще?

"Друг мой, она сама несчастна: это роза, это царица цветов; но поврежденная бурею — листья ее чуть держатся и беспрестанно опадают. Боссюет сказал, не помню о какой принцессе, указывая на мертвое ее тело: La voilà telle que la mort nous l'a faite*. Про нашу Царицу можно сказать: La voilà telle que les passions l'ont faite**. Ужасно! Я видел ее вблизи, и никогда она не выйдет из моей памяти. Я с нею шутил и смеялся; но глубоко унылое чувство было тогда в моем сердце". — Так утешал Путяту Боратынский, уехавший в конце генваря из Гельзингфорса назад к Лутковскому — в Кюмень. Самой ей он написал еще в Гельзингфорсе мадригал, более, впрочем, похожий на эпитафию:

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!

---

*Вот что сделала с нею смерть *(фр.)*.
** Вот что сделали с нею страсти *(фр.)*.

В тоске душевной пустоты,
Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина, плачешь ты,
И, как русалка, ты хохочешь!

Должно быть, после этой эпитафии к ней пристало имя *Магдалины*.

Были, верно, минуты, из-за которых Путята поверил в свою счастливую звезду, хотя, конечно, если сравнивать Магдалину с природными явлениями, то не с звездами, а разве с кометами. Понятно, что вера Путяты была зыбкою, окатывающею то жаром, то холодом. Но когда страсть завладевает нами – невольны мы в самих себе. Путята страдал от нее больнее Боратынского, потому что Боратынский с самого начала видел весь ужас положения ее избранника (разумеется, если избранник – не Мефистофелес; хотя ведь и Мефистофелес, бывало, стоял перед ней на коленях). Видел – и сразу желал огородить себя магическим строем стихов. И когда он писал "Бал", он пестовал в своей душе чисто эстетическую природу Магдалины, противодействуя гармонией звуков – хаосу жизненной бури. – *Зачем же раскаиваться в сильном чувстве, которое ежели сильно потрясло душу, то может быть, развило в ней много способностей, дотоле дремавших?*

План повести "Бал" в основании своем имеет историю любви княгини Нины к некоему Арсению. Это история женщины, всю жизнь сгоравшей в пламени страстей, но лишь однажды истинно полюбившей и узнавшей в скором времени тот самый кошмар измены, какой пережили все, прежде влюбленные в нее. Несчастная Нина не выдерживает испытания и гибнет. – В сущности, вся эта грустная история – не что иное, как заново пережитая, но с многочисленными подробностями пересказанная, – XII глава романа "С.Д.П."* Что ж! Талант спасаться от жизненных бурь в эстетику словесного творчества – великий дар природы, а не опыта. Опыт же учит нас предвидеть развязки роковых страстей...

Но жалок тот, кто все предвидит – и чья голова не кружилась от волшебного взгляда Магдалины, от звуков ее голоса?..

* * *

Когда явился Мефистофелес, прочие, не исключая Путяты, были отвергнуты, впрочем, это не означало, что отвергнуты навсегда и бесповоротно: кажется, Магдалина, сгорая от не укрощаемой ничем жажды любви и страстей, была поражена и другим недугом – потребностью исповедоваться – и не могла существовать без наперсников, посвященных в тайны ее влечений и измен.

С февраля по апрель – три месяца – Путята силою судьбы был отлучен от Магдалины, от двора Закревского, от Финляндии. Он жил в Москве. Отсюда он и писал Муханову о своей тоске: «Благодарю тебя за известия о моей *Магдалине* и прося продолжать их, прошу не страшиться говорить мне истину, хотя горькую. Я довольно к ней привык и если минутно предавался еще сладостным мечтам и очарованию, обманывал сам себя,

---

* "Зачем, о Делия! сердца младые ты игрой любви и сладострастья исполнить силишься мучительной мечты..." и проч.

то слишком горько платил за эти минуты, чтоб быть в состоянии испытывать их снова. Желаю ей счастия, хотя желание мое тщетно, вряд ли она найдет его; и сделаю ей упрек словами Байрона: "Ты слишком хорошо умеешь любить и слишком скоро забываешь: вот что раздробляет сердце, тобой огорченное"».

Когда в мае Путята вернулся в Гельзингфорс, он застал такую картину: "Герцог встретил меня довольно милостиво, и когда я удовлетворил первому его вопросу: "Что новенького? Скорей рассказывай", то он завалил меня... маршрутами, таблицами, журналами и проч. и проч. С Магдалиною я свиделся как с женщиною, которую прежде я просто несколько знавал; храню к ней равнодушие и не вижу ее иначе, как при общем собрании придворных. Впрочем, она похудела, имеет страдальческий вид и потеряла даже несколько своей прежней живости и судорожного веселья. Вообще я заметил в ней какую-то перемену, мне непонятную. Мефистофелес тут безотлучно, и они друг с другом aux petits soins*, как нежные любовники в сентиментальном романе, он читает ей вслух les confessions de Rousseau**, подает скамеечку, трет виски Герцогу, когда у него болит голова..."

Но она Путяту так просто не отпустила. Последнее письмо ее к нему, которое нам довелось мельком видеть, было из Парижа и датировано 838-м годом. Вряд ли, однако, то была последняя весть. Живя уже в 850-х годах в Москве, они точно виделись. Правда, тогда и им самим было уже за 50.

А сейчас идет 825-й год, и им по 25. Голова кружится, тоска захватывает, ревность жжет Путяту в Москве. Боратынский в Кюмени пишет о ней свой "Бал" и старается быть эстетически спокойным, хотя он снова видел ее: "В Фридрихсгаме расписалась она в почтовой книге таким образом: Le prince Chou-Cheri, héritier présomptif du royame de la Lune, avec une partie de sa cour et la moitié de son sérail***. Веселость природная или судорожная нигде ее не оставляет... – Пишу новую поэму... – В самой поэме ты узнаешь Гельзингфорские впечатления. *Она* моя героиня. Стихов 200 уже у меня написано".

Ништо! В июле судьба снова представит ей случай рассыпать мирную гармонию его эстетических чувствований. В Петербурге они увидятся. И что услышит от него Путята!

"...Ты можешь себе вообразить, как меня изумило и обрадовало неожиданное свидание с Агр.Фед., с Мисинькой, и, наконец, с Каролиною Левандер, которая вовсе было вышла из моей памяти. Я уже два раза их видел. Аграфена Федоровна обходится со мною очень мило, и, хотя я знаю, что опасно и глядеть на нее, и ее слушать, я ищу и жажду этого мучительного удовольствия... – Письмо это доставит тебе Аграфена Федоровна. Она очень любезно вызвалась на это... – Прощай, милый Путята, до досуга, до здравого смысла и наконец до свидания. Спешу

---

*Так предупредительны *(фр.)*.

** Исповедь Руссо *(фр.)*.

*** Князь Милуша, вероятный наследник царства Лунного, с некоторыми из придворных и половиной своего сераля *(фр.)*. – "В Финляндии путешественники сами записывают свои имена в заведенных для того книгах на станциях".

к ней: ты будешь подозревать, что и я несколько увлечен. Несколько, правда; но я надеюсь, что первые часы уединения возвратят мне рассудок. Напишу несколько элегий и засну спокойно. Поэзия чудесный талисман: очаровывая сама, она обессиливает чужие вредные чары. Прощай, обнимаю тебя. – Боратынский".

Развернув второй лист, Путята прочтет:

"Письмо, приложенное здесь, я сначала думал вручить Магдалине; но мне показалось, что в нем поместил опасные подробности. Посылаю его по почте, а ей отдаю в запечатанном конверте лист белой бумаги. Как будет наказано ее любопытство, если она распечатает мое письмо! Прощай".

* * *

То была младая супруга Герцога – генерала Закревского, его Грушенька, их Магдалина, Мессалина, Альсина, Фея:

Как в близких сердцу разговорах
Была пленительна она!
Как угодительно-нежна!
Какая ласковость во взорах
У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламенея,
Как зла в словах, страшна собой,
Являлась новая Медея!
Какие слезы из очей
Потом катилися у ней!
. . . .
Страшись прелестницы опасной,
Не подходи: обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
Кто в сладкий чад его вступает:
Ладью пловца водоворот
Так на погибель увлекает!
Беги ее: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей
Одуревающей приманки;
Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар — не жар любви.

В ее судьбе роковую роль, еще в девические лета, сыграл наш милостивый монарх. Именно он, вняв ее красоте, отдал ее Закревскому ("Император Александр Павлович, оценив достоинства Арсения Андреевича и зная его недостаточные средства, женил его на графине Толстой, в то время одной из богатейших невест. – Брак этот имел романическую подкладку. Невеста любила другого и решилась выйти за Арсения Андреевича условно, исполняя волю императора. Первые годы их супружества походили на отношения короля прусского Фридриха Великого к королеве-супруге... Отношения графа к графине Аграфене Федоровне были ровны и почтительны").

В Гельзингфорсе она выбрала Армфельта, прозванного адъютантами

Герцога — Мефистофелесом. В Гельзингфорсе узнал ее Путята. В Гельзингфорсе был поражен ею Боратынский.

* * *

Нам надобны и страсти и мечты, в них бытия условие и пища — таковы резоны не только юноши, но и зрелого мужа, и старца, если те не лишены чувства и воображения. Однако чем старше, тем труднее согласить желанья сердца с опытом жизни. До поры до времени юноша еще воспламенен сладострастными иллюзиями и счастлив мимолетным наслаждением. Но младые годы летят сквозь нестройную чреду проказ и шалостей, важнеет ум, зрелеет мысль, и настает однажды пора прощаться с безграничными увлеченьями, с необузданными восторгами, с праздниками смятенья, с юностью. "Простимся дружно", — мыслит юноша и поет свой последний юношеский гимн:

ЛЕДА

В стране роскошной, благодатной,
Где Евротейский древний ток
Среди долины ароматной
Катится светел и широк,
Вдоль брега Леда молодая,
Еще не мысля, но мечтая,
Стопами тихими брела.
Уж близок полдень, небо знойно;
Кругом все пусто, все спокойно;
Река прохладна и светла;
Брега стрегут кусты густые...
Покровы пали на цветы,
И Леды прелести нагие
Прозрачной влагой приняты.
Легко возлегшая на волны,
Легко скользит по ним она;
Роскошно пенясь, перси полны
Лобзает жадная волна.
Но зашумел тростник прибрежный,
И лебедь стройный, белоснежный
Из-за него явился ей.
Сначала он, чуть зримый оком,
Блуждает в оплыве широком
Кругом возлюбленной своей;
В пучине часто исчезает,
Но, сокрываяся от глаз,
Из вод глубоких выплывает
Все ближе к милой каждый раз.
И вот плывет он рядом с нею.
Ей смелость лебедя мила,
Рукою нежною своею
Его осанистую шею
Младая дева обняла;
Он жмется к деве, он украдкой
Ей перси нежные клюет,
Он в песне радостной и сладкой
Как бы красы ее поет,
Как бы поет живую негу!
Меж тем влечет ее ко брегу.

Выходит на берег она;
Устав, в тени густого древа,
На мураву ложится дева,
На длань главою склонена.
Меж тем не дремлет лебедь страстной:
Он на коленях у прекрасной
Нашел убежище свое;
Он сладкозвучно воздыхает,
Он влажным клевом вопрошает
Уста невинные ее...
В изнемогающую деву
Огонь желания проник:
Уста раскрылись; томно клеву
Уже ответствует язык;
Уж на глаза с живым томленьем
Набросив пышные власы,
Она нечаянным движеньем
Раскрыла все свои красы...
Приют свой прежний покидает
Тогда нескромный лебедь мой;
Он томно шею обвивает
Вкруг шеи девы молодой;
Его напрасно отклоняет
Она дрожащею рукой:
Он завладел ———
Затрепетал крылами он, —
И вырывается у Леды
И детства крик, и неги стон.

Всё...

Бывший юноша уныло озирает опустелый мир. Не все ли равно, хладнокровно рефлексирует он, когда мы самодовольно торжествуем, говоря: *Она моя!* Мелочная гордость обладанием – слишком ничтожное ощущение, чтобы мыслящий человек испытал от него полное счастье. Сердце устало от погони за призраками, утехи в объятиях наперсниц наших – страстных дев не утешают более, душа отцветает, пламень гаснет. Нам надобны теперь сильнейшие, чем прежде, потрясения, чтобы оживить увядшую душу и развить способности, дотоле дремавшие. Не Леда, не Лилета затмят теперь ум и займут воображение. Теперь не то в предмете. Иная страсть захватывает душу, волнует сердце, колет память:

ФЕЯ

Порою ласковую Фею
Я вижу в обаяньи сна,
И всей наукою своею
Служить готова мне она.
Душой обманутой ликуя,
Мои мечты ей лепечу я;
Но что же? странно и во сне
Непокупное счастье мне:
Всегда дарам своим предложит
Условье некое она,
Которым, злобно смышлена,
Их отравит иль уничтожит.
Знать, самым духом мы рабы
Земной насмешливой судьбы;
Знать, миру явному дотоле
Наш бедный ум порабощен,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон!

. . . .

Был жаркий, очень жаркий августовский день. После полудня небо подернулось белесой пеленой, не выпускавшей зной с земли,

а лишь рассеивавшей липкую духоту над лесом, рекой, дачами. Ветра не было.

Я ждал: мы должны были как бы нечаянно встретиться в боковой аллее. Нестерпимый зной тупил все чувства, и отчасти я даже надеялся, что свидание не состоится. Хотелось спрятаться в какой-нибудь тенистый угол... Но привычки сердца имеют над нами неколебимую власть. – И вот она пришла.

– Я страшно утомлена, – отвечала она на мои любезные восклицания. – Такая жара!

– Есть одно чудесное тенистое место, в двух шагах отсюда. Право, вы не разочаруетесь.

Она слабо улыбнулась, и я повел ее по тропе вправо от аллеи – к беседке.

Второго такого нечаянного свидания могло не случиться: князь скоро уезжал из Петербурга по делам службы, она следовала за ним. Разумеется, я не питал особенных надежд на эту встречу, но некоторые замыслы имел. – Дело в том, что, чем чаще я бывал на даче князя, чем охотнее участвовал в общих прогулках, в танцах, обедах и ужинах, где встречался с княгинею, тем более нежно, казалось, взоры ее останавливались на мне. Зная себя, я старался не поддаваться быстрому соблазну, помня, что искра, допущенная до сердца, разжет в нем такой пламень, с которым не скоро справиться. А княгиня очень мне нравилась. Быть может, я уже любил ее, но, опасаясь собственного огня, оставался до времени хладнокровен и надеялся, что она сама подаст повод к решительному объяснению. И уже были случайные тайные пожатия руки, и внезапные взгляды ее темных глубоких глаз из другого конца залы, и нарочитый смех в ответ на мои пока лишь отчасти двусмысленные речи. По крайней мере, я возбудил в ней некое любопытство и, быть может, чувство.

Княгиня была женщиной во многих отношениях необыкновенной. Беспрестанное соперничество, которое вели между собой ею же воспламененные любовники, казалось, одно призвано поддерживать ее душевные силы. Из толпы воздыхателей, время от времени, она выделяла одного, и молва приписывала ей немало увлечений и разочарований. Красоте ее, как я заметил, немало способствовала наука превращать – без посредства румян и белил – природные недостатки в достоинства. Она была невысока ростом и ширококостна, но порывистая грациозность подчас стремительных движений вызывали ощущение легкости необычайной. Пухлые пальцы, удлиненные изящнейшими ногтями, казались даже узкими. Ни у кого в мире вы бы не нашли подобную математическую точность пропорции между овалом бус и лица. В сущности, то был не овал: столь круглые физиогномии встречаются лишь у крестьянок. Но прекрасные каштановые локоны так обрамляли лицо, темные, широко поставленные глаза выражали такую иллюминацию душевных движений, а линия губ и подбородок образовывали такой неизъяснимо сладострастный изгиб, что, глядя на нее, вы невольно вспомнили бы слова нашего поэта, сказанные о красавицах подобного склада:

Но как влекла к себе всесильно
Ее живая красота!

В беседке она откинулась на скамью, полузакрыла глаза и прошептала:

— Боже мой! Раз в году бывает лето, и всегда или нескончаемый дождь или, что не лучше, истомляющая жара!

— Что делать! — отвечал я. — Можно утешаться лишь тем, что есть места, где зной длится полгода, и есть страны, где тепла не бывает вовсе. — Увы! Я не чувствовал в себе никакого энтузиазма! Жар природы заглушал любовный огнь настолько, что не требовалось даже хладнокровных усилий разума, чтобы удерживать себя. Но я надеялся, что болтовня и само уединение в беседке выведут меня из полусна, и продолжал: — В Италии, к примеру, летом всегда жарко, и солнце печет безостановочно. Впрочем, что говорить об Италии! Там воздух напоен ароматами, благоухает лавром, лимоном, солнце распространяет не зной, а негу... Верно, потому итальянцы столь непосредственны и живы. А мы, жители севера, и меланхоличнее, и рассудительнее, и чахнем от солнца, как тепличные цветы. — Кажется, болтовня, помимо моей воли, выводила меня на нужную дорогу. Дальше я хотел сочинить лукавую любезность, выражавшую бы мысль, что и в северных широтах встречаются красавицы, не уступающие в живости чувств италиянкам, и что за один их взор можно отдать жизнь. Однако растопленный ум мой действовал столь лениво, что я не мог высказать этого в точных формах. Я снова заговорил, но не было в моих словах ни живости, ни остроумия. А княгиня, казалось, сама слишком утомилась зноем, чтобы помочь мне, и лишь редкими фразами поддерживала мою речь.

Прошло достаточно времени. Во мне нарастало беспокойство. Ей могло наскучить такое бесплодное свидание.

Кругом стояла прямо-таки звенящая тишина. Птицы молчали, и даже кузнечики перестали стрекотать. Мы сидели в близком расстоянии друг от друга. Она была, точно, прекрасна, но я не чувствовал ни малейшей с ее стороны искры. Глаза были спокойны, чело безмятежно, правую руку она мягко облокотила на спинку скамьи, левая покоилась на колене, кругло проступавшем под легким платьем. Можно было, разумеется, решительно приступить к прямому признанию, произнести что-нибудь страстное, упасть на колени... Но вряд ли объяснение мое могло прозвучать сейчас в полную силу.

Сквозь плющ, обвивавший беседку живой изгородью, не было видно ничего. Между тем неожиданно быстро и приметно стемнело. Слышно было, как по верхушкам деревьев пробежал ветер. Тотчас последовал новый порыв, за ним еще, и вдруг по крыше дробно застучал дождь. Мы с княгиней переглянулись.

— Забавно! — сказал я и выглянул из беседки. Черно-фиолетовое небо стояло над головой, сея тяжелые частые капли. Тотчас промокнув, я влетел назад. Загремел гром, и через несколько мгновений над нашим убежищем стал раздаваться оглушительный грохот, сопровождаемый яркими, ярче дневного света, вспышками молний. Княгиня не была испугана, только румянец проступил на ее слегка смуглом лице, да глаза

в наступившем сумраке черно блистали. Мы были теперь отрезаны от остального мира стеной дождя. Знойное полузабытье мое отлетело, слегка промокшая одежда бодрила, сердце забилось.

Удар грома совпал с началом ее фразы, первых слов я не расслышал и вынужден был переспросить.

– Я сказала: много ли у вас грехов и не боитесь ли вы умереть без покаяния?

– Главное, не умереть от страха, – отвечал я полусерьезно. – Что же до покаяния, то, думаю, достаточно той змеи воспоминаний о совершенных преступлениях, которая всегда жалит нас.

– Вас грызет раскаяние? – Брови ее приподнялись. – А я не знала, что знакома с преступником. Покайтесь.

Новый раскат грома был уважительной причиной моему молчанию.

– Что ж вы молчите? Покайтесь немедленно. – Тон ее был нарочито капризен. – Сейчас же! Я хочу! – Она заметно оживилась с началом грозы, и я чувствовал, что нараставший во мне порыв не будет встречен отказом – требовалось лишь некоторое время. Я кивнул головой:

– Хорошо. Только с условием, что вы, в свою очередь, сделаете то же.

– О! Я готова рассказать целую поэму – если, разумеется, вы пожелаете слушать.

– ?

– Все зависит, – она лукаво улыбнулась, – от того, по отношению к кому совершено преступление. К примеру, вы с удовольствием выслушаете рассказ о том, как некий юноша, – она все более оживлялась, – которого вы знать не знаете, но тем не менее, надеюсь, уже относитесь к нему с тайной недоброжелательностью, потому только, что он был знаком со мной, – и она посмотрела мне в глаза так спокойно и невинно, что я должен был срочно явить в лице своем нечто вроде смущенной надежды, чтобы она рассмеялась. – О чем я говорила? А! Об одном повесе, которому некая особа вскружила голову. Так вот, если я расскажу историю злоключений этого повесы, в коих я повинна, вы примете мою поэму с любопытством и, быть может, некоторым участием – не к нему, полагаю, а ко мне. Но ежели, – продолжала она, – я скажу, что героем моего покаяния являетесь вы, – сомнительно, чтобы вам моя поэма понравилась.

– Отчего же? Впрочем, вряд ли я смогу стать вашим персонажем. Я стараюсь быть рассудителен и избегать любовных злоключений. Я слишком хорошо все предчувствую, ибо испытал, что такое коварство и измена. Поэтому ныне издалека предвижу обман и успеваю себя к нему приготовить. Становится только немного грустно, и я стремлюсь незаметно уйти.

– Чтобы встретить другую обманщицу?

– Увы, так случалось почти всегда, – я выразил в лице печальную иронию.

– Никогда не поверю, чтоб вы были лишь несчастливы в своих увлечениях!

Я улыбнулся элегически:

– Было время, я так не чувствовал... Но вы, кажется, начали рассказывать свою поэму?

– Ну нет! Сначала вы! Вы разожгли мое любопытство. Не томите меня. Итак, было время...

– Хорошо! – Я скрестил руки на груди. – Было время, когда я не чувствовал так. Мне было восемнадцать, я страдал от того, что никем не любим. Наш полк стоял в Ф*** около двух месяцев. Я скучал в захолустье. И вот однажды, весной, я шел, задумавшись, по одной из улиц Ф***, как вдруг увидел прелестнейшее юное создание, идущее мне навстречу. У нее были голубые глаза, златые локоны, в руках она несла цветы. "Ты продаешь цветы?" – спросил я. – "Продаю", – отвечала она. – "А что тебе надобно?" – спросил я. Кажется, пучок стоил пять копеек. Я купил букетов десять, она удивилась, на что мне столько, и мне удалось завязать с нею незначительный разговор, к концу которого я был уже смертельно влюблен. Оказалось, в их доме тоже квартирует офицер из нашего полка. Это был меланхоличный, уже в летах, штабс-капитан; с великой неохотою он согласился поменяться со мною квартирами. Я переехал под одну крышу с предметом своей любви и занял угловую комнату. Поселяночка моя была истинно отца простого дочь простая. Сначала она дичилась, потом, более доверяясь, стала отвечать веселыми книксенами на мои улыбки. Я приноровился к ее легкому нраву, вскоре она сама искала нечаянных встреч со мной, и мы стали совершать прогулки по окрестностям Ф***. Я был счастлив подавать ей руку, когда надо было перепрыгнуть ручей или подняться на холм; я был счастлив следить за ее легкими движениями, видеть ее глаза, слышать смех. Но юность нетерпелива и глупа. Раз, шаля и кокетствуя, я вымолил у нее поцелуй. И что же? Она стала избегать меня, сделалась задумчива, грустна, прогулки наши прекратились. Я не знал, что предпринять. Унывая душой, я выпросил у полковника командировку в соседнюю бригаду – мне необходимо было рассеяние. Накануне отъезда, улучив минуту, я сказал своей деве, что не могу более переносить ее холода и что отныне судьба моя решена: я уезжаю. – "Надолго?" – спросила она, затаив дыхание. – "Быть может, навсегда", – солгал я. Как она побледнела, бедняжка! Боже мой! Но ведь и я в ту минуту отчасти верил в собственную ложь, и слезы стояли в моих глазах... Что было дальше? Увы! В полночь она пустила меня к себе, робея и крестясь... – Я вздохнул. Княгиня задумчиво слушала. – Наутро я скакал в Р***, обуреваемый противуположными чувствами. Во мне и шевелилась совесть, и я чувствовал стыд от того, что поступил так с невинной девой, и я уже думал мгновениями, что теперь ее судьба вручена мне, и даже некоторые материальные расчеты о ее будущей судьбе волновали ум... Но все это перебивала безумная, счастливая, совершенно ребяческая радость. Счастье буквально распирало мне грудь. Я был любим, я любил! Словом, когда через неделю я вернулся, она уже не могла без меня жить. Я был упоен. Прошел август, настала осень, пошли дожди, страсть моя отчасти пресытилась, а в ней, напротив, все более разгоралась. Уже и отец ее стал кое-что примечать. Настала зима, тайные свидания наши продолжались, и не знаю, чем бы всё кон-

чилось, если бы внезапно нам не объявили поход. Вот когда настало время истинных слез! Впрочем, я полагал, что пройдет месяц, и мне удастся вырваться на время назад в Ф***, чтобы снова увидеть ее, убедиться в ее благополучии, чтобы... В общем, известно, что думают в таких случаях благородные юноши, чья пылкость уже удовлетворена, но душа еще не остыла для добра... Поход наш продлился полтора года; за это время Ф*** выгорел дотла; нас определили на новую стоянку в Р***. Когда я проезжал по старым местам и пытался выяснить, что сталось с моей унылой шалуньей, мне отвечали все разное, да я, откровенно говоря, и страшился встречи с нею, опасаясь увидеть не то, что оставил, а новую героиню Козлова, скитающуюся в безумии по погостам или, быть может, навечно на одном из погостов покоящуюся... – Я снова вздохнул. – А никто меня так не любил никогда! Все, что было впоследствии, было цепью обманов, лукавств, мнимых признаний, любовных розыгрышей... – Княгиня, казалось, была погружена в размышление, а мой исповедальный жар угасал. – Вот, сударыня, почему я говорил, что не мне верить в разделенное упоение счастьем: оно будет отравлено либо тяжким воспоминанием, либо настороженной подозрительностью. Упоение теперь в ином... В умении унять на время рассудок и не думать ни о разлуке, ни об обмане. Упоение – в ловкости продлить свидание, чтобы дольше слышать рядом ласковый голос, чтобы смотреть в темные губокие очи, совсем не надеясь встретить в ответ ни один, ни два, ни три поцелуя. Лучшая награда нынче – вот так, скажем, как сейчас, пока не застыла на зиму природа, разделить утешение в ней не одиноким взором, но, так сказать, двойственным... – Я замолчал; красноречие мое не иссякло, но пора было получить какой-то ответ.

С минуту мы молчали. Гроза бушевала. Некоторая действительная грусть охватила меня. Я смотрел на княгиню и вдруг почувствовал, что она не будет моей. Есть невидимые волны, идущие от души к душе. По ним внезапно догадываешься, какое слово сказать, какое движение сделать, и, наконец, по ним можно не только определить истинные чувства женщины сию минуту, но и угадать, как могут развиться они в будущем. Молчание прервала она:

– Поучительная история... И удивительно напоминает ту, что я хотела рассказать вам в свою очередь... Видимо, все несчастные страсти похожи друг на друга... – Она усмехнулась. – Только мои действующие лица старше, опытнее, и чувства их глубже.

– Однако план вашей поэмы, кажется, иначе располагал героев, чем в моей исповеди, – возразил я.

– Да. Но то совсем другая повесть. Меня, после вашего рассказа, увлекает иной сюжет. – Она взглянула на меня задумчиво и слегка улыбнулась. – Итак, пусть не она, а он, не особенно усердствуя, вскружил ей голову. Пока он хладнокровно обдумывал замыслы ее обольщения, ее душа разгоралась. Нечаянно ему открылось истинное положение вещей. Он был изумлен и не мог поверить ее любви. – Она говорила, как будто затрудняясь, делая короткие паузы после каждой фразы, и я не мог понять, что это: следствие внутреннего волнения или тем самым она дает себе мгновение на обдумывание точных слов для следующего периода. –

Наконец, недоверие его растаяло. Голова его тоже закружилась, и наша героиня упала к нему в объятия. Все уловки были отброшены. Она любила его страстно, преданно, как душу, и, несмотря на свою немалую опытность, пылала как бы первой любовью. Она расцвела, как в шестнадцать лет. И вдруг стороной она узнает, что ее рыцарь не верен ей. Она требует объяснений. Он признается, что встретил ту, которая в юношеские годы подарила ему первое счастье. Она пылает гневом и гонит его. Или нет, пусть не гонит. Пусть она обнимает его колени, рыдает, осыпает мольбами. Пусть ей будет даровано еще малое время, чтобы обмануться в последний раз. И вот, наконец, он покидает ее, чтобы обвенчаться с той своей уездной поселянкой. В отчаянии она выпивает яд. А он... – Она усмехнулась. – Он женится и мирно живет в своем поместье. Что? Какова поэмка?.. Представьте, однако, – с каким-то упрямым одушевлением продолжала она, – что главные действующие лица ныне живы, здоровы, молоды, что они не прожили пока ни одного эпизода моей поэмки и что им расскажут этот сюжет. Здесь, в беседке, расскажут. Станут ли они осмотрительнее? Примут ли меры? – И она испытующе стала смотреть на меня.

– Даже если подобное рассказанному вами могло произойти, – отвечал я, – я бы предпочел, чтобы дело не доходило до смертельной развязки... Да и вряд ли возможно, чтобы в груди вашего рыцаря снова разгорелся огонь первоначальной, еще детской любви.

– А что бы вы сделали на его месте?

– Ваша героиня, верно, замужем?

– Замужем. Ее муж, хотя и старее ее на двадцать лет, но до кончины ему далеко, да и совестно желать ему кончины. Он, право, un'brave homme*.

– Хорошо. Пусть замужем. Тогда... – Я постарался мечтательно улыбнуться. – Тогда я – если бы, разумеется, верил в ее любовь – украл бы ее у этого un brave homme.

– Украл? – Княгиня засмеялась.

– А почему нет? Я молод, жизнь во мне крепка. Доходы мои с имения меньше годового жалованья министра или сенатора, но если вести жизнь умеренную, тихую и нравственную, на них вполне можно просуществовать в любой части света. За исключением, конечно, Петербурга, где в неделю останешься нищим. Но ведь не в Петербург везти избранницу сердца!..

– А дальше? Ведь вы молоды, вам нужно общество, вы хотите прославиться...

– Я?! Помилуйте! Если бы мне была дарована та именно подруга, которой я в самом деле мог бы вверить свою душу, – что мне до всей этой мишуры? – Я говорил намеренно так, чтобы речь моя могла быть понята и как косвенное признание и в то же время – как насмешка над собственной моей мечтательностью.

– Забавно! – она усмехнулась. – И вы не станете горько сожалеть о загубленной молодости, об увлечении, лишившем вас всех удовольствий? Ведь с вашей избранницей вам можно будет появляться лишь

---

*Славный малый *(фр.)*.

в узком кругу близких лиц, которые согласятся принимать это насчастное существо! А ваши родители, братья, сестры? Неужели они смирятся с тем, что вместо ожидаемой блестящей партии вы выбрали женщину, отныне и вовеки презираемую светом? Не лишат ли они вас доли при разделе имения? Ведь вы не делили еще имения? – Она говорила как-то уж слишком серьезно. – А законы? Разве вас не будут преследовать? Вряд ли супруг моей героини согласится с такой пропажей? Вас станут разыскивать и, разумеется, обнаружат! Нет! Cela n'est que du roman*, как у Констана.

– Жизнь похожа на роман. В конце концов, сколь ни дорого отечество, если его законы осуждают предмет моей любви, всегда отыщется уголок земли, где оскорбленное сердце утешится. И, как говорила другая героиня, не ваша: dahin, dahin!** – Я не менял своего иронически-элегического тона.

– Да! – отвечала она в лад мне. – Dahin! dahin! В Сабинские горы. Разводить огород и ставить пугала, чтобы птицы не поклевали урожай! Заманчивое предложение для влюбленного сердца...

С минуту мы молчали. – Долгим, задумчивым, печальным взором посмотрела она мне в глаза. Мой взгляд тоже сделался печален и задумчив, однако я был спокоен. Я чувствовал уже точно, что она не любит меня, и понимал, что наше свидание в беседке останется в моей памяти единственным свидетельством моей любви к ней. Мне было грустно.

Раскаты грома отдалялись от беседки, но дождь еще лил. В воздухе распространялась сырость. Мне становилось холодно. Нечаянно наши лица сблизились, ее мягкие прекрасные руки обвились вокруг моей шеи, и поцелуй этот, медленный, томный и вместе какой-то стыдливый, был столь долог и напоен таким сладострастным пламенем, что душа моя помутилась. Когда я очнулся, княгиня стояла возле выхода из беседки, опершись рукою на один из столбиков, поддерживающих крышу, и смотрела на плющ невидящим и немигающим взором. Я вскочил со скамьи, но она рукой остановила меня.

– Довольно! – сказал она решительно и гневно. – Я не отца простого дочь простая. Вы забываетесь, сударь! – Каждое слово окатывало меня холодом. – К несчастью, не дочь простая... Нет! Довольно! Оставьте! – Холодно и зло говорила она. – Да, я порочная женщина. Да, вы прекрасно знаете это, но я не позволю вам... – И вдруг она судорожно закрыла глаза рукой и, опустившись на скамью, зарыдала.

– Боже мой! – Все перевернулось во мне. Я бросился к ее ногам. – Боже мой! – вскричал я, сжимая ее ладони в своих и покрывая поцелуями; она не отнимала своих рук, и слезы катились по ее щекам. – Боже мой! Да если бы я был не я, если бы вы были свободны, если бы князь был вашим отцом, я немедленно, сейчас же, здесь же просил бы вашей руки. – Я дрожал всем телом. Мягко освободила она правую руку и ласково провела ею по моей голове.

– Нет, – вымолвила она, – я порочная женщина! Я знаю это. – И сле-

---

*Все это слишком похоже на роман *(фр.)*.

** Туда, туда! *(нем.)*.

зы покатились новым дождем. Никогда в жизни я не видел более прекрасных глаз. Глубокие и страдающие, они были неизъяснимо прекрасны. Я был готов в ту минуту на все, что она скажет. – И вы не стали бы просить моей руки... – Она прикрыла глаза, затем сказала с жаром: – Да, я люблю вас так, как не любила никогда ваша поселяночка! Но вы, вы не любите меня! Вы сами сказали, что вам довольно наслаждаться грибным дождем в летний полдень, лишь бы это наслаждение не усиливало вашего одиночества! Ну и наслаждайтесь! Как вы сказали? Двойственно? Только не со мной! Оставьте меня! Встаньте, придите в себя! У вас еще все впереди, и не надо обманываться. Вы меня никогда не любили! – Она резко отодвинулась в глубь скамьи и скрестила руки на груди. Я едва не опрокинулся от ее быстрого движения.

– Я?! Не любил вас?! В тот миг, как я увидел вас, я понял, что сердце мое разбито! Я наслаждаюсь вашим голосом, взорами, движениями! Только приличия света вынуждали меня молчать до сей поры!.. – Я нес весь этот любовный вздор, и веря и не веря себе. Голова моя кружилась.

– Вы... вы в самом деле любите меня? – с тоской спросила она. Каждое слово давалось ей с видимым трудом. – Ежели... вы не обманываетесь, обещайте... помнить меня. Всегда... Обещайте... Когда я буду молить вас о помощи, вы протянете мне руку? вы не отвернетесь? не пре́зрите меня?.. – Я буквально осязал, как ее печаль волнами переливается в меня. Жгущая душу жалость к ней завладевала мною. – Обещайте ж мне быть моим ангелом-хранителем... Я прошу вас... – И дальше она стала называть меня теми исполненными неги и пламени словами, которые незачем предавать бумаге, ибо смысл их, всем известный, сохраняется только в подобные минуты.

– Да! – клялся я в безумии! – Да! Я! Я буду вашим хранителем! Я буду целовать ваши следы! Я хочу поминутно видеть вас, слышать вас... – В такие мгновения и обычно-то не вполне отдаешь себе отчет в своих заверениях, а на меня нашло просто какое-то помрачение: ни перед кем я не изливал столь словоохотливо свою пылкость, никогда до такой степени не терял себя.

Видимо, долго еще я обнимал ее колени и целовал руки, ибо, когда очнулся, дождь уже прекратился, и лесная тишина нарушалась только падением с мокрых ветвей отдельных крупных капель, глухо шлепавших по нижним листьям.

– Украдите меня, – вдруг сказала она, сузив глаза и без тени иронии. – Я вас прошу. – Я по-прежнему обнимал ее колени и молча, вопросительно и преданно смотрел на нее. – Украдите меня! – продолжала она. – Что вам стоит? – Но в тоне ее я почувствовал скрытый яд. – Вы человек состоятельный. Доход ваш с имений меньше, конечно, чем у князя жалованье, но он, вы сами говорили, таков, что позволит вам вести безбедную жизнь в любой части света. – Она посмотрела на меня вдруг долгим и каким-то особенным глубоким взором. – Вы ведь смелый человек,***? Вы прокрадетесь под утро в дом князя и унесете меня через окно? – Она усмехнулась. Я молчал. – Хорошо, вы меня не станете красть в прямом смысле слова, как вещь. Я сама выйду в условленное время и вспрыгну к вам в коляску? – В голосе ее уже не слышалось

насмешки. — Скажите что-нибудь в ответ! Сядьте, сядьте на скамью рядом со мной! Вот так. Ну? Что вы молчите? — В глазах ее был нешуточный блеск.

— Хорошо... Прекрасная мысль... — отвечал я помедлив. — Но куда ж бежать?.. Хотя... Впрочем... Но для того необходимы некоторые приуготовления...

Она быстро перебила меня:

— Сколько времени потребуется, чтобы совершить ваши приуготовления? — Во мне нарастал некий щемящий страх: тон ее был решителен и серьезен, и я вдруг подумал, не сошла ли она с ума. — Не молчите только! Ответьте!

Я пытался быть рассудительным:

— Если за границу, необходимы тщательные сборы и...

— За границу, — прервала она, — не нужно никаких сборов. Нужны только деньги. Скоро князь отправится в Або. Оттуда рукой подать до Швеции. Из Швеции мы уедем в Италию.

— Почему в Италию?

— Потому что в Париже слишком много русских.

— Д-да... Италия... Отечество Петрарки и Тасса...

— И Данта. Вы согласны?! Вы готовы?!

Я находился в крайнем недоумении; сердце стучало; мысли разбегались. Если считать, что она не шутит, условие ее было непосильным: я имел в своем распоряжении наличными около пятисот рублей, и, узнай маменька, что я снова пустился в школьничанье, не знаю, что бы было. Сосредоточившись, медленно и пресерьезно я ответил:

— Надо обдумать... Идея отличная... Италия, говорите вы...

Она посмотрела на меня с подозрительным беспокойством. Лицо ее выразило размышление.

— А если?.. — Она взглянула вопросительно и в некотором смущении. — У меня есть деньги! При умеренной жизни, к которой мы оба стремимся, на них, по моим расчетам, можно прожить безбедно несколько лет... Лет пять. Поверьте, я готова на все! И если я сдаюсь вам, то совсем не имеет значения, чьи деньги мы станем тратить. — Я был одарен при этих словах таким нежным и трогательным взором и таким ласковым пожатием руки, что не сумел тотчас ответить, а она, взяв мою руку в свои ладони, сжала ее мягко и крепко. — Не сердитесь, что я говорю вам так. Мы найдем способы к жизни. Вы вступите в королевскую гвардию... Ведь в Италии, надеюсь, уже нет ни республики, ни революции?.. А когда иссякнут мои средства, вы сможете вполне искупить свой долг. Поймите меня! Я устала. Я не хочу более быть вечной притчей во языцех. Я знаю, какие взгляды бросают мне в спину, я знаю, что петербургские и московские матушки прячут от меня своих дочерей и что только положение князя доставляет мне доступ в свет. Но мне душно в нем! Душа моя иссушена ежедневным, ежечасным напоминанием о моем положении!

Как я желал ее в это мгновение, с ее пылающей, впервые явившейся мне в истинном виде красой! Никого никогда я не любил так, не желал! Я готов был разрыдаться. Будь у меня под рукой своя карета, я бросил бы в нее княгиню, крикнул бы: *пошел!* — и был таков! Но, на счастье

или на беду, от появления мгновенных мечтаний до их исполнения должно пройти время, и я знал, что карету предстоит нанять, что верных помощников требуется подкупить, я знал, что до поездки князя в Або еще целая вечность — не менее недели, — и очень хорошо знал, что словам княгини нельзя доверяться. А она все более разгоралась:

— Каждый почитает своим естественным правом претендовать на роман со мной, у каждого в глазах желанье моей красоты — и не более. Вы первый, в ком я угадала родную душу, кто увидел во мне... — Глаза ее снова затуманились, она вздрогнула и прикрыла их. Медленно покачала она головой. Потом взглянула на меня твердо и насмешливо: — Вы со своей поселяночкой так ли молчали, как дело пошло к развязке? Кстати, в Италии тоже растут цветы, их тоже продают юные девы, и у них тоже можно покупать букеты. Как вы ее спросили? "Что тебе надобно?" А знаете, как будет по-итальянски *что тебе надобно?* — Che vuoi будет по-итальянски *что тебе надобно!* Но вам нет нужды это запоминать! Я вас не отпущу от себя ни на шаг! Вы будете моим и более ничьим никогда! Я сама отравлю любую, кто посмотрит на вас! — Она была как в бреду. — Я вас украду, я сделаю вас своим пажом, повелителем, единовладетельным самодержцем! Да! И так будет! Так я хочу, хочу, хочу! — Ногти ее впились в мою ладонь с такою силой, что я едва не вскрикнул от боли, а она засмеялась, и счастливейшая улыбка осветила ее лицо.

И сладко мне и страшно становилось. Румянец пылал в ее щеках, глаза блистали, руки были сухи и горячи. Я чувствовал, как ее полугорячечный жар заливает мне душу, и голова шла кругом. Видимо, я переменился в лице, потому что она вдруг захохотала.

— Разве вы не о том мечтали? Ха-ха-ха!

— Я не верю, не могу верить... в то, что это не розыгрыш. Если это шутка — скажите мне, умоляю вас! Если вы говорите серьезно... — Я терял слова. — То тоже скажите... Что вы молчите?.. Ответьте мне!..

Вдруг она подняла палец к губам:

— Тс-с! — и плавно выскользнула из беседки.

— Ах! — раздалось тотчас.

Я бросился вслед за нею и увидел: по тропе идет, огибая лужи, Л., адъютант князя и неизменный наперсник княгини. Разумеется, он немедленно окликнул ее с радостным изумлением; затем заметил меня и сухо раскланялся. Я отвечал тем же. Тоска и злоба меня охватили. А княгиня, как ни в чем не бывало, защебетала:

— Вы очень вовремя появились, любезнейший Л.! Право, просто прекрасно, что вы выбрали для своей прогулки именно этот путь! Мы уже час ломаем головы, как выбраться из ловушки, в которой оказались по милости дождя. Я никак не решусь ступить на такую мокрую землю и все жду, когда просохнут дорожки, и уже утомила***, — она лукаво посмотрела на меня, — своей болтовней. Какова гроза? — не давая нам сказать ни слова, продолжала она. — Я не помню ничего подобного в своей жизни! Я вся дрожу от сырости и чувствую, что уже больна. Вы должны немедленно доставить меня домой! Но я не могу итти по такой грязи! Что же делать? Что вы молчите оба? Неужели вы не в состоянии ничего предпринять? — Л. хотел было что-то сказать, но она перебила

его. – Хорошо! Коли вы не можете ничего придумать, придется мне исправлять вашу недогадливость, хотя, право, она непростительна. Вот что вы сделаете. Вы составите из своих рук кресло. Вот так, – и она, обернувшись ко мне, быстро скрестила свои руки с моими, показав, как должно выглядеть кресло; Л. побледнел, а она быстро продолжала. – В этом кресле поместится ваша несчастная больная, и вы донесете ее до сухих дорожек. – Она перевела глаза с Л. на меня, затем снова посмотрела на него и залилась смехом.

– Прекрасная мысль, – постарался улыбнуться я.

– Отличная идея, – ответил Л., бросив проницательный взгляд на мои колени, носившие следы мокрого пола беседки.

Мы скрестили руки; княгиня вспорхнула в это импровизированное кресло, обняла нас за плечи, и мы пошли в ногу, чтобы не уронить свою драгоценную ношу. Доро́гой шел незначащий, прерывистый разговор. На одном из поворотов тропинки она украдкой шепнула мне: "Завтра в семь утра здесь же". Сердце мое забилось вдвое сильнее.

Доставив княгиню до аллеи, которая вела к даче князя, мы опустили ее на землю.

– Прощайте, – сказала она мне. – Л. проводит меня далее. Сегодня я уже не выйду, вы меня так промочили под дождем, что ранее завтрашнего утра мне не прийти в себя. – И она протянула руку для поцелуя.

Они удалились, а я последовал к переправе, отыскал лодочника, дал ему рубль, и он, счастливый моей щедростью, в мгновение ока перевез меня на другую сторону Невы. Я не стал звать извозчика: на душе было смутно, и мне требовалось хотя бы отчасти рассеяться прогулкой. До дому я добрел уже затемно и перед сном велел Никите разбудить меня в пять часов.

Долго не мог я сомкнуть глаз. Я не был доволен собой. Я не имел права доверяться княгине, и мне начинало казаться, будто кто-то рассказывал, что она уже собиралась однажды бежать с кем-то куда-то или даже бежала в самом деле. Словом, я был раздосадован, утомлен, встревожен, и сон мой не был спокоен.

Подлец Никита разбудил меня четверть седьмого. Я едва не убил его. В две минуты одевшись, я вылетел из дома и бросился искать извозчика. Но извозчики как сквозь землю провалились. Улицы, ведущие к островам, были безлюдны, я полубегом-полушагом домчался до вчерашней переправы. Перевозчик был тот же, рубль оказал то же действие, но я никак не мог найти беседку! Это был новый ужас. Я взглянул на часы. Пять минут восьмого! Я бросился бегом сквозь кустарник, ломая ветки, спотыкаясь, скрежеща зубами. В четверть восьмого я все еще плутал, и только когда на моих часах минутная стрелка почти опустилась, я выбрался на знакомую тропу. Это был тот самый роковой поворот, на котором она назначила мне свидание. Я растерялся. Если она уже приходила и, не дождавшись меня, ушла, мне надо мчаться в одну сторону с надеждой ее догнать; если она еще ждет, надо лететь в другую, к беседке. Я выбрал первое и скоро вбежал в аллею, где мы расстались вчера. Я остановился, вглядываясь в ту сторону, откуда она могла прийти или куда уйти. Если бы кто-нибудь увидел меня в эту минуту, вряд ли он

принял меня за здорового человека. Ворот расстегнут, пот льется градом, глаза впиваются вдаль.

Вдали и в самом деле виднелись две фигуры. Но даже если одна из них – она, приближаться было нельзя, ибо я не мог предположить, кто рядом с нею. К тому же, я знал, что князь любит совершать утренние моционы, а встречать сейчас князя не входило в мои замыслы. Я взглянул на часы. Без двадцати пяти восемь! Я быстро рассчитал, что даже если она пришла вовремя и, прождав меня некоторое время, ушла, она не могла так быстро вернуться в аллею, а если бы вернулась, я ее сейчас точно бы увидел. Может быть, конечно, она кого-то встретила, возвращаясь, и тогда все пропало, и это их фигуры видны в конце аллеи. Но фигуры, сколько я мог заметить, приближались, а не удалялись. Нет, не она! Я опрометью кинулся обратно, к беседке. Она может быть еще там! Я задыхался от страха не застать ее, ноги мои сводило от бега, в боку кололо, сердце вырывалось из груди.

Я подбежал к беседке. Ноги подкашивались. Было без четверти восемь. Беседка была пуста. Я пробежал несколько саженей далее по тропе, спустился к пруду, снова заглянул в беседку, обежал ее вокруг, опять влетел в нее, бросился на скамью и заскрежетал зубами.

Я был уничтожен, жизнь моя была кончена.

Я скрежетал. Если бы она вдруг возникла сейчас, я согласился бы на все ее условия, я вышел бы в отставку, порвал бы с родственниками, занял бы, выиграл, выпросил, украл бы, наконец, проклятые деньги! Я подкупил бы будочников. Сделал бы нам подложные паспорта... Боже мой! Что я наделал!

И тут вход в беседку закрыла тень. Невидимая рука бросила что-то на пол. Я метнулся со скамьи. То был запечатанный лист бумаги. Схватив его, я вылетел вон и увидел на тропе убегающего мальчишку, одетого казачком. С дрожащим сердцем я развернул записку. Она писала: "Простите великодушно мои слезы и мольбы. Если вы в самом деле любите меня, не показывайтесь несколько дней у нас. Может быть, мне не удастся видеть вас наедине до нашего отъезда. Помните меня. Будьте в сентябре там, где я сказала. Там все будет решено".

Я не удержался, однако, и пришел к князю в тот же вечер. Она не выходила, сказавшись больной. Я пытался увидеть ее в последующие дни, но судьба препятствовала мне. Я томился и падал духом... Они уехали на три дня раньше положенного времени... Некоторое время я не знал, на что решиться. Наконец, собравшись с духом и не без колебаний, принялся за приуготовления. Наступил сентябрь.

Вдруг сильнейшая горячка охватила меня. Долго я лежал в бреду и только к ноябрю смог выходить на улицу. Князь с супругою тем временем вернулись в Петербург. Мне не было прощения, тем не менее я рвался ее увидеть, надеялся, что она выслушает мои объяснения, что еще не все потеряно. Образ ее колол мою память. Я уныло и нетерпеливо ждал встречи.

Я увидел ее у В-вых. Княгиня сидела рядом с Т*** и говорила с ним, обмахиваясь веером. Мне она улыбнулась так дружески и приветливо, как будто мы расстались вчера. Я искал случая сказать ей слово наедине. Но,

как нарочно, ничего не получалось – вечер был без танцев. Только раз на мгновение мы оказались близко друг от друга и без свидетелей.

– Вы простили меня? – быстро спросила она. Сердце мое забилось, как тогда на тропинке. Она улыбнулась. – Я тоже простила вас. – И сжав незаметным движением мне руку, она тотчас заговорила о чем-то с Д***, подошедшим к нам.

Они уехали от В-вых рано и я в досаде проиграл триста рублей. Я любил ее нешуточно и не мог думать ни о чем, ни о ком. Рассудок мой бездействовал.

Вдруг я получаю письмо от сестры с сообщением о тяжкой болезни маменьки. Необходимо было неотложно ехать в имение за 700 верст от Петербурга. Но я должен был непременно видеть княгиню! На следующее утро я отправился с визитом к князю, зная заведомо, что он в сенате, и она одна. Она не приняла меня. Я явился к ним вечером – она не выходила. Я рвался на части. Чувства мои раздваивались. Я написал княгине отчаянное письмо. Беспокойство и тоска снедали мне душу. Через день я получил ответ: "Вы помните меня? Вы не шутите? Я должна вас видеть. В четверг будьте у меня в одиннадцатом часу непременно. Скоро все решится!"

Обстоятельства мои запутывались.

....

* * *

На этом рукопись журнала неизвестного, отрывки из которого мы привели, обрывается. Досадно, конечно: не каждый день встретишь столь подробные излияния. Впрочем, мы не можем ни датировать эту рукопись с точностью, ни разъяснить любопытствующему читателю, какие конкретно лица были участниками описанных событий. Некоторые детали, конечно, позволяют строить некоторые гипотезы, что позволило нам самовольно подобрать эпиграф, однако вернее думать, что перед нами не действительные дневниковые записи, а имитация их, сделанная с не вполне понятной целью. Как бы то ни было, нам эта рукопись пригодилась – она призвана восполнить сюжеты тех преданий, знания которых мы должны, следуя благовоспитанности, бежать, но без опыта которых нет и жизни.

Посему, оставив поприще догадок и вымыслов, напомним, что на дворе 825-й год. Начался он вовсе неплохо: уже 7-8 генваря стало известно, что Закревский в отставку не выходит, а остается герцогствовать в Финляндии.

24-го генваря, в субботу, он отправился на два месяца в Петербург. Наряду с прочими делами он имел одно важное для нас: говорить императору об унтер-офицере Боратынском.

25-го генваря, в воскресенье, или 26-го, в понедельник, следом за генералом из Гельзингфорса выехала Магдалина – с Мисинькой*, с кем-то из адъютантов (может быть, с Путятой) и с унтер-офицером Боратынским. В Фридрихсгаме они расстались: генеральша последовала в Петербург, унтер-офицер в Кюмень.

---

*Мисинька, или Мисс – англичанка, компаньонка Магдалины.

* * *

10 февраля.

Из Кюмени пишу к вам, милая маменька, где мой славный Лутковский и его жена с прежней дружбою приютили меня. Я увидел их с истинным чувством, и как могло быть иначе? Пять лет я провел с ними, всегда окруженный заботами, всегда принятый как лучший из друзей. Им я обязан всем облегчениям моего изгнания.

Генерал простился со мною любезнейше и обещал сделать все зависящее от него для представления. Я верю, что он сдержит слово. Но даже если, вопреки его ко мне благорасположению, дело не будет иметь успеха, я навеки сохраню к нему живую признательность за все наслаждения моей жизни в Гельзингфорсе. Три месяца, проведенные там, навсегда останутся сладостным моим воспоминанием.

Я уехал на следующий день после него с Генеральшею. Ничто столь не оживляет, как краткие путешествия, подобные тому, что мы совершили. С нами была та самая Мисс, о которой я говорил вам, и один адъютант — обширного ума юноша. Ничто не могло быть милее наших обедов и ужинов. Мы расстались лучшими друзьями, и путешествие это пробудило во мне, по крайней мере, на время, неодолимую охоту странствовать.

Как ваше здоровье, милая маменька? Я долго не писал к вам, но тому причиною путешествия, всегда вынуждающие к перерывам в переписке. Что ж! я тоже нескоро теперь получу вести из Мары.

Прощайте, любезная маменька, даст Бог вам здоровье и утешит вам душу: это моя ежедневная молитва, и я повторяю ее в своих письмах столь же привычно, как и искренне.

* * *

Помните ли, как год назад, в такую же пору, когда о Боратынском хлопотали, Александром Ивановичем Тургеневым было сказано: *не объявлять нигде его имени под стихами?* Доколе же прятаться? И вот в декабре вышли "Северные цветы" с четыремя стихотворениями Боратынского и одной прозаической безделкой. И вот уже в цензуре "Полярная звезда", где будет еще шесть его стихотворных пиес (впрочем, стихи подписаны *Е.Б-ий, Е.Б.* или *Б.*, и только под "Историей кокетства" полная фамилия). В "Северных цветах" — статья Плетнева*: здесь Боратынский вместе с Жуковским и Пушкиным объявлен одним из главных вестников грядущего торжества русской поэзии.

---

* Статья Плетнева получилась скорее неудачной, чем хорошей, хотя содержала немало истинных умозаключений. Сам Плетнев, получив от Пушкина весьма критическое насчет своего рассуждения письмо, сознавался ему: "Мне Дельвиг часто повторяет пословицу русскую: если трое скажут тебе, ты пьян, то ложись спать. После твоего письма о моем несчастном "Письме к графине" пришлось мне лечь спать. Его облаяли в "Сыне отечества"; Боратынский им недоволен, ты тоже". — Отрывок из статьи Плетнева, посвященный Боратынскому, мы поместили в самое начало Предисловия к Части третьей. Решите сами, ясно ли выразился Плетнев о *языке чувств* (а именно на смутность этого изъяснения ему пенял Пушкин) и есть ли этот отрывок *акафист Баратынскому,* как ехидно говорил Бестужев. Чем именно был недоволен в статье Плетнева Боратынский — не знаем, вернее — неумеренностью похвал.

Едва "Северные цветы" поступили в продажу, Греч начал печатать в "Сыне отечества" длинный разбор всего Дельвигова альманаха. Рассуждениям Плетнева досталось более всего невоздержных реплик. Особенно недоумевали в "Сыне отечества" тем, что написал Плетнев о Боратынском. Разбор печатался в продолжение всего генваря; он был подписан: *Ж.К.* и *Д.Р.К.* – видимо, как все думали, криптогрифами Греча и Булгарина. Разумеется, не прошло и двух месяцев, как вышел "Московский телеграф" с ответом Полевого "Сыну отечества". Опять говорилось о статье Плетнева, опять о Боратынском.

Словом, накануне и во время решительных хлопот о производстве публике предлагалась эстетическая загадка: быть или не быть Боратынскому в знаменном ряду нашей поэзии? Но отгадка, в сущности, уже есть, и спорить не о чем – читайте "Эду" (пока в списках; через год будет напечатана), читайте "Северные цветы" и "Полярную звезду", читайте, наконец, "Мнемозину", московский альманах Кюхельбекера и Одоевского.

Для "Мнемозины" Боратынский отправил с Путятой "Леду" и "Бурю". Что такое "Леда", всякий может судить сам, перелистав назад несколько наших страниц (невинная цензура московская пропустила "Леду" без звука). Что такое "Буря", тоже знает всякий, хотя относительно благопристойности этой пиесы цензура сомневалась весьма решительно. Но, как бы ни было, и "Бурю" тогда пропустили. Вот через десять лет, когда Боратынский захочет ее вновь напечатать, чуткие цензоры исполосуют ее красным карандашом, и от нее останется половина стихов. А ныне, в 825-м, ей скоро предстоит* шуметь в "Мнемозине":

Меж тем от прихоти судьбины,
Меж тем от медленной отравы бытия,
В покое раболепном я
Ждать не хочу моей кончины;
На яростных волнах, в борьбе со гневом их,
Она отраднее гордыне человека!
Как жаждал радостей младых
Я на заре младого века,
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!
Волнуйся, опеняй утесистые грани,
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов к давно желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.

Что ж! Человек не меняется, меняются лишь вещи вокруг него. Десять лет назад, на заре младого века, помните, чего желал паж Боратынский? – "Я бы избрал лучше полное несчастие, чем полный покой; по крайней мере, живое и глубокое чувство обняло бы целиком душу, по крайней мере, переживание бедствий напоминало бы мне о том, что я существую. И в самом деле, я чувствую, мне всегда требуется что-то опасное, всего меня захватывающее; без этого мне скучно. Вообразите, любезная маменька, неистовую бурю и меня, на верхней палубе, словно

---

* Правда, лишь в октябре "Мнемозина" с "Бурей" и "Ледой" дойдет до читающей публики, – но дойдет.

повелевающего разгневанным морем, доску между мною и смертью, чудищ морских, пораженных дивным орудием, созданием человеческого гения, властвующего над стихиями..." — Истинно, чем зрелее с возрастом мысль и чем важнее с опытом ум, тем более явственную форму обретают в нашей речи конспекты юношеских страстей, но содержание этих конспектов неизбывно растворено в крови, в нервах, в душе едва ли не от начала жизни.

Итак, к десяти пиесам в "Северных цветах" и "Полярной звезде" прибавим "Леду", "Бурю" и журнальные толки о Боратынском. Кто сказал, что ему не давали чина из-за стихов? И может быть, напрасно Александр Иванович Тургенев негодовал и снова заказывал всем и каждому в середине марта: "Ни в скобках, ни над пиесой, ни под титлами, ни in-extenso* имени его подписывать не должно"? Может быть, и напрасно. Но представим себе нашего милостивого монарха за чтением "Бури" и "Леды" (обе, впрочем, подписаны звездочками — но коли такое чтение состоится, разве не для того, чтобы ознакомить императора с новыми плодами музы интересующего его автора?). Итак, представим его за чтением в ту минуту, когда к нему входит генерал Закревский. Кто гарантирует, что поэтический вкус государя не окажется в категорическом согласии с его правилами? — Посему не станем торопить события и будем верить в то, что наш милостивый монарх не читает наших журналов, что Василий Назарьевич Каразин не проводит новых розысканий в нашей периодической печати и ему не пришли еще в ум новые идеи о новых способах пресечения разврата, что московская цензура, почтовая контора в Роченсальме во главе с любопытным экспедитором Деном и Главный штаб в Петербурге — сосуды, между собой не сообщающиеся — по крайней мере, не сообщающиеся с февраля по апрель 825-го года, пока решается дело унтер-офицера Боратынского.

Итак, еще только начало февраля, и генерал Закревский еще только прибыл в Петербург, а Александр Иванович Тургенев получил через Путяту или Муханова генварское письмо из Гельзингфорса от своего протеже: "Арсений Андреевич поехал в Петербург 24-го сего месяца, подав мне возможные надежды на свое покровительство; но я очень хорошо знаю, что вашему только ходатайству обязан я добрым его расположением. Теперь, когда моя участь так решительно зависит от его предстательства, не откажитесь напомнить ему об участии, которым вы меня удостоиваете, и тем поощрить Арсения Андреевича к исполнению его обещаний". — Впрочем, и без напоминаний Александр Иванович не сидел бы сложа руки. Около 17-го февраля он сам говорил с Закревским и убедился, что генерал помнит свое слово и доложит императору *как надо* ("О Боратынском несет он сам записку и будет усиленнейшим и убедительнейшим образом просить за него. Нельзя более быть расположенным в его пользу. В этом я какую-то имею теперь надежду на успех").

Закревский просил Александра — усиленнейше и убедительнейше, — как просит солдат солдата, и, кажется...

Но ничего не решалось: ни нет, ни да.

---

*Полностью *(лат.)*.

21-го марта Тургенев писал Вяземскому: "Муханов, адъютант Закревского, у меня. Дело Баратынского еще не совсем удалось. Очень тяжело и грустно, но впрочем авось!"

Прошла Пасха. Закревские выехали в Гельзингфорс, наш милостивый монарх — в Варшаву, за ним — Дибич, начальник Главного штаба.

10-го апреля Тургенев писал Вяземскому: "Вообрази себе, что по сию пору не имею никакого сведения об успехе дела Баратынского. Муханов, адъютант Закревского, также болен. Дибич уехал, а я уже три недели не выезжаю".

Дни шли.

В Петербург явился из Москвы Кюхельбекер.

В Петербург вернулся Дельвиг, — он уезжал в Витебск в феврале, в апреле дней десять был в Михайловском у Пушкина.

В Гельзингфорс из Москвы возвращался Путята. Петербург он проезжал в начале мая и узнал: 3-го числа здесь получили приказ за подписью императора:

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО в присутствии своем в Варшаве, Апреля 21-го дня соизволил отдать следующий приказ: *производятся за отличие по службе из унтер-офицеров в прапорщики* пехотных полков Нейшлотского — Баратынский и Абаза; Петровского — Карпович.

Путята и привез в Кюмень эту новость.

* * *

Ваше превосходительство
милостивый государь
Александр Иванович!

Наконец я свободен и вам обязан моею свободою. Ваше великодушное, настойчивое ходатайство возвратило меня обществу, семейству, жизни! Примите, ваше превосходительство, слабое воздаяние за великое добро, сделанное мне вами, примите несколько слов благодарности, вам, может быть, не нужных, но необходимых моему сердцу. Вот уже несколько дней, как все около меня дышит веселием, от души поздравляют добрые мои товарищи, и вам принадлежат их поздравления! Скоро возвращуся я в мое семейство, там польются слезы радости, и вы их исторгнете! Да наградит вас Бог и ваше сердце.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью честь имею быть

вашего превосходительства,
милостивый государь,
покорнейший слуга
Евгений Боратынский.

Кюменьгород.
Маия 9 дня 1825.

* * *

15-го мая 1825.

Спешу, любезный Муханов, дать тебе отчет в приезде моем в Гельзингфорс. Простившись с вами, я был грустен, но в Кюмене меня ждала

истинная радость. Не могу пересказать тебе восхищения Баратынского, когда я объявил ему о его производстве; блаженство его в эту минуту, искреннее участие, которое все принимали в перемене его судьбы и которое доказало мне, как он был ими любим, откровенные разговоры о прошедшем и будущем – все это доставило мне несколько приятнейших часов в моей жизни. С радостию также заметил я, что верная спутница его в несчастии – поэзия – не будет им забыта в благополучии. Хотя он не помнил сам себя, бегал и прыгал, как ребенок, но не мог удержаться, чтоб не прочесть мне несколько страниц из сочиняемой им поэмы, в которой он рассеял много хорошего и много воспоминаний об нашей Гельзингфорской жизни. Доселе поэзия была необходимостию души, убитой горестью, и жаждущего излить свои чувства, теперь она соделается целию его жизни... – Путята.

* * *

Душа моя Муханов. Спасибо за письма, но отвечать буду после: мочи нет от радости. Два только слова о деле. Мне нужно для вступления в Петербург кое-что, и вот список:

Темляк. Шифр рублей в 100 серебр. Репеек. Кишкеты серебр. Эполеты с вышитым № 23-й дивизии, голубые.

Денег у меня теперь нет, а это составляет рублей 200. Ежели ты можешь купить мне все это на свои и прислать в Роченсальм, много меня обяжешь. Ежели же у тебя деньги лишние не случатся, то сделай милость, потрудись доставить приложенную здесь записку дяде моему: он тотчас даст тебе оные. Впрочем, только мы выйдем в Петербург, т.е. 10-го июня, я возвращу тебе что ты издержишь, и, если можно, старика не беспокой.

Прощай. Весь твой

Боратынский.

Бери это все на казенной фабрике.

* * *

О свобода! Звук этого слова*
Способен исторгнуть слезы счастья!
Почти сладострастный, голос ее
Исполняет грудь трепетом,
И душа готова обнять всю даль
Простирающихся пред взором пространств.
Воздух, весенний и чистый врывается в тело,
Делая его легким и упругим;
Улыбка сама движется на устах,
А глаза источают светлые лучи!

Конечно, кто говорит! конечно,
Остаются еще сотни обстоятельств,
От которых зависит в будущем все...
По-прежнему, что спорить! по-прежнему
Тягчат душу неизбывные печали,
Навсегда погруженные в ее глубины.

---

*Отрывки из анонимной оды на счастие.

Как и всегда, увы! как и всегда
Всепроницающая и всеуничтожающая мысль
Будет выжигать из сердца все живое,
Ледяным хладом мертвить всякое упование.

Но не сейчас! Молю с тоскою,
Только не сейчас. Пусть после, но не ныне
Я скажу сам себе, что нет в жизни воли,
Способной порвать цепь обязанностей,
Что судьба накладывает узы
На ничтожнейшие сердечные прихоти,
Что любовь делает человека рабом
Превращая его в заботливую машину,
Что дом, построенный собственными руками, —
Это не только спасительный приют, но и тюрьма.

Пусть после, когда волосы мои побелеют,
Когда укрывшись от невзгод в тихий свой дом,
Поставленный на пологом холме среди сосен,
Я буду возделывать свой сад и повторять
Вослед мудрецам, что ближнее поле заменяет мне мир
И что идиллия не терпит свободы воли,
Зная только возврат из странствий далеких
По равнодушной чужбине в угол
Чистых трудов и нег средь высоких
Сосен да меж огородных пугал.

Пусть после, когда я захочу сказать —
Не втихомолку, а вслух — свое свободное слово,
Я увижу перед собой холодно-серые,
Цвета гранитной набережной Невы,
Глаза соглядатая за моей нравственностью,
Облеченного важными полномочиями.
Он процитирует: "Свобода есть позволение
И навык памяти о твоей неволе".
А от себя добавит: "Свобода без ограничений
Есть крайность, разврат и цинизм".

Что нужды до невежд и глупцов из будущего!
Что нужды до всего вообще, когда сейчас —
С
В
О
Б
О
Д
А
!
Да, справедливее было бы написать:
С
В
О
С В О Б О Д А   С В О Б О Д А
О
Д
А

Ибо из плюса и минуса и их воплощений —
Креста и пути — состоит бытие...

О свобода! Как в лес зеленый из тусклой тюрьмы,
Как от вековых суровых финских гранитов
В благоуханную степь дивно перенесенный,
Счастлив, кто мог, дыша полной грудью, сказать:
"Что с нею, что с моей душой? с ручьем она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит, летает в небе с ней!
Зачем так радует ее и солнце и весна!
Ликует ли, как дочь стихий, на пире их она?
Что нужды! счастлив, кто на нем забвенье мысли пьет,
Кого далёко он нее он, дивный, унесет!"

* * *

15 мая

Спасибо, Путятушка, за присланные письма и особенно за твое собственное... Скажу тебе между прочим, что я уже щеголяю в нейшлотском мундире: это довольно приятно; но вот что мне не по нутру — хожу всякий день на ученье и через два дня в караул. Не рожден я для службы царской. Когда подумаю о Петербурге, меня трясет лихорадка. Нет худа без добра и нет добра без худа. Скажи, ежели можешь, Магдалине, что я сердечно признателен за ее участие. Она не покидает моего воображения. Напиши мне, какую роль играет Мефистофелес и каково тебе*. Я часто переношусь мыслями в ваш круг; но, может быть, он уже не похож на круг мне прежде знакомый. Мы скоро выступаем в поход: адресуй мне свои письма либо на имя Муханова, либо на имя барона Дельвига в импер. библиотеку. Прощай, душа моя, обнимаю тебя от всего сердца. – Е.Боратынский.

* * *

Итак, он был свободен, но шею сжимали воротнички, а горло давили пуговицы мундира. Итак, он возвратился к жизни, но теперь должен был ступать вместо Пинда на развод без всяких метафор, а на самом деле. Почему свобода и счастье выдаются нам под такие проценты?

20-го мая Нейшлотский полк выступил из своих финляндских квартир, и 8-го июня вошел в Парголово.

10-го июня Боратынский был в Петербурге:

Дельвиг. Муханов. Александр Иванович Тургенев. Жуковский. Плетнев. Левушка Пушкин. *Светлана*. Козлов. Кюхельбекер (не виделись с сентября 821-го), Языков (бегло и коротко), Вяземский (впрочем, с Вяземским он вряд ли успел познакомиться: тот мелькнул проездом в Ревель только на две недели).

Новости: Александр Иванович уезжает за границу; Муханов выходит в отставку; Дельвиг женится на Софи Салтыковой – девятнадцатилетней дочери отставного московского полковника, язвительного французомана и угрюмого ипохондрика. Михайло Александрович Салтыков ныне в Петербурге и в приятнейшем расположении духа. Дельвиг убаюкал его

---

* В тот же день Путята писал Муханову о том, каково ему было. Для напоминания отсылаем на стр. 269.

до того, что в июле готовятся играть свадьбу и ищут уж модные кольца. Софи влюбилась в Дельвига безоглядно — как дитя: "С Дельвигом я забываю все мои горести, мы даже часто смеемся вместе с ним. Как я люблю его!.. Боратынский здесь, Антон Антонович с ним очень дружен и привез его к нам; это очаровательный молодой человек, мы очень скоро познакомились, он был три раза у нас и можно было бы сказать, что я его знаю уже годы. Он и Жуковский будут шаферами у моего Антоши..."

Дельвиг упоен. Откуда ему знать, что судьба дурачит его и что бóльшую часть своей жизни его невеста проживет не с ним, а с вторым своим мужем, под фамилией Боратынских, в Маре? Может быть, он и знает, что *эта* Софи — юное и повторное воплощение *той* Софи, которая жизнью земною играла, как младенец игрушкой, знает, что все, так неизбывно манящее нас в любви, затем, в семейной жизни станет невыносимой тяготой. Может быть, и знает. Но не может он образумиться. Ему некогда ждать. Он торопится: времени жить у него в обрез — пять с половиной лет.

А она и подавно ничего о себе не знает, потому что ей девятнадцать, и любила она всего раз в своей короткой жизни — Каховского (его через год повесят на кронверке Петропавловки), а теперь любит Дельвига. "Это чистая привязанность, спокойная, восхитительная, что-то неземное", — мечтается ей ныне, а через шесть лет, в такую же летнюю пору, она будет украдена — в прямом смысле слова — Сержем Боратынским, который увезет ее в Мару, где быстро обвенчается с ней, чтобы его дочь родилась в браке. Потом у Сергея Абрамовича и Софии Михайловны родятся еще дети, и все они будут жить почти безвыездно в Марской степи. Там, в Маре, София Михайловна скончается в 1888-м году, на двадцать лет пережив супруга. А Михайло Александрович Салтыков, не выносивший никогда Сержа Боратынского (взаимно), до смерти не простит дочери этого брака, хотя и благословит в конце концов.

И сейчас, в июле 825-го, Михайло Александрович, вдруг чуя смущенно своей желчной душой неладное в будущей жизни дочери, брезгливо говорит, что передумал отдавать Софи за Дельвига. Он в ипохондрии, Дельвиг в тоске. Чем мог утешить его Боратынский, когда, быть может, на его-то челе Салтыков и увидел отражение облика его младшего братца?

Пока Дельвиг унывал, Боратынскому стало не до Соничьки Салтыковой, ибо в Петербург явилась Магдалина ("Спешу к ней... и хотя я знаю, что опасно и глядеть на нее, и ее слушать..."). Кажется, он был с нею на петергофском празднике 22-го июля... Но довольно о ней...

11-го августа, утром, Нейшлотский полк выступил из Петербурга на зимние квартиры. Обстоятельства Боратынского были не вполне определённы. Маменька Александра Федоровна, видимо, тревожила его душу. Он не написал ей из Петербурга ни строчки, теперь он должен был брать отпуск и ехать к ней. Думаем, что этого-то как раз ему совершенно не хотелось сейчас делать.

Ибо кому из нас не рисовалась жизнь светлая, просторная и свободная — та новая жизнь, что предстает нам, когда долго томившая болезнь, наконец, отступает; или когда, свершив некий долгий труд, мы смотрим

на свое деяние, еще не вполне веря, что все сделано; или когда умер тиран? Эта жизнь наполнена светом и чиста, ибо на деле она не жизнь, а мечта, которая и не может быть использована в прикладном смысле, ибо слишком легка по самой своей мечтательной природе, и, если бы она существовала, мы сгорели бы в чистом пламени ее, как мотыльки.

Словом, свобода окружала Боратынского сетью новых обязанностей, неотвратимо стягивавшихся к осени.

Дело в том, что любезная маменька Александра Федоровна сделалась тяжко больна. Мы расстались с ней в 818-м году, когда, судя по ее письмам и по письмам к ней, она, хотя и сокрушалась, тоскуя, о судьбе старшего сына, была еще исполнена здоровья и сил. Конечно, по письмам — не всегда разберешь, что там с человеком происходит, особенно по письмам, которые он получает от других. Обходительность и лицемерие переписки с родителями призваны произвести впечатление всепокорнейшего дитяти, и по сей день остающегося преданным снам ребячества, но, кроме того, уже достигшего немалого. Что может быть немалым в жизни сына, разжалованного в солдаты? — Интерес к сыну светских женщин, блистающих красой (для начала — госпожи Эйнгросс, затем — супруги генерала Закревского). Поэтому сын писал маменьке не только о том, какую он ведет тихую и умеренную жизнь, следуя ее советам, но и о том, как он дружен с мадам Эйнгросс, о том, как путешествует с Магдалиной из Гельзингфорса в Кюмень, а после летает с нею по Петербургу ("В Петербурге я видел г-жу Закревскую: она приезжала на петергофский праздник... Мы летали по городу вместе...").

Впрочем, разумеется, что бы ни случилось, он все равно бы писал к маменьке как к близкому другу — ласковому, заботливому, доброму и, самое главное, разумному. Но явно где-то между 818-м и 823-м годом с ней нечто произошло, некий превратный гений вселился. Боратынский последний раз видел ее в генваре 823-го года, уезжая после отпуска из Мары. Видимо, мы ошиблись, когда, рассказывая о том времени, полагали, что он вкушал в Маре идиллию. Может быть, совсем недаром сестра его Софи половину каждого письма домой из Петербурга (летом 822-го года) переполняла словами любви и нежности к маменьке. Какие-то подробности об Александре Федоровне сам Боратынский рассказывал Путяте в Гельзингфорсе зимой 824-го — 825-го года. Дядюшка Петр Андреевич в феврале 824-го года говорил Жуковскому, что она лежит на одре болезни, и Жуковский написал о том Голицыну, когда просил за Боратынского. Вот все, что мы можем сказать об Александре Федоровне к августу 825-го года. Однако эти полунамеки мы знаем от людей близких ей. Люди чужие бесцеремоннее, и вот что в декабре 825-го года писал Закревскому Денис Давыдов о Боратынском: "Он жалок относительно обстоятельств домашних, ты их знаешь — мать полоумная, и следовательно дела идут плохо". Другой посторонний человек через восемь лет, в 833-м году, приедет на месяц в Мару узнать, как живет с новым мужем вдова Дельвига — теперь София Михайловна Боратынская, дочь Михайла Александровича Салтыкова: "В деревне Баратынских жили, кроме С.М.Баратынской и ее мужа, мать последнего, больная старушка, которую я, во все мое пребывание у них не видал, и братья его". — Не

видал потому, что, как рассказывала в том же 833-м году София Михайловна, она "почти всегда находится в состоянии глубокой ипохондрии и не любит видеть у себя гостей...; она не бывает даже за обедом...; с недавнего времени перестала появляться в гостиной, даже когда мы находимся в своей семье".

Значит, сжималось сердце у ее старшего сына, когда в августе 825-го он обещал ей приехать месяцев на шесть в отпуск – в октябре или по первому санному пути?

Отпуск с октября до нового года был делом решенным: оставалось вернуться в Кюмень, проститься с Лутковскими, затем в Гельзингфорс – проститься с Магдалиной, Герцогом и герцогским двором. Не решено ничего было насчет двух вопросов жизни.

Первый вопрос был полная отставка. Отставка имела свои выгоды и невыгоды. Невыгоды были те, что в отставке он не знал места, где придется жить: бросать всё, уезжать в Мару, под семейный кров, ухаживать за маменькой, утешать Софи, растить Вареньку и Натали? Перебираться в Петербург, переходить в статскую службу? Уехать в Москву, на ярмарку невест, выбрать отражение *Светланы* и зажить своим домом? Жить то там, то здесь, самому по себе, то у маменьки, то у Демута, то у Шевалдышева?* Из всех этих вариантов место для поэзии оставалось только в последнем, но он его как раз устраивал менее всех.

Выгоды у отставки были те, что он не зависел от места службы и что наконец мог с долгожданной легкостью сказать, уже не опасаясь сглазить: "Прощай, отчизна непогоды!" – Но легкости не получалось: "Мы на пути к Финляндии – стране, которая еще недавно была для меня местом изгнания и где теперь я ищу приют спокойствия и неги". Понятно, что Финляндия удерживала его совсем не своим спокойствием.

И тут вырастал второй нерешенный вопрос: не надежда ли видеть Магдалину влекла его назад? – Безумие! – возразят нам. – Какие надежды? Он же все понимал! – И мы говорим: безумие! Только, когда воображение постоянно спорит с рассудком, а самый яркий в прожитой жизни образ немыслим без мучительного обманывания самого себя, – куда бежать из Финляндии? К кому? если сердце бьется только при слове *Гельзингфорс*, не говоря о других, ближайших сердцу звуках? Что тут еще надобно?

Поэтому в Кюмени у Лутковских он был самое долгое – дня три (в конце августа – начале сентября) и далее летел – в Гельзингфорс. Конечно, Мефистофелес неотлучно дежурил при Магдалине; не исключено, что теперь, почти за год их связи, ему прискучила ее страсть, и он был рад появлению достойной себе смены. А вероятнее, напротив – как чаще бывает, – он насторожился и удвоил бдительность, чтобы твердо доказать свое первенство. Как бы ни было, появление Боратынского при дворе Герцога Мефистофелеса изумило (приятно или неприятно – бог весть): "Здесь Боратынский. Он неузнаваем – так похорошел, так любезен, такие непринужденные манеры – все это ему чудеснейше идет".

---

* Демутов трактир – одна из лучших гостиниц в Петербурге, Шевалдышев – содержатель прекрасной гостиницы на Тверской в Москве.

Но довольно о Магдалине! Торжествовать, изнывать, страдать, внимать, хохотать, танцевать, ловить взгляд, питать надежду, таить упования, пылать, путешествовать по окрестностям, подавать руку, целовать руку, томно молчать, говорить красноречивые любезности, чувствовать себя на верху блаженства, ревновать до головной боли, быть утром и быть вечером, не быть в состоянии заснуть, ужасаться предстоящему отъезду, тосковать в немой печали, все предчувствовать заранее – неужели мало занятий на три недели? если же продолжать – до санного пути не остановиться. А сентябрь на исходе; уже 25-е: "Мы лишаемся Баратынского, завтра он едет в Москву к своей матери". (Вряд ли он помнил, что 25-е – день рождения С.Д.П.: ничто не бессмертно, не прочно...)

* * *

Гельзингфорс – Ловиза – Фридрихсгам – Выборг – Белый Остров – Парголово – вот и *Петербург*.

Петербург в ту пору провожал нашего милостивого монарха в путешествие по южным губерниям. ("Между прочим, говорили, что он готовил себе место успокоения от царственных трудов в Таганроге, где ему приготовляли дворец и где он думал с добродетельной супругой Елизаветой Алексеевной после отречения от престола поселиться в глубоком уединении и посвятить остаток дней покою и тишине".)

Боратынский увиделся, верно, с Дельвигом: тот все же женился, свадьбу назначили на конец октября. Но оставаться Боратынский не мог – его ждали в Москве.

* * *

Слякотной грязью и поздним сумеречным рассветом проводил Боратынского Петербург. Увы! на этих страницах ему более не вернуться сюда. Возвращение случится, только когда минет еще столько же лет, сколько прошло со смерти Аврама Андреевича. А что он помнит ныне об отце? – *Память образа его не сохранила.* – И что сохранит память, чьи образы, чьи тени, еще через пятнадцать лет?

Что ж! Он вернется в этот город, которому суждено провалиться, затонуть, быть смытым балтийской волной, в город, где он провел пламенную младость, где много милого любил...

Прощай, Петербург! Adieu, my land!*

Но не быть тебе смытым волной, не провалиться, не затонуть, ибо разумом ты создан, а над разумом – сильнейшей природной силой – безвластна вся мощь прочей природной стихии. А погубит тебя (как и все гибнет бесследно от нее) – глупость; и зацветет болотными травами залив; смрадный туман заклубится над Галерной гаванью, над Семеновскими ротами, над Фурштадтской, над островами, над Петергофом; мутной пеной затянет воду Невы; нечем станет дышать, увянут ветры в остановившемся воздухе...

Adieu, my land! Прощай!

---

*Прощай, моя земля! *(англ.)*.

МОСКВА

Есть наслажденье и в дикости Москвы.
Кн. Вяземский

O navis referent in mare te novi fluctus! *
Гораций

Москва — это финальная сцена романа, эпилог поэмы, мораль в басне. Небо здесь висит над головою не высоко и не низко, ветры дуют не колючие, как на заливе, но и не дышат жаркими степными просторами, как в Маре, все здесь близко, обозримо — из одного конца в другой, от Девичьего поля до Сущева полчаса на пролетке. От южной окраины — Воробьевых гор — видна северная окраина: Сокольники. Ти-ихо...

Москва — столица отставных. По разным причинам и в разное время выходят люди в отставку, но все они съезжаются в Москву. Это столица стариков-родителей, и здесь живут Алексей Ильич Муханов, Михайло Александрович Салтыков, Сергей Львович Пушкин, Федор Андреевич Толстой... Это столица повздоривших с начальством или просто навлекших на себя неусыпное подозрение, и здесь или рядом, в своих имениях, живут Денис Давыдов, Михаил Орлов, князь Вяземский, Толстой Американец. Это столица "Вестника Европы", рожденного в начале века Карамзиным, а последние десять лет выходящего из рук Каченовского, измаравшего его в подлепарнасской пыли.

Москва, если окунуться в нее, — разрешенье всех цепей: человек чувствует здесь себя свободно, как рыба на дне, как рыба, всосанная в ил.

* * *

Чем ближе он подъезжал к Москве, тем хуже ему, вероятно, становилось.

Числа около 3—4-го октября коляска, забрызганная мокрой глиной осенней дороги, затряслась по ухабам Огородников. Здесь, в Харитоньевом, его ждали: маменька, Софи, Вариныка, Натали, Серж, кто-то из тетушек. Он был болен — подымался жар.

Однако первое время провел на ногах.

По дороге в Москву или в самой Москве видел Рылеева и вернул ему старый долг (может быть, те полтысячи, которые оставались невозвращенными после того, как он увез свои тетради от Рылеева и Бестужева). Простились они, должно быть, не навсегда.

Встретился с Александром Мухановым, с августа жительствующим в Москве, перезнакомился с его родными и двоюродными братцами — Иваном, Володей, Петром (Петра и Александра Вяземский прозвал *Большим Рыжиком* и *Маленьким Рыжиком*). Передал Муханову письмо от Путяты.

Заехал к родителям Путяты, рассказал об их сыне.

Денис Давыдов ему страшно обрадовался.

Был представлен Ивану Ивановичу Дмитриеву. Там мельком видел

---

*О корабль! Да опять отнесут тебя волны в море! *(лат.)*.


1825

молодого Погодина – университетского, который издает новый альманах "Уранию".

С Вяземским вряд ли встретился – тот мелькнул по Москве около 17–19-го октября, едучи из своей подмосковной – Остафьева – в костромские имения. (Но даже если Боратынский Вяземского не видел, верно, они спрашивали друг о друге. 18-го, отправляя из Москвы письмо Пушкину, Вяземский добавлял в заключение: "Здесь Баратынский на четыре месяца. Я очень ему рад. Ты, кажется, меня почитаешь каким-то противуположником ему, и не знаю с чего. Вполне уважаю его дарование. Только не соглашался с твоим *смирением*, когда ты мне говорил, что после него уже не будешь писать элегий".)

В 20-х числах он разболелся совершенно и выезжать из дома перестал. Московское небытие должно было уравновесить пиры Гельзингфорса. Здоровья не хватило.

* * *

Тем временем в Петербурге Дельвиг отдал в цензуру "Эду" и "Пиры" – к концу года они должны выйти отдельной книгою.

* * *

А выезжать Боратынский стал, кажется, около 10-го ноября.

Из журнала Александра Муханова.

16 ноября ... 4-го дня вечером приехал ко мне Денис Вас. и Баратынской, которые просидели весь вечер; ты не можешь себе представить, как первый был хорош. На другой день Барат. прислал мне к нему послание, когда оно будет исправлено от погрешностей, вкравшихся от поспешности, я тебе перешлю его... Вчера вечером провел с Иваном, Володей и двумя Баратынскими* у Дениса Васильевича.

25 ноября. В субботу 21-го утром приехал ко мне Баратынской, которого, несмотря на круговращение Меркурия в жилах его, уговорил я хорошенько окутавшись ехать со мною в Астафьево** (я накануне видел княгиню Веру в Москве, у которой испросил позволения к ним приехать и кроме того имел престранный и предолгий и прескучный разговор о протекшей любви, о теперешнем равнодушии и проч., в котором она силилась пробудить усопшие чувства, но я, коли не языком правды, то длинными извилистыми речениями выразил ей:

В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты!).

С десятой версты от метели и худой дороги полузамерзшие возвратились домой, где наверху у нас пообедали. Вечером приехал к Ивану... сперва общество болтало, потом все разъехались, кроме Баратынского, с которым мы перевспоминали все о Финляндии, кстати он написал несколько стишков на тамошние бани, в коих парят мущин женщины – пресмешные (Их со мной нет, оттого здесь их и не вписываю)***.

---

*Второй Боратынский – это Сергей.

** Т.е. в Остафьево, где жил князь Вяземский; княгиня Вера – его жена.

*** Стихи не сохранились.

* * *

Снег засыпал Москву и ее окрестности.

Лазурью светлою горят небес вершины;
Блестящей скатертью подернулись долины,
И ярким бисером усеяны поля.
На празднике зимы красуется земля.

Забавно: девять ровно лет назад в эту же пору он лежал в горячке в Подвойском и умирал. Тогда он не умер. Сейчас тоже вряд ли умрет. Но выздороветь не удавалось.

Кончался ноябрь.

* * *

Ежели с приезда в Москву я к тебе не писал, милый Путята, я виноват не душой, а бренным моим телом, заболевшим через неделю после. Я теперь еще не выезжаю; однако ж в первые дни успел повидаться с твоим батюшкой, с Рылеевым и с Мухановым. Странно, что, проживши почти два месяца в Москве, я принужден писать к тебе как будто из Кюмени, ибо не знаю ничего нового, ничего не мог заметить, почти ни с кем не познакомился и сидел один в моей комнате с ветхим моим сердцем и с ветхими его воспоминаниями. Я отдал письмо твое Муханову. Что скажу тебе про него? Он живет домком, много читает, жалуется на хандру и оживляется одними финляндскими воспоминаниями; однако ж признается, что страсть к Авроре очень поуспокоилась. Все проходит!

За неимением занимательнейшего предмета буду говорить о себе. Я нашел семью свою в Москве. Свидание было радостно и горестно. Я нашел мать мою в самом жалком положении, хотя приезд мой оживил ее несколько. Брат Путята, судьба для меня не сделалась милостивее. Поверишь ли, что теперь именно начинается самая трудная эпоха моей жизни. Я не могу скрыть от моей совести, что я необходим моей матери, по какой-то болезненной ее нежности ко мне, я должен (и почти для спасения ее жизни) не расставаться с нею. Но что же я имею в виду? Какое существование? Его описать невозможно. Я рассказывал тебе некоторые подробности, теперь все то же, только хуже. Жить дома для меня значит жить в какой-то тлетворной атмосфере, которая вливает отраву не только в сердце, но и в кости. Я решился, но признаюсь, не без усилия. Что делать? Противное было бы чудовищным эгоизмом... Прощай, свобода, прощай, поэзия! Извини, милый друг, что я налегаю на твою душу моим горем, но, право, мне нужно было несколько излиться.

Я думаю просить перевода в один из полков, квартирующих в Москве. Не говори покуда об этом генералу: к нему напишут отсюда. Я слышал, что ты будешь скоро к нам в белокаменную. Приезжай, милый Путята, поговорим еще о Финляндии, где я пережил все, что было живого в моем сердце. Ее живописные, хотя угрюмые, горы походили на прежнюю судьбу мою, также угрюмую, но по крайней мере довольно обильную в отличительных красках. Судьба, которую я предвижу, будет подобна русским однообразным равнинам, как теперь, покрытым снегом и представ-

ляющим одну вечно унылую картину. Прощай, мой милый. Я отослал письмо твое к Ознобишину; но за нездоровьем с ним еще не виделся.

Преданный тебе

Е.Боратынский.

Впрочем, нельзя забывать, что иные минуты уныния оставляют по себе такие письменные памятники, что впоследствии можно только искренне изумляться тому, как нас бросает: вчера надпись на финские бани, от которой хохочет маленький Рыжик – Муханов, сегодня – мертвизна погребальных дум.

Не все так плохо.

Выздороветь, правда, он не мог и в декабре ("по словам Дениса, vise au sublime*, то есть принимает du sublime**") и до сих пор не добрался до Остафьева, а виделся только с Мухановыми да с Давыдовым.

* * *

26-го ноября, между тем, в Петербурге было подписано цензурное разрешение на издание "Эды" и "Пиров".

* * *

В конце месяца до Москвы дошла весть: 19-го ноября в Таганроге умер император Александр. Следом за вестью закружились слухи и надежды: слухи о странной его смерти, надежды на свою новую жизнь. И хотя всегда всё остается, как было, что наша жизнь без надежд?

Денис Давыдов в ту пору охотился по первому снегу в деревне и лишь только вернулся в Москву, первое, что должен был сказать Боратынскому: "Иди в отставку". Время было для отставки истинно удобное: новому государю уже присягнули, но царствовать еще никто не начинал. Он сел, должно быть, за прошение:

Всемилостивейший Державный Великий Государь Император Константин Павлович Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший.

Просит Нейшлотского полка прапорщик Евгений Абрамов сын Боратынский...

А Давыдов просил Закревского ускорить дело.

(Впрочем, писал он прошение на имя Константина или нет – неизвестно.)

* * *

Любезнейший друг Арсений Андреевич! – ...Ты, конечно, будешь на коронацию, с каким удовольствием я ожидать буду этой минуты... – Мой протеже Баратынской здесь, часто бывает у меня, когда не болен, ибо здоровье его незавидное. – Он жалок относительно обстоятельств домашних, ты их знаешь – мать полоумная и, следовательно, дела идут плохо. Ему надо непременно идти в отставку, что я ему советовал, и он совет мой принял. Сделай милость, одолжи меня, позволь ему выдти в отставку, и когда просьба придет, то ради бога скорее – за что я в

---

* Вид имеет возвышенный *(фр.)*.

** Сулему *(фр.)*.

ножки поклонюсь тебе, ты меня этим на век обяжешь. — Итак, прости, друг любезнейший, поцелуй за меня обе ручки у милой Аграфены Федоровны и верь неколебимой дружбе верного твоего друга

10-го декабря. Дениса

* * *

Но не Константину суждено было стать нашим новым милостивым монархом, а следующему за ним Павловичу — Николаю. Новую присягу назначили на 14-е декабря.

Время настало непонятное: не каждый год Россия живет почти в продолжении месяца без царя. Надо быть совсем каким-нибудь отчаявшимся скептиком или отчаянным либералистом, чтобы не верить в такие дни благим переменам. Смерть самодержца всегда рождает некое колыхание воздуха — скорбно-возвышенное. То ли душа его, отпетая, так прощается с миром, то ли мы настолько развращены, что не можем скорбеть по нему без некоторого тревожно-радостного биения сердца: нас волнуют страх и надежда.

Двадцать четыре года парил над нами Александр Павлович, и те, кому двадцать пять — двадцать шесть лет, не говоря о младших, не помнят никого другого. Мы твердо знаем, что чем дольше он правил и чем громче его славили, тем выше он парил. Мы помним, что он обещал освободить мужиков и придумал военные поселения, что он хотел издать свод законов и сделал верной стражей трона — Аракчеева, что он любил Сперанского и сослал Сперанского, что он дал свободу Европе и запретил у нас все тайные союзы. Мы знаем, что он был чувствительный мечтатель и что эта наклонность души была унаследована им от своего венценосного родителя, удушенного с его безмолвного согласия однажды, в мартовскую ночь 801-го года. Его мыслями владела мечта о благоустроенной, упорядоченной и регулярной России: чтобы дороги были ровные и без ухабов, чтобы вдоль дорог росли ровно подстриженные русские березы и аккуратными рядами строились мирные, белые, с красными крышами, избы русских мужиков, чтобы одновременный удар каблуков о плац выражал не одно бессмысленное повиновение и хорошую выучку, но добродетель слитых воедино сердец, любящих Россию, преданных вере предков и готовых отдать жизнь за царя, потому что царь есть воплощение народного русского ума, и даже русская поговорка есть о тех, кто умствует без царя в голове. В оскорблении царского достоинства он видел оскорбление нации и государства. Это не было его собственное саморожденное умозаключение, а убеждение, переданное самим местом его царствования и памятью поколений. Но император Александр был на троне человек, и это его чувствованье себя человеком, превознесенное акафистами предстоящих трону, вызывало в нем личное отвращение ко всем оскорбителям царского достоинства. Не говоря об эпиграммах, он не выносил, когда начинали рассуждать о том, о чем рассуждать был вправе только один человек — он: о конституции, о войне 12-го года, о свободе мужиков. Мы видели, что чем выше он парил, тем менее было толку и тем хуже становилось. Чего ж нам жаль? — он умер. Он умер —

и надежды появились у нас: авось что-то изменится. Но мы же знаем, что вместо Александра Павловича грядет новый Павлович — Константин, Николай или Михаил — какая разница? Мы знаем, что хорошее время отличается от нехорошего только тем, что одно питает надежды, а другое надежд не питает. Сомневаться в том, что при новом Павловиче пироскафы станут бороздить наши реки, как теперь в Англии, или что от Петербурга до Москвы проложат особенную дорогу с рельсами, по которым безостановочно будут ходить из столицы в столицу не экипажи, а спряженные друг с другом вагоны, — не приходится. Мы не Европе чета, но и не лыком шиты. Чем далее — тем более изобретений, и следующие двадцать четыре года или столько, сколько будет парить над нами новый Павлович, будут ознаменованы новыми свершениями. Замостят улицы и проложат тротуары даже в уездных городах, газом осветятся даже окраинные улицы, найдут способ передавать мгновенные почтовые сообщения не через зеркальные телеграфы, а по проволоке, натянутой на столбах...

Замостят, проложат, выполнят. Издадут свод законов. Воровать станут по-новому, исходя из новых условий для воровства. Новые родятся охотники до чинов, почестей, денег и власти и воссядут в департаментах. Но останется в крови у новых Павловичей мечта быть учредителями торжества регулярной России. Даже не потому, что они Павловичи, а по впитанному с кормилицыным молоком чувству любви родителей к чадам, они не смогут понять права своих подданных чад на их собственную жизнь. Воспитание и направление умов детей суть первые родительские обязанности. Пренебрежение к гувернерам довело старшего Павловича до того, что его едва не запутали в сетях либерализма. Благородство родительское нельзя путать с благородством дворянским, ибо родитель имеет право на досмотр и ревизию любого из своих чад — это его предназначение от начала бытия. Для досмотра необходимы гувернеры, — чтобы все и каждый знали и помнили о своей первой обязанности — быть достойным родительской любви. Вот потому и страх, что от новых Павловичей нельзя не ждать гувернеров. И они грядут! Не пройдет полугода, будет создан отдельный штат — 3-е отделение е.и.в. канцелярии. Кто нам даст в гувернеры жандармов — Константин Павлович или Николай Павлович, — нет нужды знать...

"Ты во всем охотно видишь хорошую сторону; а я охотно дурную", — писал Боратынский Коншину в начале года.

И лучше, — рассеяв неторопливым размышленьем первые надежды, сразу ждать худшего.

Ждать недолго.

* * *

Вместе с сообщением о присяге принеслась весть о мятеже.

У нас давно не было мятежей в Петербурге. Опять Семеновский полк?.. Говорили, не обошлось без перестрелки. Нет, не Семеновский. "Пчела" и "Инвалид" слово в слово напечатали, что во время присяги возмутились *две роты Московского полка:* "Государь Император вышел из Дворца без свиты, явился один народу и был встречен изъявлениями

благоговения и любви: отовсюду раздавались усердные восклицания. Между тем две возмутившиеся роты Московского полка не смирялись. Оне построились в баталион-каре перед Сенатом: ими начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединилось несколько человек гнусного вида во фраках". — В итоге убили Милорадовича, а злодеев рассеяли.

Тотчас в Москву вползли слухи об арестах в Петербурге, о преступных тайных обществах, посягавших на жизнь императора Николая, о том, что Аракчеев сошел с ума; называли зачинщиков: Рылеев, братья Бестужевы, Кюхельбекер...

????????? И выше Рока стал Поэт?

21-го декабря, в понедельник, начали увозить из Москвы: взяли генерала-майора в отставке Михаила Орлова (бывшего командира 16-й дивизии, стоявшей в Бессарабии). 23-го, в среду, забрали кавалергардского полковника Кологривова и заодно с ним кавалергардского поручика Свиньина. Словом, получалось, что начальствовали совсем не обер-офицеры.

Надо было бы, конечно, выждать с прошением об отставке, но и ждать нельзя: декабрь кончался, наступало Рождество, оставались считанные присутственные дни, когда можно было успеть поставить печати и заверительные подписи под прошением. С 1-го генваря до 1 сентября подавать в отставку не разрешалось, и, если не сейчас, — когда?

Почему-то новое прошение оказалось помечено воскресным днем.

* * *

Всепресветлейший Державный
Великий Государь Император
Николай Павлович Самодержец
Всероссийский Государь Всемилостивейший.

Просит Нейшлотского полка прапорщик Евгений Абрамов сын Баратынский, а о чем, тому следуют пункты:

1

В службу Вашего Императорского Величества определен я из пажей за проступки Лейб-Гвардии в Егерской полк 1819-го года Февраля 8 числа, из оного переведен в Нейшлотский пехотный полк с произведением в унтер-офицеры 820 Генваря 4. Прапорщиком 825 года Апреля 21 числа; в походах и штрафах по суду и без суда не бывал, в домовом отпуску находился с 11 Декабря 1820 по 1-е Марта 1821 и 1822 Сентября с 21 по 1-е Февраля 823 года и на срок явился, холост, состоял при полку в комплекте, к повышению чином аттестован достойным. Ныне же хотя и имею ревностное желание продолжать военную Вашего Императорского Величества службу, но с давнего времени одержимая меня болезнь лишила к тому способов, а потому представляя у сего об оной лекарское Свидетельство и два Реверса всеподданнейше прошу по сему. Дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было сие мое прошение с приложениями принять и меня именованного за болезнию от службы уволить по прошению.

Всемилостивейший Государь, прошу Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение учинить.

Москва. Декабря 27-го дня 1825 года.

К поданию надлежит по команде. Прошение с сочинения просителя набело переписывал Московского Ордонанс-Гауза писарь Александр Васильев сын Любимов. Нейшлотского пехотного полка прапорщик Евгений Аврамов сын Боратынский руку приложил.

2

Реверс

Я, нижеподписавшийся, дал сей реверс в том, что по увольнении меня от службы Его Императорского Величества о казенном содержании просить не буду.

Декабря 27 дня 1825 года.

Нейшлотского пехотного полка прапорщик Боратынский.

3

Реверс

Я, нижеподписавшийся, дал сей реверс в том, что по увольнении меня от воинской Его Императорского Величества службы до получения указа об оной буду иметь жительство в столице Москве.

Декабря 27-го дня 1825-го года.

Нейшлотского пехотного полка прапорщик Боратынский.

4

Свидетельство

Дано сие Нейшлотского пехотного полка прапорщику Баратынскому в том, что он был мною свидетельствован в болезни и оказался действительно одержим сильным ревматизмом левой ноги, продолжавшимся с давнего времени, и болью груди, каковые болезни препятствуют продолжать ему военную службу; в чем свидетельствую.

Москва. Декабря 27 дня 1825 года

Московского Ордонанс-гауза штаб-лекарь.

* * *

Он отослал прошение – по команде, к Лутковскому. Он к нему писал и прежде, но Лутковский молчал ("Я, право, не знаю, жив ли мой Лутковский или нет"). От Путяты тоже не было ни строчки.

Время настало нехорошее.

29-го, во вторник, увезли Семенова – из канцелярии московского генерал-губернатора, и Колошина – из Московского губернского правления; 30-го, в среду, – отставного полковника Штейнгейля.

В эту неделю, кажется, в Москву из Остафьева приехал встревоженный Вяземский.

Из писем ничего понять было невозможно ("...об этом надо *говорить*... Все письма теперь распечатываются... Мы были в большой тревоге в продолжении всех этих дней").

Дельвиг писал смутно: "... Сонинька моя тебе очень кланяется,

поздравляет с Новым годом и удивляется с беспокойством о здоровье твоем, упорному твоему молчанию. Мы проводим очень тихо и мило нашу жизнь... Выезжаем из дома редко, гостям рады часто, мечтаем об тебе еще чаще... Напиши мне об московском Парнасе, надеюсь, он не опустел, как петербургский. Наш погибает от низкого честолюбия. Из дурных писателей хотелось попасть в еще худшие правители. Хотелось дать такой нам порядок, от которого бы надо было бежать на край света. И дело ли мирных муз вооружаться пламенниками народного возмущения. Бунтовали бы на трагических подмостках для удовольствия мирных граждан, или бы для своего с закулисными тиранами; проливали бы реки чернил в журнальных битвах и спокойно бы верили законодателям классической или романтической школ и исключительно великому Распорядителю всего..."

Лутковский молчал. Путята молчал; родители его были в крайнем беспокойстве. О розыске Кюхельбекера объявили уже и в Москве. Теперь говорили о поимке старшего брата Александра Ивановича Тургенева — Николая. Но он, как и Александр Иванович, был далеко: за границей. Письма перехватывали, могли перехватить человека с письмом.

"Много вестей: но писать страшно. Это неправда: Аракчеев в полном уме".

Год еще не кончился, а уже рассказывали, что мятеж перекинулся на западные губернии. Говорили, что смятение в Белостоке.

1826

Едва настал новый год, пришел новый слух: 2-я армия идет на Петербург. Через несколько дней уточнилось: не армия, а дивизия из 2-й армии, чуть ли не та, которой командовал Михаил Орлов. Скоро выяснилось: не дивизия, а Черниговский полк, и все уже арестованы. Говорили, что в Москве вот-вот начнется то же.

5-го генваря, накануне праздника, из Москвы увезли полковника Тарутинского полка Нарышкина; тотчас после — штабс-капитана квартирмейстерской части Крюкова. 8-го, в пятницу, — служившего в надворном суде Кашкина, сына сенатора. Отставного генерала-майора Фонвизина взяли в его подмосковной — в Крюкове — и прямо по тракту увезли в Петербург. Это было 9-го, в субботу. В тот же день взяли Зубкова из надворного суда, Данзаса из канцелярии московского генерал-губернатора и Якушкина, отставного капитана. Говорили, что уже арестованы оба сына генерала Раевского, все четверо Бестужевых, оба сына покойного поэта и сенатора Михайлы Никитича Муравьева, сыновья Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, оба сына генерала Пущина.

В ту же проклятую субботу, 9-го генваря, добрались до мухановского дома, взяли Петра — Большого Рыжика.

Лутковский молчал. От Путяты не было ни звука.

Было нехорошо.

Когда берут того, с кем позавчера вместе провели вечер, — это не то же самое, если вам говорят о возмущении неизвестных гнусного вида обер-офицеров. И не мерещится ли вам, что звенит уже колокольчик на ваших дверях? что звякает сабля квартального в сенях? Не начинаете

ли вы сомневаться в самих себе, не припоминаете ли разговоры, которые вели, письма, которые писали, куплеты, которые гуляют под вашим именем по обеим столицам без вашего участия?

— За куплеты нынче в крепость не сажают, — скажете вы. — Теперь только за тайные общества.

— Блажен, кто верует.

Между тем наступал крещенский холод. Тихо. На улицах снег и редко скрыпят полозья саней, пролетающих мимо дома.

Где они остановятся? Кто из них выйдет?

* * *

Может быть, Боратынский отправил в Кюмень к Лутковскому в общей сложности два прошения? — Одно в начале декабря на имя Константина, другое после 27-го? Понятно, что первое, если оно было, оказалось неуместным, а по второму Лутковский велел составить формулярный список прапорщика Боратынского и отправил его вместе с прошением, реверсами и свидетельством о болезни далее по команде — к Закревскому.

В Москве тем временем забрали отставного подполковника Муравьева, сына генерал-маиора Николая Николаевича, основавшего Муравьевское училище колонновожатых. Это было в понедельник, 11-го генваря.

("Стихи у меня что-то не пишутся, и я почти ничем не занят".)

Наконец пришли письма из Гельзингфорса от Путяты. Вероятно, их прежде прочитали. Последнее было написано уже после 14-го декабря. Путята не был арестован.

Его заподозрили позднее: "Пестель показал о слышанном от Волконского, что Путята принят в общество. Волконский отвечал, что если и говорил о сем, то, вероятно, слышал от северных членов, но не помнит, от кого. Спрошенные о сем десять членов Северного общества отозвались, что о принадлежности к оному Путяты ни от кого не слыхали. Один Оболенский показал, что Путята принят в общество, но не помнит кем, и знал дальную цель оного — достижение конституционного правления посредством просвещения. На дополнительный о сем вопрос Оболенский отвечал, что не будучи в состоянии припомнить ни одного обстоятельства к подтверждению прежнего показания своего о Путяте, полагает, что мог даже ошибиться, приняв знакомство с ним за принадлежность его к обществу. — По докладу о сем Комиссии 13-го июля высочайше повелено отдать под секретный надзор и ежемесячно доносить о поведении. Об оном к исполнению сообщено генерал-адъютанту Закревскому".

Чье еще знакомство примут за принадлежность? На дворе середина генваря. Только что из Москвы увезли двух братьев Исленьевых, Тучкова — сына генерала-майора Алексея Алексеевича, отставного полковника Фонвизина (брата увезенного неделей раньше) и Горсткина, с которым семь лет назад Боратынский был в одном лейб-Егерском полку (Горсткин тогда служил прапорщиком).

* * *

"Эда и Пиры" должны были выйти еще в декабре. Но книги, прошедшие цензуру по осени, перечитывались теперь заново. В "Пирах" честная цензура заподозрила неладное, дойдя до 51-й страницы, где певцы пируют, а сочинитель между прочим замечает относительно пенящегося в их чашах шампанского:

Его звездящаяся влага
Недаром взоры веселит:
В ней укрывается отвага,
Она свободою кипит,
Как пылкий ум не терпит плена...
и проч. и проч.

Ввиду нынешних обстоятельств чуткая цензура видела вокруг одни аллегории. Точки вместо пропущенных строк ставить запрещено. Велено заменить:

Она отрадою кипит,
Как дикий конь, не терпит плена.

51-ю страницу вырезали ножницами из всех экземпляров и отдали в типографию набирать заново — уже с *диким конем*. Странно, что не выкинули эпиграф к "Пирам" из Стерна ("Воображение раскрасило тусклые окна тюрьмы Серванта"). Впрочем, ничего странного: косвенную крамолу будут вырезать после, когда все поуспокоится; сейчас цензорам не до того — успеть бы с явной крамолой.

* * *

Но что рассуждать о цензурных каверзах, когда, говорят, Булгарин и Греч на гауптвахте! — Это, конечно, ложный слух, ибо ни Булгарин, ни Греч аресту не подлежат, потому, что они Булгарин и Греч. Свою дружбу с Рылеевым и Бестужевым им теперь отмаливать многие лета, в том числе и по осведомительной части. А на главную гауптвахту в Петербурге посажены на самом деле графы Булгари из Одессы. Впрочем, все-таки на Булгарина и Греча донес, в конце концов, Воейков, сочинив от лица Полевого преправдивейшее письмо. Цель Воейкова была проста: одним росчерком убить всех журнальных конкурентов: первых двух — арестом, последнего — общественным мненьем; не вышло — Булгарин и Греч аресту не подлежат.

К слову, помимо этого достоинства Булгарин обладал еще высшей политической тайной: он знал, как Россия может избежать мятежей. Достаточно перевидав на своем веку умных и честных людей, он усвоил, что довольных среди них не бывает. Он твердо знал, что так происходит от того, что их воспитание прекращается вместе с выходом из корпуса, университета или лицея, и в дальнейшем полиция и цензура вместо того, чтобы трудиться над совершенствованием их благонамеренности, только сокращают своими шлагбаумами путь мятежных мыслей к их умам. Напротив! Нужно дать им выставить языки, пусть говорят! Но надо сделать это дельно, чтобы правительство могло, исходя из соображений высшей нравственности, незаметно поворачивать языками в должном

темпе. Для сего необходим новый комитет по цензурованию, из 50–60 человек, в который вошли бы не бездарные глупцы Бируков и Тимковский, а люди ученые, воспитанные и далековидящие. Они, только они, исходя из опыта своей мудрости, не ножницами будут вырезать страницы, а убеждением и ласковым наставлением сумеют переменить направление умов у всех этих лицейских. "Россия не столь просвещена, как другие государства Европы, – писал Булгарин. – Но по своему положению, она более других государств имеет нужду в нравственном и политическом воспитании взрослых людей и направлении их к цели, предназначенной правительством. – *Знатные и богатые люди...* Преждевременное честолюбие, оскорбленное самолюбие, неуместная самонадеянность заставляет их часто проповедовать правила вредные для них самих и для правительства. Весьма легко истребить влияние сих людей на общее мнение и даже подчинить их господствующему мнению действием приверженных к правительству писателей. Их легко можно перевоспитать, убедить, дать настоящее направление умам..."

Записку Булгарина препроводили к Александру Семеновичу Шишкову – нынешнему министру просвещения. Шишков, как и в былые времена, не дремал умом, даром что ему шел восьмой десяток. Ему не понравилось сочинение Булгарина ни в философической его части, ни в практической – как сочинение легковесное и необдуманное: "Сомневаюсь, чтобы легко было *перевоспитать, убедить и дать настоящее направление умам* людей, зараженных подражанием французам. Немало писано против сего благомыслящими писателями, но не последовало от того никакой пользы... Французский язык сделался как бы признаком образованности и необходимою принадлежностию лучшего общества и особливо между женщинами. – Говоря о *среднем состоянии*, в которое входят достаточные и бедные дворяне, чиновники гражданские, приказные люди, купцы, заводчики и даже мещане, сочинитель выписки* говорит, что оно составляет так называемую русскую публику. По мнению его, не надобно больших усилий, чтобы быть не только любимым ею, но даже обожаемым; для того потребны два средства: справедливость и гласность (publicité). Нашу публику, говорит он, можно совершенно покорить, привязать к трону одною тенью свободы в мнениях, на счет мер и проектов правительства, как сие было до 1816 года. – Относительно к гласности в распоряжениях правительства, то, по мнению моему, гласность сия отнюдь не должна быть безусловная, но расчетливая и основанная на опытном познании свойств и нравственных потребностей народа... – Никакая важная мера не должна быть предпринимаема в государственном управлении без зрелого о пользе оной рассуждения; но рассуждение сие в монархическом правлении принадлежит не публике и народу, а государю и высшим правительственным местам. При таком положении если бы правительство усмотрело невыгоду предполагаемых им мер или затруднительность приведения их в исполнение, то может без всякого неудобства отложить на время или вовсе отменить намерения свои, и сие не будет сопровождаться никакими неприятными последствиями".

---

* Булгарин.

* * *

К 16-му генваря бумаги Боратынского пришли к Закревскому. Тот просмотрел и велел составить записку: "О увольнении от службы по пехоте за болезнию Нейшлотского полка прапорщика Баратынского". — Боратынский ничего этого не знал.

23-го генваря из Москвы увезли Зыкова — бывшего штабс-капитана Преображенского полка; вслед ему адъютанта Витгенштейна — ротмистра Ивашева, — с ним Боратынский два класса проучился некогда в корпусе. 27-го забрали отставного подполковника Норова — того самого, который вместе с Челищевым был в 822-м году разжалован из гвардии за Виленскую историю. В конце месяца пришел "Русский инвалид" с сообщением, что 25-го генваря в Петербург привезли арестованного в Варшаве Кюхельбекера.

В тот же день, 25-го, бумаги Боратынского вместе с представлением к отставке пришли в Главный штаб и были положены в отдельную папку для доклада государю.

31-го генваря в Москву по пути из Таганрога в Петербург привезли тело императора Александра. "Носились слухи, что будут разные смуты, грабительства и нападения на гроб для доказательства того, что Александр умер не своею смертию... Но все обошлось тихо".

* * *

С февраля прекратились налеты фельдъегерей. Москва затихла, возвращаясь к своей первозданной дикости...

Конечно, свет везде одинаков, и редко в нем сыщется два-три-четыре человека истинно приязненных. До прочих — что нужды? Но это в теории. На деле их всех нельзя не видеть, если вы выехали из дома хоть на два часа. О чем они говорят? — Читайте Грибоедова. Год назад Боратынский удивлялся в Кюмени: "Не понимаю, за что москвичи сердятся на Грибоедова и на его комедию: титул ее очень для них утешителен и содержание отрадно". — Тогда он судил по названию, и самого "Горя от ума" еще не читал; ныне так не сказал бы. — Что их волнует? О чем говорят? Что их дела? — Обеды, ужины, танцы. Великий пост начнется только в конце февраля. Всюду жизнь.

Вполне торжественны обеды;
Вполне богат и лаком стол,
Уж он накрыт, уж он рядами
Несчетных блюд отягощен
И беззаботными гостями
С благоговеньем окружен.
Еще не сели; всё в молчанье;
И каждый гость вблизи стола
С веселой ясностью чела
Стоит в роскошном ожиданье,
И сквозь прозрачный, легкий пар
Сияют лакомые блюды,
Златых плодов, десерта груды...
. . . .
Садятся гости. Граф и князь —
В застольном деле все удалы,

И осушают, не ленясь,
Свои широкие бокалы...
. . . .
И началися чудеса:
Смешались быстро голоса;
Собранье глухо зашумело;
Своих собак, своих друзей,
Певцов, героев хвалят смело;
Вино разнежило гостей
И даже ум их разогрело.
Тут всё торжественно встает,
И каждый гость, как муж толковой,
Узнать в гостиную идет,
Чему смеялся он в столовой.

В послеарестной Москве смеялись надворному советнику Сонцову (или Солнцеву, как он себя называл). Он был женат на сестрице Василия Львовича и Сергея Львовича Пушкиных, имел двух младых дочерей, вид всегда имел недовольный, а в прошлом году, благодаря усилиям всеобщего ходатая Александра Ивановича Тургенева, был представлен к придворному званию ("В Петербурге нашли, что по чину его достаточно ему и звания камер-юнкера. Но Сонцов, кроме того, что уже был в степенных летах, пользовался еще вдоль и поперек таким объемистым туловищем, что юношеское звание камер-юнкерства никак не подходило ни к лицу его, ни к росту. Князь Н.Б.Юсупов сделал новое представление на основании физических уважений, которое и было утверждено").

В Москве по-прежнему играли в petits jeux и в secrétaire*. Старшие Пушкины в этих забавах непревзойденны. На вопрос: "Quelle différence y-a-t-il entre M-r Pouchkine et le soleil?" – Сергей Львович отвечал: "Tous les deux font faire la qrimace"**.

Тем живет Москва.

"Впрочем, говорить нечего, хотя мы заглядываем в свет, мы не светские люди. Наш ум иначе образован, привычки его иные".

* * *

Еще в середине января Боратынский получил рокочущее негодованием письмо от Дельвига: "Что ты хочешь сделать с твоей головушкой? Зачем подал в отставку, зачем замыслил утонуть в московской грязи? Тебе ли быть дрянью? На то ли я тебя свел к музам, чтоб ты променял их на беззубую хрычовку Москву? И какой ты можешь быть утешитель матери, когда каждое мгновение, проведенное тобою в Москве, должно широко и тяжело падать на твою душу и скукою безобразить твою фигуру. Вырвись поскорее из этого вертепа!"

Дельвиг прав: "Я скучаю в Москве. Мне несносны новые знакомства. Сердце мое требует дружбы, а не учтивостей, и кривлянье благорасположения рождает во мне тяжелое чувство. Гляжу на окружающих меня людей с холодною иронией. Плачу за приветствия приветствиями

---

*Салонные игры; игра в вопросы-ответы *(фр.)*.

** Какая разница между г-ном Пушкиным и солнцем? – На обоих нельзя смотреть, не жмурясь *(фр.)*.

и страдаю. — Часто думаю о друзьях испытанных, о прежних товарищах моей жизни — все они далеко! и когда увидимся? Москва для меня новое изгнание. Для чего мы грустим в чужбине? Ничто не говорит в ней о прошедшей нашей жизни. Москва для меня не та же ли чужбина?"

* * *

Однако новые, противуположные сказанным, чувства и мнения медленно вкрадывались ему в душу, прорисовывая контуры иной жизни, не предвиденной прежними вариантами.

В Москве жил единственный человек из прежней его жизни — Маленький Рыжик Муханов. Новые знакомцы — Денис Давыдов, князь Вяземский или Иван Иванович Дмитриев не видели его до сих пор; они все были из другого круга жизни, и с ними у него не было связано ничего: ни хорошего, ни плохого. Он был младше их: Дмитриева на сорок лет, Давыдова — на шестнадцать, Вяземского — на восемь. Они, должно быть, видели в нем как бы новое отражение своих судеб.

Старик Дмитриев окончательно вышел из министров в 816-м году после значительных неудовольствий на него императора Александра (они примирились, разумеется, впоследствии). — Князь Вяземский некогда служил в Варшаве (у Новосильцева при цесаревиче Константине), но суждениями отличался резкими и решительными. Последним обстоятельством поспешили воспользоваться дальновидные люди и подали на него в 821-м году донос. Без объяснений Константин воспретил ему въезд в Варшаву; князь вспыхнул, подал в отставку, заодно дерзко отказавшись от камер-юнкерства, и укатил в Остафьево. Следствия против него не производили, но полиции велено было за ним досматривать. — Чуть позже, чем Вяземского, вытеснили из службы Дениса Давыдова. Он, который воевал во всех тех местах и случаях на суше, когда воевала Россия, вдруг в начале 820-х оказался не у дел. Тогда он плюнул и тоже вышел в отставку.

Здесь, в Москве, смотрели на Боратынского иными глазами, чем в Петербурге, в Кюмени, в Гельзингфорсе.

Конечно, странно говорить о том, что Боратынский мог бы близко сойтись со стариком Дмитриевым. Ни сейчас, ни потом, когда они будут видеться чуть не ежедневно, живя в соседних домах на Спиридоновке, они не сблизятся. Боратынскому, верно, всегда будет мешать светская чопорность старика. Зато он — устная история государства Российского последних пятидесяти лет в анекдотах и живых картинах. "Каждые два часа беседы с ним могут дать материалов на том записок". Но застегнута душа в беседах Дмитриева: в истории государства — даже когда она состоит из рассказов о частной жизни сенаторов, министров, государей — лицо имеет смысл не свой собственный, а по отношению к государству. "Баратынский как-то не ценил ума и любезности Дмитриева. Он говаривал, что, уходя после вечера, у него проведенного, ему всегда кажется, что он был у всенощной... Между тем он высоко ставил дарование поэта". — Дмитриев, быть может, платил Боратынскому тем же. Вот, кстати, эпизод. Однажды Иван Иванович рассуждал о том, как следует

читать стихи, в своей обычной манере (а, к слову сказать, по манере этой не всегда было понятно, чего более в ту или иную минуту в его речах: серьезности или насмешки, и если насмешки, то над кем именно из тех, о ком он говорит?). Рассуждал он и сравнивал Боратынского, Василия Львовича Пушкина и Державина: "Баратынский пишет стихи хорошо, а читает их дурно, без всякой претензии, не так, как Василий Львович, который хочет выразить всякое слово. — Державин также читал очень дурно стихи". — Не умея полноценно объяснить, в чем здесь соль иронии над бедным Василием Львовичем, полагаем, однако, что начало рассуждения высказано без насмешки и что старик действительно считал, что Боратынский пишет стихи хорошо. А редко о ком из младших поэтов Дмитриев отзывался с похвалой и без сарказма.

Но все же Дмитриев есть Дмитриев — "большой наблюдатель приличий и учтивости", все в нем "размеренно, чинно, опрятно, даже чопорно, как в немце".

Иное дело — Давыдов и Вяземский. Давыдов — быстр, в глазах блеск, бодр, крутит усы. "Огонь! — с каким жаром говорил он о поэзии, о Пушкине, о Жуковском... Как восхищался Байроном, рассказывал места из него... Огонь, огонь". Закупоренная отставной московской жизнью, военная энергия его не знает деления на возрасты: Боратынский для него — *наш* без раздумий, и он втягивает его в свое кипение ("Забуду ль о счастливом дне, когда приятельской рукою пожал Давыдов руку мне!").

Вяземский тоже закупорен в Москве; настоящая его жизнь, истинные его друзья: Александр Иванович Тургенев — за границей, Жуковский — в Петербурге, младший его приятель — Пушкин — в ссылке. В московской словесности он, в сущности, один бьется с Каченовским, Михайлом Дмитриевым, Писаревым, Аксаковым. Ему как воздух нужен литературный сочувственник, который бы был рядом, в Москве, которому можно слово сказать. Может быть, скоро Вяземскому уже кажется, что видит в Боратынском — нового Дмитриева: речь нетороплива, слова обдуманны, мысль в беседе точна. Засценной истории государства Российского от него ждать не приходится, но суждения о предметах и лицах — как в иных стихах Вольтера.

— Смерть подобна деспотической власти, — говорит как-то новый знакомец Вяземскому. — Обыкновенно она кажется дремлющею, но от времени до времени некоторые жертвы выказывают ее существование и наполняют сердце продолжительным ужасом.

Суждения его о людях точны и глубоки:

— Душа Булгарина — такая земля, которую никакой навоз не может удобрить, — говорит он Вяземскому в другой раз.

Записок из этого не составишь, но на небольшой томик "Maximes et pensées"* наберется с лихвой.

---

*"Мысли и замечания" *(фр.)*.

* * *

То, какими нас видят другие люди, — важная поправка нашему самосознанию. Чужое мнение — как зеркало, в которое мы смотримся, удивляясь, когда видим то, что мы в себе, в общем-то, знали — так сказать, на ощупь знали, но что вот — подтверждается другими без наших дополнительных о себе пояснений.

Конечно же, Боратынский знал — и давно, — что не только его внутреннее, нравственное расположение души есть расположение души поэта, который и когда по месяцу или по году сряду не сочинит ни строчки, все равно никем иным не сможет быть. Все прочее будет как смена одежд в зависимости от погоды.

Но одно дело — знать себя поэтом, слышать восторженные отзывы друзей и глумливые глупцов, видеть, как рука сама, как бы без усилия разума, выводит четырехстопные строки, оперенные рифмами, читать стихи друзьям и, при всем этом, быть в положении бессрочно ссыльного. — Здесь, в таком положении, занятие поэзией есть необходимость души, *убитой горестью*, и потребность изгнанника, *жаждущего излить свои чувства*. Трикраты прав Путята, сказавший эти слова.

И совсем другое дело — знать себя поэтом, будучи свободным.

Жизнь в Финляндии была доселе как бы еще и основным занятием его. Она, эта жизнь, и тысячу раз была им проклята, и столько же опоэтизована; благодаря этой жизни публика читала его элегии как исповедь его внутреннего бытия. Шестистопные послания и сатирические куплеты плохо укладывались в схему жизни поэта-изгнанника, отчего главным и единственным смыслом его поэзии для многих и многих был смысл только элегический. Бо́льшее чувствовали немногие. Но даже и они, когда, например, он иронизировал над собой в послании к Богдановичу, не вполне его понимали.

Когда Боратынский попадал в Петербург (а провел он там из 69-ти месяцев своего финляндского изгнания в общей сложности около 24-х месяцев), он чаще прочих виделся, разумеется, с Дельвигом, а также с другими ровесниками — или по возрасту или по времени их поэтической славы (так, летами старшие Козлов и Рылеев стали известны в ту же пору, что и он). Старшие — Жуковский и Гнедич — были старшими во всем. Один совершил эпоху в поэзии, извлек из нашего языка *язык души*, нашел слова для изъяснения внутренней жизни, и, кто бы ни писал теперь о себе, о своей душе, будет писать на языке Жуковского, пусть усовершенствуя и изощряя, — но всё Жуковский будет учитель: и через сто лет. Другой вершит для России "Илиаду", и некому с ним соперничать, и имя Гнедича канет в Лету, только когда забудут, кто такой Гомер. — Жуковский и Гнедич не могли не видеть в нем младшего — по летам и поэзии.

Конечно, и с Вяземским невозможны те близкие сердцу разговоры, какие были с Дельвигом, с Коншиным, с Путятой. Но Вяземский, сам из поколения Жуковского и Гнедича, принял его как равного, как близкого, наконец, как брата по святому ремеслу — поэтическому делу. Вяземский не был очевидцем его финляндского изгнания и не мог на расстоянии

почти в тысячу верст ощущать Финляндию главным наполнением жизни Боратынского. Он и знал, и помнил, и сострадал заочно, но до сих пор чувствовал его поэзию вне его самого (поначалу даже весьма скептически относился к нему и летом 822-го года высказывал нечто ироническое). И теперь, когда освобождение из Финляндии перестало быть главным жизненным делом Боратынского и когда сразу, без предисловий, Вяземский встретил Боратынского как *поэт – поэта*, это могло только еще более внутренне утвердить его, несмотря ни на какую московскую скуку и тоску пребывания подле маменьки, в том, что первая цель его новой жизни – только Поэзия.

* * *

Прочие московские литераторы и журналисты имели о нем более смутное представление, хотя, конечно, о судьбе его были извещены, и стихи знали, и с сатирическими выходками – вроде *Сомова безмундирного* и *певцов 15-го класса* – были знакомы. Но москвичей он до сих пор не задевал, кроме Шаликова (да и то сколько лет назад*), а ведь иные москвичи вполне были на стороне благонамеренных и против союза поэтов: Каченовский еще в 822-м году радостно напечатал в "Вестнике Европы" некоторые стихи Федорова, а Загоскин тогда же вослед Федорову язвил моду на сладострастие и вакхические вкусы. Но все-таки в Москве недостаточно представляли, с кем Боратынский заодно. – Иначе ему не приписывали бы невероятные вещи. – Как то:

"В Петербурге прозвали Вяземского *неистовым Роландом*; а Баратынской написал на него два куплета прекрасные! В первом говорит, что есть у нас граф, который пишет неудачно; второй – почти так:

Хоть Граф и Князь не все есть то же;
Однако ж есть у нас и князь,
Который несколько моложе,
Но посидевши, потрудясь,
На Графа пишет он похоже!

Не помню стихов и изломал их; но содержание или смысл тот, только как-то сказано живее". (Это Михайло Дмитриев рассказывает весной 824-го года последние литературные новости Михайле Загоскину.)

Граф – это Хвостов; но, чтобы сравнивать Вяземского с Хвостовым, – надо быть, конечно, Михайлом Дмитриевым. Мы полагаем, что это сущая клевета, и если Боратынский и сочинил некие куплеты, услышанные в Москве, то уж, верно, не про Хвостова и Вяземского, а про Хвостова и еще раз про Шаликова, который, на беду, тоже был князь.

* * *

С 825-го года в Москве начал выходить новый журнал – "Московский телеграф". Его издателя – Николая Полевого, человека с виду весьма дельного, из купцов, и бойкого на язык (особенно на письме), – Боратынский видел только раз, наверное, летом 824-го года ("он мне показался энтузиастом вроде Кюхельбекера. Ежели он бредит, то бредит от

*Но кто ж Шаликова не задевал?

доброй души, и по крайней мере добросовестен"). Вяземский сильно надеялся на журнал Полевого и в этой надежде нашел, безусловно, согласие с Боратынским (тот, еще год назад узнав в Гельзингфорсе о выходе первых номеров "Телеграфа", писал к Козлову: "Гречи, Булгарины, Каченовские образуют триумвират, который правит Парнасом... надо бы поддержать журнал Полевого... Поговорите о том с нашими, я в самом деле все это принимаю близко к сердцу").

Кроме того, в Москве были такие сочинители, для кого уже Боратынский оказывался старшим во всех отношениях. Вот университетский Погодин (Вяземский говорит, что, по-видимому, *хороших правил*) выпустил альманах "Уранию". Сам Боратынский дал туда два стихотворения. Но в основном в "Урании" молодые московские: Шевырев, Ознобишин, Веневитинов, Тютчев. Он пока ни с кем из них не знаком, но наслышан, что *московская молодежъ помешана на трансцендентальной философии*.

"Уранию" он послал Пушкину в Михайловское. Московская молодежь тронула в нем то, что доселе робело оформиться в формулу поэтического дела: *Нам нужна философия*.

Философия нужна нам, потому что философия и поэзия вышли из одной первобытной стихии души: видеть за вещным бытом вечное бытие. И никакая философия не наука, ибо бывают ли науки, имеющие в своем основании чистую гипотезу ума? — неважно, что именно утверждает гипотеза: первосуществование духа или плоти, — она, в сущности, есть только поэтическая метафора. Мы не знаем, откуда мы пришли и куда уйдем, а все тщимся устанавливать законы бытию. Дело философа, дело поэта — не проповедь, предписывающая верить в дух, в плоть или в вещь, а облечение тайн вечного бытия — в мыслящее слово, выраженное гармоническим звуком.

И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.

Словом, парят поэты над землей... Но узки грани и жизни, и поэтического мира; но нет вечного согласья, вечного блаженства. Это лишь мгновеньями в самом себе блажен поэт. А после... Куда устремляется его крылатый вздох?

Мир я вижу как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу...

Через двенадцать лет один из нынешней, 826-го года, московской молодежи — Николай Мельгунов — выведет ту формулу поэзии Боратынского, которую впоследствии станут повторять многие и многие. "Баратынский, — скажет Мельгунов, — по преимуществу поэт элегический, но в своем втором периоде возвел *личную* грусть до *общего*, философского значения, сделался элегическим поэтом современного человечества. "Последний поэт", "Осень" и пр. это очевидно доказывают". Очень лаконически и умно скажет Мельгунов, и мы с удовольствием вторили бы ему. Но за окном — февраль 826-го года. Метель. Боратын-

ский с тревогой ждет решения о своей отставке, с нетерпением – выхода "Эды" и "Пиров", учится пить чай по-московски – из стаканов, читает с Вяземским "Разные стихотворения" Пушкина, вышедшие месяц назад из печати, немножко выезжает в московский свет, уже не особенно прислушивается к колокольчикам проезжающих мимо его дома, вспоминает Гельзингфорс, но уже глуше и глуше. Новые обстоятельства в ближайшие недели должны вторгнуться в его московскую жизнь.

* * *

Еще 30-го октября 825-го года, пока Боратынский болел в Москве, в Петербурге Дельвиг женился на Сониньке Салтыковой.

"Я сердечно рад, что хоть кто-нибудь из наших нашел исполнение сердечных надежд своих", – писал Боратынский полтора года назад только что тогда женившемуся Коншину. Дельвиг стал вторым его женатым другом. Женат Давыдов. Вяземский – уже многоопытный муж и плохо помнит себя холостым – он женился 19-ти лет, еще до войны. Вид чужой семейной идиллии всегда обольстителен, и тем более тому, кто пресытил свое воображение переживанием страстей и кому крайне нужна тихая пристань.

По-прежнему остался в душе Гельзингфорс, и сердце по-прежнему бьется сильнее при воспоминании, и всегда, видимо, будет биться ("И надо мной свои права вы не утратили с годами", – через сколько лет он скажет Магдалине?).

Неженатый человек, выброшенный круговращением страстей в такую глушь, как Москва, "подобен больному, который, желая навестить прекрасный отдаленный край, знает лучшую к нему дорогу, но не может подняться с постели". В сущности, ему необходимейше было встретить ту, чей образ мог бы застлать все предстоящие его внутреннему взору, и особенно – последний, застывший в душе лик.

Поверьте, она не замедлит явиться. Едва начнет таять снег. Это будет старшая дочка полковника в отставке Льва Николаевича Энгельгардта. Мы не успеем сейчас с ней познакомиться: идет февраль 826-го года, сюжет истинной повести приближается к последнему своему рубежу – 19-го февраля исполнится 10 лет со дня катастрофы, – дальше надо менять жанр и название, как-нибудь так: "*Домашняя жизнь и литературные мнения Евгения Боратынского, поэта*". Истинная повесть не может съежиться до размеров домашнего очага и не в состоянии распылиться на десятки писателей и сотни книг, столь распространившихся у нас в 30-е годы. Да и Настасья Львовна Боратынская (в девичестве Энгельгардт) – это героиня только *жизни и мнений*, ибо устойчивость ее образа в душе Боратынского не может быть сравнима с отражениями ни одной из тех, кого он любил.

* * *

Итак, на дворе февраль 826-го.

Снег.

Боратынский ждет решения об отставке.

1-го февраля известий нет.

2-го нет.

3-го – тело Александра увозят из Москвы в Петербург; известий нет.

Медленно идет время. Москва, несмотря ни на Вяземского, ни на Давыдова, одуряюще мертва для бытия. Дельвиг прав. С отставкой неясно и тревожно. И не лучше ли сейчас быть в Финляндии? Скоро весна, ветер будет теплеть с каждым днем, сойдет снег, хлынут ручьи, защебечут птицы, рассеются облака, на бледно-голубом финском небе вспыхнет солнце. Родные звуки: Кюмень, Роченсальм, Гельзингфорс... Кашель Лутковского за стеной. "Евгений! Идите пить чай". Смех Анеты. Звяканье ложек. – Идиллия. Тоска... Тоска...

* * *

В Москве, вероятно, всегда стоит зима.

4-е февраля, 5-е, 6-е, 7-е...

* * *

Около 10-го числа в Петербурге, наконец, были отпечатаны "Пиры" и "Эда". Еще, кажется, Смирдин и Слёнин не получили экземпляров для продажи, кажется, Боратынский не получал от Дельвига и Плетнева известия о книге, а Булгарин уже торопился отпраздновать в "Северной пчеле" встречу, достойную новой книги:

"Эда. Финляндская повесть, и Пиры, описательная Поэма, соч. Евгения Баратынского. СПб. 1826. Продается в книжных магазинах И.В.Сленина и А.Ф.Смирдина по 5 рублей, с пересылкою по 6 рублей.

Пиры – приятная литературная игрушка, в которой Автор иронически прославляет гастрономию и приглашает любимцев Комуса наслаждаться невинными удовольствиями жизни. Острот и хороших стихов множество... Описание Москвы, в гастрономическом отношении, также весьма забавно.

В повести *Эда* описания зимы, весны, гор и лесов Финляндии прекрасны. Но в целом повествовании нет той пиитической, возвышенной, пленительной простоты, которой мы удивляемся в "Кавказском пленнике", "Цыганах" и "Бахчисарайском фонтане" А.С.Пушкина. Окончательный смысл большей части стихов переносится в другую строку; от этого рассказ делается прозаическим и вялым. Чувство любви представлено также не в возвышенном виде, и предмет Поэмы вовсе не Пиитический. Гусар обманул несчастную девушку, и она умерла с отчаяния, без всяких особенных приключений. Нет ни одной сцены занимательной, ни одного положения поразительного. Даже в Прозе Повесть сия не увлекла бы читателя заманчивостию, а нам кажется, что Поэзия должна избирать предметы возвышенные, выходящие из обыкновенного круга повседневных приключений и случаев; иначе она превратится в *рифмоплетство*. Неужели Природа, История и человечество не имеют предметов возвышенных для воспаления юных талантов? Скудость предмета имела действие и на образе изложения: стихи, язык – в этой Поэме не отличные".

* * *

Такие отзывы и от таких людей лестны вдвойне: они возвышают нас в собственных глазах, и мы с тайным наслаждением понимаем, что не зря живем.

Числа 14—15-го февраля Боратынский получил то, что ждал: приказ об отставке был подписан всемилостивейшей рукой 31-м числом генваря.

* * *

По Указу Его Величества Государя Императора Николая Павловича Самодержца Всероссийского и прочая, и прочая, и прочая. Предъявитель сего, Прапорщик Евгений Абрамов сын Баратынский... сего 1826-го года Генваря в 31 день по Высочайшему Его Императорского Величества Приказу, уволен от службы за болезнию. — В свидетельство чего, по Высочайше предоставленному мне полномочию, сей Указ дан Прапорщику Баратынскому за моим подписанием и с приложением герба моего печати, в г. Санктпетербурге.

1826 года. Февраля 9-го дня.

Его Императорского Величества Всемилостивейшего Государя моего Генерал-Лейтенант, Генерал-Адъютант, Финляндский Генерал-Губернатор, Командир Отдельного Финляндского Корпуса...

Закревский.

* * *

На радостях не утаим и последней проказы его досемейной жизни.

В Москве, на Собачьей площадке, жил Соболевский. Он учился в свое время в Петербургском университетском пансионе вместе с Левушкой Пушкиным; хаживал в мезонин к Кюхельбекеру; там сошелся приятельски с Дельвигом, с Боратынским, с Пушкиным. Тогда ему было 16 лет, Боратынскому — 19. Разница в нравах была еще большей. Но Соболевский, легкий и от природы нецеремонный, в дружеском обществе был незаменим. Он никогда не был поэтом, а эпиграммы его гуляли под чужими именами по обеим столицам.

В эту зиму в Москве он снова сошелся с Боратынским, и они оживили петроградские пиры своей юности, прощаясь с нею. Такие встречи старинных приятелей обычно оставляют по себе следы только в обоюдообращающейся памяти двоих, ибо воспоминания о былом, стихи, читанные друг другу, разговоры о тех, кого нет или кто бедствует далече, анекдоты последних лет, невольная откровенность разгоряченного языка, выбалтывающего иногда такое, что и другу не следовало бы знать, смех до колик — все это так и остается там, в том времени и месте, где совершалось и куда память переносит нас впоследствии. От таких встреч если и остается что на бумаге — лишь незначущие безделки, имеющие смысл не своим прямым предметом, которому посвящены, а тем состояньем, в котором находится душа, пирующая с другом. Для того и не отказываем себе в удовольствии выписать ту единственную безделку, что осталась от встреч Боратынского с Соболевским в ту зиму.

*БЫЛЬ**

Встарь жил-был петух Индейский**
Цапле руку предложил***,
При Дворе взял чин лакейский****
И в супружество вступил.

Он детей молил, как дара, —
И услышал бог богов:
Родилася цаплей пара,
Не родилось путехов*****

Цапли выросли, отстали
От младенческих годов,
Длинны, очень длинны стали
И глядят на куликов.

Вот пришла отцу забота
Цаплей замуж выдавать;
Он за каждой два болота
Мог в приданое отдать.

Кулики к нему летали
Из соседних, дальних мест;
Но лишь корм они клевали —
Не глядели на невест.

Цапли вяли, цапли сохли,
Наконец, скажу вздохнув,
На болоте передохли,
Носик в перья завернув.

Куплеты оказались пророческими: ни Екатерина, ни Ольга Сонцовы замуж так и не вышли.

* * *

Бьет в окно снег, постукивая ставнями. Февраль. Метель. Ночь. Мысли прыгают. Чтобы заснуть, надо вообразить что-то утешительное: небо, солнце, степь... Бьют часы... Чьи это строки — Державина? кого-то из московской молодежи? — "Часов однообразный бой, металла голос погребальный..." Снег кружится, смертью заволакивая жизнь... Однажды у Дмитриева кто-то из стариков рассказывал, как, узжая из Петербурга, он зашел на кла́дбище Невской Лавры: "Иду между камнями, читаю надписи, что же? Нахожу всех своих знакомых, с тем я то-то делал, с тем тогда-то жил вместе.... Отправляюсь домой на другую сторону Петербурга, и что же? Я не встретил ни одного знакомого лица, — а между тем мне нет еще 50 лет!" Под снегом старый Жьячинто, под снегом далекий и неизвестный Аврам Андреевич, под снегом своенравная София... Сне-

---

* Этому точное стихотворение написано с Москве, в 1825-м году и распущено под именем Пушкина. (*Это и следующие примечания принадлежат Соболевскому.*)

** Матвей Михайлович Сонцов.

*** Елизавета Львовна Сонцова, урожденная Пушкина, родная тетка поэта.

**** М.М.Сонцов был камергер. Человек он был милый и любезный, но очень чванливый; он надевал придворный мундир даже в деревне по праздникам.

***** У Сонцовых не было сыновей, а были только две дочери.

гом засыпан Гельзингфорс, снегом скрыт залив. Спите, Бог не спит за вас... С точки зрения Бога, смерть, верно, – светозарная краса, и в руке ее олива мира... Сон медленно и тягуче смешивает мысли... С миром, не с тревогой, бьет снег в ставни. Мир несет на землю холодное небо, спустившееся метелью на московские улицы: как бы прах поколений, шурша, воя, стуча ставнями, мчится, взывая слиться с ним каждого... В такие ночи кажется, что путь пройден, новых земель нет впереди: челн уткнулся в прибрежный песок того берега Леты.

"Во-он ваш гроб", – указывает перевозчик рукой на роченсальмский маяк, высящийся одиноко над плоским берегом. Странно... Вы ощупываете себя. Тело живо и не умерло: двигаются руки, видят глаза, остро осязаема близкая свежесть моря, слышен шум волн, и явны порывы бодрого ветра. Что ж? Значит, загробная жизнь нам дана не в небесной бесплотности, а *там, в очарованной тени?* Где ж врата Айдеса? Все это сон? и поэтому, видимо, тяжесть души не выдерживается спящим телом, а каждый шаг в сторону маяка – словно по глубокому песку: нога плывет вглубь, вбок, дышать трудно, словно выпит яд... Хорошо, что Аид невелик... Вот и гроб-маяк... Он стоит на вершине утеса. И от него открывается страшный в своей дикой красоте очерк мира: море, небо, даль – то, что не было видно с той стороны, где причалил челн... Боже! Вот где, оказывается, скрыта тайна гармонии и свободы! Вот где сопряжены стены роченсальмских утесов и дно марского оврага, а запредельное с земным, где двоенедоверие – и к жизни и к смерти – соединены в единый стройный звук...

Но вечный искус тяготеет над человеком от начала бытия, и в смерти не будет ему мира, если, найдя эту точку свою, эту свою бездну и вершину, где наконец разрешены все его цепи, он не может остаться там, – душу его влечет дальше, он уходит – с легкостью, отбросивший тоску и сомнения, чтобы, скитаясь, принять новое уныние и снова потерять смысл. Неудивительно – чем далее он удаляется, тем более смещаются пропорции, и вот снова бытие и небытие разошлись во времени и пространстве, пир кончен, душа смущена. Там, там, на пустынном берегу, у маяка, на узкой грани неба и тверди, остался наш взгляд, вобравший на миг красоту и бескрайнюю волю мира, там остался след пяты, поправшей на мгновение прах от следов тех, кто ступал на эту землю прежде и после нас... Но, и предчувствуя утрату, нельзя не ступить дальше, ибо обретение любой истины всегда кажется обманчивым суетному уму.

Туда!

И вот палуба качается под ногами, и пироскаф, бухая колесами, уносится далее и далее от берега. Это месье Борье, старый Жьячинто, возвращается умирать в родную землю... Дует свежий теплый ветер. Летят брызги, сверкая на солнце. Пар вылетает клочьями в синее, глубокое, безоблачное небо.

– Сеньор видит землю?

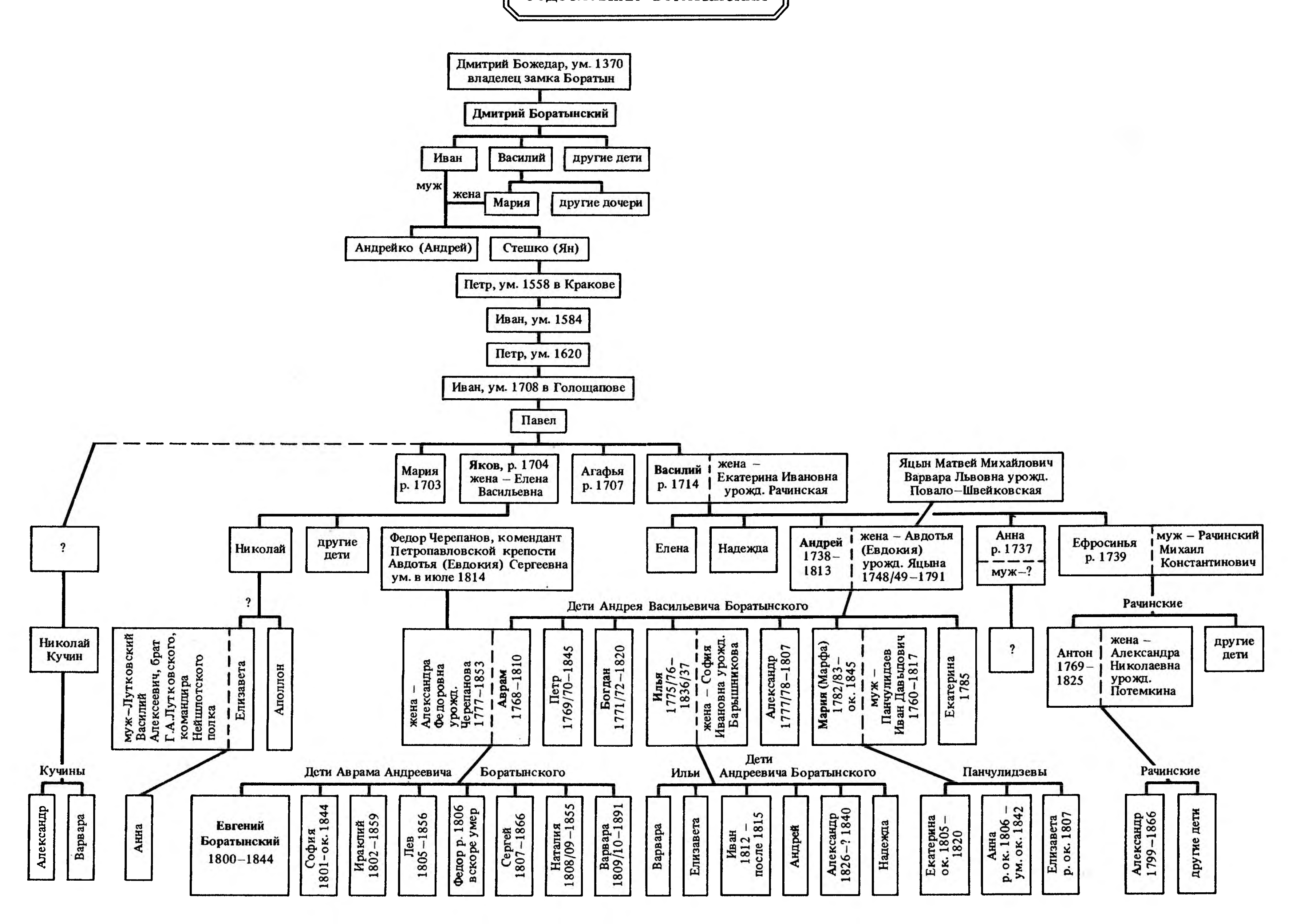
– О! Да! Сеньор видит землю.

– Это Италия. Отечество Данта, Петрарки, Тасса.

– Dahin! dahin!

* * *

Пусть плывет.



РОДОСЛОВНАЯ БОРАТЫНСКИХ
Дмитрий Божедар, ум. 1370 владелец замка Боратын
Дмитрий Боратынский
Иван
Василий
другие дети
муж
жена
Мария
другие дочери
Андрейко (Андрей)
Стешко (Ян)
Петр, ум. 1558 в Кракове
Иван, ум. 1584
Петр, ум. 1620
Иван, ум. 1708 в Голощапове
Павел
Мария р. 1703
Яков, р. 1704 жена – Елена Васильевна
Агафья р. 1707
Василий р. 1714
жена – Екатерина Ивановна урожд. Рачинская
Яцын Матвей Михайлович Варвара Львовна урожд. Повало–Швейковская
?
Николай
другие дети
Федор Черепанов, комендант Петропавловской крепости Авдотья (Евдокия) Сергеевна ум. в июле 1814
Елена
Надежда
Андрей 1738–1813
жена – Авдотья (Евдокия) урожд. Яцына 1748/49–1791
Анна р. 1737
муж–?
Ефросинья р. 1739
муж – Рачинский Михаил Константинович
?
Николай Кучин
муж–Лутковский Василий Алексеевич, брат Г.А.Лутковского, командира Нейшлотского полка
Елизавета
Аполлон
Дети Андрея Васильевича Боратынского
жена – Александра Федоровна урожд. Черепанова 1777–1853
Аврам 1768–1810
Петр 1769/70–1845
Богдан 1771/72–1820
Илья 1775/76–1836/37
жена – София Ивановна урожд. Барышникова
Александр 1777/78–1807
Мария (Марфа) 1782/83–ок. 1845
муж – Панчулидзев Иван Давыдович 1760–1817
Екатерина 1785
?
Рачинские
Антон 1769–1825
жена – Александра Николаевна урожд. Потемкина
другие дети
Кучины
Александр
Варвара
Анна
Дети Аврама Андреевича Боратынского
Евгений Боратынский 1800–1844
София 1801–ок. 1844
Ираклий 1802–1859
Лев 1805–1856
Федор р. 1806 вскоре умер
Сергей 1807–1866
Наталия 1808/09–1855
Варвара 1809/10–1891
Дети Ильи Андреевича Боратынского
Варвара
Елизавета
Иван 1812 – после 1815
Андрей
Александр 1826–? 1840
Надежда
Панчулидзевы
Екатерина ок. 1805–1820
Анна р. ок. 1806 – ум. ок. 1842
Елизавета р. ок. 1807
Рачинские
Александр 1799–1866
другие дети

ПРИМЕЧАНИЯ

Повесть печатается по нормам современной орфографии и пунктуации, кроме случаев, когда необходимо передать особенности языка эпохи. Даты даны по старому стилю. Цитаты выделены кавычками, курсивом или отграничены от прочего текста звездочками. Пропуски в цитатах отмечены многоточиями. — Фамилия поэта пишется с разночтениями. В письмах он сам и его родственники обычно ставили в 1-м слоге *о* (реже *а*), в последнем — *i*: Боратынскiй. В произведениях, опубликованных им в журналах и альманахах с полной подписью (кроме первых публикаций и последнего сборника "Сумерки"), в 1-м слоге *а*. В официальных бумагах Пажеского корпуса, л.-гв. Егерского полка, Отдельного Финляндского корпуса его также именовали и он подписывался: Баратынскiй. Иногда иначе выглядели и другие слоги: Баратынской, Боротынскiй. В цитатах сохранены формы фамилии, имеющиеся в источниках, в речи повествователя — 1-й вариант с вынужденной современным алфавитом заменой *i* на *и*. Прочие разночтения в правописании имен, названий, дат, отдельных слов допущены также сознательно. — Эпистолярий Боратынского наиболее широко представлен в издании Б-1987 (см. Список сокращений 2) — 194 текста. Приводя письма, помещенные там, мы указывали в примечаниях и источник первой *полной* публикации и порядковый № письма в Б-1987. — Иногда при цитировании писем дата перенесена из конца письма в начало — тогда в примечаниях ставится знак *д.п.* (дата перенесена). При использовании высказываний А.С.Пушкина, его писем и писем к нему в примечаниях указаны только название цитируемого произведения, адресат и дата письма — без ссылок на тома собраний сочинений или переписки Пушкина. Источники цитат из писем приведены сокращенно, например: **Б. к АФБ 23.2.1812,пф** (т.е.: из письма Е.А.Боратынского к А.Ф.Боратынской от 23 февраля 1812 года, перевод с французского). Расшифровку условных знаков см. в Списке сокращений. — Время истинной повести расчислено по календарю, сюжет согласован (по мере возможностей) с исторической истиной, а полностью вымышлены четыре новеллы, две оды, все сны и мечтания. Сочинитель старался строить свое повествование так, чтобы читатель без затруднений отличал факт от вымысла. — Комментируются только цитаты, забытые и неизвестные факты, некоторые слова, ныне не употребляемые. — Сочинитель признателен всем, кто помог ему ободрением и советом, а прежде всего В.Э.Вацуро, Т.В.Громовой, А.В.Дубровскому, А.Л.Зорину, А.А.Ильину-Томичу, Л.С.Мелиховой, А.Э.Мильчину, А.С.Немзеру, Е.Л.Новицкой, А.Л.Осповату, О.А.Проскурину, В.А.Расстригину, Л.Г.Фризману, Г.Хетсо, В.Г.Шпильчину. Отдельная благодарность — В.А.Мильчиной, способствовавшей переводу французских текстов, и Е.Э.Ляминой, автору перевода писем С.А.Боратынской (с. 209—218). Впрочем, заметим, в оправдание возможным неудовольствиям, что окончательная редактура всех переводных иноязычных фрагментов выполнена сочинителем. Все письма и отрывки из писем Боратынского на французском языке, представленные здесь, переведены заново.

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

1

АФБ — А.Ф.Боратынская
а/т — абзацы заменены тире
Б. — Е.А.Боратынский
б.п. — без подписи
бат. — батальон
ВОЛРС — Вольное общество любителей российской словесности
ВОЛСНХ — Вольное общество любителей словесности, наук и художеств
вт. пол. — вторая половина
д.п. — дата перенесена
д.р. — другие редакции
м.б. — может быть
н.д. — неверная датировка
о.д. — обоснование датировки
Пб. — Петербург
перв. пол. — первая половина
пех. — пехотный
пф — перевод с французского
р. — родился, родилась
С.Д.П. — С.Д.Пономарева
с.д. — сомнительная датировка
Св. — Связка (рукописей)
сер. — середина
стих. — стихотворение
у. — уезд
ф.с. — формулярный список
ц.р. — цензурное разрешение

2

А. – Собр. писем Абрама Андреевича и Александры Федоровны Боратынских (1785–1818 гг.) // ЦГАЛИ. Ф. 51. Оп. 1. № 270.
Амбус – Амбус А.А. Е.А.Боратынский в Финляндии // Русская филология. Тарту, 1963. Вып. 1.
Б1 – ЦГАЛИ. Ф. 51 (Боратынские). Оп. 1.
Б2 – ЦГАЛИ. Ф. 51 (Боратынские). Оп. 2.
Б3 – ЦГАЛИ. Ф. 51 (Боратынские). Оп. 3.
Б-1827 – Стихотворения Евгения Баратынского. М., 1827.
Б-1835 – Стихотворения Евгения Баратынского: В 2 ч. М., 1835.
Б-1869 – Сочинения Евгения Абрамовича Баратынского / Подг. Л.Е.Боратынский. М., 1869.
Б-1884 – Сочинения Евгения Абрамовича Баратынского / Подг. Н.Е.Боратынский. Казань, 1884.
Б-1914; Б-1915 – Полн. собр. соч. Е.А.Боратынского: В 2 т. / Подг. М.Л.Гофман. Пб., 1914. Т. 1; Пг., 1915. Т. 2.
Б-1936. Т. 1; Б-1936. Т. 2 – Баратынский Е.А. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. / Подг. Е.Н.Купреянова и И.Н.Медведева. М.; Л., 1936.
Б-1951 – Боратынский Е.А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма / Подг. О.В.Муратова и К.В.Пигарев. М., 1951.
Б-1982 – Баратынский Е.А. Стихотворения. Поэмы / Подг. Л.Г.Фризман. М., 1982.
Б-1983 – Баратынский Е.А. Стихотворения. Проза. Письма / Подг. В.А.Расстригин и А.Е.Тархов. М., 1983.
Б-1987 – Баратынский Е.А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников / Подг. С.Г.Бочаров и Л.В.Дерюгина. М., 1987.
Баз. – Базанов В.Г. Ученая республика. М.; Л., 1964.
Батюшков – Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе / Подг. В.С.Семенко. М., 1977.
БдЧ – Библиотека для чтения.
Благ. – Благонамеренный.
Бор. – Боратынский М.А. Род дворян Боратынских. М., 1910.
Вацуро. Из лит. отн. – Вацуро В.Э. Из литературных отношений Баратынского // Русская литература. 1988. № 3.
Вацуро. МЧ – Вацуро В.Э. Мнимое четверостишие Баратынского // Русская литература. 1975. № 4.
Вацуро. СДП – Вацуро В.Э. С.Д.П. Из истории литературного быта пушкинской поры. М., 1989.
Вацуро. Списки – Вацуро В.Э. Списки послания Е.А.Баратынского "Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры" // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 г. Л., 1974.
Вацуро. СЦ – Вацуро В.Э. "Северные цветы". История альманаха Дельвига – Пушкина. М., 1978.
ВЕ – Вестник Европы.
Вигель – Вигель Ф. Ф. Записки: В 7 т. М., 1891–1892.
Вып. – Выписка из бумаг дяди Александра // Русский альманах на 1832 и 1833 гг. Пб., 1832.
Вяземский. Зап. кн. – Вяземский П.А. Записные книжки (1813–1848) / Подг. В.С.Нечаева. М., 1963.
Вяземский. ЭиК – Вяземский П.А. Эстетика и критика / Подг. Л.В.Дерюгина. М., 1984.
Гаевский – Гаевский В.П. Дельвиг. Статья вторая // Современник. 1853. Т. 39. № 5 – 6. Отд. 3.
Гангеблов – Воспоминания декабриста А.С.Гангеблова. М., 1888.
Гофман – Гофман М.Л. Е.А.Боратынский. Биографический очерк // Полн. собр. соч. Е.А.Боратынского: В 2 т. Пб., 1914. Т.1.
ГПБ – Отдел рукописей Гос. Публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Грен. – Судравский В.К. История л.-гв. Гренадерского полка. Пб., 1906. Т. 1.
Грибоедов – А.С.Грибоедов в воспоминаниях современников/ Подг. С.А.Фомичев. Коммент. П.С.Краснова и С.А.Фомичева. М., 1980.
Дараган – Дараган П.М. Воспоминания... // Русская старина. 1875. Т. 12. № 4.
Дек. – Декабристы: Биографический справочник / Подг. С.В.Мироненко. М., 1988.
Дек. Избр. – Декабристы. Избр. соч.: В 2 т. / Подг. А.С.Немзер и О.А.Проскурин. М., 1987.
Дельвиг – Дельвиг А.А. Соч. / Подг. В.Э.Вацуро. Л., 1986.
Дельвиг А.И. Мои воспоминания: В 4 т. М., 1912. Т. 1.
Дирин – Дирин П.Н. История л.-гв. Семеновского полка: В 2 т. Пб., 1883.

Дм. —Дмитриев И.И. Соч. М., 1986.
Дмитриев М.А. — Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869.
Егер. — История л.-гв. Егерского полка за сто лет. Пб., 1896.
Жуковский — Жуковский В.А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1960. Т. 4 / Подг. И.Д.Гликман.
Закревский. Дн. 1 — А.С. Уголок архива графа Закревского // Журнал Имп. русского военно-исторического общества. 1910. Кн. 1. Отд. 3.
Закревский. Дн. 2 — Дневник 1815—1816 гг. ... А.А.Закревского // Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П.И.Щукина: В 10 т. М., 1902. Т. 10.
Закревский. Дн. 3 — Ежедневный журнал А.А.Закревского с 1-го по 31-е мая 1824 года // Там же.
Зап. — Записочки Павла Петровича к Абраму Андреевичу Баратынскому // Русский архив. 1870. Т. 8. С. 1438—1441.
ИАН — Известия Имп. Академии наук.
ИВ — Исторический вестник.
ИД — ЦГВИА. Ф. 395 (Инспекторский департамент).
ИРЛИ — Рукописный отдел Пушкинского Дома (Институт русской литературы).
Карамзин — Карамзин Н.М. Избр. соч.: В 2 т. / Подг. Г.П.Макогоненко. М.; Л., 1964. Т. 2.
Керн — Керн А.П. Воспоминания. Дневники. Переписка / Подг. А.М.Гордин. М., 1974.
Киреевский — Киреевский И.В. Е.А.Баратынский // Библиотека для воспитания. 1845. Ч. 3.
Кичеев — Кичеев П.Г. Еще несколько слов о Е.А.Баратынском // Русский архив. 1868. Вып. 4 — 5.
Коншин — Коншин Н.М. А.А.Дельвиг // Русская старина. 1897. Т. 89. № 2. С. 278 (заглавие в рукописи: Воспоминание о Дельвиге // ГПБ. Ф. 369. Оп. 1. №2).
Коншин. Восп. — Коншин Н.М. Воспоминания о Боратынском, или Четыре года моей финляндской службы с 1819 по 1823 / Подг. П.Я.Бейсов // Краеведческие записки Ульяновского обл. краеведческого музея. Ульяновск, 1958. Вып. 2.
Коншин. Для немногих — Коншин Н.М. Для немногих. Фрагменты // Б-1987. С. 334.
Ланская — Собр. писем Елизаветы Ивановны Ланской к А.Ф.Боратынской (1800-е гг.). ЦГАЛИ. Ф. 51. Оп. 1. № 179.
Левшин — Левшин Д.М. Пажеский е.и.в. корпус за сто лет: В 2 т. Пб., 1902.
ЛЛ — Литературные листки.
ЛН — Литературное наследство.
ЛПРИ — Литературные прибавления к "Русскому инвалиду".
Лутковская — Альбом А.В.Лутковской. ИРЛИ. № 73. I. м. (Ф. 103. № 73).
МВ — Московские ведомости.
Максимов — Максимов Н.Я. Е.А.Баратынский по бумагам Пажеского е.и.в. корпуса // Русская старина. 1870. Т. 2. № 8.
Маркевич — Маркевич Н.А. Из воспоминаний // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников / Подг. Р.В.Иезуитова, Я.Л.Левкович, И.Б.Мушина. М., 1980. Т. 2.
Мат. — Е.А.Боратынский. Материалы к его биографии. Из Татевского архива Рачинских / Подг. Ю.Н.Верховский. Пг., 1916.
Медведева — Медведева И.Н. Павел Лукьянович Яковлев и его альбом // Звенья. М.; Л., 1936. Т. 6.
Мем. — Мемуары декабристов: Северное общество / Подг. В.А.Федоров. М., 1981.
Модзалевский — Модзалевский Б.Л. Пушкин. Л., 1929.
Мордвиновы — Собр. писем Елизаветы Михайловны и Екатерины Михайловны Мордвиновых к А.Ф.Боратынской (1798—1802 гг.). ЦГАЛИ. Ф. 51. Оп. 1. № 180.
Мос. некр. — Саитов В.И., Модзалевский Б.Л. Московский некрополь. Пб., 1907. Т. 1. С. 125—126.
МТ — Московский телеграф.
Мураново — Научный архив Музея-усадьбы Ф.И.Тютчева Мураново.
Муханов — Дневники и письма Александра Алексеевича Муханова // Щукинский сборник. М., 1904. Т. 3.
НА — Невский альманах.
НЗ — Невский зритель.
НЛ — Новости литературы.
ОА — Остафьевский архив: В 5 т. / Подг. В.И.Саитов. Пб., 1899. Т. 1; Пб., 1901. Т. 2; Пб., 1901. Т. 3; Пб., 1908. Т. 3' (Примеч.).
ОМС — Общий морской список: В 13 ч. Пб., 1890. Ч. 3. С. 114—117.

Опыт — Опыт краткой летописи жизни и творчества Е.А.Боратынского (см. с. 352).
ОФК — Материалы по квартированию войск Отдельного Финляндского корпуса. ЦГВИА. Ф. 37. Оп. 1/191.
П1 — ЦГАЛИ. Ф. 394 (Путята). Оп. 1.
Пам. дек. — Памяти декабристов. Л., 1926. Т. 1.
Панаев — Воспоминания В.И.Панаева // Вестник Европы. 1867. Т. 3. № 9.
Пб. некр. — Саитов В.И. Петербургский некрополь. Пб., 1912. Т. 1—3. Пб., 1913. Т. 4.
Пешков — Пешков В.П. "Моя начальная любовь..." Е.А.Боратынский в Маре. Воронеж, 1974.
ПЗ — Полярная звезда. Альманах А.А.Бестужева и К.Ф.Рылеева.
ПК — ЦГВИА. Ф. 318. Оп. 1 (Пажеский корпус).
Погодин — Цявловский М.А. Пушкин по документам погодинского архива. Дневники М.П.Погодина // Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Пг., 1914. Вып. XIX-XX.
Полевой — Полевой К.А. Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого / Подг. В.Н.Орлов // Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики. Л., 1934.
Полетика — Полетика М.И. Мои воспоминания / Подг. П.И.Бартенев // Русский архив. 1885. Т. 3. № 11.
Поэты — Поэты 1820—1830-х годов: В 2 т. Л., 1972. Т 1 / Подг. В.Э.Вацуро. Общ. ред. Л.Я.Гинзбург.
Путята. Восп. — Путята Н.В. <Воспоминания о Боратынском>. ЦГАЛИ. Ф. 394. Оп. 1. № 41.
Путята. Прим. — Путята Н.В. <Примечания к письмам Боратынского> // Русский архив. 1867. Вып. 2.
Пушкин в восп. — А.С.Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Подг. В.Э.Вацуро, М.И.Гиллельсон, Р.В.Иезуитова, Я.Л.Левкович. М., 1974.
Р1 — ЦГАЛИ. Ф. 427 (Рачинские). Оп 1.
РА — Русский архив.
РИ — Русский инвалид.
Розен — Розен А.Е. Записки декабриста / Подг. Г.А.Невелев. Иркутск, 1984.
РС — Русская старина.
Рылеев — Рылеев К.Ф. Полн. собр. соч. / Подг. А.Г.Цейтлин. Л., 1934.
Сб. РИО — Сборник Русского Исторического общества. Пб., 1878. Т. 23; Пб., 1890. Т. 73.
Сб. Щ. — Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П.И.Щукина. М., 1902. Т. 10.
Свербеев — Записки Дмитрия Николаевича Свербеева: В 2 т. М., 1899. Т. 1.
СДП-1 — Альбом С.Д.Пономаревой. ЦГАЛИ. Ф. 1336. Оп. 1. № 45.
СДП-2 — Альбом С.Д.Пономаревой. ИРЛИ. № 9668.
СиН — Старина и новизна. Пб., 1902. Кн. 5; Пб., 1906. Кн. 11.
Сл. — Славянин.
СО — Сын отечества. СО и СА — Сын отечества и Северный архив.
Сор. — Соревнователь просвещения и благотворения.
СП — Северная пчела.
СПВ — Санктпетербургские ведомости.
Столыпин — Столыпин А.А. Воспоминания об Александре Васильевиче Суворове // Москвитянин. 1845. Ч. 3. № 5—6. Отд. "Наука".
Сухтелен — Из записной книжки графа П.П.Сухтелена // РА. 1876. Т. 1. № 3.
СЦ — Северные цветы.
ТС — Татевский сборник С.А.Рачинского. Пб., 1899.
Улан. — Александровский К.В. Очерк истории л.-гв. Уланского ее величества... полка. Пб., 1897.
Фигнер — Фигнер А.В. Воспоминания о графе А.А.Закревском // Исторический вестник. 1885. Т. 20. № 6.
Филиппович — Филиппович П.П. Жизнь и творчество Е.А. Боратынского. Киев, 1917.
Филиппович. Об ак. изд. — Филиппович П.П. Об академическом издании стихотворений Е.А.Боратынского // Журнал Министерства народного просвещения. 1915. № 3.
Хетсо — Хетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Oslo — Bergen — Tromsö, 1973.
ЦГАЛИ — Центральный гос. архив литературы и искусства.
ЦГВИА — Центральный гос. военно-исторический архив.
ЦГИА — Центральный гос. исторический архив.
ЦС — Царское село: Альманах на 1830 г./ Изд. Н.М.Коншин и Е.Ф.Розен. Пб., 1829.
Цявл. — Цявловский М.А. Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина. М., 1951.

Черепнин — Черепнин Н.П. Имп. Воспитательное общество благородных девиц: В 3 т. Пб., 1915. Т. 3.
Чичерин Б.Н. — Из моих воспоминаний // Русский архив. 1890. Кн. 1. № 4.
Шильдер — Шильдер Н.К. Император Павел Первый. Пб., 1901.
Шубин — Шубин В.Ф. Поэты пушкинского Петербурга. Л., 1985.
Шумигорский — Шумигорский Е.С. Екатерина Ивановна Нелидова. Пб., 1898.
Щ. сб. — Щукинский сборник: В 10 т. М., 1904. Т. 3; М., 1905. Т. 4; М., 1907. Т. 6; М., 1912. Т. 10.
ЭиП — Эда, финляндская повесть, и Пиры, описательная поэма, Евгения Баратынского. Пб., 1826.
Эпигр. — Эпиграммы и пародии на Е.А.Баратынского / Подг. В.Я.Брюсов // Русский архив. 1901. Кн. 1. № 2.
ЯА — Языковский архив. Пб., 1913. Вып. 1.
Яковлев — Альбом П.Л.Яковлева. ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 1. № 32.
CF — Cahier françois <Учебная тетрадь французских переводов Боратынского. Начата 22 марта 1812>. ЦГАЛИ. Ф. 51. Оп. 1. № 185.
Tendresse — Альбом Боратынских. ЦГАЛИ. Ф. 51. Оп. 2. № 5.

КОММЕНТАРИИ

С. 8. *A présent...* — Б. к АФБ, лето—осень 1814 // Хетсо. С. 574—575. *Пиесы* — здесь: стихотворения. С. 9. *Oserai-je...* — Б. к АФБ, лето—осень 1814 // Мат. С. 36; здесь н.д. — 1817—18. С. 10. *РОДОСЛОВНАЯ.* — См.: Бор.; Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сб. рус. дворянских фамилий. Пб., 1886. Т. 1. С. 156—163; Хетсо. С. 1—2. *Боратын* — ныне с. Боратынь Бродовского р-на Львовской обл. (Боратынский А.Л. И все-таки Боратынский! // Лит. газета. 1971. № 31. 28 июля. С. 6). *Петру Боратынскому...* — Бор. С. 7; пер. с лат. И.И.Ковалевой; *сей Петр... не был сыном Ивана-Яна.* — Хетсо. С. 2. С. 12. *Андрей... семь детей.* — О 8-м ребенке, Якове, см.: Пешков. С. 12. В домашней переписке и официальных бумагах Боратынских Яков не упомянут; м.б., это второе имя Александра, младшего из братьев (см. о нем с. 49—50) — он р. 21 окт. (Б1. № 165. Л. 1) и по святцам мог быть назван и Александром (22 окт.) и Яковом (23 окт.); кстати, Марию Андр. Боратынскую (Панчулидзеву) также именовали двояко: и Марией и Марфой. Год рожд. Якова — ок. 1782—83 (в цитируемом Пешковым ф.с. Андрея Вас. за 1794 указано, что ему 11 лет и он кадет Сухопутн. кадет. корпуса); год рожд. Александра по ф.с. Андрея Вас. за 1799 (Б1. № 128) — 1777—78; в Сухопутн. кадет. корпус Александр принят осенью 1791 (?); первое из упоминаний о нем в письмах Аврама отцу — 27.11.1791 (А., л. 111).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. С. 12. *От отставного поручика...* — Б1. № 124. Л. 1—1-об. Андрей Вас. вступил рядовым в полк Смоленской шляхты 6.4.1753; 10.8.1757 — поручик; с 30.9.1765 — в отставке; 10.4.1785 — титулярн. советник; 8.1.1788 — 8.1.1791 — заседатель Бельского уездн. суда (Б1. № 128); с 1797 по 1801 — дворянский предводитель в Бельском у. (Б1. № 128; 132); *...влюбился в... Яцыну.* — История женитьбы Андрея Вас. пересказана по Мат. (С. 132—133); С. 13. *...сына... именовали в память Авраамия Смоленского.* — Память Авраамия Смоленского — 21 авг. Точная дата рожд. Аврама неизвестна. Судя по сведениям о надгробии на кладб. Спасо-Андрониева монастыря, он р. 14 авг. 1767 (Мос. некр.); по ф.с. Андрея Вас. за 1799 год его рожд. тоже 1767 (Б1. № 128); но судя по ф.с. самого Аврама за 1798, он р. в 1770 (Б3. № 15); а по "объявлению" Андрея Вас. в Совет Сухопутн. шляхетн. корпуса в февр. 1773 о приеме в корпус Аврама (зачислен не был) — 27 авг. 1768 (Б1. № 124). На имеющуюся биографич. лит-ру в вопросе о датах жизни детей Андрея Вас. опираться трудно: в основном даты указаны без проверки. Формулярн. списки тоже противоречивы. Примерные годы жизни детей Андрея Вас. по его ф.с. за 1799 (Б1. № 128) см. в родословной росписи (с. 322—323). Для сравнения приводим данные из др. источников: *Петр* р. в 1768—69 (в его ф.с. за 1815 указано, что ему 46 лет, — Б1. № 361) или в 1770 (Мат. С. 30) — ум. 5.11.1845 (Мат. С. 30) или 17.11.1845 (по картотеке Б.Л.Модзалевского в ИРЛИ); *Богдан* р. 16.1.1769 (Мат. С. XXV, 29; Мос. некр.) или в 1770 (в его ф.с. за 1814 указано, что ему 44 года, — Б1. № 252) — ум. 23.4.1820 (Мат. С. XXV, 29; Мос. некр.); *Илья* р. в июле 1776 (Мат. С. 55) или в 1777 (в его ф.с. за 1814 указано, что ему 37 лет, — Б3. № 25) или в 1773—74 (в его ф.с. за 1815 указано, что ему 41 год, — Б1. № 369) или в 1770—71 (судя по данным Мос. некр.) — ум. 1.2.1836 (Мос. некр., с указанием, что "жил 65 лет"); *Александр* р. 21.10.1777—78, а если Александр и Яков — одно лицо, то он р. 21.10.1782—83 (см. первое примеч. к с. 12) — ум. в июне 1807 (см. примеч. к с. 50); *Мария* р. в 1781, ум. в 1844—45 (Мат. С. 47); *Екатерина* р. в 1783, ум. в 1844—45 (Мат. С. 29). См. также третье

примеч. к с. 66. *Спорное дело...* – с 1780 по 1789 (Б1. № 49). *...шум березовой рощи.* – Мат. С. 133. Ныне Подвойское – новоотстроенное село; на месте Голощапова – поле; в г. Белом память о Боратынских поддерживается стараниями краеведа В.Е.Летчиковой. *Абрам Андреев Боратынский...* – Здесь и далее сведения о его службе даны по его ф.с. за 1798 (Б3. № 15). С. 15. *22 апреля 1787...* – А., л. 9–9-об.; д.п. *Богдан и Илья... гардемаринами... островом Гогланд.* – А., л. 36; ОМС. *Выбрано в поход...* – А., л. 52. *Далее Фридрихсгама...* – Дм. С. 295.

1790. С. 16. *Он сказал... давно хотелось...* – Аврам и Петр родителям 3.4.1790 // А., л. 63-об. – 64. С. 16–17. *23-го июля. 4 августа...* – Аврам к Виктору Денисьевичу (неустановл. лицо), родителям и брату Петру // А., л. 73–73-об., 249–250-об.

1791. С. 20. *5-го апреля...* – "Надгробная надпись", сост. Андреем Вас. // Б1. № 152. *Итак, свершились...* – Аврам отцу 14.5.1791 // А., л. 89. *Этот будет у меня...* – Шильдер. С. 192. *Это были люди грубые...* – Вигель. Ч. 1. С. 90. С. 21. *Знай... от всеснедающего времени...* – Адская почта (изд. Ф.А.Эмин). 1769. Авг. *Посмотри, какая ты красавица...* – Из записок М.С.Мухановой... / РА, 1878. Кн. 1. № 3. С. 308. *Разве я искала в вас...* – Нелидова Павлу I, ок. 1800; пф // Осмнадцатый век, М., 1869. Кн. 3. С. 435.

1792. С. 22. *18-го марта... 19-го апреля... 10-го июня...* – А., л. 119, 121-об., 126-об. – 128.

1793. С. 23. *Дети мои...* – Шильдер. С. 249; пф. *Мой Александр женится...* – Екатерина II Ф. М.Гримму 14.8.1792; пф // Сб. РИО. Т. 23. С. 574.

1794. С. 23. *Г. подполковнику Боратынскому...* – Зап.

1795. С. 24. *Штаб-офицер об отпуске...* – Зап.; *...должен вам подтвердить...* – Зап.

1796. С. 25. *У меня только и есть...* – Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович. Пб., 1887. С. 444. С. 27. *Милостивый государь! Андрей Васильевич!..* – Приписка И.Черкасова (неустановл. лицо) к письму Аврама отцу 16.10.1796 // А., л. 178-об. *Я в счетной экспедиции...* – Аврам отцу 16.10.1796 // А., л. 177–178. С. 28. *Ждите, будет... толк!* – Слова Державина о Павле I // Державин Г.Р. Избр. проза. М., 1984. С. 184. *Благодарю вас...* – Шильдер. С. 291. *Что за офицеры!.. И как странно они говорят!* – Саблуков Н.А. Зап. // Цареубийство 11 марта 1801 года. Пб., 1908. *Петербург переодевался...* – Шильдер. С. 295. С. 29. *Образ нашей жизни...* – Комаровский Е.Ф. Зап. Пб., 1914. С. 53. *Не употреблять... Писать...* – РС. 1872. Т. 6. № 7. С. 98. *Свобода... Позволение.* – Массон К. Секретные зап. о России... М., 1918. Т. 1. С. 103. *Ноября 9-го...* – О награждениях Е.И.Нелидовой, ее брата и матери в нояб. 1796 – янв. 1797 см.: Шумигорский. С. 65. *14 ноября...* – А., л. 179–179-об., д.п.; Гофман. С. XVIII. С. 30. *Чин сей поручичий...* – Аврам отцу 4.12.1796 // А., л. 182. *Вяжля – село...* – Географич.-статистич. словарь Росс. имп. Пб., 1863. Т. 1. С. 585. *Декабря 18-го...* – ОМС.

1797. С. 30. *Ехать вам в Киев...* – Зап. Поездка состоялась в янв. 1797. С. 31. *Безбожные... французишки...* – Столыпин. С. 7. *Все вздрогнули...* – Вигель. Ч. 1. С. 91. *Прикажите... лошадей...* – См.: Столыпин. С. 15–16; *...в Шлиссельбург.* – Б1. № 157. (Подорожная 23.2.1797); *...в Смольном... выпуск.* – 25.2.1797. С. 32. *Богдан... полковником... Илью... до капитан-лейтенантов.* – 10.4.1797 и 3.4.1797 (ОМС). *Аврам... в Офицерской улице...* – А., л. 185 (ныне: ул. Декабристов). *Господин генерал-маиор...* – Приказ Павла I Авраму 14.5.1797 // Б1. № 164. *16-го июня...* – А., л. 185. *От Черепановой тебе...* – Аврам отцу и сестрам 12.6.1797 // А., л. 185-об. Александра Фед. Черепанова (далее: АФБ) (21.3.1777–24.2.1853) – дочь подполковника Федора (Степановича – ?) Черепанова (ум. ок. 1802) и Авдотьи Сергеевны (р. ок. 1746 – ум. в июле 1814 – ?); ее брат *Федор* (ум. 1809) воспитывался с 1779 в Сухопутном шляхетн. корпусе; с 1793 служил во флоте; 1.5.1796 – мичман; 12.10.1798 – лейтенант; 12.12.1803 – капитан-поручик (ОМС. Пб., 1890. Т. 5. С. 326–327); видимо, он упомянут в письме Богдана Андр. к Авраму 5.11.1306: "Любезнейшему брату и другу Федору Федоровичу мое усерднейшее почтение" (Б3. № 6. Л. 6); сестры АФБ – старшая *Анна* (в браке Лукашевич), младшая Екатерина (р. ок. 1782, жила с 1800-х гг. в Маре, где и ум. 3.2.1855). О датах жизни АФБ и Екатерины Фед. судим по надгробиям на кладб. в Маре (см. также примеч. к с. 107); о датах рожд. Авдотьи Серг., смерти ее мужа – по паспорту Авдотьи Серг. от 10.1.1803 (Б1. № 182); о дате смерти Авдотьи Серг. – по Мат. (С. 26). Анна выпущена из Смольного в 1794, АФБ – в 1797 с шифром (Черепнин. С. 489, 492; аттестат АФБ от 27.2.1797 – в ИРЛИ. № 21.813). Портрет АФБ неизвестен. По недоразумению в качестве такового иногда воспроизводится рисунок, изображающий пожилую женщину в очках (Пешков. С. 15; Б-1982. С. 366). Этот рисунок впервые опубл. в Б-1914 с подп. "Портрет А.Я.Черепановой" (С. 240–241; в оглавлении: "Портрет А.М.Черепановой" – С. X). В Мат. (С. 26–27) полная подп.: "Портрет Авдотьи Матвеевны Черепановой, сделанный Е.А.Боратынским" – по источнику, ошибочной помете С.А.Рачинского (сына сестры Б. – Варвары) в

Tendresse (Л. 48). М.б., это портрет матери АФБ — Авдотьи Серг., а С.А.Рачинский ошибся в отчествах своих прабабушек: Авдотьей Матвеевной была не Черепанова, а Яцына, мать Аврама. Но тогда вряд ли это рисунок Б. — он "не имел счастия знать" Авдотью Серг. (Б. к АФБ, июль 1814, пф // Мат. С. 26). *Не следует приучать...* — Шумигорский. С. 99. **С. 33.** *Чтобы во время...* — Там же. С. 97; *...пожаловал аннинский крест...* — Б1. № 157. Л. 5 (копия грамоты Павла I Авраму от 7.8.1797). *Двенадцать офицеров...* — Грен. С. 294. *Осенью... маневры.* — Егер. Прил. VII. **С. 34.** *Теперь отстраиваем...* — Аврам отцу 30.10.1797 // А., л. 192-а-об. *11-го декабря...* — А., л. 193—193-об.; д.п.

1798. С. 34. *Лейб-гренадерский полк...* — Грен. С. 297; *...при дворе... свадьбы.* — РС. 1886. Т. 40. № 5. С. 347. **С. 35.** *1 февраля...* — А., л. 197—197-об.; д.п.; Гофман. С. XIX. **С. 36.** *Я женат и счастлив...* — Б. к Коншину 10—19.12.1826 // РС. 1908. Т. 136. № 12. С. 759; Б-1987. № 36. В РС письмо датировано 10 дек.; в Б-1987 — 19 дек.; в автографе (ГПБ. Ф. 369. Оп. 1. № 22. Л. 3) неразборчивость почерка позволяет также прочтение: 14 дек.; *...и очень рад, что променял...* — Б. к Путяте, нояб. 1826 // РА. 1867. Вып. 2. С. 277; Б-1983. № 71; Б-1987. № 35; *...за разводы и несмотрение...* — Грен. С. 297. *Илья... флигель-адъютантом* — 27.3.1798. *Петр... капитан 1-го ранга* — 12.2.1798. *Богдану эскадра...* — 21.9.1798 назначен командующим эскадрой Балт. флота, 16.1.1799 — командующим Архангельской эскадрой (ОМС). *Катиньку... в пансион.* — А., л. 203-об. *Потому можете себе...* — Петр к отцу 22.4.1798 // А., л. 201-об. *Чудом почитаем...* — Аврам отцу 28.5.1793 // А., л. 203-об. *Как отрадно... сердцу!..* — Из восп. бар. Гейкинга // РС. 1887. № 4. С. 784—786. **С. 37.** *Из Казани... 8-го июня...* — Шумигорский. С. 142. *Около десяти часов...* — Головкин Ф.Г. Двор и царствование Павла I. М., 1912. С. 183—184; а/т. **С. 38.** *...и сколько здесь литер...* — РС. 1882. Т. 37. № 12. С. 500. *Император... будучи недоволен...* — Грен. С. 299. *25-го... подорожная.* — Б1. № 158. **С. 40.** *...вернемся в Голощапово...* — Елиз.Мордвинова к АФБ 27.12.1798, пф // Мордвиновы. л. 23—23-об. Елиз. Мих. Мордвинова (1776—1802) и ее мл. сестра Екат. Мих. воспитывались в Смольном в одно время с АФБ (Черепнин. С. 490). *Кажется, что Абраам Андреевич...* — Ел.М.Мордвинова к АФБ 27.7.1799 // Мордвиновы. Л. 79-об.

1799. С. 40. *Я не хочу... сцен...* — Аврам сестре Марии 17.2.1804 // А., л. 262. **С. 40—41.** *9 марта... 17 марта... 27 апреля... 25 июня...* — Ел. М.Мордвинова к АФБ, пф // Мордвиновы. Л. 42, 44, 56, 73; д.п. **С. 41.** *Вяжля* — впоследствии деревни Боратынских: Марьинка, Софьинка, Натальевка, Рачиновка, Ильиновка, Осиновка. *Внутри дом разделялся...* — Описание планировки дома см.: Тархова А.Н. Воспоминания о Боратынских и имении Мара // Мураново. № I.100. Л. 20; *...каменное здание...* — Там же. Л. 5. Усадьба в Маре уничтожена в 1920-е гг. **С. 43.** *Грот и дом...* — Чичерин. С. 508. *Я хочу, чтоб нам жить...* — Аврам сестре Марии 17.2.1804 // А., л. 262—263-об.

1800. С. 43. *Черепаха всегда...* — Нелидова к АФБ 27.6.1800, пф // Б1. № 164. Л. 7-об. — 8. *Вход для чиновников...* — Дм. С. 339. *19-го февраля...* — О.д. см.: О дате рождения Е.А.Баратынского // Вопросы литературы. 1988. № 4. С. 270—271; ср.: О дате рождения Баратынского // Там же. 1976. № 9. С. 318 (сообщение о публикации в "Тамбовской правде" от 27.2.1976 заметки В.Г.Шпильчина с выпиской из метрич. книги Покровской церкви в Вяжле, где значится датой рождения Б. — 7 марта). Крестной матерью Б. была Мария Андр. Боратынская, восприемником — некто Иван Егорович, чью фамилию нам не удалось установить. Известно, что для Боратынских он был: "наш общий друг, друг всех человеков... действительно, наш Гений, на которого мы еще можем надеяться в наших беспокойствах" (Ал-р Боратынский Авраму, ок. 1800—1801 // Б3. № 5. Л. 4-об.). *8 марта 1800 года. Вы не можете...* — Мордвиновы. Л. 120. **С. 44.** *...предыдущая запись... 8-го февраля* — Судим по фотокопии соответствующей страницы из метрич. книги Покровской церкви в Вяжле (фотокопия предоставлена нам В.Г.Шпильчиным); *...именины 7-го.* — См. в письме Б. к Н.В.Путяте 8.3.1842: "Вчера, 7-го марта, в день моих имянин..." (Пигарев К.В. Мураново. М., 1948. С. 136; Б-1987. № 163).

1801. С. 45. *Мы дожили до вожделенных...* — Из "Оды... Потемкину" (1774) А.П.Сумарокова; *...в Путешествии г. Карамзина* — в "Письмах русского путешественника"; *...вчерашним семинаристам* — т.е. г. Сперанскому! **С. 46.** *Мы покорны судьям...* — Слова ямщика в романе Загоскина "Рославлев" (1831). **С. 47.** *Пироскаф* — пароход. *9 апреля 1801...* — Мордвиновы. Л. 122—123.

1802. С. 48. *...но она живо напоминает...* — Б. к Вяземскому, лето 1829 // СиН. Кн. 5. С. 46—47; Б-1987. № 48. *Lise... умерла.* — 2.2.1802 (Пб. некр. Т. 3. С. 447; Полетика. С. 324). *А надобно б...* — Аврам отцу 3.5.1802 // А., л. 208. *Сделайте милость...* — Александр Боратынский Авраму, ок. 1800—1801 // Б3. № 5. Л. 3-а. *Петр... генерал-маиора...* — 1.2.1801. *Илья в капитаны 1-го ранга...* — 28.2.1801. *Богдан в вице-адмиралы* — 9.5.1799 (ОМС); *...поделили Вяжлю...* — Судим по

письму Богдана Авраму 23.3.1803 из Пб (Б3. № 6. Л. 3-об.). По ф.с. братьев за 1814—15 гг. Богдан имел в Вяжле 1250 душ обоего пола (Б1. № 252; завещал свою часть Вяжли сестре М.А.Панчулидзевой и ее дочерям), Петр — 305 душ (Б1. № 361), Илья — 306 душ (Б1. № 369).

1803. С 49. *Летом... прибыл... Алексашинька.* — Судим по его письму к Авраму от 28.10.1803 (Б1. № 165. Л. 1—2-об.). *Впрочем... было еще одно существо...* — Мат. С. 135—136. *Веют осенние ветры...* — Карамзин. "Осень" (1789). **С. 50.** *...в августе 805-го года Анета...* — Б1. № 85. Л. 2 (Подорожная Анне Антоновне Бельт от 25.8.1805 на проезд от Белого до Пб.); *...под Фридландом... в июне 807-го...* — Б1. № 402 (Свидетельство от 21.7.1807 о смерти штабс-капитана Московского гренадерского полка Александра Боратынского). *Желаю вам...* — Александр Авраму 28.10.1803 // Б1. № 165. Л. 2.

1804. С. 50. *17 февраля...* — Аврам сестре Марии // А., л. 262—263. **С. 51.** *Я их знаю...* — Аврам отцу 30.10.1797 // А., л. 192-а. Эта цитата — анахронизм; речь идет о г. Аршеневском, сватавшемся осенью 1797 к Марии Андр., и его сестрах. *Ради бога, милый братец... Мы хочим...* — Мария и Катерина Б-кие Авраму, осень 1803 — зима 1804 // Б3. № 12. Л. 1; Б3. № 20. Л. 1—1-об. *9 августа 804 года...* — А., л. 210—210-об.; д.п. **С. 52.** *Меня проклятая лихорадка...* — Аврам сестре Марии и И.Д.Панчулидзеву 14.6.1805 // А., л. 259. Просим простить помещение письма из 1805 года в главу о 1804-м, но летом 1804 Аврам тоже болел. *Я думаю... что вы...* — Аврам отцу 10.8.1794. // А., л. 143-об.; *...с 797-го по 803-й... семь губернаторов.* — Туркестанов Н.Н.Губернаторские списки. 1791—1861. М., 1864. С. 42. **С. 54.** *На дворе овечка спит...* — Песенка А.С.Шишкова (1783), пер. из И.-Г.Кампе.

1805. С. 55. *Мария Андреевна... замуж.* — Осенью 1804 (А., л. 210-об.; Б3. № 12. Л. 6—8). *Лев* родился в февр. 1805 (Б3. № 12. Л. 14). *Богдан Андр.* в отставке с 4.1.1805 (ОМС). *15 июня...* — А., л. 217—218; д.п.; *...с холодами, градом...* — Судим по письму Аврама отцу 1.9.1805 // А., л. 215-об. **С. 56.** *Теперь утро...* — Аврам жене 25 сент. или 25 окт. 1805 // А., л. 274. *Что мне сказать...* — Аврам жене 21.12.1805 // А., л. 276-об.—277.

1806. С. 56. *10 генваря...* — А., л. 219—219-об.; д.п. *С. 57. ...знал государь.* — Александр встречал Аврама при дворе, на вахт-парадах, на гатчинских учениях (в т.ч. 1794—95 — См. Егер. Прил. II, VII). *Полетика... Вилламов... Paul...* — Полетика. С. 323. См. в письмах Ланской к АФБ от 25 авг. (без года) и 19.6.1807: "Паша целует Бубиньку"; "Паша шлет свои приветствия Бубиньке" // Ланская. Л. 39. Л. 8, пф.; *...жалобы Аврама...* — Судим по: В.П.Кочубей Авраму 11.1.1807 (о передаче прошения Аврама в Сенат) // Б3. № 10. Л. 1 (копия); *...в октябре в Петербург.* — Судим по письму Ланской к неустановл. лицу 18.10.1806 из с. Талинки Тамбовской губ. в Пб.: "Когда эти строки дойдут до вас, вы, без сомнения, уже увидитесь с Боратынскими... Мадемуазель Нелидова поддержит их... Но зная щепетильность Нелидочки в делах, относящихся до Сената и министров, я посоветовала Черепахе познакомиться с моим братом, чтобы ее супруг смог объяснить ему, о чем речь, — тем более, если императрица сочувствует им (в чем я нисколько не сомневаюсь), брат мой может получить какие-либо поручения в связи с этим делом; что же до Полетики, то это верный друг и, если нужно пылко защитить невинность, — он всегда готов это сделать... Арсеньева тоже может оказать важную услугу, замолвив слово г-ну Столыпину". Цит. по копии: Мураново. Н-8; пф. Листы не пронумерованы. Упом. лица: императрица — Мария Феод.; брат Ланской — Г.И.Вилламов, секретарь Марии Феод.; Полетика — Михаил Ив., женатый некогда на Елиз. Мих. Мордвиновой; Арсеньева — Екатерина Ив., фрейлина, воспитывалась вместе с АФБ в Смольном; Столыпин — Аркадий Алексеевич (?). *С ними... Катерина Федоровна* — Черепанова. Скорее всего именно она упом. в письме Б. в Пб.: "Любезные мои папинька, маминька и тiотинька..." // Хетсо. С. 565 — м.б., это приписка к письму Богдана Андр. от 16.11.1806 (Б3. № 6. Л. 7). *Младенец Федор.* — См. 3-е примеч. к с. 58. *Катерина Андреевна...* — О том, что именно она оставалась с детьми, см. — Аврам отцу 19.5.1807 из Мары (А., л. 207): "завидуем брату и сестре, которые хотят к вам ехать". т.е. завидуем Богдану и Екатерине; др. сестра, Мария, тогда была в Малороссии; судим по ее письмам: Б3. № 12. Л. 16—18; *...немца управляющего.* — Управляющий М.А.Фрай затем жаловался на Богдана Андр. в Кирсановский суд (В1. № 86). **С. 58.** *5 ноября...* — Б3. № 6. Л. 5—6. *Милая мая маминька...* — Приписка Б. к письму Богдана Андр. 5.11.1816 // Хетсо. С. 564—565 — здесь напечатано: *Фечка*; исправляем по автографу (ИРЛИ. № 21.738. Л. 1). *Федичка* — это Федор Боратынский, умерший, вероятно, в младенчестве; упомянут также в приписке Катерины Андр. к письму Богдана Андр. от 16.11.1806: "А Федичка сидит один очень хорошо" (Б3. № 6. Л. 7); судя по этому упоминанию, Федичка р. в конце весны — нач. лета 1806. *Собственное его письмо.* — Помета Богдана Андр. на полях предыдущей приписки Б. ("Милая мая маминька...") // ИРЛИ.

№ 21.738. Л. 1. С. 59. *Но что! радушному...* — Из стих. Б. "Дядьке-итальянцу" (1844).

1807. С. 59. *24 февраля... Наконец мы приехали...* — А., л. 223—224; д.п. На самом деле они приехали в нач. февраля — судим по письму Е.И.Ланской к АФБ 5.2.1807 (Ланская. Л. 1). С. 60. *19 мая...* — А., л. 225.

1808. С. 60. *...на Россию наползала чума.* — См. рескрипты Александра I сенатору О.П.Козодавлеву, янв.—июнь 1808 о мерах по пресечению чумы в Саратовской губ. (РА. 1895. Кн. 3. № 10. С. 129—139). *6 марта...* — Аврам братьям Илье и Петру // Б3. № 2. Л. 1—1-об.; *...подумывал о возвращении.* — Судим по тому же письму. С. 61. *Кротость есть основание...* — Ланская к неустановл. лицу 18.10.1806, пф // Цит. по копии: Мураново. Н-8. Листы не пронумерованы. *Аврам... языков... не знал.* — Точно, что он не знал фр. яз. См.: Елиз. Мордвинова к Авраму (в приписке на рус. яз. к ее письму к АФБ) 11.8.1799: "Вы жалуетесь, что переписки нашей не разумеете" (Мордвиновы. Л. 83-об.). *Руссо и Ричардсона...* — О круге чтения судим по письмам к АФБ (Ланская; Мордвиновы). *"Удольфские таинства"* (1805) — роман мадам Радклиф; "Матильда" (1805)—роман мадам Коттен; *...читала... Шишкова.* — Впрочем, м.б., и не читала, однако Ланская в одном из писем 1806—1808 гг. предлагала АФБ прислать соч. А.С.Шишкова (Ланская. Л. 14-об.). С. 62. *Славное сочинение...* — Ланская к АФБ, ок. 1806—1808, пф // Там же. С. 62. *Мне некто сказывал...* — Елиз. Мордвинова к АФБ 11.8.1799 // Мордвиновы. Л. 84. *Весьма немногие из помещиков...* — Вигель. Ч. 4. С. 119—121. *Об Оржевке ходили...* — Чичерин. С. 512. О Мартыновых см. также с. 120.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧАСТИ ВТОРОЙ. С. 63. *Поэт выделяет...* — Жирмунский В.М. Пушкин и Байрон. Л., 1978. С. 54—55. С. 64. *"Войнаровский"* — поэма К.Ф.Рылеева (М., 1825); *"Борский"* — поэма А.И.Подолинского (Пб., 1829); *"Лонской"* — "Отрывок из описательной поэмы: Лонской" А.А.Шишкова (см.: Опыты Александра Шишкова 2-го. М., 1828); *"Кавказский пленник, повесть"* — соч. А.С.Пушкина (Пб., 1822); *"Корсар, повесть"* — соч. Байрона (1814); *"Чернец, киевская повесть"* — соч. И.И.Козлова (Пб., 1825).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. С. 65 *...в Москве, в Клённиках.* — Судим по извещению АФБ (см. с. 66); *...дочь Наталью.* — Наталия жила в Маре, ум. 10.7.1855 (Мос. некр.). *Я так было...* — Аврам отцу 28.11.1809 из Москвы // А., л. 231-об.

1810. С. 66. *Александра Федоровна Боротынская с глубоким...* — Б1. № 159. *Клинники* — Клённики; *кладбище Спасо-Андроньева...* — Уничтожено в конце 1910-х — нач. 1920-х гг.; рядом с Аврамом Андр. были похоронены Богдан Андр., Илья Андр., его жена София Ив., Наталья Абрамовна (Мос. некр.). *12 июля... Варинька.* — Она ум. 15.5.1891, похоронена в Татево Смолен. губ. (Мат. С. 46; см. также третье примеч. к с. 118); *...до апреля—мая... 811-го... в Москве.* — Судим по письмам АФБ к Андрею Вас. из Москвы в Голощапово от 27.11.1810 и 26.3.1811 (А., л. 297—298).

1811. С. 66. *Бубинька... неотлучно...* — См. в письме АФБ к Андрею Вас. 27.11.1810: "Евгений сам хотел вас поздравить" (А., л. 298). *7-го сентября 810-го...* — Прошения о приеме в Паж. корпус Евгения и Ираклия не удалось обнаружить (м.б., его составлял еще Абрам Андр.), но в сохранившихся документах ПК дата их определения в пажи — 7.9.1810; *...читал "Илиаду"* — См. с. 84. *...être* и *peut-être.* — Рифмы из стих., приписываемого Б. "Je voudrais bien..." (ТС. С. 59—60; Хетсо. С. 47). О том, что это стих. вряд ли написано самим Б., см.: Б-1936. Т. 1. С. 357. С. 67. *Разкажу вам...* — Б. к Богдану Андр. из Вяжли, май—июнь(?) 1811 // Мат. С. 79—80, 140.

1812. С. 69. *Не успел он проплыть...* — CF. Л. 4. Конец фразы отсутствует в рукописи — край листа оборван. *Любезная маменька...* — Б. к АФБ, апрель — нач. мая 1812, пф // Мат. С. 21 (здесь н.д. — весна 1808). С. 70 *...в Петербурге.. Петр Андреевич.* — Он был в 1812 по-прежнему генерал-майором, служил в Морском корпусе (ОМС). Под конец жизни у него было в Пб. два дома: "в Адмиралтейской части в квартале на Сенной под № 42" и "в Московской части 1-го квартала под старым № 139, з новым 3 по Кузнечной улице близ церкви Владимирской Божией Матери", а также дача — по Царскосельской дороге возле Чесменского дворца (Б1. № 84. Л. 13—14-об., 17-об.). Впрочем, это данные 1845 г., и какие из домов он уже приобрел в 1812 — неизвестно. Илья Андр. в 1812 был контр-адмиралом (ОМС), жил "в 10-й линии в доме Киселева по набережной на Васильевском острову" (Б1. № 99. Л. 2-об.). Где жили Панчулидзевы — неизвестно. О Кучиных см. примеч. к с. 103. О пребывании Ал-ра Рачинского в Пб. в 1812 — точных сведений нет. CAHIER FRANÇOIS. — CF. Л. 1—3. С. 71. *Любезная маминька...* — Б. к АФБ, июль—авг. (?) 1812 // Хетсо. С. 567—568. *Вашинька и Алексаша* — Кучины. Среди перечисленных в данном письме братьев и сестер не упомянут Сергей — он был в 1810—12 гг. у Андрея Вас. в Голощапово (судим по письму АФБ к Андрею Вас. 27.10.1810 // А., л. 297). *Сашинька* — в др. письмах Б.: Александрина; м.б., дочь Анны Фед. Лукашевич (Мат. С. 25), сестры АФБ. *Варвара, Александра и Авдотья*

Николаевны — Зайцовы (?), соседки Боратынских по Кирсановскому у.; *...выпускной экзамен, и 38 бывших пажей...* — Выпуск состоялся 27.8.1812 (Левшин. Т. 2. С. 267). Все некомментируемые далее сведения о Паж. корпусе взяты из книги Левшина. С. 72. *От генерал-маиора Боратынского...* — ПК. № 229. Л. 16. *Его превосходительству Ф.И.Клингеру...* — ПК. № 205. Л. 7; мы допустили перестановку фамилий: в подлиннике Б. упомянут предпоследним — перед П. и И.Львовыми. *Клингер* Фридрих Максимилиан (Федор Иванович) (1752—1831) — с 1780 в рус. службе, с 1811 — ген.-лейтенант; автор романа "Жизнь, деяния и гибель Фауста" (1791) и др. славных сочинений на нем. яз. *Голицын* Ал-р Ник. (1773—1844) — с 1816 мин-р просвещения, в 1817—24 мин-р нар. просвещения и духовных дел. *Наполеон ведет...* — Листовки Отеч. войны 1812 года. М., 1962. С. 105. С. 73. *Кристафович* (Криштафович) Василий Осипович — капитан; поступил в Паж. корпус гувернером 28.8.1812, оставил службу через год — 15.8. или 15.10. 1813 (Левшин. Т. 2. С. 422—423; Максимов. С. 203). Видимо, его отец — Осип Константинович, титулярн. советник; сестра — Варвара, выпущена из Смольного в 1803 (Черепнин. С. 495); брат — Евмений (к нему обращено стих. Кюхельбекера "Не осуждай меня, Евмений..."). Аврам Андр. писал отцу 19.4.1792 о возможности оказать протекцию некоему Хроштафовичу (А., л. 121-об.) — м.б., одному из Кристафовичей. *Право быть определенным...* — Дараган. С. 775—776.

1813. С. 73. *ИСХОД ПЕРВЫЙ.* — Сведения об Ираклии Боратынском (12.2.1802 — 22.4.1859) обширно представлены в его ф.с. 1835, 1838, 1839, 1841, 1846, 1855, 1857 гг. (ИД. Оп. 90. № 196; Оп. 93. № 184; Оп. 49. № 2051 и др., см. по алфавитн. каталогу в ЦГВИА; один из ф.с. опубл.: Крестовский В.В. История л.-гв. Уланского Его Величества полка. СПб., 1876. Приложения; см. также: Мат. С. 57—58). В Пб. прибыл осенью 1814 (см. с. 82). Выпущен из Паж. корпуса 31.12.1819 прапорщиком в Конно-Егерский короля Виртембергского полк; 1.3.1820 прибыл к полку; 17.4.1820 поручиком переведен в Курляндский улан. полк; 1.1.1827 — адъютант главноком. 2-й армией П.Х.Витгенштейна; 26.3.1828 — штабс-ротмистр; 22.6.1828 за отличие в сражении переведен в л.-гв. Уланский его величества полк, но фактически оставался адъютантом при Витгенштейне; 7.4.1829 — адъютант нового главноком. 2-й армией И.И.Дибича; 7.7.1831 — флигель-адъютант; 1.10.1834 переведен в л.-гв. Гусарский полк; 12.2.1835 поступил во фронт; 6.12.1836 — полковник; 1.2.1838 отчислен от фронта; 30.8.1842 — генерал-майор, воен. и гражд. губ-р Ярославля; 14.3.1848 — воен. губ-р Казани; 8.1.1858 — сенатор. С 1835 женат на А.Д.Абамелек (1814—1889) (о ней см.: Осьмакова Н.И. Баратынская А.Д. // Рус. писатели. Биогр. словарь. М., 1989. Т. 1. С. 157—158). Похоронен на кладб. Воскресенского Новодевичьего монастыря в Пб. (Пб. некр. Т. 1. С. 260). С. 74. *Он, Будберг...* — РС. 1891. Т. 70. С. 66. *ИСХОД ВТОРОЙ.* — Сведения о Льве Боратынском (февр. 1805 — 25.12.1858) даны по его ф.с. 1833 и 1835 гг. (Б1. № 243, 244) и по делу об увольнении от службы от 12—26.1.1834 (ИД. Оп. 23. № 698). В Пб. прибыл осенью 1814 (см. с. 82). Мы не уточняли, где он учился. Если судить по кондуитному списку Конно-Егерского полка за 1824, то не учился нигде (в графе "имеет ли знания в каких науках" значится: "не имеет", но добавлено, что знает фр. и нем. языки, — ЦГВИА. Ф. 13054. Оп. 1. № 62. Л. 47-об.; впрочем, по упом. выше ф.с. 1833 и 1835 гг., "геометрию, историю, математику, физику, артиллерию и рисовать знает"). 10.2.1820 — юнкер в Конно-Егерском короля Виртембергского полку; 23.1.1821 прапорщиком переведен в Рижский драгунский полк; 1.7.1821 возвращен в Конно-Егерский; 13.5.1825 — поручик; с 3.2.1828 — адъютант Малороссийского воен. губ-ра Н.Г.Репнина; 22.12.1831 — вновь в Конно-Егерском; с 22.1.1834 в отставке штабс-капитаном (прошение подп. 8.12.1833); осенью 1833 жил в Маре (см. ниже восп. А.И.Дельвига). Был он недолгое время и чиновником особых поручений при моск. ген.-губ-ре Д.В.Голицыне (Мат. С. 24). Похоронен на кладб. в Маре; могила не сохр.; *...он влюбился.* — О любви Варвары Ник. Репниной и Льва Боратынского см.: Гершензон М.О. Русские пропилеи. М., 1916. Т. 2. С. 179—180 (благодарим за указание В.А.Воропаева). *У него был неистощимый запас...* — Чичерин. С. 509; *...женат на своей крепостной...* — Дельвиг А.И. С. 189; А.И.Дельвиг был в Маре осенью 1833. С. 75. *ИСХОД ТРЕТИЙ.* — Сергей Боратынский (12.5.1807—24.11.1866) — видимо, учился в нач. 1820-х гг. в одном из петерб. пансионов (см. с. 211); осенью 1825 был в Москве, когда туда приехал Б. (см. с. 297); ок. 1826 поступил в Моск. медико-хирургич. академию (первоначально АФБ и Б. прочили ему училище колонновожатых — см. 5-е примеч. к с. 293). Судя по ф.с. за 1852 и 1853 гг. (Б1. № 213-а) 25.8.1830 он выпущен из академии с званием лекаря 1-го отд. и награжден серебр. медалью; сразу же уехал в Мару; летом 1831 увез в Мару вдову Дельвига (урожд. Салтыкову) — Софию Мих. и женился на ней; их дети: Александра (6.3.1832 — 5.12.1902), Михаил (1833—1881), София (р. 1834), Анастасия (18.3.1836 — 31.1.1912), с ними воспитывалась и дочь Дельвига Елизавета

Антоновна (7.5.1830 – 30.8.1913) – ее надгробие, а также надгробия Сергея Абрамовича, Александры и Анастасии сохр. на развалинах кладбища в Маре (см. также примеч. к с. 107). 18.3.1840 Сергей Абр. определен "врачом в имение ротмистра Петрово-Соколово в Кирсановский уезд" (Б1. № 213-а. Л. 7-а–8); 18.3.1843 – титулярный советник; 3.9.1846 – чиновник особых поручений тамбовского гражд. губ-ра; См. о нем: Чичерин. С. 509–511; Мат. С. 42–44. *Бывший Мальтийский дворец...* – Дараган. С. 776–777. *Директором... Клингер.* – Розен. С. 65–66. Клингер возглавлял Пажеский и Кадетский корпуса; директором Паж. корпуса был И.Г.Гогель. *Это был человек желчный...* – Дараган. С. 777; *...порицатель правительства...* – Ланжерон А.Ф. Русская армия в год смерти Екатерины II // РС. 1895. Т. 83. № 4. С. 171. С. 76. *...прозвали белым медведем.* – Портрет Клингера см.: Розен. С. 65–66. *Когда таким образом...* – Левшин. Т. 1. С. 233–234, 218. *Не было ни одиночной выправки...* – Дараган. С. 778; *...любил более хорошее вино...* – Там же. С. 77. *Из класса в класс...* – Там же. *Что только не вытворяли...* – Гангеблов. С. 262–263. С. 78. *Боратынский Жуковскому...* – РА. 1868. Вып. 1. С. 147–156; Б-1987. № 6. *Кристафович* – см. примеч. к с. 73; *...написал я на лоскутке бумаги слово пьяница...* – На основе этой фразы построен отд. эпизод в мистифицированных "воспоминаниях Михаила Креницына" – см.: Садовской Б.А. Две главы из неизданных записок // Речь. 1910. № 306. О том, что "Две главы..." – выдумка, говорил еще Филиппович (С. 42–43). Добавим лишь, что вместе с Боратынским учились только Александр и Павел Креницыны; Александр был разжалован в солдаты в 1820 (см. с. 84), Павел выпущен из корпуса 22.3.1818 корнетом в Глуховский кирасирский полк (Левшин. Т. 2. С. 272). Два их младших брата, Владимир и Николай, служили в л.-гв. Измайловском полку (Дек. С. 90). *Боратынский маменьке в декабре 1812-го...* – Хетсо. С. 569; здесь дата: янв.–февр. 1813. В письме сказано, что Б. "уже два месяца" в корпусе. О том, что он явился сюда в дек. 1812 см.: Максимов. С. 202; но, говоря о дек. 1812 как начале пребывания Б. в корпусе, Максимов не приводил конкр. документов; мы же располагаем единств. сведением – письмом Голицына Клингеру 9.10.1812 (с. 72) о зачислении Б., поэтому датируем письмо Б. к АФБ предположительно декабрем 1812, не настаивая на безусловной верности этой даты). С. 79. *...поведения хорошего...* – Максимов. С. 203; кондуитные списки 1810-х гг., которыми пользовался Максимов, ныне отсутствуют в бумагах ПК; *...за успехи в науках...* – Свидетельство от 18.10.1813, выданное Б. // Хетсо. С. 26; ИРЛИ. № 21.784; *...умер Андрей Васильевич.* – Судим по письму К.М.Веденяпина, состоявшего в Пб. при Илье Андр., к голощаповскому управляющему И.И.Косову от 21.4.1813 (Б1. № 99. Л. 2). О намерении АФБ приехать в Пб. судим по письму к ней Б. от 23.2.1813 (Хетсо. С. 571–572). Сам Б. вряд ли бывал в Маре хоть раз за время своей пажеской жизни. Во всяком случае, осенью 1816 он пишет, что его младшие сестры с ним незнакомы (см. с. 101).

1814. С. 79–80. *После литургии... Au plus juste...* – Дм. С. 358, 373. С. 80. *Мацнев Н.А.*, капитан; *Де Симон Ф.Е.*, подполковник – гувернеры отделения, в котором воспитывался Б. (Левшин. Т. 2. С. 424–425; Максимов. С. 203). Мацнев служил в корпусе с 1813 по 16.1.1816, Де Симон – с 1814 по 9.6.1818. У Максимова Де Симон назван капитаном. *То являлись привидения...* – Гангеблов. С. 258. *Боратынский Жуковскому...* – См. примеч. к с. 78. С. 81. *Петр Андреевич... учителя математики.* – См. письмо Б. к АФБ, лето–осень 1814 // Мат. С. 36 (это то самое письмо, где Б. просит отпустить его в морскую службу). Вряд ли учитель был взят ввиду особенных математич. наклонностей: они могли открыться впоследствии (см. позднейшее замеч. сына Б. – Николая Евг. о том, что Б. "был очень хороший математик, с малолетства в нем выказались большие способности к этой науке" // Б-1884. С. 489). О недостаточном владении Б. нем. языком см. в письме В.А.Эртеля к Б.: 6-е примеч. к с. 122. *Нынче, в минуты отдохновения...* – Б. к АФБ, лето–осень 1814, пф // Хетсо, С. 574–575; см. также с. 8. С. 82. *Каждую субботу...* – Ираклий к АФБ, окт.–ноябрь. 1814, пф // ИРЛИ. № 26.337. Л. 13. Первые сохранившиеся письма Ираклия и Льва Б-ких к АФБ из Пб. датированы 28.9.1814 (ИРЛИ. № 26.339. Л. 1) и 4.10.1814 (ИРЛИ. № 26.337. Л. 7–8). *Я имела удовольствие...* – АФБ к Богдану Андр., осень 1814 // А., л. 313. *Поведения и нрава...* – Максимов. С. 203.

1815. С. 82. *Любезная маменька! Я прошу вас...* – Б. к АФБ, ок. апреля 1815, пф // Мат. С. 22 – здесь н.д.: 1811; передатировка вызвана тем, что в конце письма упомянут только один брат. Такое могло быть не ранее весны 1815, когда Ираклий и Лев уже жили в Пб., а Сергей вернулся в Мару из Голощапова. С. 83. *Возобновить моления...* – Указ Александра I от 6.6.1815 // РС. 1904. Т. 119. № 7. С. 36. *Поздравьте monsieur Boriès...* – Лев Боратынский к АФБ, июль 1815 // ИРЛИ. № 26.339. Л. 10; *...нрава скрытного... был... не был штрафован.* – Максимов. С. 203. *Я слишком много люблю слушать...* – Вульпиус Х.-А. Ринальдо Ринальдини, разбойничий атаман. М., 1802. Ч. 1. С.2. *Нет, ничем не смущаемый...* – Б. к АФБ, лето–осень

1814, пф // Мат. С. 36–37; см. также с. 9–10. С. 84. *Боратынский Жуковскому...* – См. примеч. к с. 78. С. 85. *Квилки.* – Этимология не ясна. Это слово вспоминал Гангеблов, говоря на следствии 1826 года об "арсеньевском" бунте и главных его участниках (П.Арсеньев, А.Креницын, А.Гамен, А.Аничков, Д.Карцов) (Дек. С. 270). История "арсеньевского" бунта, происшедшего в нач. мая 1820, пересказана по показаниям Гангеблова на следствии 1826 г. и донесению Клингера от нач. мая 1820 (Левшин. Т. 1. С. 313–314). Арсеньев и Креницын разжалованы в солдаты 7.5.1820 (ИД. Оп. 71. № 1406). *Пироскаф – пароход*; первые рейсы между Пб. и Кронштадтом начались в 1815 г. Обсуждение технических данных пироскафа – эпизод вымышленный.

1816. С. 92. *...поведением поправляется... нрава вспыльчивого.* – Максимов. С. 204. Возраст пажей указан нами. Возраст Б. и Ал-ра Креницына указан с учетом того, как считалось официально в корпусе. Обоим при поступлении было прибавлено по году, что очевидно из прошения П.А.Боратынского (см. с. 72) и из "Списка камер-пажам и пажам" от 1.5.1814 (ПК. № 241. Л. 4). На деле к февр. 1816 Б. не исполнилось еще 16-ти лет, а Ал-ру Креницыну 15-ти (р. 5.3.1801). Возраст Ханыкова, Приклонского и Павла Креницына указываем приблизительно, исходя из упомянутого "Списка... пажам" (Л. 3-об.–4). Согласно этому списку указано и имя Приклонского: Лев. *Император Александр Павлович...* – Панаев. С. 250. *Боратынский Жуковскому. – См. примеч. к с. 78.* С. 93. *...последние дни масленицы... 19-го февраля.* – В 1816 масленица была с 13 по 20 февр.; 21 февр. начинался Вел. пост; 18, 19, 20 февр. в Паж. корпусе не было занятий в связи с праздниками. См. также: Хетсо. С. 32. *Боратынский Жуковскому.* – См. примеч. к с. 78. *Пока шло... разбирательство...* – Дараган. С. 780. С. 94. *Его Императорскому Величеству...* – Максимов. С. 205. *Гофмейстер объяснил... точно по правилам корпуса.* – Абзац из черновика Клингера, не вошедший в представленный Александру I рапорт // ПК. № 3830. Л. 3; *гофмейстер* – К.Ф.Клингенберг; *...тетушка Ханыкова...* – Видимо, именно она первая ходатайствовала о прошении (см. нижеследующее письмо Приклонского к Голицыну). С. 94–95. *Зная совершенно...* – П.Н.Приклонский к А.Н.Голицыну, 20-е числа февр. 1816 // Левшин. Т. 1. С. 323. П.Н.Приклонский, бывший управляющий Моск. театрами (с 1805 по 1808), действ. камергер (с 1809) и управляющий Пб. провиантским депо (с 1815) сам был отдан под суд в 1817. С. 95. *Их не высекли розгами...* – Ср. с судьбой 19-летних С.Карповича и А.Мерлина, которых "за кражу 51 пары казенных чулок" велено было "высечь при собрании <2-го кадет.> корпуса розгами и написать в рядовые" (приказ Александра I от 2.6.1816 // ИД. Оп. 122. № 344. Л. 1–3); впоследствии Карпович служил унтер-офицером в Петровском пех. полку в Финляндии и был произведен в прапорщики в один день с Б. в 1825 (см. с. 289). *Февраля 25-го...* – Левшин. Т. 1. С. 324. *Февраля 29-го...* – См. 2-е примеч. к с. 96. *1-го марта...* – Максимов. С. 203. *Управление Главного Штаба...* – ИД. Оп. 4. № 324. Л. 1–1-об.; там же образцы циркуляра, разосланного по армии 15.4.1816, и сохранившиеся ответы некоторых полковых канцелярий о получении циркуляра (Л. 2–8). С. 96. *Неделей прежде...* – См. циркуляр от 7.3.1816 за подп. мин-ра просв. А.К.Разумовского: Хетсо. С. 33–34; в экземпляре ИРЛИ (№ 14.592. Л. 4) дата циркуляра: 6.3.1816. *Нового уже выдать не можно!* – В 1818 Богдан Андр. обращался в Смоленское губерн. правление с просьбой выдать дворянское свидетельство племяннику и получил отказ за подп. губерн. предводителя Ф.И.Лыкошина от 13.7.1818 на таком основании: "...из указа Правительствующего Сената от 29-го февраля 1816-го года видно, что означенный дворянин Евгений Боратынский был на службе в Пажеском корпусе, куда поступил с свидетельством, а затем нового уже выдать не можно" (Б1, № 186. Л. 1). *Подходящий полк... в окрестностях... Белого.* –См.: АФБ к Богдану Андр. 29.6.1816 (с. 97). *Петр Андреевич... племянника в пансион...* – См. окончание письма Б. к Жуковскому от дек. 1823 – с. 248. С. 97. *29 июня...* – АФБ к Богдану Андр. // А., л. 341–342-об.; д.п. С. 98. *Любезная маменька...* – Б. к АФБ, июль–авг. 1816, из Подвойского в Мару; пф // Мат. С. 27–28. *Петру Андреевичу... Подвойское.* – Б1. № 361. *Богдану... Голощапово.* – Б1. № 252. *Илье... Шавырино.* – Б1. № 369. Илья Андр. в отставке с 31.12.1813 (ОМС). С. 100. *Любезнейший дядюшка...* – Б. к Петру Андр. из Подвойского в Пб., июль–авг. 1816 // Б-1869. С. 409. *Любезная маменька...* – Б. к АФБ, конец лета – нач. осени 1816, пф // Мат. С. 29–30. С. 102. *28 декабря.* – АФБ к Богдану Андр. // А., л. 326–327-об., д.п.; Гофман. C.XL.

1817. С. 103. *Веселье всегда...* – АФБ к Богдану Андр. 4.1.1816 // А., л. 306-об.–307. *Мы все о вас скучаем...* – Ал-р, Варвара и Николай Кучины к Богдану Андр. 19.6.1816 // Б1. № 312. Л. 1. *Праздник был отмечен...* – Б. к АФБ, ок. 26–27 дек. 1817, пф // Мат. С. 34–35. О.д. – слова из этого письма: "Дядюшка <Илья Андр.> завтра уезжает в Москву. Он хотел взять меня с собой, но это не вышло. Впрочем, мне нет никакой надобности являться там, словно напоказ. Так рассудила тетушка

Катерина А... Праздник был отмечен роскошнейше, дети <девицы Панчулидзевы> исполнили небольшой балет, а на следующий день играли комедию г-жи Гросфельд, о которой я вам говорил" (Там же. О г-же Гросфельд Б. говорил в письме от 4.12.1817, об этом письме см. ниже; Илья Андр. прибыл в Москву 29–31 дек. – см.: МВ. 1818. № 1. 2 янв.; "являться напоказ" – т.к. в ту пору Александр I, двор и гвардия находились в Москве). *Сегодня в честь приезда...* – Б. к АФБ 6.8.1818, пф // Хетсо. С. 577. О.д. – слова из этого письма: "Дядюшка <Илья Андр.> купил дом в Москве, в сентябре мы все отправимся в путь... сегодня шестое – большой праздник". "Шестое" – 6 авг., Преображение. *Провели ли вы этот день...* – Б. к АФБ 4.12.1817, пф // Мат. С. 33–34. О.д. – слова из письма: "Сегодня день Святой Варвары" (т.е. 4 дек.). *Кстати, о кузине Вареньке...* – Сведений о ней почти нет. Она была дочерью Николая (Александровича –?) Кучина – родственника Боратынских в Бельском у.; ее брат – Александр (судим по их письму к Богдану Андр. 19.6.1816 – 2-е примеч. к с. 103). В 1812 Алексашинька и Вашинька Кучины виделись в Пб. с Б. (см. с. 71). *9-го ... к Лутковскому... 3-го ... из Москвы.* – Закревский. Дн.2. С. 98. Лутковский – м.б., Георгий Алексеевич, с 5.6.1818 командир Нейшлотского полка (см. 4-е примеч. к с. 148); но, м.б., это его брат Василий Алексеевич, женатый на тетушке Б. – Елизавете – дочери Николая Яковл. Боратынского (двоюродн. брата Андрея Вас.); о свадьбе В.А.Лутковского и Лизаньки Боратынской судим по письму Марии Андр. Боратынской к Авраму от окт. 1803 (Б3. № 12. Л. 20-об.). О дочери Василия и Елизаветы Лутковских – Анете см. с. 253 и примеч. к с. 254. *Во всем, что я в тебе встречаю...* – "Портрет В..."; *...адмирала очень беспокоят...* – Б. к АФБ, ок 26–27 дек. 1817, пф // Мат. С. 35. О.д. см. 3-е примеч. к с. 103. *Панчулидзев... в 817-м... скончался...* – В дворянском списке его жены Марии Андр. за 1817 г. он назван покойным (Б1. № 378). Родословную Панчулидзевых см.: Вигель. Ч. 7. Приложение. С. 70–75. С. 104. *Евгений восхищен...* – АФБ к Богдану Андр. 28.12.1816 // А., л. 327-об. *Евгений... наш товарищ...* – Мария Андр. к АФБ, авг.–сент. 1816 // Б-1914. С. 212. *Милого Бубиньку...* – Мария Андр. к родителям Б., ок. 1801–1803 // Там же. С. 212. *И буду ль иметь...* – Мария Андр. к Богдану Андр. (?) ок. 1817–18 (?) // Б1. № 328. Л. 7; *...la tête pensant.* – Б. к АФБ, 26–27 дек. 1817 // Мат. С. 35. О.д. см. 3-е примеч. к с. 103. С. 105. *...для дочери Приклонского.* – См. с. 92–93; *...переимчивость... не есть ли...* – Карамзин. Т. 2. С. 285. *Родству приязни...* – "Хор, петый в день именин... 23 генв. 1817". *Мне поручено...* – Б. к АФБ 6.8.1818, пф // Хетсо. С. 577. О.д. – см. 4-е примеч. к с. 103. С. 106. *Зиму... в Кирсанове.* – См. в письме АФБ к Богдану Андр. 20.5.1815: "...после Троицы буду опять жить в Маре" (А., л. 314-об.). См. также нижеследующее письмо. *1 марта...* – АФБ к Богдану Андр. // А., л. 335–336-об.; д.п.; Гофман. С. XLIII–XLIV. *Алексей* – управляющий у Богдана Андр. (?). С. 107. *...строительство церкви.* – Началось в 1816 (судим по письмам АФБ 1814–16 гг. – А., л. 332–334-об., 347). "Церковь каменная, теплая, построенная в 1818 г. на средства г-жи Баратынской. Престол в честь Вознесения Господня. Местно-чтимая икона Казанской иконы Божьей Матери" (Историко-статистич. описание Тамбовской епархии. Тамбов. 1911. С. 558). Церковь окончательно разрушена в 1950-е гг.; кладбище – еще раньше; в наст. время уцелело ок. 10 надгробий, среди них надгробия АФБ, Екатерины Фед. Черепановой, Сергея Абрамовича и его дочерей Александры и Анастасии, Елизаветы Антоновны Дельвиг (сообщено В.Г.Шпильчиным); см. также примеч. к с. 32, 75. *Евгений сделался болен...* – АФБ к Богдану Андр., конец марта – нач. апреля 1817 // А., л. 330–330-об.; *Петр Кондратьевич* – неустановл. лицо. С. 108. *Любезнейший братец...* – Ираклий Евгению, весна 1817 (??), пф // ИРЛИ. № 26.371. Л. 1. *Вы знаете, что у меня...* – Б. к АФБ, 10-е числа сент. 1817, пф // Мат. С. 33–34; о.д. см. след. примеч. *Любезнейший братец... Я понадеялась...* – АФБ к Богдану Андр., 20-е числа авг. 1817 // А., л. 322–322-об. Принято считать, что Б. уехал с Богданом Андр. из Мары в янв. 1818. Это не так. Богдан Андр. следовал через Москву в Тамбов ок. 12–16.7.1817 (МВ. 1817. № 57. 18 июля), возвращался из Тамбова в Смоленскую губ. ок. 6–10.9.1817 (МВ. 1817. № 73. 12 сент.). В дек. 1817 – янв. 1818 в Москве бывал только Илья Андр., но он здесь жил и затем возвращался в Смоленскую губ. (МВ. 1818. № 1. 2 янв.; № 10, 2 февр). Иной кратчайшей дороги, кроме как через Москву, из Смоленской губ. в Тамбовскую не было. Дату проезда Б. и Богдана Андр. через Москву на пути из Мары можно назвать точно – на основании слов в одном из первых писем Б. к АФБ по возвращении в Подвойское: "...мы приехали туда в субботу, то был праздник, а уехали в воскресенье" (Мат. С. 32). Т.к. они миновали Москву, по сведениям МВ (см. выше), между 6–10.9.1817, ясно, что упоминаемая суббота – 8 сент. (рождество Богородицы), а воскр. – 9 сент. *Бува... "Лицей" ... "Кларисса".* – Содержание этого абзаца и приводимые в пер. цитаты – из письма Б. к АФБ от середины сент. 1817 // Мат. С. 32–33. О.д. –

см. пред. и след. примеч. "Лицей" — соч. Ж.-Ф.Лагарпа; "Кларисса Гарлоу" — С.Ричардсона. С. 109. *С чего начать...* — Б. к АФБ, 10-е числа сент. 1817, пф // Мат. С. 30—31. Это, судя по содержанию, первое письмо из Подвойского после возвращения из Мары. О.д. — упоминание проезда через Москву и строительства здания Манежа (Экзерцир-гауза).

1818. С. 109. *23 генваря...* — Приписка АФБ к письму Ираклия и Льва к Богдану Андр. 23.1.1818 // А., л. 311—311-об.; д.п. Зиму 1817—18 Ираклий и Лев провели в Маре. С. 110 *...голштинская кровь его...* — Имеется в виду то, что Александр, равно как и его братья Константин, Николай и Михаил, был сыном Павла I и внуком принца Карла Петра Ульриха (сына герцога голштинского (голштейн-готторпского) Карла Фридриха) — в 1761—62 бывшего росс. императором Петром III. С. 111. *В Москве роздано...* — 1.391.280 руб. (Дм. С. 366). *Дошло до сведения государя...* — Нач. Гл. штаба П.М.Волконский — моск. воен. губ-ру А.П.Тормасову 11.7.1818 // PC. 1903. № 8. С. 438; *...умер... Новиков.* — 31.7.1818; *.. полезный своею деятельностию....* — Карамзин. Т. 2. С. 233; *...Перец клеветал... на Гурьева...* — Конфликт Переца с Гурьевым случился в 1814. С. 112. *Несколько пожаров...* —Сухтелен. С. 351; запись от 9.5.1816; *...в сентябре... в путь.* — Б. к АФБ 6.8.1818, пф // Хетсо. С. 577. О.д. — см. 4-е примеч. к с. 103. О приезде АФБ в Москву осенью 1818 нет точных сведений, а лишь косвенные. Так, в том же письме от 6.8.1818 Б. спрашивает: "А вы, любезная маменька, не собираетесь ли также в дорогу?" В письме от окт.—нояб. 1818 Б. пишет к ней (из Пб.?): "Вот уже месяц, как я не имею вестей от вас, а ведь, уезжая из Москвы, я оставил вас больною... Возможно, дороги стали уже плохи..." (Хетсо. С. 579; пф). С. 114. *Русскими стихами...* — Вяземский А.И.Тургеневу 13.8.1824 // ОА. Т. 3. С. 76—77. *Там Лена, Обь...* — Ломоносов. "Ода... 1748 года". С. 116. *Старшего Креницына... в Глуховский...* — 22.3.1818 (Левшин. Т. 2. С. 272). *Товарищем его... Бестужев... Если же в Пажеском корпусе...* — Дек. С. 270. *При виде подлеца...* — Креницын А.Н. "К врагам" // СО. 1819. Ч. 56. № 36. 6 сент. С. 138. *О милый! я с тобой...* — "К Креницыну". *Следы мучительных страстей...* — "Бал". С.118 *...бледное лицо... задумчивость...* — См. портреты Б. в воспоминаниях Коншина, Путяты, *дяди Александра* (с. 137); *...прыгает по бульвару... по утрам рассказывает... Но при всем беспутном...* — А.И.Тургенев Вяземскому 4.12.1818 и 18.12.1818 // ОА. Т.1. С. 119, 174. *Александр Рачинский* (1799—1866) — старший сын Антона Мих. Рачинского (1769—1825; с 9.11.1796 по 9.6.1800 командира л.-гв. Егерского полка, затем, до 25.10.1800 пб. обер-полицеймейстера) и Александры Ник. (урожд. Потемкиной; 1781—1814), внук Михаила Конст. Рачинского и Ефросиньи Вас. (урожд. Боратынской, сестры Андрея Вас. Боратынского). Согласно свидетельству о рождении Ал-р Рачинский р. 1.10.1799, крещен Павлом I — 8.10.1799 в Павловске (P1. № 342. Л.2; № 268. Л. 24); 1.2.1817 — подпрапорщик л.-гв. Семеновского полка; 17.3.1819 — прапорщик; 3.5.1820 — подпоручик; 2.11.1820 переведен штабс-капитаном в Муромский пех. полк (при раскассировании Семеновского полка); 21.2.1821 переведен в Великолуцкий пех. полк; 8.3.1822 возвращен в Муромский; 4.6.1825 — капитан; с 17.11.1827 в отставке (P1. № 340. Л. 6—8-об.). 13.7.1826 высочайше повелено отдать под секретный надзор (Дек. С. 155, 308). Женат с 31.1.1830 на Варваре Абр. Боратынской; "поручителями же при совершении сего брака были: села Васильевки подполковник Александр Васильев Недобров и села Вяжли коллежский регистратор Евгений Абрамов Боротынский" (P1. № 342. Л. 1). С. 119. *...беседы о предметах общественных... везде ходили по рукам...* — Пущин И.И. Записки о Пушкине // Пушкин в восп. Т. 1. С. 96—97. *Ода на свободу* — "Вольность". "*Опыт теории налогов*" (Пб., 1818) — соч. Н.И.Тургенева. "*Естественное право*" — "Право естественное" (В 2 т. Пб., 1818—20), соч. Куницына; *...где то время, когда у Бурцова...* — Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 352; запись впервые расшифрована Ю.Н.Тыняновым. *Шляхтинский* Андрей Иванович (р. ок. 1797). В службе с 20.7.1812 пятидесятником в Смоленском ополчении (до 27.5.1813); 21.2.1814 — юнкер в 4-м резервном л.-гв. бат.; 31.7.1814 — в л.-гв. Егерском полку; 10.9.1815 — портупей-юнкер; 24.1.1818 — прапорщик; 27.2.1819 — подпоручик; 24.8.1819 переведен штабс-кап. в Орловский пех. полк; с 20.12.1821 в отставке (после судебн. разбирательства — т.к. не явился к полку из отпуска) (Дек. С. 202; ИД. Оп. 73. № 798). Известно письмо Шляхтинского к Кюхельбекеру от 22.3.1824; видимо, он переписывался и с Дельвигом (ЛН. Т. 59. С. 486). Дата его смерти неизвестна. В 1838 он жил в с. Несонове (Преображенском) под Рославлем; сохранилось его письмо к Ал-ру Рачинскому от 15.6.1838 (P1. № 400). *Ты помнишь милую страну...* — Стих. Б. "Т—му. (В альбом)". В Мат. (С. VI) воспроизведена карандашная помета С.А.Рачинского на полях татевского экземпляра Б-1827 против этого стих.: "à un Smolénien par Ш.Шляхтинскому". Почему имя Шляхтинского означено

С.А.Рачинским инициалом *Ш.*, не знаем, а касательно журнальн. заглавия думаем, что оно — следствие ошибки переписчика или наборщика, спутавшего заглавные *Ш* и *Т*, отчего вместо "Ш—му" было напечатано "Т—му". С. 120. *...в домике г-на Ежевского в Семеновских ротах.* — На углу Госпитальной ул. и Среднего пр. в Семеновском полку. Ныне: перекресток Бронницкой ул. и Клинского пр., участок д. 15/24. Деревянный одноэтажный дом Вас. Ежевского (Гижевского) снесен в 1909 г. (Шубин. С. 49, 314). *Я не сообщал вам...* — Б. к АФБ, нояб.–дек. 1818, пф // Хетсо. С. 580–581. Сведений о г-же Эйнгросс (или Гернгросс, как она названа в копии этого письма Б., сделанной Н.Л.Боратынской) мы не разыскали. В ЦГАЛИ (фонд Рачинских) сохр. некоторые материалы 1850–60-х гг., касающиеся семейства Гернгросс младшего поколения; *...богини из Оржевки.* — Оржевка принадлежала Дм. Мих. Мартынову (1759–1809), который до Аврама Андр. был тамбовским губерн. предводителем (1800–1803). Его дочери: Анна, Варвара, Евдокия, Елизавета (Норцов А.Н. Материалы для ист. тамбовского, пензенского и саратовского дворянства. Тамбов, 1904. Т. 1); о его сыновьях и об Оржевке см. с. 62. С. 121. *Дельвиг и Кюхельбекер.* — Последовательность знакомств Б. в Пб. не установить сейчас. Сведения о Б. в конце 1818–19 сохранились только в восп. Маркевича и в Вып.; о последнем источнике речь впереди (с. 125), а сведения, сообщаемые Маркевичем о Б., скудны и путаны. *Кюхельбекер жил...* — В 1817–20 Кюхельбекер жил в мезонине дома Благородн. пансиона на наб. Фонтанки, ныне д. 164; *Дельвиг* — В Троицком пер., ныне ул. Рубинштейна, дом не найден (Шубин. С. 320, 318). *Дельвиг... в Семеновские роты.* — Время переезда Дельвига неизвестно, но логично предположить: после того, как Шляхтинский был переведен в армию (24.8.1819 — см. примеч. к с. 119) и в конце авг. — нач. сент. 1819 уехал из Пб. Место жительства Б. и Дельвига обычно устанавливают по их стих.: "Там, где Семеновский полк, в пятой роте в домике низком...". *Пятая рота* (ныне Рузовская ул.) — через четыре улицы (роты) от прежней квартиры Б. у Гижевского; местоположение "домика низкого" неизвестно (Шубин. С. 49–51, 314). *У Кюхельбекера... Плетнев.* — РА. 1871. № 2. С. 075, 078. Следовало бы упомянуть и об их собраниях по субботам у Плетнева (жил в Военно-сиротском доме на Царскосельском пр., ныне Московский пр., 17 — Шубин. С. 145, 321). Но плетневские субботы, когда они собирались "на чисто поэтическую, человеческую беседу" (Коншин к Плетневу, 1844 // РС. 1909. № 1. С. 177), начались в конце 1820, и в полной мере Б. участвовал в них лишь с мая 1821; *...у Жуковского...* — С сент. 1818 и в 1819 Жуковский жил вместе с А.А.Плещеевым на углу Крюкова канала и Екатерингофского пр. в Коломне, ныне пр. Римского-Корсакова, 43 (Иезуитова Р.В. Жуковский в Петербурге. Л., 1976. С. 290). *Измайлов напечатал...* — См.: Опыт, 1818, февр., 28. С. 122. *И Чернышев, приятель, хват...* — Коншин. "К нашим" (лето 1822) // Поэты. С. 353–354. *Болтин-улан...* — Там же. С. 742; *...при первых приготовлениях...* Вып. С. 251. *Чернышев* Павел Ник. — 18.12.1812 произведен в прапорщики из юнкеров в л.-гв. Егерском полку; с 25.12.1822 в отставке капитаном. Чернышев Дмитрий Ник. — 18.12.1812 произведен в прапорщики из портупей-юнкеров в л.-гв. Егерском полку; 17.4.1816 — переведен в Пензенский пех. полк штабс-кап. (Егер. Прил. С. 24). Ок. 1816–17 Д.Н.Чернышев вышел в отставку (Вып. С. 280). *Некогда известного... Эртеля...* — Мориц Эртель (брат В.А.Эртеля) к Вяземскому 15.9.1857 // ЦГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 3105. Л. 1. Вот некоторые сведения о В.А.Эртеле (ок. 1793–95 — 1847) по его ф.с. от 2.4.1845: "прусский уроженец, сын профессора и доктора феологии"; с 21.3.1844 — российский подданный (до того — прусский подданный); 1.8.1817 — гувернер и учитель нем. яз. в благородн. пансионе при Царскосельском лицее; с 1.1.1819 в отставке, "занимался учением по частным местам"; с 1.8.1820 по 30.3.1829 — учитель нем. словесности в Екатерининском лицее; в 1823 — "за утратою прежде полученного им от Лейпцигского университета диплома получил вновь таковый диплом на звание доктора философии и магистра свободных искусств"; 10.4.1826 — титулярный советник; 15.11.1827 "поступил учителем немецкой словесности к наследнику"; с 22.6.1828 по 25.5.1833 — библиотекарь при 2-м отделении Академии наук; 25.5.1833 определен в Академию художеств письмоводителем для иностр. переписки и библиотекарем; с 24.2.1834 по 4.3.1837 — учитель нем. словесности при Воен. академии; 19.4.1835 — надворный советник; с 20.7.1835 по 30.12.1837 — главн. редактор Комиссии для перевода на нем. яз. Свода законов; с 17.3.1844 — библиотекарь в Имп. Публичной библиотеке. Коллежский советник. "Вероисповедания евангелическо-лютеранского. Женат на девице дочери полковника Шифлера Кристине Крестьяновой". Дети: Александр, Михаил, Анна, Ольга (ЦГИА. Ф. 472. Оп. 32 (323/1125). № 821. Там же — ф.с. Эртеля за 1837, 1838, 1840 гг. и др. документы: №№ 67, 77, 287 и др.; ф.с. за 1818: Там же. Ф. 1349. Оп. 4. № 55. Л. 81–82). Список его трудов см.: Рус. биографич. словарь. Пб., 1912. Т. 24. С. 282. *К нам приехал Пашка Чернышев.* — В.А.Эр-

тель к Б. 19.2.1836 из Пб. в Москву // ИРЛИ. № 21.749. Л. 1. Ниже приводим это письмо полностью (Л. 1–2-об.; а/т): "Здравствуй, мой милый, любезный Боротынский! – Как я жалею, что Ты не знаешь немецкого языка; ибо ты богат душою и воображением; а немецкий есть язык сердечный и фантастный; и я бы тогда на своем природном языке сказал Тебе гораздо лучше, сколь искренно я Тебя люблю. При моем посещении в Москве я, конечно, нашел все возможные удовольствия и рассеянности, но все-таки я остался недовольным: я Тебя не видал, а только взглянул на Тебя; я не видал Тебя в круге своего семейства; не видал, не поцеловал Твоих детей. Давно я собирался писать Тебе; но я теперь в работе хуже извозчической лошади, потому что по Высочайшему повелению учреждена для перевода Свода Законов на немецкий язык Комиссия, которой я директором; а срок дан *двухгодичный*. Наконец время за перо, благодаря молодого артиста, отправляющегося в Москву, который просил у меня рекомендательных писем. Поэт есть рожденный друг и покровитель Артиста, и так я его адресую к Тебе как брату в Аполлоне, и он истинно достоин, чтоб Ты его любил и хлопотал за него всеми силами; он прямой талант, или лучше сказать: Гений – творец в музыке. Представь себе: дают ему любую, незнакомую тему, а он, после нескольких минут размышления, из нее сочиняет не пиесу, но поэму. Признаюсь, что я подобного феномена в этом роде не видал. Гуммель не может сравниваться с ним. Его фамилия Штейн, и он в Москве желает дать один или несколько концертов и также играть в частных домах. Не откажи ему, пожалуйста, в своих советах касательно цены, выбора домов и вообще содействуй, сколько можешь, в успехе его предприятия. – К нам приехал Пашка Чернышев, и мы с ним почти неразлучны. Тогда исчесает для нас настоящее, и мы живем в прошедшем; а что тогда и частехонько поминаем о Тебе, это Ты можешь вообразить себе. Он обнимает и целует Тебя от всей души. – Наша Литература сделалась торговкою; а именно такой, как Ты, верно, в старые времена встречал на Щукином дворе. Из Литераторов я никого не вижу, кроме Жуковского и Плетнева; последний из них не переменился. – И с тем, любезнейший Евгений, прощай! Желаю Тебе и Твоим здоровия и всякого благополучия. Если будет время, то обрадуй меня письмецом. Мое нижайшее почтение Ф.Н.Глинке. Кланяйся всем, которые помнят меня. Прощай! – Твой душевно и навсегда преданный – В.Эртель. – Заинтересуйте в пользу г-на Штейна Ваших ценителей искусств и Ваших журналистов. – С.Петербург. – 19 февраля 1836" (постскриптум – пф; Штейн Федор Фед. – в будущем профессор Пб. консерватории; в 1836 ему было ок. 17 лет). *Болтин* Илья Александрович (1795–1856) – переведен из Изюмского гусарского в л.-гв. ее величества Уланский полк в 1819 (Улан. Прил. С. 10). *Рост его... телосложение...* – Вып. С. 277. *Черевин...* – Улан. Прил. С. 34; А.Д.Черевин вышел в отставку в 1824. С. 123. *Что ни говори...* – Слова Вяземского // Пушкин в восп. Т. 1, С. 157. *Баратынский и Лев Пушкин...* – Там же; *...брызжет радостная пена...* – Из "Пиров". *Русский альманах* на 1832 и 1833 гг. Пб., 1832. Ц.р. 20.8.1832; нем. изд "Russischer Almanach für 1832 und 1833". С. 125. *ВЫПИСКА ИЗ ВЫПИСКИ...* – Вып. С. 281–285. Из повествования, предшествующего рассказу о встрече *дяди Александра* с Б. и Дельвигом, явствует: *дядя Александр*, сын генерала от инфантерии графа Бориса Федоровича М., учился в пб. пансионе; с авг. 1813 в армии; ранен под Лейпцигом; едва не умер; находясь на излечении в Праге, влюбился; в Праге же встретился со своим пансионским другом П.Н.Ч. (Чернышевым); с ним и его братом Дмитрием вернулся в Пб. весною 1815; затем три года лечился от последствий ранения в теплых краях; вернувшись осенью 1818 в Пб., определился в лейб-уланы. Далее в "Выписке из бумаг моего дяди Александра" идет рассказ о новых полковых товарищах – А.Д.Ч. (Черевине), И.А.Б. (Болтине); И.Н. (м.б., это Иосиф (Осип) Новицкий – штаб-ротмистр л.-гв. ее величества Уланского полка в 1819 – см.: Улан. Прил. С. 33). После этого следует приводимый нами фрагмент. – Среди лейб-улан в конце 1810-х – нач. 1820-х не было Александра Борисовича М. (см. Список офицеров л.-гв. ее величества Уланского полка // Улан. Прил.). Нет такого и среди известных нам двоюродных братьев Б. (как называет себя *дядя Александр*). М.б., истинное имя мемуариста изменено или *дядя Александр* – не более чем лит. персонаж. – В опущенной нами части "Выписки" упомянуто, что дом графа Бориса Федоровича М., в котором остановился Б., находился близ Владимирской церкви – в тех же местах стоял дом дядюшки Петра Андр., у которого Б., действительно, жил, и когда учился в пансионе и в Паж. корпусе и впоследствии. – Традиционно считается, что автором всей "Выписки" был В.А.Эртель. В.П.Гаевский, его младший современник, утверждал, что "Выписка" первонач. написана на нем. языке и затем переведена на русский (Гаевский. С. 29). Но, разумеется, ошибочно считать самого Эртеля кузеном Б., знавшим того с детских лет. Эртель был родом из Пруссии, обучался в Лейпциге, прибыл в Россию ок. 1817 (см. его ф.с. выше) и мог познакомиться

с Б. не ранее конца 1818 – нач. 1819. – Ряд фактов, приводимых в "Выписке", подтверждается документально др. источниками – например, точно названы места службы обоих Чернышевых, Черевина и Болтина. В послании Коншина "К нашим" (см. примеч. к с. 122) назван тот же круг лиц, что и в "Выписке": Б., Дельвиг. П.Н.Чернышев, Болтин. Это позволяет опираться на мемуары *дяди Александра* и в биографич. рассказе о Б.

1819. С. 127. *ВЫПИСКА ИЗ ВЫПИСКИ... ПРОДОЛЖЕНИЕ.* – Вып. С. 296–301. **С. 128** *...он человек... занимательный...* – Б. к Путяте, вт. пол. февр. 1825 // РС. 1875. № 7. С. 377; Б-1987. № 19; см. также Опыт. *Кюхельбекер много печатал.* – Маркевич. С. 296. **С. 129.** *Арист, поверь...* – "К другу-стихотворцу" (1814). *В самом себе блажен поэт.* – Дельвиг. "Поэт" (ок. 1820). *ПИСЬМО К МОЛОДОМУ ПОЭТУ.* – Пер. Кюхельбекера из К.М.Виланда // СО. 1819. Ч. 57. № 45. 8 нояб. С. 193, 196, 197, 198, 201, 213. **С. 130.** *На сходках наших...* – Вяземский. ЭиК. С. 349. *Быв двадцатилетним юношей...* – Коншин. *Во всяком случае был он... Спрашивали у одного англичанина...* – Вяземский. ЭиК. С. 349. *Дельвиг вообще любил...* – Коншин. *Благодаря... юмору...* – Керн. С. 49–50. *Дельвиг почти не умел смеяться...* – Коншин. *Он всегда шутил... Он так мило...* – Керн. С. 80–81, 76. *Болезненная полнота...* – Коншин. *Дельвиг был суеверен...* – Дельвиг А.И. С. 78–79. **С. 131.** *Дельвиг не любил...* – Пушкин. "Table-talk"; *...мысль о свободе...* – Маркевич. С. 293. *Во время пребывания...* – Якушкин И.Д. Записки // Дек. Избр. Т. 2. С. 393, 396. *Je veux étendre...* – Из речи Александра I на Варшавском сейме в 1818. *Польша получила конституцию...* – Муравьев А.М. Мой журнал // Мем. С. 124. *Царь влюблен в Польшу... Разводы, парады...* – Якушкин И.Д. Записки // Дек. Избр. Т. 2. С. 389, 388; *...le gouvernement est...* – Пушкин. "Записки по рус. истории XVIII в." (1822); *...до Занда, до Чугуева, до Шварца, до Ипсиланти.* – Имеются в виду события 1819–21 гг.: убийство А.Коцебу К.Зандом; подавление бунта в чугуевских воен. поселениях, возглавленное Аракчеевым; волнения в Семеновском полку, вызванные жестокостью полкового командира Шварца; восстание за освобождение Греции, началом к-рого стало выступление отряда ген.-майора А.Ипсиланти. **С. 132.** *V.C.P.* – "Veuve Cliquot Ponsardin", сорт шампанского. *Не плачь, дитя...* – Пушкин. "Noël" (1818). *Люблю с красоткой записной...* – "Моя жизнь" Боратынского (1819). *Я люблю вечерний пир...* – Пушкин. "Веселый пир" (1819); *...ум высокий можно скрыть...* – Пушкин. "К Каверину" (1817). *В углу безвестном Петрограда...* – "Пиры"; *...он не снял с головы картуз...* – Гиперболический пересказ случая с Пушкиным (см.: Пушкин жене 20–22.4.1834). *Другой рассказывает...* – См.: Маркевич. С. 296: случай с отцом Кюхельбекера. **С. 133.** *Не помню, по какому поводу...* – А.И.Тургенев Вяземскому 11.11.1818 // ОА. Т. 1. С. 167–168. *Се самый Дельвиг тот...* – Пушкин. "К портрету Дельвига". *Дельвиги жили...* – Дельвиг А.И. С. 107–109.

С. 134. Предисловие к части третьей. Ознакомившись с источниками суждений, помещенных в этом предисловии, читатель убедится в том, что перед ним слова не только разных людей, но и оценки разных лет, в том числе такие оценки, которые учитывают и облик Б., обозначившийся в 1830-е годы, и творчество его уже той эпохи, до какой наша повесть не доходит. К тому же известно, что мнение о Б. у иных его современников менялось с течением времени. Так, восхищение А.А.Бестужева 1822–23 гг. ("Взгляд на старую и новую словесность в России" // ПЗ. 1823) сменилось к 1825 г. разочарованием в "исфранцузившейся" музе Б. (см. с. 257); высокомерная пренебрежительность В.Г.Белинского 1835 года (см. его отзыв на с. 138) к 1842 г. перешла в уважительное несогласие с позицией Б. – поэта и человека, принадлежащего к чуждому для Белинского старшему поколению (см. рец. в "Отечеств. записках", 1842, Т. 25, № 12). – Но в настоящем предисловии составитель его не имел цели проследить изменение взглядов друзей или критиков Б., равно как и изменения, происходившие с самим Б. Напротив, мы желали здесь обнаружить некоторое единство противоречивого впечатления, явно ощутимое в мнениях людей разных поколений. *Взгляни на лик холодный сей...* – Из стих. Б. "Надпись". *Между тем, как мы воображали...* – Плетнев. "Письмо к графине С.И.С. о рус. поэтах" // СП. 1825. С. 65. *Первые произведения...* – Пушкин. "Стихотворения Евгения Баратынского" (1827). *От природы получил он...* – Киреевский. С. I–II. **С. 135.** *Воспитание его...* – Полевой. С. 213. *В первом детстве...* – Киреевский. С. II. *Страсть и способности...* – Путята. Восп. Л. 21. *Однажды спрашивали...* – Боратынский Л.Е. // Б-1869. С. 396. *Любовь к Поэзии...* – Путята. Восп. Л. 21–21-об. *Я уверен...* – Полевой. С. 214. *Баратынский никогда...* – Вяземский. ЭиК. С. 346. *Он не был фанатиком ничьим...* – Полевой. С. 214. *Я еще вспомнила...* – Керн. С. 295. **С. 136.** *Отчасти он обязан...* – Полевой. С. 214. *Баратынский не был с ним искренен...* – Рассказы о Пушкине П.В. и В.А.Нащокиных // Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И.Бартеневым в 1851–1860 годах. М.,

1925. С. 28. *Это сущая клевета...* – Слова Соболевского на рукописи "Рассказов о Пушкине..." // Там же. *Я помню...* – Дмитриев М.А. С. 201. *Доволен я собой...* – Вяземский. "Моя исповедь" (ок. 1854). *Они были... по большей части...* – Панаев. С. 264. *Пушкин с Баратынским...* – Признание Погодина // Пушкин в восп. Т. 2. С. 31. Речь идет о 1827–28 гг. *Чем более вижусь...* – Вяземский А.И.Тургеневу, перв. пол. окт. 1828 // ОА. Т. 3. С. 179–180. *Никто более Баратынского...* – Пушкин. Отрывки из писем, мысли и замечания (1827). *О гений на все роды!.. Остер, как унтерский тесак... Он щедро награжден...* – Из стих. Федорова, А.Е.Измайлова, Остолопова (см. примеч. к с. 228, 229). *Баратынский не ставил...* – Керн. С. 76. *Что это за человек...* – С.М.Боратынская (Дельвиг) – А.Н.Карелиной, 13.11.1833 // Модз. С. 269. С. 137. *Неизъяснимая прелесть...* – Вып. С. 282. *Однажды, пришед...* – Коншин. Восп. С. 390. *В залу вошли...* – Пассек Т.П. Из дальних лет. Воспоминания. М., 1963. Т. 1. С. 239. *Его бледное лицо...* – Вып. С. 282. *Он был худощав...* – Путята. Прим. С. 264. *Но несмотря на наружность...* – Вып. С. 282. *Баратынского вечно...* – Л.С.Пушкин Соболевскому, май 1826 // РА. 1878. № 11. С. 397–398. *Какой несчастный плод...* – Б. к Путяте, нач. авг. 1825 // Б-1951. № 16; Б-1987. № 25. *Он ни минуты...* – Из указ. выше письма Л.С. Пушкина Соболевскому. *В 1826 году...* – Коншин. Восп. С. 400. *Баратынский – прелесть...* – А.С.Пушкин А.А.Бестужеву 12.1.1824. *Не можем не изъявить...* – Сенсерский (Бестужев-Рюмин М.А.). Рец. на "Наложницу" // Гирланда. 1831. Ч. 1. № 15. Ц.р. 7 авг. С. 380. *Стихотворения Баратынского...* – Рец. на Б-1827 // СО. 1827. Ч. 116. № 21. Ц.р. 27 окт. С. 79. С. 138. *Баратынский принадлежит...* – Пушкин. "Баратынский" (1830). *Несколько раз перечитал я...* – Белинский. "О стихотворениях г. Баратынского" // Телескоп. 1835. Ч. 27. № 9. С. 134. *Г.Баратынский – поэт элегический...* – Рец. на Б-1835 // БдЧ, 1835. Т. 10. Отд. У. С. 2. *Поэзия г-на Баратынского...* – Рец. на "Сумерки" (М., 1842) // БдЧ. 1842. Ч. 53. Отд. VI. С. 4. *Если Поэт удовлетворяет...* – Рец. на "Наложницу" // СО и СА, 1831. Ч. 20. № 21. С. 59. *Новое сочинение...* – Надеждин. Рец. на "Наложницу" // Телескоп. 1831. Ч. 3. № 10. С. 236–239. *Баратынский поэт...* – Полевой. С. 214. С. 139. *Никогда не старался...* – Пушкин. "Баратынский". *Некоторые упрекали...* – Боратынский Л.Е. // Б-1869. С. 396. *Во всяком случае...* – Вяземский. ЭиК. С. 346–347. *Все четверо...* – Дельвиг А.И. С. 189. *С.А.Соболевский, который...* – Чичерин. С. 508. *Баратынский часто...* – Киреевский. С. VI. *У него были...* – Полевой. С. 213–214. *Именно в такое время...* – Жуковский А.Н.Голицыну 2.1.1824 // Жуковский. С. 582. *Он унтер-офицер...* – Из стих. Остолопова (см. примеч. к с. 229). *Государь в судьбе...* – Жуковский. Указ. письмо. *Я не хочу говорить...* – Коншин. Для немногих. Под Овидием и Августом здесь разумеются Б. и Александр I. *Мы помним Баратынского...* – Сенковский О.И. // БдЧ. 1844. Т. 66. Отд. V. С. 7–8. С. 140. *Этому разочарованию...* – Коншин. Восп. С. 399. *Нисколько не казался он...* – Полевой. С. 213. *Но молодость его...* – Киреевский. С. II. *Баратынский, говоря...* – Из Нобелевской лекции И.А.Бродского.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. С. 140. *Флигельман* – фланговый солдат передней шеренги. *Дивизион* – рота. *Темп* – способ. Сведения о порядке команд при исполнении ружейных приемов см.: Воинский устав о пехотной службе. Пб., 1816. С. 141. *Другое дело – караулы и разводы.* – Об участии Б. в караулах и разводах свидетельствуют немногие упоминания: 1. В послании "Дельвигу" (1819): "Но теперь я муз и граций // Променял на вахт-парад... // Твой поэт летит геройски // Вместо Пинда – на развод". 2. В письме Б. к АФБ от конца марта – нач. апреля 1819: "Любезная маменька. Благодарю вас от всего сердца за присылку денег 500 р. на мои нужды и поздравляю с праздником Воскресения Христова... Я не успеваю вам более писать, ибо еду в караул..." (Мат. С. 38. О.д. – упоминание Пасхи: в 1819 – 6 апр.). *Самым сложным по своим обязанностям...* – Гангеблов. С. 38, 40. *...один раз меня поставили на часы.* – Кичеев. С. 870. С. 142. *Он не на шутку...* – А.И.Тургенев Вяземскому 12.3. 1819 // ОА. Т. 1. С. 202. *Баламут* – шулерский способ расположения карт г колоде. С. 143. *L'esclavage est...* – Лунин М.С. Письма из Сибири. Л., 1987. С. 44, 18. *Шишков читал...* – Рассказ И.И.Дмитриева в записи Вяземского // Дм. С. 450; *...по поводу статьи...* – Дельвиг А.И. С. 116. С.144. *У нас не только нет рабства...* – Дух журналов. 1818. Ч. 26. № 12 (20 марта). С. 94 (366); *...с неба чистая...* – Стих., приписываемое Б. *Афей* – атеист; *...с поступлением в полк...* – Из дела о производстве Ал-ра Креницына в унтер-офицеры (Рапорт нач. гл. штаба 1-й армии И.И.Дибича Александру I от 18.4.1821 из Могилева // ИД. Оп. 73. № 552. Л. 4); *...высочайше повелено... точно ли раскаивается...* – Там же. Л.1 (надпись на полях прошения матери Креницына; прошение – от 20.2.1821, надпись – от 11.3.1821). С. 145. *Тебя я некогда любил...* – "К Алине". *Ужели близок час свиданья...* – Цит. в первонач. ред.

1820. С. 147. *Les marais finois...* – Д.П.Бутурлин А.Н.Оленину 6.1.1809 // РА. 1870. Т. 8. С. 1204. *Наблюдения погоды.* – СПВ. 1820. 6, 9, 13, 16 янв. С. 148. *По пред-*

писанию бригадного командира... – Рапорт в Инспекторский деп-т Гл. Штаба 11.1.1820 (копия) в Журнале регистрации исходящих документов л.-гв. Егерского полка на 1820 г. // ЦГВИА. Ф. 2576. Оп. 2. № 275. Л. 27-об. – 28. Там же – копия отношения в Нейшлотский полк от 11.1.1820 о том, что "Евгения Боратынского... с формулярным о службе и арматурным списками равно и аттестатом об окончательной даче денежного жалованья и указного месячного провианта по выключке из полкового списочного состояния... препровождает. О получении ж как бумаг, равно и его, Боратынского, по прибытии благоволено б было уведомить..." (Л. 28). Предписание Николая о переводе Б. получено в Егерском полку 4.1.1820, и Б. был "выключен того ж числа" (Входящий журнал л.-гв. Егерского полка для записывания получаемых из разных мест бумаг на 1820 г. // Там же. № 276. Л. 3). *Нейшлотский пехотный полк* – вместе с Выборгским пех. полком входил в состав 1-й бригады 23-й пех. дивизии; назван так по селению Нейшлот (ныне г. Савонлинна); *...Фридрихсгаме... для Исаакиевского собора...* – Бестужев Н.А. Письмо к издателю // СО. 1820. Ч. 65. № 44. С. 174. *Лутковский* Георгий (Егор) Алексеевич (р. ок. 1785 – ум. не ранее весны 1832), из дворян Тверской губ. Ржевского у.; с 26.10.1798 – унтер-офицер Полтавского пех. полка; 25.1.1800 – поручик; 30.8.1804 – капитан; 12.1.1807 – переведен в 27-й Егерский полк; 6.3.1808 – майор; 11.4.1817 – подполковник; с 5.6.1818 – командир Нейшлотского полка; 30.8.1821 – полковник (ИД. Оп. 127. № 199. Л. 2-об.–3). Впоследствии – командир 1-й бригады 5-й пех. дивизии. "Находясь в 32-х делах против неприятелей, где, будучи жестоко ранен в левую ногу двумя пулями, контужен картечью в грудь и в правое плечо ядром... в продолжении... службы и сделанных 11 кампаний не щадил ни жизни, ни трудов, ни здоровья" (ИД. Оп. 21. № 349. Л. 1 дело об увольнении в отпуск от 11–26.2.1832). Женат на Елене Ив. урожд. Сутгоф, дочери генерал-майора. Родство с Б. у Лутковского – через его брата Василия, женатого на троюродной сестре Аврама Андр. – Елизавете (см. 7-е примеч. к с. 103). *Александр... не имел обыкновения жаловать... офицерским чином.* – См. о повышении в чинах С.Карповича, А.Креницына, С.Абазы: примеч. к с. 95, 144, 260. *Оден* – Один, верховный бог в скандинавской мифологии. **С. 149.** *Здесь в думу важную...* – "Финляндия" (1-я ред.); *...о каменистый брег...* – Там же (написано в янв.–апр. 1820); *...благоуханный май...* – Из "Весны" (написано к сер. марта 1820). *Парят Поэты...* – Кюхельбекер. "Поэты". **С. 150.** *Горевали, пили...* – А.И.Тургенев Вяземскому 20.11.1818 о том, как провожали в Италию Батюшкова (ОА. Т.1. С. 150). Просим читателя извинить сей анахронизм. **С. 151.** *Боратынский... 26-го генваря.* – Баз. С. 443. *Просвещая всех...* – Из Законоположения Союза Благоденствия // Дек. Избр. Т. 1. С. 21–23; там же слова Екатерины II. **С. 152.** *Ты помнишь ли те дни...* – "Послание к б. Дельвигу". *Помнишь, Евгений...* – Дельвиг. "Евгению". *Не в языке, а в самых чувствованиях...* – Бобров С.С. Происшествие в царстве теней (1805) // Учен. зап. Тартусского ун-та. Тарту. 1975. Вып. 358. С. 276–277. Публ. Ю.М.Лотмана и Б.А.Успенского; *...мать дочери велит...* – И.И.Дмитриев Вяземскому 18.10.1820 // Дм. С. 399. *Законы осуждают...* – Карамзин. "Остров Борнгольм"; *...власть тиранов задрожала.* – Кюхельбекер. "Поэты"; *...кинжала Зандова...* – Из эп-мы Пушкина на Аракчеева. *Департамент Кочубея* – министерство внутр. дел. *Мы не будем пересказывать...* – См. Баз. С. 122–134. **С. 153.** *Не удивляюсь, что своевольные...* – Каразин Александру I // РС. 1871. Т. 3. № 1. С. 30–35. *Дух развратной вольности...* – Эти и последующие высказывания из дневника Каразина и его записки к Александру I цит. по: Баз. С. 136–140. **С. 155.** *Помнишь, Евгений...* – Дельвиг. "Евгению". *Ты помнишь ли те дни...* – "Послание к б. Дельвигу" ("Где ты, беспечный друг..."). *Ты помнишь ли, в какой...* – "Дельвигу" ("Дай руку мне..."). *Боже мой! Как!..* – Каразин. Дневник // Баз. С. 140. **С. 156.** *4-го июня...* – РС. 1899. Т. 98. № 5. С. 277–279. *Поелику эта пьеса была читана... после того, как высылка Пушкина сделалась гласною...* – Каразин сблизил два времени: Кюхельбекер читал "Поэтов" в ВОЛРС 22 марта, а о высылке Пушкина стало известно в 20-х числах апреля. **С. 158. ПОСЛАНИЕ К БАРОНУ ДЕЛЬВИГУ.** – Цит. 1-я ред. **С. 159** *... он был... выслан из Петербурга.* – Каразин был необоснованно заподозрен в октябре – ноябре 1820 в причастности к возмущению Семеновского полка (Баз. С. 183–191). *Я пишу просто...* – Коншин. Восп. С. 389–392. **С. 161.** *Будь дружен с музою моею...* – Коншин цитировал стихи Б. частью по Б-1827, частью по памяти; *...выпросил его к себе в роту.* – Изучение бумаг ОФК за 1820–25 гг. дает основания считать, что Б. числился в 1-м бат.,; *...один благородный финляндец...* – О.В.Аммонт (см. о нем след. примеч.). **С. 162.** *Лутковский* – См. 4-е примеч. к с. 148; при взятии Варшавы 25.8.1831 он был ранен, *Хлуденев* Иван Гурьевич убит. *Комнено* Дмитрий Христофорович (?) – выпущен из Паж. корпуса 31.5.1815 прапорщиком в Нейшл. полк (Левшин. Т. 2. С. 270), в 1825 – штабс-капитан, в 1827 – капитан л.-гв. Гренадерского полка. *Штейнгейль* Фаддей Фаддеевич (1762–1831) – генерал-губернатор Финляндии в 1813–23. *Клеркер* Карл Густав (1798–

1853) — в 1820—21 подпоручик, с февр. 1822 поручик Нейшл. полка; в 1823 прикомандирован к Финл. кадет. корпусу. *Эссен* Одерт Вильгельм (1801—1841) — в 1820 прапорщик Нейшл. полка; *...это три пажа, старые товарищи Боратынского.* — Они выпущены из Паж. корпуса прапорщиками в Нейшл. полк: Комнено 31.5.1815, Клеркер 20.3.1819, Эссен 27.1.1820 (Левшин. Т. 2. С. 270, 273, 274). *Аммонт* Отто Вильгельм (Аммондт Василий Васильевич) (1795—1861) — с марта 1819 поручик, с февр. 1821 штабс-капитан, с авг. 1822 капитан Нейшл. полка (см. о нем также с. 240). *Рамсай* — Рамсе Густав Адольф (1794—1859) — в 1819—22 капитан Нейшл. полка; с июня 1822 майор Выборгского полка. *Лёвстрем* —офицер Петровского (?) полка. *Брун* — офицер Нейшл. (?) полка. О Клеркере, Эссене, Рамсе, Аммонте, Лёвстреме, Бруне см.: Амбус. С. 133—143. *Ридингер* Александр Карлович (ум. 21.9. 1825) — в 1814—25 командир 23-й пех. дивизии (в нее входил Нейшл. полк). В л.-гв Егерском полку служил в 1801—1809. **С. 163.** *19 апреля...* — См.: Опыт; *...кончину Богдана Андреевича* — 23.4.1820; он, видимо, умер в Москве (см. примеч. к с. 66). *Настала весна...* — Коншин. Восп. С. 392—393. *Мы выступили в... Вильманстранд...* — В летнем лагере под Вильманстрандом 1-й и 3-й бат. Нейшл. полка находились с 15 мая по 1 июля 1820 (ОФК. Св. 21. № 246. Л. 8, 9, 27). **С. 164.** *Тропинка, ведущая...* — Керн. С. 61—62; воспоминание о путешествии на Иматру 28.6—1.7.1829. *Боратынскому оставалось...* — Коншин. Восп. С. 393—394. **С. 166.** *Путята.* — О нем см. 1-е примеч. к с. 256. *Неблагоприятные обстоятельства...* — Путята. Восп. Л. 21-об.—22. **С. 167.** *Числа 12-го декабря...* — О приезде Лутковского в Пб. между 12 и 15 дек. см.: СПВ. 1820. № 101. 17 дек.; Б. был в отпуске с 11.12.1820 по 1.3.1821; в дек. 1821 Лутковский представил Б. к производству в прапорщики (судим по письму Б. к Уварову от 12.3.1821; см. с. 170—171). *Укрывшись от толпы... Не призрак счастия...* — "Сельская элегия" ("Родина"). **С. 168.** *...решения государя из Троппау.* — В Троппау (ныне Опава) с 11 (23) окт. по 12 (24) дек. 1820 длился конгресс Священного союза. *В Семеновском полку... неповиновение.* — 16—18.10.1820; *...у соревнователей... читал "Пиры".* — Баз. С. 390. На след. заседании 20.12.1820 Б. отсутствовал (Там же). *Иной человек посреди...* — См. с. 98 и примеч. к ней. **С. 169.** *Болящий дух врачует песнопенье...* — Стих. Б. перв. пол. 1830-х гг. *Беляев* Ал-р Петр. (1803—1887) — мичман Гвард. экипажа с 5.3.1820 (Дек. С. 18). *Она была черкесского...* — Беляев А.П. Воспоминания о пережитом и перечувствованном с 1803 года // РС. 1880. Т. 29. № 12. С. 829—831.

1821. С. 170... *один из главных... Лев Пушкин...* — "В Университетском Пансионе у Кавелина... ученики требовали перемены учителей, именно в географии и русской словесности... Кавелин не нашелся и напал, кажется, на невинного, или, по крайней мере, на менее виновного, по одному только его имени: это брат поэта Пушкина. Его выгнали из Пансиона, но товарищи вступились за него. Когда Кавелин сказал ученикам: "Знаете ли, что я имею право вас высечь?" — "Вы имеете силу, а не право", — отвечали они, и это самые малолетние, большие к ним присоединились. Сказывают, что они порядочно поколотили географа" (А.И.Тургенев Вяземскому 26.1.1821 // ОА. Т. 2. С. 147). *Куницына ... уволили.* — В марте 1821; *...противоречащей явно...* — Цит. по: Григорьев В.В. Имп. Санктпетерб. университет. Спб., 1870. С. 369. *Ипсиланти... перешел Прут.* — 23.2.1821; *...в "Невском зрителе".* — Рылеев. "К временщику" // НЗ. 1820. № 10. *Ваше превосходительство...* — Хетсо. С. 582. *Анна Николаевна* — Бантыш-Каменская, сестра воспитывавшейся вместе с АФБ в Смольном Екатерины Ник. Бантыш-Каменской (р. 1779). (Черепнин. Т. 3. С. 489); они были дочерьми Николая Ник. Бантыш-Каменского (1737—1814), управляющего Моск. архивом Мин-ва иностр. дел, и старшими сестрами Дмитрия Ник. Бантыш-Каменского (1788—1850), будущего автора "Словаря достопамятных людей Русской земли"; обе упомянуты в письме АФБ 29.6.1816 (см. с. 97). **С. 171.** *Я не видал человека...* — Коншин. Для немногих. *Gettate mi...* — слова Т. Тассо. *Она была дочь...* — Свербеев. С. 225—229; *говорила на четырех языках* — на фр., англ., нем., итал. **С. 172.** *И как же она... напугала.* — Воспоминание Д.Н.Свербеева // СДП-1. Л. 3; опубл.: Дризен Н.В. Литературный салон 20-х годов // Ежемес. прил. к журн. "Нива". 1894. № 5. С. 4—5. **С. 173.** *Опасного ее бегите...* — Богданович Н.П. "К портрету *****" // НЛ. 1822. Кн. 2. № 15. Ц.р. 3 окт. С. 32. *Боратынский... сказал.* — Запись в альб. П.Л.Яковлева // Медведева. С. 121. *Дикой козочкой...* — Свербеев. С. 226. **С. 174** *...два или три непризнания в любви.* — См. главы I, II и III романа "С.Д.П." (с. 192—193). *Мы не столько любили...* — Коншин. Для немногих. *Отказ... ожесточил его...* — Коншин. Восп. С. 394—396; *...повеленье: выступить в С.П.Бург...* — 13.4.1821 1-й бат. Нейшл. полка должен был выступить из Ликол. казарм, 15.4. и 17.4. — 2-й и 3-й бат-ны; к 30.4. полк должен был прибыть в Парголово, 2.5.— вступить в Пб. (ОФК. Св. 27. № 302. Л. 4-об.); *...гвардии повелено было.* — Приказом Александра I от 10.3.1821 в апреле "двинуты за границу Отдельный Литовский корпус и <7-й пех.> корпус <А.Я.> Рудзевича; 1-я армия

должна была приблизиться к границам, а гвардейскому корпусу и 1-й гренадерской дивизии для замещения корпусов, подвинутых на запад, было высочайше повелено занять пространство между Полоцком, Витебском, Велижем, Великими Луками и Опочкою" (Егер. С. 177; Дирин. Т. 2. С. 107). В Пб. гвардия вернулась в июне–июле 1822. **С. 175** *...поэзия в первый раз...* – Батюшков. Речь о влиянии легкой поэзии на язык (1816). *Но каков Баратынский!..* – Пушкин Вяземскому 2.1.1822. **С. 176** *...истинное чувство облекается...* – Путята. Восп. Л. 21-об.; *...признания в нелюбви.* – "Разуверение" и "Признание" цитируются по последним их ред. **С. 177.** *...встречи с ...Варенькой побудили записать.* – См.: Опыт, 1821, не позднее осени. **С. 178.** *Надежда и волнение... Безнадежность и покой...* – "Две доли" (1822–23). *Любить и лелеять... Томимся мы...* – "Дельвигу" ("Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...") (1820–?). *Не верь прелестнице... Я сам обманываться...* – Из Посл. Дельвигу ("Я безрассуден – и не диво!..") (1822–23–?). *И нас за могильной... И если загробная...* – "На смерть Гете" (1832). *Есть бытие... Но все ж умрем...* – "Отрывок" ("Под этой липою густою...") (перв. пол. 1830-х); *...по апрельской распутице...* – См. 4-е примеч. к с. 174. *В парголовский трактир... – Дельвиг и Эртель.* – Гаевский. С. 36 (сообщено Д.А.Эристовым). *Пируйте, други...* – "Пиры". *ВЫПИСКА ИЗ "ВЫПИСКИ..."* – Вып. С. 285–296. **С. 183.** *Серж... в Петербурге.* – См. с. 211. *Фридрихсгам выгорел дотла* – 6.8.1821; *...единственным уцелевшим домом...* – См. с. 219. **С. 184.** *Домов нет...* – Запись П.Л.Яковлева 2.9.1821 в СДП-2 (Л. 50). **С. 185.** *Яковлев, – сказала Софья Дмитриевна...* – Запись Б. в альбоме П.Л.Яковлева // Медведева. С. 121. *Иван Иванович Ястребцов был...* – Панаев. С. 263–267. **С. 186.** *В отправлении Карамзина...* – Там же. С. 202–203. **С. 187.** *Идиллик новый на искус...* – Эп-ма Б. (ок. 1827). *Куда ты холоден и сух!..* – Эп-ма Пушкина (ок. 1827). **С. 188.** *Этот отзыв понятен...* – Путята Н.В. Заметки на восп. В.И.Панаева // РА. 1868. Т. I. С. 143, 146. **С. 189** *...отлучился я на месяц...* – Панаев уезжал из Пб. между 16 авг. и 22 сент. 1821 (см.: Вацуро. СДП. с. 171–172). **С. 191.** *Подобно мне любил ли кто?..* – "К Амуру". **С. 192.** *С.Д.П. ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАН.* – Распределяя сюжет цикла по чувствованиям, в них затронутым, и сообразуясь с известными нам фактами, мы желали установить истинную хронологию. По преимуществу она, видимо, соблюдена (ср. с последовательностью появления этих стих. в печати – см.: Опыт). Но, разумеется, действительные отношения Б. и С.Д.П. развивались не вполне по законам элегич. циклов. Главы IX и XIV ("На кровы ближнего селенья..." и "Чувствительны мне дружеские пени...") прямого отношения к С.Д.П. не имеют. "Размолвка" включена на правах гл. XIII с изрядной долей сомнения на счет истинного адресата этого стих. А "Оправдание" ("Решительно печальных строк моих...") мы и вовсе не отважились включать, ибо нет подтверждений тому, что оно обращено к С.Д.П.; по семейному преданию, адресат "Оправдания" – В.Н.Кучина (Мат. С. VI). – За консультацию относительно "пономаревского" цикла признательно благодарим В.Э.Вацуро. **С. 199.** *Жизнью земною...* – СЦ. 1826. С. 66.

1822. С. 201. *Желанье счастия...* – Цит. 1-я ред. Мы совсем не настаиваем на том, что "Безнадежность" сочинена именно 24.4.1822; известно лишь, что это стих. написано до 9.10.1823 (см.: Опыт) и было переделано для Б-1827; *...в заключении повести "Бал" ... упоминать "Дамский журнал"...* – Напоминаем эти строки: "Богатый гроб несчастной Нины / Священством пышным окружен, / Был в землю мирно опущен; / Свет не узнал ее судьбины. / Князь, без особого труда, / Свой жребий вышней воле предал. / Поэт, который завсегда / По четвергам у них обедал, / Никак с желудочной тоски / Скропал на смерть ее стишки. / Обильна слухами столица; / Молва какая-то была, / Что их законная страница / В журнале дамском приняла". *Шаликов... не мог произнести.* – П.И.Шаликов писал в рец. на "Наложницу", подчеркнуто не упоминая названия поэмы: "Странное положение журналиста: вышло новое сочинение на отечественном языке, и журналист не может говорить о сем сочинении, – не может даже наименовать его!" (Дамский журнал. 1831. Ч. 33. № 20. С. 111); *...зачем... избранника... зовут Арсением...* – Давний вопрос В.А.Мильчиной. **С. 207.** *Две белоснежные... руки...* – Казот Ж. Влюбленный дьявол (1772). Цит. по пф Н.А.Сигал в кн.: Уолпол Г., Казот Ж., Бекфорд У. Фантастические повести. Л., 1967. С. 154–156, 112. *Покой его наполнился...* – Из повести Б. "Перстень" (1831). **С. 208.** *Весна! Весна!..* – Из стих. "Весна! Весна! как воздух чист..." (перв. пол. 1830-х). **С. 209.** *ЖУРНАЛ СОФИ. ПИСЬМА РУССКОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ.* – Письма Софии Абр. Боратынской к маменьке (ИРЛИ. № 26.342. 23 листа) печатаются с сокращениями, отмеченными многоточиями. Подготовка текста и пф – Е.Э.Ляминой. По отношению к рукописи сделаны след. изменения: 1) проставлены полные даты там, где указаны только числа, и указаны месяцы на письмах без дат; 2) т.к. в рукописи употреблены в основном только запятые, независимо от объема писем, – для удобства чтения мы позволили заменить их точками, согласно смыслу фраз. **С. 210.** *Мадам Декслер* – гувернантка в Маре; *Авдотья*

Николаевна – Зайцова ? С. 211. *Г-н Гроссхаузен* – неустановл. лицо. *Серж* – Сергей Боратынский, младший брат. *Натали* – Наталия, младшая сестра. С. 212. *Мадам Рошток* – Анна Рошток, одна из старейших служительниц Воспитат. о-ва в Смольном: 1768–1789 – учительница; 1789–1797 – надзирательница; 1797–1806 – инспектриса (Черепнин. С. 403). С. 213. *Петр* – Сухоруков (?), управляющий в Маре. С. 214. *Мадам Гросфельд.* – Ок. 1816–18 она была гувернанткой кузин Софи – дочерей М.А.Панчулидзевой в Подвойском (см. с. 103–104); *...войдя в залу, мне казалось...* – Стилистич. ошибка при переводе допущена сознательно. С. 215 *...занят Милорадовичем.* – М.А.Милорадович был тогда пб. воен. губ-ром. *Шильонский пленник* – "Шильонский узник". Пб., 1822; пер. поэмы Байрона, выполненный Жуковским. *Племянница... Нелидовой* – Александрина Нелидова, дочь Александра Ив. (брата Екатерины Ив.) и Анны Мих. (урожд. Рачинской, родной сестры Антона Мих. Рачинского); она вышла из Смольного с шифром в 1824 (Черепнин. С. 512). С. 216. *"Tartuf des moeurs"* – фр. переделка Л.-К. Шероном комедии Б.Шеридана "Школа злословия". *"Полчаса Ришелье"* – комич. опера (либретто Э.Скриба). С. 219. *ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ СОФИ.* – Б. к АФБ, пф // Хетсо. С. 583–584. Дата проставлена нами согласно упом. в письме именинам Ильи Андр. *И вот Роченсальм.* 20–21.8.1822 1-й бат. и штаб Нейшл. полка должны были разместиться в Роченсальме (ОФК. Св. 32. № 359. Л. 37). Из Пб. полк вышел 1.8.1822 (ИД. Оп. 128. № 272. Л. 10) – от Пб. до Роченсальма 271,5 версты, 18–20 дней пешего пути (ОФК. Св. 43. № 487. Л. 16); *...Роченсальм... Котка...* – Путята Н.В. Маршруты поездок... А.А.Закревского в 1824 и 1825 гг. // П1. № 18. Л. 3-об. С. 220 *...вернулся в Петербург.* – Б. был в отпуске с 21.9.1822 по 1.2.1823; *...пусть старый Жьячинто...* – Год смерти Боргезе неизвестен. В 1822, судя по письмам Софи, он был еще жив. *Сословие Друзей Просвещения.* – См. подробно: Вацуро. СДП. С. 221 *...церемониал принятия.* Там же. С. 222. *На ваших ужинах веселых...* – См. гл. V романа "С.Д.П."; *...Виль...Кю...* – См., напр.: А.Е.Измайлов П.Л.Яковлеву 13.9.1820 // ЛН. Т. 59. М., 1954. С. 532; *...строжайше запрещено...* – Благ. 1823. № 7. С. 75–76; *...в таланты жалуют...* – Благ. 1820. Ч. 10. № 7 (18 апр.). С. 57. С. 223. *Пусть зависти змия...* – Крылов А.А. "К Кюхельбекеру" // Сор. 1821. Ч. 13. Кн. 1. С. 86. Читано в ВОЛРС 17.1.1821 (Баз. С. 392). *Летящий миг лови украдкой...* – "К-ву" ("Любви веселый проповедник..."). *Игея* (греч.) – Гигиея, богиня здоровья. Обоснование такого прочтения см.: Вацуро В.Э. Из записок филолога // Рус. речь. 1986. № 3. С. 19–22. *Дельвиг писал Крылову.* – "Крылову" ("Уж я не тот поэт беспечный..."). *Я никогда не буду с ними...* – Крылов А.А. "Вакхические поэты" // Благ. 1821. № 10. 21 июня; Поэты. С. 242–243; С. 224 *...на невинном... Шаликове* – См. эп-му "Дамон! ты начал – продолжай..." *Кто жаждет славы...* – Ответ Б. – Крылову цит. в 1-й ред. См. Опыт, 1822, июнь (?). С. 225. *Федорова Борьки...* – Датируется 1824 г. (Дельвиг. С. 166). С. 226. *"Эпитафия баловню-поэту". "К портрету NN"* – Благ. 1822. Ч. 19. № 37. С. 416; № 39. С. 515. *Друзья!... сегодня невзначай...* – Коншин. "К нашим" // Гаевский. С. 47–48; Поэты. С. 352–354, 742. *Не ваш, простите...* – Федоров. "Сознание" // Благ. 1823. № 11. С. 342; Поэты. С. 204–205. С. 227. *Я конюхом был у Пегаса...* – О том, что это Чеславский (переводил "Федру" Расина) см.: Вацуро. Списки. С. 56–57. *Напрасно до поту...* – Эти строки из ответа Крылову были оставлены Б. без изменений и в позднейших публикациях. *Не ваш, простите...* – См. 3-е примеч. к с. 226. *В элегии, посланье...* – Эпигр. С. 347. А.Е.Измайлов упоминал об этом стих. Федорова как о лит. новости в письме к И.И.Дмитриеву 8.10.1822 // РА.1871. № 7–8. С. 971. С. 228. *Сурков Тевтонова...* – Федоров. "Союз поэтов" // Благ. 1822. Ч. 19. № 39. С. 512–514; одновременно опубл.: ВЕ. 1822. № 19. С. 209–211; об авторстве Федорова см.: Поэты. С. 717. *Барон я!..* – Измайлов А.Е. "Дополнение к куплетам о певцах 15-го класса" // С разночт.: Б-1936. Т. 2. С. 298; Вацуро. МЧ. С. 156. С. 229. *Остер, как унтерский...* – Измайлов А.Е. "К Баратынскому" // Там же; авторство Измайлова установлено В.Э.Вацуро. *Он щедро награжден...* – Остолопов. "Надпись к портрету Баратынского" // Б-1936. Т. 2. С. 248; об авторстве Остолопова см.: Вацуро. МЧ. *Долги – на память о поэте...* – "Завещание" <Баратынского> (автор не известен); опубл. с разночт.: Эпигр. С. 348; Б-1936. Т. 2. С. 248; Петряев Е.Д. Люди. Рукописи. Книги. Киров, 1970. С. 24. *Хвала вам, тройственный союз!..* – Сомов. "Сатира на современных поэтов" (1823) // С разночт.: Поэты. С. 227; Баз. С. 236. *Я унтер, други!..* – См. Опыт, 1822, не ранее осени – 1823. С. 230. *Сомов безмундирный непростительно.* – Пушкин Дельвигу 16.11.1823. *Почтеннейший Николай Иванович...* – Б-1914. С. 234–235; а/т. "Прокаженный из города Аосты" – см. Опыт, 1822, март, между 4 и 13. С. 231 *...в ней мало перца.* – Пушкин Дельвигу 16.11.1823. *Признаться, в день сто раз...* – Цит. по ред., опубл. Брюсовым (Весы. 1908. № 5). О вариантах сатиры см.: Вацуро. Списки. С. 232. *Шиллер, Бейрон,*

Мур... – Федоров. "Разговор о романтиках и о *Черной речке*" // Благ. 1823. Ч. 23. № 15 (17 авг.). С. 172–173; *...как можно, дав уму свободу...* – Федоров. "Сознание" // Благ. 1823. Ч. 22. № 11.16 июня. С. 343. *И лишь молчание...* – Жуковский. "Невыразимое" (1819); забавно, но оно опубл. в альм. Федорова "Памятник отеч. муз на 1827". *...пиитическая нагота...* – Цертелев. "Новая школа словесности" // Благ. 1823. Ч. 21. № 6 (31 марта). С. 441. **С. 233.** *В моем понятии...* – Снядецкий. "О творениях классических и романтических" // ВЕ. 1819. Ч. 104. № 7. С. 194. *Особенно Вяземский...* – См.: Мордовченко Н.И. Рус. критика первой четверти XIX в. М.; Л., 1959. *Поэт некоторым образом...* – Кюхельбекер // Мнемозина. 1825. Ч. 4. С. 69–71. *Поэт не знает пределов...* – Цертелев. Указ. статья. С. 431. **С. 234.** *...крепости Роченсальм.* – С конца авг. 1822 до сер. мая 1823 штаб Нейшл. полка и 1-й бат. квартировали в Роченсальме (ОФК. Св. 36. № 410. Л.22).

1823. С. 234. *Надежда имеет...* – "О Надежде и Любви", см. Опыт, 1822, дек. 27. **С. 235.** *Учусь покорствовать...* – "Н.И.Гнедичу". *...Вы, конечно, были удивлены...* – Б. к АФБ, сер. апреля 1823; пф // Мат. С. 39–40. Обращение *Любезная маменька!* поставлено здесь нами. О.д.: § 1. Сказано, что в Маре "весна уже в разгаре", что "у нас <в Финляндии> хорошая погода еще не настала" и что маменька, вероятно, "занята деревьями и огородом", – такое сочетание тепла в Тамбовской губ. и холода на юге Финляндии более всего подходит к апрелю. § 2. Упоминание ветров, несущих с моря холодный воздух, и скал, позволяет считать, что Б. пишет из Роченсальма, а не из Фридрихсгама (расположенного почти в 100 верстах от побережья). § 3. В Роченсальме Б. провел только две весны: 1823 и 1824 гг. § 4. В 1823 г. Пасха была 22 апр., в 1824 – 6 апр., и если бы письмо это относилось к 1824 г., то поздравления с Пасхой относились бы к середине – концу марта, что не соответствует описанным погодным условиям (см. § 1). **С. 236.** *Немецкого... не выучил...* – См. 6-е примеч. к с. 122: письмо Эртеля к Б.; *...ему казалося...* – Из предисл. к "Эде" 1826 г.; *...следовать за Пушкиным.* – Там же. *Он шел своею...* – Из ненапечатанной при жизни Пушкина статьи 1830 г. "Баратынский" ("Баратынский принадлежит..."). *Коншин... свою избранницу.* – Авдотью Яковл. Васильеву (см.: Кирпичников А.И. Очерки по ист. новой рус. лит-ры. М., 1903. Т. 2. С. 98). **С. 237** *...осенью 822-го года... в Петербург.* – Там. же. *Сначала скука...* – Коншин. Восп. С. 398–400. **С. 238.** *Дельвиг... в Финляндию.* – Е.А.Энгельгардт Кюхельбекеру 14.9.1823 // РС. 1875. № 7. С. 374. **С. 239.** *Ничто не бессмертно...* – "Застольная песня" (пер. из Коцебу), см. Опыт, 1823, сент., 10-е числа. **С. 240.** *То был... Аммонт...* – См.: Амбус. С. 133. *...во время лагеря в Вильманстранде.* – Нейшл. полк был в летнем лагере на Лебедином поле под Вильманстрандом с 15 мая по 3 июля 1823 (ОФК. № 410. Л. 27–27-об.). В Роченсальм штаб полка и 1-й бат. вернулись ок. 10 июля и оставались здесь до мая 1824 (Там же. Л. 35, 45; Св. 40. № 460. Л. 2). *Здесь был Баратынский.* – А.А.Бестужев Вяземскому 5.9.1823 из Пб. // ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 207; о пребывании Б. в Пб. летом 1823 и его отъезде в Финляндию к концу августа см. также в письме Плетнева к Кюхельбекеру от 8.9.1823 (РС. 1875. № 7. С. 371–372). **С. 241.** *С приезда Воейкова...* – Дельвиг Пушкину 28.9.1824. *Да вы не подумайте...* – Вяземский. Зап. кн. С. 221. **С. 242.** *У него хранилась...* – Греч Н.И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 637; *...кое-кто считает его шпионом.* – В частности, Рылеев и братья Бестужевы Греча опасались (см.: Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 296, 389–390). *Воейков... с Жуковским...* – Невский пр., дом Меньшикова, против Аничкова дворца; ныне: Невский, 64. *Наши мастера...* – Б. к Козлову 7.1.1825; пф // РА. 1886. Кн. 2. С. 187. **С. 243** *...издатели "Полярной звезды" подозревали...* – См.: Вацуро. СЦ. С. 5–44. *Милый Парни...* – Рылеев к Б. 6.9.1823 // Рылеев. С. 465–466. **С. 244** *...в ноябре–декабре тетради... у Рылеева и Бестужева.* – См. след. примеч. *Милые собратья...* – РС. 1888. № 11. С. 321–322; Б-1987. № 9. Обычно это письмо датируют весной 1824. Весьма сомневаемся. Вряд ли Б. более чем полгода не получал "Маккавеев", в то время как Плетнев уже к 28.11.1823 перевел свою часть трагедии (см. в тексте сноску к письму и след. примеч.); вряд ли Б. стал заботиться об издании своих стихов весной 1824, в разгар хлопот о его производстве в прапорщики – скорее, напротив, весной он мог просить Рылеева и Бестужева повременить с изданием (ср. с просьбой А.И.Тургенева к Вяземскому о том, чтобы московские журналисты не упоминали имени Б. в печати – с. 253). Характерно: за весь 1824 год Б. не напечатал ни одной новой строчки. *К 28-му ноября Плетнев перевел...* – См.: Плетнев Гнедичу // Из собр. автографов имп. Публичн. б-ки. Пб., 1898. С. 33–34; *...забавное было приключение...* – Коншин. Для немногих. **С. 245.** *...князь Волконский-баба...* – Рылеев и А.А.Бестужев. "Царь наш – немец русской..."; *...привычке кричать...* – А.Х.Бенкендорф к нач. моск. корпуса жандармов А.А.Волкову 2.4.1826, пф // РС. 1889. Т. 61. С. 386; *...в доказательство возвращения... Я знаю... меня обвиняют... Наружное спокойствие... обнаженном черепе.* – Фигнер. 666–669. **С. 246.** *Генерал звал ее просто Грушень-*

ка... — См., напр., письма Закревского П.М.Волконскому // Сб. РИО. Т. 73. *Quelqu'un parlait...* — Запись в альб. П.Л.Яковлева // Медведева. С. 121; *...обо мне рукою...* — Б. к А.И.Тургеневу 31.10.1824 // РА. 1871. Вып. 6. С. 0240; Б-1987. № 14; *...обещали замолвить...* — Б. к АФБ. 20—21.7.1822 (см. с. 219). *Я свободы дочь...* — Из агит. песни Рылеева и Бестужева "Подгуляла я...". М.И.Муравьев-Апостол в показаниях следств. комиссии назвал автором этой песни — Б. (Восстание декабристов. Т. 9. С. 249); *...после 9-го тома Карамзина.* — 9-й том "Истории государства Российского" (о кровавой эпохе Ивана Грозного) вышел в 1821. *Найдется ли у него...* — Екатерина II к моск. главнокомандующему А.А.Прозоровскому 13.4.1792 с приказом об аресте Н.И.Новикова // Новиков Н.И. Избр. соч. М.; Л., 1951. С. 590. *Ден.. большой плут...* — Закревский. Дн. 3. С. 104; *...всех благ возможных...* — "Стансы" ("В глуши лесов счастлив один..."); *...письмо от Жуковского.* — Письмо Жуковского не сохр. С. 247 *...ночное освещение католической церкви.* — Случилось 23.4.1820 (Максимов. С. 204). Впоследствии Б. использовал историю об освещении церкви (произошла через 4 года после его исключения) для рассказов о своей пажеской юности. Вот что вспоминал П.Г.Кичеев: "Не скрыл от меня Евгений Абрамович и одной, хотя безвредной, но удивительной проказы в бытность его в Пажеском корпусе. — Рядом с Пажеским корпусом, по главному фасу, чрез полукруг здания помещалась католическая церковь. Не имея об этом никакого понятия, Баратынский с одним из товарищей, после нескольких попыток, успел, через карниз того полукруга, под крышей, проникнуть на чердак церкви и взойти в нее по лестнице, которая не была заперта. Сначала они только удивились своему открытию; но при вторичном посещении им пришло на мысль — осветить церковь так, как она освещается по торжественным дням. Все свечи и лампады были зажжены. Время было около полуночи. Стоявший против церкви на часах будочник вдруг поражается этим несвоевременным и ярким освещением, а двери видит запертыми. Будочник посылает товарища за квартальным, тот приглашает частного пристава; наконец, приехал и полицеймейстер. Позвали ксендза и ктитора; вошли в церковь со всеми предосторожностями; но виновников освещения не сыскали. Так происшествие это и осталось в свое время неразъясненным и неразгаданным" (Кичеев. С. 870; а/т). Об освещении церкви писал и Г.Кениг, автор книги о рус. лит-ре, вышедшей в 1837 в Штутгарте ("Literarische Bilder aus Russland"). Кенигу о том рассказывал Н.А.Мельгунов (см. о нем с. 316), слышавший историю или от самого Б. или от их общих моск. знакомых в 1830-е гг.; *...что красоты прекрасней...* — Из стих. Б. "Она" (ок. 1827). С. 248. *По выключке из корпуса...* — Б. к Жуковскому, дек. 1823. Начало письма см. с. 78.

1824. С. 249. *Милостивый государь...* — Жуковский А.Н.Голицыну 2.1.1824 // Жуковский. С. 581—583. С. 251. *Милый, прошу тебя...* — Жуковский Гнедичу, нач. февр. 1824 // Б-1987. С. 403. *Баратынский выписан...* — Жуковский Голицыну 10.2.1824 // РА. 1868. Кн. 1. С. 160. *Государь, знающий...* — Там же; *...доклад князя Голицына...* — А.И.Тургенев Вяземскому 26.2.1824 // ОА. Т. 3. С. 12; *....писать к Елене Павловне.* — Письмо не сохр.; см.: Опыт, 1824, янв., вт. пол. С. 252 *...от горести, произведенной...* — Жуковский Голицыну 10.2.1824. *Любезнейший друг Арсений Андреевич!..* — Д.В.Давыдов Закревскому 6.3.1824; получено 17.3.1824 // ЦГИА. Ф. 660. Оп. 1. № 108. Л. 5—5-об.; Сб. РИО. Т. 73. С. 536. *Получил письмо твое...* — Давыдов Закревскому 11.4.1824; получено 18.4.1824 // ЦГИА. Указ. ф. и оп. Л. 6—6-об. *Любезный друг... Пожалоста...* — Давыдов Закревскому 11.5.1824; получено 20.5.1824 // Там же. Л. 12—12-об. *Закревский говорил...* — А.И.Тургенев Вяземскому 24.3.1824 // ОА. Т. 3. С. 24. Закревский выехал из Пб. в Финляндию 9.3.1824 (Закревский. Дн. 1. С. 12). С. 253 *...не объявлять нигде...* — Из того же письма А.И.Тургенева. *До меня дошли...* — Б. к Жуковскому 5.3.1824 // РА. 1871. Вып. 6. С. 0239; Б-1987. № 8. *Умом, любезностью своей...* — Стих. Коншина // Лутковская. Л. 4. (опубл.: Вацуро В.Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского Дома (1750—1840-е годы) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 г. Л., 1979. С. 16). *Сандрильона* — Золушка. *Когда придется как-нибудь...* — См.: Опыт, 1824, февр., 15. С. 254. *Анета выйдет замуж* — за Г.А.Морозова; она ум. 26.10.1879 (Б-1914. С. 429). *МНОГИЕ ЛЮБИТЕЛИ ПОЭЗИИ...* — ЛЛ. 1824. № 5. С. 194— 195; Дата выдачи билета № 5 ЛЛ 24 марта (Вацуро. СДП. , С. 413). *...не представлять впредь.* — См. с. 263; *...разжалован навсегда.* — Поэт А.И.Мещевский был разжалован ок. 1812—13 гг.; он писал Вяземскому 6.2.1817: "Четыре года... я нахожусь рядовым в Оренбургском гарнизонном полку — в бумаге сказано: *разжалован навсегда*" (Роскин Н.А. Новое о поэте Мещевском // ЛН. Т. 59. Кн. 1. С. 539). С. 255. *7-го мая... на Лебединое поле, и к 15-му мая...* — Смотр и учения 3-го бат. происходили в Роченсальме 15 мая; 20 мая 3-й бат. выступил из Роченсальма и 31 мая должен был соединиться в Выборге с подошедшими туда из Вильманстранда 1-м и 2-м бат. — для совместного похода

в Пб. (ОФК. Св. 40. № 460. Л. 48–48-об.). *ИЗ ЖУРНАЛА ГЕНЕРАЛА ЗАКРЕВСКОГО.* – Закревский. Дн. 3. С. 100, 103–113. *24-го майя. В Вильманстранде...* – Фрагмент из рукописи упом. Дн. 3 // ЦГВИА. Ф. 1019. Оп. 1. № 443. Л. 5. С. 256. *Путята* Николай Васильевич (22.7.1802 – 29.10.1877) – воспитывался в Московской школе колонновожатых; 12.3.1820 выпущен прапорщиком по квартирмейстерской части; 23.7.1821 – подпоручик; 24.11.1823 – назначен адъютантом к Закревскому (номинально переведен в л.-гв. Конно-Егерский полк); 6.4.1824 – поручик; впоследствии участвовал в русско-турецкой войне 1828–29; служил в статс-секретариате финляндских дел с 1832 по 1851; женат на Софии Львовне Энгельгардт (1811–1884) – сестре Настасьи Львовны, жены Б.; дочь Ольга замужем за И.Ф.Тютчевым, сыном Ф.И.Тютчева (Дек. С. 148–149; ф.с. Путяты за 1823 см.: ЦГВИА. Ф. 1019. Оп. 1. № 112. Л. 40-об.; ф.с. за 1831, 1835, 1848, 1851 гг. см.: П1. № 2). *Я шел вдоль строя...* – Путята. Прим. С. 264. *Баратынский был у вас...* – Б. к Путяте 24–25.5. 1825 // Там же; Б-1987. № 10. *...в Петербург. 10-го июня...* – 1-й и 2-й бат. Нейшл. полка должны были выступить из Вильманстранда 29 мая, прибыть в Парголово 8 июня и в Пб. вступить 10 июня (ОФК. Св. 43. № 487. Л. 2, 18–19). *Бог добр...* – Вацуро. СДП. С. 286. *После смерти Наполеона...* – Вяземский Дашкову 30.5.1824 // Гиллельсон М.И. Жизнь и творчество Вяземского. Л., 1969. С. 43–44. С. 257. *Друзья свободы и Эллады...* – Рылеев. "На смерть Бейрона". *Что же.. до Баратынского...* – А.А.Бестужев Пушкину 9.3.1825. *15-го июня... "Богдановичу".* – См.: А.И.Тургенев Вяземскому 17.6.1824 // ОА. Т.3. С. 55. *Что за идея пришла...* – В.И.Туманский Пушкину 12.4.1827. Туманский судил по отрывку, процитированному в рец. СП (1827. № 39). *Языков... встречался заочно.* – См.: НЛ. 1823. Кн. 3. № 12: "Падение листьев" Б. (с. 186–187); "Чужбина" Языкова (с. 189–192). *Она чрезвычайно любит...* – Н.М.Языков А.М.Языкову 11.3.1825 // ЯА. С. 161. Знакомство Б. с Языковым произошло 12.6.1824 (ЯА. С. 138). С. 258. *Грибоедов...* – см.: Грибоедов С.Н.Бегичеву 10.6.1824; Вяземскому 21.6.1824. О Грибоедове и Дельвиге см.: Грибоедов. С. 370, 396. *Булгарин отказался...* / Пушкин. "Table-talk." *Любезный Фаддей Венедиктович!..* – Рылеев Булгарину, конец июня – нач. июля 1824 // ЛН. Т. 59. Кн. 1. С. 147. *Но из Одессы...* – А.И.Тургенев Вяземскому 15.7.1824 // ОА. Т. 3. С. 58. *Сказавший слышал...* – К.Я.Булгаков А.Я.Булгакову, сер. июля 1824 // РА. 1903. № 5. С. 64. *О Пушкине, верно, вздор...* – Вяземский А.И.Тургеневу 25–26.7.1824 //ОА. Т. 3. С. 61. *Вернее то... Не ужился...* – К.Я.Булгаков А.Я.Булгакову (см. выше). *Пушкин отставлен* – А.И.Тургенев Вяземскому 5.8.1824 // ОА. Т. 3. С. 66. *В начале августа... смотр).* – Смотр 2.8.1824 в Красном Селе сводной бригады 1-й Гренадерской дивизии и 1-й бригады Отд. Финл. корпуса (ОФК. Св. 43. № 487. Л. 21, 27–28-об., 35. *Чтобы подорвать нас...* – А.А.Бестужев Вяземскому 20.9.1824 // ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 223. С. 259. *"Литературные призраки"* – ЛЛ. 1824. № 16. С. 96, 99, 100. *Милостивый государь...* – Грибоедов Булгарину, окт. 1824. См. также: Грибоедов. С. 396. С. 260. *Я в себе несвободен...* – Б. к Коншину, вт. пол. сент. 1824 // РС. 1908. Т. 136. № 12. С. 757; Б-1987. № 11. *Подобно мне...* – "К Амуру". *Но светлый мир...* – Из стих. "Когда неопытен я был...". *Абаза Савва Вас.* (р. 1800) разжалован в солдаты 10.8.1816 "за буйственные поступки, причинение побоев инвалидному унтер-офицеру, грубости квартальному офицеру, обругание его, объявление баталионному командиру, что он все сие делал для того, чтобы быть выписанным в солдаты" (ОА. Т. 3. С. 481). Абаза служил в Финляндии, в Петровском пех. полку; 9.4.1822 переведен в Нейшл. полк; 10.8.1823 унтер-офицер; 21.4.1825 – прапорщик. *Креницын уже... прапорщик.* – Ал-р Креницын произведен в унтер-офицеры в 1821 (ИД. Оп. 73. № 552), в прапорщики – в февр. 1824 (ИД. Оп. 76. № 359, 361). *Все это служит пищею гению...* – Б. к Путяте 29.3.1825 // Б-1951. № 13; Б-1987. № 21; *...но вот беда...* – Там же. С. 261. *А ныне сам скажу...* – "Моцарт и Сальери". *Это сущая клевета.* – См. с. 136; *...которых тысячи... наяву.* – Пересказ отзыва А.А.Бестужева о 1-й гл. "Евгения Онегина" в письме Пушкину 9.3.1825; *...жадное счастия, но уже неспособное...* – Б. о А.А.Муханове в письме к Путяте от нач. авг. 1825 // Б-1951. № 16; Б-1987. № 25. *Он то здоров...* – Батюшков о себе // Батюшков. С. 424–426. С. 262. *Дела мои все хуже...* – Б. к Козлову 7.1.1824, пф // РА. 1886. Кн. 2. С. 187. *Стихи все мое добро...* – Б. к А.И.Тургеневу 31.10.1824 – см. 2-е примеч. к с. 263; *...штаб Нейшлотского полка... в Кюмень.* – Переведен между 7 окт. и 6 нояб. По кварт. ведомости от 7.10.1824 штаб полка еще пребывал в Роченсальме, по рапорту от 6.11.1824 штаб уже в Кюмени (ОФК. Св. 40. № 460. Л. 72-об., 78). *Мы покидаем Роченсальм...* – Б. к АФБ, перв. пол. сент. 1824, пф // Б-1869. С. 410–411. Последний абзац письма уточнен Г.Хетсо (С. 79–80). С. 263. *Любезный друг Арсений Андреевич...* – Давыдов Закревскому 23.6. 1824 // Сб. РИО. Т. 73. С. 536–537. *Арсений Андреевич прав...* – Б. к А.И.Тургеневу 31.10.1824 // РА. 1871. Кн. 6. С. 0240; Б-1987. № 14. С. 264. *Помнишь ли, любезный*

друг... – Путята к Б. (Письмо из Адрианополя) 30.8.1829 // РА. 1878. Кн. 1. С. 215. О том, что Б. не знал имени Путяты до приезда в Гельсингфорс см. в его письме к Путяте 11.10.1824 // Б-1951. № 6; Б-1987. № 12.

1825. С. 265. *Вечером был у нас званый бал...* – Закревский. Дн. 1. С. 12; запись 12.12.1824. *Вечером был у нас бал...* – Там же. С. 13; запись 31.12.1824. *200 человек пляшут...* – Муханов. С. 175. Запись 1.1.1825. *И даже сидя...* – Й.А.Эренстрём Р.Г.Ребиндеру 1.1.1825, пф // Хетсо. С. 94–95. *Хочу только...* – Ж.Егергорн родителям 2.1.1825 // Хетсо. С. 95; пер. со шведского Г.Хетсо. *Вот и новый год...* – Б. к Козлову 7.1.1825; пф // РА. 1886. Кн. 2. С. 187. **С. 266.** *Аврора Шернваль* (р. 1808). – См. о ней 2-е примеч. к с. 267. *ИЗ ЖУРНАЛА АЛЕКСАНДРА МУХАНОВА.* – Муханов. С. 174–176; а/т. *Зан...* – Кто это, не знаем. *Ма... дом* – м.б., Маннергеймов дом. К.Э.Маннергейм – сенатор. *Брат* – Н.А.Муханов (?). *Что скажет другу своему...* – "Запрос М—ву" (Муханову). **С. 267.** *Пылкий юноша не сводит...* – "Авроре Ш........". *Загляните в примечания.* – А.А.Муханов ум. 20.8.1834. Аврора вышла замуж на П.Н.Демидова в 1836, а после его смерти (1841) – за А.Н.Карамзина, сына историографа; она ум. в Гельсингфорсе в 1902, в возрасте 94-х лет (Амбус. С. 160); *...прочтет "Звездочку".* – См. "Эпилог" романа "С.Д.П." *Мессалина угощала...* – Муханов. С. 174–176. *Мефистофелес* – Александр Армфельт (1794–1876) – сын известного шведско-русского политич. деятеля Г.М.Армфельта; с 1814 в русской службе; в 1820–27 – адъютант финл. ген.-губернатора; с 1820 женат на графине Сигрид Фредерике Уксеншерна (Амбус. С. 150–152). *Друг мой, она сама несчастна...* – Б. к Путяте, вт. пол. февр. 1825 // Б-1951. № 11; Б-1987. № 19. **С. 268.** *Зачем же раскаиваться...* – Б. к Путяте, вт. пол. марта 1825 // Б-1951. № 12; Б-1987. № 20. *Благодарю тебя...* – Путята А.А.Муханову из Москвы в Пб. 9.3.1825 // Сб. Щ. Т. 10. С. 414. **С. 269.** *Герцог встретил...* – Путята А.А.Муханову из Гельсингфорса в Пб. 15.5.1825 // Там же. С. 415. *Последнее письмо... 838-м годом.* – См. четыре письма Закревской к Путяте, 1831–1838 // П1. № 102. *В Фридрихсгаме расписалась... В самой поэме... Стихов 200...* – Б. к Путяте, вт. пол. марта 1825; 29.3.1825 // Б-1951. № 12, 13; Б-1987. № 20, 21. *В Финляндии путешественники...* – Путята. Прим. С. 267. *Ты можешь себе вообразить...* – Б. к Путяте, нач. авг. 1825, из Пб. в Гельсингфорс; а/т // Б-1951. № 16; Б-1987. № 25. **С. 270.** *Письмо, приложенное...* – PS того же письма. *Как в близких сердцу разговорах...* – "Бал". *Император Александр...* – Фигнер. С. 667–668. **С. 271.** *Нам надобны и страсти и мечты...* – "Череп". *ЛЕДА.* – При жизни Б. стих. опубл. единожды – в "Мнемозине" (1825. Ч. 4). Источник "Леды" – одноименное стих. Парни. Общий источник Парни и Б. – греч. миф о явлении Зевса в облике лебедя к царевне Леде. *Еврот* – река в Спарте. **С. 272.** *Порою ласковую Фею...* – Впервые опубл.: ЦС; подп.: *Е.Б-ий, 1824 года.* Точное время создания стих. неизвестно. **С. 274.** *Но как влекла к себе всесильно...* – "Бал". **С. 277** *...новую героиню Козлова.* – Анахронизм: поэма И.И.Козлова "Безумная" опубл. в 1830. **С. 279** *...у Констана.* – Имеется в виду роман Констана "Адольф" (1815); *...другая героиня... aahin! aahin!* – Имеется в виду Миньона, героиня романа Гете "Годы учения Вильгельма Мейстера" (1795–96). *Сабинские горы.* – Здесь жил Гораций в поместье, подаренном ему Меценатом. **С. 285.** *7–8 генваря... Закревский в отставку не выходит...* – См. PS письма Б. к Козлову 7.1.1825: "Генерал остается, и я воскресаю"; пф (РА. 1886. Кн. 2. С. 187). *24-го генваря... в Петербург.* – Закревский. Дн. 1. С. 13. *25-го генваря... Магдалина...* – См. ниже письмо Б. к АФБ. **С. 286.** *10 февраля. Из Кюмени пишу...* – Б. к АФБ 10.2.1825; пф // Б-1869. С. 411; *...в декабре... "Северные цветы"... в марте... "Полярная звезда".* – См.: Опыт. *Плетнев, получив от Пушкина...* – См. реконструкцию этого несохр. письма Пушкина: Вацуро В.Э. "Опыт прямодушия" // Лит. обозрение. 1987. № 2. С. 4–7. *Мне Дельвиг часто...* – Плетнев Пушкину 7.2.1825; *...акафист Баратынскому.* – Бестужев Вяземскому 12.1.1825 // ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 228. **С. 287.** *Греч в "Сыне отечества"...* – СО. 1825. № 1–4. *"Московский телеграф" с ответом... "Сыну отечества".* – МТ. 1825. № 13. Особенное прибавление. *"Буря"... цензура... сомневалась.* – См.: Опыт, 1825, март, 9; март, 29. *Но "Буря" была напечатана.* – См. след. примеч. Ценз. купюры были сделаны в Б-1835 (см.: Оксман Ю.Г. "Стихотворения Евгения Баратынского" в цензуре // Лит. музеум. Пг., 1922. Т. 1. С. 15. *Меж тем от прихоти...* – Заключит. строки "Бури" (Мнемозина. 1825. Ч. 4. С. 215). В Б-1827 и Б-1835 4-я от конца строка читалась: "Волнуйся, восставай на каменные грани". *Я бы избрал лучше...* – См. с. 9. **С. 288.** *Ни в скобках...* – А.И.Тургенев Вяземскому 15.3.1825 // ОА. Т. 3. С. 106. *Арсений Андреевич поехал...* – Б. к А.И.Тургеневу 25.1.1825 // Б-1951. № 9; Б-1987. № 16. *О Боратынском несет...* – А.И.Тургенев Вяземскому 20.2.1825 // ОА. Т. 3. С. 98. **С. 289.** *21-го марта Тургенев... Вяземскому.* – ОА. Т. 3. С. 108. *Прошла Пасха.* – 29.3.1825. *10-го апреля Тургенев...* – ОА. Т. 3. С. 112. *ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО...* – РИ.

1825. № 104. 4 мая. С. 415, 417. *Ваше превосходительство...* – Б. к А.И.Тургеневу 9.5.1825 // Б-1951. № 15; Б-1987. № 23. *Спешу, любезный Муханов...* – Путята А.А.Муханову 15.5.1825 // Сб. Щ. Т.10. С. 414. Подписи Путяты в публикации письма нет. С. 290. *Душа моя Муханов...* – Б. к А.А.Муханову, ок. 8–15.5.1825 // РА. 1895. Кн. 3. № 9. С. 125. С. 292. *Что с нею, что с моей душой...* – Из стих. "Весна! Весна! как воздух чист..." *15 мая. Спасибо, Путятушка...* – Б. к Путяте 15.5.1825 // Б-1983. № 69; Б-1987. № 24. *20-го мая Нейшлотский полк... 8-го июня... 10-го* – ОФК. Св. 45. № 512. Л. 25–25-об., 28, 30; *...с Вяземским... не увиделся.* – Вяземский был в Пб. с 21 июня по 7 июля. С. 293. *С Дельвигом я забываю...* – С.М.Салтыкова – А.Н.Семеновой (Карелиной) 5.7.1825 // Модзалевский. С. 172; *...любила... Каховского.* – См.: Модзалевский Б.Л. Роман декабриста Каховского. Л., 1926. *Это чистая привязанность...* – С.М.Салтыкова. Указ. письмо. О том, что Б. и Жуковский обещали быть шаферами, см. там же. *Спешу к ней...* – Б. к Путяте, нач. авг. 1825 // Б-1951. № 16; Б-1987. № 25. *11-го августа... Нейшлотский полк выступил из Петербурга...* – Маршрут полка за август 1825 не сохр. Датируется на основании письма Дельвига С.М.Салтыковой 11.8.1825 ("Баратынский едет только теперь" // Дельвиг. С. 302) и письма самого Б. к АФБ 16.8.1825 из Выборга (см. ниже). От Пб. до Выборга 3–4 дня похода; в Выборге для армейских частей, следующих в Финляндию, полагался растах (отдых) (судим по маршрутам Нейшл. полка в 1822 и 1824 // ОФК. Св. 27. № 302. Л. 7–7-об.; Св. 43. № 487. Л. 19). Приводим пф письма Б. к АФБ 16.8.1825 (Мат. С. 41–42): "16 августа. Из Выборга к Вам пишу, милая маменька. Благодаря Бога смотры наши завершены, и мы на пути к Финляндии – стране, которая еще недавно была для меня местом изгнания и где теперь я ищу приют спокойствия и неги. Томительное и несосредоточенное существование мое в Петербурге принудило меня прервать переписку, теперь возвращаюсь к ней и между тем сбираюсь с духом, чтобы понять, как мне располагать своей судьбой отныне, когда я волен собою распоряжаться. Такое занятие непривычно мне: до сих пор я жил без мысли о будущем, ибо у меня его почти не было. И вот, свободный в конце концов, я желал бы воспользоваться, сколько можно, всем, что я видел и о чем мыслил доселе – всем, что я знаю о себе и других, чтобы прошедшие дни не были утрачены безвозвратно. – Надеюсь провести не менее полугода подле Вас. Впрочем, не знаю, когда отправлюсь в дорогу: в октябре или по первому зимнему пути. Я хотел бы знать, что Вы решили касательно Сержа. Необходимо нужно, чтобы он приехал в Петербург со свидетельством о дворянстве, без чего эта история продолжится бесконечно. Стоит ему представить его, он будет принят в училище, о коем я говорил, и не сомневаюсь, что благодаря своим способностям и с помощью людей, которые могут попросить за него, он останется при штабе. Закревской собирается на зиму в Петербург, думаю, он не откажется покровительствовать брату, благо ему довольно сказать два слова. Я пробуду несколько дней в Гельзингфорсе – в основном, затем, чтобы выразить благодарность генералу за все сделанное им для меня, а кроме того, чтобы возобновить с ним знакомство. В Петербурге я видел г-жу Закревскую: она приезжала на петергофский праздник, захватив с собою одну юную финляндку – показать ей столичные чудеса. Мы летали по городу вместе. Словом, мое путешествие в Гельзингфорс – и развлечение и, между тем, прощальный салют. Прощайте, милая маменька. Да вернет Вам Господь здоровье и да сохранит Вас. Завтра мы покидаем Выборг и 30-го будем в Роченсальме". (*Серж* – брат Сергей; *нужно, чтобы он приехал со свидетельством...* – речь идет, видимо, о зачислении Сергея в училище для колонновожатых; об этом есть косв. свидетельство в письме Дельвига к Б. от конца 1825: "Твои комиссии мною исполнены: принимаются в колонновожатые во всякое время; свидетельство же находится в Инспекторском департаменте, и его должен твой брат вытребовать, подавши просьбу в оный. Такова форма" (Дельвиг. С. 308). *Я видел... Закревскую...* – См. с. 269. *Юная финляндка* – Каролина Левандер; см. о ней: Амбус. С. 155; *...прощальный салют* – В Мат. напечатано: "un coup de Parte". М.б., это опечатка, и надо: "un coup de partance" – прощальный салют корабля). С. 294 *...я видел г-жу Закревскую...* – См. пред. примеч. *Какие-то подробности... Боратынский рассказывал...* – См. с. 300 (письмо Путяте). *Он жалок...* – Давыдов Закревскому 10.12.1825 // Сб. РИО. Т. 73. С. 538. *В деревне Баратынских...* – Дельвиг А.И. С. 189. С. 295 *...почти всегда находится...* – С.М.Боратынская (Салтыкова) – А.Н.Карелиной (Семеновой) 13.11.1833 // Модзалевский. С. 268; *...обещал... приехать в октябре.* – См. письмо от 16.8.1825 (примеч. к с. 293). *Мы на пути...* – Там же. *Здесь Боратынский...* – А.Армфельт жене 6(18) 9.1825, пф // Хетсо. С. 107. С. 296 *...мы лишаемся Боратынского...* – А.Армфельт жене 25.9 (7.10).1825, пф // Там же. С. 108. *Между прочим, говорили...* – Оболенский Е.П. Воспоминание о... Рылееве // Мем. С. 87. *Память образа...* – "Запусте-

ние" ("Я посетил тебя, пленительная сень..."). С. 297. *Здесь в Харитоньевом...* -- Адрес Б. осенью–зимой 1825: "у Харитона в Огородниках, дом Мясоедовой" (Б. к Пушкину после 7 дек. 1825 // Б-1869. С. 421; Б-1987. № 28); *...видел... Рылеева.* – См. с. 300 (письмо Путяте). О каком-то полученном от Б. долге Рылеев писал Дельвигу 5.10.1825: "Потомку тевтонов, сладостно поющему на русский лад и мило на лад древних греков, не поэт, а гражданин желает здоровия, благоденствия и силы духа, лень побороающей! Вместе с сим уведомляет он о получении 500 рублей, этой прозаической потребности, которая и поэта и гражданина мучит только тогда, когда нечего есть. Сего со мною не было, и потому гражданин Рылеев не помнил о долге поэта Баратынского" (Рылеев. С. 496). *Был представлен... Дмитриеву...* – 19.10.1825 (см.: Опыт). С. 299. *Здесь Баратынский...* – Вяземский Пушкину 16–18.10.1825. *ИЗ ЖУРНАЛА АЛЕКСАНДРА МУХАНОВА... 16 ноября...* – А.А.Муханов Н.А.Муханову // Щ. сб. Т. 10. С. 347. *25 ноября...* – Муханов. С. 177–178. О болезни Б. см. также: С.Д.Нечаев А.А.Бестужеву 9.11.1825 (РС. 1889. Т. 61. № 2. С. 320). С. 300. *Лазурью светлою...* – Вяземский. "Первый снег" (1819). *Ежели с приезда в Москву...* – Б. к Путяте, нояб. 1825 // Б-1983. № 71; Б-1987. № 27. С. 301 *...по словам Дениса...* – Вяземский А.И. Тургеневу 13.12.1825 // Архив бр. Тургеневых. Пг., 1921. Вып. 6. С. 22. *Денис Давыдов... охотился.* – См. его письмо Закревскому 10.12.1825 // Сб. РИО. Т. 73. С. 537. *Любезнейший друг Арсений Андреевич!* – Там же. С. 538. С. 303. *Ты во всем... видишь...* – Б. к Коншину 26.2.1825 // РС. 1908. Т. 136. № 12. С. 758; Б-1987. № 18. *Государь Император вышел...* – СП. 1825. № 152. 19 дек.; РИ. 1825. № 300. 19 дек. С. 304. *21-го декабря... начали увозить из Москвы.* – Здесь и далее источник сведений об арестах в Москве в конце дек. 1825 – янв. 1826: Дек. С. 5–214. *Всепресветлейший Державный... Просит... прапорщик ...Баратынский...* – ИД. Оп. 132. № 18. Л. 3–6. *Реверс* – обязательство. С. 305. *Я, право, не знаю...* – Б. к Путяте, янв. 1826 // Б-1983. № 73; Б-1987. № 32; *...об этом надо говорить.* – С.М.Дельвиг (Салтыкова) А.Н.Карелиной (Семеновой) 22.12.1826 // Модзалевский. С. 184–185. *Сонинька моя... кланяется...* – Дельвиг к Б. 8.1.1826 // Дельвиг. С. 311. С. 306. *Много вестей...* – А.М.Мусина-Пушкина В.А.Толстой (дочери) из Москвы в деревню 30.12.1825 // Щ. сб. Т. 10. С. 132. *Смятение в Белостоке.* – 24.12.1825 в Белостоке возмутился Литовский пионерный батальон.

1826. С. 306. *Черниговский полк.* – Восстание Черниг. полка происходило с 29.12.1825 по 3.1.1826 в Васильковском у. Киевской губ. С. 307. *...Боратынский... отправил... Лутковскому...* – См. Б. к Путяте из Москвы в Гельсингфорс, янв. 1826: "Я послал просьбу мою в полк прежде петерб. смятений. Во время оных, несколько испуганный, я написал к Лутк<овскому>, чтоб он удержал мою просьбу. Когда все поуспокоилось, я снова просил его отправить прошение мое по команде. Теперь же я хорошенько не знаю (не получал известия от Лутковского), мог ли он остановить его или нет. Ежели нет, то прошение мое давно уже дошло до вас, ежели да, то вы на днях его получите" (Б-1983, № 73; Б-1987. № 32). *...формулярный список...* – Ф.с. Боратынского, приложенный к его прошению, помечен 9.1.1826 (ИД. Оп. 132. № 18. Л. 7–8). *Стихи у меня...* – Б. к Путяте. янв. 1826 – см. примеч. к с. 305. *Пестель показал...* – Дек. С. 305. С. 308 *...цензура... до 51-й страницы.* – См.: Дельвиг к Б., март 1826 // Дельвиг. С. 314; *...посажены... графы Булгари.* – Дек. С. 31–32. С. 309. *Россия не столь просвещена...* – Булгарин. "О цензуре в России и книгопечатании вообще" //РС. 1900. Т. 103. № 9. С. 580–581; а/т. *Сомневаюсь, чтобы легко...* – Ответ А.С.Шишкова на указ. записку Булгарина // РС. 1904. Т. 119. № 7. С. 204–205; а/т. С. 310. *К 16-му генваря... О увольнении от службы...* – ИД. Оп. 132. № 18. Л. 2. *25-го бумаги...* – Дело об отставке Б. начато 25.1.1826 // Там же. *Носились слухи...* – Дельвиг А.И. С. 30. *Не понимаю, за что москвичи...* – Б. к Путяте, вт. пол. февр. 1825 // Б-1951. № 11; Б-1987. № 19. *Вполне торжественны обеды...* – "Пиры". С. 311. *В Петербурге нашли...* – Вяземский П.А. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 8. С. 159. *На вопрос: Quelle...* – Б. к Киреевскому 26.10.1831 // ТС. С. 23; Б-1987. № 90. *Впрочем, говорить нечего...* – Там же. *Что ты хочешь сделать...* – Дельвиг к Б. 8.2.1826 // Дельвиг. С. 313. *Я скучаю в Москве...* – Б. к Путяте ок. 19 янв. 1826 // РА. 1867. Вып. 2. С. 273–274; Б-1987. № 31. С. 312. *Каждые два часа...* – Вяземский. Зап. кн. С. 220; запись 15.6.1833. *Баратынский... говаривал...* – Слова Вяземского // Дм. С. 452. С. 313. *Баратынский пишет...* – Слова И.И.Дмитриева в передаче Погодина // Дм. С. 493; *...большой наблюдатель...* – Дмитриев М.А. С. 98; *...размеренно, чинно, опрятно...* – Слова Вигеля // Дм. С. 483. *Огонь! – с каким жаром...* – Погодин. С. 68. *Забуду ль о счастливом дне...* – "Д. Давыдову". *Смерть подобна...* – Б. к Вяземскому, лето 1829 // СиН. Кн. 5. С. 46; Б-1987. № 48. *Душа Булгарина...* – Б. к Вяземскому 18.3. – 1.4.1829 // Б-1987. № 45. С. 314. *...убитой горестью...* – Путята к Муханову 15.5.1825 // Сб. Щ. Т. 10. С. 415. С. 315 *...весьма скептически к нему...* –

Замечания Вяземского не сохр. Мы судим по опровержению их в письме Пушкина Вяземскому 1.9.1822. *Каченовский... напечатал.* – "Союз поэтов" Федорова (ВЕ. 1822. № 19). *Загоскин язвил...* – См. его "Послание к Людмилу" // ВЕ, 1823. Ч. 128. № 7. *В Петербурге прозвали Вяземского...* – М.А.Дмитриев Загоскину 28.5.1824 // ГПБ. Ф. 291. № 78. Л. 8–8-об. Опубл.: Б-1914. С. 246 – с неточным указ. автора письма; *...он мне показался энтузиастом...* – Б. к Козлову, после 29 марта – нач. апр. 1815 // Б-1951. № 14; Б-1987. № 22. **С. 316.** *Гречи, Булгарины, Каченовские...* – Б. к Козлову 7.1.1825, пф // РА. 1886. Кн. 2. С. 187; *...хороших правил.* – Вяземский Пушкину 16–18.10.1825; *...дал туда два стихотворения...* – "К ***. Посылая тетрадь стихов" и "Ожидание" (см. Опыт, 1825, нояб. 26); *...московская молодежь помешана...* – Б. к Пушкину, 5–20.1.1826 // Б-1869. С. 418. Б-1987. № 30. *Нам нужна философия...* – Там же. *И поэтического мира...* – Из стих. "В дни безграничных увлечений..." (1831). *Мир я вижу как во мгле...* – "Недоносок" (перв. пол. 1830-х). *Баратынский... по преимуществу...* – Н.А.Мельгунов А.А.Краевскому 14.4.1838 // Отчет Имп. Публичн. б-ки за 1895 г. Пб., 1898. Прил. С. 72. **С. 317.** *Я сердечно рад...* – Б. к Коншину, вт. пол. сент. 1824 // РС. 1908. Т. 136. № 12. С. 757; Б-1987. № 11. *И надо мной свои права...* – "Уверение" ("Нет, обманула вас молва...") опубл. в альманахе М.А.Бестужева-Рюмина "Северная звезда на 1829 г." с датой: *1824*. Вряд ли дата истинная – скорее она требовалась для отвода подозрений в том, что стих. сочинено после женитьбы. Текст "Уверения" см. на с. 138; *...подобен больному...* – Б. к Коншину 10–19.12.1826 (см. примеч. к с. 36). *Поверьте, она не замедлит...* – Речь идет, разумеется, о Настасье Львовне Энгельгардт (26.10.1804 – 15.3.1860), дочери отставного генерал-майора Льва Николаевича Энгельгардта (1766–1836); свадьба ее и Б. состоялась 9.6.1826. **С. 318.** *Эда. Финляндская повесть,* и *Пиры...* – СП. 1826. № 20. 16 февр. **С. 319.** *По указу Его Величества...* – Приказ Закревского от 9.2.1825 // ИРЛИ. № 3166. Л. 2–2-об. **С. 320.** *БЫЛЬ.* – Текст печатается по ЛПРИ (1831. № 6. С. 46–47), но с примеч. Соболевского из тетради М.Н.Лонгинова (Б-1914. С. 325). См. также: Опыт, 1825, конец года – 1826. *Часов однообразный бой...* – Тютчев Ф.И. "Бессонница" (опубл. 1830). *Иду между камнями...* – Рассказ А.А.Шаховского в записи Погодина (ок. 1825–26) // Дм. С. 494. **С. 321** *...там, в очарованной тени.* – "Элизийские поля":

О Дельвиг! слезы мне не нужны;
Верь, в закоцитной стороне
Прием радушный будет мне:
Со мною музы были дружны!
Там, в очарованной тени,
Где благоденствуют поэты,
Прочту Катуллу и Парни
Мои небрежные куплеты,
И улыбнутся мне они.

. . . .

И вам, чрез день или другой,
Закон губительный Зевеса
Велит покинуть мир земной;
Мы встретим вас у врат Айдеса
Знакомой дружеской толпой;
Наполним радостные чаши,
Хвала свиданью возгремит,
И огласят приветы наши
Весь необъемлемый Аид!

ПРИМЕЧАНИЕ К РОДОСЛОВНОЙ РОСПИСИ (с. 322–323)

Основные источники данной росписи см. в примеч. к с. 10. Даты жизни детей Андрея Вас. Боратынского приведены по его ф.с. за 1799 г. (Б1. № 128); дата рожд. Абрама Андр. – по "объявлению" Андрея Вас. от февр. 1773 г. (Б1. № 124); о расхождениях в датах см. примеч. к с. 12–13.

ОПЫТ КРАТКОЙ ЛЕТОПИСИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Е.А.БОРАТЫНСКОГО. 1800–1826, МАРТ

Некоторые сведения в данном "Опыте" сопровождаются указанием (в скобках, курсивом) страниц повести, на которых или в примечаниях к которым обоснованы датировки, либо даны отсылки к изданиям и архивным фондам, откуда сведения почерпнуты. Со знаком вопроса зафиксированы предполагаемые даты и факты, достоверность которых не удалось проверить. В сведениях о журнальных и альма-

нашных публикациях сочинений Боратынского после указания страниц, на которых напечатано произведение, курсивом приводится подпись Боратынского под текстом.

1800. ФЕВРАЛЬ, 19: в с. Вяжля Кирсановского у. Тамбовской губ. в семье Абрама Андр. и Александры Фед. Боратынских р. первенец – Евгений. **МАРТ, 7 или 8:** Б. крещен в церкви с. Вяжля (*с. 44*).

1801: Боратынские живут в Вяжле. **ФЕВРАЛЬ – нач. МАРТА (?):** р. сестра Б. – София.

1802: Боратынские живут в Вяжле. **ФЕВРАЛЬ, 12:** р. брат Б. – Ираклий. **ОСЕНЬ:** раздел Вяжли между Абрамом Андр. и его братьями (*с. 48*).

1803–1804: Абрам Андр., купив дом, ставит его "в пяти верстах" от прежнего – в Маре (*с. 50*). **С ВЕСНЫ–ЛЕТА 1804 (?):** Боратынские живут в Маре. Абрам Андр. выбран губерн. предводителем тамбовского дворянства. (до нач. 1807); Б. "уже читает по-французски" (*с. 50*).

1805: Боратынские в Маре. Б. "уже выучился грамоте и теперь пишет" (*с. 55*). **ФЕВРАЛЬ:** р. брат Б. – Лев (*с. 55*). **СЕНТЯБРЬ, 23–24 или ОКТЯБРЬ, 23–24:** Абрам Андр. едет в Тамбов и берет с собой Евгения до янв. 1806 (*с. 56*).

1806: Боратынские в Маре. **АПРЕЛЬ–ИЮНЬ:** р. брат Б. – Федор (*с. 57–58*). **ОКТЯБРЬ, сер. месяца:** отъезд родителей Б. в Пб. (*с. 58*) **НОЯБРЬ, 5 и 16 (?):** письма Б. к родителям в Пб. (*с. 58*).

1807. ФЕВРАЛЬ, до 5: возвращение родителей Б. в Мару (*с. 59*). **МАЙ, 12:** р. брат Б. – Сергей.

1808–1809: переезд Боратынских из Мары в Москву; живут в Кленниках (*с. 65*).

1809: Боратынские в Москве; р. сестра Б. – Наталия.

1810: Боратынские в Москве. **МАРТ, 24:** кончина Абрама Андреевича (*с. 66*). **ИЮЛЬ, 12:** р. сестра Б. – Варвара. **СЕНТЯБРЬ, 7:** Евгений и Ираклий Боратынские зачислены в Пажеский корпус с правом оставаться в семье (*с. 66*).

1811. МАЙ–ИЮНЬ (?): переезд А.Ф.Боратынской с детьми и сестрой Е.Ф.Черепановой из Москвы в Мару (*с. 67*).

1812. ВЕСНА: Б. отправлен из Мары в Пб. **АПРЕЛЬ–МАЙ, нач.:** Б. отдан в частный пансион (пастора Колленса?) для подготовки к поступлению в Паж. корпус. **АВГУСТ, 31:** прошение П.А.Боратынского о принятии Б. в Паж. корпус (*с. 72*). **ОКТЯБРЬ, 9:** Б. официально принят в пажи в 4-й класс (*с. 73*). **ДЕКАБРЬ–ЯНВАРЬ 1813:** первое письмо Б. к маменьке из Паж. корпуса (*с. 78*).

1813: Б. в Пб. – в Паж. корпусе. **ОКТЯБРЬ, 18:** награжден за успехи (*с. 79*).

1814: Б. в Пб. – в Паж. корпусе; оставлен в 3-м классе; ухудшаются его отношения с гувернерами и учителями. Частные занятия с учителем математики (*с. 81*). Мечта "стать автором"; сочинение "маленького романа" (*с. 8, 82*; "роман" не сохр.). Просьба к маменьке о разрешении вступить в морскую службу (*с. 9*).

1815: Б. в Пб. – в Паж. корпусе; переведен во 2-й класс (?); отличается неровным поведением.

1816: Б. в Пб. (до июля–нач. авг.), затем в Подвойском. **ФЕВРАЛЬ, ок. 18–19:** Б. и Д.Ханыков совершают проступок в доме П.Н.Приклонского (*с. 93*). **ФЕВРАЛЬ, 22:** рапорт Ф.М.Клингера о проступке пажей (*с. 94*). **ФЕВРАЛЬ, 25:** повеление Александра I об исключении Б. и Ханыкова из Паж. корпуса без права вступать в какую-либо военную или статскую службу, кроме солдатской (*с. 95*). **МАРТ, 6–7:** циркуляр министра просвещения А.К.Разумовского по всем статским учреждениям о запрещении принимать в службу Б. и Ханыкова (*с. 96*). **МАРТ, 13:** циркуляр дежурного генерала А.А.Закревского о том же (*с. 95*). **ИЮЛЬ–нач. АВГУСТА:** Б.А.Боратынский увозит Б. из Пб. в с. Подвойское в восьми верстах от г. Белого Смоленской губ. (*с. 97*). **АВГУСТ (?) – ЗИМА:** акварельн. рис. Б. – "архитектурный пейзаж" (руина) с подп.: *1816. Eugène B.;* воспроизв.: Б-1914. С. 216–217; Мат. С. 28–29. **ОСЕНЬ:** Б. болен (*с. 102*).

1817: Б. в Подвойском (янв.), в Кирсанове и Маре (февр.–авг.), в Подвойском (с сент. – до сент. 1818). **ЯНВАРЬ, 23:** первое известное стих. Б. на рус. яз. **"Хор, петый в день именин дяденьки Б<огдана>Андр. его маленькими племянницами Панчулидзевыми"** // ТС. С. 60–62. **ФЕВРАЛЬ, первая половина:** Б. приезжает к маменьке в Кирсанов (*с. 106*). **АПРЕЛЬ (?):** переезд семейства из Кирсанова в Мару (*с. 107*). **АВГУСТ, конец месяца – СЕНТЯБРЬ, нач.:** Б. уезжает из Мары (*с. 108*). **СЕНТЯБРЬ, 2–4:** письмо Б. маменьке из Тамбова в Мару за два часа до отъезда (Мат. С. 37–38; Б-1987. № 3). **СЕНТЯБРЬ, 8–9:** Б. и Б.А.Боратынский проезжают Москву (*с. 108*). **СЕНТЯБРЬ, 12–13:** Б. в Подвойском (до сент. 1818). **СЕНТЯБРЬ, 10-е числа:** письма к маменьке: 1. с рассказом о покупках, сделанных в Москве; 2. с рассказом о том, как он был встречен в Подвойском (*с. 108–109*). **ДЕКАБРЬ, 4 и около 26–27:** письма Б. к маменьке (*примеч. к с. 103*).

1818: Б. в Подвойском (до сент.), в Москве (сент.–окт.–?), в Пб. (с нояб.–?). **АВГУСТ, 6:** письмо Б. к маменьке: о покупке И.А.Боратынским дома в Москве, о том, что "в сентябре мы все отправимся в путь" (*примеч. к с. 103*). **СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ(?):** Б. в Москве(?) (*с. 112*). **ОКТЯБРЬ(?)–НОЯБРЬ:** Б. отправлен в Пб.; снимает три комнаты с А.И.Шляхтинским в доме В.Гижевского на углу Госпитальной ул. и Среднего пр-та в Семеновских ротах; посещает мадам Эйнгросс (*с. 120*). **НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ(?):** новые знакомства в Пб. – с А.А.Дельвигом, В.К.Кюхельбекером (м.б., через Шляхтинского и А.А.Рачинского), а также с А.С. и Л.С. Пушкиными, П.А.Плетневым, С.А.Соболевским, П.Н.Чернышевым, В.А.Эртелем, П.Л.Яковлевым (*с. 118–128*); м.б., Б. посещает заседания ВОЛСНХ (Баз. С. 42).

1819: весь год Б. в Пб. **ЯНВАРЬ–нач. ФЕВРАЛЯ:** Дельвиг отдает А.Е.Измайлову для публикации в "Благонамеренном" мадригал Б. (см. февр. 28). **ФЕВРАЛЬ, 8:** Б. определен рядовым в л.-гв. Егерский полк. **ФЕВРАЛЬ, 28:** первое опубл. стих. Б. **"Пожилой женщине и все еще прекрасной"** // Благ. Ч. 5. № 4. Ц.р. 11.2.1819. С. 210. подп. *Е.Б.* – в разделе "Мадригал". Адресат – М.А.Панчулидзева (см.: Мат. С. VI). Д.р.: "Женщине пожилой, но все еще прекрасной" // Б-1827; "Взгляните:свежестью младой..." //Б-1835. **МАРТ, конец месяца – АПРЕЛЬ, начало:** письмо Б. маменьке с благодарностью "за присылку денег 500 р." (*примеч. к с. 141*). **МАРТ, 31:** опубл. **"К Алине"** (д.р. нет); **"Любовь и Дружба. (В альбом)"** (д.р. – нет); **"Портрет В..." ("Как описать тебя?...")**. // Благ. Ч. 6. № 6. Ц. р. 14.3.1819. С. 332, 334. *Е.Боратынский.* "Портрет В..." обращен к В.Н.Кучиной (?), переадресован в д.р. А.В.Лутковской (см. 1823–1824, нач. года). **МАЙ, 16:** опубл. **"Дамон, ты начал, продолжай..."** // Благ. Ч. 6. № 9. Ц.р.2.5.1819. С. 143. *Е.Бор...ий.* Д.р. – нет. Повод для эп-мы – выход "Сочинений кн. Шаликова" (Ч. 1. М., 1819). **ИЮНЬ, 8–29:** Б. в Красном Селе (?), где в летнем лагере л.-гв. Егерский полк – в составе 2-й бригады 1-й гвардейской дивизии (Дирин. Т. 2. С. 22; Штейнгейль В.В. Имп. гвардия. Пб., 1878. С. I). **ИЮЛЬ, 26:** опубл. **"К Креницыну"** // СО. Ч. 55. № 30. Ц.р. 22.7.1819. С. 181-182. *Евгений Баратынской.* Д.р. – нет. **АВГУСТ, 2:** опубл. **"К Дельвигу" ("Так, любезный мой Гораций...")** // СО. Ч. 55. № 31. Ц.р. 29.7.1819. С. 228–229, *Евгений Баратынской.* Д.р.: Б-1827 – "Дельвигу". В Б-1835 не пропущено цензурой. Ответ Дельвига – "К Евгению" ("За то ль, Евгений, я Гораций..."). **АВГУСТ, 20:** опубл. **"Прощанье" ("Простите, милые досуги...")** // Благ., Ч. 7. № 15. С. 142–143. *Е-ъ Б...ский.* Д.р. нет. **АВГУСТ, вторая половина – СЕНТЯБРЬ:** Шляхтинский уезжает из Пб.; Б. пишет ему послание (см. 1820, дек. 6). М.б., вскоре Дельвиг переезжает к Б. в дом Гижевского, или Б. и Дельвиг снимают новую квартиру – в Пятой роте Семеновского полка (*с. 121*). О жизни Б. и Дельвига в Пятой роте – их стих. **"Там, где Семеновский полк..."** // ИВ. 1883. № 2. С. 468. **ОСЕНЬ(?):** хлопоты родственников о переводе Б. в Нейшлотский пех. полк. Командир Нейшл. полка Г.А.Лутковский "получил извещение от родных об определении" к нему Б. (*с. 160*). **ДЕКАБРЬ, 6:** опубл. послание к Шляхтинскому **"Т—му. (В Альбом)"** ("Пускай измаранный листок...") // СО. Ч. 58. № 49. Ц.р. 2.12.1819. С. 126. *Е.Баратынский.* Д.р.: "Прощание" // Сор. 1821. Ч. 15. Кн. 3. С. 338; б.п.; "В Альбом" // Б-1827; "Тебе на память в книге сей..." // Б-1835; "Земляк! в стране чужой, суровой..." // Б-1884. С. 4. См. 1819, авг., вт. пол. – сент.

1819. СТИХИ ИЗ АЛЬБОМА П.Л.ЯКОВЛЕВА: "Случай" // Б-1827 (в Б-1835 без загл.: "Вчера ненастливая ночь..."); **"Моя жизнь"; "Полуразрушенный, я сам себе не нужен..."; "Мы будем пить вино по гроб..."; "Здесь погребен армейский капитан..."; "В пустых расчетах, в грубом сне..."** // Б-1936. Т. 1. С. 266–270.

1819, конец года – 1820, нач. года: м.б., написана **"Элегия" ("На краткий миг пленяет в жизни радость...")** // Сор. 1820. Ч. 9. № 2. С. 196. *Баратынский;* СО. 1821. Ч. 70, № 21. Ц.р. 17.5.1821. С. 32–33. *Баратынской.* Д.р.: "Разлука" // Б-1827; "Расстались мы; на миг очарованьем..." // Б-1835. О.д. – строка о "разлуке годовой". Адресат – В.Н.Кучина (?) (Мат. С. VI).

1819 – начало 1820-х: стих. **"Наш приятель, Пушкин Лёв..."** (вместе с Дельвигом) // Рус. вестник. 1842. № 1. С. 22, *б.п.;* с заменой имени: *Пустяков* (Соболевский называл среди авторов кроме Б. и Дельвига – Плетнева, Эртеля и самого Л.С.Пушкина – см.: Пушкин и его современники. Пг., 1915. Вып. 21–22. С. 42).– Стих., приписываемое Б., **"С неба чистая..."** // Б-1869. С. 394.

1820: Б. в Пб. (нач. янв.), в Финляндии (после 11 янв. до нач. дек.), в Пб. (апрель – ? и 12–13 дек.), в Маре (конец дек.). **ЯНВАРЬ, 3:** предписание бригадного командира вел. кн. Николая Павловича о переводе Б. унтер-офицером в Нейшлотский пехотный полк (*с. 148*). **ЯНВАРЬ,6:** ц.р. НЗ (Ч.1. №1; вышел 3 февр.) со стих. Б.: **"Отрывки из Поэмы: Воспоминания"** // С. 85–94. *Е.Баратынский* (д.р. – нет); **"Брату при отъезде в армию"** // С. 98–99. *Е.Баратынский*

в исправл. виде: "Б—му (при отъезде его в армию)" // Благ. 1820. № 11. С. 117. Д.р.: "К Б*" // НЛ. 1823. Кн. 3. № 2. С. 28; "К **** при отъезде в армию" // Б-1827; "Итак, мой милый, не шутя..." // Б-1835. Адресат — брат Ираклий — (вышел из Паж. корпуса 31.12.1819 — см. с. *73*); **"Элегия" ("Ужели близок час свиданья...")** // С. 99—100. *Е.Баратынский* (д.р.: "Ропот" // Б-1827; "Он близок, близок день свиданья..." // Б-1835. Адресат — В.Н.Кучина (?) см. Мат. С. VI); **"Эпиграмма" ("Хоть глуповат подчас Дамон...")** // С. 103. *Е.Б...ий* (д.р.: "Эпиграмма" ("Поэт Графов в стихах тяжеловат...") // Б-1827; "Поэт Писцов в стихах тяжеловат" // Б-1835. Адресат — Д.И.Хвостов (?); его ответ 1827 года: "Ты, Баратынский, прав, пусть слог тяжеловат..." // Б-1936. Т. 2. С. 245). **ЯНВАРЬ, 11:** командование л.-гв. Егерского полка рапортует в Инспекторский департамент о том, что Б. отправлен в Нейшлотский полк (*с. 148*). **ЯНВАРЬ, после 11:** Б. во Фридрихсгаме, здесь штаб Нейшл. полка. Знакомство с Н.М. Коншиным, И.Г.Хлуденевым, А.К.Ридингером, О.В.Аммонтом, М.А.Бестужевым-Рюминым (о его отношениях с Б. см.: Вацуро. Из лит. отн.) и др. офицерами Отд. Финл. корпуса (*с. 162*). Вскоре Б. номинально определен в одну из рот 1-го бат. (в роту Коншина) (*с. 161*). **ЯНВАРЬ, после 11 — МАЙ, 10-е числа:** Б. во Фридрихсгаме, временами в Ликоловских казармах (*с. 162*). **ЯНВАРЬ, 19:** в ВОЛРС (Баз. С. 371) слушали доставленные Дельвигом стих. Б.: **"Послание к Д....гу"** (м.б., **"Где ты, беспечный друг..."** — см. 1820, март, 17; связано с посланием Дельвига "Евгению": "Помнишь, Евгений, ту шумную ночь..."); **"Послание к К....ву"** (А.А.Крылову). **("Любви веселый проповедник...")** (опубл. с загл. " К -ву" // Сор. 1820. Ч. 9. № 3. Ц.р. 30.4.1820. С. 327. *Баратынский;* д.р. — нет). **ЯНВАРЬ, 26. Пб.:** Б. принят заочно в чл.-корреспонденты ВОЛРС (Баз. С. 443). **ЯНВАРЬ, 31:** опубл. **"К Кюхельбекеру"** // СО. 1820. Ч. 59. № 5. С. 225. *Ев.Баратынский. 18 января 1820.* Д.р. — нет. Ответы Кюхельбекера: "Поэты" (см. 1820, март, 22) и "К Евгению" ("С наморщенным челом потухшими глазами..."). **ФЕВРАЛЬ—АВГУСТ:** поэтич. переписка Б. с Коншиным. Б.: **"Живи смелей, товарищ мой..."** (см. 1821, июль, 16); Коншин: "Поэт, твой дружественный глас..." (см. 1820, нояб., 29); Б.: **"Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам..."** (см. 1820, дек. 4); Коншин: "Забудем, друг мой, шумный стан..." (см. 1820, май, 15 — июль, 1; 1820, нояб., 29); Б.: **"Пора покинуть милый друг..."** (см.: 1821, авг., 8). Коншин:"Куда девался мой поэт?..."; опубл. с пометой *1 августа 1820. Кирхшпиле Валькиала:* Благ. 1820. Ч. 11, № 17. 17 сент. С. 329. О хронологии посланий см.: Вацуро. Из лит. отн. С. 158—159; Поэты. С. 350—352. **ФЕВРАЛЬ, 3:** вышел НЗ (Ч. 1. № 1) со стих. Б. (см. 1820, янв. 6). **ФЕВРАЛЬ, 11:** ц.р. НЗ (Ч. 1. № 2; вышел между 1 и 17 марта) со стих. Б. **"К Девушке, которая на вопрос, как ее зовут, отвечала: не знаю"** // С. 93. *Е.Баратынский.* Д.р.: "Девушке, которая на вопрос: как ее зовут? отвечала не знаю" // Б-1827; "Незнаю? Милая Незнаю!.. // Б-1835. **ФЕВРАЛЬ, 23:** в ВОЛРС (Баз. С. 373) слушали *"Послание к Л..."* — м.б., стих. "Лиде" (см. 1821, март, 5). **МАРТ, между 1 и 17:** вышел НЗ (Ч. 1. № 2) со стих. Б. (см. 1820, февр. 11). **МАРТ, 17:** ц.р. НЗ (Ч. 1. № 3; вышел между 1 и 16 апреля) со стих. Б.: **"Послание к б.... Дельвигу"** // С. 56—59. *Е.Баратынский* (см. 1820; янв. 19; д.р.: "Делию" // Б-1827; "Где ты, беспечный друг..." // Б-1835); в разделе "Элегии": **"Заснули рощи над потоком..."** // С. 54—55. *Евгений Баратынский. Фридрихсгам. 15 марта 1820* (д.р.: "Элегия" ("Дремала роща над потоком...") // СО. 1821. Ч. 71. № 27. *Б-ий;* "Утешение" ("Свободу дав тоске моей...") // Б-1827; "Подражание Лафару" // Б-1835). **МАРТ, 22:** в ВОЛРС (Баз. С. 375) слушали стих. Б. **"Весна (Элегия)" ("Мечты волшебные, вы скрылись от очей...")** // Сор. 1820, Ч. 10. Ц.р. 5.4.1820. № 4. С. 88—89. *Баратынский.* Д.р. — нет. Кюхельбекер читает стих. "Поэты" — опубл. там же. **АПРЕЛЬ, между 1 и 16:** вышел НЗ (Ч. 1. № 3) со стих. Б. (см. 1820, март, 17). **АПРЕЛЬ (?):** Б. в Пб. (?) (*с. 163*). **АПРЕЛЬ, 19:** Б. в ВОЛРС (?) (Баз. С. 377), где слушали его стих. **"Финляндия"** // Сор. 1820. Ч. 10. № 5. Ц.р. 17.4.1820. С. 168—170. *Баратынский* (д.р. с тем же загл.: СО. 1821. Ч. 70. № 22. Ц.р. 24.5.1821. С. 81—84. *Баратынской;* Б-1827; Б-1835); **"Мадригал Финским красавицам"** (опубл. с загл. "Финским красавицам" // Там же. С. 186. *Баратынский;* д.р. — нет). **АПРЕЛЬ, 23:** Кончина Б.А.Боратынского (*с. 163*). **МАЙ. 10—14:** 1-й и 3-й бат. Нейшл. полка переходят в окрестности Вильманстранда в палаточный лагерь на Лебедином поле на берегу оз. Сайма (*с. 163*). **МАЙ, 15 — ИЮЛЬ, 1:** Б. под Вильманстрандом во время пребывания здесь войск Отд. Финл. корпуса. М.б., здесь написано "Уныние" (см. 1821, янв. 15). **ИЮНЬ, 4. Пб.:** письмо В.Н.Каразина к министру внутр. дел с обвинениями Кюхельбекера, Пушкина, Дельвига и Б. в безнравственности и неблагонадежности (*с. 156*). **ИЮЛЬ (?):** Б. и Коншин едут к водопаду Иматра (*с. 164*). **АВГУСТ или СЕНТЯБРЬ (?):** поездка Б. и Коншина к морю, в Роченсальм (*с. 164*). **ОСЕНЬ — нач. ДЕКАБРЯ:** Б. во Фридрихсгаме — где штаб Нейшл. полка, в Ликол. казармах — штаб 1-го бат., в Валькиале — роты 1-го бат. (ОФК. Св. 22. № 246. Л. 31, 40).

ОСЕНЬ: завершена поэма "Пиры" (см. 1820, дек. 13; 1821, февр. 28; 1825, нояб. 26; 1826, февр. между 8 и 14); написаны стих. "Я возвращусь к вам, поля моих отцов..." (см. 1821, февр. 5); "Прощай, отчизна непогоды..." (см. 1821, авг. 8). **НОЯБРЬ, 22:** в ВОЛРС (Баз. С. 388) "слушали в прозе" соч. Б. "О заблуждениях и истине" // Сор. 1821. Ч. 13, № 3. Ц.р. 31.1.1821. С. 25–26. *Баратынский.* **НОЯБРЬ, 29:** в ВОЛРС (Баз. С. 389) слушали "соч. неизвестного" (стих. Коншина): "Баратынскому (при выступлении из лагеря в деревню)" ("Забудем, друг мой, шумный стан...") и "Баратынскому. Ответ" ("Поэт, твой дружественный глас...") (см. 1820, февр.–авг.). **ДЕКАБРЬ, 4:** Опубл. "К Коншину" // СО. Ч. 66. № 49. С. 130–131. *Е. Баратынский. Фридрихсгам.* С разночт.: "К—ну" // 1827; "Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам..." // Б-1835 (см. 1820, февр.–авг.). **ДЕКАБРЬ, 11:** начало отпуска Б. (до 1.3.1821). **ДЕКАБРЬ, ок. 12:** Б. приезжает в Пб. (с Г.А.Лутковским –?) (*с. 167*). **ДЕКАБРЬ, 13:** Б. в ВОЛРС (Баз., С. 390), где слушают его соч.: **"Пиры"** // Сор. 1821. Ч. 13. № 3. Ц.р. 31.1.1821. С. 385–394; *Е.Баратынский* (д.р.: ЭиП; Б-1827; Б-1835); **"Дельвигу"** – м.б., **"Напрасно мы, Дельвиг, желаем найти..."** (см. 1821, сент. 17). **ДЕКАБРЬ, после 13:** Б. уезжает из Пб. в Мару (до февр. 1821 –?) (*с. 168*). **ДЕКАБРЬ:** Лутковский представляет Б. к производству в прапорщики (отказано).

1820–1826 (?): написана эп-ма **"Так, он ленивец, он негодник..."** // Б-1914. С. 87. Адресат – Н.А.Цертелев (?).

1821: Б. в отпуске до 1 марта. В Маре (до февр.?), в Пб. (февр.), в Финляндии (март–апрель), в Пб. (с 30 апреля). **ЯНВАРЬ, 15:** опубл. **"Уныние"** // СО. Ч. 67. № 3. Ц.р. 11.1.1821. С. 128–129. *Е.Баратынский* (см. 1820, май, 15 – июль, 1). С разночт.: "Уныние" // Б-1827; "Рассеивает грусть веселый шум пиров..." // Б-1835; "Лагерь" // Б-1884. **ФЕВРАЛЬ:** возвращение Б. из Мары в Пб. Знакомство с С.Д.П.; м.б., написаны адресованные ей стих.: **"Приманкой ласковых речей..."** (см. 1821, март, 7; 1823, окт., 30); **"Вы слишком многими любимы..."** (см. 1821, март, 7; 1823–1824, нач. года); **"Когда б вы менее прекрасной..."** // ВЕ. 1894. № 3. С. 438 с загл. "В альбом"; автограф – СДП-1. Л. 47. **ФЕВРАЛЬ, 5:** опубл. **"Сельская элегия"** // СО. Ч. 67. № 6. Ц.р. 1.2.1821. С. 274–276. *Баратынский.* Д.р.: "Родина" // Б-1827; "Я возвращусь к вам, поля моих отцов..." // Б-1835; "Деревня" // Б-1869 (см. 1820, осень). **ФЕВРАЛЬ, 19:** опубл. **"Больной"** // СО. Ч. 68. № 8. Ц.р. 15.2.1821. С. 37. *Баратынский.* Д.р. – нет. **ФЕВРАЛЬ, 28:** в ВОЛРС Гнедич читал "Пиры" (отчет о собрании ВОЛРС см.: Благ. 1821. Ч. 13. № 4. С. 251–252. **ФЕВРАЛЬ, конец месяца** (?): Б. возвращается из Пб. в Фридрихсгам – здесь штаб Нейшл. полка и 2 роты 1-го бат. (ОФК. Св. 24. № 282. Л.2). **МАРТ, 5:** опубл. **"Лиде"** // СО. Ч. 68. № 10. Ц.р. 1.3.1821. С. 133–134. *Баратынский* (д.р.: "Лиде" // Б-1827; "Твой детский вызов мне приятен..." // Б-1835; адресат – финл. знакомая Елизавета Куприянова, см. Мат. С. VI); **"Русская песня"** (**"Страшно воет, завывает..."**) // Там же. С. 134–135. *Баратынский* (с разночт.: "Русская песня" // Б-1827; "Песня" // Б-1835). **МАРТ, 7:** в ВОЛРС (Баз. С. 394) слушали стих. Б.: **"Бдение"** (**"Один, с любимою мечтою..."**) // Сор. 1821. Ч. 14. № 1. С. 61–62. *Е.Б.* (д.р.: "Тоска" // Рецензент. 1821. № 23. *Баратынский*; РИ. 1822. № 18. *Б-ий;* "Бдение" // Б-1827; "Один, и пасмурный душою..." // Б-1835); **" К К...о"** <"К Калипсо" – см. Вацуро. СДП. С. 69> (**"Приманкой ласковых речей..."** – см. 1823, окт., 30; адресат – С.Д.П. см. 1821. февр.); **"В альбом"** – м.б., **"Вы слишком многими любимы..."** // Сор. 1821. Ч. 14. № 1. С. 65. *Е.Б.* (д.р.: "В альбом" // Б-1827; адресат – С.Д.П.; переадресовано А.В.Лутковской // Лутковская. Л. 16; см. 1823–1824, нач.) **МАРТ, 12:** письмо Б. к С.С.Уварову с просьбой ходатайства о производстве в прапорщики (*с. 170*). **МАРТ, 28. Пб.:** Б. переведен заочно из чл.-корреспондентов в действит. члены ВОЛРС (Баз. С. 443), о чем уведомлен письмом секретаря ВОЛРС А.А. Никитина. Ответ Б. написан до 13 апр. – см.: Пушкин и его время. Л., 1962. Вып. 1. С. 307; Б-1987, № 5. **АПРЕЛЬ, 13–17:** Нейшл. полк выступает из Фридрихсгама в Пб. для несения караульной службы; к **30 АПРЕЛЯ** прибыл в Парголово (см. 4-е примеч. к *с. 174*); Дельвиг и Эртель встречают Б. (*с. 178*). **С МАЯ** (?): Б. живет на квартире с Дельвигом (?) (см. 1819, авг., вт. пол.–сент.: 1822, ...? – май); участвует в плетневских субботах (см. 6-е примеч. к с. 121). **МАЙ, 16:** Б. в ВОЛРС (Баз. С. 398), где слушают его стих.: **"Водопад"** // Сор., 1821. Ч. 15. Ц.р. 10.6.1821. № 1. С. 90–91. *Баратынский* (д.р.: "Водопад" // Б-1827; "Шуми, шуми с крутой вершины..." // Б-1835); **"Элегия"** (какая именно – неясно). **МАЙ, 26:** А.А.Крылов читает в ВОЛСНХ памфлет "Вакхические поэты" (*с. 223*). **МАЙ, 31** (?): Б. в ВОЛРС (Вацуро. СДП. С. 105) **ИЮНЬ** (?). Ответ Б. – Крылову: **"Кто жаждет славы, милый мой!.."** // РИ, 1822. № 28. С. 12. *Б-ий.* Загл. "К ***". Д.р.: "К -ву. Ответ" // Б-1827; "Чтоб очаровывать сердца..." // Б-1835. **ИЮНЬ, 11:** Опубл. послание **"Булгарину"** (**"Нет, нет, Булгарин! ты не прав..."**) // СО. Ч. 70. № 24. Ц.р. 7.6.1821. С. 175–

177. *Баратынский;* д.р.: "К ...." // Б-1827; "Приятель строгий, ты не прав..." // Б-1835. **ИЮНЬ, 13:** Б. в ВОЛРС; затем на чае у Булгарина; там же – Ф.Н.Глинка, Гнедич, Греч, Дельвиг, Лобанов, Сомов (Вацуро. СДП. С. 134). **ИЮЛЬ, 16:** опубл. послание Коншину "К–ну" // СО. Ч. 71. № 29. Ц.р. 11.7. 1821. С. 131. *Б-ий.* Д.р.: "Добрый совет. К-ну" // Б-1827; "Живи смелей, товарищ мой..." // Б-1835 (см. 1820, февр.–авг.). **АВГУСТ, вторая половина (?):** Возобновление визитов Б. к С.Д.П. **АВГУСТ, 8:** Б. в ВОЛРС (Баз. С. 401), где слушают его стих.: **"Цветок"** // Сор. 1821. Ч. 15. № 2. С. 244–245. *Баратынский* (д.р. с тем же загл.: Б-1827; Б-1835); **"Элегия":** – м.б., **"Прощай, отчизна непогоды..."**// Там же. С. 236–237. *Е.Б.* – вместе со стих. "Н.М.К." (см. ниже) в разделе "Элегии" (д.р.: "Отъезд" // Б-1827; "Прощай, отчизна непогоды..." // Б-1835; см. 1820, осень); **"Послание"** – м.б., к Коншину **"Н.М.К."** // Там же. С. 237. *Е.Б.* (д.р.: "К ...ну" // Сл. 1827. Ч. 4. С. 511; Б-1827; "Пора покинуть, милый друг..." // Б-1835; **АВГУСТ, 11:** Дельвиг читает в ВОЛСНХ стих. Б. "К ресторатору Талону" (не сохр.). (Вацуро. СДП. С. 171). **АВГУСТ, 22:** Б. в ВОЛРС (Баз. С. 401), где слушают **"К Риму"** (см. 1823, дек., конец месяца). **СЕНТЯБРЬ, 10:** опубл. **"Эпиграмма" ("Его творенье скукой дышит...")** // Благ. Ч. 15. № 15. С. 160. подп. *Б.* (с разночт.: "Эпиграмма" // Б-1827; "В своих стихах он скукой дышит..." // Б-1835). Адресат – Д.И.Хвостов (?). **СЕНТЯБРЬ, 12:** Б. в ВОЛРС (Баз. С. 402), где слушают его стих.: **"Прощание"** – м.б., переработанное послание к Шляхтинскому (см. 1819, дек., 6); **"Послание I"; "Послание II"** (какие – неясно); а также обращенные к Б. **"Стихи, написанные на манускрипте поэта" Плетнева** // Сор. 1821. Ч. 15. № 3. С. 340. – **В 1821 Б. побывал на 16-ти собраниях ВОЛРС:** в феврале, мае, июне – 5 раз, с авг. по дек. – 11 раз (Отчет ВОЛРС за 1821 // ИРЛИ. Ф. 58. № 49. Л. 26, 112-об.; Филиппович. С. 52). – **СЕНТЯБРЬ, 17:** Б. на именинах (?) С.Д.П., вписывает в ее альбом строки из послания Дельвигу ("Напрасно мы, Дельвиг, желаем найти..."): **"Наш жребий – положенный срок питаться болезненной жизнью, // Любить и лелеять недуг бытия // И смерти отрадной – страшиться!" Строки написаны следом за стих. Кюхельбекера "Да протечет твой новый год..." под общим загл. "Софье Дмитриевне Понамаревой в день ее именин 1821"** (СДП-1. Л. 39-об.; те же строки Б.: Яковлев. Л. 54). Стих. **"Напрасно, мы, Дельвиг, желаем найти..."** опубл. с загл. "К Делию. Ода. (С латинского)": Сор. 1821. Ч. 16. Ц.р. 30.9.1821. № 1. С. 78–79. *Баратынский.* С разночт.: Б-1827 с загл. "Дельвигу"; Б-1835 без загл. **СЕНТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ (?):** Б. вписывает в альбомы С.Д.П.: **"Слепой поклонник красоты..."** (СДП-1. Л. 17; затем переадресовано Лутковской и опубл. в д.р. под загл. "Л-ой" – см. 1825, март, после 20); **"О своенравная София..."** (СДП-2. Л. 16; опубл. в д.р. с загл. "Аглае" – см. 1822, дек. конец месяца). М.б., тогда же написаны стих., обращенные к С.Д.П.: **"Зачем живые выраженья..."** (см. 1824, авг., 20); **"Неизвинительной ошибкой..."** (см. 1825, март, после 20) и прозаич. аллегория **"История кокетства"** (см. 1823, дек., вт. пол.).

1821, не позднее ОСЕНИ (?): написаны стих. **"Нет, не бывать тому, что было прежде!.."** (опубл. с "Разуверением" (см. ниже) под общим загл. "Элегии": Сор. 1821. Ч. 16. Ц.р. 30.9.1821. № 2. С. 204–205; подп. **; д.р. – нет); **"Разуверение" ("Не искушай меня без нужды...")** (опубл. там же. С. 205; подп. **; затем с тем же загл. и с разночт.: НЛ. 1822. Кн. 1. № 3. С. 47; Новые Аониды на 1823. С. 101; Б-1827; Б-1835; адресат – В.Н.Кучина – ? См. Мат. С. VI).

Около 1821 (?): написаны стих. **"Элизийские поля"** (см. 1825, март, после 20); **"Товарищам"** // Б-1827 (в Б-1835 без загл.: "Так, отставного шалуна..."; д.р.: "Отставного шалуна..." // Б-1914. С. 268–269); **"Признание"** (см. 1823, дек., конец месяца; адресат – м.б., В.Н. Кучина; ср. с "Разуверением").

1822: Б. в Пб. (до 1-го авг.), в Финляндии (конец авг. – перв. пол. сент.), в Маре (?) (с окт.). **ЯНВАРЬ – нач. МАРТА (?):** стих., связанные с С.Д.П.: **"Догадка"** ("Любви приметы...") и **"Поцелуй"** ("Сей поцелуй, дарованный тобой...") (см. 1822, март, 9; март, вторая половина). **ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ. Кишинев:** послания А.С. Пушкина к Б.: "Сия пустынная страна..." и "Я жду обещанной тетради..." ("Баратынскому. Из Бессарабии"; "Ему же" // СЦ. 1826; о.д. см.: Цявл. С. 324, 328). **ЯНВАРЬ, 16:** Б. в ВОЛРС (Баз. С. 410), где слушают его стих. **"К другу"** – м.б., послание Дельвигу **"Дай руку мне, товарищ добрый мой..."** (см. 1822, дек. конец месяца). **ЯНВАРЬ, вторая половина (?) – ФЕВРАЛЬ:** Б. болен – см. письмо Гнедичу, кон. февр. – нач. марта (*с. 231*). **МАРТ, между 4 и 13:** опубл. пер. Б. повести К. де Местра **"Прокаженный из города Аосты"** // БдЧ. 1822. Кн. 2. Ц.р. 21.2.1822. С. 3–35; подп. *Б.* (о.д.: Вацуро. СДП. С. 192). **МАРТ–ИЮЛЬ (?):** разлад отношений с С.Д.П. (стих. **"Зачем нескромностью двусмысленных речей..."**; см. 1822, авг. 11). **МАРТ, первые числа:** Б., С.Л. и Л.С. Пушкины заходят в гости-

ницу Демута к остановившемуся там И.П.Липранди (приехал из Кишинева) узнать о А.С.Пушкине (Цявл. С. 331). **МАРТ, 9:** А.Е.Измайлов читает в ВОЛСНХ стих. Б. "Догадка", "Возвращение", "Поцелуй" (Вацуро. СДП. С. 192) (см. 1822, янв.– нач. марта; март, вторая половина). **МАРТ, 10:** обед у С.Л. и Л.С.Пушкиных для И.П.Липранди; кроме Б. присутствуют Дельвиг и Е.Ф.Розен (Цявл. С. 332). **МАРТ, вторая половина:** опубл. в "Благ." (Ч. 17. № 11, 16 марта. С. 443–444; подп. *Б.*) стих.: **"Догадка" ("Любви приметы...")** (д.р.: Б-1827 – то же загл.; Б-1835 без загл.); **"Возвращение" ("На кровы ближнего селенья...")** (в Б-1827 – то же загл., в Б-1835 без загл.); **"Поцелуй (Дориде)"** (д.р.: "Поцелуй" // Б-1827; "Сей поцелуй, дарованный тобой..." // Б-1835); см. также: 1822, янв. – нач. марта. **АПРЕЛЬ, 1:** опубл. пер. Б. из "Гения христианства" Шатобриана **"О колоколах"** // СО. Ч. 76. № 13. С. 267–271. *Баратынский.* В том же № СО – реплика Катенина (от 17.3.1822) о Б.: "Хотя. к сожалению, большая часть его стихов написана в модном и несколько однообразном тоне мечтаний, воспоминаний, надежд, сетований и наслаждений, но в них приметен талант истинный, необыкновенная легкость и чистота" (С. 260). **АПРЕЛЬ, 17:** Б. в ВОЛРС (Баз. С. 415), где слушают его стих. "Весна" ("На звук цевницы голосистой...") (см. 1822, дек., конец месяца). ...? – **МАЙ:** Б. живет на квартире с Дельвигом – в Семеновских ротах (?) (*с. 209*). **МАЙ, 27–28:** приезд в Пб. сестры Софии (*с. 209*). **ИЮНЬ–ИЮЛЬ:** написано стих. "Сестре" // НА. 1825. С. 63–64. *Е.Б.*; НЛ. 1825. Кн. 12. Апрель. С. 50. *Б-ий* (д.р. – нет). **ИЮЛЬ, 9:** рисунок Б. с подп.: *1822. 9 Juillet, voyage de Sophie à Pétersbourg et son entrevue avec Eugène* (9 июля, путешествие Софи <Боратынской> в Петербург и ее свидание с Евгением) (ИРЛИ. № 21.798; в кн.: Рисунки рус. писателей XVII– нач. XX в. М., 1988. № 101 – воспроизв. с произвольным назв. "Два воина"). **ИЮЛЬ:** возвращение гвардии в Пб.; Коншин пишет стих. "К нашим" (*с. 226*). **ИЮЛЬ, после 10 – АВГУСТ, до 1 (?):** написаны "Певцы 15-го класса" // Б-1936. Т. 1. С. 325–326 – по списку А.Е.Измайлова (см.: Вацуро. МЧ. С. 155) с подп.: *Сочинил унтер-офицер Евгений Баратынский с артелью* (*с. 226*). **ИЮЛЬ, 20–21:** письмо Б. к маменьке о жизни сестры в Пб. и с просьбой согласия на его отставку (*с. 219*). **АВГУСТ, 1:** Нейшл. полк выступает из Пб. и к **20–21 АВГУСТА** штаб полка и 1-й бат. размещены в Роченсальме (*с. 219*). **АВГУСТ, 11:** ц.р. НЛ (Кн. 1. № 8) с соч. Б.: **"Дориде" ("Зачем нескромностью двусмысленных речей...")** // С. 126–127. *Баратынский* (д.р.: "Делии" // Б-1827; "Зачем, о Делия! сердца младые ты..." // Б-1835; адресат – С.Д.П.; см. 1822, март–июль); **"Таинство Елеосвящения"**, пер. из "Гения Христианства" Шатобриана // С. 113–114; *Б.;* атрибуцию см.: Хетсо. С. 272. **АВГУСТ, 18:** ц.р. НЛ (Кн. 1, № 9) с пер. Б. из "Гения Христианства" **"Пороки и Добродетели, согласно с учением Религии"** // С. 129–132. *Б.;* атрибуцию см.: Хетсо. С. 272. **АВГУСТ, 26:** ц.р. НЛ (Кн. 1. № 10) с пер. Б. из "Гения Христианства" **"О Вере"** // С. 145–148. *Б.;* атрибуцию см.: Хетсо. С. 272. **СЕНТЯБРЬ, 21:** нач. отпуска Б. (до 1.2.1823). **СЕНТЯБРЬ, сер. месяца (?):** Б. из Роченсальма через Пб. (м.б., с сестрой Софией) едет в Мару (?) – до янв. 1823 (*с. 220*). **СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ. Пб.:** нач. полемики "благонамеренных" против Б. и Дельвига: стих. Федорова "Honny soit qui mal y pense" (написано до 8 окт.), "Союз поэтов", памфлетные стих., эпиграммы, статьи Измайлова, Сомова, Остолопова, Цертелева (*с. 227–229*); ответы Б. см. 1822, не ранее осени – 1823. **ДЕКАБРЬ, конец месяца. Пб.:** вышла ПЗ 1823 (ц.р. 30.11.1822) со стих. Б.: **"Весна"** // С. 85–86. *Баратынский* (д.р.: "Весна" // Б-1827; "На звук цевницы голосистой..." // Б-1835; см. 1822, апр. 17); **"К Дельвигу" ("Дай руку мне, товарищ добрый мой..."** // С. 374–376. *Баратынский* (д.р. с загл. "Дельвигу": Б-1827, Б-1835; см. 1822, янв. 16). В той же ПЗ 1823 в критич. обзоре А.А.Бестужева сказано: "*Баратынский,* по гармонии стихов и меткому употреблению языка, может стать наряду с Пушкиным. Он нравится новостью оборотов; его мысли не величественны, но очень милы. "Пиры" Баратынского игривы и забавны. Во многих безделках виден развивающийся дар; некоторые из них похищены, кажется, из Альбома Граций" (С. 28). **ДЕКАБРЬ, 27:** ц.р. НЛ (Кн. 2, № 26) с пер. Б. из "Гения Христианства" **"О Надежде и Любви"** // С. 193–196. *Б.;* атрибуцию пер. см. Хетсо. С. 272.

Около 1822: выполнены пер. Б. из "Гения Христианства"; опубл. Воейковым в 1826 и 1830: **"Астрономия"; "Естественная История. Потоп"; "Юность и старость Земли"; "Общее обозрение Вселенной"** //НЛ. 1826. Кн. 16. С. 1–9, 9–13, 13–16; подп. *Б.;* С. 16–19. *Б-ий;* **"Логография и происшествия исторические, доказывающие истину Библейской хронологии"** // Сл. 1830. Ч. 13. № 3. С. 222–234. *Б-ий:* атрибуцию пер. М.Л.Гофманом и Г.Хетсо см.: Б-1915. С. VI; Хетсо. С. 271–272.

1822, не ранее ОСЕНИ – 1823: ответы Б. на выпады "благонамеренных": **"Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры"** // Б-1827 (д.р.: Б-1835 с загл. "Г—чу"; Весы. 1908. № 5. С. 53–58 (публ. В.Я.Брюсова); Б-1914. С. 48–52 (см. *с. 231, 243*); **"Я унтер, други! – точно так..."** // Отеч. зап. 1865.

№ 8. С. 291 (опубл. М.И.Семевским в передаче А.Н.Креницына); м.б., тогда же написано: "Везде бранит поэт Клеон..." (в Б-1827 загл. "Эпиграмма"; в Б-1884: "Везде бранит поэт Глупон..."), адресат – Б.М.Федоров (?).

1823: Б. в Маре (?), с февр. – в Финляндии, летом – поездка в Пб. (?). **ЯНВАРЬ, конец месяца – ФЕВРАЛЬ, нач.:** Б. вернулся из отпуска (с 21.9.1822) в Роченсальм, где поселился с Коншиным (*с. 238*). **ФЕВРАЛЬ (?):** нач. работы над "Эдой" (*с. 237;* см. 1824; сент., нач. месяца; окт. 31; 1825: янв. 25; янв. ок. 25: март, 9; нояб. 26 (Пб.); дек. 12; 1826: янв.; февр., между 8 и 14). **МАРТ, 29:** ц.р. НЛ (Кн. 3, № 12) со стих. **"Падение листьев"** // С. 186–187. *Баратынский.* Д.р. с тем же загл.: Б-1827; Б-1835; Б-1914. С. 235–236. **АПРЕЛЬ, сер. месяца:** письмо Б. маменьке (*с. 235*). **ВЕСНА – ЛЕТО (?):** Б. и Коншин сочиняют сатирич. куплеты (*с. 244*). **МАЙ, 14:** ц.р. НЛ (Кн. 4, № 18) со стих. **"К ***"("Чувствительны мне дружеские пени...")** // С. 78. *Баратынский.* Д.р.: Б-1827 с загл. "Эпилог", Б-1835 без загл. **МАЙ, 15 – ИЮЛЬ, 3:** Нейшл. полк в Вильманстранде в летнем лагере (см. 2-е примеч. к *с. 240*). **МАЙ, 20. Пб.:** ц.р. НЛ (Кн. 4. № 19) со стих. **"К Лете"** // С. 95. *Баратынский* (без изм.: "Лета" // Б-1827 и Б-1835). **ЛЕТО (август – ?):** короткая поездка Б. в Пб.; заключение сделки на 1000 р. об издании Рылеевым и Бестужевым стих. Б. (см. *с. 240,* а также: 1823, сент.–янв. 1824; издание не состоялось). **ИЮНЬ, 7:** ц.р. НЛ (Кн. 4, № 22) со стих. **"Стансы"** // С. 141–142. *Баратынский.* С разночт.: "Две доли" // Б-1827; "Дало две доли Провидение..." // Б-1835. **ИЮЛЬ, 11:** штаб Нейшл. полка и 1-й бат. вернулись из Вильманстранда в Роченсальм (до мая 1824). **АВГУСТ, 1:** дата под стих. Коншина "Боратынскому" ("Напрасно, я, друг милый мой..." // Поэты. С. 361–362. Написано в Роченсальме). **СЕНТЯБРЬ, 6. Пб.:** письмо Рылеева к Б. (*с. 243*). **СЕНТЯБРЬ, 10-е числа:** у Б. в Роченсальме – Дельвиг, Эртель, Павлищев (*с. 238*); сочинена "Застольная песня" ("Ничто не бессмертно, не прочно...") // ЦС. 1830. С. 138; подп. *Б.Д.,* с подзаголовком: *посвящена Баратынскому и Коншину* (кроме Дельвига, м.б., участвовали в сочинении Б., Эристов и Эртель – см.: Вып. С. 316). **СЕНТЯБРЬ–ЯНВАРЬ 1824 (?):** Б. пересылает Рылееву и Бестужеву тетради своих стих. для издания (м.б., передал их с Дельвигом в сент.); вскоре пишет им письмо, прося их взять на себя составление книги (*с. 244*). **ОКТЯБРЬ, 9:** ц.р. НЛ (Кн. 5. № 38) со стих. Б.: **"Размолвка"** ("Прости, сказать ты поспешаешь мне...") // С. 190. *Баратынский* (д.р.: "Размолвка" ("Мне о любви твердила ты шутя...") // Б-1827; **"Безнадежность"** ("Желанье счастия в меня вдохнули боги...") // С. 190. *Баратынский* (д.р.: Б-1827 – то же загл.; Б-1835 – без загл.). **ОКТЯБРЬ, 30:** ц.р. НЛ (Кн. 6, № 40) со стих. **"Хлое"** // С. 14–15. *Баратынский.* Д.р.: "К ...о" // Б-1827; "Приманкой ласковых речей..." // Б-1835. Адресат – С.Д.П. (см. 1821, март, 7). **НОЯБРЬ, 8:** ц.р. НЛ (Кн. 6. № 41) со стих. **"Н.И.Гнедичу"** ("Столицей шумною в изгнаньи позабыт...") // С. 29–32. *Б-ий.* Д.р. с тем же загл. – Б-1827 и Б-1835: "Так! для отрадных чувств еще я не погиб..."; Б-1914, Б-1982: "Нет! в одиночестве душой изнемогая...". **ДЕКАБРЬ, до 20–25:** Б. получает письмо от Жуковского (не сохр.) с просьбой изложить историю его пажеской катастрофы и пишет исповедальный ответ (*с. 248*). **ДЕКАБРЬ, конец месяца. Пб.:** вышла ПЗ. 1824 (ц.р. 20.12.1823) со стих. Б.: **"Истина. Ода"** // С. 19–21. *Баратынский* (д.р.: "Истина" // Б-1827; "О счастии с младенчества тоскуя..." // Б-1835); **"Аглае"** ("О своенравная Аглая!...") // С. 27–28. *Баратынский* (д.р.: "Аглае" // Б-1827; "О своенравная София!.." // Б-1835 и Б-1914; адресат – С.Д.П.; см. 1821, сент.–дек.); **"Рим"** // С. 63. *Баратынский* (с разночт.: "Рим" // Б-1827; "Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель..." // Б-1835; см. 1821, авг. 22); **"К **" ("Влюбился я, Полковник мой...")** // С. 259–261; подп. *Б.* (д.р.: "Л––му" // Б-1827; "Лутковскому" // Б-1835); **"Признание"** // С. 312–313. *Баратынской* (д.р.: "Притворной нежности не требуй от меня..." // Б-1835; см. также: Ок. 1821 – с. 357).

1823 – 1824, нач. года: записи Б. в альбоме Лутковской (Л. 8, 10, 13, 16): **"Младые Грации сплели тебе венок..."** // ИАН. 1911. № 7. С. 522; **"Мила, как Грация, скромна..."** // Сл. 1827. Ч. 1. № 3. С. 35. *Баратынский;* с загл. "В альбом Софии" (в Б-1835 без загл.); **"Тебя ль изобразить и ты ль изобразима..."** (переадресовка – см. 1819, март, 31: "Портрет В..."); **"Вы слишком многими любимы..."** (переадресовка – см. 1821, февр.).

1824: Б. в Роченсальме (до 29 мая), в Пб. (10 июня – 5–6 авг.), в Роченсальме (после 20 авг.); в Гельсингфорсе (с сер. окт.). **С ЯНВАРЯ (до 7 мая):** Б. в Роченсальме – здесь штаб и 1-й бат. Нейшл. полка (ОФК. Св. 40. № 460. Л. 2). **ЯНВАРЬ, 2. Пб.:** письмо Жуковского о Б. к А.Н.Голицыну (*с. 249*). **ЯНВАРЬ:** отъезд Коншина из Роченсальма. **ЯНВАРЬ,** вторая половина: Б. пишет к принцессе Вюртембергской (письмо не сохр.) с просьбой о ходатайстве и к Жуковскому ("По совету дяди моего я пишу к будущей великой княгине" // РА. 1871. Вып. 6. С. 0240; Б-1987. № 7) с просьбой предуведомить ее о его письме. **ФЕВРАЛЬ:** Б.

болен (?) (см. 1824, март, 5). **ФЕВРАЛЬ, до 10. Пб.:** А.Н.Голицын предлагает Жуковскому сделать извлечение из исповедального письма Б. для прочтения его Александром I. **ФЕВРАЛЬ, 10. Пб.:** Жуковский отвечает Голицыну о невозможности делать извлечение из письма Б., ибо важно читать его целиком, и настаивает на том, чтобы письмо было показано Александру I (*с. 251*). **ФЕВРАЛЬ, 15:** Б. в Роченсальме записывает в альбом Лутковской (Л. 35–35-об.) стих. **"Когда придется как-нибудь..."** // ИАН. 1911. № 7. С. 523 (о др. стих. в альбоме Лутковской см. 1823–1824, нач. года). **ФЕВРАЛЬ, 25 (?). Пб.:** Голицын докладывает Александру I о Б.; император намеревается положительно решить дело (*с. 251*). **МАРТ, 5:** письмо Б. к Жуковскому ("Болезнь... препятствовала мне изъявить..." // РА. 1871. Вып. 6. С. 0239–0240; Б-1987, № 8) – благодарит за ходатайство. **МАРТ, 6. Москва:** Д.В.Давыдов в письме в Пб. Закревскому просит "постараться" за Б. (*с. 252;* там же отрывки из писем Давыдова от 11 апр. и 11 мая). **МАРТ. Пб.:** хлопоты А.И.Тургенева по делу Б.; просит не объявлять имени Б. в журналах. Закревский просит Александра I за Б.; император велит нач. Гл. штаба Дибичу доложить дело в офиц. записке (*с. 252*). **АПРЕЛЬ, после 6:** докладная записка Дибича Александру I о Б.; резолюция императора: "не представлять впредь до повеления" (*с. 254*). **МАЙ, 4. Пб.:** смерть С.Д.П. Ее памяти посв. стих. **"Звездочка"** (написано до 5 авг. 1824; опубл. 1824, дек. вт. пол. **МАЙ, 7–15:** переход 1-го бат. Нейшл. полка в Вильманстранд. Штаб полка и командир Лутковский (м.б., с ним и Б.) остаются до 15 мая в Роченсальме (*с. 255*). **МАЙ, 24–25. Вильманстранд:** инспекторский смотр и учение Закревского 1-му и 2-му бат. Нейшл. полка. Знакомство Б. с адъютантом Закревского – Путятой (*с. 256*). **МАЙ, 29 – ИЮНЬ, 10:** поход Нейшл. полка в Пб. (*с. 256*). **ИЮНЬ, 10:** Б. в Пб. **ИЮНЬ–ИЮЛЬ:** м.б., написано послание к А.А.Воейковой (**"Очарованье красоты..."**). Опубл.: "А.А.В—ой"// Лит. музеум на 1827. С. 60; "А.А.В—ой"// СЦ. 1827. С. 226. *Е.Баратынский;* То же // Б-1827; в Б-1835 без загл; в Б-1914 – разночт. (С. 263) по автографу в альбоме Боратынских "Souvenir", где стих. вписано в числе "сочинений 1824 и 1825 года" (ИРЛИ. № 21731. Л. 14-об.). **ИЮНЬ, 12. Пб.:** Б. знакомится с Н.М.Языковым (*с. 257*). **ИЮНЬ, 12. Москва:** вышла "Мнемозина" (1824. Ч. 2; раздавалась подписчикам с 5 июля) со статьей Кюхельбекера "О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие" с критикой "элегического" направления поэзии: "Прочитав любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского, знаешь все. Чувств у нас уже давно нет: чувство уныния поглотило все прочие" (С. 36). **ИЮНЬ, 15:** Б. на даче А.И.Тургенева (на Черной речке) читает **"Богдановичу"** (недошедшая ред. – ? Опубл.: СЦ. 1827. С. 335–339. *Е.Баратынский.* Д.р. с тем же загл. – Б-1827, Б-1835). Кроме Б. у Тургенева – Жуковский, Блудов, Дашков, Козлов, Греч, Дельвиг (ОА. Т. 3. С. 55). **ИЮНЬ, 17:** Б. у Рылеева; там – "история Дельвига с Булгариным" (Пам. дек. С. 67). **ИЮНЬ, 23. Москва:** Давыдов в письме к Закревскому просит взять Б. к штабу Отд. Финл. корпуса в Гельсингфорс (*с. 263*). **ИЮЛЬ, 12:** Б. и А.Бестужев у Рылеева (Пам. дек. С. 67). **АВГУСТ, 2:** Б. в Красном Селе (?), где проходит высоч. смотр сводной бригады, в к-рую включен Нейшл. полк (*с. 258*). **АВГУСТ, 5:** Б. у А.И.Тургенева перед своим отъездом; оставляет ему текст "Звездочки" (ОА. Т. 3. С. 69). **АВГУСТ, 5–6:** Нейшл. полк выступил из Пб. и к **22–23 АВГУСТА** 1-й бат. и штаб полка размещены в Роченсальме (ОФК. Св. 40. № 460. Л. 72–72-об.). **АВГУСТ, 20:** ц.р. НЛ (Кн. 9. Июль) со стих. **"К —" ("Зачем живые выраженья...")** // С. 40–41: *Б-ский.* Д.р.: "К ...." // Б-1827; "Мне с упоением заметным..." // Б-1835. Адресат – С.Д.П. (см. 1821, сент.–дек.). **СЕНТЯБРЬ, нач. месяца:** Б. обещает Дельвигу прислать "полторы песни" "Эды" (см.: Дельвиг – Пушкину 10.9.1824). **СЕНТЯБРЬ, 8:** опубл. памфлет Булгарина против Дельвига и Б. "Литературные призраки" (ЛЛ. № 16) (*с. 254*). **СЕНТЯБРЬ, первая половина:** письмо Б. к маменьке из Роченсальма о предстоящем переезде в Кюмень (*с. 262*). **СЕНТЯБРЬ, вторая половина (?):** письмо Б. к Коншину – поздравляет с женитьбой (3 сент. 1824), рассказывает о роченсальмской жизни (РС. 1908. Т. 136. № 12. С. 756–757; Б-1987. № 11). С женитьбой Коншина связано стих. Б. **"Невесте (А.Я.В.)"** // ЦС. 1830. С. 234. *Е.Б-ий, Роченсальм, 1824.* Д.р. – нет. Адресат – А.Я.Васильева, невеста Коншина. Ответ Коншина: "Спасибо за восемь стихов" // Гирланда на 1831. **ОКТЯБРЬ, после 7 – НОЯБРЬ, до 6:** переезд штаба Нейшл. полка в Кюмень (*с. 262*). **ОКТЯБРЬ, до 11:** Путята пишет к Б. о том, "что генерал Закревский позволяет ему приехать к Гельзингфорс" (Путята. Прим. С. 265), чтобы находиться при штабе Отд. Финл. корпуса (письмо не сохр.). **ОКТЯБРЬ, 11:** Б. пишет благодарственный ответ Путяте (Б-1951. № 6; Б-1987. № 12) и к середине (?) **ОКТЯБРЯ** переезжает в Гельсингфорс, где останавливается у Путяты; знакомится с А.А.Мухановым, Н.А.Мухановым (?), А.Шернваль, А.Ф.Закревской. **ОКТЯБРЬ, 31:** письмо Б. к А.И.Тургеневу: благодарит за ходатайство; сообщает, что готов доставить Тургеневу список "Эды" (РА. 1871. Вып. 6. С. 0240–

0241; Б-1987. № 14). **НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ (?)**: письмо Б. к М.Е.Лобанову с извинениями в том, что не перевел и не станет переводить свою часть трагедии А.Гиро "Маккавеи" (Дельвиг А.А. Полн. собр. стих. Л., 1934. С. 499–500; Б-1987. № 13). **ДЕКАБРЬ, вторая половина. Пб.**: вышли СЦ. 1825 (ц.р. 9.8.1824) со стих. Б.: **"Оправдание"** ("Я силился – счастливой старины...") // С. 263–265. *Е.Б-ий* (д.р.: "Оправдание" // Б-1827; "Решительно печальных строк моих..." // Б-1835; адресат – В.Н.Кучина (?) – см. Мат. С. VI); **"Сонет"** // С. 265–266. *Е.Б-ий* (с разночт.: "Любовь" // Б-1827; "Мы пьем в любви отраву сладкую..." // Б-1835); "Череп" // С. 282. *Е.Б.* (д.р.: "Могила" // Б-1827; "Череп" // Б-1835); **"Звездочка"** // С.313–314. *Е.Б-ий. 24 сентября 1824* (с разночт.: "Звезда"// Б-1827, "Взгляни на звезды: много звезд..." // Б-1835; см. 1824, май, 4; авг. 5). В разделе "Проза" – **"История кокетства"** // С. 109–118. *Е.Баратынский* (см. 1821, сент.– дек.). В СЦ. 1825 – статья Плетнева с апологетич. оценкой элегий Б. (*с. 286*).

1824, конец года – 1825, ЯНВАРЬ: написаны стих.: **"Буря"** (см. 1825: янв., ок. 25; март, 9; март, 29; окт., между 1 и 20); **"Леда"** (см. там же); **"Веселье и Горе"** (см. 1825, янв., ок. 25; март, 7); **"Отчизны враг, слуга царя..."** // Звенья. М., 1935. Т. 5. С. 188 (адресат – Аракчеев); **"Выдь, дохни нам упоеньем..."** (см. 1825, март, после 20; первонач. (?) фр. текст "Oh, qu'il te sied se nom d'Aurore..." // Б-1884. С. 94; адресат – А.Шернваль); **"Как много ты в немного дней..."** (опубл. с ценз. искажениями: Б-1827 с загл. "К ..."; Б-1835 – без загл.; адресат – Закревская); **"Взгляни на лик холодный сей..."** (опубл. см. 1826, февр., 25; о.д. этого стих. январем 1825 см.: Б-1936. Т. 2. С. 242; Б-1951. С. 561); **"Что скажет другу своему..."** ("Запрос М—ву"; адресат – А.А.Муханов; см. 1825, май, 23).

1825: Б. в Гельсингфорсе (до 25–26 янв.), в Кюмени (до 20 мая), в Пб. (8–10 июня – 11 авг.), в Гельсингфорсе (5–6 сент. – 26 сент.), в Москве (с нач. окт.). **ЯНВАРЬ, 7**: письмо Б. к И.И.Козлову: восхищен "Чернецом"; пишет о том, что завершил "Эду", что надо поддержать "Мнемозину" и МТ (РА. 1886. Кн. 1. С. 186–187; Б-1987. № 15). **ЯНВАРЬ, 24**: отъезд Закревского из Гельсингфорса в Пб. **ЯНВАРЬ, 25**: письмо Б. к А.И.Тургеневу в Пб.: просит "поощрить" Закревского исполнить его обещание о ходатайстве; посылает с А.А.Мухановым рукописный экз. "Эды" (Б-1951, № 9; Б-1987. № 16). – **В конце февр.** Муханов отправляет из Пб. в Москву Д.В.Давыдову посвящ. тому эпилог "Эды" ("Ты покорился, край гранитный...") (Щ. сб. Т. 10. С. 358). Эпилог не пропущен московской цензурой, набран в петерб. альманахе Бестужева и Рылеева "Звездочка" с загл. **"Епилог к стихотворной повести: Эда"** и подп. *Е.Б.* "Звездочка" не вышла из-за событий 14 дек. Впервые эпилог "Эды" опубл.: Соч. Д.В.Давыдова: в 3 т. М., 1860. Т. 3. С. 196. **ЯНВАРЬ, ок. 25**: письмо Б. к Кюхельбекеру (РА. 1875. № 7. С. 377; Б-1987. № 17). К письму приложены для "Мнемозины" – "Буря", "Леда", отрывок из "Эды" и, м.б., "Веселье и Горе". Письмо и стихи переданы с едущим в Москву Путятой; тот не мог доставить письмо – Кюхельбекер в янв. уехал из Москвы в Смоленскую губ., оттуда в Пб.; три первых стих. были отданы др. издателю "Мнемозины" В.Ф.Одоевскому, "Веселье и Горе" Н.А.Полевому для МТ. **ЯНВАРЬ, 25–26**: отъезд Закревской и Путяты (?) из Гельсингфорса в Пб. Б. едет с ними до Фридрихсгама (*с. 285*). **ЯНВАРЬ, 29–31 – ФЕВРАЛЬ, 1–2**: Б. приезжает в Кюмень, где расквартирован штаб Нейшл. полка; живет здесь до 20 мая; занимает комнату в доме Лутковского. **ФЕВРАЛЬ**: начало работы над поэмой **"Бал"**. Опубл. полностью: "Две повести в стихах". Пб., 1828 (с "Графом Нулиным" Пушкина); фрагменты: "Отрывок из поэмы" // МТ. 1827. Ч. 13. № 1. С.3. *Е.Баратынский;* "Отрывок из поэмы: Бальный вечер" // СЦ. 1828. С. 84–86. *Е.Баратынский;* "Бал" // Звездочка; подп. *Е.Б.* (альманах не вышел). **ФЕВРАЛЬ, 10**: письмо Б. к маменьке (*с. 286*). **ФЕВРАЛЬ, ок. 17. Пб.**: А.И.Тургенев встретился с Закревским и говорил ему о Б. (*с. 288*). **ФЕВРАЛЬ, вторая половина**: Б. получил письмо от Путяты из Москвы (не сохр.); пишет ответ: "В шумной Москве ты не забыл финляндского отшельника..."; сожалеет о том, что Путята не застал Кюхельбекера; рассуждает о характере Кюхельбекера; благодарит за обещание прислать "Горе от ума" Грибоедова; говорит о Закревской ("Друг мой, она сама несчастна...") (Б-1951. № 11. Б-1987. № 19). Это письмо Б. отправил, м.б., в Пб. А.А.Муханову с просьбой переслать в Москву, что тот сделал, м.б., 1 марта (см. март, 9). **ФЕВРАЛЬ, 26**: письмо Б. к Коншину: "Виноват, неизвинительно виноват перед тобою..." (РС. 1908. Т. 136. № 12. С. 758; Б-1987. № 18). **МАРТ, 7. Москва**: вышел МТ (Ч. 1. № 4) со стих. **"Веселье и Горе"** // С. 310. *Бар-ский.* С разночт.: "Веселье и Горе" // Б-1827; "Рука с рукой, Веселье, Горе..." // Б-1835. **МАРТ, 9. Москва**: Путята пишет А.А.Муханову, что московская цензура не пропускает эпилог "Эды" и "Бурю"; пересылает текст "Бури" в Пб.; благодарит за доставление письма (см. февр., вторая половина) от Б. (Сб. Щ. Т. 10. С. 413). М.б., тогда же Путята пишет второе письмо к Б. (не сохр.) (см. ниже). **МАРТ, вторая половина (?)**: Б. получил письмо Путяты; пишет ответ

ему – о поездке во Фридрихсгам, о встрече там с Закревскими, возвращавшимися в Гельсингфорс, посылает отрывок из "Бала" (Б-1951. № 12; Б-1987. № 20). **МАРТ, после 20. Пб.:** вышла ПЗ. 1825 (ц.р. 20.3.1825) со стих. Б.: **"Елисейские поля"** // С. 103–105; подп. *Б.* (д.р. с загл. "Элизийские поля" // Б-1827 и Б-1835; см.: Ок. 1821 – с. 357); **"Девушке, которой имя было: Аврора" ("Выдь, дохни нам упоеньем...")** // С. 116; подп. *Б.* (д.р.: "Девушке, имя которой было: *Аврора*" ("Соименница Авроры...") // Б-1827; "Авроре Ш......." // Б-1835; адресат – А.Шернваль, см. 1824, конец года – 1825, янв.); **"Д—у"** // С. 148–150; подп. *Б.* (с разночт.: "Д—гу" // Б-1827; "Я безрассуден – и не диво!.. " // Б-1835; адресат – Дельвиг, героиня стих. – С.Д.П.). **"К жестокой"** // С.190–191; подп. *Б.* (с разночт.: "К жестокой" // Б-1827; "Неизвинительной ошибкой..." // Б-1835; адресат – С.Д.П., см. 1821, сент.–дек.); **"Л—ой" ("Слепой поклонник красоты...")** // С. 276; подп. *Б.* (д.р.: "Л—ой" // Б-1827; "Когда неопытен я был..." // Б-1835; первонач. адресат – С.Д.П., см. 1821, сент.–дек.; адресат публикаций – Лутковская); **"Стансы" ("О чем ни молимся богам...")** // С. 316–317; подп. *Б.* (д.р.: "Стансы" // Б-1827; "В глуши лесов счастлив один..." // Б-1835; "Ода" ("Ни горы злата и сребра...") // Филиппович. Об ак. изд. С. 197); **"Зима (Отрывок из повести: Эда)"** // С. 372–373; подп. *Б.* (этот фрагмент опубл. в числе двух других в "Мнемозине" – см. 1825, окт., между 1 и 20). **МАРТ, 29:** письмо Б. к Путяте: "Я поклепал на тебя в моем сердце..."; пишет, что "стихов 200" "Бала" уже готово, удивляется, что "Леда" пропущена цензурой, а "Буря" запрещена; говорит о своей негениальности (Б-1951. № 13; Б-1987. № 21). **МАРТ, после 29 – АПРЕЛЬ, начало:** Б. получил письмо (не сохр.) от И.И.Козлова, пишет ответ: "Воистину воскрес, почтенный и любезный Иван Иванович..." (Б-1951. № 14; Б-1987. № 22; о.д. – упом. недавней Пасхи – 29 марта); в письме Б. – стих. о Вяземском **"Войной журнальною бесчестит без причины..."** (2 мая А.И.Тургенев цитировал стих. Вяземскому // ОА. Т. 3. С. 119). **АПРЕЛЬ, 21. Варшава:** Александр I подписывает приказ о производстве Б. в прапорщики – приказ напечатан в РИ 4 мая (*с. 289*). **МАЙ, 7–8:** Путята по пути в Гельсингфорс заезжает в Кюмень сообщить Б. о производстве (*с. 289*). **МАЙ, 9:** письмо Б. к А.И.Тургеневу с благодарностями за помощь в деле производства в офицеры (*с. 289*). **МАЙ, ок. 8–15:** письмо Б. к А.А.Муханову в Пб. с просьбой купить принадлежности для офицерского мундира (*с. 290*). **МАЙ, 15:** письмо Б. к Путяте в Гельсингфорс (*с. 292*). **МАЙ, 20:** Нейшл. полк выступил в Пб.; прибыл **8–10 июня** (*с. 292*). **МАЙ, 23. Москва:** вышел МТ (Ч. 3. № 9) со стих. "Запрос М—ву" // С. 36–37; подп.: .... Д.р. – нет. Адресат – А.А.Муханов, героиня стих. – А.Шернваль (см. 1824, конец года – 1825, янв.). **ИЮНЬ, 8–10:** Б. в Пб. (*с. 292*). **ИЮНЬ, 12:** Б. у И.И.Козлова; там же Л.С.Пушкин, А.И.Тургенев, Дельвиг (СиН. Кн. 11. С. 48). **ИЮНЬ, вторая половина:** Б. знакомится с невестой Дельвига С.М.Салтыковой; обещает быть шафером (вместе с Жуковским) на их свадьбе (Модз. С. 172). **ИЮЛЬ, вторая половина:** в Пб. Закревская (*с. 293*). **АВГУСТ, начало:** письмо Б. к Путяте из Пб. в Гельсингфорс: "Виноват, милый Путята, виноват..."; рассказывает о встрече с Закревской (*с. 269*). **АВГУСТ, 11:** Б. едет из Пб. в Финляндию вместе с полком (*с. 293*). **АВГУСТ, 16:** письмо Б. к маменьке из Выборга о скором приезде в отпуск; о встрече в Пб. с Закревской; о предстоящей поездке в Гельсингфорс (см. 5-е примеч. к *с. 293*). **АВГУСТ, около 30:** Б. в Кюмени или в Роченсальме (*с. 295*). **СЕНТЯБРЬ, с 5–6 до 26:** Б. в Гельсингфорсе. **СЕНТЯБРЬ, 26:** Б. выезжает из Гельсингфорса в Москву (*с. 296*). **СЕНТЯБРЬ, 30:** начало отпуска Б. на 4 мес. **ОКТЯБРЬ, между 1 и 20. Москва:** вышла "Мнемозина" (Кн. 4) со стих.: **"Буря"** // С. 214–215, подп. **** (д.р.: "Буря" // Б-1827; "Завыла буря; хлябь морская..." // Б-1835, с ценз. купюрами); **"Отрывки из поэмы: Эда"** // С. 216–220, подп. ****; **"Леда"** // С. 221–223, подп. **** (д.р. – нет). См. также: 1824, кон. – 1825, янв. **ОКТЯБРЬ, начало:** Б. в Москве; живет с маменькой, сестрами, братом Сергеем – в Огородниках, в приходе ц. св. Харитония-исповедника, в доме Мясоедовой (дом не сохр.). **ОКТЯБРЬ, до 5:** Б. виделся с К.Ф.Рылеевым; вернул свой долг 500 р. (*с. 297*). **ОКТЯБРЬ, 7. Пб.:** ц.р. НА. 1826 (вышел после 26 дек.) со стих. **"Дорога жизни"** // С. 71. *Е.Баратынский* (с разночт.: "В дорогу жизни снаряжая..." // Б-1835; "Прогоны жизни" // Б-1884). **ОКТЯБРЬ, 19:** Б. у И.И.Дмитриева; знакомство с Погодиным и Карниолиным-Пинским: "Говорили о театральн<ом> искус<стве>, о сенате, о журналах, о Пушкине" (Погодин. С. 71). **ОКТЯБРЬ, после 19 – НОЯБРЬ, начало:** Б. болен, из дома не выезжает (*с. 299*). **ОКТЯБРЬ, 30. Пб.:** свадьба Дельвига. С этим событием связано стих. **"Ты распрощался с братством шумным..."** Опубл. с загл.: "В альбом NN на другой день после его свадьбы": Сириус на 1826 г. С. 76. *Баратынский;* с загл. "К Д***. На другой день после его женитьбы": Сл. 1827. Ч. 2. № 16. С. 77. **НОЯБРЬ:** письмо Б. к Путяте: "Ежели с приезда в Москву я к тебе не писал..."; сообщает о своей болезни; о "жалком положении" маменьки; о намерении "просить перевода в один

из полков, квартирующих в Москве" (*с. 300*). **НОЯБРЬ, 13:** первая (?) встреча с Д.В.Давыдовым у А.А.Муханова. (*с. 299*). **НОЯБРЬ, 14:** Б. присылает к А.А.Муханову послание к Давыдову. Опубл. с загл. **"Д.В.Давыдову"**: МТ. 1826. Ч. 10. № 14. С. 55. *Баратынский.* Д.р.: "Д.Давыдову" ("Пока с восторгом я внимаю...")// Б-1827 и Б-1835; "Пока с восторгом я умею..." // Б-1936. Т. 1. С. 102. **НОЯБРЬ, 15:** Б. с братом Сергеем, а также А.А., В.А., И.И.Мухановы у Д.В.Давыдова (*с. 299*). **НОЯБРЬ, 21:** Б. и А.А.Муханов едут в Остафьево к Вяземскому, но возвращаются из-за непогоды, вечер – у Мухановых (*с. 299*). **НОЯБРЬ, 26. Москва:** ц.р. "Урании на 1826 г." (вышла в нач. янв. 1826) со стих.: **"К ***. Посылая тетрадь стихов"** // С. 73. *Баратынский* (д.р.: "*** при посылке тетради стихов" // Зимцерла на 1829 г. С. 12; "В борьбе с тяжелою судьбой..." // Б-1835; в Б-1884 загл.: "Г.З.", т.е. графине Закревской); **"Ожидание"** // С. 101. *Баратынский* (с разночт.: "Ожидание" // Б-1827; "Она придет! к ее устам..." // Б-1835). **НОЯБРЬ, 26. Пб.:** ц.р. ЭиП (вышли между 8 и 14 февр. 1826). **НОЯБРЬ, 31** (так!): запись в альбоме "кузины Натали" стих. **"Я был любим, твердила ты..."** (Б1. № 234. Л. 16–17). Опубл.: Б-1914. С. 58–59. **ДЕКАБРЬ, начало:** Б. получает письмо от А.С.Пушкина из Михайловского; отвечает после 7 декабря: "Благодарю тебя за письмо, милый Пушкин..." (Б-1869. С. 419–421; Б-1987. № 28). **ДЕКАБРЬ, 7:** Вяземский из Остафьева пишет Дельвигу в Пб., пересылая письмо через Б. и приглашая Б. в Остафьево. **ДЕКАБРЬ, после 7:** Б. отвечает Вяземскому запиской: **"Простите, спорю невпопад..."** // СиН. Кн. 5. С. 44; Б-1987. № 29; о.д.: Вацуро. СЦ. С. 66–67, 258. **ДЕКАБРЬ, 10:** письмо Давыдова к Закревскому с просьбой позволить Б. выйти в отставку (*с. 301*). **ДЕКАБРЬ (?):** Б. получает письмо от Дельвига ("Ужели ты так болен..." // Дельвиг. С. 308–309). **ДЕКАБРЬ, 12:** вышел МТ (Ч. 6. № 22) с отрывком из "Эды": **"Финляндия"** // С. 157. *Баратынский.* **ДЕКАБРЬ, после 26. Пб.:** вышел НА.1826 (см. 1825, окт. 7). **ДЕКАБРЬ, 27:** дата под прошением Б. об отставке (*с. 305*). **ДЕКАБРЬ, последние дни – ЯНВАРЬ 1826, начало:** очное знакомство с Вяземским; читают вместе только что вышедшие "Стихотворения Александра Пушкина" (Пб., 1826).

1825, конец года – 1826, первые месяцы (?): написаны вместе с Соболевским куплеты о Сонцовых **"Встарь жил-был петух индейский..."** ("Быль") // ЛПРИ. 1831. № 6. 21 янв.; подп. *Сталинский.* Д.р.: "Цапли" ("Жил да был петух индейской...") // Библиогр. зап. 1858. № 8. С. 237; Б.1914. С. 325.

1826, ЯНВАРЬ–МАРТ: Б. в Москве. **ЯНВАРЬ:** письмо Б. к Закревскому с просьбой отставки (не сохр.) – отправлено к Путяте: "Милый Путята, вот письмо к А.А.Закревскому..." (РА. 1867. Вып. 2. С. 274–275; Б-1983. № 73; Б-1987. № 32); в письме к Путяте – эпиграмма **"Не трогайте парнасского пера..."**; сообщение о знакомстве с Ф.И.Толстым (Американцем). **ЯНВАРЬ, начало. Москва:** вышла "Урания на 1826 г." со стих. Б. (см. 1825, ноябрь, 26, Москва). **ЯНВАРЬ. Пб.:** вторичное цензурование "Эды" и "Пиров"; сделаны цензурные купюры (*с. 308*). **ЯНВАРЬ (?):** написаны эпиграммы: **"Что ни болтай, а я великий муж..."** (опубл. с загл. "Эпиграмма" ("Что ни толкуй, а я великий муж...") и ценз. искажениями: МТ. 1826. Ч. 7. № 2. С. 60. *Баратынский;* по автографу: Б-1914. С. 80; адресат – Булгарин); **"В своих листах душонкой ты кривишь..."** (в письме Б. к Путяте, ок. 19 янв.; опубл.: РА. 1867. Вып. 2. С. 274; адресат – Булгарин); **"Не трогайте Парнасского пера..."** (в письме Б. к Путяте от янв. 1826 – см. выше; опубл. 20.2.1826 с загл. "Совет": МТ. 1826. Ч. 7. № 3. С. 124. *Баратынский;* в Б-1827 – с загл. "Эпиграмма", в Б-1835 – без загл.). **ЯНВАРЬ, 5–20:** письмо Б. к А.С.Пушкину в Михайловское: "Посылаю тебе Уранию, милый Пушкин; не велико сокровище; но блажен, кто и малым доволен. Нам очень нужна философия..." (Б-1869. С. 418–419; Б-1987. № 30). **ЯНВАРЬ, 16:** в штабе Отд. Финл. корпуса составлена докладная записка за подписью Закревского об увольнении Б. от службы (*с. 310*). **ЯНВАРЬ, середина месяца:** Б. получает из Пб. письмо Дельвига от 8 янв. (*с. 311*). **ЯНВАРЬ, около 19:** Б. получает письма от Путяты (не сохр.); пишет в ответ о скором выходе "Эды", о скуке московской жизни; посылает эпиграмму на Булгарина ("В своих листах душонкой ты кривишь..." – см. выше: январь –?) (РА. 1867. Вып. 2. С. 273–274; Б-1987. № 31). **ЯНВАРЬ, 31:** Николай I подписывает указ об отставке Б. (*с. 319*). **ФЕВРАЛЬ, между 8 и 14. Пб.:** вышла **"Эда, финляндская повесть, и Пиры, описательная поэма"**. О.д.: 8 февр. Дельвиг пишет Б.: "Эда выйдет прежде, чем ты получишь это письмо" (Дельвиг. С. 313); 15 февр. дано ц.р. "Сев.пчеле" с рец. на книгу (см. 1826, февр. 16). **ФЕВРАЛЬ, 9:** приказ Закревского по Отд. Финл. корпусу об увольнении Б. в отставку (*с. 319*). **ФЕВРАЛЬ, 16. Пб.:** вышла "Сев. пчела" (№20) с рец. Булгарина на "Эду" и "Пиры" (*с. 318*). **ФЕВРАЛЬ, 25. Пб.:** ц.р. СЦ. 1826 (вышли 7 апреля) со стих.: **"К Аннете"** // С. 15. *Е.Баратынский* (д.р. – нет); **"Л.С.П—ну"** // С. 40–41. *Е.Баратынский* (с разночт.: "Л.П—ну" // Б-1827; "Поверь, мой милый, твой поэт..." // Б-1835; адресат – Л.С.Пушкин); **"Надпись"** // С. 68. *Е.Баратынский* ("Надпись" //

Б-1827; "Взгляни на лик холодный сей..." // Б-1835; "К портрету Грибоедова" // Б-1869 и Б-1884; др. предполагаемый адресат — Закревская; обе гипотезы не имеют документальных подтверждений). **ФЕВРАЛЬ–МАРТ:** знакомство с Анастасией Львовной Энгельгардт.

УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ БОРАТЫНСКОГО, УПОМЯНУТЫХ В "ОПЫТЕ КРАТКОЙ ЛЕТОПИСИ"

Даты отсылают к первому упоминанию текста в нашем "Опыте": это указания на предполагаемое время создания, либо на день его чтения, либо на дату первой публикации, либо на число, когда дано цензурное разрешение изданию, где текст напечатан впервые. Названия окончательных и промежуточных редакций стихотворений указываются наряду с первоначальными заглавиями (иногда сокращенно).

А.А.В—ой — 1824, июнь — июль.
Авроре Ш....... — 1825, март, после 20.
Аглае — 1823, дек., конец.
Астрономия — ок. 1822.
Бал — 1825, февр.
Бдение — 1821, март, 7.
Безнадежность — 1823, окт., 9.
Б—му (при отъезде его в армию) — 1820, янв., 6.
Богдановичу — 1824, июнь, 15.
Больной — 1821, февр., 19.
Брату при отъезде в армию — 1820, янв., 6.
Булгарину — 1821, июнь, 11.
Буря — 1824, кон. — 1825, янв.
Быль — 1825, кон. — 1826, первые месяцы.
В альбом ("Вы слишком многими любимы...") — 1821, март, 7.
В альбом ("Когда б вы менее прекрасной...") — 1821, февр.
В альбом ("Тебе на память в книге сей...") — 1819, дек., 6.
В альбом NN на другой день после его свадьбы — 1825, окт., 30.
В альбом Софии — 1823 — 1824, нач.
"В борьбе с тяжелою судьбой..." — 1825, нояб., 26.
"В глуши лесов счастлив один..." — 1825, март, после 20.
"В дорогу жизни снаряжая..." — 1825, окт., 7.
"В пустых расчетах, в грубом сне..." — 1819, стихи из альб. П.Л.Яковлева.
"В своих листах душонкой ты кривишь..." — 1826, янв. (?).
"В своих стихах он скукой дышит..." — 1821, сент., 10.
"Везде бранит поэт Клеон..." — 1822, не ранее осени — 1823.
Веселье и Горе — 1824, кон. года — 1824, янв.
Весна (Элегия) ("Мечты волшебные...") — 1820, март, 22.
Весна ("На звук цевницы голосистой...") — 1822, апр., 17.
"Взгляни на звезды..." — 1824, май, 4.
"Взгляни на лик холодный сей..." — 1824, кон. года — 1825, янв.
"Взгляните: свежестью младой..." — 1819, февр., 28.
Водопад — 1821, май, 16.
Возвращение — 1822, март, 9.
"Войной журнальною бесчестит..." — 1825, март, после 29 — апр., нач.
"Встарь жил-был петух индейский..." — 1825, кон. — 1826, первые месяцы.
"Вчера ненастливая ночь..." — 1819, стихи из альб. П.Л.Яковлева.
"Выдь, дохни нам упоеньем..." — 1824, кон. — 1825, янв.
"Вы слишком многими любимы..." — 1821, февр.
"Где ты, беспечный друг..." — 1820, янв., 19.
<Гнедичу> ("Нет! в одиночестве..."; "Столицей шумною..."; "Так! в одиночестве...") Н.И.Гнедичу — 1823, нояб., 8.
Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры (Г—чу) — 1822, не ранее осени — 1823.
Д.В.Давыдову (Д.Давыдову) — 1825, нояб., 14.
"Дало две доли Провидение..." — 1823, июнь, 7.
"Дамон! ты начал — продолжай..." — 1819, май, 16.
Две доли — 1823, июнь, 7.
Д—гу (Д—у) ("Я безрассуден — и не диво!.. ") — 1825, март, после 20.
Девушке, имя которой было: Аврора — 1825, март, после 20.
Девушке, которая на вопрос... — 1820, февр., 11.
Делии — 1822, авг., 11.
Делию ("Где ты, беспечный друг...") — 1820, март, 17.
Дельвигу ("Дай руку мне, товарищ добрый мой...") — 1822, янв., 16.

Прогоны жизни — 1825, окт., 7.
Прокаженный из города Аосты — 1822, март, между 4 и 13.
"Простите, спорю невпопад..." — 1825, дек., после 7.
"Прощай, отчизна непогоды..." — 1820, осень.
Прощанье ("Простите, милые досуги...") — 1819, авг., 20.
Прощание ("Пускай измаранный листок...") — 1819, дек., 6.
Разлука — 1819, конец года — 1820, нач.
Размолвка — 1823, окт., 9.
Разуверение — 1821, не позднее осени.
"Рассеивает грусть..." (Унылие; Лагерь) — 1821, янв., 15.
"Расстались мы, на миг очарованьем..." — 1819, кон. — 1820 нач.
"Решительно печальных строк моих..." — 1824, дек., вт. пол.
Рим — 1823, дек., кон.
Родина — 1821, февр., 5.
Ропот — 1820, янв., 6.
"Рука с рукой, Веселье, Горе..." — 1825, март, 7.
Русская песня — 1821, март, 5.
"С неба чистая..." — 1819 — нач. 1820-х.
"Сей поцелуй, дарованный тобой..." — 1822, янв. — нач. марта.
Сельская элегия — 1821, февр., 5.
Сестре — 1822, июнь—июль.
"Слепой поклонник красоты..." — 1821, сент. — дек.
Случай — 1819, стихи из альб. П.Л.Яковлева.
Совет — 1826, янв. (?).
Сонет — 1824, дек., вт. пол.
Стансы ("Дало две доли Провидение...") — 1823, июнь, 7.
Стансы ("О чем ни молимся богам...") — 1825, март, после 20.
Таинство Елеосвящения — 1822, авг., 11.
"Так, он ленивец, он негодник..." — 1820 — 1826 (?).
"Так, отставного шалуна..." — Ок. 1821.
"Там, где Семеновский полк..." — 1819, авг., вт. пол. — сент.
"Твой детский вызов мне приятен..." — 1821, март, 5.
"Тебе на память в книге сей..." — 1819, дек., 6.
"Тебя ль изобразить..." — 1823 — 1824, янв.
Т—му. (В альбом) — 1819, дек., 6.
Товарищам — Ок. 1821.
Тоска — 1821, март, 7.
"Ты был ли, гордый Рим..." — 1823, дек., кон.
Уныние — 1820, май, 15 — июнь, 30.
Утешение — 1820, март, 17.
Финляндия — 1820, апр., 19.
Финским красавицам — 1820, апр., 19.
Хлое — 1823, окт., 30.
Хор, петый в день именин... — 1817, янв., 23.
"Хоть глуповат подчас Дамон..." — 1820, янв., 6.
Цапли — 1825, кон. — 1826, первые месяцы.
Цветок — 1821, авг., 8.
Череп — 1824, дек., вт. пол.
"Что ни болтай, а я великий муж..." ("Что ни толкуй...") — 1826, янв. (?).
"Чтоб очаровывать сердца..." — 1821, июнь.
"Что скажет другу своему..." — 1824, кон. — 1825, янв.
"Чувствительны мне дружеские пени..." — 1823, май, 14.
Шуми, шуми с крутой вершины..." — 1821, май, 16.
Эда — 1823, февр.
Элегия ("Дремала роща над потоком..."; "Заснули рощи над потоком...") — 1820, март, 17.
Элегия ("На краткий миг пленяет...") — 1819, кон. — 1820, нач.
Элегия ("Нет, не бывать тому, что было прежде!.. ") — 1821, не позднее осени.
Элегия ("Прощай, отчизна непогоды...") — 1821, авг., 8.
Элегия ("Ужели близок час свиданья...") — 1820, янв., 6.
Элизийские поля — Ок. 1821.
Эпиграмма ("Везде бранит поэт Клеон...") — 1822, не ранее осени — 1823.
Эпиграмма ("В своих стихах он скукой дышит...") — 1821, сент., 10.
Эпиграмма ("Дамон! ты начал — продолжай...") — 1819, май, 16.
Эпиграмма ("Его творенье скукой дышит...") — 1821, сент., 10.
Эпиграмма ("Не трогайте Парнасского пера...") — 1826, янв. (?).

Эпиграмма ("Поэт Графов в стихах тяжеловат...") — 1820, янв., 6.
Эпиграмма ("Хоть глуповат подчас Дамон...") — 1820, янв., 6.
Эпиграмма ("Что ни болтай, а я великий муж...") — 1826, янв. (?).
Эпилог — 1823, май, 14.
Юность и старость Земли — Ок. 1822.
"Я безрассуден — и не диво!.." — 1825, март, после 20.
"Я был любим, твердила ты..." — 1825, нояб., 31 (так!).
"Я возвращуся к вам, поля моих отцов..." — 1820, осень.
"Я унтер, други! — Точно так..." — 1822, не ранее осени — 1823.
A Aurore C........ ("Oh, qu'il te sied se nom d'Aurore...") — 1824, кон. года — 1825, янв.

ПЕРЕЧЕНЬ ПИСЕМ БОРАТЫНСКОГО ДО 1826 ГОДА

Сохранилось и опубликовано 75 писем Боратынского до января 1826 г. включительно (из них 45 к родственникам — наиболее полно они представлены в публикациях 1916 г. Ю.Н.Верховского (см.: Мат.) и 1973 г. Г.Хетсо). Т.к. Боратынский редко ставил даты в своих письмах, каждое новое обращение к его эпистолярию дает новые исследовательские датировки — без них не обошлась и истинная повесть. Ниже приводится полный перечень всех сохранившихся писем Боратынского до января 1826 г. с учетом хронологических уточнений. В разделе I отмечены письма, упомянутые в "Опыте краткой летописи...", в разделе II — прочие письма, с указанием в скобках изданий, где они опубликованы или с отсылкой к тем страницам истинной повести (даны курсивом), в примечаниях к которым такие указания есть. Из писем, адресованных к Боратынскому за указанное время, сохранилось три: письмо К.Ф.Рылеева от 6.9.1823 (см. с. 243) и письма А.А.Дельвига от декабря 1825 и от 8.1.1825 (Дельвиг. С. 308, 313).

I. РОДИТЕЛЯМ. **1806**: нояб., 5 (?); нояб., 16 (?). А.Ф.БОРАТЫНСКОЙ. **1812**, дек.—янв. **1813**; **1817**: сент., 2—4; сент., 10-е числа (два письма); дек.. 4; дек., 26—27; **1818**: авг., 6; **1819**: кон. марта — нач. апр.; **1822**: июль, 20—21; **1823**: сер. апр.; **1824**: перв. пол. сент.; **1825**: февр., 10; авг., 16. А.А.БЕСТУЖЕВУ и К.Ф.РЫЛЕЕВУ. **1823**, сент. — **1824**, янв. П.А.ВЯЗЕМСКОМУ. **1825**: дек., после 7. Н.И.ГНЕДИЧУ. **1822**: февр., кон. — март., нач. В.А.ЖУКОВСКОМУ. **1823**: дек., не позднее 20—25; **1824**: янв.; март, 5. И.И.КОЗЛОВУ. **1825**: янв., 7; март, после 29 — апр., перв. пол. Н.М.КОНШИНУ. **1824**: сент., вт. пол.; **1825**: февр., 26. В.К.КЮХЕЛЬБЕКЕРУ. **1825**: янв., ок. 25. М.Е.ЛОБАНОВУ. **1824**: нояб. — дек. А.А.МУХАНОВУ. **1825**: май, ок. 8—15. А.А.НИКИТИНУ. **1821**: апр., до 13. Н.В.ПУТЯТЕ. **1824**: окт., 11; **1825**: февр., вт. пол.; март, вт. пол.; март, 29; май, 15; авг., нач.; нояб.; **1826**: янв.; янв., ок. 19. А.С.ПУШКИНУ. **1825**: дек., нач.; **1826**: янв., 5—20. А.И.ТУРГЕНЕВУ. **1824**: окт., 31; **1825**: янв., 25; май, 9. С.С.УВАРОВУ. **1821**: март, 12.

II. А.Ф.БОРАТЫНСКОЙ. **Ок. 1806** (?) (три детских письма — Хетсо. С. 566—567); ок. **1811—12** (Мат. С. 41; о.д. — Хетсо. С. 703); **1812**: апр. — нач. мая (*с. 69—70*); **1812**: май, 30 (Мат. С. 23; о.д. — упоминание той же детали, что и в письме к братьям и сестрам от 30 мая 1812 — см. ниже — шпор, которые носил Ираклий); **1812**: июнь, нач. (Мат. С. 24—25; о.д. — упоминание зреющей смородины); **1812**: июль—авг. (?) (*с. 71*); **1813**: янв.—февр.; февр., 23; март (все — Хетсо. С. 570—573); **1814**: лето—осень (два письма — *с. 8—9*); **1814**: июль (Мат. С. 26); **1815**: ок. апр. (*с. 82*); **1816**: март (?) (Мат. С. 26—27); **1816**: июль—сент. (три письма из Подвойского: два письма — Мат. С. 27, 29—30; одно письмо — Хетсо. С. 578); **1818** окт.—дек. (два письма из Пб. — *с. 112, 120*). Богдану Андр.БОРАТЫНСКОМУ. **1811**: май—июнь (*С. 67*). Богдана Андр., Екатерине Андр.БОРАТЫНСКИМ и Марии Андр.ПАНЧУЛИДЗЕВОЙ (?). **1814**: дек. (Хетсо. С. 575; о.д. — упоминание Ираклия и Льва, находящихся в пансионе, — оба прибыли в Пб. осенью 1814). Богдану Андр. и Илье Андр.БОРАТЫНСКИМ. **1814—15** (два письма — Хетсо. С. 576—577). Екатерине Андр.БОРАТЫНСКОЙ. **1817—18 (?)** (Хетсо. С. 579). Екатерине Андр.БОРАТЫНСКОЙ или Марии Андр.ПАНЧУЛИДЗЕВОЙ. **1806—1811** (два письма — Мат. С. 80). Петру Андр.БОРАТЫНСКОМУ. **1816**: июль—авг. (*с. 100*). МЛАДШИМ БРАТЬЯМ и СЕСТРАМ. **1812**: май, 30 (Хетсо. С. 15). Н.В.ПУТЯТЕ. **1824**: май, 24—25 (*с. 256*).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

В указателе отмечены только те страницы повести, где нижеперечисленные имена упомянуты в связи с действительными событиями или с их интерпретацией; курсивом набраны страницы примечаний и "Опыта краткой летописи".

Дополнительные примечания

1. Сведения о времени выхода в свет №№ "Невского зрителя", "Мнемозины" и "Московского телеграфа" взяты из "Летописи..." М.А.Цявловского (см. *с. 327*).

2. Датировка стих. "Прощай, отчизна непогоды...", "Я возвращуся к вам, поля моих отцов..." и начала работы над "Эдой" дана на основании воспоминаний Н.М.Коншина (см. *с. 165, 166, 237*).

3. "Певцы 15-го класса" точно написаны в июле 1822 г. в Петербурге (в августе и начале сентября Боратынский был в Финляндии), а "Дополнение к куплетам о певцах 15-го класса" А.Е.Измайлова (по-другому: "Куплеты, прибавленные посторонними") и эпиграммы "Остер, как унтерский тесак..." и "Он щедро награжден судьбой..." Н.Ф.Остолопова (см. *с. 228–229*) – не позднее середины сентября 1822 г. Все эти тексты цитировал В.Л.Пушкин в письме к П.А.Вяземскому 19 сентября 1822 г. (ЦГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 2611. Л. 138–140-об.; сообщено С.И.Пановым).

4. Примечания к с. 311:

а) М.М.Сонцов был сделан камергером за год до описываемых событий – в марте 1825 г. (см. Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. Л., 1989. С. 414).

б) Цитируемое письмо Дельвига не могло быть получено в середине января, ибо написано 8 февраля.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА О БОРАТЫНСКОМ

Филиппович П.П. Жизнь и творчество Е.А.Боратынского. Киев, 1917.
Пигарев К.В. Мураново. М., 1948.
Фризман Л.Г. Творческий путь Баратынского. М., 1966.
Хетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Oslo – Bergen – Tromsö, 1973.
Пешков В.П. "Моя начальная любовь...": Е.А.Боратынский в Маре. Воронеж, 1974.
Shaw J. Thomas. Baratynskii: A Dictionary of the Rhymes and a Concordance to the Poetry. Madison; London: The University of Wisconsin Press, 1975.
Голубков Д.Н. Недуг бытия. Хроника дней Евгения Баратынского: Роман. М., 1981. 2-е изд.
Лебедев Е.Н. Тризна: Книга о Е.А.Боратынском. М., 1985.
Бочаров С.Г. "Обречен борьбе верховной..." (Лирический мир Баратынского) // Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 69–123.
Стеллиферовский П.А. Евгений Абрамович Баратынский: Книга для учащихся старших классов средней школы. М., 1988.
Тойбин И.М. Тревожное слово: О поэзии Е.А.Баратынского. Воронеж, 1988.

СОДЕРЖАНИЕ

Песков А.М.

П 28 Боратынский. Истинная повесть. – М.: Книга, 1990. – 384 с., ил. – (Писатели о писателях).

Биографическая повесть о Е.А.Боратынском – опыт документального исследования, стилизованного под художественное произведение. В книге показаны эпизоды из жизни поэта в свете его мироощущения и в контексте его эпохи, для чего привлечены новые архивные материалы.

Оригинальные иллюстрации, которыми щедро насыщена книга, – плод чисто художественного объяснения жизни Боратынского; будучи вполне свободны от документально-исторического смысла повести, они представляют собой самобытное явление графики.

Алексей Михайлович Песков

БОРАТЫНСКИЙ

Истинная повесть

Редактор Е.Л.Новицкая
Художественный редактор Н.Р.Синева
Технические редакторы Л.П.Емельянова, В.Л.Юняев
Корректор Э.В.Ежова
Оператор Т.Г.Никонович

ИБ № 1490

Сдано в набор 13.03.89. Подписано в печать 08.09.89. А 01613 Формат 60x90/16. Бумага кн.-журн. Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсетная. Усл.печ.л. 24,0. Усл.кр.-отт. 48,5 Уч.-изд.л. 32,21 Тираж 100000 экз. Изд. № 4374. Зак. № 249.
Цена в бумвиниле 2 р. 20 к., в коленкоре 2 р. 30 к.

Издательство "Книга", 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Набор выполнен на композере издательства "Книга"

Отпечатано на Ярославском полиграфкомбинате Государственного комитета СССР по печати. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

$$П\ \frac{4702010201\text{-}024}{002(01)\text{-}90}\ 32\text{-}90$$

ISBN 5-212-00115-3